

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Е.В. Зарецкий

**БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(в сравнении с английским
и другими индоевропейскими языками)**

Монография

Издательский дом «Астраханский университет»
2008

ББК 81.411.2
З-34

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом
Астраханского государственного университета

Рецензенты:

кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка
как иностранного Саратовского государственного медицинского университета

Л.П. Прокофьева;

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков
Волжского политехнического института ВПИ (филиал)

Волгоградского государственного технического университета,
докторант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

А.В. Поселенова

Зарецкий, Е. В. Безличные конструкции в русском языке: культурологические и типологические аспекты (в сравнении с английским и другими индоевропейскими языками) [Текст] : монография / Е. В. Зарецкий. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2008. – 564 с.

На основе обширного фактического материала автор приводит доводы в пользу того, что широкая распространённость безличных конструкций в русском языке обусловлена не особенностями русского национального характера, а лингвистическими факторами: остатками эргативного или активного строя индоевропейского праязыка и синтетическим способом выражения грамматических значений. В монографии также даётся обзор безличных конструкций в других языках, теорий их происхождения и исчезновения, статистических данных по языковой типологии.

В редактировании принимали участие О.Н. Лагута (доктор филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета), М.Я. Запрягаева (кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики Воронежского государственного университета), Н.А. Тупикова (доктор филологических наук, заведующая кафедрой истории русского языка и стилистики Волгоградского государственного университета), С.В. Гусаренко (кандидат филологических наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации Ставропольского государственного университета), А.А. Градинарова (Ph.D., Associate Prof. Faculty of Slavic Studies, Sofia University).

Предназначена для специалистов по языковой типологии и лингвистов других специальностей.

ISBN 978-5-9926-0216-6

© Издательский дом
«Астраханский университет», 2008

© Е. В. Зарецкий, 2008

© Л. М. Коваль,

В. Б. Свиридов, дизайн обложки, 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
Глава 1. Синтетические и аналитические языки	8
1.1. Основные характеристики синтетических и аналитических языков	8
1.2. Причины эволюции языкового строя	23
Глава 2. Безличные конструкции как наследие индоевропейского языка	31
2.1. Имперсонал как наследие доминативного строя	31
2.2. Характеристики эргативных языков.....	51
2.3. Характеристики активных языков	75
2.4. Прочие теории возникновения имперсонала	136
Глава 3. Форма 3 л. ед. ч. ср. р.: типология или мифология?	149
3.1. Формальное подлежащее и глагольная флексия 3 л. ед. ч. ср. р.	149
3.2. Конструкции типа <i>Его убило молнией</i>	159
Глава 4. Пассив в английском языке как функциональное соответствие русским безличным конструкциям	165
4.1. Безличные конструкции с постфиксом <i>-ся</i>	165
4.2. Имперсонал, пассив и стилистика	176
4.3. Причины высокой частотности пассива в английском языке.....	179
Глава 5. Датив в безличных конструкциях разных языков	200
5.1. Датив в английском языке	200
5.2. Дативные конструкции в некоторых других языках	215
5.3. Датив для оформления опатива	219
5.4. «Пророческое будущее»	227
5.5. Инфинитивные конструкции с дативом.....	237
Глава 6. Мифологичность сознания по данным социологии	249
6.1. Статистические данные.....	249
6.2. Доктрина предопределения в кальвинизме	255
6.3. Секуляризация и языковой «фатализм»	264
Глава 7. Теории исчезновения безличных конструкций в индоевропейских языках (на примере английского языка).....	267
Глава 8. Тема / рема и порядок слов: связь с имперсоналом	297
8.1. Универсальный принцип «тема > рема»	297
8.2. Маркированность / натуральность подлежащего.....	315
8.3. Становление жёсткого порядка слов	319

Глава 9. Влияние субстрата на сферу употребления имперсонала: русский и английский	328
9.1. Колонизация территории России и её языковые последствия.....	328
9.2. Колонизация Британских островов и её языковые последствия	338
Глава 10. Безличные конструкции в языках мира: обзор	345
10.1. Синтетические языки индоевропейского происхождения	345
10.2. Аналитические языки индоевропейского происхождения	367
10.3. Неиндоевропейские языки.....	399
Глава 11. Взаимосвязь имперсонала и национального характера: опрос лингвистов и культурологов	404
Глава 12. Культурологический анализ сферы безличности в других языках	412
Глава 13. Разбор других доказательств русской иррациональности и пассивности	425
13.1. Пословицы и высокочастотная лексика	425
13.2. Цитаты из классической литературы	443
Глава 14. Альтернативные культурологические объяснения безличных конструкций	458
14.1. Принцип скромности.....	458
14.2. Коллективизм.....	465
14.3. Фемининность	479
Глава 15. Выводы	484
Приложение 1. Некоторые синтетические языки мира	493
Приложение 2. Догмат о предопределении и фатализм мышления западного человека	498
Приложение 3. Модальные глаголы в синтетических и аналитических языках	502
Приложение 4. Этимология 500 наиболее высокочастотных существительных русского, немецкого и английского языков	507
Библиографический список	521
Принципы издания	562
Список сокращений	563

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью данной работы является подробное рассмотрение безличных конструкций русского языка с точки зрения лингвистической и культурологической типологии. Прежде всего мы попробуем ответить на следующие вопросы.

1. Почему в русском языке сфера безличности шире, чем в большинстве западных языков индоевропейского происхождения?
2. Когда возникли безличные конструкции?
3. Что объединяет языки, где такие конструкции практически не встречаются?
4. Чем компенсируется их отсутствие?
5. Связана ли грамматическая категория безличности с особенностями национального характера?

На последний вопрос будет обращено особое внимание, поскольку именно он обсуждается с 1991 г. наиболее активно. Если раньше распространённость безличных конструкций в русском языке объяснялась в рамках языковой типологии, то в последнее время приобрели популярность культурологические теории, приверженцы которых ищут объяснение данному феномену в иррациональности менталитета русского народа, в его пассивном отношении к жизни и в фатализме. Примером могут служить приведенные ниже фрагменты.

“Is there any connection between stixijnost, the anarchic (and at the same time fatalistic) Russian soul, or the novels of Dostoevskij, and the profusion of the [impersonal – E.3.] constructions in Russian syntax that acknowledge the limitation of human knowledge and human reason, and our dependence on "fate", and hint at subterranean uncontrollable passions that govern the lives of people?” (Wierzbicka, 1988, p. 233).

«Уже стало своего рода традицией противопоставлять русский языковой тип мышления англосаксонскому по признаку "активность, деятельность, контроль над ситуацией" и "пассивность, отсутствие контроля, неволевитивность чувства" [...]. Категория неопределённости как семантического признака русской языковой картины мира представлена различными способами. Один из наиболее продуктивных – синтаксический способ. В русском языке существует ряд конструкций, в которых агенс, деятель устранён из позиции подлежащего: неопределённо-личная, безличная, инфинитивная, пассивная. Все эти конструкции объединяет один общий признак, их одинаковое назначение: они концентрируют внимание на самом действии, а не на его производителе» (Треблер, 2004, с. 147).

«Рассматриваемые языковые конструкции не только не проявляют признаков утраты продуктивности, но, напротив, продолжают развиваться, захватывая всё новые и новые области и постепенно вытесняя личные предложения. Это вполне согласуется с общим направлением эволюции русского синтаксиса, отражающего рост и всё более широкое распространение всех типов безличных предложений, представляющих события не полностью постижимыми. Русский язык отражает и всячески поощряет преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как совокуп-

ность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому уразумению, причём эти события, которые человек не в состоянии до конца постичь и которыми он не в состоянии полностью управлять, чаще бывают для него плохими, чем хорошими» (Захарова, 2003, с. 176).

«О пристрастии русского синтаксиса к безличным оборотам написано много. В этой особенности грамматики русского языка видят и фатализм, и иррациональность, и алогичность, и страх перед неопознанным, и агностицизм русского народа. Возможно, в этом и есть что-то правильное» (Тер-Минасова, 2000, с. 214).

«На некий национальный фатализм указывают и множественные инфинитивные конструкции русского языка, значение которых связано с необходимостью, но в состав которых не входят слова *не могу, обязан, должен*. Например: *Не бывает Игорю на Руси святой*» (Чернявская, 2000).

«Дар созерцательности, "переживания мира" важнее для русских, чем понимание, осознание. Это особенно ярко проявляется в истории религии: если европейцам важно понимать, во что они верят (отсюда хорошо развитая рационалистическая теология), то русским важно, прежде всего, чувствовать Бога (что проявилось в превалировании мистического опыта над рациональным). Противопоставление западного "фаустовского", рационального типа сознания восточному (в том числе русскому) созерцательному – общее место сравнительной культурологии, но мне кажется, что оно важно для Вашей темы [соотношения имперсонала и типа культуры – Е.З.]. Эта особенность обуславливает "иконический" (то есть образный) характер русского сознания, его склонность к ассоциативному метафорическому мышлению. Художественная и "сердечная" одаренность русских как проявление созерцательной и эмоциональной доминанты в национальном характере – вот что может отражаться в безличных конструкциях. Положительные стороны созерцательности очевидны в художественной и отчасти духовной сфере России, но они же оборачиваются негативными сторонами (безволием, иррациональностью и пр.) в политической жизни» (Е.И. Волкова, доктор культурологии, кандидат филологических наук МГУ; получено по электронной почте в августе 2007 г.).

«Думаю, в выводе Анны Вежбицкой и большинства постсоветских ученых есть определенная логика. "Мне думается" менее волитивно, чем "я думаю". Передача субъектности от подлежащего дополнению – важный признак, и если есть достаточная статистика в отношении этого рудимента, то вывод А. Вежбицкой о характерных чертах русского народа – иррациональности, фатализме, безволии, пассивном коллективизме и т.п. – интересен. Решает статистика [...]. Склонные к самоизоляции языки (культуры), исландский и русский, дольше удерживают остаточные безличные конструкции, то есть те рудиментные элементы языка, которые обращены к потусторонности. И наоборот, открытые и, следовательно, развивающиеся языки (культуры) легче "вымывают" из себя рудименты» (А.П. Давыдов, доктор культурологии, кандидат исторических наук Института социологии Российской академии наук; получено по электронной почте в августе 2007 г.).

«Псевдоагентивность рассматривается как культуроспецифичная для русского языка категория, заключающая в своей семантике ряд идей, которые представляют русскую картину мира (неконтролируемость действия / состояния агенсом; иррациональность; идею непредсказуемости мира; пассивную позицию человека в пространстве внешней среды; детерминированность мироустройства и пр.). Грамматически эти идеи оформлены в безличную конструкцию, которая выделяется в качестве центрального компонента микрополя псевдоагентивности...» (Устинова, 2007, с. 17).

Хотя чрезвычайно широкую сферу употребления безличных конструкций в русском языке отрицать невозможно, было бы, на наш взгляд, некорректно связывать её развитие исключительно с воздействием «иррационального» русского менталитета. Существует целый ряд факторов, которые также возымели своё действие в данном случае:

- деноминативный строй индоевропейского праязыка (вероятно, активный¹);
- синтетичность русского языка (склонность к синтезу в противовес склонности к анализу);
- слабое использование пассива (по сравнению с более анализированными индоевропейскими языками и особенно с английским);
- относительно свободный порядок слов, позволяющий ставить дополнение перед подлежащим (этот пункт можно считать следствием сохранения падежной системы);
- влияние финно-угорского субстрата.

¹ Определение языка активного строя: «Активный строй можно коротко определить как такой тип языка, структурные компоненты которого ориентированы на передачу не субъектно-объектных отношений, а отношений, существующих между активным и инактивным участниками пропозиции. В соответствии с этим глаголы лексикализованы в нём по признаку активности / стивности действия, а не транзитивности / интранзитивности, а субстантивы разделены на активные (одушевлённые) и инактивные (неодушевлённые). Соответственно, в синтаксисе здесь выступает корреляция активной и инактивной конструкций предложения, а также ближайшего и дальнейшего дополнений, и в морфологии – оппозиция активной и инактивной серий личных показателей глагола или активного и инактивного падежей имени и т.п.» (Климов, 1977, с. 4). “Scholars, such as Klimov, Sapir, Anderson and Blake, claim that a different system exists apart from that which is most well-known (i.e. accusative and ergative), which is known as active alignment. This alignment splits the intransitive subject into two groups, often the active-cum-pseudotransitive subject and the stative/inactive-cum-transitive object. Therefore, it has been named as a split-intransitive language or split-S language. This type of alignment has sometimes been considered under the label of ergative alignment, but this distinction is inaccurate, since it is not exactly the same as ergative alignment [...]. What is not conventional here is the division of the intransitive subject into two types. This affects the active, but not the accusative or ergative alignment. What is peculiar about the active alignment is that the distinction based on the stative/dynamic or active/inactive distinction is made within the intransitive verbs and the subject of the stative intransitive and the object of the transitive share the same grammatical case marking” (Toyota, 2004, p. 2).

Глава 1

СИНТЕТИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ

1.1. Основные характеристики синтетических и аналитических языков

Исчезновение безличных конструкций в языках индоевропейского происхождения представляется нам, в первую очередь, следствием анализа, то есть перехода от синтетического строя к аналитическому. Для языков, тяготеющих к аналитическому устройству (французского, английского, итальянского, испанского, болгарского, датского), характерно выражение грамматических значений не формами самих слов, а интонацией предложения, служебными словами при знаменательных словах и порядком знаменательных слов. В синтетических языках (русском, древнегреческом, латинском, старославянском, литовском), напротив, грамматические значения выражаются в пределах самого слова (аффиксацией, внутренней флексией, ударением, супплетивизмом и т.д.). А.В. Шлегель называл следующие основные характеристики аналитических языков: 1) использование определённого артикля; 2) использование подлежащего-местоимения при глаголе; 3) использование вспомогательных глаголов; 4) использование предлогов вместо падежных окончаний; 5) использование перифрастических степеней сравнения с помощью наречий (Siemund, 2004, S. 170). Поскольку многие безличные конструкции являются наследием синтетического индоевропейского праязыка (см. ниже), их структура подразумевает существование обширной падежной системы, позволяющей чётко различать подлежащее и дополнение. При исчезновении соответствующих флексий неизменно выходят из употребления и зависящие от них имперсональные конструкции. Те же, которые не зависят от разграничения субъекта и объекта, сохраняются (в частности, погодные типа *Морозит*), что противоречит тезису о смене иррационального типа мышления рациональным, якобы отразившейся в исчезновении имперсонала.

Если сравнить современный английский со значительно более синтетичным древнеанглийским, окажется, что почти исчезнувшие на сегодня безличные обороты употреблялись раньше в несоизмеримо большем объёме. Вот некоторые из них.

Природа:

Hit friest (Морозит); *Hit winterlǣseþ* (Холодаёт, наступает зима); *Nit hāgolað* (Идём град); *Hit rīnð* (Идём дождь); *Hit snīwð* (Идём снег); *Hit blǣwð* (Дует (ветер)); *Hit styrmð* (Штормит); *Hit līeht* (Сверкает (молния)); *Hit þunrað* (Гремит (гром)); *Hit (ge)wideraþ* (Распогодилось); *Hit lēoh-tað / frumlēht / dagað* (Светаёт); *Hit æfenlǣscð / æfnað* (Вечереет) и т.д.

Физические и ментальные состояния:

Him cǣlð (Ему холодно); *Him swiercð* (У него потемнело перед глазами); *Hit turnef abūtan his hēafod* (У него кружится голова); *Hine æс(e)þ* (Ему больно); *Hit (be)сумð him tō ādle / geуfelað* (Он заболел); *Hine hуngreð* (Ему хочется есть); *Hine þуrst(eð)* (Ему хочется пить); *Him (ge)līсаð* (Ему нравится); *Him gelustfullað* (Ему радостно); *Him (ge)lyst(eð)* (Ему хочется); *Hine (ge)hrīewð / hrēowsað* (Он раскаивается); *Him (ge)scamaþ* (Ему стыдно); *Hine þrīet* (Ему надоело); *Him ofруnceð* (Ему горестно, неприятно); *Him (ge)tætt(eð) / (ge)swefnað* (Ему снится); *Him (ge)þуnc(e)ð* (Ему кажется); *Him misþуnc(e)ð* (Он заблуждается); *Him (ge)twēoð / (ge)twēonað* (Он сомневается) и т.д.

Модальные значения:

(Hit) Behōfað / (ge)nēodað / beþearf (Надо); *Gebyreð / gedafenað / belim(e)ð / gerīst* (Следует), *Liefð* (Можно) и т.д.

Всего в книге Н. Валена «Древнеанглийские безличные глаголы», откуда взяты эти примеры, описан 121 глагол с безличными значениями (у некоторых их было несколько), из них 17 глаголов помечены “uncertain impersonalia” (Wahlen, 1925). Достаточно подробный список безличных глаголов, употреблявшихся в различные периоды истории в английском языке, можно найти также в книге «Диахронный анализ английских безличных конструкций с экспериенцером» (Krzyszpień, 1990, p. 39–143). Все глаголы употреблялись в форме 3 л. ед. ч., то есть той же, что и в русском (McCawley, 1976, p. 192; Rocheptsov, 1997, p. 482). Субъекты при них, если таковые вообще присутствовали, стояли в дативе или аккузативе. Конструкции, не требовавшие дативных и аккузативных субъектов, в большинстве своём сохранились по сей день, остальные же, за редкими исключениями, исчезли, поскольку не вписывались в новый порядок слов «подлежащее (ном.) > сказуемое > дополнение (акк.)».

Как видно по переводам, у некоторых безличных конструкций древнеанглийского языка в русском нет точных эквивалентов, из-за чего для передачи их смысла были использованы личные конструкции. Хотя список этот далеко не полный, есть все основания полагать, что сфера безличности всё же была даже в древнеанглийском значительно менее развита, чем в современном русском. Обусловлено это, однако, не особенностями национально-го характера германцев, а значительной степенью аналитизации древнеанглийского. Падежей в нём было не шесть, как в древнерусском, русском и протогерманском языках (Ringe, 2006, p. 233; Букатевич и др., 1974, с. 119; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 177; Bomhard, Kerns, 1994, p. 20), и не восемь, как в индоевропейском языке (номинатив, вокатив, аккузатив, датив, генитив, инструменталис, аблатив и локатив) («Атлас языков мира», 1998, с. 28; “The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 47–48; Brugmann, 1904, S. 417–445; Mallory, Adams, 2006, p. 56; Hudson-

Williams, 1966, p. 46; Green, 1966, p. 10; Emerson, 1906, p. 160), а всего четыре (с остатками пятого); уже тогда, как видно по примерам из первой группы, применялось, хотя и не всегда, формальное подлежащее *it* (д.-англ. *hit*); уже тогда зарождались артикли и прочие служебные слова, а двойственное число встречалось только в нескольких окостенелых формах (Jespersen, 1918, p. 24; Jespersen, 1894, p. 160; Emerson, 1906, p. 182; Moore, 1919, p. 49; Mitchell, Robinson, 2003, p. 19, 106–107; Аракин, 2003, с. 73–74, 143)¹. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что даже древнеанглийский отстоит от индоевропейского праязыка значительно дальше, чем современный русский. Этим обстоятельством отчасти обусловлено и меньшее количество безличных конструкций. Подчеркнём, однако, что наиболее активная фаза анализизации датируется 1050–1350 гг., причём именно степенью синтетизма / анализизма среднеанглийский наиболее отличается от древнеанглийского (Janson, 2002, p. 157; Meiklejohn, 1891, p. 317–318), называемого также «периодом полных окончаний» (Kraap, 1909, p. 62).

По методике типологических индексов Дж. Гринберга индекс синтетичности английского языка имеет значение 1,62–1,68, русского – 2,45–3,33 (для сравнения: древнецерковнославянского – 2,29, финского – 2,22, санскрита – 2,59, пали – 2,81–2,85, якутского – 2,17, суахили – 2,55, армянского – 2,15, турецкого – 2,86) (Зеленецкий, 2004, с. 25; Naarmann, 2004, S. 79; Siemund, 2004, S. 193; Саркисян, 2002, с. 10; Pirkola, 2001). Методика состоит в том, что на отрезке текста, содержащем 100 слов, фиксируются и подсчитываются все случаи того или иного языкового явления; в данном случае – число морфем, которое затем делится на 100. Языки со значением между 2 и 3 считаются синтетическими, более 3 – полисинтетическими, менее 2 – аналитическими. Максимум синтетизма в европейских языках наблюдается в готском (2,31), вообще в языках мира – в эскимосском (3,72), минимум синтетизма – во вьетнамском (1,06). Подсчёты проводились далеко не по всем языкам. Анализизация некоторых индоевропейских языков видна по следующим данным: в древнеперсидском индекс синтетичности составлял 2,41, в современном персидском – 1,52; в древнегреческом – 2,07, в современном греческом – 1,82; в древнеанглийском индекс синтетичности равнялся 2,12, в современном английском – максимум 1,68 (Naarmann, 2004, S. 72). Подсчёт системного индекса синтетизма глаголов (временных форм) показал, что для русского он составляет 0,8, для английского – 0,5, для ещё более аналитичного африкаанс – 0,2; по развитию глагольного анализизма среди индоевропейских языков лидируют германские (Зеленецкий, 2004, с. 182). Индоевропейский праязык был синтетическим, в чём, согласно И. Баллес, на нынешнем этапе исследований уже никто не сомневается (Hinrichs, 2004 b, S. 19–20, 21; ср. Naarmann, 2004, S. 78; “The Oxford History of English”, 2006, p. 13).

¹ Подробнее об этом см. в главе «Безличные конструкции в языках мира: обзор».

По шкале флективности А.В. Широковой русский относится ко второй группе (флективные языки с отдельными чертами аналитизма). В данную группу входит большинство славянских языков. Английский относится к четвертой группе (флективно-аналитические с большим количеством аналитических черт) (Широкова, 2000, с. 81). Всего Широкова различает четыре степени аналитизма. Английский относится к группе наиболее аналитизированных языков. К наиболее флективным (первая группа) относятся только вымершие языки: древнеиндийский, древнеиранский, латынь, старославянский. Самым архаичным в плане сохранности падежной системы считается литовский язык (Comrie, 1983, p. 208; ср. Jespersen, 1894, p. 136), в нём используется семь падежей.

Заметим, что сокращение числа падежей (а вместе с тем и флексий) наблюдается во всех индоевропейских языках, но в славянских, балтийских, армянском и осетинском языках – в меньшей степени, чем, например, в романских и германских (Востриков, 1990, с. 43). Предположительная причина этой консервативности – языковые контакты с некоторыми неиндоевропейскими языками, также имеющими богатую систему флексий (согласно Г. Вагнеру, «каждый язык находится в типологическом родстве с соседним языком» (цит. по: Naarmann, 2004, S. 75)). В случае армянского и осетинского речь идёт о контактах с кавказскими языками, в случае славянских и балтийских языков – с финно-угорскими. Вполне вероятно и действие других факторов, о которых будет сказано далее. У. Хинрихс также указывает на возможное взаимовлияние финно-угорских языков (эстонского, финского, венгерского и других) и славянских (русского, словенского, чешского и других), благодаря которому обеим группам удалось сохранить высокую степень синтетизма, сопоставимую только с синтетизмом исландского вне этой зоны (Hinrichs, 2004 b, S. 19–20). Особенно «антианалитичным» оказался русский язык, по некоторым характеристикам даже удаляющийся от остальных индоевропейских языков в сторону большего синтетизма. Максимальную степень аналитизма Хинрихс отмечает у креольских языков, а также у некоторых африканских (Hinrichs, 2004 b, S. 21). Это важное замечание, если учитывать, как часто аналитическому строю приписывали выражение прогрессивности мышления, рациональности, активного отношения к жизни и т.п. Например, в языке йоруба бенуэ-конголезской семьи (Западная Африка) индекс синтетичности по Гринбергу составляет 1,09 (Pirkola, 2001).

Х. Хаарман противопоставляет (в мировом масштабе) особо синтетические языки типа финского, русского и баскского особо аналитическим типа английского, французского и шведского (Naarmann, 2004, S. 76). Среди балтийских особо консервативным он называет литовский язык, среди германских – исландский; славянские языки являются, по его мнению, особо консервативными по сравнению с современным английским из-за влияния уральских языков (Naarmann, 2004, S. 79, 83).

Рассмотрим разницу между аналитическими и синтетическими языками на конкретных примерах. Для выражения идентичного смыслового содержания в английском тексте требуется примерно на 10 % больше слов, чем в синтетическом армянском, так как в английских текстах служебные слова составляют одну треть всех слов, а в армянских – одну четверть (Саркисян, 2002, с. 5). Предлоги составляют 12 % слов в среднем английском тексте и 6,5 % – в армянском. Л. Вайсгербер в книге «О картине мира немецкого языка» приводит следующие данные: французские переводы немецких стихов обычно содержат на 11 % больше слов, чем оригинал. Объясняется это тем, что французский язык является значительно более аналитичным, а потому склонным к применению служебных слов вместо падежных окончаний. Вместо генитива и датива переводчики используют предлоги *de* и *à*; немецкие композиты заменяются словосочетаниями, также скреплёнными предлогами (*Eisenbahn* > *chemin de fer* – «железная дорога») (Weisgerber, 1954, S. 251). Аналогичные трансформации можно наблюдать и при переводе с древнеанглийского на современный английский:

1) вместо падежных окончаний используются предлоги или союзы: *metodes ege* > *fear of the Lord* – «страх перед Господом» (генитив сменился на предлог *of*), *dæges ond nihtes* > *by day and night* – «днём и ночью» (генитив сменился на предлог *by*), *ðære ylcan nihte* > *in the same night* – «той же ночью» (датель сменился на предлог *in*), *lytle werode* > *with a small band* – «с небольшим отрядом» (инструментальный падеж сменился на предлог *with*), *þy ilcan geare* > *in the same year* – «в тот же год» (инструментальный падеж сменился на предлог *in*); *sunnan beorhtra* > *brighter than the sun* – «ярче солнца» и *Ic eom stāne heardra* > *I am harder than stone* – «я твёрже камня» (в обоих случаях датель был компенсирован союзом *than*) (Mitchell, Robinson, 2003, p. 105–106; ср. Kington Oliphant, 1878, p. 8; Crystal, 1995, p. 44; Kellner, 1892, p. 17);

2) древнеанглийские композиты распадаются в современном английском на составные части или перефразируются: *hell-waran* > *inhabitants of hell*, *storm-sæ* > *stormy sea*, *ær-dæg* > *early day*, *eall-wealda* > *ruler of all*, *hēah-ġerēfa* > *high reeve (chief officer)* (Mitchell, Robinson, 2003, p. 56; Bradley, 1919, p. 105–106); многие вышли из употребления под давлением французской лексики: *fore-elders* > *ancestors*, *fair-hood* > *beauty*, *wanhope* > *despair*, *earth-tilth* > *agriculture*, *gold-hoard* > *treasure*, *book-hoard* > *library*, *star-craft* > *astronomy*, *learning-knight* > *disciple*, *leech-craft* > *medicine* (Eckersley, 1970, p. 428; Bradley, 1919, p. 118–119).

Это, однако, отнюдь не должно означать, что современному английскому чужды композиты (напротив, среди неологизмов они всегда представляли самую большую группу (Gramley, Pätzold, 1995, p. 23, 28)), но если раньше активно использовались слитные композиты типа *godfish*, то сейчас – аналитические типа *dog and pony show*.

С другой стороны, синтетические языки более склонны к применению аффиксации (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 109, 173–174, 190; Schneider, 2003, S. 76, 123; Гринберг, 1963). По данным Л.В. Саркисян, в среднестатистическом армянском тексте число используемых моделей морфемного строения в

1,5 раза больше, чем в английском (49 моделей в армянском, 32 модели в английском) (Саркисян, 2002, с. 8). После рассмотрения подробной статистики по различным частям речи автор приходит к выводу: «Таким образом, ограничение аффиксации, во всяком случае материально выраженной, в аналитическом английском является общей тенденцией и распространяется как на знаменательные, так и на служебные слова, что отчётливо выявляется в сравнении с армянским» (Саркисян, 2002, с. 10). Если класс немецких глагольных префиксов представлен всего 8 единицами, то «Грамматика русского литературного языка» (М., 1970) перечисляет 23 единицы; если в классе имён существительных русского языка насчитывается около 100 суффиксов, то в немецком их менее 50; у прилагательных это соотношение составляет 30 к 9 (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 181–182). В английском насчитывается около 50 более или менее употребительных приставок и несколько меньше употребительных суффиксов (Crystal, 1995, p. 128), то есть в английском для всех частей речи используется примерно столько же аффиксов, сколько в русском только для существительных (около 100). По данным К.К. Швачко, из 100 существительных на долю образованных присоединением к производящей основе суффикса и префикса в среднем приходится в английском языке 1–2, в русском и украинском языках – 4–5; шире в русском и украинском представлены как суффиксация, так и префиксация (Швачко и др., 1977, с. 32). Если в немецком языке диминутивные суффиксы ещё встречаются (хотя и нечасто по сравнению с русским), то в более аналитическом шведском (также один из германских языков) уменьшительные формы отсутствуют практически полностью (Weisgerber, 1954, S. 46). Однако тот факт, что в синтетическом древнеанглийском уменьшительно-ласкательные суффиксы почти не употреблялись (Bradley, 1919, p. 138), может служить свидетельством первоначальной несклонности некоторых германских языковых сообществ к определённым видам деривации, обусловленной, возможно, особенностями менталитета или альтернативными способами выражения тех же значений¹. Несклонность к аффиксации в какой-то мере компенсируется активным словосложением. Так, частота употребления композитов в английской художественной литературе примерно в два раза выше, чем в русской и украинской (Швачко и др., 1977, с. 33). Несклонность к аффиксации проявляется также в распространённости грамматической омонимии. Например, в среднестатистическом армянском тексте омонимы потенциально возможны у 20,8 % слов, в английском тексте – у 34,4 % (Саркисян, 2002, с. 6). В английском омонимов больше, чем в немецком (Pirkola, 2001).

¹ Можно также предположить, что сохранность диминутивных и аугментативных суффиксов в русском языке является свидетельством активного строя индоевропейского праязыка (об активном строе см. ниже): в активных языках обычно отсутствуют прилагательные, из-за чего различные суффиксы оценки употребляются особенно интенсивно, ср. *маленький дом – домик, большой дом – домина* (Климов, 1977, с. 107). Именно в морфологии, как полагает Г.А. Климов, пережитки активного строя могут сохраняться дольше всего (Климов, 1977, с. 172). В русском, как и в украинском, суффиксы субъективной оценки (уменьшительные, увеличительные и пренебрежительные) представлены шире, чем в английском (Швачко и др., 1977, с. 27). Нам кажется, однако, что значительно более вероятным объяснением этого феномена является склонность славян к эмоциональности и открытости в противовес английскому *understatement*.

О большей степени аналитизма английского языка свидетельствуют также следующие цифры. По степени возрастания частотности употребления связочных слов в речи среди русского, украинского и английского языков лидирует английский: в русском они составляют 26,4 % всех слов в художественных текстах, в украинском – 24,9 %, в английском – 36,5 % (Швачко и др., 1977, с. 45). Более активное применение модальных вспомогательных глаголов в языках аналитического строя проиллюстрировано в приложении 3. Полнозначные слова, напротив, встречаются в английском реже: в русском они составляют 54,4 % всех слов в среднестатистическом тексте художественной литературы, в украинском – 55,8 %, в английском – 44,1 %. Соотношение флективных слов и предлогов в русской и украинской художественной литературе выражается соответственно как 26 : 6 и 16 : 5; в английской – 3 : 6 (Швачко и др., 1977, с. 126). Это значит, что в английском языке часто употребляются предлоги, в то время как славянские языки в тех же случаях прибегают к окончаниям. Прямой порядок слов наблюдается в русской художественной литературе примерно в 59 % предложений, в украинской – в 53 %, в английской – в 80 %. Соотношение предложений с прямым и обратным порядком слов составляет в русской художественной литературе 1,5 : 1, в украинской – 1,1 : 1, в английской – 4 : 1, то есть на четыре предложения с прямым порядком слов приходится одно с обратным (Швачко и др., 1977, с. 126–127; ср. “Languages and their Status”, 1987, р. 99). Для русского и украинского более характерны личные предложения типа *Впервые вижу такую грозу*, где опущенное подлежащее может быть восстановлено по окончанию глагола (Швачко и др., 1977, с. 138; Зеленецкий, 2004, с. 216–127; Мразек, 1990, с. 26). Так, если в английском языке предложения без подлежащих встречаются лишь в единичных случаях, то в русской разговорной речи на два предложения с подлежащим приходится одно бесподлежащее, даже если не учитывать безличные конструкции (подсчёт проведен В. Хонселааром по пьесе Исидора Штока «Это я – ваш секретарь!», 1979 г., в которой, по мнению автора, хорошо представлена современная разговорная русская речь; всего было проверено 1669 финитных форм глагола (Honselaar, 1984, р. 165, 168)). Если в немецком используются три вспомогательных глагола (*sein, werden, haben*), то в русском – только один (*быть*), что А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов связывают с большим аналитизмом немецкого языка (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 208). “Concise Oxford Companion to the English Language” перечисляет 16 вспомогательных глаголов в английском: *to be, have, do, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare, need, ought to, used to*; четыре последних называются полумодальными (McArthur, 1998, р. 57). Крупнейший немецкий словарь “Muret-Sanders e-Großwörterbuch Englisch” перечисляет 12 английских и 4 немецких вспомогательных глагола. М. Дейчбейн полагает, что английский глагол *to want* (*хотеть*) в контекстах типа следующих также используется в качестве мо-

дального: *It wants to be done with patience* (Этим надо заниматься терпеливо); *The collars want washing* (Воротнички надо постирать); *What he wants is a good beating* (Что ему надо, так это чтобы ему задали хорошей трепки) (Deutschbein, 1953, S. 100).

Степень синтетизма напрямую связана и со средней длиной слова (из-за более активного применения аффиксации и окончаний в синтетических языках): в русском она составляет 2,3 слога, в более аналитичном немецком – 1,6 слога, в ещё более аналитичном французском – 1,5 слога, в английском – 1,4 слога (Зеленецкий, 2004, с. 65) (по подсчётам Л.В. Саркисян, средняя длина английского слова составляет 1,34 слога (Саркисян, 2002, с. 15)). Ещё более «лаконичен» изолирующий китайский, где флексий нет вообще, то есть падеж, род и число практически не маркируются (Yinghong, 1993, S. 36, 38; Jespersen, 1894, p. 80), композиты почти не встречаются (Champneys, 1893, p. 58–59)¹, а каждое слово состоит из одного слога и двух или трёх первичных фонем (Блумфилд, 2002, с. 192; Jespersen, 1894, p. 80). Если Евангелие на греческом содержит 39 000 слогов, Евангелие на английском – 29 000, то Евангелие на китайском – всего 17 000 (Jungraithmayr, 2004, S. 483). Изолирующие языки, к которым относится китайский, часто рассматриваются в качестве наиболее полного выражения аналитического строя. Дж. Миклджон отмечал, что существует целый пласт английской детской литературы, где все слова состоят из одного слога (для облегчения понимания), и что писать такие книги на английском несоизмеримо легче, чем на других индоевропейских языках (Meiklejohn, 1891, p. 322; ср. Bradley, 1919, p. 50–51, 77; Широкова, 2000, с. 137). По данным Л.В. Саркисян, простые слова в английском тексте составляют почти $\frac{4}{5}$ от всех слов текста, в армянском же к простым словам принадлежит только половина всех слов (Саркисян, 2002, с. 7–8). Для существительных эти показатели составляют 75 % в английском и 30 % в армянском, для глаголов – 80 % и 6 %. В армянском слово может содержать до 7 морфем (у частотных слов – не более четырёх), в английском – до 5 морфем (у частотных – не более двух). Диапазон длины слова в синтетическом армянском больше, чем в аналитическом английском: до 7 слогов в армянском, до 5 – в английском (Саркисян, 2002, с. 13). В русском языке односложных слов сравнительно мало, хотя и в славянских языках наблюдалось отмирание флексий: сначала при отпадении конечных согласных благодаря действию закона открытого слога, затем – благодаря осуществившемуся в конце общеславянского периода падению редуцированных кратких гласных – еров (Иванов, 2004, с. 40). Для сравнения: на каждые 100 словоформ в английском языке в среднем приходится 56 однослож-

¹ Есть и другие сведения: «...большая часть словарного запаса современного китайского состоит из композитов» (Yinghong, 1993, S. 39); в данном случае речь идёт о более широком толковании термина «композит», включающем редупликацию, слитие глагола с объектом, слитие субъекта с предикатом и т.д.

ных, в то время как в русском и украинском языках их число равно 10 (Швачко и др., 1977, с. 13–14). В «Энциклопедии языка и лингвистики» отмечается, что слова во флективных языках длиннее слов в изолирующих языках и короче слов в агглютинативных языках; средняя длина слов во флективных языках – 2–3 слога (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 6952). Одна из универсалий «Архива универсалий» университета Констанц гласит: “Words tend to be longer if constituent order is free than if it is rigid” (“The Universals Archive”, 2007), что мы и наблюдаем в случае жёсткого порядка слов в английском и относительно свободного в русском.

О связи имперсонала с количеством падежей скажем особо. С. Гримм пишет в статье “Subject-marking in Hindi/Urdu: A study in case and agency”, что исследования безличных конструкций в различных языках мира позволяют увидеть следующую универсальную тенденцию: если в том или ином языке развита падежная система, то высока вероятность оформления субъекта с низкой агентивностью или субъекта, подвергающегося какому-то воздействию, альтернативным падежом, не являющимся стандартным падежом подлежащего (Grimm, 2006, p. 27). В частности, у склонных к нестандартному оформлению субъектов может отсутствовать какое-то из следующих качеств или их комбинация: волитивность, осознанность совершаемого действия, воздействие на что-то при сохранении своих качеств, движение. Носители любого языка ставят под сомнение агентивность субъекта, если он не отдаёт себе отчёта в своих действиях (или находится в каком-то состоянии вопреки своей воле), не действует намеренно, по своему желанию, заметно для окружающих, с явным результатом для какого-то объекта и без видимого обратного воздействия на себя самого (Grimm, 2006, p. 29). Если субъект оформлен дативом, это может свидетельствовать об относительно пассивном характере субъекта, об осознанности воздействия на него и изменении каких-то его качеств. Например, в хинди и урду дативом оформляются субъекты при глаголах восприятия, мыслительной активности, долженствования, принуждения, потребности, необходимости и т.п., то есть при явном воздействии на человека извне каких-то обстоятельств, сил или других людей. Зачастую можно выбрать один из двух вариантов одной и той же конструкции, где номинативный обозначает в зависимости от контекста наличие или отсутствие волитивности, а дативный – только отсутствие волитивности: хинди *Tuṣaar k^huṣ huaa* (Тушар стал счастливым) (ном.) – *Tuṣaar^{ko} k^huṣii huii* (Тушар стал счастливым), дословно (Тушару случилось счастье) (дат.) (Grimm, 2006, p. 34). Важно отметить, что номинатив вовсе не маркирует агентивность, а только подразумевает её в определённом контексте; Гримм пишет по этому поводу: «В отличие от других падежей, номинатив может маркировать любую степень агентивности, то есть он не является маркером агентивности» (Grimm, 2006, p. 35). Это замечание позволит нам далее разобраться, поче-

му номинативные языки¹ типа английского вовсе не так агентивны, как утверждают многие современные этнолингвисты, исходя исключительно из оформления субъектов номинативом. Решающую роль играет не падеж субъекта, а контекст, и этот контекст может указывать на неволевитивность действия или состояния субъекта вопреки оформлению именительным или общим падежом. Тот факт, что номинативные языки не могут маркировать эту разницу в значениях грамматически, свидетельствует об ограниченности языковых средств, о давлении языковой системы на носителей соответствующего языка, но никак не об их большей агентивности. Примечательно, что в языках, где смешались эргативные² и номинативные структуры, для выражения большей степени волевитивности / агентивности зачастую применяется эргативный падеж.

М. Ониши сообщает о следующих универсальных закономерностях употребления безличных конструкций. В языках, где падежная система позволяет разграничивать стандартное и нестандартное оформление субъекта, нестандартное оформление часто встречается в случае так называемой низкой транзитивности, то есть когда, например, субъект неодушевлён или неясен, неопределён, а также в имперфекте, при стативном значении, в сослагательном наклонении (Onishi, 2001 а, р. 5; ср. Haspelmath, 2001, р. 56). Под стативным значением автор подразумевает описание состояний в противовес описанию действий. Чтобы пережить какое-то состояние, субъекту не требуется столько же воли и воздействия на внешний мир, сколько для производства какого-то действия; более того, субъект состояния часто мо-

¹ Номинативный строй предложения характеризуется одинаковостью оформления подлежащего независимо от значения и формы глагола. Глагол либо не согласуется с другими членами предложения вообще, либо согласуется только с подлежащим, которое при наличии в данном языке изменения по падежам ставится в именительном падеже. Английский является наиболее номинативным из всех европейских языков и одним из наиболее номинативных среди всех индоевропейских (Зеленецкий, 2004, с. 117; Emerson, 1906, р. 161; Kington Oliphant, 1878, р. 5; Bradley, 1919, р. 17; Гухман, 1973, с. 358). К номинативным языкам принадлежат и флективные афразийские языки, и агглютинативные уральские, и изолирующий китайский (Климов, 1983, с. 135).

² Ср. определение эргативного строя: «Термин "эргативность" относится к феномену, характеризующемуся тем, что субъект непереходного глагола оформляется так же, как объект переходного, в то время как субъект переходного оформляется иным образом. В языках, подобных английскому, такого не наблюдается: в них субъект переходного и непереходного глагола оформляется одинаково» ("Encyclopedia of Language and Linguistics", 2006, р. 3138); «Возможно, наиболее широко используемая классификация языков – это разделение на языки номинативно-аккузативные (далее называемые аккузативными) и эргативные. Разница между ними заключается в том, что в аккузативных языках субъект в транзитивных и нетранзитивных конструкциях оформляется одинаково, а в эргативных то же относится к субъектам в интранзитивных и прямым объектам в транзитивных конструкциях» (Toyota, 2004, р. 1); «На глубинно-синтаксическом уровне в качестве эргативной типологии предложения следует рассматривать такую типологию, в рамках которой субъект переходного действия трактуется иначе, чем субъект непереходного, а объект первого – так же, как субъект второго (естественно, что используемые при этом понятия глубинных субъекта и объекта предполагаются заданными извне и совершенно безотносительными к тому, в каких членах предложения они находят своё отражение)» (Климов, 1973 а, с. 48).

жет быть вообще неодушевлённым (*Камень лежал*), что в случае производителя переходного действия, скорее, исключение (предложения типа *Камень разбил стакан* обычно подразумевают, что действие всё-таки было совершено кем-то одушевлённым посредством какого-то неодушевлённого орудия). В стативных конструкциях вместо глаголов часто используются прилагательные и наречия.

Далее М. Ониши упоминает в качестве особенно подверженных альтернативному оформлению субъекта группы глаголов с модальными значениями («нуждаться», «долженствовать», «мочь», «казаться», «хотеть»), глаголы с явным воздействием на субъект, имеющим для него физические последствия («иметь головную боль», «мёрзнуть», «чувствовать голод», «заболеть», «потеть», «трястись»), глаголы со слабой агентивностью субъекта и малозаметным или нулевым воздействием на объект («видеть», «слышать», «знать», «помнить», «думать», «нравиться», «ненавидеть», «сочувствовать», «скучать», «быть похожим»), глаголы психических состояний, чувств и эмоций («злиться», «грустить», «стыдиться», «удивляться»), глаголы, имеющие отношение к судьбе и случаю, глаголы обладания, нехватки, существования (Onishi, 2001 а, р. 25, 28). Если в определённом языке есть безличные конструкции с семантикой судьбы и случая, то в нём будут и безличные конструкции психических состояний, чувств, эмоций, конструкции восприятия и ментальной активности («видеть», «слышать», «знать», «вспоминать»), конструкции симпатии («нравиться», «ненавидеть», «сочувствовать», «скучать по...»), конструкции желания («хотеть»), необходимости («нуждаться», «долженствовать», «быть необходимым») и конструкции обладания, существования, недостатка («недоставать», «иметься») (Onishi, 2001 а, р. 42). Если в определённом языке субъект при глаголах желания может маркироваться нестандартно, то в этом же языке наверняка будут распространены безличные конструкции внутреннего состояния, чувств и эмоций; высока также вероятность распространённости безличных конструкций физического состояния и восприятия (Onishi, 2001 а, р. 43). Чаще всего альтернативным способом субъект маркируется в том случае, если действие совершается без его желания, независимо от его сознания и воли, если субъект не контролирует какое-то действие или состояние (Onishi, 2001 а, р. 36). Если субъект оформляется нестандартно, глагол обычно не согласуется с ним, а ставится в наиболее нейтральную форму типа русской 3 л. ед. ч. (Onishi, 2001 а, р. 6–7; ср. Bauer, 2000, р. 95). Следует подчеркнуть, что М. Ониши имеет в виду тенденции не только индоевропейских языков, но и всех языков мира. Даже в изолирующих языках, где флексий обычно нет, возможность каким-либо образом выражать датив подразумевает и наличие безличных конструкций в тех же значениях, что указаны выше, ср. яп. *Kare ni wa sake ga nome nai* (Он не может пить японское вино, дословно: Ему не можется...); «падежи» здесь

маркируются частицами после существительных, если в данном случае вообще правомерно говорить о падежах.

М. Хаспельмат во многом повторяет сказанное М. Ониши. Здесь мы отметим его объяснение нестандартной маркировки субъекта-экспериенцера в языках мира. Хаспельмат полагает, что стандартная маркировка независимо от языка относится, в первую очередь, к агенту, точнее – к активному субъекту при переходном глаголе действия (Haspelmath, 2001, p. 59). Именно такой субъект является прототипическим, и все отклонения от него обычно каким-то образом маркируются. Делается это обычно либо дативными субъектами типа фр. *Ce livre lui plait* (*Ему нравится эта книга*), греч. (современный) *Tu arési aftó to vivlió* (*Ему нравится эта книга*) (экспериенцер стоит в дативе, второе существительное – в номинативе, причём именно от него зависит форма глагола), либо экспериенцер оформляется обычным дополнением в аккумулятиве, а второе существительное – подлежащим-псевдоагентом, ср. нем. *Dieses Problem beunruhigt mich* (*Меня волнует эта проблема*); либо экспериенцер оформляется так, будто он агент, ср. англ. *He hates this book* (*Он ненавидит эту книгу*); «он» стоит в номинативе, то есть в стандартном падеже агента, хотя подлежащее не несёт этой семантической роли. Первый экспериенцер называется дативным, второй – пациентивным, третий – агентивным (Haspelmath, 2001, p. 60).

Европейские языки предпочитают прибегать к агентивному варианту; кельтские, кавказские и финно-угорские – к дативному, что объясняется полифункциональностью номинатива в европейских языках и наличием развитой падежной системы в остальных (Haspelmath, 2001, p. 61). Под полифункциональностью номинатива подразумевается, что он играет роль не только агента, но и экспериенцера (*I like her* – *Мне она нравится*), и обладателя (*I have it* – *Я имею это*), и получателя (*I got it* – *Я получил это*), и местонахождения (*The hotel houses 400 guests* – *Отель может разместить 400 гостей*) (Haspelmath, 2001, p. 55). Хаспельмат приводит также любопытную статистику, демонстрирующую распределение агентивных и прочих экспериенцеров в 40 европейских языках (впрочем, «европейскость» некоторых языков можно поставить под сомнение)¹. Проверялись глаголы со значениями «видеть», «забывать», «помнить», «мёрзнуть», «быть голодным», «хотеть пить», «иметь головную боль», «радоваться», «сожалеть» и «нравиться». Дативные экспериенцеры от пациентивных не отделялись. Все языки были распределены по шкале, где «0» обозначает, что все проверенные субъекты в макророли экспериенцера оформлены агентивно, «5» – что все экспериенцеры оформлены дативом или аккумулятивом (типа рус. *Мне хочется*, *Меня тошнит*). Вот результаты: английский (0,0)

¹ В данном случае он опирается на следующие статьи: Bossong, G. Le marquage différentiel de l'objet dans les langues d'Europe; Feuillet, J. Actance et valence dans les langues de l'Europe. Berlin: Mouton de Gruyter; Bossong, G. Le marquage de l'expérient dans les langues d'Europe (1998, там же).

< французский (0,12) = шведский (0,12) = норвежский (0,12) < португальский (0,14) < венгерский (0,22) < бретонский (0,24) = баскский (0,24) < греческий (0,27) < испанский (0,43) < турецкий (0,46) < итальянский (0,48) = болгарский (0,48) < голландский (0,64) < мальтийский (0,69) < немецкий (0,74) < сербохорватский (0,75) < чешский (0,76) < марийский (0,79) < лапландский (саами) (0,81) < литовский (0,83) = эстонский (0,83) < финский (0,87) < польский (0,88) < валлийский (0,92) < албанский (1,02) < удмуртский (1,09) < мордовский (1,16) (подразумевается, очевидно, эрзянский или мокшанский) < латвийский (1,64) < русский (2,11) < ирландский (2,21) < румынский (2,25) < исландский (2,29) < грузинский (3,08) < лезгинский (5,0) (Haspelmath, 2001, p. 62).

Примечательно, что, согласно этим подсчётам, сфера употребления имперсонала в русском не столь велика и уникальна, как это принято считать в среде этнолингвистов. В частности, исландский язык более склонен к безличным конструкциям, чем русский, что будет подтверждено нами ниже на примере других статистических данных. По склонности к оформлению субъекта дативно / пациентивно проверенные глаголы (или же значения) распределились следующим образом: *нравиться* (в 79 % всех случаев оформляется дативно или аккузативно в тех же языках) > *иметь головную боль* (70 %) > *сожалеть* (55 %) > *радоваться* (48 %) > *мёрзнуть* (46 %), *хотеть пить* (38 %) > *быть голодным* (35 %) > *помнить* (17 %) > *забывать* (13 %) > *видеть* (7 %) (Haspelmath, 2001, p. 63). Таким образом, отклонением от нормы является не русский, где субъект при глаголе *нравиться* оформлен дативом, а английский, где он оформлен номинативом (*I like*)¹. Примеры (псевдо)агентивных экспериенцев: а) *Мне холодно* / *Я мёрзну*: швед. *Jag fryser* (1 л. ед. ч.); греч. (современный) *Krióno* (1 л. ед. ч.); венг. *Fázom* (1 л. ед. ч.); б) *Мне нравится X*: порт. *Gosto de X*; норв. *Jeg liker X*; фр. *J'aime X*.

Говоря о многочисленности безличных конструкций в русском языке, следует упомянуть и об его уникальности в плане приверженности синтетическому строю, так как именно развитость падежной системы делает возможной альтернативную маркировку субъекта. Хорошо известно, что многие синтетические языки индоевропейского происхождения за последние пять-шесть тысяч лет либо превратились в аналитические, либо вымерли. Например, в «Основах науки о языке» А.Ю. Мусорина (Мусорин, 2004) приводится всего три вымерших аналитических языка (бактрийский из иранской группы, далматинский из романской группы, корнский из кельтской группы, сейчас искусственно оживляемый) и 19 синтетических

¹ Эту особенность английский делит с пиджинами и креольскими языками, которые из-за своей аналитической структуры неизменно пользуются личными конструкциями: т.-п. *Ol kaunsila i no laikim tru nipela medel bilong ol kaunsil* (Советникам совсем не нравится их новая медаль) (Mühlhäusler, 1985, p. 143).

(см. приложение 1 b). Поскольку многие индоевропейские языки синтетического строя уже вымерли и ещё целый ряд вымирает, а движение от аналитических языков в сторону синтетических в индоевропейской семье не наблюдается вообще (ср. Жирмунский, 1940, с. 29; Hinrichs, 2004 b, S. 17–18; Naarmann, 2004, S. 82; van Nahl, 2003, S. 3; Мельников, 2000; Emerson, 1906, p. 160, 164; Широкова, 2000, с. 81; Рядченко, 1970), можно предположить, что ярко выраженная синтетичность русского языка в сочетании с его распространённостью является для данной группы языков феноменом единичным и уникальным.

С конца XX в. в России наблюдается ренессанс этнолингвистических теорий, связывающих с синтетическим строем или его отдельными особенностями различные негативные характеристики русского менталитета: пассивность, безвольность, тоталитарность, неуважение к личности и т.д. Ниже мы ещё неоднократно будем останавливаться на подобных утверждениях, чтобы показать их необоснованность. Здесь ограничимся одним: русская пассивность каким-то образом связана с синтетическим строем языка¹. Несостоятельность этого мнения видна уже по географическому распределению данного строя (см. список в приложении 1 а). Непонятно, например, почему пассивное отношение к жизни не приписывается, скажем, исландцам, чей язык также слабо подвержен аналитизации и потому по многим грамматическим характеристикам, включая развитость имперсонала, похож на русский. Кроме того, если признать высокий уровень аналитизма мерилom активного отношения к жизни, то мы будем вынуждены отнести к самым активным (агентивным) народам Земли некоторые африканские и папуасские племена, а среди носителей индоевропейских языков – жителей Южно-Африканской Республики, которые говорят на африкаанс (самом аналитизированном индоевропейском языке).

Добавим, что некоторые неиндоевропейские языки развиваются в настоящее время от аналитического строя к синтетическому, то есть аналитизация не является универсальным процессом, свойственным всем языкам. В.В. Иванов отмечает, например, что древнекитайский представлял собой язык синтетический, современный китайский является аналитическим, но постепенно начинает возвращаться к синтетическому строю (Иванов, 1976; ср. Иванов, 2004, с. 71; Тромбетти, 1950, с. 164; Jespersen, 1894, p. 83). Он же утверждал, что нет никаких оснований предполагать всегда одно направление движения – от синтеза к анализу; автор аргументирует это тем, что современная лингвистика не в состоянии заглянуть достаточно глубоко в языковую историю (Иванов, 2004, с. 72).

Дальнейшее развитие синтетичности наблюдается в финно-угорских языках (Veenker, 1967, S. 202; Comrie, 2004, p. 422). Например, уже в исторический период увеличилось число падежей в финском и венгерском. Х. Хаарман пи-

¹ Ср. «Специфика национальной лингвоцветовой картины мира определена особенностями национального менталитета, где русская пассивность способствовала сохранению синтетического строя языка и первичной светоразличительной функции» (Мишенькина, 2006, с. 20).

шет, что уральские языки, к которым принадлежат и финно-угорские, движутся не к изолирующему типу, как индоевропейские, а от изолирующего к агглютинативному (Haarmann, 2004, S. 78). Б. Комри говорит о росте синтетизма в баскском (Comrie, 2004, p. 429). В литовском уже после отделения от индоевропейского развились иллатив, аллатив и адессив, причём и в этом случае предполагается влияние финно-угорского субстрата (Comrie, 2004, p. 421). Во французском языке современная синтетическая форма будущего времени образовалась из слияния аналитических форм народной латыни и основы семантического глагола (*habēre* («иметь») + инфинитив), то есть иногда движение в сторону синтетизма можно наблюдать и в современных аналитических языках индоевропейского происхождения (Bailey, Maroldt, 1977, p. 40). В индийских языках за хронологический промежуток немногим более двух тысячелетий осуществился циклический процесс перехода от синтетического строя к аналитическому и обратно (Климов, 1983, с. 167). Г.А. Климов постулирует цикличность превращения различных языковых типов из одного в другой (в том числе флексии и анализа), поэтому, как он полагает, нет никаких оснований говорить о прогрессе французского или английского, якобы проявляющемся в большей степени аналитизации (Климов, 1983, с. 139–140). В подтверждение своих слов Г.А. Климов приводит следующую цитату из Э. Бенвениста: все типы языков «приобрели равное право представлять человеческий язык. Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться "первоначальными". Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные; анализ так называемых примитивных языков обнаруживает у них организацию в высшей степени дифференцированную и упорядоченную» (Климов, 1983, с. 150).

Ч.-Дж. Бейли и К. Маролдт при рассмотрении аналитизации английского также говорят о цикличности превращения синтетических языков в аналитические и наоборот. В первом случае речь идёт о результате чрезмерного усложнения системы, ведущего к её распаду, или смешении языков, во втором – о превращении вспомогательных частей речи в аффиксы в результате слияния (Bailey, Maroldt, 1977, p. 40–41). О цикличности синтетического и аналитического строя говорит также И. Баллес (Balles, 2004, S. 35). Теория хаоса, описываемая Х. Хаарманом, ставит под сомнение определённую направленность языкового развития, акцентируя воздействие на каждый язык случайных и непредсказуемых факторов (Haarmann, 2004, S. 77).

Таким образом, нет никаких оснований привязывать какие-то черты менталитета или уровень эволюционного / цивилизационного развития к определённому грамматическому строю или степени его сохранности по сравнению с родственными языками.

1.2. Причины эволюции языкового строя

Зачастую можно столкнуться с суждениями о том, что первичными в индоевропейском языке были всё-таки аналитические формы, превратившиеся с течением времени в синтетические, а теперь вновь возвращающиеся к первоначальному состоянию¹. А. Мейе писал, например, что глупое проникновение в историю позволяет «угадать за индоевропейским флективным типом, типом столь своеобразным, предшествующее состояние языка типа более обычного, где слова были неизменяемыми или малоизменяемыми» (цит. по: Климов, 1977, с. 296; ср. Jespersen, 1894, p. 61; Бабаев, 2007). В «Энциклопедии Ираника» сообщается, что индоевропейский язык поначалу, очевидно, не имел или почти не имел падежных окончаний и состоял преимущественно из слов-корней ("Encyclopædia Iranica", 2007). А. Тромбетти, как и многие другие, полагал, что первобытный язык был, скорее, похож на современный китайский, то есть состоял из слов-корней и обладал изолирующим строем (Тромбетти, 1950, с. 164; ср. Климов, 1983, с. 158; Lehmann, 2002, p. 3, 137–138, 142; Jespersen, 1894, p. 82). Выдвигались предположения, что аффиксы возникли из вспомогательных частей речи, то есть из более древних аналитических конструкций: например, все формы локативов, аблативов и инструментальных падежей – из конструкций с послелогом (Серебренников, 1970, с. 302–303; Specht, 1944, S. 353; Тромбетти, 1950, с. 164; Иванов, 2004, с. 72; Balles, 2004, S. 33, 35), что падежей первоначально было только два – прямой и косвенный (Specht, 1944, S. 353), что окончание активного или эргативного падежа *-s* в индоевропейском развилось из указательного местоимения **so / sa* (под активным или эргативным падежом здесь подразумевается падеж, обозначающий производителя действия; именно из него со временем развился номинатив) (Уленбек, 1950 а, с. 101; Финк, 1950, с. 140; Иванов, 2004, с. 31; Бабаев,

¹ Ср. «"Язык движется в сторону ранее усвоенного, отбрасывая приобретенное позднее и более сложное" [Т.М. Николаева]. По метакоду-1 понятно, почему язык движется в сторону ранее усвоенного, так как доминанта сейчас приближается и находится на семантике позиций, что было уже в языке, вернее, в протоязыке. "Языки движутся в аналитическом направлении; существенную роль при этом играет синтаксическая семантика, во многом подменяющая семантикой позиции флективные способы" [Т.М. Николаева]. Действительно, языки движутся в обозримом будущем в сторону аналитических форм, так как "новая морфология обычно упрощает предыдущую парадигму; при этом редукция флексий ведет к упрощению и доминантное положение закрепляется за семантикой позиции, за аналитическими формами и конструкциями, объединенными когерентностью"» (Галушко, 2000). Н.Я. Марр: «Первоначально принадлежность слов к тому или иному роду или классу вовсе не обозначалась каким-либо придатком, суффиксом или префиксом (то есть синтетическими средствами), ибо слово-понятие само по себе определялось социально по обозначаемому предмету, какого оно класса» (цит. по: Кацнельсон, 1936, с. 87). «Эти аргументы [существование языков, где флексии произошли от отдельных слов; признаки той же характеристики в индоевропейском – Е.З.] делают более чем вероятным предположение, что в индоевропейском языке до возникновения флексий, до сих пор сохранившихся в его потомках в большей или меньшей мере, существовали только "корни"» (Champneys, 1893, p. 59; ср. Jespersen, 1894, p. 65).

2007; Десницкая, 1947, с. 493, 496; Jespersen, 1894, p. 62; Lehmann, 2002, p. 168; Kortlandt, 1983, p. 307), что окончание датива / локатива *-i/y* развилось из частицы **i* «здесь» (Lehmann, 2002, p. 168; Gamkrelidze, 1994, p. 25); а многие прилагательные возникли из существительных, входивших в состав аналитических композитов (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 242–243; ср. Мещанинов, 1967, с. 5; Савченко, 1967, с. 85). Если исходить из типологии Г.А. Климова, можно предположить, что далёкий предок индоевропейского был языком так называемого классного строя (такие языки обычно характеризуются нефлективной морфологией), затем – активного (близкого изолирующему) или эргативного (более флективного, чем активный), и только затем в нём развилась та богатая система флексий, которая характерна для латыни и древнегреческого (ср. Панфилов, 2002).

О том, что именно обусловило переход от аналитических конструкций к синтетическим, а затем обратно, можно только догадываться. Возникновение синтетического строя в индоевропейском языке было обусловлено, скорее всего, порядком слов SOV, при котором различные части речи, стоявшие после существительного (частицы, послелого, абстрактные существительные), постепенно сливались с ним и становились его окончаниями (Bomhard, Kerns, 1994, p. 162). Так же возникли и окончания глаголов. Вторичную аналитизацию Б.А. Серебренников объясняет следующим образом: «Древние индоевропейские падежи и глагольные формы, обремененные большим количеством значений, находились в известном противоречии с некоторыми законами человеческой психики, с некоторыми особенностями физиологической организации человека. Значение, выраженное особой формой, легче воспринимается, чем конгломерат значений, выражаемый одной формой. Совершенно естественно, что рано или поздно должен был произойти взрыв этой технически недостаточно совершенной системы, и он произошел. Аналитический строй технически более совершенен. Однако отсюда совершенно неправомерно делать вывод, что аналитический строй отражает более высокоразвитое абстрактное мышление, как это делали О. Есперсен, В.М. Жирмунский и другие» (Серебренников, 1970, с. 304).

В.М. Жирмунский видел возможную причину аналитизации в потере значимости у классовых показателей индоевропейских языков, приведшей к редукции неударных окончаний и унификации различий (Жирмунский, 1940, с. 60).

Полностью открытым остаётся вопрос о причине перехода деноминативного строя к номинативному. Г.П. Мельников считал причиной перехода от инкорпорации к эргативным и затем к номинативным структурам разрастание языкового коллектива и смену бродяжнической собирательской жизни на оседлую земледельческую. Если в первых двух типах языковой организации называть субъект было излишне, поскольку он и так был известен, являлся данностью (из-за малочисленности членов коллек-

тива), то при расширении границ и превращении носителей языка в «мега-коллектив» говорящий уже не мог надеяться на то, что слушателю известно, как назревало соответствующее событие, кто в нём явился «субъектом», «объектом» или каким-либо иным соучастником. Говорящий должен был строить своё высказывание, исходя из того, что собеседнику может быть вообще ещё ничего не известно о сообщаемом событии, и поэтому типичное высказывание должно было содержать в себе сведения и о субъекте, и об объекте, и о том действии, которое субъект направляет на объект, и об иных соучастниках события, и об обстоятельствах его протекания (Мельников, 2000; ср. Бубрих, 1946, с. 211–212). Теория Мельникова не объясняет тот факт, что возникновение эргативной конструкции из номинативной отнюдь не сопряжено с переходом от земледельческого образа жизни к собирательскому или с резким сокращением населения. А.Ф. Лосев видел причины возникновения номинативного строя (как и всех предыдущих от инкорпорирующего до эргативного) в соответствующей социально-экономической обстановке. По его мнению, при переходе от синтетического эргативного строя к аналитическому номинативному решающую роль мог сыграть переход от матриархата к патриархату: «Можно и точнее сказать о социально-историческом происхождении номинативного строя. Мы утверждали, что эргативный строй стал возможен только в эпоху производящего хозяйства и не был возможен раньше, когда жизнь еще продолжала довольствоваться присвоением готового продукта. Язык и мышление номинативного строя, очевидно, отражают дальнейший прогресс производящего хозяйства. И если в них речь заходит о самостоятельности человеческого индивидуума, то, очевидно, в пределах общинно-родовой формации мы должны здесь искать ту эпоху, когда отдельный индивидуум при всех своих внутренних и внешних связях с общинным коллективом уже начинал играть заметную экономическую роль. А это, очевидно, и появилось в истории вместе с появлением *патриархата*, когда жизнь потребовала отделить общественные, и в частности организационные, функции от функций биологических, каковое совмещение и находило для себя место в матриархате. Власть отца и отцовский род получили теперь перевес, что не замедлило сказаться и в мифологии, в которой теперь наступил так называемый *героический век* вместо прежнего, колоссального по своей длительности периода фетишизма и демонологии» (Лосев, 1982).

Нет никаких свидетельств, что народы, говорящие на языках с развивающимся деноминативным строем, переходят к матриархату, потому и теория Лосева представляется нам сомнительной. Г.А. Климов видел в движении от деноминативного строя к номинативному развитие абстрактного мышления, необходимого для оформления субъекта одним и тем же падежом (Климов, 1977, с. 256–257). Примечательно, что другие учёные видят движение к абстракции в противоположном процессе – развитии имперсонала, столь характерного для активного и эргативного строя: «Появление безлич-

ных конструкций – это результат развития абстрактного мышления, поскольку в них налицо отвлечение от конкретного деятеля, вызывающего или производящего определённое действие» (Валгина, 2000). Для имперсонала характерно оформление субъекта не одним и тем же падежом, как в номинативном строе, а различными падежами в зависимости от семантической макророли (датив – экспериенцер, аккузатив – пациент). Впрочем, статус конструкций с дативными и аккузативными субъектами в деноминативных языках как безличных вызывает сомнения, о чём мы скажем ниже. Возможно, они только кажутся безличными носителям индоевропейских языков, привыкшим к тому, что подлежащее может стоять только в именительном падеже.

Знаменитый немецкий культуролог О. Шпенглер (1880–1936) видел причину различия языков в расовых особенностях народов (заметим, что писал он это ещё до прихода к власти фашистов) и в степени развитости мышления, причём аналитический строй рассматривается им в качестве наиболее позднего и совершенного.

«Мне кажется, постигнуть суть предложения из его содержания абсолютно невозможно. Просто мы называем относительно наибольшие механические единства в использовании языка предложениями, а относительно наименьшие – словами. Далее этого значимость грамматических законов не простирается. Однако продолжающая свое поступательное движение речь уже более не является механизмом и прислушивается не к законам, но к такту. Так что расовая черта содержится уже в том, как укладывается в предложения то, что необходимо сообщить. У Тацита и Наполеона предложения не такие, как у Цицерона и Ницше. Англичанин синтаксически подразделяет материал иначе, чем немец. Не представления и мысли, но мышление, образ жизни, кровь определяют в языковых общностях – примитивной, античной, китайской, западноевропейской – тип разграничения предложений как единств, а тем самым – и механическую связь слова с предложением» (Шпенглер, 1998, с. 145).

«В соответствии со сказанным во внутренней истории словесных языков обнаруживается три этапа. На первом внутри высокоразвитых, однако бессловесных языков сообщения появляются первые имена как величины небывалого понимания. Мир пробуждается как тайна. Начинается религиозное мышление. На втором этапе полный язык сообщения оказывается постепенно переведённым в грамматические величины. Жест делается предложением, а предложение превращает имена в слова. В то же время предложение становится великой школой понимания в противоположность ощущению, и восприятие значения, делающееся все более чувствительным к абстрактным связям в механизме предложения, вызывает на свет льющееся через край изобилие флексий, навешивающихся, прежде всего, на существительное и глагол, "пространственное" и "временное" слова соответственно. Это – расцвет грамматики, который следует (с большой, правда, осторожностью) отнести ко времени, быть может, за два тысячелетия до начала египетской и вавилонской культур. Для третьего этапа характерно стремительное увядание флексий и тем самым замена грамматики синтаксисом. Одухотворение человеческого бодрствования заходит так далеко, что оно более не нуждается в создаваемой флексиями наглядности и способно с уверенностью и непринужденностью выразить себя – взамен пестрых зарослей словесных форм – посредством едва замет-

ных намеков (частица, порядок слов, ритм) при максимально лаконичном употреблении языка» (Шпенглер, 1998, с. 148–149).

Подобные теории имплицитно подразумевают, что народы, говорящие на языках с развивающимся синтетизмом, возвращаются на более ранние этапы цивилизационного развития, то есть деградируют. Большинство авторов отошли от таких взглядов ещё в первой половине XX в.

Значительно более убедительными нам представляются объяснения, не выходящие за пределы действия чисто языковых факторов. Так, раннеактивные языки, как правило, практически не имеют падежей (их структура требует не более двух падежных показателей – активности и инактивности), затем в позднеактивных языках развивается более или менее обширная система флексий (явление переходного периода, компенсирующее распад системы классов активных и инактивных существительных), но эта система постепенно опять распадается при переходе к номинативному строю под давлением анализации. Номинативные языки часто построены по другим принципам, потому могут и не нуждаться в падежной системе: например, субъект идентифицируется в них по его месту перед глаголом и противопоставленности объекту, а не по соответствующему окончанию активности (как в позднеактивных языках). Кроме того, флекссионная парадигма рано или поздно распадается из-за разрушительных фонетических процессов (окончания обычно безударны, поэтому часто не выговариваются чётко, сливаются, упрощаются и, наконец, вовсе опускаются). Здесь мы исходим из предположения о том, что ранний индоевропейский был языком активного или (что значительно менее вероятно) эргативного строя, но затем ещё на общей стадии развития стал номинативным. Соответственно, распад флекссионной системы начался ещё в индоевропейский период. Вполне вероятно также, что активным или эргативным строем обладал не сам индоевропейский язык, а его предок, как бы он ни назывался (ностратический, доиндоевропейский, евроазиатский). Не вызывает сомнений, однако, что в индоевропейском и тех языках, на которые он распался, реликты деноминативного строя поначалу проступали совершенно отчётливо.

По подсчётам Е.С. Масловой и Т.В. Никитиной, для эргативного строя типична меньшая продолжительность жизни, чем для номинативного (номинативные конструкции живут в среднем в два раза дольше), то есть он отличается меньшей стабильностью (Маслова, Никитина, 2006). Причины этого явления авторы не обсуждают. Третья универсалия «Архива универсалий» университета Констанц говорит о том же: “Grammatical systems with ergativity tend to have ergative-accusative splits” (“The Universals Archive”, 2007), то есть в эргативных языках обычно присутствуют черты номинативности. Следовательно, переход к номинативному строю неизбежен, чем бы он ни был обусловлен. Что касается активных языков, то здесь мотивация номинативизации вполне ясна. Существование активных языков подразумевает деление всех существительных на классы, но с течени-

ем тысячелетий первоначальная логика деления неизменно теряется из-за постоянного действия фонетической эрозии и принципа аналогии. С потерей логики оформления предложения деноминативный строй не может больше функционировать полноценно и превращается в номинативный строй, в котором различий субъектов по классам больше нет, и потому все субъекты оформляются номинативно (общим падежом), даже если они несут семантическую макророль экспериенцера или пациенса. Соответственно, номинативный строй индоевропейских языков – это продукт распада активного строя, подразумевающий полную ненадобность деления существительных по родам или классам (одушевлённое – неодушевлённое, активное – пассивное и т.п), поэтому в английском, например, категория рода в активный период анализа распалась. Номинативный строй оказывается более устойчивым из-за его относительной простоты, выражающейся в неоформленности категории одушевлённости или какого-то иного деления существительных.

Если в том или ином языке первоначальная логика языкового строя начинает забываться, но флексии сохраняются, то может произойти частичное или полное переосмысление оформления высказываний. Так, в русском языке наличие флексий позволило создать категорию одушевлённости, подчёркивающую деление всех существительных на классы одушевлённого и неодушевлённого. Древнее разграничение субстантивов активного строя индоевропейского языка обрело вторую жизнь и воспрепятствовало становлению номинативности. Современная категория одушевлённости подразделяет, однако, существительные несколько иначе, чем индоевропейская, то есть произошло частичное переосмысление. Например, в индоевропейском плоды деревьев обычно считались неодушевлёнными и потому не изменяли форму в объектной позиции (ср. рус. *Я вижу яблоко*); в русском же можно найти множество названий плодов, изменяющих форму в позиции дополнения (*Я вижу грушу, айву, черешню, сливу, вишню*), то есть чисто формально, на уровне грамматики, они будто бы одушевлены (на самом деле, категория одушевлённости на существительные женского рода вообще не распространяется).

Из экстралингвистических факторов на развитие индоевропейских языков в наибольшей мере могло повлиять начало голоцена (эпохи четвертичного периода), продолжающегося со времени окончания последнего глобального оледенения 10 000–12 000 лет назад до настоящего времени. Отступление ледников и глобальное потепление могли привести к заметной активизации контактов между племенами, увеличению самого количества племён (в результате сравнительно быстрого роста населения) и, как следствие, – к началу распада деноминативного строя (ср. Lehmann, 2002, р. 1). Это, в свою очередь, привело к расцвету флексий, дополнительно «поддерживавших» те грамматические категории, которые уже теряли свою мотивацию и прозрачность. Если предположить, что ностратический

язык действительно существовал (начиная, по очень приблизительным данным, с XIII–XV тысячелетия до н.э. (“Intercultural Communication. A Global Reader”, 2007, p. 100; Dolgopolsky, 1998, p. X) и действительно распался 10 000–12 000 лет назад (ср. Barbujani, Pilastro, 1993, p. 4670; Nichols, 1992, p. 6; Bomhard, Kerns, 1994, p. 144, 167), то, возможно, начало голоцена сыграло в его распаде на индоевропейские, картвельские, алтайские, дравидийские и прочие языки решающую роль (благодаря началу миграции). Мы, однако, не будем углубляться в эту тему, поскольку проследить развитие безличных конструкций так глубоко всё равно не представляется возможным. Кроме того, датировка существования ностратического языка остаётся слишком неточной (плюс-минус несколько тысячелетий) для каких-то определённых выводов. Период расселения индоевропейцев на территории Европы имеет особое значение в том отношении, что предшественники индоевропейцев говорили, очевидно, на языке эргативного строя. Об этом свидетельствует эргативность баскского – единственного сохранившегося языка уничтоженного населения Европы (Lehmann, 2002, p. 7).

Можно найти и множество других мнений о силах, стоящих за процессами языковой эволюции. Например, В.З. Панфилов расценивает «диалектическое противоречие между функциональным назначением языка и системными факторами его организации как источник постоянного процесса развития языка» (Галушко, 2000). М.А. Беланже ищет причину развития языка в механике хаоса и науке о психомеханике, рассматривая язык в качестве сложной адаптивной системы, постоянно находящейся на грани хаоса и балансирующей между стабильностью и беспорядком. Т.М. Николаева полагает, что язык бесконечно развивается в сторону увеличения количества информации в единицу времени. А. Мартине рассматривает как одну из движущих сил языкового развития принцип языковой экономии; К. Шмидт придерживается мнения, что в основе развития языка лежит его стремление к коммуникативной чёткости языковых единиц (Галушко, 2000). Академик Н.Я. Марр, одним из первых выдвинувший принцип стадильности в развитии языков, связывал эволюцию языка с развитием мышления, обусловленным развитием общественных отношений (мышление тотемистическое > мифологическое > понятийное / технологическое) («Обсуждение проблемы стадильности в языкознании», 1947, с. 258; Рифтин, 1946, с. 20). А.А. Мельникова видит в переходе от эргативного строя к номинативному признак рационализации сознания (Мельникова, 2003, с. 247). В задачи данной работы не входит подробное рассмотрение всех возможных причин развития языковой системы, её перехода от аналитического строя к синтетическому, от деноминативного к номинативному и обратно. Подчеркнём, однако, ещё раз, что движение от синтетических языков к аналитическим не является односторонним, а потому не может расцениваться в качестве единственно верного и эволюционного пути развития. Соответственно, исчезновение имперсонала также не является эволю-

ционным процессом, поскольку он обычно напрямую связан с уровнем синтетизма / аналитизма (система флексий необходима, чтобы альтернативно маркировать субъекты с нетипичными семантическими макроролями). О причинах особенно быстрой аналитизации английского языка будет сказано ниже.

Таким образом, русский язык по своим параметрам типологически противостоит языкам западным (синтетизм vs. аналитизм), чем и обусловлены расхождения в количестве безличных конструкций. Существует универсальный набор значений (долженствование, восприятие, желание и т.д.), требующий альтернативного оформления субъекта, и если тот или иной язык имеет соответствующие средства (обычно речь идёт о падежной системе, реже – о частицах и предлогах), то в нём появляется некоторое количество безличных конструкций. Не является исключением и русский, но с той разницей, что основные типы безличных конструкций русский не развил сам, а сохранил от предыдущего языкового строя (активного или эргативного), отчасти их переосмыслив. Если в том или ином языке средств альтернативной маркировки субъекта нет, как в английском, разница между волитивными и неволитивными действиями / состояниями остаётся невыраженной, то есть должна прочитываться из контекста. Номинатив в них не является маркером агентивности, так как нет противостоящего ему маркера неагентивности. В последующих главах при сравнении степени распространённости безличных конструкций в различных языках мира мы будем постоянно обращать внимание на типичные характеристики аналитического и синтетического строя, например, на жёсткий порядок слов, многочисленность переходных глаголов, отсутствие или слабую развитость датива (как и других косвенных падежей), малочисленность возвратных глаголов и склонность к употреблению вспомогательных частей речи в языках со слабо развитым имперсоналом.

Глава 2

БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК НАСЛЕДИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА

2.1. Имперсонал как наследие доминативного строя

Об индоевропейском происхождении некоторых безличных конструкций было написано достаточно много, нам же остаётся только подвести итог. Установить что-либо с абсолютной точностью в этом вопросе не представляется возможным уже потому, что никаких записей на индоевропейском языке не существует, а сам он является лишь реконструкцией. Основные работы в данном направлении были проведены ещё в XIX в., правильность их результатов зачастую невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Как утверждал В.М. Жирмунский, именно в области синтаксиса методы реконструкции индоевропейского языка оказались наименее надёжными, что обусловлено трудностью или невозможностью отличить грамматические формы, действительно являвшиеся общими у разных языков на более ранней стадии их развития, от тех, которые образовались независимо друг от друга и обладают некоторым сходством только из-за типологической близости языков и общих для всех людей законов логики (Жирмунский, 1940, с. 56–57). Генезис имперсонала принадлежит к тем вопросам, которые так и остались открытыми, но большинство современных учёных всё-таки исходит из индоевропейского происхождения безличных конструкций (многих или некоторых).

«Безличные конструкции, сохранившиеся только в трёх германских языках (исландском, фарерском и немецком), являются наследием индоевропейского» (Barðdal, 2006 а).

«Индоевропейские языки по своей типологии относятся к языкам номинативного строя, то есть к языкам, в которых подлежащее имеет форму именительного падежа независимо от того, выражено ли сказуемое переходным или непереходным глаголом. В этих языках существует только согласование подлежащего со сказуемым в числе и управление дополнения сказуемым. И тем не менее в отдельных индоевропейских языках ещё до сих пор сохраняются следы иной типологии членов предложения. Так, в русском, немецком, французском и отчасти английском языках можно обнаружить следы так называемой дативной конструкции, унаследованной, видимо, от далёкого индоевропейского предка, когда носитель действия или состояния принимает форму дательного падежа. Интересно отметить, что эта конструкция полнее сохранилась в русском языке, где она используется для выражения как физического, так и морального состояния; ср.: *мне (Пете, ему и т.д.) холодно (тепло, жарко), мне (Маше, ей) хочется (кажется, нравится), мне (нам, им) трудно*. Во французском и немецком языках физическое состояние получило выражение по типу номинативных предложений; ср.: *j'ai (Pierre a) froid, il veut, il est difficile (facile) pour moi (toi, Pierre); ich bin (Peter ist) kalt, ich will, es ist schwer (leicht) für mich*. Но и в этих языках сохранилась дативная конст-

рукция для выражения морального состояния; ср.: *il me plaît, il me semble; es gefällt mir, es scheint mir*. В английском же языке сохранились лишь единичные случаи употребления дативной конструкции; так, вместо оборота *it pleases me*, ещё пока употребительного, предпочитают говорить *I like it*, то есть опять же по типу предложений номинативного строя» (Аракин, 2005, с. 162).

«Однако, наряду с этим строем предложения [номинативным – Е.З.], в индоевропейских языках имеется другой тип синтаксической структуры, менее распространённый, но представленный всеми языками, как древними, так и новыми; в одних индоевропейских языках он постепенно вытесняется в связи с распространением универсальной схемы предложения, в других продолжает существовать как равноправный член современной языковой системы. Речь идёт о конструкциях с дательным-винительным лица типа русск. «мне не спалось сегодня», лат. *pudet me* "мне стыдно", *placet mihi* "мне нравится", др.-исл. *ugger mik* "мне страшно", *lyster mik* "мне хочется", др.-англ. *me (mec) hriewd* "я раскаиваюсь".

Рассматриваемый оборот отнюдь не представлен только единичными случаями. Он появляется весьма часто при глаголах аффекта, приименном сказуемом, специально при категории состояния и при пассивных причастиях и может трактоваться как своеобразная форма предложения состояния. Характерным для этих конструкций является объектное оформление лица, носителя признака, и отсутствие обычного согласования с ним сказуемого, причем объектное оформление лица зависит от семантики глагола, а оба они зависят от содержания всего высказывания в целом. Предложение это по своим закономерностям относится к другому структурному слою, чем противостоящее ему в исторически засвидетельствованной системе индоевропейских языков предложение действия с именительным падежом субъекта. Различия касаются отнюдь не только объектного оформления носителя признака, но и качественно отличного характера связи основных членов предложения, а тем самым и соотношения между словом и предложением. Не случайно здесь характер осмысления процесса как некоего состояния, охватывающего носителя признака, раскрывается не из формы слова-глагола, а из построения предложения. Лишь разрыв этой внутренней синтаксической взаимозависимости основных членов предложения, характерный для строя языка, не имеющего универсальной синтаксической схемы (ср. закономерности эргативного строя), – процесс, протекающий параллельно с оформлением понятия субъекта в современном его значении, – создает характерный для исторически засвидетельствованных индоевропейских языков строй с четкой отработанностью грамматических категорий имени и глагола» (Гухман, 1947, с. 112–113).

«Безличные предложения восходят к индоевропейским диалектам и засвидетельствованы в самых древних памятниках славянской письменности. С формальной точки зрения – это конструкции, в которых не согласованный ни с чем предикат сочетается с именным членом в косвенном падеже, характерном для данной разновидности безличного предложения. Это конструкции бесподлежащные: именительный падеж в них отсутствует и не может быть восстановлен ни из контекста, ни из ситуации» (Гиро-Вебер, 2001, с. 66).

«На основе структурных закономерностей и совпадении значений, которые несут эти [безличные – Е.З.] глаголы, можно высказать предположение, что мы имеем дело с конструкциями, унаследованными из индоевропейского праязыка» (Бауер, 2000, р. 97).

Согласно первой цитате, индоевропейские безличные конструкции среди германских языков сохранились только в немецком, исландском и

фарерском (в статье речь шла о безличных конструкциях с «реальным субъектом» в дативе, аккузативе и генитиве, то есть соответствующих рус. *Ему нравится*, но не *Наснежило*). Следует отметить, что именно эти языки являются и наиболее синтетичными в данной группе (подробнее об этом см. в главе «Безличные конструкции в языках мира: обзор»).

Во второй цитате количество безличных конструкций ставится в зависимость от степени номинативности языка, что соответствует наиболее распространённой точке зрения на продуктивность обезличивания в советском языкознании; ср.: «Несомненно, что продуктивность обезличивания находится в отношении обратной корреляции со степенью номинативности языка... и представляет собой существенную характеристику языка в рамках континентальной типологии» (Зеленецкий, 2004, с. 174); мы бы не рискнули назвать данную точку зрения доминирующей и в постсоветском языкознании из-за распространившихся после 1991 г. этнолингвистических теорий. Степень номинативности определяется уровнем анализности, от которой, среди прочего, зависит и возможность отличать субъект от объекта (ср. *Саша помогает Маше*, *Маше помогает Саша* vs. *Alex helps Maria*, *Maria helps Alex*; *Мне хочется* vs. **(To) me wants it / It wants (to) me?*). Без этой дифференциации невозможны и многие безличные конструкции, унаследованные от индоевропейского языка, если в их структуру входит топиализация объекта (а такие составляют большинство). Потому в результате анализности безличные конструкции в индоевропейских языках неизменно уступают место личным конструкциям: швед. *Mik drömer* > *Jag drömmer* (*Мне снится*) (Varðdal, 2001, p. 15), фар. *Meg droymdi ein so sáran dreymt* (*Мне снился такой ужасный сон*) > *Eg droymdi ein ringan dreymt* (*Мне снился плохой сон*); нем. *Mich andet* (*У меня предчувствие*) > *Ich ahne*, англ. *Me nedeth* (*Мне надо*) > *I need* (Eythórsson, 2000, p. 36–37, 40), англ. *Me is best* (*Мне бы лучше*) > *I had best* (Visser, 1969. Vol. 1, p. 34), исл. *Mig langar að fara* (*Мне хочется идти*) > *Ég langa að fara*; *Bátinn rak á land* (*Лодку отнесло к берегу*) > *Báturinn rak á land*; *Bátinn braut í spón* (*Лодку разбило на куски*) > *Báturinn braut í spón* (Andrews, 2001, p. 100–101, 104), лат. *Me pudet* (*Мне стыдно*) > *Pudeo*, *Me paenitet* (*Я сожалею*) > *Paeniteo(r)* (Bauer, 1999, p. 594, 605), лат. *Me miseret* > *Misereo*, *Me piget* (*Мне неприятно*) > *Pigeo*, *Me taedet* (*Мне отвратительно*) > *Taedeo*, *Oportet* (*[Мне] Следует*) > *Oporteo*, *Mihi libet* (*Мне хочется*) > *Libeo* (Bauer, 2000, p. 127), д.-англ. *Bām wīfe* (дат.) *bā word* (ном.) *wel līcodon* (*Жене очень понравились эти слова*) > *The wīfe* (субъект) *well liked the words* (объект) (Siemund, 2004, S. 184), д.-англ. *Me loþeþ* (*Я не люблю*) > *I loþe* (Bauer, 2000, p. 133), д.-швед. *Mik angrar* дословно (*Мне сожалеется*) > швед. *Jag ångrar* (*Я сожалею*) (“The Nordic Languages”, 2002, p. 195).

Мы оставляем в стороне относительно немногочисленные работы, в которых существование индоевропейского языка ставится под сомнение. В этом контексте можно вспомнить, например, о соответствующих выводах

Жирмунского: «Однако, отвергая понятие [индоевропейского – Е.З.] "пра-народа", мы должны тем самым отвергнуть и понятие "праязыка", которое вместе с материальным (этническим) носителем языкового единства лишается всякой исторической базы и тем самым всякого права на существование» (Жирмунский, 1940, с. 32). Похожие мысли можно найти у Н.С. Трубецкого в статье «Мысли об индоевропейской проблеме»: «Предполагают, что в какие-то чрезвычайно отдалённые времена существовал один-единственный индоевропейский язык, так называемый индоевропейский праязык, из которого будто бы развились все исторически засвидетельствованные индоевропейские языки. Предположение это противоречит тому факту, что, насколько мы можем проникнуть в глубь веков, мы всегда находим в древности множество индоевропейских языков. Правда, предположение о едином индоевропейском языке нельзя признать совсем невозможным. Однако оно отнюдь не является безусловно необходимым, и без него прекрасно можно обойтись. Понятие "языкового семейства" отнюдь не предполагает общего происхождения ряда языков от одного и того же праязыка» (Трубецкой, 1987). Критику такого подхода можно найти у Г. Вагнера, считавшего индоевропейский язык и народ реальностью (Wagner, 1959, S. 243). По данным К. Ренфрю, мнение Трубецкого не нашло поддержки среди индоевропеистов (Dolgorolsky, 1998, p. XIII). Г.А. Климов в своей книге по истории типологических исследований пишет, что попытки некоторых советских учёных 1930-х гг. отказаться от генеалогической классификации языков, заменив её теориями о схожести хозяйственно-общественных условий, уровня мышления и языковых союзов, можно считать изжитыми (Климов, 1981, с. 21). В частности, если в 1930-е гг. И.И. Мещанинов ещё видел причину эволюции языкового строя в эволюции типов мышления, то в работах 1940-х гг. эта связь постепенно отходит на второй план, чёткое соотношение теряется, хотя ещё подразумевается действие каких-то мировоззренческих сдвигов (Климов, 1981, с. 46–47).

Как отмечает Н. Вален, наиболее древними безличными конструкциями являются «метеорологические»: санск. *Várṣati*, греч. *ῥεῖ*, лат. *Pluit*, гот. *Rigneiþ* (*Идёт дождь*); причём, как видно по их форме, формальное подлежащее типа английского *it* поначалу отсутствовало (его возникновение он связывает с принципом аналогии, когда местоимение «оно», использовавшееся в сложных предложениях в анафорической функции, полностью потеряло референта и заполнило собою пустующее место субъекта) (Wahlen, 1925, p. 8–9, 14; ср. Hirt, 1937. Bd. 7, S. 9). Как полагал К. Бругман, вслед за «метеорологическими» конструкциями появились конструкции «телесных или душевных желаний или состояний» (Brugmann, 1925, S. 24–25). А.А. Шахматов, напротив, утверждал, что безличные формы глагола употреблялись в индоевропейском языке для вы-

ражения физических и нравственных переживаний, но не для обозначения явлений природы; «правда, в греч. языке такие обороты совсем неизвестны, в древнеиндийском они редки и сомнительны, но согласные показания латинск., германск., литовск. и славянск. языков убеждают в исконности этих оборотов и в наличии их в и-е языке» (цит. по: Галкина-Федорук, 1958, с. 86). У. Леман полагал, что «метеорологические» глаголы типа лат. *Fulget* (*Сверкает молния*), *Tonat* (*Гремит гром*), как и «психологические» глаголы типа лат. *Pudet me* (*Мне стыдно*), являются пережитками активного строя доиндоевропейского языка, а именно типичным для таких языков классом неволитивных глаголов, употребляющихся обычно в 3 л. ед. ч. без субъекта (Lehmann, 2002, p. 55). Леман подтверждает предположение Бругмана о первичности «метеорологических» глаголов по сравнению с глаголами психического и физического состояния, аргументируя это этимологической схожестью первых и значительным этимологическим расхождением вторых; ср. и.-е. **sneygwh-ti* (*Снежит*) > греч. *Veíφει*, лит. *Snẽga*, лат. *Nīvit*, д.-в.-нем. *Snīwit*, д.-ирл. *Snigid* (в данном случае со сменой значения на *Дождит*); глаголы психического и физического состояния типа гот. *Mik huggreiþ* (дословно: *Меня голодит*) таких эквивалентов обычно не имеют (Lehmann, 1991, p. 33–34). Помимо этих групп, Леман относит к индоевропейскому и модальные безличные конструкции типа лат. *Decet* (*Подобаает*), греч. *Δεῖ* (*Надо*).

А.Ф. Лосев считает «метеорологические» конструкции отражением древнего типа мышления, запечатлённого в индоевропейском и доиндоевропейском языке. Как он полагает, эволюция языковых типов идёт от инкорпорированного, прономинального, посессивного и эргативного строя к номинативному, в наибольшей мере отражающему научный подход к действительности и обладающему наибольшей степенью абстрактности: «Благодаря этому полному исключению слепой и безотчетной чувственности из сферы номинативного субъекта возникает ещё одно его замечательное свойство, которым он резко отличается от всех предыдущих грамматических строев. В предыдущем мы уже не раз замечали, что рассматриваемые нами типы предложений были бессильны исключать слепую чувственность целиком, что и заставляло их в значительной степени содержать в себе элементы чувственных ощущений и восприятий. Не только субъекты доэргативных типов предложения, но даже и эргативный субъект по своему своему смыслу содержал указание на некий слепой и неименуемый субъект, находящийся вне самого предложения и орудующий эргативным субъектом как своим инструментом. Это делало решительно все деноминативные предложения, собственно говоря, безличными предложениями. [...] Исключение всякой слепой и неименуемой чувственности из номинативного субъекта, полное и всецелое отражение чувственности в мышлении, превращение субъекта в предельную обобщенность чувственного восприятия и максимальное достижение абстрагирующей мысли приводят

к тому, что номинативное предложение впервые во всей истории мышления и языка перестает быть безличным предложением, впервые становится предложением, в котором субъект целиком отражен в мышлении так, что в нем ничего не оставлено слепо-чувственного, животно-инстинктивного и недифференцированного. Правда, номинативные языки содержат в себе и так называемые безличные предложения. Но эти предложения представляют собой сравнительно небольшую группу, и они вполне приспособились к номинативному строю и морфологически, и синтаксически. Кроме того, это, конечно, рудимент древнего безличия, потерявший здесь всё своё мифологическое и вообще идеологическое значение. Победа "личного" предложения в номинативном строе колоссальна и несравнима с ничтожными остатками древнего безличного предложения» (Лосев, 1982).

Критика такого подхода будет подробно рассмотрена ниже, здесь же ограничимся замечанием, что нет никаких оснований полагать, что решительно все предложения индоевропейского или даже доиндоевропейского языка были безличными. Сфера безличности ограничивалась преимущественно семантикой неволевых, неконтролируемых, спонтанных, вынужденных действий и состояний, как и в других языках мира с более или менее развитой падежной системой и/или деноминативного строя.

Помимо Лосева, ещё несколько советских авторов занимались вопросами стадияльного деления языковых типов, причём эргативный строй в их реконструкциях развития индоевропейского неизменно определялся как предшествующий номинативному, поскольку «случаи формирования выдержанной эргативной типологии предложения из номинативной в настоящее время неизвестны»; то же касается и активного строя (Климов, 1973 а, с. 200; ср. Тронский, 1967, с. 91; Панфилов, 2002; Климов, 1983, с. 173; "Language Typology and Language Universals", 2001, р. 1422; Lehmann, 2002, р. 27). Относительно индоарийских языков, которые другие авторы приводят в качестве эталонных примеров развития эргативности на основе номинативного строя, Г.А. Климов полагает, что сфера употребления эргативных конструкций в них не расширяется, а, напротив, сужается (Климов, 1981, с. 90; ср. Drinka, 1999, р. 478; Comrie, 1983, р. 118).

Впрочем, более поздние исследования показали, что однозначной закономерности развития языковых типов всё-таки нет, то есть номинативные языки так же могут стать деноминативными, как и наоборот (Dixon, 1994, р. 182). Т.В. Гамкрелидзе полагает, что активный язык может превратиться в номинативный или эргативный, но не наоборот; номинативный язык может стать эргативным, а эргативный – номинативным (Gamkrelidze, 1994, р. 33). Подробное описание теорий стадияльности можно найти у Г.А. Климова (Климов, 1981, с. 81–105), о довоенных теориях подробно говорится в статье А.П. Рифтина «Основные принципы построения теории стадий в языке» (Рифтин, 1946). Здесь же будет представлен только краткий обзор.

В частности, И.И. Мещанинов различал следующие стадии развития индоевропейского праязыка: аморфная (= изолирующая в современной типологии), посессивная, эргативная и номинативная (Мещанинов, 1947, с. 174; Панфилов, 2002); после различных изменений и доработок теории он пришёл к другой последовательности: посессивная > эргативная > номинативная (Климов, 1981, с. 85). Посессивный строй здесь описываться не будет, так как современные лингвисты его больше не выделяют, а соответствующие языки теперь причисляются к эргативным (Климов, 1983, с. 135). С.Д. Кацнельсон различал стадию слова-предложения (с тотемическим мышлением), эргативную (с мифологическим мышлением) и номинативную стадии. Г.П. Мельников отмечает, что среди языков, которые ранее относили к числу эргативных, есть немало таких, разбиение имён на классы в которых обусловлено потребностью подчеркнуть в семантике прежде всего «активность» или «неактивность»; их теперь выделяют в особый класс активных языков. Остаётся, однако, неясным, какой статус следует присвоить языкам активного строя на стадильной шкале: предшествуют ли они эргативным языкам или же следуют за ними перед номинативными (Мельников, 2000). Ю.С. Степанов в книге «Индоевропейское предложение» исходит из того, что активный строй предшествовал эргативному (Степанов, 1989, с. 11). Некоторые авторы приравнивали активный строй к раннеэргативному или считали его подтипом эргативного (ср. Климов, 1977, с. 35, 42; Панфилов, 2002), а Г.А. Климов полагал, что активный строй мог непосредственно перейти в номинативный без стадии эргативного (Климов, 1977, с. 25). Т.В. Гамкрелидзе исходит из предположения, что ранний индоевропейский был активным, поздний – типичным номинативным, но с явными следами активного строя (Gamkrelidze, 1994, p. 34). Сейчас активные и эргативные языки как один тип уже практически не рассматривают (Wichmann, 2008). Г.А. Климов выделял в работах 1970-х гг. также нейтральный строй¹, но в книге «Принципы контенсивной типологии» поставил его под сомнение: «В силу по существу полной контенсивно-типологической неизученности представителей нейтрального строя сама правомерность постуляции последнего вызывает серьёзные сомнения» (Климов,

¹ Характеристики нейтрального строя: отсутствие в глагольной морфологии и факультативное присутствие в именной морфологии формальных средств выражения актантно-предикативных отношений, слабая морфологическая оформленность всех грамматических классов слов и соотносимость языков этого типа с изолирующим и основоизолирующим строем (Панфилов, 2002). Лексика характеризуется полисемантизмом большого количества слов, в фонологии типичная черта – наличие тонов, отсутствие или незначительное количество аффиксов обуславливает широкие возможности конверсии, ряд полнозначных слов способен выступать в функции грамматических или словообразовательных формантов, прилагательные как часть речи отсутствуют, для глагольной системы характерна категория вида, темпоральные значения формируются из видовых или наряду с ними, употребление слов без грамматических формантов (то есть в виде корня или основы) очень распространено. Данный тип разработан чрезвычайно слабо, его характеристики в разных работах сильно отличаются друг от друга. К нейтральным причисляется часть западно-атлантических языков, например, волоф, языки гур, бенуэ-конголезские (кроме банту), адамауа и кордофанские, многие языки сино-тибетской семьи, тайские, многие аустроазиатские и австронезийские и другие. Некоторые учёные причисляют эти языки к номинативным, классным или эргативным.

1983, с. 87). А. Эрхарт предполагал существование в доиндоевропейском так называемой классной системы типа тех, которые встречаются в языках банту: все существительные в таких языках делятся не на две категории, как в активных, а на множество категорий типа «люди», «собирательные существительные», «орудия», «привычки» и т.д., каждый класс отделяется от остальных морфологически (Lehmann, 2002, р. 167). Возможность существования классных языков в континентальной типологии допускалась и у Климова, но не была разработана им детально; по его мнению, классные языки должны предшествовать активным. Найти следы классного строя в индоевропейских языках сейчас практически невозможно (Lehmann, 2002, р. 168), работу в этом направлении ведут А. Эрхарт и Дж. Фридман (Lehmann, 2002, р. 140).

Наиболее убедительной нам представляется теория об остатках активного (а не эргативного) строя в индоевропейских языках; эргативность индоарийской ветви возникла, очевидно, сравнительно поздно под влиянием тибето-бирманских языков, то есть не является наследием общего предка (ср. Bauer, 2000, р. 54–55; Gamkrelidze, 1994, р. 30). Первым предположение об активном строе индоевропейского высказал Г.А. Климов, впоследствии соответствующие теоретические основы были разработаны Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Ивановым и У. Леманом (Drinka, 1999, р. 469). Как пишет Б. Дринка в обзорной статье, за последние десятилетия данный вопрос многократно обсуждался в лингвистической литературе, но опровергнуть теорию Климова так никому и не удалось (Drinka, 1999, р. 470). Под сомнение были поставлены только отдельные положения теории, которые можно расценивать как второстепенные. Например, Г.А. Климов указывал на тот факт, что в индоевропейском, как и в большинстве активных языков, наиболее распространённым порядком слов был SOV. Американской исследовательнице Дж. Николс удалось, как она полагает, показать, что порядок слов в большей мере коррелирует с head / dependent marking (Drinka, 1999, р. 471). Под head marking подразумевается такое построение фразы, где её основная составная часть несёт информацию о дополнительных (например, глагол – о форме дополнения и подлежащего); под dependent marking – наоборот (например, субъект и/или объект – о глаголе, артикль – о существительном). В индоевропейском, как и в языках активного строя подтипа Fluid-S, фразы строились по принципу маркировки второстепенных членов, то есть dependent marking (Drinka, 1999, р. 472).

По способности выражать субъектно-объектные отношения Г.А. Климов распределил языковые типы следующим образом: (классный ?) < активный < эргативный < номинативный (Klimov, 1979, р. 327; ср. Bauer, 2000, р. 57–59). С.Д. Кацнельсон в терминологии советского языкознания довоенного времени писал, что «выделение объективного и субъективного в первобытном сознании составляет идеологическую сущность перехода от дономинативного [= классного, эргативного или активного – Е.З.] строя предложения к номинативному» (цит. по: Климов, 1981, с. 95). Примерно в том же духе высказывалась М.М. Гухман: «Лишь с переоформлением активного и пассивного падежа [= характеристики активного строя – Е.З.] независимо от категории глагола в именительный, падеж субъекта, и винительный, падеж объекта,

субъектно-объектные отношения становятся центральными в системе склонения... Выделение же именительного падежа как универсального падежа субъекта теснейшим образом связано с залоговой дифференциацией глагола» (цит. по: Климов, 1981, с. 95).

В деноминативных языках номинатив не является тем универсальным падежом субъекта, о котором говорит М.М. Гухман, поэтому вполне логично ожидать в номинативных языках с пережитками активного строя некоторое количество неноминативных субъектов (аккузативных и т.д.), что мы и наблюдаем почти во всех индоевропейских языках – большинство безличных конструкций требуют либо дативных, либо аккузативных, либо генитивных субъектов, присутствующих эксплицитно или имплицитно.

Таблица 1 проиллюстрирует разницу между языками активного, эргативного и номинативного строя.

Таблица 1

**Активный, эргативный и номинативный строй в сравнении:
падежное оформление объекта и субъекта**

	<i>Активный</i>	<i>Эргативный</i>	<i>Номинативный</i>
Я иду (неперех. гл., активное действие)	активный падеж	абсолютив	номинатив
Я сижу (неперех. гл., пассивное действие)	пассивный падеж	абсолютив	номинатив
Я поливаю [что-то] (перех. гл.)	активный падеж	эргатив	номинатив
[Кто-то] ранил его (перех. гл.)	пассивный падеж	абсолютив	аккузатив
Более подробные данные приводятся у Р. Штемпеля (Stempel, 1998, S. 171)			
	Падеж субъекта		Косвенный падеж
	<i>Номинатив</i>		<i>Аккузатив</i>
Номинативный	Агенса при переходном глаголе		Пациенса при переходном глаголе
	Субъект при непереходном глаголе		
	Субъект при глаголе состояния		
Эргативный	Абсолютный падеж		Эргативный падеж
	Субъект при непереходном глаголе		Агенса при переходном глаголе
	Субъект при глаголе состояния		
	Пациенса при переходном глаголе		
Активный	Немаркированный		Маркированный
	Переходное действие	Агенса одушевлённый	Пациенса одушевлённый
		Пациенса неодушевлённый	
	Непереходное действие	Субъект одушевлённый	Субъект неодушевлённый
Состояние	Субъект неодушевлённый	Субъект одушевлённый	

В различных источниках названия падежей сильно отличаются друг от друга. Следует также указать на то обстоятельство, что в таблице приводятся только самые обобщённые данные без учёта специфики каждого языка. Например, в эргативном чукотском языке для обозначения как подлежащего переходного глагола, так и косвенного дополнения используется творительный падеж, а объект действия стоит в абсолютном падеже (вообще подлежащее при переходном глаголе в эргативных языках обычно стоит в одном из косвенных падежей: местном, родительном, активном) (Мещанинов, 1984, с. 8, 27). В аварском подлежащее стоит в творительном падеже при переходном глаголе, в местном – при глаголе восприятия, в дательном – при глаголе чувственного ощущения, в родительном – при глаголе «быть» и в абсолютном – при непереходном действии (Мещанинов, 1984, с. 34). В удинском языке Азербайджана при глаголе «иметь» употребляется родительный падеж субъекта, при глаголах «слышать», «знать», «быть в состоянии», «хотеть», «любить», «бояться», «стыдиться» – дательный, при большинстве переходных – инструментальный (или эргативный), при глаголах состояния и действия, не переходящего на объект, – абсолютный (Мещанинов, 1940, с. 185). Чаще всего эргативный падеж можно сравнить с русским творительным (Сидоров, Ильинская, 1949, с. 348). В последующих главах мы неоднократно будем рассматривать примеры из различных эргативных языков.

Нельзя также не отметить, что разграничение активных и эргативных языков остаётся недостаточным: даже в отношении самых известных и документированных деноминативных языков типа грузинского и баскского учёные по сей день не пришли к однозначному мнению, к какому именно типу они относятся. Из-за этого примеры пришлось разделить следующим образом: если автор не признаёт существования активных языков, но отмечает, что тот или иной пример был взят из языка, который другие считают активным, мы приводили этот пример в разделе об активных языках; если автор однозначно утверждает, что речь идёт о примере из эргативного языка, мы приводили его в разделе об эргативных языках.

Следующая пояснительная формула, демонстрирующая разницу между номинативными, эргативными и активными конструкциями, взята из статьи Р. Штемпеля “Die Aussage des Wortschatzes zum Typus des Frühindogermanischen” (Stempel, 1998, S. 171):

- номинативные языки: агенс (при глаголах типа «убивать») = субъект (при глаголах типа «идти») = субъект (при глаголах типа «лежать», «знать») ≠ пациенс (при глаголах типа «убивать»);
- эргативные языки: агенс (при глаголах типа «убивать») ≠ субъект (при глаголах типа «идти») = субъект (при глаголах типа «лежать», «знать») = пациенс (при глаголах типа «убивать»);

- активные языки: агенс (при глаголах типа «убивать») = субъект (при глаголах типа «идти») ≠ субъект (при глаголах типа «лежать», «знать») = пациенс (при глаголах типа «убивать»).

Р. Штемпель полагает, что индоевропейский был языком активного типа (Stempel, 1998, S. 169).

Мысль о доминативном строе индоевропейского языка и/или его предшественника за последние десятилетия достаточно широко распространилась в среде отечественных и зарубежных учёных.

«К языкам номинативного строя относятся в основном индоевропейские языки. Однако многие лингвисты уверены, что эргативный языковой тип предшествовал номинативному. "Эргативная конструкция рассматривается... как стадияльно более древняя, [...] а переход от эргативного строя к номинативному увязывается с процессом развития мышления, отражённым в последовательных "стадиях" развития языка" [В.М. Жирмунский – Е.З.]. Мы же можем убедиться, что детское сознание, как и мифологическое, строит свои высказывания по эргативному типу. Ибо, скажем, присущее детской речи неоформленное синкретическое сцепление отдельных предметов, нечёткая закреплённость за словом определённых значений характерно для языков эргативного строя...» (Мельникова, 2002, с. 54; ср. Мельникова, 2003, с. 259).

«Исследования, проводимые в русле "нового учения о языке", позволили доказать, что в современных номинативных языках удаётся вскрыть реликты предшествующих стадий, и к настоящему времени накоплено много новых данных, подтверждающих эргативные истоки строя современных номинативных языков» (Мельников, 2000).

“Indo-European belonged to the (B) main type of sentence structure [(B) main type: active type marking all subjects, ergative type marking the subject of transitive predicates – E.3.]. Its development from an active or active-ergative type to a nominative one can be correlated with a similar development in other languages generalised by typology” (Dezsó, 1980, p. 25).

«Существует ряд свидетельств, подтверждающих, что индоевропейский язык принадлежал к языкам эргативного, а ещё раньше – активного строя, но не к языкам номинативного строя» (Schmidt, 1980, S. 102).

«Реконструкция индоевропейского в качестве языка эргативного или активного строя связана с исследованием вопроса маркировки у форм номинатива мужского и женского рода и отсутствия маркировки у форм среднего рода» (Meier-Brügger, 2002, S. 280).

“Weiterhin besitzen die alten idg. [= indogermanischen – E.3.] Sprachen und damit das aus ihren durch äußere Rekonstruktion gewonnene G-idg. [= Gemein-Indogermanische – E.3.] eine "Akkusativ-Konstruktion", d.h. nach K. Heger, Aktanten in Prädikativfunktion neben solchen in Causalfunktion, abgekürzt P (C), stehen im Akk.[usativ – E.3.], alle anderen in Prädikativ- oder Causalfunktion im Nominativ. Das Suffix -s des Nom.[inativs – E.3.] der Utra und die Identität des Nom. und Akk. der Neutra (meist Suffix Ø) lassen jedoch auf eine ältere "Ergativ-Konstruktion" schließen, d.h. Aktanten in Causalfunktion neben solchen in Prädikativfunktion, abgekürzt C (P), stehen im Ergativ (Suffix -s), alle anderen Aktanten in Prädikativ- oder Causalfunktion stehen im Nom. (Suffix Ø). [T.V. – E.3.] Gamkrelidze schließt dagegen auf eine ältere "Aktivkonstruktion", d.h. alle Aktanten in Prädikativfunktion stehen im Akk., alle in Causalfunktion im Erg.[ativ – E.3.], einen Nom. gibt es bei dieser Konstruktion nicht” (Schmidt-Brandt, 1998, S. 231).

«Для древнего состояния языка-источника индоевропейского языка (было бы неосторожно относить следующую ниже картину непременно к индоевропейскому языку) были, видимо, характерны след. черты: в морфологии – гетероклитическое склонение, совмещающее в одной парадигме разные типы склонения, вероятное наличие эргативного ("активного") падежа, признаваемое многими исследователями, [...] противопоставление одушевленного и неодушевленного классов, давших впоследствии начало трехродовой (через двухродовую) системе...» («Лингвистический энциклопедический словарь», 1990).

«...сами безличные глаголы представляют собой наследие индоевропейского языка. Более того, как недавно было установлено, безличные глаголы являются остатками языковой системы, которая была характерна для индоевропейского на самой ранней стадии... На основе свидетельств из области лексики, морфологии и синтаксиса индоевропейцы пришли к выводу, что праязык был изначально не номинативным, а, вероятно, активным. Под лексическими и грамматическими данными подразумевается отсутствие переходности как грамматической характеристики, отражающей первоначальное деление по активности / инактивности, а также другие особенности, которые можно обычно найти в активных языках. [...] [Из частей речи в индоевропейском – Е.З.] доминируют существительные, глаголы и частицы. Прилагательные, функции которых выполняют стативные глаголы, не играют большой роли. С другой стороны, широко распространены безличные глаголы» (Bauer, 1999, p. 591–592).

«Новейшие исследования в области эргативной конструкции С.С. Uhlenbeck'a, Н. Schuchardt'a и других за рубежом, у нас в Союзе Н.Я. Марра и И.И. Мещанинова позволили предположить, что появлению номинативного строя предложения в индоевропейских языках предшествовал эргативный строй. Таким образом, вчерне намечались по меньшей мере три стадии в развитии предложения: стадия эргативного строя, древний тип номинативного строя и вырастающее из него предложение современного типа» (Кацнельсон, 1936, с. 7).

«Наконец, если прав [Кристиан Корнелиус – Е.З.] Уленбек и некоторые другие лингвисты, противопоставление именительного падежа винительному, свойственное всем исторически засвидетельствованным индоевропейским языкам (совпадающим в этом отношении с языками урало-алтайскими), развилось сравнительно поздно, и в наиболее древний период своего развития индоевропейские языки применяли эргативную конструкцию, подобно современным северокавказским языкам (а также языку баскскому и некоторым вымершим языкам Малой Азии)» (Трубецкой, 1987).

Те учёные, которые не упоминают терминов «эргативный» и «активный» (язык), всё же признают, что безличные конструкции нарушают принципы номинативного строя. Так, А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов писали в 1983 г., что «и в немецком, и в русском языках отмечаются отдельные отклонения от номинативного строя типа немецкого *mir ist angst und bange* [мне страшно – Е.З.], *mich schwindelt* [у меня кружится голова – Е.З.] или русского *мне страшно, мне хочется, ветром снесло с неё платок*» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 12). Р. Мразек постулирует наличие деноминативного строя предложения в славянских языках, особенно в русском по сравнению с английским, поскольку именно в русском безличные конструкции с нестандартным оформлением субъекта встречаются чаще, чем в других сравниваемых автором языках (Мразек, 1990, с. 25). Под деномина-

тивными компонентами Мразек понимает безличные конструкции типа рус. *Его там нет, Куда нам обратиться?, Тебе нужно подождать, Крышу снесло ветром* (Мразек, 1990, с. 30).

Б. Бауэр резюмирует дискуссию последних полутора веков о безличных конструкциях в индоевропейском следующим образом (Bauer, 1999, p. 593). Безличные глаголы были найдены во всех индоевропейских языках, хотя распределены они неравномерно (особенно много в латыни, мало в английском). Все они употребляются в форме 3 л. ед. ч., которая может выражаться флексией или псевдосубъектом типа англ. *it*. Псевдосубъектом местоимение *it* называется потому, что не имеет денотата. В безличных конструкциях оно появилось значительно позже, чем в личных, то есть его ввели по аналогии для заполнения места подлежащего при становлении жёсткого порядка слов. Это местоимение выполняет чисто синтаксическую функцию (подробнее см. ниже). Безличные конструкции индоевропейского Б. Бауэр делит на три основные группы:

1) «метеорологические»: греч. *Ψεῖ*, лат. *Pluit*, итал. *Piove*, гот. *Rigneiþ*, ср.-в.-нем. *Ez regnet* (*Дождит*); греч. *Χειμάζει*, санск. *Vāti*, нем. *Es weht* (*Дует [ветер]*);

2) эмоциональные и физические состояния, восприятие: лат. *Me pudet* (*Мне стыдно*), д.-в.-нем. *Mih slāferōt* (*Меня клонит ко сну*);

3) модальные значения (возможность, необходимость и т.д.): греч. *Δεῖ με* (*Я должен*), лат. *Mihi licet* (*Мне можно*), рус. *Подобаает* (Bauer, 1999, p. 594).

Наиболее устойчивыми оказались «метеорологические» глаголы. Во второй и третьей группе субъекты неизменно стоят в неканоническом падеже подлежащего (датель, аккузатив и т.д.), соответственно, именно они должны исчезнуть в процессе аналитизации, когда падежная система распадается. Довольно стабильной, однако, оказалась в индоевропейских языках группа безличных конструкций с модальными значениями. Так, в санскрите и греческом, где имперсонала почти нет, этот вид имперсонала остался (Bauer, 2000, p. 135); в латыни даже возникли новые безличные конструкции с модальными значениями вопреки общей тенденции к исчезновению имперсонала (Bauer, 2000, p. 127). Наиболее уязвимыми оказались конструкции, описывающие восприятие, чувства, эмоции, различные ментальные, душевные и телесные состояния и процессы. Например, в латыни и английском именно они первыми превратились в личные (Bauer, 2000, p. 128, 133; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 249). В языках мира безлично оформляются глаголы с теми же тремя основными группами значений, что и в индоевропейских языках (Bauer, 2000, p. 137). Часто к ним добавляются также конструкции, в которых субъект либо неопределён, либо обобщается (например, когда высказывание относится ко всем людям вообще). В большинстве языков присутствуют конструкции только одной-двух групп значений. Например, в семитских языках, где имперсонал дос-

таточно развит, безлично оформляются описания явлений природы, физических и ментальных состояний и ощущений, указания времени, в иврите – ещё и модальные значения. Нередко вместо имперсонала в языках мира прибегают к использованию каких-то обобщающих подлежащих и к тавтологиям: араб. *Barrakit iddinja halak* (*Сверкает природа сильно*, то есть *Идёт сильная гроза*), тур. *Yağmur yağıyor* (*Дождь дождит*) (Bauer, 2000, p. 100, 137–138). Среди индоевропейских безличных конструкций часто встречаются содержащие непереходные и стивные глаголы, в чём автор видит доказательство активного строя раннего индоевропейского языка (Bauer, 2000, p. 111).

Одним из первых мысль об эргативном строе индоевропейского языка высказал К.К. Уленбек: на основе исторического анализа индоевропейских падежных форм он пришёл к выводу о том, что индоевропейский язык был похож на языки типа гренландского и дакоты. Заметим, что дакота, как было установлено несколько десятилетий спустя, является не эргативным, а активным языком, то есть Уленбек обнаружил в индоевропейском сходство с обоими типами (Bauer, 2000, p. 31). До возникновения именительного и винительного падежей в индоевропейском языке, как он полагал, существовали лишь падежи действия и страдания. *Casus transitivus* (эргативный падеж, падеж действия) он сравнивал с творительным, а *casus intransitivus* – с именительным (Уленбек, 1950 б, с. 97–100; Кацнельсон, 1936, с. 66–67; Климов, 1977, с. 19–21, 37). Форма мужского рода именительного падежа у существительных в индоевропейских языках отображает первоначальный агентивный падеж / эргативный падеж / *casus transitivus* / падеж действия, формы мужского рода винительного падежа и среднего рода именительного и винительного падежа (вернее, отсутствие всякой маркировки существительных в данном случае) – пациентивный падеж / абсолютивный падеж / *casus intransitivus* / падеж страдания (Lehmann, 2002, p. 51). Индоевропейский именительный падеж произошёл, по мнению Уленбека, от эргативного падежа (Гухман, 1967, с. 58). Мировоззренческую основу возникновения «орудийного» (= эргативного) падежа в языках эргативного строя Уленбек определял примерно так же, как А. Вежбицкая определяет сущность творительного падежа в русских конструкциях типа *Его убило молнией*: «Для примитивного языкового чувства реальным действующим лицом является скрытая сила. Она действует через посредство мнимого действующего лица, первичного орудия, которое, в свою очередь, может пользоваться вторичным орудием. Возьмём в качестве примера такую фразу, как "Он убивает птицу камнем". Индеец из племени черноногих выразит эту мысль так: "Птица посредством-убиваема-им камень". Тот, кто убивает, есть то, что обычно называют действующим лицом; в действительности, однако, он является лишь мнимым действующим лицом, первичным орудием, в свою очередь, управляемым какой-то скрытой силой. Мнимое действующее лицо, хотя и само является зависимым, воздействует на логический объект (то есть грамматический субъект) посредством его эманлирующего оренда. Даже тогда, когда лицо является логическим субъектом какого-либо

непереходного действия, как часто случается в мышлении народов, которые знают не противоположность переходного и непереходного, а противоположность активного и пассивного, и тогда оно равным образом действует посредством той же мистической силы» (цит. по: Кацнельсон, 1936, с. 89).

К.К. Уленбек был далеко не одинок в своём мнении о культурологической основе возникновения того или иного языкового строя. В частности, в 1931 г. В. Хаферс писал, что «для изменения конструкции безличных глаголов восприятия как условия могут быть привлечены также культурный уровень и мировоззрение...», эти условия он искал в отказе от иррациональных ассоциаций, свойственных первобытному мышлению (цит. по: Климов, 1973 а, с. 202). Следует, однако, подчеркнуть, что подобные мифологические толкования различных языковых феноменов были вообще популярны в первой половине XX в., пока этим феноменам не было найдено адекватных научных объяснений, поэтому сегодня к таким высказываниям следует относиться с осторожностью. Не секрет также, что лингвистика в те времена нередко становилась орудием пропаганды, служившим идеям национального и расового превосходства. Языковая типология не является в этом отношении исключением: все типы языков, не соответствующие современному западному, часто объявлялись древними и примитивными, на них наклеивались ярлыки нелогичности, фатализма, неадекватности восприятия мира и неспособности полноценно выражать мысли говорящих. В частности, некоторые западные лингвисты, особенно из Германии времён фашизма, сознательно отказывались от теории эргативности индоевропейского языка, не желая ставить своих предков на один уровень с дикими племенами Австралии, индейцами и «примитивными» северными народами. Именно на это обстоятельство указывал в 1930-е гг. С.Д. Кацнельсон¹. Можно также вспомнить немецкого лингвиста К. Майнхофа, который в 1936 г. в работе «Возникновение флективных языков» объявил изолирующие языки примитивными, агглютинативные – менее примитивными, и только флективные языки, к которым принадлежит немецкий, – верхом прогресса (Lehmann, 2002, p. 139). Точка зрения отечественного языкознания на мировоззренческую основу эргативного языкового строя наиболее полно отразилась в следующей цитате из книги Г.А. Климова «Очерк общей теории эргативности», где автор возражает против ассоциирования эргативного строя с дологическим и «примитивным» мышлением древних людей: «...в отличие от ещё нередко встречающегося мнения, прежде всего необходимо подчеркнуть, что не видно каких-либо оснований соотносить структурную специфику этого строя с примитивностью и, в частности, с так называемым

¹ «В настоящее время, когда фашизм стремится осуществить возврат к средневековью во всех сферах общественной жизни Германии, исследования древнейших эпох становятся ещё более необходимыми. Фашиствующее языкознание, в лице Н. Güntert'a, G. Schmidt-Rohr'a, Fr. Stroh и других, стремится, опираясь на "национальное понимание языка" [...], обосновать существование и изначальное преимущество немецкого народного духа. Глоттогонические исследования рассеивают всю эту мифологию как дым. И не наша вина, если пережитки эргативного строя в германских языках обнаруживают столь изумительные черты сходства со структурой предложения в языках австралийцев и других культурно отсталых племён» (Кацнельсон, 1936, с. 8).

"дологическим" характером обслуживаемого им мышления. Если расщепить структуру мышления подобно тому, как это сделано в отношении языка, на отдельные уровни, то в лучшем случае можно будет говорить о различии в степени развития его отдельных сторон. Вероятно, по большинству своих частных параметров мышление всех современных народов – как так называемых "первобытных", так и "цивилизованных" – окажется тождественным. В частности, уже то обстоятельство, что в нём идентичен такой важнейший компонент, как формально-логические законы вывода, позволяет многим исследователям утверждать его качественную идентичность. В то же время приведённый в настоящей работе материал имеет отношение по существу к одному компоненту мышления – семантической детерминанте языка. Между тем само определение последней для эргативного строя как субъектно-объектной сразу же не только снимает всякую возможность говорить о какой-либо несовершенности соответствующей ему структуры мышления, но и, напротив, даёт веские основания констатировать её чрезвычайно высокий уровень...» (Климов, 1973 а, с. 255).

В монографии «Типология языков активного строя» Г.А. Климов вновь подверг критике взгляды Уленбека, ссылаясь на его же слова: «Наше чувство языка обманчиво; пытаюсь найти у примитивных народов привычное нам мышление и вкладывая в их менее развитое мировоззрение наше собственное, мы часто попадаем впросак. Чтобы получить правильное представление о языковых отношениях, нужно найти объективные, внутренние критерии» (цит. по: Климов, 1977, с. 41). Климов называет расистской точку зрения, согласно которой носители доминативного строя являются в каком-то отношении неполноценными (например, иррациональными) (Климов, 1977, с. 298). Он отрицает неспособность носителей активных языков различать субъекты и объекты (на чём настаивали многие западные учёные), как и детерминированность мысли формами речи вообще. Относительно следующего высказывания Г. Хольца Климов замечает, что оно осталось чисто декларативным, то есть не нашло никакого подтверждения: «Когда мы говорим о пассивном, эргативном и номинативном строе предложения, то тем самым имеются в виду логические идеальные типы, в которых манифестируется некоторая форма миропонимания» (цит. по: Климов, 1983, с. 114–115). Пассивность строя эргативных языков, как и теории об отразившемся в нём дологическом мышлении, Климов отвергает (Климов, 1983, с. 115). Как подчёркивал ещё один выдающийся советский лингвист Б.А. Серебренников, сколько-нибудь однозначное соответствие между типом языка и уровнем развития мышления отсутствует (Климов, 1973 а, с. 257). Знаменитый немецкий лингвист Х. Шухардт писал в начале XX в., что было бы заблуждением искать отражение особенностей менталитета в грамматическом строе – если национальный характер где-то и отражается, то в пословицах и всевозможных устойчивых выражениях (Schuhardt, 1914, S. 7–8). А.А. Потебня считал, что для логики словесное выражение её построений безразлично; грамматическое предложение не тождественно и не параллельно логическому суждению; область языка далеко не совпадает с областью мысли (Мещанинов, 1940,

р. 22–23). Ю.Г. Курилович писал, что остатки эргативного строя в индоиранской ветви индоевропейских языков не могут свидетельствовать об особенностях мышления (миросозерцания) их носителей (Курилович, 1946, с. 388), что «эти два строя [эргативный и номинативный – Е.З.] не отражают двух разных мышлений» (Курилович, 1946, с. 391). А.А. Холодович предостерегал от приравнивания языкового строя к типу мышления или сознания, аргументируя это тем, что переход от одного строя к другому является «лишь двумя технически, а не идеологически разными решениями одной задачи» («Обсуждение проблемы стадиальности в языкознании», 1947, с. 262). И.М. Дьяконов полагал, что эргативный строй не может отражать особенностей мышления, поскольку языки с эргативной и номинативной конструкциями существуют у народов совершенно одинакового социально-культурного уровня (шумеры и аккадцы, урарты и ассирийцы) (Дьяконов, 1967, с. 115). Т.В. Гамкрелидзе указывал на то, что номинативные и эргативные языки различаются только во внешнем выражении одинаковой глубинной структуры (Gamkrelidze, 1994, р. 30). С.Д. Кацнельсон в статье «Эргативная конструкция и эргативное предложение» предостерегал от приписывания носителям современных языков с остатками эргативности каких-то характеристик «первобытности»: если в том или ином языке уже развились прилагательные и страдательные причастия (отсутствующие или слабо развитые в языках эргативного строя), то пережитки эргативного строя, вероятно, уже давно были переосмыслены, то есть в них не вкладывают первоначального значения, каково бы оно ни было (Кацнельсон, 1947, с. 44). Ещё в 1930-е гг. он писал: «В этой гипотезе, видящей в синтаксических структурах прямое отражение иллюзорных форм первобытной идеологии, всё надумано. Даже в чисто лингвистическом плане эта гипотеза не выдерживает критики. Полагать, что за эргативной конструкцией таится мифологический субъект, мыслимый, конечно, в именительном падеже, значит погружаться в область недоказуемых догадок. Непонятным остаётся и то, почему мифологическое сознание, будто бы безраздельно владеющее умами тех, кто говорит на языках эргативного строя, ограничивает себя рамками переходных конструкций. Но распространив эту гипотезу на непереходные конструкции с именительным падежом, мы поставили бы под сомнение сам именительный падеж, ради которого строились все эти предположения» (цит. по: Климов, 1973 а, с. 208).

По мнению И.И. Мещанинова, оформление подлежащего номинативом, творительным или каким-либо другим падежом не меняет суть дела, так как во всех случаях говорящий вполне осознаёт, что речь идёт об агенсе; и потому едва ли строй языка может свидетельствовать о различии действующих норм сознания его современных носителей (Мещанинов, 1947, с. 183). Л.А. Пирейко писал: «...ни о какой примитивности мышления носителей языка с эргативной конструкцией предложения материал индоиранских языков не позволяет говорить уже потому, что эта конструкция возникла в исторический период в развитых флективных языках, обслуживающих развитые цивилизации» (цит. по: Климов, 1973 а, с. 211). Он указывал также на тот факт, что существует целый ряд «примитивных» народов (племён), использующих номинативный строй,

соответствующий современному западному. Кроме того, данные индоиранских языков свидетельствуют о том, что в истории определённого ареала индоевропейской языковой семьи, возможно, имело место неоднократное чередование обеих моделей предложения (эргативной и номинативной). Вполне однозначно высказался по поводу теории о мифологизированности сознания носителей эргативных языков Ю.Д. Дешериев: «Эта мистика чужда современным иберийско-кавказским языкам и их носителям, как, впрочем, она должна быть чужда и другим современным языкам, в которых существует эргативная конструкция предложения» (Дешериев, 1951, с. 591). Дешериев отрицает и пассивность данного языкового строя, о которой мы скажем ниже. В очень простой и доступной форме выразил свою критику Уленбека А. Тромбетти. На пример Уленбека, согласно которому не охотник убивает птицу, а некая сила посредством охотника, Тромбетти замечает: «Ну, а если бы охотник ел птицу? Что же она, в действительности, также подалась бы тайным существом через охотника? Рассуждая так, можно прийти к очевидным нелепостям» (Тромбетти, 1950, с. 157). В рецензии на статью Тромбетти к его мнению присоединяется Ю.Д. Дешериев (Дешериев, 1951, с. 592). Эту мысль Тромбетти можно продолжить: если в качестве производителя действия в предложении выступает один из духов, то его имя оформляется тем же эргативом, каким оформляются и прочие существительные с одушевлёнными денотатами, ср. аранта *Erinja kunala erina tjatala ntainaka* (Злой [дух] Эринья сразил его копьём, дословно: Злым Эриньей его копьём сразило); в эргативе стоят и слово «копьё», и слово «Эринья» (Кацнельсон, 1986, с. 175). Если исходить из логики приверженцев теории скрытого деятеля, то пришлось бы признать, что и злой дух Эринья управлялся неким другим скрытым духом¹.

Пожалуй, наиболее убедительным доказательством отсутствия какой-либо связи между типом мышления и языковым строем является отсутствие всякой направленности языковой эволюции. Выше мы уже привели примеры нескольких языков, которые сменили аналитический строй на синтетический, что противоречит популярным в XIX – начале XX в. теориям о «прогрессивности» аналитических языков. Здесь же остановимся на вопросе направленности эволюции языковых типов (языкового строя) подробнее.

Р. Диксон обращает внимание на тот факт, что изучение языков всего мира указывает на постоянное превращение фузионных (флективных) языков в изолирующие, изолирующих – в агглютинативные, агглютинативных – обратно в фузионные, или же напрямую из агглютинативных в изолирующие и обратно. Под *изолирующими* он понимает языки типа вьетнамского и

¹ Высказывание с той же аргументацией можно найти у И.М. Дьяконова: «...мне представляется, что эта теория [о "мифологическом субъекте" – Е.З.] достаточно опровергается случаями, когда реальным субъектом действия в предложении оказывается сама высшая сила, само божество; разумеется, и в этих случаях субъект действия выражен эргативом, так как язык просто не имеет другого средства для выражения субъекта действия» (Дьяконов, 1967, с. 96). Дьяконов отмечает, что «старые теории "мифологического субъекта" или прямолинейного сведения эргативной конструкции к определённой ("дологической") стадии мышления отброшены, и решения проблемы ищут сейчас во внутренних закономерностях самого языка» (там же).

китайского, в которых каждое слово состоит из одной морфемы; под *агглютинативными* – языки типа турецкого и суахили, в которых слова состоят из нескольких морфем, каждая из которых имеет чёткую форму и однозначность; под *фузионными* – языки типа латыни, в которых каждое слово состоит из нескольких морфем, некоторые из которых могут сливаться, то есть обладают меньшей степенью разграниченности. Относительно утверждения О. Есперсена, что движение от флективных языков к нефлективным есть универсальный признак прогресса, он замечает, что даже в те времена, когда Есперсен впервые высказал эту мысль (1891 г., в докторской диссертации), один из проверявших диссертацию учёных, Г. Мёллер, счёл это утверждение ошибкой: с его точки зрения, развитие идёт по спирали (Dixon, 1994, p. 182–183). Если представить, что фузионные языки на циферблате языкового развития соответствуют двенадцатому часу, изолирующие – четвёртому, а агглютинативные – восьмому, то, как полагает Диксон, индоевропейский праязык находился на уровне двенадцатого часа, современные индоевропейские языки – на разных уровнях от одного часа до трёх; ранний китайский – на уровне трёх часов, классический – на уровне четырёх, современный – на уровне пяти (то есть опять движется к агглютинативному строю); протодравидийский – на уровне седьмого часа, а современные дравидийские языки – на уровне девятого часа (то есть переходят от агглютинативных к фузионным / флективным); протоавстралийский – на уровне седьмого часа, а его современные родственники – на уровне восьмого-девятого часа (то есть стали более агглютинативными), а некоторые – и на уровне одиннадцатого, общий предок финно-угорских языков – на уровне девятого часа, его современные потомки – на уровне десятого-одиннадцатого, древнеегипетский за 3 000 лет до н.э. был ярко флективным, флексии исчезли к 1000 г. до н.э., но появились вновь в районе 200 г. н.э. Полный цикл может занимать в разных языках 2 000–50 000 лет, но при условии креолизации этот процесс радикально ускоряется, так что флексии могут исчезнуть и снова развиться за два – три поколения (Dixon, 1994, p. 184–185).

И. Баллес также говорит о вечном цикле языков, только заменяет термин «изолирующие» на «аналитические», то есть синтетические языки превращаются в аналитические, аналитические становятся агглютинативными, затем всё начинается снова (Balles, 2004, S. 51). Аналитизацию европейских языков она объясняет их смешением.

Похожие мысли о вечном цикле «изоляция > агглютинация > флексия > изоляция...» можно найти у Д. Вайса (Weiss, 2004, S. 266). Например, он полагает, что окончания глаголов в индоевропейском возникли из личных местоимений и что теперь аналогичный процесс можно снова наблюдать в аналитическом французском. Эргативные языки, как говорилось выше, вполне могут стать номинативными, а номинативные – эргативными (причём Р. Диксон не различает эргативные и активные языки) (Dixon, 1994,

р. 185; Dixon, 1979, p. 100). В первом случае речь идёт о реинтерпретации антипассива¹, во втором – о реинтерпретации пассива, хотя возможны и другие варианты (Dixon, 1994, p. 186). В частности, высказывалось предположение, что многочисленные эргативные языки Австралии возникли из номинативного праязыка или языка смешанного типа (впрочем, по данным Диксона, это предположение считается не очень правдоподобным) (Dixon, 1979, p. 99). В полинезийском языке пукапука эргативность сейчас развивается на основе пассивных конструкций (Drinka, 1999, p. 480). В бенгальском и ассамском, индоевропейских языках индоарийской ветви, развитие эргативных конструкций продолжается и сегодня, причём на более ранних стадиях развития они отсутствовали полностью (Deo, Sharma, 2006). Объясняется это тем, что в силу распада падежной системы маркировка прошедшего времени флексиями стала невозможна, единственной «выжившей» формой передачи прошедших событий оставался пассив, который и был переосмыслен в качестве новой активной конструкции с эргативным оформлением. С. Вихман описывает возникновение активного строя на основе номинативного в нескольких языках американских индейцев (Wichmann, 2008). Высказывалось также предположение, что сейчас активный строй развивается в южном диалекте табасаранского (один из дагестанских языков) (Климов, 1983, с. 190). Б. Дринка полагает, что черты активного строя развиваются в грузинском (Drinka, 1999, p. 479–480). А.С. Чикобава обращал внимание на тот факт, что «не представляется возможным эргативную конструкцию рассматривать как стадийно предшествующую ступень развития номинативной конструкции (и не только в языках разных систем, но и в пределах развития языков одной и той же системы)» (цит. по: Климов, 1981, с. 95), что противоречит представлениям об эволюционном развитии мышления, отражающемся в последовательности языковых типов.

Важно отметить, что древнейшие реконструированные языки индоевропейской семьи уже обладали преимущественно номинативным строем (Климов, 1983, с. 168), то есть переход к данному строю должен был состояться раньше. Поиск пережитков деноминативного строя затруднён ограниченностью современных методов исторической лингвистики. Так, Г.А. Климов обращает внимание на тот факт, что методы реконструкции

¹ Антипассив – это конструкция в эргативных языках, в которой обычно удаляется объект действия, оформляемый абсолютным падежом, а субъект, оформляемый обычно эргативным падежом, перемещается на его место и оформляется абсолютным падежом, или же дополнение и подлежащее ставятся в абсолютном падеже. Г.А. Климов считает, что антипассив – «это та же абсолютная конструкция предложения, образуемая наряду с эргативной непродуктивным классом диффузных или "лабильных" глаголов, встречающимся в целом ряде эргативных языков на правах фреквенталии (это построение может содержать только косвенное дополнение), мотивированной лишь диахронически...» (Климов, 1983, с. 102). По мнению Климова, в активных языках залог отсутствует, а упомянутые им лабильные глаголы являются наследием активного строя. Б. Бауэр отрицает функциональную идентичность пассива в номинативных языках и антипассива в эргативных (Baueer, 2000, p. 38).

могут в большей или меньшей степени восстановить языковые структуры пятитысячелетней давности, в то время как зарождение языка отстоит от нас на 35 000–40 000 лет. Результаты реконструкции индоевропейского указывают, скорее, на смешанную систему, где тесно переплелись характеристики активного и номинативного строя. Так, с одной стороны, было установлено, что единой категории множественности, свойственной историческим индоевропейским языкам, предшествовало языковое состояние, при котором раздельная множественность распространялась на имена активного класса, а в пассивном классе имела только категория собирательности (признак активного строя), но, с другой стороны, для общеиндоевропейского восстанавливается винительный падеж, который в языках эргативного и активного строя отсутствует (Иванов, 1976; ср. Lehmann, 2002, p. 186).

Примечательно, что конструкции де-, или дономинативного, строя зачастую сравнивают с безличными или приравнивают к ним. В частности, Т.П. Матяш пишет: «Личное еще плохо отделено от природы и общества [у индоевропейцев – Е.З.], поэтому предложения в деноминативном строе языка были безличными» (Матяш, 1988, с. 125). Данное утверждение может относиться только к глаголам стативного / неволитивного класса, но не ко всем. Но, как бы то ни было, если часть конструкций эргативного или активного строя походила на современные безличные или была полностью идентична им, можно предположить, что в индоевропейских языках, где сохранилась широкая сфера употребления имперсонала, осталось больше и других характеристик дономинативного строя. В следующих двух разделах этой главы мы подробнее рассмотрим особенности эргативных и активных конструкций и выделим те из них, которые, возможно, по сей день сохраняются в индоевропейских языках.

2.2. Характеристики эргативных языков

От одной четверти до одной трети всех языков мира являются эргативными, самым распространённым считается хинди. Обширный список эргативных языков можно найти у Г.А. Климова (Климов, 1973 а, с. 43–45; ср. Дешериев, 1951, с. 589; Панфилов, 2002; Dixon, 1994, p. 2–5). Чертами эргативности обладают в большей или меньшей мере бурушаски, тибетско-бирманские, китайско-тибетские, папуасские, австралийские, чукотско-камчатские (за исключением ительменского), эскимосско-алеутские, абхазско-адыгские и нахско-дагестанские языки, а также индейские: семьи чинук-цимшиан и майя-киче (Климов, 1983, с. 81–82). Не исключено, что эргативным был этрусский язык. Среди индоевропейских языков к эргативным относится часть индоиранской семьи: пушту, хинди, курдский (диалект курманджи) и другие (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006,

р. 3139). Г.А. Климов считает индоиранские языки номинативными в своей основе (Климов, 1983, с. 52, 82).

Поскольку в последних отечественных работах по имперсоналу особенности языков эргативного строя не рассматриваются, остановимся на этом вопросе более подробно. В некоторых языках подлежащее стоит не в именительном падеже, как при номинативном строе, а в эргативном, выражающем высокую степень агентивности, или в других косвенных падежах в зависимости от степени активности участия субъекта в совершаемом действии: родительном, винительном, дательном. «Прямое» дополнение, напротив, всегда стоит в падеже, похожем на русский именительный (Звегинцев, 1962, с. 372–373). Иногда его называют номинативом, но чаще – абсолютным падежом, или абсолютным падежом. Форма «прямого» дополнения при переходном глаголе соответствует форме подлежащего при непереходном глаголе (в обоих случаях какая-либо маркировка падежа обычно отсутствует), «косвенное» дополнение (адресат, инструмент действия) оформляется эргативным падежом. Из-за того, что эргативный падеж берёт на себя функции инструментального, отдельного инструментального в эргативных языках обычно нет (Климов, 1979, р. 331). Если эргативный падеж не вобрал в себя функции других падежей, он называется самостоятельным (Schmidt, 1979, S. 334). Поскольку непереходные глаголы часто являются глаголами стативными, у их субъекта обычно менее выражено волитивное начало (ср. *Я строю дом – Я сплю*), их «подлежащие» оформляются обычно неволитивно, то есть подобно русским дополнениям. Как полагает И.М. Дьяконов, таким же субъектом состояния является и прямой объект при переходных глаголах, а именно состояния, наступающего в результате действия (Дьяконов, 1967, с. 100). Если в номинативных языках немаркированным (более натуральным) падежом является номинатив, а маркированным (менее натуральным) – аккумулятив, то в эргативных немаркированным является абсолютив, а маркированным – эргатив (Dixon, 1979, р. 72; Schmidt, 1979, S. 334). Предикат обычно согласуется как с подлежащим, так и с дополнением («двустороннее согласование»), так как эргативная конструкция залогово-нейтральна (ср. универсалию из «Архива универсалий» университета Констанца: “In languages with ergative/absolute distinction, the frequency prediction holds: if the verb agrees with the ergative, then it agrees with the absolute” (“The Universals Archive”, 2007)). Если язык представляет собой смесь номинативного и эргативного типов, эргативный падеж лучше всего сохраняется в прошедшем времени / совершенном виде (Dixon, 1994, р. 203; Климов, 1983, с. 123). В некоторых языках эргативный строй употребляется только в прошедшем времени или в придаточных предложениях (Bauer, 2000, р. 39)¹. Глаголы в

¹ Ср. “If in a language there are two classes of sentences such that there is ergative-type verb agreement in one but not in the other type and the semantic property whose respective presence and lack characterizes the two classes is perfectivity, then it is in the class of perfective sentences that ergative verb agreement will occur, rather than in the other class” (“The Universals Archive”, 2007).

эргативных языках часто характеризуются высокой степенью номинальности, то есть схожести с существительными (Климов, 1983, с. 101). На это следует обратить особое внимание, так как индоевропейскому языку также часто приписывают номинальность глагола.

Внутренняя логика эргативного строя выглядит следующим образом: основной акцент делается на агентивности и волитивности действия при переходных глаголах, потому маркируется именно активное начало (истинный производитель действия), а объект и бездействующий субъект остаются без маркировки (Dixon, 1979, p. 73). При номинативизации это разграничение теряется, одно и то же существительное может употребляться и в качестве подлежащего-агенса, и в качестве подлежащего-пациенса, и в качестве подлежащего-экспериенцера, причём во всех случаях без изменения формы и места в предложении: англ. *The boy has hit me, The boy has been hit, The boy heard him*. Академик И.И. Мещанинов писал по этому поводу: «В то же время [при номинативизации – Е.З.] качественно меняется и само смысловое значение того члена предложения, который выражает действующее лицо. В эргативном строе это был реально действующий субъект, в номинативном это уже грамматический субъект, как действующий (субъект действия), так и испытывающий на себе действие (субъект состояния). Здесь предикат характеризует субъект в его действии или состоянии. Отсюда вырабатываются действительный и страдательный залогов в предложениях с переходным глаголом» (цит. по: Климов, 1981, с. 70).

Мотивация эргативного строя особенно проявляется в языках смешанного номинативно-эргативного типа, где стандартный агент остаётся без особого маркера (то есть стоит в номинативе), а нестандартный агент получает форму эргативного падежа, что подчёркивает его агентивность. В лингвистике уже выработались представления о том, что следует считать стандартным и нестандартным агентом. Г. Хеттрих приводит следующую цепочку, где самый типичный агент находится на первом месте, а самый нетипичный – на последнем: 1 лицо (местоимение) > 2 лицо (местоимение) > 3 лицо (местоимение, но только с одушевлённым денотатом) > личные имена > существительные с одушевлёнными денотатами (только люди) > существительные с одушевлёнными денотатами (всё, кроме людей) > существительные с неодушевлёнными денотатами (Hetzrich, 1990, S. 90; ср. Bauer, 2000, p. 39–40). Г.А. Климов обращает внимание на теорию М. Силверстана, согласно которой в языках с номинативными и эргативными компонентами некоторые субъекты обычно оформляются номинативом, другие – эргативом по следующей иерархии агентивности субъектов: 1 лицо > 2 лицо > 3 лицо > имена собственные > имена нарицательные (одушевлённые) > имена нарицательные (неодушевлённые), где элементы в начале иерархии оформляются номинативом, а в конце – эргативом

(Климов, 1983, с. 71)¹. Данная иерархия имеет значительное сходство с иерархией Хеттриха. Например, в языке камкура (Непал) местоимение «ты» в роли подлежащего оформляется номинативом (то есть нейтральной, немаркированной формой), а местоимение «он» – уже эргативом, так как 3 л. стоит в списке «естественных» агентов дальше 2 л. и потому, по логике этого языка, нуждается в дополнительной маркировке агентивности: *Nən po-lay nə-roh-ke* – Ты его ударил («ты»: ном. + «его»: объектный падеж + «ударять»: перф.), *No-ə nən-lay roh-ni-ke-o* – Он тебя ударил («он»: эрг. + «ты»: объектный падеж + «ударять»: перф.). Языков, полностью эргативных в синтаксическом и морфологическом отношении, очевидно, не существует (Baier, 2000, p. 41): либо они нестабильны по своей природе и быстро развивают черты номинативности (как полагают Е.С. Маслова и Т.В. Никитина, см. выше в этой главе), либо чисто эргативные языки пока просто не были найдены.

Деление на переходные / непереходные глаголы является в случае эргативных языков условным и применяется только для удобства лингвистов. Правильнее было бы сказать, что глаголы делятся на глаголы преобразующего действия типа «есть», «ломать» и глаголы непреобразующего действия (поверхностного воздействия) типа «целовать», состояния типа «спать» и движения типа «идти» (Панфилов, 2002). В иной терминологии (Г.А. Климов), если в номинативных языках глаголы делятся на транзитивные и интранзитивные, а в активных – на активные и стативные, то в эргативных – на агентивные и фактитивные. Семантическая роль агента подразумевает источник действия, семантическая роль фактитива – носителя действия. Агентивные глаголы передают действие, распространяющееся с субъекта на объект и преобразующее его: «резать», «пахать», «рыть», «сушить», «рубить», «убивать», «сеять», «топить» и т.д.; фактитивные глаголы передают состояние субъекта, действие само по себе (без объекта) или поверхностное воздействие на объект: «расти», «идти», «лежать», «бежать», «чихать», «кричать», «петь», «плясать», «толкать», «ударять», «щипать», «царапать» и т.д. (Климов, 1983, с. 95; ср. Klimov, 1979, p. 330). Как видно по этим примерам, глаголы преобразующего воздействия в терминологии Панфилова полностью совпадают с агентивными гла-

¹ Среди известных нам авторов не разделяет данную точку зрения на прототип агента только А. Вежицкая. Основываясь на своих подсчётах по очень маленькому корпусу, она приходит к выводу о том, что прототип агента – это третье лицо, так как в нескольких проверенных ею отрывках художественных произведений первое лицо выступало чаще пациенсом, а третье – агенсом (Wierzbicka, 1981, p. 45–46, 51–52, 65; Greenberg, 1976, p. 41). Она считает, что эргативом маркируется топик. Как нам кажется, прототипичность агента может не иметь никакого отношения к частоте употребления того или иного лица, потому необходимо искать другие критерии прототипичности. Например, если ребёнок говорит «Кушать», ни одна мать не ошибётся в значении данного высказывания, так как понимает, что стандартный агент – это первое лицо, то есть сам ребёнок, и, следовательно, полностью фраза восстанавливается как «Я хочу кушать».

голами в терминологии Климова, то же касается и глаголов непреобразующего воздействия (Панфилов) и фактитивных глаголов (Климов). С другой стороны, класс фактитивных глаголов (класс непреобразующего действия) лишь частично совпадает с классом непереходных. За рамки непереходных выходят глаголы слабого воздействия: так, в кабардинском языке к фактитивным глаголам относятся «толкать», «хватать», «тянуть», «трогать», «брать (за шиворот)», «щупать», «щипать», «чесать», «лизать», «теребить», «целовать» (Климов, 1983, с. 96). Соответственно, класс агентивных глаголов в эргативных языках значительно меньше, чем класс транзитивных в номинативных языках. Высказывались предложения заменить названия «переходный» и «непереходный» (глагол) в эргативных языках на «глаголы действия» и «глаголы состояния» (Климов, 1981, с. 48), что было бы также не совсем правильно, так как непереходные глаголы далеко не всегда описывают состояния.

В эргативных языках могут присутствовать лабильные глаголы, называемые также транзитивно-интранзитивными или диффузными («сидеть / садить», «умирать / убивать»), посессивные, а также некоторое количество аффективных глаголов (точнее, глаголов непроизвольного действия и состояния типа «думаться») (Климов, 1983, с. 96). С.Д. Кацнельсон приводит следующие примеры лабильных глаголов из австралийского языка аранта: *tbumba* (гореть, жечь), *(i)lata* (ходить, топтать) (Кацнельсон, 1947, с. 46), *intjima* (поднимать, подниматься), *imbuta* (уходить, отпускать), *inda* (лежать, класть), *arata* (смотреть, видеть), *bottliama* (собираться вместе, смешивать) (Кацнельсон, 1986, с. 175). Лабильные глаголы могут иметь одно значение, но оформлять субъект разными падежами: адыг. *Лы-м чычу-р ежьо* (Мужчина (эрг.) землю пашет); *Лы-р мажьо* (Мужчина (абс.) пашет / занимается пахотой); историческая основа лабильных глаголов – неразличение переходности и непереходности (Климов, 1981, с. 63). Лабильные и аффективные глаголы в эргативных языках обычно непродуктивны.

При отклонении от нормальной схемы оформления подлежащего и дополнения (эргативный падеж оформляет с помощью соответствующих флексий подлежащее при агентивных глаголах, абсолютный – подлежащее при стативных и «прямое» дополнение при агентивных) могут присутствовать две группы глагольных аффиксов, одна из которых будет маркировать субъект агентивного глагола, вторая – субъект фактитивного и объект агентивного глагола (Климов, 1983, с. 103). Вот как, например, выглядят соответствующие глагольные окончания в папуасском языке канум (Климов, 1983, с. 102) (табл. 2.).

Глагольные окончания в языке канум

Лицо	Единственное число		Множественное число	
	Абс.	Эрг.	Абс.	Эрг.
1	-nggo	-nggai	-ni	-ninta
2	-mpo	-mpai	-mpu	-mpunta
3	-pi	-pèngku	-pi	-pinta

Показатели эргативности могут присоединяться только к глаголам, только к существительным или к глаголам и существительным одновременно (Климов, 1981, с. 49). В отличие от активного строя, существительные не разбиваются на классы одушевлённых и неодушевлённых. Ю.Г. Курилович передаёт различие между эргативной и номинативной конструкциями посредством сопоставления примеров *Женщиной варится мясо* и *Женщина варит мясо*. По его мнению, в эргативной конструкции больший акцент делается на *patiens*, чем на *agens* (Курилович, 1946, с. 390). Д.В. Бубрих сравнивает эргативные конструкции с русскими высказываниями типа *Медведь стариком / у старика / старику поймался, Медведь пошёлся* (Бубрих, 1946, с. 206). В.Н. Сидоров и И.С. Ильинская полагают, что переходное действие в эргативных языках лучше всего передаётся русскими конструкциями типа *Отцом дано детям по груше* и *По груше упало с дерева*, то есть без использования винительного падежа и, соответственно, переходных глаголов (Сидоров, Ильинская, 1949, с. 349–350).

Рассмотрим следующие примеры: чукот. *Қора-та ейп-э рыгытку-нин ы'лльыл* – *Олень копытом разрыл снег* («олень» – инстр. / эрг., «снег» – абс., глагол – 3 л. ед. ч.); *Гым-нан гыт ты-пэляркыне-гыт* – *Я тебя покидаю*, дословно: *Мною ты я-покидаю-тебя* (подлежащее – эрг., дополнение – абс.); баск. *Gison-a-k ikusten* – *Человек видит его*, или *Человеком виден он* (подлежащее – “gisonak” («человек» или «человеком»), где “а” – постпозитивный определённый член, а “к” – показатель эргативного падежа в ед. ч.); тибет. *Nas khyod rdun* – *Я бью тебя*, или *Ты избиваем мною* (подлежащее “nas” – в эргативном падеже, который по-русски можно перевести либо «я», либо «мною»; дополнение – в неоформленном падеже). Грузинское предложение *Kadma iremi klava* (*Человек убил зайца*) можно дословно перевести как *Человеком убился заяц* (“kadma” («человек») – эрг., “iremi” («заяц») – абс.) (Green, 1980, p. 138–140).

Г.А. Климов описывает следующие примеры из баскского: *Ni-k gizona da-kusa-t* (*Я человека вижу*) и *Ni na-bil* (*Я иду*) (Климов, 1983, с. 105). В первом случае используется агентивный глагол, причём к нему присоединён субъектный суффикс первого лица *-t*, выражающий агентивность, и префикс абсолютной серии третьего лица *da-*. Подлежащее в первом случае выступает в форме эргативного падежа, что видно по признаку *-k*, прямое дополнение – в форме абсолютного падежа, что видно по отсутствию флексии у существительного “gizona” («человек»). Во втором предложе-

нии используется глагол фактитивной группы «идти», в словоформе которого содержится субъектный аффикс абсолютной серии *na-* (1 л.). Подлежащее имеет форму абсолютного падежа.

И.М. Дьяконов приводит следующий пример из шумерского, чтобы продемонстрировать недифференцированность залогов в эргативных языках: **Lú-e ġidru i-n-ġar* – *Человек положил палку / Человеком положена палка* (Дьяконов, 1967, с. 102). Это не актив, так как слово “*ġidru*” («палка»), то есть логический объект, оформлено «прямым» падежом, а слово “*lú-e*” («человек»), напротив, оформлено квази-косвенным падежом (-*e*), хотя и является логическим субъектом. Но это и не пассив, так как глагол согласуется не с логическим объектом, а с логическим субъектом («человек»), что видно по показателю третьего лица класса одушевлённых предметов -*n-* в глаголе. В похожем примере **Lú-e ġidru i-b-ġar-e* (*Человек кладёт палку / Человеком кладётся палка*) конструкцию нельзя назвать активной, так как логический объект “*ġidru*” («палка») стоит в прямом падеже, а логический субъект “*lú-e*” («человек») стоит в квази-косвенном падеже; но нельзя назвать и пассивной, так как глагол согласуется не только с логическим объектом (показатель 3 л. класса вещей -*b-*), но и с логическим субъектом (показатель 3 л. -*e*).

И.И. Мещанинов приводит следующие примеры из даргинского языка: *Нуни тупанг баршира* (*Я зарядил ружьё*, дословно: *Мною ружьё зарядил-его-я*): глагол «баршира» личным окончанием -*ра* согласован с субъектом, стоящим в орудийном падеже; объект «тапанг» стоит в абсолютном падеже; *Гьит вашар* (*Он ходит*): непереходный глагол «вашар» согласован в лице с субъектом «гьит», стоящем в абсолютном падеже (Мещанинов, 1940, с. 65).

Хотя категория залога в эргативных языках обычно отсутствует, иногда в них встречается так называемая антипассивная конструкция, отличающаяся от пассивной тем, что в антипассиве производитель действия оформляется абсолютивом: дирбал *Balan dugumbil bangul jaŋa-ŋgu balgan* – *Женщину* (абс.) *мужчина* (эрг.) *бьёт* > *Bayi yaŋa bangun dugumbiŋu u balgal-ŋa,ni* – *Мужчина* (абс.) *женщину* (инстр.) *бьёт* (Primus, 2003, S. 17). В антипассиве здесь стоит второй пример, являющийся трансформацией первого. Как и пассив в номинативных языках, антипассив используется для тематического членения.

К.Х. Шмидт (Schmidt, 1979, S. 337–343) суммирует основные аргументы в пользу эргативности индоевропейского языка, приводившиеся в работах различных авторов, следующим образом. Форма аккузатива среднего рода во всех индоевропейских языках не отличается от формы номинатива и не имеет никакого специального окончания (ср. *Я видел солнце* – *Солнце светит*), что весьма необычно и должно свидетельствовать о немаркированности дополнения на более ранних стадиях. Напротив, у существительных мужского и женского рода в номинативной форме зачастую

присутствовал формант *-s*, что свидетельствует о маркированности падежа подлежащего (заметим, что К.К. Уленбек, судя по приведённому выше описанию У. Лемана, говорил только о мужском роде). Неоднократно высказывалось предположение, что нулевое окончание являлось окончанием абсолютного падежа, а *-s* – окончанием эргативного. Тот факт, что *-s* встречается у существительных мужского и женского рода, свидетельствует об их принадлежности к общему классу, который можно назвать классом активных существительных, то есть способных нести макророль агенса (такое деление более похоже на характеристику активных языков). Флексия эргативного падежа могла развиваться из указательного местоимения “*-so*” («этот») или окончания генитива *-es/os*. Не вписывающаяся в общую картину флексия существительных среднего рода на *-o -m* должна быть относительно молодой. Возможно, она перешла на аккузатив или, вернее, для создания аккузатива, от аллатива (падежа, отвечающего на вопрос *куда?*) уже в период номинативизации. Высказывались также мысли о существовании в индоевропейском двух глагольных классов: из первого, стативного, позже развился перфект, а из второго, активного, развились настоящее время и аорист (деление глаголов на классы активных и стативных также больше походит на характеристику активных языков). Поначалу флексия *-s* оформляла субъекты только при транзитивных (активных) глаголах, но при переходе от эргативного строя к номинативному перешла и на субъект интранзитивных (вспомним, что в эргативных языках субъекты переходных и непереходных глаголов оформляются разными падежами). А.Н. Савченко полагал, что первоначально флексия *-es* служила для оформления номинатива активного класса и генитива обоих классов, а нулевое окончание служило для оформления номинатива и аккузатива пассивного класса существительных, аккузатива активного класса, а также локатива. Заметим, что Савченко делил существительные не на одушевлённые и неодушевлённые, как некоторые другие авторы, а на активные и пассивные, что более точно отражает положение вещей, так как некоторые неодушевлённые предметы вполне могли входить в класс активных, если могли двигаться (например, небесные светила). Приведённые доказательства эргативности индоевропейского языка сегодня скорее свидетельствуют о его активном строе. Это объясняется тем, что ещё несколько десятилетий назад активные языки не отличали от эргативных и описывали терминологией последних (или номинативных). Лингвисты, занимающиеся уже в наше время поисками признаков активного строя в индоевропейском праязыке, интерпретируют те же доказательства деноминативности с другой точки зрения и не менее убедительно.

Вплоть до 1960-х гг. в лингвистике было принято сравнивать эргативные конструкции с пассивом номинативных языков, что иногда давало повод для культурологических спекуляций о неполноценности соответствующих народов. В 1930-х гг. С.Л. Быховская назвала мнение о пассивности эр-

гативного строя общепринятым, ссылаясь на различных западных учёных (Быховская, 1934; ср. Тромбетти, 1950, с. 159–160). Например, Л. Вайсгербер писал, что глагольные формы баскского наиболее адекватно передаются страдательным залогом немецкого языка (Weisgerber, 1954, S. 138). А. Вежибицкая, отрицая пассивность эргативной конструкции, всё же считает её пациентивно-ориентированной (Wierzbicka, 1981, p. 68). Большинство современных учёных считает её, напротив, агентивно-ориентированной, так как агентивность подчёркивается специальным падежом. Дольше всех отстаивали теорию пассивности американские учёные (Климов, 1983, с. 66). Комментируя соответствующие тезисы в работах П.К. Услара и И. Фридриха, И.И. Мещанинов обращает, однако, внимание на тот факт, что категория залога в эргативных языках отсутствует, поэтому сравнение с пассивом некорректно (Мещанинов, 1984, с. 27–28, ср. Чикобава, 1950, с. 8; Сидоров, Ильинская, 1949, с. 349–350; Schmidt, 1979, S. 335; “Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 912; Климов, 1981, с. 56). На то же обстоятельство обращал внимание Г.А. Климов, подчёркивая, что в эргативных языках вместо категории залога присутствуют так называемые центробежные и нецентробежные версии (в первом случае действие направлено на что-то вне субъекта, во втором ограничивается самим субъектом) (Klimov, 1979, p. 327, 330).

В энциклопедии “Language Typology and Language Universals” авторы обращают внимание на возможность строить пассив от эргативных конструкций в тех немногочисленных языках, в которых категория залога всё же есть (“Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 912–913). Если бы эргативные конструкции сами по себе были пассивными, то снова трансформировать их в пассив было бы невозможно. Не менее важно и то обстоятельство, что носителями эргативных языков эргативная конструкция не воспринимается в качестве пассивной (Соммерфельт, 1950, с. 183). Это установлено, например, для носителей нахско-дагестанских языков (Дьяконов, 1967, с. 103). С.Л. Быховская отрицает пассивный характер эргатива, ссылаясь на то, что отождествлять активный падеж с падежом творительным номинативных языков и переводить баскское предложение «Я вижу книгу» как «Мною видится книга» некорректно; атрибуцию пассивного характера таким конструкциям она приписывает неспособности учёных посмотреть на чуждую им типологию без «индоевропейских очков» (Быховская, 1934). Как она полагает, активный падеж (= эргативный) выражает активность подлежащего или производителя действия, а пассивный (который сравнивают с номинативом) не выражает ничего, кроме самого существования объекта, из-за чего он не нуждается в какой-то дополнительной маркировке. По той же причине у многих существительных среднего рода в индоевропейских языках нет специального окончания именительного падежа, в то время как у существительных мужского и женского рода оно есть: неодушевлённые предметы не выступают производителями действия и пото-

му не могут нести маркировку субъекта, то есть бывшего активного падежа, ставшего именительным. С другой стороны, Быховская не приравнивает высказывания в языках типа баскского к активному залогу индоевропейских языков, предпочитая вообще отказаться от деления на залоговые конструкции, то есть свести их к одному: носители эргативных языков, как полагает она, первоначально не выделяли себя из коллектива и потому не были знакомы с понятием личной деятельности / активности. Так, в одной из своих работ она писала: «Является ли, однако, эта мнимая пассивная конструкция активной в том же смысле, как активная конструкция в языках индоевропейских? На этот вопрос приходится ответить отрицательно: в индоевропейских языках имеется рядом с активной конструкцией и конструкция пассивная, в яфетических языках [= эргативных языках Кавказа – Е.З.], как правило, её нет... При отсутствии противопоставления пассивности едва ли может быть речь об активности... Все данные говорят за то, что разбираемую конструкцию можно понять только как такую, в которой диффузно слиты активность и пассивность» (цит. по: Климов, 1981, с. 56).

Быховская отрицает и предположение Уленбека, что эргативный строй отразил веру в тайные силы, принуждающие людей к каким-то поступкам. По данным Г.А. Климона, именно С.Л. Быховская и А.А. Бокарев первыми в мировой лингвистике высказали мысль о залоговой нейтральности эргативного строя (Климов, 1981, с. 55). Защищали данную теорию поначалу в основном советские учёные (исключениями среди западных учёных были Н. Финк и А. Тромбетти). А.А. Бокарев объяснял залоговую нейтральность эргативных языков (на примере аварского и андийского) их доглагольным состоянием на ранних стадиях развития: «Очевидно, что в период, предшествовавший выделению глагола как самостоятельной части речи, существовали слова только одной общей грамматической категории, не определяемой ещё ни как имя, ни как глагол. В самом глагольном корне, то есть именно в том элементе глагола, который сохраняет лучше всего пережитки прежних стадий, мы не наблюдаем различия специфических глагольных категорий – активности и пассивности» (цит. по: Климов, 1981, с. 55). Г.А. Климов разделяет предположение о залоговой нейтральности эргативных языков, но считает мысль об их доглагольном состоянии неверной (Климов, 1981, с. 80).

Р. Диксон отмечает, что у носителей эргативных языков есть не меньше оснований для утверждения, будто номинативная конструкция есть по сути антипассив, чем у носителей номинативных – утверждать, что эргативная конструкция есть по сути пассив. На самом деле, пассив и антипассив являются конструкциями производными, маркированными, и потому не могут служить в качестве основных. Если пассив обычно акцентирует результат действия, состояние объекта действия, то эргативная конструкция – само действие и роль производителя действия. Р. Диксон отмечает, что в конце XX в. учёные, которые усматривают в эргативе пассивный

языковой строй, почти не осталось (Dixon, 1994, p. 189, 216). У носителей эргативных языков, по мнению Р. Диксона, теоретически есть все основания утверждать, что только в их языковом типе по-настоящему отразилась агентивность, в то время как в номинативных языках агентивность субъекта никак грамматически не выражается, ср. *John fell* (Джон упал) – специально или случайно? Ниже мы приведём примеры из эргативных и активных языков, где такие разграничения обозначаются специальными падежными формами. Из этого австралийский лингвист мог бы сделать вывод о пациентивном мировосприятии западных народов, которые до сих пор не научились различать истинного производителя действия и его объект. Диксон критикует учёных, усматривающих в эргативном строе фемининность (склонность к матриархату) и пассивное отношение к жизни их носителей, а также утверждения, будто говорящие на таких языках люди считают себя объектами судьбы и сами не могут повлиять на неё. Р. Диксон почти 30 лет работал с носителями различных эргативных языков и не обнаружил у них каких-либо особенностей менталитета, имеющих отношение к их языковому строю. Носители четырёх номинативных языков группы нгаярда (Австралия) по своему мировоззрению ничем не отличаются от носителей трёх языков той же группы с эргативным строем (Dixon, 1994, p. 214–215).

А.С. Чикобава приравнивал эргативный падеж к именительному (то есть относил его не к косвенным, а к прямым падежам), отрицая таким образом положение о пассивности переходного глагола соответствующих языков; субъект в эргативной конструкции для него – это активно действующий, реальный субъект, не ведомый тайными силами (Дешериев, 1951, с. 595). С точки зрения залогов Чикобава приравнивал эргативную конструкцию к нейтральным (Климов, 1981, с. 50). М.М. Гухман называет утверждение, что одно и то же мыслительное содержание может получить разную структурную реализацию в языках разных типов, «лингвистическим трюизмом»; на основе этого она отрицает пассивную сущность эргативной конструкции, как её представлял К. Уленбек (Гухман, 1973, с. 356). Критику Уленбека находим также у Н.Ф. Яковлева: «Как нет в природе активных и пассивных от рождения народов и рас, так не существует и рас или народов, с одной стороны, с активным, и, с другой, – с пассивным строем речи...» (цит. по: Климов, 1973 а, с. 21). А. Тромбетти отрицает первичность пассива в дихотомии актив-пассив, как и сами критерии Уленбека отделять активные высказывания от пассивных (активные: субъект перед глаголом, реальный субъект = чистая основа, реальный объект = аккумулятив; пассивные: глагол перед субъектом, реальный субъект = эргатив, реальный объект = чистая основа). Если исходить из этих правил, пришлось бы, например, признать пассивным латинское выражение *vocat* ([он, она, оно] зовёт), в котором окончание выражает субъект (Тромбетти, 1950, p. 158–159).

Таким образом, западные учёные сначала разрабатывали преимущественно теории пассивности, реже – активности эргативного строя, советские учёные – теории нейтральности, реже – активности. Г.А. Климов пишет, что в современной лингвистике чаще всего исходят из залоговой нейтральности эргативного строя (Климов, 1981, с. 55). Столь подробное рассмотрение данного вопроса важно для нас по той причине, что критики русской ментальности используют те же аргументы, которые использовали критики ментальности носителей эргативных языков в первой половине XX в. – аргументы давно опровергнутые и полузабытые. Разница заключается только в том, что критики эргативного строя видели признак пассивного отношения к жизни в интенсивном употреблении страдательного залога, а критики русского языка – в интенсивном употреблении имперсонала, употребляющегося в той же функции, что и страдательный залог – снятии акцента с агенса.

Приведённые точки зрения не должны, однако, означать, что эргативный строй и пассив никак не связаны. Хотя, по данным «Архива универсалий» университета Констанца, превращение эргативных конструкций в пассивные невозможно: “There are no passive constructions which have been shown to have developed from ergative constructions” (“The Universals Archive”, 2007), черты эргативности вполне могут развиться в том или ином языке из пассивной конструкции, причём она переосмысливается в качестве активной или нейтральной. Так, в последние годы часто высказывается предположение, что эргативная конструкция в индоарийских языках (а может, и других) является по своему происхождению пассивной (вернее, возникшей из девербального партиципа со значением, близким к пассиву, в первоначально номинативном санскрите¹), но по новому значению скорее активной (ср. Butt, Deo, 2001; Butt, 2006, p. 76; Dixon, 1994, p. 190; Dixon, 1979, p. 98–99; Montaut, 2004; “Encyclopædia Iranica”, 2007; Deo, Sharma, 2006; Климов, 1983, с. 193; Drinka, 1999, p. 478; Kurzová, 1999, p. 509; “Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 913).

Высказывалось предположение о происхождении из пассива эргативных конструкций в языках Полинезии (Dixon, 1979, p. 99; “Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 913). С. Андерсон полагал, что велика вероятность происхождения эргативной конструкции из пассива, если эргативный падеж генетически относится к инструментальному, и из посессивных конструкций – если эргативный падеж относится к родительному падежу (Dixon, 1979, p. 100). В данном случае предполагается происхождение глагола от имён действия². Так, И.И. Мещанинов указывает на явное происхождение эргативной конструкции из притяжательной (посессивной) в абхазском (Мещанинов, 1940, с. 152). Г.А. Климов также признаёт, что в отдельных случаях эргатив-

¹ М. Батт и Х. Хок полагали, однако, что черты эргативности были и в санскрите (Deo, Sharma, 2006).

² С.Д. Кацнельсон сомневается в легитимности посессивной теории, указывая на сравнительно позднее возникновение *nomina actionis*, причём возникают они именно из глаголов. По его мнению, как субъектно-предикатные, так и посессивные конструкции могли возникнуть из локативных (отложительных или направительно-целевых) (Кацнельсон, 1986, с. 175).

ный строй мог развиваться на основе посессивных конструкций (Климов, 1981, с. 86). Т. Байнон в 2005 г. пришла к выводу о том, что индоарийский эргатив не мог возникнуть из древнеиндийского пассива (её объяснение мы здесь опускаем), а является результатом трансформации посессивной конструкции (Greissels, 2006). Такая реинтерпретация широко распространена в самых разных языках мира, особенно по отношению к различным формам прошедшего времени. Разница заключается только в том, что в языках, где для выражения принадлежности используется глагол «иметь», появляются формы типа англ. *I have done* (дословно: *Я имею сделанным*), а в языках, где для той же цели используется глагол «быть», появляются формы типа сев.-рус. *У волков (было) съедено корову*. В первом случае никаких последствий для языковой типологии быть не может, так как глагол «иметь» требует субъекта в номинативе; но во втором случае субъект оформляется локативом или дативом, и его переосмысление ведёт к смене языкового строя с номинативного на эргативный (по крайней мере, в прошедшем времени) (ср. Bomhard, Kerns, 1994, p. 164–165). Заметим также, что, по мнению некоторых учёных, номинативизация эргативного индоевропейского языка, если он действительно был эргативным, могла начаться с реинтерпретации антипассива, употреблявшегося столь часто, что он потерял свою маркированность и стал стандартной конструкцией (Bauer, 2000, p. 47).

А.Ф. Лосев сравнивает эргативные конструкции с безличными: «Эргативное подлежащее *безусловно активно*, и тут решительный шаг вперед к подлежащему в безусловно активном смысле, то есть к номинативному строю. Но, с другой стороны, этот эргативный субъект является здесь и *безусловно пассивным*. Как доказывает сам смысл эргативного падежа, он в то же самое время является просто орудием каких-то других сил, не выраженных в самом предложении, подобно индоевропейским безличным глаголам, при которых, конечно, не может не мыслиться субъект, но что это за субъект, совершенно неизвестно» (Лосев, 1982).

В эргативных языках А.Ф. Лосев видит отражение более древнего мышления по сравнению с номинативными: здесь ещё нет формального разделения на актив и пассив, нет чёткого разграничения объекта и субъекта, а есть некая слитная «активнопассивная» форма, которую он сравнивает с русскими предложениями *Мне больно* и *Мне холодно*: «...актив и пассив есть уже результат очень глубокой абстракции, и совершенно невозможно предполагать, чтобы эти залого существовали в полной своей отдельности с самого же начала. Начинать с них историю грамматического строя было бы так же антиисторично, как и находить уже в самом начале языкового развития расчлененные понятия субъекта, предиката и объекта. Было время, когда не различались между собой части речи или когда не были дифференцированы члены предложения. Поэтому если мы сейчас наталкиваемся на такой тип предложения и на такой тип глагола, где не

проводится различия между действительным и страдательным залогом, то это вполне естественно, иначе и быть не может» (Лосев, 1982).

В качестве основных принципов эргативного умозаключения А.Ф. Лосев называет следующие: «Всякое действие есть страдание, и всякое страдание есть действие», «Всё, что совершается, совершается предопределённо», «Всякая причина есть в то же самое время и основание», или, другими словами, «Всё, что совершается, совершается закономерно и оправданно». Следует, однако, отметить, что Лосев принадлежит, очевидно, к тем немногочисленным советским учёным, которые в большей или меньшей степени разделяли взгляды, соответствующие высказанным десятилетия спустя взглядам А. Вежбицкой, наиболее известного и последовательного приверженца теории о связи имперсонала с национальным характером и особенностями мышления. Например, о подлежащем в безличных предложениях типа *Светает* он пишет следующее: «Разве такие предложения, как *Светает, Смеркается, Вечереет* [...] не содержат в себе своего подлежащего, без которого они и не могли бы быть предложениями? Конечно, это подлежащее здесь есть; и некоторые языки, как, например, немецкий, даже их лексически выражают, используя личное местоимение среднего рода (*es regnet*). А французский язык ставит это безличное подлежащее даже в мужском роде личного местоимения (*il pleut, il neige*). Ещё дальше того идёт древнегреческий язык, который выражает наличие дождя словами: *Dzeys hiei*, что значит буквально *Зевс дождит*. Здесь, можно сказать, раскрыты все карты мифологического мышления, которые в новых языках запряваны под местоимениями 3-го лица. [...] Подлинный субъект безличного предложения для древнего мышления есть демон, который всё ещё мыслится слепо-чувственно, животнo-инстинктивно, недифференцированно, который всё ещё остается на ступени чувственно-воспринимаемого предмета, ещё не отражается полностью в мышлении, а только предполагается им безотчётно и потому не именуется и даже не может именоваться. Да и по-русски не будет ошибкой сказать, что в предложении *Светает* подлежащим является *оно*. В самом предложении это *оно* не выражено; и даже неизвестно, чем именно является это *оно*» (Лосев, 1982).

Более подробно вопрос формального подлежащего и окончаний 3 л. ед. ч. будет рассмотрен в следующей главе. Здесь же только отметим, что взгляды А.Ф. Лосева не соответствуют мнению большинства отечественных и зарубежных лингвистов. Нельзя также не подчеркнуть, что Лосев считал неуместным приписывать дологическое мышление современным носителям языков эргативного строя или носителям языков с остатками эргативности: «Конечно, и здесь надо учитывать ту бездну, которая отличает наше мышление от эргативного. Употребляя свои безличные предложения, мы не думаем ни о каких демонах, которые были бы их подлежащими. И тем не менее формальное сходство здесь настолько велико, что

всякий, понимающий современное безличное предложение, должен считать столь же понятным и наличие еще особого субъекта за пределами эргативного субъекта, того, в отношении которого сам эргативный субъект есть только орудие. [...] Кроме того, даже и без перехода на ступень номинативного строя многие деноминативные языки уже давным-давно переосмыслили свои древние элементы, связанные с первобытной идеологией и великолепно служат современному делу общечеловеческой культуры. Так, безличное предложение уходит своими корнями в мифологию, но кто же сейчас при употреблении безличного предложения думает о мифологии?» (Лосев, 1982). В этом его точка зрения радикально отличается от позиции А. Вежбицкой, которая приписывает русским тот же фатализм, который, возможно, был присущ индоевропейскому народу.

С.Д. Кацнельсон отмечает, что при распаде эргативного строя эргативная конструкция может сохраниться для обозначения степени волитивности действия или для обозначения предикатов активного / инактивного состояния (Кацнельсон, 1986, с. 178). Нас в данном случае интересует степень волитивности, имеющая явное выражение в русских конструкциях типа *Он думает / Ему думается*. На этот раз мы хотим обратить внимание не на прототипичность агентивного подлежащего, уже рассматривавшуюся выше в данном разделе, а на желательность или нежелательность действия или состояния для субъекта, на его способность и волю повлиять на события.

Рассмотрим несколько примеров. В языке чукчей волитивные (намеренные, осознанные) и неволитивные (ненамеренные, неосознанные) акты разделяются на грамматическом уровне с помощью разных падежей: если действие производилось осознанно, подлежащее ставится в эргативном падеже, если нет – в абсолютном, то есть в падеже дополнения, ср. *Ətləg-e ən-in l'ulqəl rə-gtəkwān-nen* (Отец отморозил своё лицо (он знал, что это случится, мог это предотвратить): «отец»: эрг. + «свой»: 3 л. ед. ч. + «лицо»: абс. + «отморозить»: каузатив, 3 л., ед. ч., аорист) vs. *Ətləg-ən l'o-nə-gtəkwat-g'e* (Отцу отморозило лицо (случайно, неожиданно для него): «отец»: абс. + «лицо» / «отморозить»: каузатив, 3 л., ед. ч., аорист) (Dixon, 1994, p. 26).

В языке урду, на котором говорят в Индии, Пакистане, Бангладеш и многих других странах, бóльшая степень волитивности выражается эргативным падежом подлежащего, а меньшая – дативом или номинативом: *Ram khāś-a* (Рам кашлянул (случайно): «Рам»: м. р., ед. ч., им. п. + «кашлять»: перф., ед. ч., м. р.) vs. *Ramne khāś-a* (Рам кашлянул (специально): «Рам»: м. р., ед. ч., эрг. + «кашлять»: перф., ед. ч., м. р.); *Nadyako zu ja-na hē* (Наде хочется / надо пойти в зоопарк, буквально: – Наде есть пойти в зоопарк: «Надя»: ж. р., ед. ч., дат. + «зоопарк»: м. р., ед. ч., лок. + «идти»: инфинитив + «быть»: наст. вр., 3 л., ед. ч.) vs. *Nadyane zu ja-na hē* (Надя хочет пойти в зоопарк: «Надя»: ж. р., ед. ч., эрг. + «зоопарк»: м. р., ед. ч., лок. + «идти»: инфинитив + «быть»: наст. вр., 3 л., ед. ч.); *Nadyane kahani*

yad k-i (Надя вспомнила историю: «Надя»: ж. р., ед. ч., эрг. + «история»: ж. р., ед. ч., ном. + «память» + «делать»: перф., ж. р., ед. ч.) vs. *Nadyako kahani yad a-yi* (Наде вспомнилась история: «Надя»: ж. р., ед. ч., дат. + «история»: ж. р., ед. ч., ном. + «память» + «приходить»: перф., ж. р., ед. ч.) (Butt, 2006, p. 71; 81). Урду принадлежит к языкам индоарийской семьи (ассамский, бенгальский, ория, бихари, маратхи, бхили, гуджарати, раджастхани и другие), входящей в индоевропейские. Для этой семьи, как уже говорилось выше, характерны явные черты эргативности, описание которых можно найти, например, в статье М. Батт и А. Део “Ergativity in Indo-Aryan” (Butt, Deo, 2001). Происходит урду из санскрита, используемого для восстановления древнейших стадий индоевропейского языка.

Рассмотрим ещё несколько примеров из языков той же семьи. В манипури волитивность маркируется суффиксом существительных и местоимений *-nə*: *Əy-nə Tombə-bu theŋŋi* (Я прикоснулся к Томбе (специально)) vs. *Əy Tombə-bu theŋŋi* (Я прикоснулся к Томбе (случайно)) (Dixon, 1994, p. 30). Ещё один индоарийский язык с чертами деноминативного строя, хинди, маркирует неволитивные, случайные действия инструментом: *Mujhse gilaas gir gayaa* (Я (случайно) уронил стакан: «я» стоит в инструментале) (Montaut, 2004). В пенджабском языке индоарийской ветви индоевропейских языков дативную конструкцию в некоторых случаях можно использовать для оформления действий с низкой степенью волитивности, номинативную – с высокой степенью волитивности: *Saa niīi gussaa aaīaa* (Мы разозлились, дословно: Нам стала злость: «мы»: дат. + «злость»: м. р. + «приходить, становиться»: прош. вр., м. р.) – *Asīi gussaa kiītaa* (Мы разозлились (как того и хотели), дословно: Мы сделали злость: «мы»: ном. + «злость»: м. р. + «делать»: прош. вр., м. р.); *Tuāā niīi shor sinuaaii ditaa* (Ты услышал шум: «ты»: дат. + «шум»: м. р. + «слышать» + «давать»: прош. вр. + м. р.) – *Tusiī shor suNīaa* (Ты слушал шум: «ты»: ном. + «шум»: м. р. + «слушать»: прош. вр., м. р.) (Onishi, 2001 a, p. 26, 29). В бенгальском более волитивные действия выражаются номинативом (сюда же относится и просто постулирование факта), менее волитивные – генитивом: *Amar ThaNDa legeche* (Я простыл (не по своей вине); употреблён генитив) – *Baire gie ami ThaNDa lagiechi* (Я вышел наружу и простыл (в результате своих действий); употреблён номинатив); *Timi okhane gele na kæno?* (Почему ты туда не пошёл? (предполагается собственное решение спрашиваемого); номинатив – *Tomar okhane jawa holo na kæno?* (Почему ты туда не пошёл? (предполагаются какие-то внешние причины; генитив)); *Ami apise tar səngnge dækha* (Я встретил его в офисе (как и хотел); номинатив) – *Amar rastay tar səngnge dækha* (Он встретился мне в офисе (случайно)); генитив – *Ami tomake khub rəchondo kori* (Ты мне очень нравишься (симпатия как следствие собственных критериев говорящего)); номинатив – *Amar tomake khub rəchondo həy* (Ты мне очень нравишься (симпатия как следствие социально установленных критериев, независимых от говорящего)); генитив – *Tini amake khub*

hingsa kɔrɛn (Он / она очень мне завидует (просто постулируется факт)); номинатив – *Tār amar opor khub hingsa hɔu* (Он / она очень мне завидует (и не может ничего с этим поделаться)); генитив – *Tini hāschen* (Он / она смеётся (просто постулируется факт)); номинатив – *Ami jinis-Ta cai* (Его / её подмывает рассмеяться (генитив)); *Tren-Ta bhison deri koreche* (Поезд ужасно опоздал (просто постулируется факт); номинатив) – *Tren-Tar bhison deri hoeche* (Поезд ужасно опоздал (по каким-то внешним причинам: из-за погоды, поваленного дерева и т.д.); генитив) (Onishi, 2001 a, p. 27; Onishi, 2001 b, p. 119–122, 125).

В сингальском языке (индоиранская ветвь индоевропейской языковой семьи, Шри-Ланка), также обладающем чертами эргативности, номинатив применяется для выражения волитивности, датив – для выражения неволитивности: *Matə vaturə bivva* (Я выпил воды (так как хотел пить): «я»: ном. + «вода» + «пить»: прош. вр., актив. залог) vs. *Maṭə vaturə revuna* (Я наглотался воды (например, когда упал в воду): «я»: дат. + «вода» + «пить»: прош. вр., средн. залог); *Laməya æñḍiva* (Ребёнок плакал (например, чтобы привлечь внимание родителей): «ребёнок»: ном. + «плакать»: прош. вр., актив. залог) vs. *Laməyaṭ æñḍina* (Ребёнок плакал (не желая того), или Ребёнку плакалось: «ребёнок»: дат. + «плакать»: прош. вр., средн. залог) (Dixon, 1994, p. 26–27).

Неволитивность может выражаться в сингальском и аккузативом: [maŋ] [diuw-a] (Я побежал: «я»: ном.) vs. [maawə] [diun-a] (Я побежал (не по своей воле) / Мне пришлось бежать: «я»: акк.); [ohuwə] [mærun-a] (дословно: Его умерло (акк.)); [maawə] [wəṭe-nəwa] (Он (случайно) упал (акк.)) (Janu, 2006, p. 70–72).

Сравним некоторые пары глаголов, ассоциирующихся с волитивностью и неволитивностью; волитивные стоят в парах первыми: *lissannə* (скользить) – *lissennə* (поскользнуться); *waṭannə* (ронять) – *wəṭennə* (надать); *maṭannə* (убивать) – *mærennə* (умирать); *paṭannə* (танцевать) – *pəṭennə* (танцевать (не по своей воле)); ср. [maŋ] [paṭə-nəwa] (Я танцую, где «я» стоит в номинативе) vs. [maawə] [pəṭe-nəwa] (Я танцую (не по своей воле), где «я» стоит в аккузативе, то есть дословно: Меня танцует) или [maṭə] [pəṭun-a] (Я танцевал, где «я» стоит в дативе; речь может идти об одержимости духами); *gaḥannə* (ударять) – *gəhennə* (трястись), *aḥannə* (слушать) – *əhennə* (слушать), *riddannə* (причинять боль) – *ridennə* (чувствовать боль) (Janu, 2006, p. 69–71).

Волитивные глаголы могут употребляться только с номинативом, неволитивные – с номинативом, аккузативом или дативом. Поскольку у предметов нет собственной воли, чередование падежей номинатив / аккузатив или номинатив / датив с ними невозможно, используется только номинатив: [malbanduna] [kædun-a] (Ваза разбилась; номинатив) vs. *[malbanduna-wə] [kædun-a] (Ваза разбилась; аккузатив, этот вариант аграмматичен) (Janu, 2006, p. 72). Для глаголов восприятия и умственной деятельности характер-

ны дативные субъекты: [maʦə] [sindu] [æhe-nəwa] (*Я слышу музыку*: «я»: дат., «музыка»: ном.); [laməya-ʦə] [kataawə] [teere-nəwa] (*Ребёнок понимает историю*: «ребёнок»: дат., «история»: ном.); [maʦə] [laməya-wə] [pree-nəwa] (*Я вижу ребёнка*: «я»: дат., «ребёнок»: акк.); [maʦə] [roʦi pʊsmə] [dænun-a] (*Мне пахнет роти* (вид хлеба): «я»: дат., «роти»: ном.); все конструкции неволитивные (Janu, 2006, p. 73–75). То же касается конструкций типа рус. *Мне слышно*: [maʦə] [maʦəka-y] (*Мне памятно*); [maʦə] [nidimata-y] (дословно: *Мне сонно*); [maʦə] [badəgini-yi] (*Мне голодно*); [maʦə] [siitəla-y] (*Мне холодно*) (Janu, 2006, p. 80–81). Принадлежность выражается дативом, как и во многих других эргативных языках: [maʦə] [salli] [tiye-nəwa] (*Мне деньги есть*) (Janu, 2006, p. 80).

В современном русском до сих пор угадываются остатки конструкций, похожих на эргативные. Ю.С. Степанов отмечает, что предложения типа *Молния зажигает сарай* достаточно молоды по сравнению с *Молнией зажгло сарай*, поскольку всякий номинатив неактивного субъекта в значении инструменталиса восходит к инструменталису, стоящему значительно ближе к более древней эргативной структуре (Степанов, 1989, с. 14–15). Примеры безличных конструкций такого рода в древнерусском можно найти в «Исторической грамматике русского языка» (Букатевич и др., 1974, с. 256); примеры из древнегреческого, ирландского и латыни можно найти у Г. Хартмана, причём автор подчёркивает их индоевропейское происхождение (Hartmann, 1994, S. 342, 346). Б. Бауэр упоминает, что данная конструкция присутствовала или до сих пор присутствует также в древнесеверном, исландском и литовском (Baueг, 2000, p. 53).

В языках переходного (эргативно-номинативного) типа неодушевлённые агенсы часто оформляются инструментальным падежом в противовес одушевлённому, ср. кева *Áá-mé répena róá-a* (*Человек срубил дерево*; «человек»: агенс + «дерево» + «рубить-сделал») vs. *Rai-mi tá-a* (*Топор ударил [что-то]*; «топор»: INSTR. + «ударять-сделал») (Grimm, 2005, p. 64). Это значит, что стандартные агенсы маркируются номинативом, а нестандартные – эргативом, переосмысленным в качестве инструментального падежа. Вспомним, что в эргативном строе особый акцент делается на агентивности, эргатив как бы подкрепляет агентивную сущность субъекта, если сама по себе она недостаточно очевидна: “Whenever in a language there are two classes of noun phrases such that members of one class are case-marked ergatively and members of the other class are case-marked accusatively, and there is a semantic difference between the classes related either to activeness of noun phrase referents, or their quantitative properties, or their pragmatic prominence, members of the class that ranks higher on these properties will be marked accusatively and members of the lower-ranking class, ergatively” (“The Universals Archive”, 2007). Что является стандартным агенсом, уже было определено выше в шкале Г. Хеттриха.

В австралийском языке дирбал и индейском языке кашинава агенс не надо маркировать, если речь идёт об одушевлённых денотатах в 1 и 2 л., но

при использовании 3 л. (которое уже может относиться к неодушевлённым предметам) и непосредственно существительных, имеющих неодушевлённые денотаты, необходимо добавлять окончание эргатива (Dixon, 1994, p. 85–86; Dixon, 1979, p. 86–87). Это свидетельствует о неестественности данной функции для этой группы денотатов по сравнению с первым и вторым лицом. Дополнения, напротив, маркируются преимущественно тогда, когда относятся к первому и второму лицу (так как они являются относительно редкими объектами действия), а не к неодушевлённым предметам. В австралийском языке Yidin^y с подлежащими, выраженными местоимениями 1 и 2 л., используется номинатив, а во всех остальных случаях – эргативный падеж; дополнение стоит преимущественно в аккумулятиве, если подлежащее относится к одушевлённым денотатам, но в абсолютиве – если к неодушевлённым (Dixon, 1994, p. 87). В хеттском – индоевропейском языке, вымершем примерно в 1100 г. до н.э., – эргативный падеж употреблялся исключительно с неодушевлёнными существительными среднего рода, причём окончание эргативного падежа явно указывает на его родство с инструментальным (Dixon, 1994, p. 187–188). При развитии эргативного строя эргативный падеж вообще часто возникает из инструментального и может дальше нести инструментальное значение (Grimm, 2005, p. 65; Dixon, 1994, p. 188).

Таким образом, при наличии выбора между эргативом и номинативом посредством эргатива оформляется подлежащее с денотатом, для которого агентивность сравнительно нетипична. Именно такое разграничение мы и наблюдаем в русском языке: нельзя сказать *Собакой убило человека*, так как в данном случае ясно, что субъект «собака» несёт волитивное значение, что собака сама может совершать какие-то действия, в то время как *Молнией убило человека* оформлено альтернативно, так как молния занимает место ближе к концу ранга агентивности, приведённого выше (1 л. > 2 л. и т.д.), и поэтому требуется дополнительное подтверждение, что именно она выполнила какое-то действие. В рамки эргативной конструкции не вписывается только винительный падеж дополнения, что может свидетельствовать о переходном характере данной конструкции. Если предположить, что русский является в какой-то мере языком переходного или смешанного типа, то вполне понятно, почему можно сказать *Его убило молнией*, но нельзя – *Его убило собакой* или тем более – *Собаку убило мной* (максимальная агентивность). Следует также отметить, что конструкции данного типа обычно относятся к прошедшему времени, что также можно объяснить с точки зрения эргативно-номинативного строя, так как при номинативизации реликты эргативности дольше сохраняются именно в прошедшем времени. С.Д. Кацнельсон отмечал схожесть предложения *Ветром задуло свечку* с эргативными оборотами, но был далёк от мысли причислять русский к эргативным языкам (Green, 1980, p. 146–147). На такое сходство указывал и В.Д. Аракин, также не делая выводов о чертах эрга-

тивности в русском (Аракин, 2005, с. 162). Иногда, однако, можно встретить утверждение, что некоторые безличные конструкции русского языка являются следствием его частично эргативного строя, причём не в исторической перспективе, а на нынешнем этапе развития (ср. Green, 1980, p. 145–146)¹. Другие авторы (например, М. Грин) категорически отвергают подобные толкования (Green, 1980, p. 143–144). А.С. Чикобава говорит однозначно, что в русском и родственных ему языках эргативной конструкции нет (Чикобава, 1950, с. 5), И.И. Мещанинов также не нашёл в русском ни эргативных, ни аффективных, ни посессивных конструкций (в смысле остатков соответствующего строя), ни пережитков аморфной стадии (Мещанинов, 1947, с. 175). Правда, он отмечал сходство между русскими конструкциями типа *Мне хочется* и конструкциями с *verba sentiendi* в эргативных языках, но поиском их общих истоков не занимался (Мещанинов, 1947, с. 179). В последние годы появились работы, доказывающие частичную эргативность и других синтетических индоевропейских языков, например, польского и исландского (Błaszczak, 2003; Pannemann, 2002, p. 25).

“In Polish there is one type of construction which bears a strong resemblance to the constructions found in split-ergative languages like Hindi or Georgian. In the latter languages a special Case marking, i.e., the ergative marking is triggered by a particular tense or aspect; cf. (1). Similarly in Polish, depending on the aspectual properties of the verb *być* ‘to be’, the subject NP. (the term ‘subject’ is used here in a purely descriptive pre-theoretical sense) is marked either for NOM or GEN; cf. (2).

(1) a. *siitaa ne vah ghar khariidaa (thaa) Hindi*
Sita-FEM-ERG that house-MASC buy-PERF-MASC be-PAST-MASC
Sita had bought that house..

b. *siitaa vah ghar khariidegii*
Sita-FEM-NOM that house buy-FUT-FEM
Sita will buy that house..

(2) a. *Jana nie było na przyjęciu. Polish*
John-GEN NEG BE-3.SG.NEUT.PAST at school
Lit.: There was no John at the party... / John was not at the party...

b. *Jan nie bywał na przyjęciach.*
John-NOM NEG BE-3.SG.MASC.PAST.HABIT at parties
Lit.: John was not at parties... / John didn’t use to come to parties...

To solve the puzzle posed by the data in (2) I will assume that (2a) displays an ergative structure known from (split)-ergative languages” (Błaszczak, 2003).

¹ Ср. “Predominantly accusative languages may have a more or less restricted class of verbs occurring in constructions including no term with coding characteristics identical to those of the agent in the prototypical transitive construction. Such constructions, traditionally called impersonal, constitute exceptions to the predominant accusative alignment. Some of them may include a term having the coding characteristics of P[atient – E.3.], and therefore follow ergative alignment. For example, in Russian or in Latin, the accusative alignment is clearly predominant, but impersonal verbs governing the accusative case illustrate the ergative alignment, since their construction involves a term with the coding characteristics of P and no term with the coding characteristics of A[gent – E.3.], and impersonal verbs governing the dative case illustrate the neutral alignment” (Creissels, 2006).

“As we will see the Icelandic dative-nominative constructions [типа *Henni líkuðu ekki Þessar athugasemdir* "Ей (дат.) не понравились эти комментарии (ном.)" – Е.З.] show many similarities with morphological ergative languages. Furthermore I illustrate in section 3 of this chapter that there is an astonishing correspondence between the person restriction on nominative objects in Icelandic and the person split in NP-split ergative languages like Yidin (Pama-Nyungan, Australian)” (Pannemann, 2002, p. 25).

Примечательно, что описанная в первой цитате особенность польского имеет эквивалент и в русском: *Ивана* (ген.) *не было на празднике* vs. *Иван* (ном.) *не бывал на праздниках* (падеж субъекта, похоже, зависит от категории вида). То же касается и конструкций из второй цитаты, что уже видно по переводу примера.

М.М. Гухман высказывала предположение, что наследием эргативного строя могут быть конструкции типа нем. *Mich wundert des schwarzen Ritters* (*Меня удивляет чёрный рыцарь*), д.-исл. *Girnik mik* (*Мне хочется*), д.-англ. *Me líkað* (*Мне нравится*), лат. *Videtur mihi* (*Мне видится*), *Piget me* (*Мне досадно, неприятно*), *Poenitet me alicuius rei* (*Я раскаиваюсь, недоволен чем-то*), д.-англ. *Hine ne lyste his metes* (*Ему не хотелось еды*), рус. *Мне нравятся красные розы*, то есть сочетания безличных глаголов с дательными или винительными падежами лица или, точнее, носителя признака (Гухман, 1967, с. 64–65; Гухман, 1973, с. 359–360; ср. Быховская, 1934). В таких конструкциях обычно употребляются глаголы аффекта, чувственного восприятия, психических процессов и долженствования (Гухман, 1967, с. 65). Наблюдается явное сходство с аффективными конструкциями эргативных языков типа груз. *Matas h-riam-s ivili* (*Отец верит сыну*, дословно: *Отцу верится сын*), где *-s* в глаголе является показателем 3 л. субъекта, но согласуется не с “*matas*” («отец»), а с “*ivili*” («сын»), то есть «отец» является объектом не только по оформлению дативом, но и по глагольной флексии (Гухман, 1945, с. 148). К эргативоподобным она относит и похоже по смыслу конструкции не с глаголами, а с существительными, прилагательными и наречиями; носитель признака и здесь оформлен винительным или дательным падежом: гот. *Kara ist ina* (*Его заботит = Ему есть забота*), д.-исл. *Ifi es mér á* (*Мне есть сомнение, то есть Я сомневаюсь*), д.-ирл. *Issum esen* (*Мне есть необходимость, то есть Мне надо*), рус. *Мне жаль, Мне жарко*, д.-англ. *Me is leof* (*Мне любо*), *Me is well* (*Мне хорошо*), *Me is laf* (*Мне отвратительно*) (Гухман, 1967, с. 67; Гухман, 1973, с. 360; Гухман, 1945, с. 152). Спектр значений в данном случае тот же, что и в конструкциях с глаголами: восприятие, чувства, долженствование, аффекты. Во всех случаях дативом или аккузативом оформляется только определённое состояние лица, неліцо не может выступать носителем признака. О конструкциях такого рода М.М. Гухман говорит, что, вероятно, на самой ранней стадии развития описываемые оборотами типа *Мне любо* процессы казались людям независимыми от их воли, но теперь от первичного значения осталась только ничего не значащая форма (Гухман, 1973, с. 360).

М.М. Гухман также подчёркивает, что значение от оформления глаголом, существительным, наречием или прилагательным не меняется, так как во всех случаях речь идёт о пассивном лице или о его состоянии и о влиянии на этот субъект, грамматически оформленный дополнением, каких-то внешних сил, ср. лат. *Miseret me* (глагол) – рус. *Мне жаль*, д.-англ. *Me caelθ* (глагол) – рус. *Мне холодно* (Гухман, 1945, с. 152–153). Гухман высказывает предположение, что в конструкциях такого рода могло отразиться не только воздействие на пассивный субъект извне, но и первоначальное выражение лица при предикатах состояния и качества. В архаичном кимрском ещё можно было встретить конструкции типа *Ysym arglwyd* (*Я господин*, дословно: *Мне есть господин*), где никак нельзя говорить о пассивности субъекта, но выражается его состояние, свойство. Так же оформляются субъекты при предикатах свойства и состояния и в эргативных языках. Гухман не склонна видеть в хорошей сохранности дативных конструкций в том или ином языке какие-то особенности менталитета его носителей: «В одних и.е. языках продолжают существовать оба варианта [*Mich wundert* – *Меня удивляет* и *Ich wundre mich* – *Я удивляюсь* – Е.З.], по-разному распределяясь по отдельным глагольным единицам, в других – они фактически исчезают. Даже сравнение только материалов русского, немецкого, английского языков позволяет увидеть различия. Но пытаться обнаружить за этими различиями какие-либо "глубинные" отношения, а тем более проецировать их на уровень мышления было бы так же неверно, как стремиться вскрыть в предложении "Солнце село в тучу" пережитки мифологического мышления. [...] По-видимому, к соотношению мышления и языка не вполне применима известная притча о новом (молодом) вине и старых мехах. Новое мыслительное содержание не всегда взрывает старую языковую систему. Оно может сохраняться и служить средством выражения новых, более сложных категорий мышления» (Гухман, 1973, с. 360).

Далее Гухман причисляет к остаткам эргативности и безличные пассивные конструкции с дативом и аккумулятивом (Гухман, 1967, с. 68–70; Гухман, 1945, с. 153–154): гот. *Vajopum gabairgada* – *Обоим [меху и вину] сохранится* (отрывок из Евангелия, где говорится о новых мехах, в которые следует наливать новое вино, чтобы они сохранились; носитель признака оформлен дативом, а сказуемое – медиопассивом 3 л. ед. ч., то есть сочетание построено как бесподлежащая конструкция); д.-исл. *Á landi ok á vatni borgit er lofðungà flota* (дословно: *На земле и на воде спрято князя флоту*, то есть *спрятан флот князя* (пассивное причастие стоит в краткой несогласуемой форме)); д.-исл. *Þorsteini var þar vel fagnat* (*Торстейну было там хорошо принято*, то есть *Торстейн был там хорошо принят*); д.-исл. *Svá er inn lyða landi eyðið* (*Как опустошено стране в отношении людей*); примечательно, что данные конструкции употребляются в активе с дательным падежом прямого дополнения; рус. *За моё же жито мене же побито*, *Меня так и так сейчас обкрадено* (конструкции с пассивными причастия-

ми среднего рода). Во всех приведённых формах пассива носитель признака стоит в косвенном падеже, а глагольная форма не знает согласования, хотя нормой построения предложения со страдательным залогом в индоевропейских языках является именительный падеж носителя признака и возможность обозначения деятеля в косвенном падеже или предложной конструкции. Во всех случаях дополнение, оформлено ли оно дативом или аккузативом, является центром высказывания, а форма глагола является направленной на него, центростремительной, подчёркивающей не действие, а состояние дативного или аккузативного субъекта. В пассивах такого рода Гухман усматривает отголоски эргативной конструкции состояния.

Взаимозаменяемость датива и аккузатива при безличных глаголах в древних индоевропейских языках, как и возможность выражать прямое дополнение дативом при личных глаголах, демонстрируют их недифференцированность на ранних стадиях развития. Очевидно, их объединяла общая категория направительности и вместе с тем объектного падежа. Тот факт, что безличные конструкции превратились в личные путём замены объектного косвенного падежа субъектным (именительным), говорит о том, что ещё раньше носитель признака, то есть дополнение в конструкциях типа *Мне думается*, воспринимался как субъект состояния. Иначе говоря, прежде чем объектный падеж был заменён именительным, он существовал как пассивный падеж субъекта состояния. Таким образом, М.М. Гухман видит в приведённых конструкциях трёх типов (глагольных, неглагольных, пассивных) пережитки эргативного строя, хотя и сохранившиеся в разных видах, а отчасти и возникшие по аналогии уже после смены языкового строя. Для сравнения она приводит примеры дативных конструкций из современных эргативных языков типа грузинского. Гухман полагает, что в индоевропейском первоначально существовало два строя предложения – предложение действия и предложение состояния. Единая общая категория одинаково оформляемого субъекта отсутствовала, активному деятелю противостоял пассивный носитель состояния, имевший старую объектную форму. Номинативизация привела к отмиранию оформления субъекта состояния, из-за чего носитель признака оформляется теперь в индоевропейских языках (псевдо)активно, даже если семантика глагола явно этому противоречит. Некоторые безличные конструкции перешли в страдательный залог, что позволило сохранить оттенок инактивности, инертности, пассивности субъекта состояния.

В.Н. Сидоров и И.С. Ильинская указывают на чрезвычайное сходство русских конструкций типа *Отцом дано детям по груше* и *По груше упало с дерева*, где «подлежащее» и дополнение выражены при помощи предлогов, с эргативными, но не рискуют назвать их пережитками эргативности в индоевропейском: «Отрицательный или положительный ответ на этот вопрос могло бы дать только конкретное историческое изучение этих конструкций» (Сидоров, Ильинская, 1949, с. 352). Они полагают, что конструкции

такого рода могли возникнуть либо как закономерное продолжение эргативных, либо как аномалия в номинативном строе. Они также обращают внимание на другие отклонения от законов номинативного строя, когда для выражения субъектно-объектных отношений используется родительный или другой косвенный падеж: *Я купил хлеба, Мною ничего не сделано, Угля завезено на месяц, Воды в реке прибыло, Денег нам хватает, Волков у нас не водится, У меня нет книги*. Речь идёт о тех конструкциях, которые А.А. Шахматов называл «двучленными безличными предложениями» (цит. по: Сидоров, Ильинская, 1949, с. 353). Похожие примеры приводят А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов, усматривавшие в оформлении предикатива творительным падежом (рус. *Он был студентом* vs. нем. *Er war ein Student* (дословно: *Он был студент*)) отклонение от законов номинативного строя; то же касается и оформления бенефицианта предложной группой (рус. *У меня есть* vs. нем. *Ich habe* (*Я имею*)) (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 105). Относительно безличных конструкций вообще эти авторы пишут, что «богатые возможности "обезличивания" следует толковать скорее как количественное расхождение в степени номинативности, оказывающееся тем самым существенной характерологической чертой сравниваемых языков [русского и немецкого – Е.З.]» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 104).

Об упомянутых В.Н. Сидоровым и И.С. Ильинской генитивных конструкциях типа *Я купил хлеба* скажем особо. По мнению И. Вахроса, речь в данном случае идёт о влиянии на русский финно-угорских языков, где широко распространён *genitivus partitivus*¹, но, по мнению большинства учёных, такое употребление является общим наследием индоевропейских языков (ср. Востриков, 1990, с. 47–48). А.Н. Савченко приводит несколько примеров из древних индоевропейских языков, где значение генитива явно соответствует рус. *Он купил хлеба*: санск. *Ap̄t aṣṇāti* (*вкушает воды*), гот. *Pis hlaibis matjai* (*Пусть поест хлеба*) (Савченко, 1967, с. 85). Савченко полагает, что подобные конструкции первоначально появились посредством элизии типа *посыпал горсть соли > посыпал соли* (Савченко, 1967, с. 86). Если это так, то о наследии какого-либо дономинативного строя в данном случае речи быть не может. М. Хаспельмат пишет, что употребление *genitivus partitivus* вообще характерно для европейских языков (Haspelmath, 2001, p. 57), то есть никак не ограничивается сферой влияния финно-угорских языков.

¹ Например, по данным К. Сэндс и Л. Кэмпбел, 44 % дополнений в финском оформляются паритивом, 17 % – номинативом и только 16 % – аккузативом (Sands, Campbell, 2001, p. 252).

2.3. Характеристики активных языков

Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов считают, что индоевропейский на самой ранней стадии был языком не эргативного, а активного строя (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 273; Gamkrelidze, 1994, p. 31). К аналогичному выводу пришла К. Минкова в диссертации «О значении родительного падежа в становлении падежной системы в индоевропейских языках»; промежуточную фазу эргативности она отрицала (Климов, 1983, с. 59). Г.А. Климов, согласный с предположением об активности индоевропейского, не исключает, однако, что черты эргативности были присущи ему в пределах какого-то ареала, то есть на диалектальном уровне (Климов, 1973 б, с. 444). А.В. Десницкая в докторской диссертации «Развитие категории прямого дополнения в индоевропейских языках» (1946) поставила под сомнение эргативное прошлое данных языков на том основании, что должен был существовать ещё более древний строй, отличный от номинативного и эргативного («Обсуждение проблемы стадильности в языкознании», 1947, с. 258). Термин «активный язык» в 1940 гг. ещё не употреблялся. Д.В. Бубрих, разделявший мнение А.В. Десницкой, предложил в 1947 г. название «абсолютивный строй» («Обсуждение проблемы стадильности в языкознании», 1947, с. 264), которое, однако, не прижилось. Как отмечает Б. Бауэр, на сегодня в лингвистике доминирует теория не активности, а эргативности индоевропейского языка, но объясняется это, в первую очередь, недостаточной доступностью материалов по активному строю (основные работы были написаны на русском) (Bauer, 2000, p. 33).

К языкам активного строя принадлежат некоторые кавказские, северо- и южно-американские, кетский (единственный живой представитель енисейской семьи языков) (Toyota, 2004, p. 3; Сусов, 1999). Г.А. Климов, правда, относит к активным только некоторые языки индейцев (языковую семью на-дене: хайда, тлингит, эяк; группу сиу: дакота, ассинибойн, катамба, понка, тутело; группу галф: мускоги, хичити, коасати, чоктав; группу ирокуа-каддо), но перечисляет ещё целый ряд малоизученных языков с похожими характеристиками со всех уголков мира (Климов, 1977, с. 5–9; Климов, 1983, с. 80). Из южноамериканских языков он называет семью тупи-гуарани (тупинамба, гуарани, сирионо, камаюра, авети); из вымерших языков Евразии – хаттский и старозламский (Климов, 1983, с. 81).

Иногда активный строй называют агентивным, фиентивным и пассивным. Как упоминалось выше, довольно долго активные языки не отличали от эргативных, хотя ещё в 1917 г. Э. Сэпир обращал внимание на то, что языки типа тлингит, хайда, а также мускогейская и сиуанские семьи (языки индейцев, проживающих в Канаде и США) по многим параметрам отличаются от эргативных: активные и стативные глаголы имеют в них разные флексии. То же касается и активных и инактивных существительных: в них есть глаголы произвольного действия и т.д. (Lehmann, 2002, p. 52).

За шесть лет до Сэпира В. Джонс обратил внимание на то, что в языке фокс (также индейском) дихотомия одушевлённого / неодушевлённого пронизывает всю структуру языка (Lehmann, 2002, p. 51–53). В частности, все существительные и глаголы делятся на живые и неживые, у существительных флексия *-a* обозначает одушевлённость / движение, а флексия *-i* – противоположные качества (в том числе абстрактные понятия), ср. *i'neni`wa* (мужчина) и *i'neni`wi* (мужественность, храбрость). Окончательно отделить эргативные языки от активных удалось несколько десятилетий спустя.

Главные характеристики активного строя заключаются в следующем. В активной конструкции основную роль играет степень активности субъекта: оформление субъекта одинаково при выполнении активного действия (переходного или непереходного) и не соответствует оформлению объекта действия, а также субъекта «пассивного действия» (*лежать, знать*) (Stempel, 1998, S. 171). Генитив, датив, аккузатив и номинатив в активных языках отсутствуют; то же относится и ко многим эргативным языкам (Климов, 1983, с. 46–47, 50; Климов, 1977, с. 159). Если лингвисты говорят о номинативе в активном языке, обычно подразумевается одна из многочисленных смешанных систем, где активная конструкция конкурирует с номинативной, или же активный падеж (падеж агенса), противопоставляемый пассивному / инактивному (падежу объекта действия и субъекта при стативных глаголах). Датив в описываемой ниже аффективной конструкции – это, скорее, понятие условное, используемое только за отсутствием лучшего варианта. В чисто активном строе вообще отсутствует падежная парадигма, и даже противопоставление активного и инактивного падежей появляется уже в позднеактивном состоянии в качестве компенсации ослабевающей оппозиции активных и инактивных субстантивных классов (Климов, 1983, с. 116, 181; ср. Bauer, 2000, p. 89). Категория переходности у глаголов отсутствует, вместо прилагательных используются аналитические композиты и глаголы (Klimov, 1979, p. 328–329; Bauer, 2000, p. 59). Все существительные делятся на два класса: активные (одушевлённые денотаты, в том числе некоторые растения) и инактивные (неодушевлённые) (ср. Мещанинов, 1984, с. 8; Stempel, 1998, S. 172; Климов, 1977, с. 83; Тронский, 1967, с. 91). Все глаголы делятся на активные, то есть передающие действия («рождать», «расти», «растить», «умирать», «есть», «пить», «резать», «ломать», «плясать», «лететь» и т.д.), и стативные, то есть передающие качества, состояния, свойства («лежать», «висеть», «валяться», «торчать», «цвести», «катиться», «быть тёплым», «быть зелёным» и т.д.). Уже по последним примерам стативных глаголов видно, что они включают и прилагательные, как их понимают в номинативных языках. Имеется также класс глаголов непроизвольного действия / состояния, которые обычно оформляются подобно стативным и являются его подклассом. Ниже мы рассмотрим этот подкласс подробнее, поскольку, вероятно, именно из него

произошло большинство безличных конструкций. Активные существительные становятся подлежащими при глаголах активного класса, инактивные – при глаголах стативного класса. В активных языках могут быть отдельные глаголы с одинаковым значением, употребляющиеся либо только с активными, либо только с инактивными существительными. При необходимости активные существительные могут сочетаться и со стативными глаголами, как в современных индоевропейских языках существительные с одушевлёнными денотатами сочетаются с прилагательными (*Саша высокий*). Стативные существительные, однако, не сочетаются в качестве субъектов с активными глаголами ни при каких обстоятельствах.

Активные и инактивные классы существительных морфологически обычно не маркируются. Дополнениями в предложениях с активными существительными-подлежащими и активными глаголами-сказуемыми выступают преимущественно представители инактивного класса. Прямое дополнение выражает объект направленности действия (*сушит листья, бежит к реке*), косвенное / дальнее дополнение походит, скорее, на обстоятельство. Из-за отсутствия категории переходности в активных языках глагольные лексемы проявляют определённую диффузность значений: один и тот же глагол обозначает «умирать / убивать», «гореть / жечь», «сохнуть / сушить», «ложиться / класть», «просыпаться / будить», «падать / валить» и т.п. (данная категория присутствует в виде остаточного явления и во многих эргативных языках, несколько примеров уже приводилось выше). Конкретное значение устанавливается по контексту. Заметим, что лабильные глаголы в активных языках отличаются от английских транзитивных-интранзитивных глаголов тем, что последние не делятся на две группы (активные и стативные). Для выражения субъектно-объектных отношений активный строй приспособлен менее эргативного, а эргативный – менее номинативного. Наблюдается некоторая склонность активных языков к полисинтетизму, но однозначной корреляции нет. Время, залог и число глагола морфологически обычно не маркируются. У активных глаголов наблюдается незалоговая диатеза, противопоставляющая центробежные и нецентробежные (центростремительные) версии: форма первой обозначает распространение действия за пределы его носителя, форма второй – замкнутость действия на его носителе. Вместо времён морфологически маркируется способ действия (*Aktionsart*), превращающийся в категорию времени только при номинативизации (Климов, 1983, с. 91–94, 178, 189; Klimov, 1979, p. 329–330). Категория числа развита слабо и распространяется преимущественно на существительные активного класса, флексий у существительных относительно немного (Schmidt, 1979, S. 336; Климов, 1977, с. 60, 101; Stempel, 1998, S. 172; Gamkrelidze, 1994, p. 27). Глагола-связки «быть» в активных языках часто нет, или же он опускается (Климов, 1977, с. 102).

Рассмотрим несколько примеров. На языке камаюра (семья тупигуарани в Южной Америке) выражение *Собака змею укусила* выглядит

следующим образом: *Wararawijawa moja o-uʔu*, где активное существительное сочетается с активным глаголом, а глагольная словоформа содержит префикс активного ряда *o-*. Предложение *Птица летает* переводится как *Wəra o-wewe* (активное существительное плюс активный глагол с аффиксом активного ряда *o-*), *Камень тяжёл* – как *Ita i-powəj*, *Его шея длинна* – как *I-ʔajura i-haku*; в обоих последних случаях: инактивное существительное плюс стативный глагол, к глаголу присоединяется показатель 3 л. инактивного ряда *i-* (Климов, 1983, с. 94–95). Как уже видно по примерам, в языке камаюра глаголы получают активные или инактивные аффиксы. Полностью их парадигма отражена в таблице 3.

Таблица 3

Парадигма глагольных окончаний в языке камаюра

Лицо	Единственное число		Множественное число	
	Активные аффиксы	Инактивные аффиксы	Активные аффиксы	Инактивные аффиксы
1	a-	ʃe-	ja-, go-	jane-, oro-
2	ge-	ne-	pe-	rene-
3	o-	i-, ɵ	o-	i-, ɵ

В следующих двух примерах употреблён маркер активности (выделен жирным): *A-xá (Я иду)*, *A-gwerú aína (Я несу их сейчас)*; этот маркер отличается от маркера пассивности: *Šé-rerahá (Он меня отнесёт)* (Drinka, 1999, p. 465). Ещё один пример из того же языка приводит У. Леман: в предложении *Kipu'ut-a o-jan (Мальчик бежит)* глагол “jan” получил префикс активности *o-*, в предложении *Ywuyrapar-a i-katu (Лук хороший)* глагол “katu” получил префикс инактивности *i-* (Lehmann, 2002, p. 64). В языке тупинамба той же языковой семьи один и тот же «маркер лица» употребляется для обозначения активного субъекта при переходных и непереходных глаголах действия: *A-só (Я иду / шёл)*: (*я + идти*), *A-i-nipã (Я ударил / ударяю это)*: («я» + «это» + «ударять»); другая форма употребляется для маркировки объекта действия и субъекта стативного глагола: *Syé nipã (Меня ударяют / ударил / ударили и т.д., дословно: Меня + ударять)*; *Syé katú (Я хороший)* (Lehmann, 2002, p. 126–127). В атабаскском языке навахо к существительным активного класса принадлежат *diné (человек)*, *xastīn (мужчина)*, *‘ád (самка)*, *djádi (антилопа)*, *mósi (кот)*, *xos (кактус)* и прочие существительные с денотатами, имеющими отношение ко всему живому, будь то растения, люди или животные (Schmidt, 1999, S. 528–529). Все остальные существительные относятся к инактивному классу, будь то явления природы, какие-то предметы или абстрактные понятия: *tó (вода)*, *uas (снег)*, *k’os (облако)*, *poxoká (земля)*, *tsé (камень)*, *tsin (палка)*, *sīl (нар)*, *-god (колени)*. Как и в других активных языках, в навахо существуют пары глаголов с одинаковым значением, где один глагол употребляется только с активными существительными, а другой – с инактивными: *tí – (быть)* (о людях, животных) – *tēl – (быть)* (о неодушевленных объектах), *tí^m – (ле-*

жать) (о людях, животных) – *ʔá* – (*лежать*) (об объектах), *-hááh*, *-ya* – (*двигаться*) (о людях, животных) – *-kèès* – (*двигаться*) (об объектах). В навахо выделяют так называемые глаголы одушевлённого движения, употребляющиеся с классом активных существительных.

Как полагал Е. Курилович, следующие трансформации грамматических категорий имеют необратимый характер при языковой эволюции: способ действия > время (в частности, дезидератив > будущее время), глагол состояния > перфект > неопределённое прошедшее, класс > род, версия > залог, активный падеж > номинатив (Климов, 1983, с. 159). Все эти изменения могут в полной мере относиться к активному языку при переходе к номинативному строю. Далее мы неоднократно будем останавливаться на этих трансформациях в индоевропейском.

У. Леман добавляет следующие характеристики активного строя: вся лексика подразделяется всего на три части речи: существительные, глаголы и многофункциональные частицы; флексия развита слабо, особенно у стативных глаголов и существительных; у глаголов больше флексий, чем у существительных; из-за отсутствия категории транзитивности подлежащее при активных глаголах скорее сопоставимо с дополнением, а второе дополнение, если такое употребляется, – с наречием; единственное дополнение при стативных глаголах он также сравнивает с наречием в номинативных языках; активные существительные могут нести роль пациенса при активных глаголах; возвратные и притяжательные местоимения в активных языках часто отсутствуют (Lehmann, 2002; ср. Klimov, 1979, p. 328; Климов, 1977, с. 112); абстрактные и собирательные понятия относятся к неодушевлённым, потому при распаде дихотомии «активный / инактивный» оформляются средним родом; глаголы активного класса ассоциируются с волитивными действиями (Lehmann, 2002).

Ю.С. Степанов отмечает, что для языков активного строя характерно применение особой аффективной конструкции (конструкции для передачи произвольных действий и состояний), структурно похожей на рус. *У меня болит голова, Мне ногу больно, Мне холодно, Мне страшно* (Степанов, 1989, с. 32; ср. Schmidt, 1979, S. 336; Gamkrelidze, 1994, p. 27). Логический субъект в этих конструкциях стоит в дательном или аффективном падеже, то есть больше походит не на подлежащее номинативных языков, а на дополнение. В аффективной конструкции встречается третий тип глаголов, употребляющихся в активных языках, – неволитивные глаголы действия и состояния, которые, как было указано выше, обычно относят в качестве отдельного подкласса к классу стативных. К неволитивным принадлежат *verba sentiendi* типа «видеть», «слышать», «знать», «хотеть»; *verba affectuum* типа «смеяться», «плакать», «думать»; некоторые другие типа «спать», «бодрствовать» и «быть подходящим» (Klimov, 1979, p. 329); глаголы судьбы (Климов, 1977, с. 76); некоторые причисляют к этой же груп-

пе неволитивных глаголов и «метеорологические» глаголы типа «дождить», «снежить» (см. мнение У. Лемана выше), хотя они употребляются совсем иным образом (Климов, напротив, причисляет глаголы типа «греметь» (о громе), «сверкать» (о молнии), «идти» (о дожде) к активным (Климов, 1977, с. 85–86)). Глаголы обычно стоят в форме 3 л. ед. ч.

Рассмотрим несколько примеров: груз. *M-t-sm-i-s* (Мне слышится то: “m-e” – «мне», “-sm-i” – «слышится», “s” – «то»)); *M-sur-s* (Мне желается то: “m” – «мне», “-sur” – «желается», “s” – «то»)); *Mama-s u-kvar-s tvili* (буквально: *Отцу ему-любим-он сын*, то есть *Отец любит сына*: “mama-s” – дат. п. от слова «отец»)) (Лосев, 1982, ср. Тромбетти, 1950, с. 154)¹, ассинобойн *He miš George Oldwatch wa-mn-aka* (Я видел Джорджа Олдуотча / Мне виделся...) (Климов, 1977, с. 63–64), чикасо *An-chokta* (Мне хорошо) (Andréasson, 2001, р. 26). Добавим, что грузинский причисляют то к эргативным, то к активным языкам. Каждый язык имеет свою специфику в плане сферы употребления аффективной конструкции. Так, в языке ассинобойн в ней используются глаголы «думаться», «иметься» / «находиться» («обладать»), «изнашиваться», «уствовать», «ломаться»; в ирокезском языке сенека – «спать», «смеяться» (все эти глаголы описывают непроизвольные действия, например, *спать из-за усталости*, *бодрствовать из-за бессонницы*) (Климов, 1977, с. 97). Аффективная конструкция встречается в остаточном виде и в некоторых эргативных и номинативных языках (Климов, 1977, с. 96; Гухман, 1967, с. 62–63; Klimov, 1979, р. 329): ав. *Дие чу бокьула* (Мне лошадь любима, то есть *Я люблю лошадь*); *Дие вац вокьула* (Мне брат любим); лак. *Ттун чу буссар* (Мне лошадь любима); *Ттун ина ххирара* (Мне ты любима) (Мещанинов, 1940, с. 184–186); ав. *Вацасе жиндирго льимер бокьула* (Брат любит своего ребёнка; субъект в дат. п.); абх. *Бубадиз къе*

¹ Ср. цитаты об аффективной конструкции в грузинском: «Если мы говорим: *я емь, я иду, я лежу, я думаю, я люблю, я ненавижу, я смотрю, я слушаю*, то для других языков вовсе не обязательен тот факт, что немецкий и многие другие языки выражают все эти процессы как произвольные действия. Другие языки могут выражать положение вещей правильнее, например: *мне видится* вместо *я вижу, мне любо – я люблю, мне думается – я думаю, мне слышится – я слышу* и т.п. Именно этот способ выражения, как правило, и выступает в кавказских языках. [...] Так, по-грузински говорят *я емь, я иду*, но: *мне любо, мне слышится, мне ненавистно*» (Дирр, 1950, с. 18). «В этом языке [грузинском – Е.З.] процессы, представляющие собой ощущения, восприятия человека (но не действия, им производимые), передаются в соответствии с реальными отношениями, то есть здесь говорят не *я слышу крик, а крик слышится мне* и т.п. Форма настоящего времени таких глаголов разлагается на корень, выражающий основное значение, местоимение в форме дательного падежа и одну из форм вспомогательного глагола «быть». [...] Примеры: *m-dzul-s – я ненавижу* (буквально: *мне ненависть есть*)... Подобным же образом: *m-surs-s – я желаю, m-dzag-s – я чувствую отвращение, m-t’sat-s – я верю* (или *полагаю*), *m-džer-a – я верю* (или *полагаю*)...» (Финк, 1950, с. 109). «Примером языка, где хотя и не всегда последовательно, но с несомненной чёткостью проводится дифференциация двух видов процесса в соответствующих глагольных формах, может служить грузинский язык. Этим формам присвоены здесь поэтому особые наименования глаголов действия и глаголов восприятия (*я вижу – мне видно, я люблю – мне нравится*): *dzayli hqaraulobda batonis saxls – собака стережёт дом хозяина*, но: *me-t’s m-in-d-a šensawit’ t’signis kit’xwa – я хочу* (буквально: *мне хочется*), *как и ты читать книгу*» (Финк, 1950, с. 122).

са сев акуна (Отец сегодня одного медведя видел); чеч. Вайна биэза вешан кечийрхой (Мы любим нашу молодёжь); бацб. Сон хьо вабию (Я тебя знаю) (Мещанинов, 1967, с. 48; 67, 79, 83), дарг. Нам гьит игулла (Я его люблю, дословно: Мне он люблю-я; глагол «игулла» согласован в лице с субъектом «нам», стоящим в дат. п. при объекте «гьит» в абсолютном падеже) (Мещанинов, 1940, с. 65), лезг. *Gadadiz ruš akwaz k'anzawa* (Мальчику хочется увидеть девочку; «мальчик»: дат., «девочка»: абс.) (Haspelmath, 2001, p. 69). Ещё несколько примеров приведены в предыдущем разделе. Для нас особенно интересны современные индоевропейские языки с остатками эргативности / активности. Как показывают следующие примеры, взятые из статьи А. Део и Д. Шармы “Typological Variation in the Ergative Morphology of Indo-Aryan Languages”, датив при глаголах восприятия характерен и для них (Deo, Sharma, 2006):

Непальский	Хинди	Гуджарати
<i>budhi manche-lai chara dekhin-cha</i>	<i>mujhe Sita dikh-ī</i>	<i>ma-ne Sita gam-ī</i>
old woman.f-dat bird.m.nom appear-pres.m.sg The bird appears to the old woman	I-dat Sita.f.nom appear-perf.f.sg Sita appeared to me	I-dat Sita.f.nom please-perf.f.sg Sita pleased me

Если в активных языках аффективная конструкция чётко выражена, а в эргативных имеет многие исключения, оформляющиеся номинативно, то в номинативных языках уже обычные конструкции с подлежащим в именительном падеже являются правилом, а отклонения в сторону аффективной конструкции принадлежат к редким исключениям (Климов, 1981, с. 51). Н. МакКоли сравнивает грузинские «непрямые глаголы» (то есть глаголы, употребляющиеся в аффективной конструкции) с немецкими безличными типа *Es gefällt mir* (Мне нравится), *Es graut mir* (Меня страшит), *Mich hungert* (дословно: Меня голодит), *Es freut mich* (Меня радует), *Mich friert* (Меня морозит) (McCawley, 1975, p. 323–324).

Н.Я. Марр полагал, что косвенный падеж субъекта свидетельствует в таких случаях о вере древних людей в тотем, влияющий на человека извне (Гухман, 1945, с. 148); А.С. Чикобава говорил о персонификации страха (Страх вселился в меня > Меня страшит) (Мещанинов, 1940, с. 183); М.М. Гухман видела в форме 3 л. либо мифический агенс, либо, что не менее вероятно, отказ от наименования деятеля, чистую центростремительность движения (Гухман, 1945, с. 152). Если какой-то неназванный производитель действия и существовал, полагала она, он был удалён из мысли на очень ранней стадии, в результате чего предложения такого рода стали употребляться для акцентирования пассивности носителя признака, для ухода от наименования агенса (Гухман, 1945, с. 155).

Толкования, относящиеся к иррациональному мировосприятию, не объясняют, почему, например, в кавказских языках экспериенцер, а не ис-

точник эмоций или какого-то состояния / действия, согласовывается по числу с глаголом (Bauer, 2000, p. 143). Эту особенность можно объяснить только в том случае, если учитывать, что подлежащее активных и эргативных языков чувствительно к семантическим ролям, не прекращая при этом быть подлежащим. У. Леман отвергает всякие толкования о мифологическом мышлении, указывая на распространённость таких конструкций в языках активного строя; речь идёт просто о неволативности действия или состояния (Lehmann, 1995 a, p. 57, 59). Наличие остатков «метеорологических» и аффективных безличных конструкций в индоевропейских языках он считает одним из наиболее важных доказательств активного строя их далёкого предка. Х. Шухардт видел в аффективных конструкциях способ особой маркировки низкой транзитивности (Schuhardt, 1895, S. 2–3). По его мнению, выражение *Дом видится мне* значительно более точно отражает реальное положение вещей, чем *Я вижу дом*, поэтому языки, в которых достаточно формальных средств отграничить подобные случаи (описание чувств, эмоций, восприятия) от настоящих переходных глаголов (*Я бью его*), развивают специальные дативные конструкции. В этой же статье можно найти соответствующие примеры из многих кавказских языков. С.Л. Быховская полагала, что остатки более ранних систем в языке не свидетельствуют об иррациональном мышлении его носителей на современном этапе развития, поскольку постепенно переосмысливаются и получают новое содержание. На более раннем этапе, однако, существование мифического деятеля вполне ею допускалось: «Такое понимание [verba sentiendi в картвельских языках – Е.З.] чуждо нашему современному мышлению, так как то или иное чувство или ощущение с нашей точки зрения далеко не всегда является результатом волевого акта источника действия: так, в выражении "Мне нравится что-нибудь" мы совсем не мыслим этот предмет как нечто сознательно вызвавшее в нас чувство – слово, стоящее в именительном падеже является для нас грамматическим, отнюдь не реальным субъектом. Другое содержание вкладывалось, однако, в это выражение на других стадиях развития человеческого мышления, когда каждое чувство, каждое ощущение человек приписывал сознательному воздействию на него со стороны какого-нибудь существа или силы, выражающейся в весьма конкретных представлениях...» (цит. по: Климов, 1977, с. 259).

Исчезновение *verba sentiendi* в кавказских языках С.Л. Быховская объясняет сменой типа мышления с конкретного на абстрактное (то же относится к делению языков на разные парадигмы по содержанию вообще) (Климов, 1981, с. 75). Относительно этого мнения С.Л. Быховской Г.А. Климов замечает, что в начале XX в. многие исследователи находились под влиянием идей Л. Леви-Брюля о специфике древнего мышления, частично опровергнутых впоследствии (Климов, 1981, с. 56). В другой работе он останавливается на этом вопросе подробнее: «В связи с рассматриваемым вопросом едва ли возможно и согласиться со взглядом, согласно

которому в аффективной ("дательной") конструкции эргативных языков прослеживаются отложения древних воззрений или "концепций", свойственных дологическому мышлению. Подобная точка зрения была, в частности, сформулирована на базе анализа аффективной конструкции предложения в картвельских языках. [...] Вообще после того, как сам Л. Леви-Брюль в 1938–1939 гг. отказался от ранее выдвинутого им тезиса о функционировании на определённом этапе развития общества "дологического" мышления, апеллирующий к последнему взгляд на генезис аффективной конструкции предложения, изложенный к тому же без специальной аргументации, представляется анахронизмом» (Климов, 1973 а, с. 257).

Сам Климов считал, что *verba sentiendi* являются частью группы глаголов непроизвольного действия и состояния, присущей представителям позднеактивного строя (Климов, 1981, с. 65). Он проводит параллель между аффективной конструкцией деноминативных языков и безличными конструкциями номинативных типа нем. *Mich hungert* (Меня голодит), рус. *Мне нравится* (Климов, 1983, с. 178). О соотношении типологического состояния языка и типа мышления Климов пишет, что на ранних этапах исследования, ещё со времён В. Вундта, довольно долго исходили из более или менее ярко выраженной корреляции (Климов, 1981, с. 77). Однако уже тогда некоторые отечественные учёные выражали несогласие с данной позицией (Р.О. Шор, А.А. Холодович). После Второй мировой войны представления о такой корреляции начали понемногу уступать дорогу новым, но в работах некоторых учёных (например, Ф. Кайнца) их можно было найти и значительно позже.

Взгляды М.М. Гухман на пережитки аффективной конструкции в индоевропейских языках мы уже рассмотрели в разделе об эргативном строе. Повторим их с некоторыми дополнениями. Как и многие другие учёные, Гухман полагала, что некоторые безличные конструкции в индоевропейских языках являются пережитками аффективных конструкций (Климов, 1977, с. 122). Гухман обращала внимание на то, что в аффективной конструкции важен не дательный сам по себе, а косвенный падеж, так как в грузинском, например, один и тот же падеж на *sa* может оформлять и прямое, и косвенное дополнение. Вполне вероятно, что от первоначальной аффективной конструкции в индоевропейском могли произойти и *Мне кажется*, и *Меня тошнит*. Этим же объясняется употребление некоторых безличных глаголов в различных индоевропейских языках то с аккузативом, то с дательным без видимой смены смысла: д.-англ. *hreowan* (раскаиваться, печалиться), *moetan* (сниться). Сопоставим и спектр значений этих конструкций в эргативных и номинативных языках: аффект, чувственное восприятие (груз. *М-Мi-a* – дословно: *Меня голодит*), необходимость и долженствование (груз. *М-ṭir-s* – *Мне нужно*). Важное замечание, которое делает Гухман относительно мифологической подоплёки аффективной конструкции, заключается в следующем: носители современного грузинского или

лакского языков обнаруживают тенденцию к субъектному восприятию лица, несмотря на его косвенное оформление. Это значит, что содержание аффективной конструкции было переосмыслено, даже если она и отражала когда-то тотемное мышление. Это вполне подтверждает высказанное выше предположение С.Л. Быховской.

В «Лексиконе языкознания» Х. Бусман активная конструкция сравнивается с нем. *Mich friert* (Меня знобит) и *Mir ist angst* (Мне страшно), то есть с безличными конструкциями (Bußmann, 1990, S. 61–62). Речь идёт о тех же дативных и аккузативных конструкциях, в которых М.М. Гухман видела признак эргативности индоевропейского праязыка.

Э. Сэпир полагал, что конструкции типа *Мне спится* и в активных языках являются безличными, то есть у них нет субъектов, а есть только объекты (Drinka, 1999, p. 466). Возможно, в данной точке зрения отразилась как раз та неспособность снять «индоевропейские очки», о которой говорила С.Л. Быховская. «Дативные» и «аккузативные» субъекты в аффективных конструкциях – это столь же полноценные подлежащие для носителей активных языков, как номинативные – для носителей номинативных.

По причине того, что в активных языках особый акцент делается на степени активности субъекта, чрезвычайное значение приобретает маркировка волитивности / неволитивности действия или состояния, поскольку без волитивности, без желания что-то осуществить обычно не может быть и активности. Как нам представляется, грамматическое разграничение волитивных и неволитивных действий в языках активного строя имеет параллель в русском в конструкциях типа *Он захотел – Ему захотелось*. Особенно чётко такое разграничение субъектных форм отразилось в подвиде активных языков, называемом Fluid-S[subject], где субъекты при одном и том же глаголе могут оформляться подобно подлежащим или дополнениям в зависимости от уровня волитивности действия. Сохранение таких безличных конструкций со времён индоевропейского или их последующее развитие может быть связано с тем, что русский окружён многочисленными языками эргативного строя, зачастую с реликтами активного.

Рассмотрим некоторые примеры из тех активных языков, в которых глаголы делятся на два класса по признаку волитивности. В языке мандан семейства сиу глаголы делятся на класс глаголов контролируемого действия («входить», «приезжать», «обдумывать», «говорить», «игнорировать», «давать», «называть», «видеть») и класс глаголов неконтролируемого действия («падать», «теряться», «быть живым», «быть сильным», «быть храбрым»). Первый класс может быть транзитивным или интранзитивным, то есть может сочетаться с подлежащими и дополнениями или только с подлежащими; второй класс сочетается только с дополнениями, то есть высказывания строятся по образцу *Меня морозит, Меня храбрят = Я храбрый*. Р. Диксон причисляет данный язык к типу Split-S[subject] (Dixon, 1994, p. 71; Dixon,

1979, p. 82). Следует добавить, что Р. Диксон не различает эргативные и активные языки, но при описании языков типа Split-S и Fluid-S делает замечание, что Г.А. Климов относит Fluid-S к активным языкам (Dixon, 1994, p. 185; Dixon, 1979, p. 84). Обычно к активным относят и первый тип (Split-S). Разница между этими двумя типами заключается в следующем: при типе Split-S все, многие или некоторые глаголы делятся на две группы, а именно на активные (описывающие действия, особенно волитивные) и стативные (описывающие состояния и свойства, сюда же могут относиться и неволитивные действия); при типе Fluid-S одни и те же глаголы могут требовать разного оформления «реальных субъектов» в зависимости от степени волитивности: ср. рус. *Я хочу – Мне хочется*, то есть чёткого деления на классы нет. Если человек может контролировать свои действия, то используется падеж подлежащего (в эргативных языках обычно эргативный, в активных – активный), если нет – то падеж дополнения. Однако такое разграничение по степени волитивности касается, как правило, только непереходных глаголов (Dixon, 1994, p. 71, 78).

В качестве примера языка типа Fluid-S Р. Диксон приводит тибетский, где «подлежащее» в предложении «Я отправился в город» оформляется в виде агенса, если говорящий делает это по собственной воле, и в виде пациенса, если он попал в город по чужой воле, например, если его туда привезли ещё ребёнком (Dixon, 1994, p. 80). Ещё один пример – аравакский язык *Vaniwa do Içana*, на котором говорят в Южной Америке. Агенса в нём оформляется приставкой, а пациенс – суффиксом. «Подлежащее» при одной группе непереходных глаголов типа «гулять» оформляется приставкой агенса, при второй группе типа «умирать», «теряться», «дойти» – приставкой пациенса, при третьей – обеими в зависимости от контекста: «говорить» (агенса) vs. «болтать» (пациенса) (Dixon, 1994, p. 81). Подразумевается, что человек не контролирует себя, когда болтает. В языке кроу (абсарока) непереходные глаголы делятся на такие, которые употребляются: а) только с «подлежащим»-агенса («бежать»), б) только с «подлежащим»-пациенсом («упасть»), в) с агенса или пациенсом в зависимости от степени волитивности («идти») (Dixon, 1994, p. 81; Dixon, 1979, p. 81). Подразумевается, что человек может идти куда-то не по своей воле, а по приказу или какой-то необходимости.

В языке индейского племени купеньо (Калифорния) каждый глагол должен обозначаться как описывающий естественное / природное событие (без суффикса), описывающий желательное для агенса действие (суффикс *-ine*) или нежелательное (суффикс *-uaxe*) (Dixon, 1979, p. 81). Речь идёт о языке типа Split-S.

В языке каланга (Зимбабве) пациентивно оформляются глаголы *yitika* (случаться), *gala* (оставаться), *wa* (надать), *fa* (умирать), *thimula* (чихать), *kula* (расти), *mela* (давать ростки), *tswa* (гореть), *lala* (спать), *bola* (гнить), *tjila* (жить), *tetema* (трястись), *bila* (купеть), *woma* (сохнуть), *swaba* (вянуть), *nyikama* (таять), *nhiwa* (вонять); агентивно – глаголы

swika (приезжать), *nda* (идти), *ha* (приходить), *vita* (охотиться), *mila* (останавливаться), *hinga* (работать), *tobela* (следовать), *tihā* (убегать), *bva* (оставлять), *bhuda* (выходить), *gwa* (драться), *zana* (танцевать), *bhukutja* (плыть), *lebeleka* (говорить), *tika* (подниматься), *simika* (вставать), *tembezela* (молиться), *bukula* (лгать), *tjuluka* (прыгать), *ngina* (входить) (Kangira, 2004, p. 50–51). Все приведённые глаголы интранзитивные, транзитивные глаголы на агентивные и пациентивные не делятся. Речь идёт также о языке типа Split-S.

Разграничение волитивных и неволитивных актов на грамматическом уровне представлено в кавказских языках, не относящихся к индоевропейским. А.М. Дирр писал по этому поводу: «Все глаголы [в кавказских языках – Е.З.] могут быть разделены на следующие две группы: 1) в которых участвует наша воля и 2) где она отсутствует. Это деление действительно для всех происходящих внутри нас процессов, как духовных, так и материальных: "переваривать", "спать", "бодрствовать" являются произвольными видами деятельности, а "смотреть", "говорить", "ходить" – произвольными» (цит. по: Дешериев, 1951, с. 590).

Рассмотрим несколько примеров: бацб. (*As*) *vuiž-n-as* (Я упал (специально): «я»: 1 л., ед. ч., эрг. + «упал»: аорист, 1 л., ед. ч., эрг.) vs. (*So*) *vož-en-sə* (Я упал (случайно): «я»: 1 л., ед. ч., ном. + «упал»: аорист, 1 л., ед. ч., ном.) (Butt, 2006, p. 73); *Q'ar jatxe, so kottol* (Мне скучно, потому что идёт дождь: «дождь»: ном. + «идёт» + «я»: ном. + «скучаю»; в данном случае подразумевается, что человек скучает по какому-то внешнему импульсу vs. *As kottlas, tso xee stev* (Не знаю, почему я скучаю: «я»: эрг. + «скучаю» + «не» + «знаю» + «почему»; в данном случае подразумевается, что человек скучает по какому-то внутреннему импульсу); эргативный падеж при непереходных глаголах ассоциируется с волитивностью (Wierzbicka, 1981, p. 49–50); *As kottlas* (Я беспокоюсь) vs. *So kottol* (Меня беспокоит); *Atxo nazdrax kxitra* (Мы оземь ударились) vs. *Txo kazdrax kxitra* (Нас оземь ударило, то есть ударились не по своей воле); *Aišuishi ço buiçlar* (Вы (сами) не наелись) vs. *Şu ço buiçlar* (Вы не наелись, то есть не по своей воле) (Климов, 1977, с. 75).

Г.А. Климов считает бацбийский эргативным языком с явными остатками активного строя (Климов, 1981, с. 61). Р. Диксон относит бацбийский к типу Fluid-S (то есть активных языков), в качестве примеров неволитивных (употребляющихся с дополнениями вместо подлежащих) он приводит следующие глаголы: «трястись», «быть голодным» и «созреть»; примеры волитивных глаголов: «идти», «говорить» и «думать»; преимущественно неволитивными глаголами, хотя и не всегда, являются «умирать», «гореть» и «стареть»; преимущественно волитивными являются «засмеяться», «начинать» и «мыть»; между ними находятся глаголы без чётких предпочтений типа «худеть», «скользить», «опаздывать», «теряться» и «напиваться (алкоголем)» (Dixon, 1994, p. 79–80). В последнем случае подразумевается,

что человек может напиться против своей воли. Примечательно, что, по мнению некоторых учёных, система Fluid-S развилась в бацбийском языке на основе эргативного строя, что противоречит тезису о невозможности превращения эргативных языков в активные. Хотя разграничение активных и пациентивных конструкций в бацбийском не абсолютно, тенденции прорисовываются достаточно чётко: глаголы, не требующие никаких признаков агенса у субъекта, оформляются пациентивно в 92 % случаев, у глаголов восприятия этот показатель составляет 81 %, у глаголов (волитивного) действия – 0 %, то есть все такие глаголы употребляются агентивно (Primus, 2003, S. 29).

На табасаранском языке (лезгинская подгруппа нахско-дагестанских языков) можно сказать *Aqin-vi* (Ты упал (случайно)) или *Aqin-va* (Ты упал (намеренно)) (Энциклопедия «Кругосвет», 2007).

В удинском языке лезгинской группы нахско-дагестанской (восточно-кавказской) семьи можно выбрать между маркировкой волитивности и неволитивности: *Xinär axs/um-ne-xa* (Девочка смеётся (хочет она этого или нет; субъект стоит в абсолютном падеже, как дополнение)), *Xinär-en gölö axs/um-ne-xa* (Девочка смеётся (+ волитивность; субъект стоит в эргативе, как подлежащее с ролью агенса)) (Schulze, 2001). Непонятно, действительно ли этот язык является (нетипичным) эргативным, или эргативный падеж называется так только по традиции с тех пор, когда активный строй ещё не выделяли. Напомним, что по стандартному определению подлежащее при непереходном глаголе типа «смеяться» в эргативе стоять не может, так как данный падеж употребляется в эргативных языках только с субъектами переходных глаголов.

В австронезийском ачехском языке (= Acehnese, Achinese, Achehnese, Atjenese; Суматра) глаголы делятся на те, которые подразумевают, и те, которые не подразумевают волитивность. Границы между этими группами, однако, прозрачны, так как «волитивный» глагол может стать «неволитивным», если добавить приставку *teu-*, а «неволитивный» – «волитивным», если добавить приставку *meu-*. Некоторые глаголы употребляются без изменений, и тогда для разграничения смысла используется порядок слов в предложении: если действие совершено намеренно, то «подлежащее» стоит перед глаголом, если нет – то после, как русское дополнение, или отсутствует вообще: ср. (*Gopnyan*) *ka maté (-geuh)* (Он [+ вежливость] умер (подлежащее “geuh” стоит после глагола “maté”, но может и отсутствовать, то есть только подразумеваться)); (*Gopnyan*) *ka geu- maté* (Он [+ вежливость] умер / убил себя (подлежащее “geu” стоит перед глаголом)) (Gibbard, 2001), *Rila ji-maté* (Он был готов умереть: «готов» + 3 л. + «мёртвый / мертветь»; подлежащее перед предикатом), *...maté(jih)* (Он умер («мёртвый» + 3 л.; подлежащее стоит после предиката или отсутствует)) (Klamer, 2007; Dixon, 1994, p. 82). В отличие от многих других языков, в ачехском с «подлежащим»-агенсиом, выражающим волитивность, употребляются не

только глаголы действия типа *jak* (идти), *döng* (стоять), *beudöh* (вставать), *manoe* (купаться), *marit* (говорить), *plueng* (бежать), но и глаголы ментальной активности типа *kira* (думать), *pham* (понимать), а также глаголы эмоций типа *chên* (симпатизировать), *têm* (хотеть); ср. *Gornyan ka lonngieng* (-geuh) (Я увидел его / её) vs. *Geujak gornyan* (Он / она идёт). Другая группа глаголов ассоциируется с неволитивностью (*hanyöt* (тонуть), *lahé* (родиться), *tabôk* (отравиться), *rhêt* (надать): *Gornyan rhêt* (-geuh) – Он / она [случайно] упал(а), *reubah* (споткнуться, опрокинуться), *trôh* (случаться), *ku'eh* (завидовать), *êk* (нравиться)). К ней же относятся «прилагательные», являющиеся на самом деле глаголами (*beuhë* (храбрый), *saröng* (умный), *gasien* (бедный), *gasa* (грубый), *sakêt* (больной, болезненный), *gatau* (вызывающий чесотку, точнее было бы перевести: чесаться, так как это всё-таки глагол), *bagah* (быстрый, быть быстрым)) (Andréasson, 2001, p. 35; Klamer, 2007). Третья группа глаголов может отражать волитивность или неволитивность в зависимости от контекста, как это было показано выше на примере с глаголом «умирать, убивать себя». Р. Диксон относит ачехский к типу Fluid-S, его примеры неволитивных глаголов: «взрываться», «быть грустным», «быть вкусным»; примеры волитивных глаголов: «кашлять», «мечтать»; примеры пограничных глаголов, употребляющихся то с «подлежащим»-агенсиом, то с «подлежащим»-пациенсиом: «начинать», «останавливаться», «подозревать», «быть послушным», «быть отвратительным» (Dixon, 1994, p. 80).

В восточном помо (язык индейцев Калифорнии) *Ná se.xelka* обозначает *Я скольжу* (не намеренно), дословно: *Меня скользит*, а *Wi se.xelka* – *Я скольжу* (намеренно); И.П. Сусов напрямую сравнивает неволитивный вариант этой конструкции с рус. *Меня знобит* и нем. *Mich friert* в том же значении (Сусов, 1999). По мнению Р. Диксона, восточный помо относится к языкам типа Fluid-S; его пример неволитивных глаголов – «чихать» (всегда с «подлежащим»-пациенсиом), примеры волитивных – «сидеть», «идти»; пример пограничных – «скользить» (Dixon, 1994, p. 81).

В языке камбера, на котором говорят жители о-ва Сумба (Индонезия), семантическая нагрузка «подлежащего» отражается на флексии глагола, то есть по форме глагола видно, является ли «подлежащее» агенсиом или пациенсиом: агенс обозначается номинативом, а пациенс – аккузативом. Носитель признака, то есть «подлежащее» при непереходном глаголе, являющееся, с нашей точки зрения, скорее, прилагательным, также маркируется номинативом, ср. *Va na* [3 л., ед. ч., ном.] *luhuka weling la pindu ita...* (Когда он вышел из двери дома); *Na* [3 л., ед. ч., ном.] *mbana na tau Jawa* (Чужестранец зол). Если человек не контролирует ситуацию, «подлежащее» ставится в аккузативе, причём это касается всех непереходных глаголов: ...*hi hima-aya* [3 л., ед. ч., акк.] *ka i Mada ina...* (...а Мада только плакала и плакала). Обычно с аккузативом употребляются глаголы типа *rabànjar* (болтать), *meti* (умирать), *hi* (плакать), *kalit* (темнеть), *hàti* (быть хорошим), *han-*

gunja (сидеть, ничего не делая). Примечательно, что в безличных конструкциях, относящихся к погоде, форма глагола содержит обозначение 3 л. пациенса, а не агенса: *Lalu haledaku* (Очень ясный / -ая / -ое (о погоде), дословно: Его / её / это сильно ясным) (Klamer, 2007). Если бы за этой формой скрывался некий неизвестный деятель, она бы выражала агенс, но форма пациенса демонстрирует, что речь идёт о чисто грамматической функции данной формы. Как и в индоевропейских языках, нужна была какая-то формулировка для выражения подобных значений, где не обозначался бы агенс. Поскольку никакого другого варианта язык не предлагает, была выбрана форма пациенса.

Язык клон, на котором говорят жители о-ва Алор к северу от о-ва Тимор, маркирует агенс переходного глагола местоимением перед глаголом, а пациенс – приставкой или проклитикой (безударным словом, стоящим перед словом, несущим ударение). «Подлежащее» непереходного глагола может маркироваться обоими способами в зависимости от степени волитивности. Агентивно маркируются «подлежащие» у глаголов типа *méd* (брать), *dĩqiri* (думать), *hler* (стричь траву), *liir* (летать), *waa* (идти); пациентивно – «подлежащие» при стативных глаголах типа *atak* (быть большим), *egel* (быть усталым), *hrak* (быть горячим). Многие стативные глаголы употребляются, правда, только с агенсом (например, *mkiin* (быть толстым)), поэтому нельзя сказать, что данный язык отличается последовательностью при семантическом делении типов предикатов. Ряд глаголов употребляется с агенсом или пациенсом в зависимости от степени волитивности (Klamer, 2007).

В языке абуи (о. Алор) волитивные действия маркируются с помощью «подлежащего»-местоимения перед глаголом, а неволитивные – с помощью приставки глагола (как и пациенс), ср. *Na ayong* (Я плыву), *Na furai* (Я бегу); в обоих случаях используются местоимения vs. *Na-yei* (Я упал), *Na-rik* (Я болею), *Ne-do kul* (Я белый), *No-lila* (Мне жарко); во всех случаях используются приставки (Klamer, 2007).

В языке танглапуи (о. Алор) переходные глаголы делятся на две группы: а) обозначающие действия без последствий для пациенса, ср. *Ng-ya-di* (Я вижу тебя, в оригинале: 1 л. + 2 л. + «видеть»); б) обозначающие действия с последствиями для пациенса. Во втором типе подлежащее или дополнение может опускаться, ср. *Nga-na-baba* (Меня ударил(и), в оригинале: 1 л. + частица, обозначающая инверсию, + «ударять»). То же деление наблюдается у непереходных глаголов: а) без последствий для пациенса к таким глаголам относятся *ve* (идти), *yi* (вставать), *te* (спать), ср. *Ng-ve* (Я иду: 1 л., ед. ч. + «идти»); б) с последствиями для пациенса, к таким глаголам относятся *tata* (болеть), *ima* (быть в лихорадке), *loki* (быть влажным), *tansi* (упасть); ср. *Ya-na-tansi* (Ты упал: 2 л. + частица, обозначающая инверсию, + «падать»). Во втором случае «подлежащее» оформляется как пациенс переходных глаголов (Klamer, 2007).

В австронезийском языке лэрик (Laríke), на котором говорят жители о-ва Амбон (Молуккские острова), агенс переходных глаголов маркируется с помощью серии приставок, а пациенс – с помощью серии суффиксов. Непереходные глаголы могут иметь при себе «подлежащие», маркирующиеся либо подобно агенсу, либо подобно пациенсу переходных. К «агентивным» глаголам относятся не только глаголы действия типа *du'i* (ползти), *lawá* (бежать), *pese* (работать), *wela* (идти домой), *keu* (идти), *píki* (сжигать), но и некоторые глаголы состояния типа *'ata* (быть высоким), *'ida* (быть большим), *ko'i* (быть маленьким); ср. *Ai-du'i* (Ты ползёшь: 2 л., ед. ч. + «ползти»), *Ai-'ida* (Ты большой: 2 л., ед. ч. + «большой»). Другие глаголы состояния употребляются с суффиксами пациенса, как и глаголы неволитивного действия: *Loro-ne* (Ты мокрый: «мокрый» + 2 л., ед. ч.), *Hanahu-ne* (Ты упал: «падать» + 2 л., ед. ч.). Таким образом, оба типа глаголов – действия и состояния – могут в этом языке комбинироваться как с агенсом, так и с пациенсом (Klamer, 2007).

В языке фолопа (Папуа – Новая Гвинея) волитивность выражается суффиксом *-ne*, причём одни глаголы могут употребляться только с ним («кушать», «готовить», «давать», «говорить / делать», «оценивать», «бить / убивать»), другие – только без него («умирать», «расти», «спать», «стоять», «нравиться»), третьи – с суффиксом или без него в зависимости от контекста («смеяться», «приходить», «сходить с ума»). Кроме того, неволитивность отображается местоименной формой *e*, а волитивность – формой *yaŋo*: *No-ó kale naaŋ o take e di-ale-pó* (Брат, я [случайно] срубил твоё молодое дерево саго: «брат»: вокатив + артикль + «твоё» + «саго» + «молодое» + неволитивность + «срубить»: прош. вр., индикатив) vs. *No-ó naaŋ o take yaŋo di-ale-pó* (Брат, я [специально] срубил твоё молодое дерево саго: «брат»: вокатив + артикль + «твоё» + «саго» + «молодое» + волитивность + «срубить»: прош. вр., индикатив) (Dixon, 1994, p. 32).

Рассмотрим здесь несколько примеров из центрального помо: *ʔa· béda ʔʰá-w* (Я живу здесь), *ʔa· pʰdíw ʔe* (Я прыгнул) vs. *To ló-ya* (Мне упалось), *To ʔá-qan·* (Мне вспомнилось), *To ʔésʔesya* (Мне чихнулось) (Andréasson, 2001, p. 37); *ʔa· ʂʰ némt* – Я стукнулся об него (специально) vs. *To ʂʰ némt* – Я стукнулся об него (случайно). *ʔa·* в данном случае маркирует активность, *to* – пациентивность. Пациентивно оформляются и глаголы везения: *To tʰóʔca q'ya* – Мне повезло (Grimm, 2005, p. 45). Б. Дринка приводит следующие примеры, где один и тот же глагол в каждой паре оформляется по-разному (требуется агентивного или пациентивного субъекта) в зависимости от степени волитивности действия: *ʔa ° sma mtí°č'* (I went to bed) – *To ° sma mtí°č'ka* (I must have fallen asleep); *Wéno ʔa ° sdi°q'* (I swallowed my medicine) – *Qʰawé° quadó°n toó sdi°q'* (I swallowed my chewing gum) (Drinka, 1999, p. 468).

На языке гуарани фраза *Я иду* звучит как *A-xá*, где приставка *a-* обозначает агентивность, а *Я заболел* (то есть неволитивное действие) – как *Še-rasi*, где приставка *še- / che-* обозначает пациентивность; ср. тж. *A-pi ʔá*

(*Я встал*) vs. *Še-ropehí* (*Мне хочется спать*) (Andréasson, 2001, p. 10, 17–18). Приведём ещё несколько примеров в другой транслитерации: а) агентивные конструкции: *Che a-guata* (*Я иду*), *Che a-juka Juan-pe* (*Я убиваю Хуана*); в обоих случаях *a-* обозначает агентивность; б) пациентивные конструкции: *Che che-tuicha* (*Я высокий*), *Juan che-juka* (*Хуан убивает меня*) (*che-* обозначает пациентивность); *A-ta apo* (*Я работаю*; агенс), *Ai-pete* (*Я бью его*; агенс) vs. *E-tapu a* (*Я вспоминаю*; пациенс), *E-pete* (*Меня бьёт он*; пациенс, “e” – «меня») (Primus, 2003, S. 31). С «агентивными» суффиксами в этом африканском языке употребляются глаголы типа *gwatá* (*идти*), *ú* (*приходить*), *yapí* (*бежать*), *yemogetá* (*болтать*), *yerokí* (*танцевать*), *pitá* (*курить*), *yemosarai* (*играть*), *ta.apó* (*работать*), *mapó* (*умирать*); с «пациентивными» – глаголы типа *kane’ó* (*быть уставшим*), *kaní-* (*быть слабым*), *ao* (*иметь судороги*), *aimé* (*быть острым*), *poší* (*злиться*), *katú* (*быть возможным*), *karé* (*онеметь, быть онемелым*) (к этому классу относятся все глаголы, которые соответствуют русским прилагательным), а также глаголы типа *вспоминать, забывать, плакать, врать* (Andréasson, 2001, p. 18; Dixon, 1979, p. 83). Р. Диксон относит гуарани к типу Split-S, но с некоторыми вкраплениями типа Fluid-S, поскольку примерно дюжина глаголов оформляется в зависимости от степени волитивности: *Che-karu* (*Я ем / люблю поесть* (и ничего не могу с этим поделать)) vs. *A-karu* (*Я ем* (так как голоден)) (Dixon, 1994, p. 81).

В вымершем индейском языке чимарико (Калифорния, США) существовало два ряда глагольных аффиксов, каждый из которых мог выступать в виде приставки и суффикса (Conathan, 2002). Первый ряд обозначал агенс при непереходном глаголе (*Yema* (*Я ем*); *Kowi* (*Я кричу*)), второй – пациентивно оформленный субъект при непереходном глаголе (*Chumandamut* (*Я упал*); *Chelecit* (*Я чёрный*)). Первый ряд используется с активными глаголами, подразумевающими контролируемое и желаемое субъектом действие; второй ряд – со стативными глаголами, подразумевающими неагентивное, неконтролируемое действие или состояние. Волитивные и неволитивные глаголы составляли, однако, лишь небольшую часть общего числа глаголов, то есть существовали скорее в остаточном состоянии. Предполагается, что в самый последний период развития языка 63 глагола можно было причислить к агентивным (*k’o ...hu* (*убегать*), *lu le* (*быстро двигаться*)), 54 – к пациентивным (*imac’al* (*быть сухим*)), *la* (*быть слабым*), *ten* (*быть белым*), *lec* (*икать*), *laplap* (*моргать*), *q’e* (*задышаться*), *lah...ti* (*плакать*), *ic’ata* (*болеть*), *qhol... ta* (*иметь выкидыши*), *xitR* (*бояться*), 7 – к неопределённым, то есть оформляемым агентивно или пациентивно в зависимости от степени волитивности; речь идёт только о непереходных глаголах. Первоначальное разграничение глаголов уже было явно затемнено, поэтому к агентивным принадлежало и несколько таких, для которых ни волитивности, ни контроля над действием не требуется: *p’ola* (*быть одному*), *letRetRi* (*быть в пятнах*), *elomtu* (*быть горячим*), *sik’i* (*кровото-*

чить), *wi* (обжечься), *his'a* (быть больным). Маркеры агентивности являются и субъектами переходных глаголов (в виде префиксов). Маркеры пациентивности при переходных глаголах оформляют дополнения.

Отмирание Split-S-системы можно продемонстрировать на примере индейского языка гидатса, где классы волитивных и неволитивных глаголов уже смешались и теперь относительно слабо мотивируются семантически. В частности, к волитивным глаголам относятся не только «говорить», «следовать», «бежать», «купаться», «петь», но и «умирать», «забывать», «икать»; к неволитивным – не только «зевать», «ошибаться», «менструировать», «плакать», «падать», но и «вставать», «одеваться», «переворачиваться» (Dixon, 1979, p. 83).

В австронезийском языке добель (Dobel), на котором говорят жители о-вов Ару, агенс и пациенс при переходных глаголах маркируются клитиками, напр. $?A = \text{dayar} = ni$ (Он бьёт его: 3 л., мн. ч. = «ударять» = 3 л., ед. ч. / одушевл.), $?A = \text{yokwa} = ni$ (Он видит это: 1 л., ед. ч. = «видеть» = 3 л., ед. ч. / одушевл.). Непереходные глаголы разделены на два класса: в первом субъект, сочетающийся с глаголами действия, маркируется, подобно агенсам переходных глаголов (даже если он не несёт роли агенса): $?A = \text{nim}$ (Он ныряет: 3 л., ед. ч. = «нырять»), $?A = \text{bana}$ (Он ушёл: 3 л., ед. ч. = «уходить» + прош. время), *Tamatu s-soba = ni ne ?a = kwou ti* (Этот хороший человек умер: «человек» + «хороший» + 3 л., ед. ч. / одушевл. + «этот» + «умирать»: 3 л., ед. ч. + маркер прош. времени); во втором классе субъект, сочетающийся только с глаголами состояния, маркируется подобно пациенсу переходных глаголов: *Tamatu ne soba yu ?i = ni* (Этот человек очень хороший: «человек» + «этот» + «хороший» + усилитель = 3 л., ед. ч. / одушевл.), *Ne ?an = ni* (Он тяжёлый: «тяжёлый» = 3 л., ед. ч. / одушевл.). Таким образом, в данном языке оформление «подлежащих» зависит исключительно от того, обозначает ли следующий за ними глагол действие или состояние. Есть, однако, исключения: например, глагол «(случайно) появляться» требует пациенса, хотя обозначает активное действие: *Kwouar ned o ?alu ?i = ni* (Та собака появилась: «собака» + «та» + «появляться»: 3 л., ед. ч. / одушевл.). Объясняется это неволитивностью действия, незапланированностью происходящего (Klamer, 2007).

Рассмотрим несколько примеров из среднеуэльского: глаголы *marchoaeth* (ехать), *kerdet* (идти), *redes* (бежать), *llaiuryaw* (работать), *ym-lad* (сражаться), *bwyta* (кушать) употреблялись в агентивных конструкциях, а глаголы *marw* (умирать), *llithraw* (поскользнуться), *dygwudaw* (упасть), *hapiot* (происходить из), *bot* (быть) – в пациентивных (Andréas-son, 2001, p. 33). Заметим, что уэльский язык (он же кимрский и валлийский) принадлежит к индоевропейским, а именно к бриттской группе кельтской ветви. В других источниках о характеристиках активного строя в данном языке ничего не говорится.

В языке чочо (Мексика) для маркировки агентивности субъекта используется суффикс *-a*, а для маркировки пациентивности и / или неволивности субъекта – суффикс *-ma*: *bi-ku-a mi* (*Я тебя увидел*); *D-q the-ma* (*Я упал (случайно)*)).

О том, каким образом окружение активных языков может повлиять на языки других типов, рассказывает следующий пример. М. Митун описывает один из случаев развития активной конструкции (Mithun, 2004). Речь идёт об индейском языке юки, на котором говорят в Северной Калифорнии. Юки грамматически разграничивает агенс и пациенс, маркируя их посредством местоимений и специальных падежных окончаний существительных, именующих людей. В качестве агенсов маркируются субъекты при глаголах типа «бежать», «есть», «ударять»; в качестве пациенсов – субъекты действий типа «упасть», «умереть», «пугаться», «уствовать», «мучиться». В тех случаях, когда люди могут контролировать события, соответствующие существительные и местоимения оформляются агенсами, когда не могут – пациенсами. Когда кого-то рвёт, то он хоть и активен, но действие совершается против его воли, поэтому субъект оформляется в виде пациенса (как и в русском). Такие же разграничения можно встретить в неродственном языке юки семи языках семьи помо (также индейских языках Северной Калифорнии). Митун предполагает, что активная конструкция перешла в юки из-за многочисленности браков между представителями этих восьми языков и сложившейся традиции двуязычия в семьях.

Формально между активными конструкциями помо и юки не наблюдается никакого сходства, но основной принцип разграничения агенсов и пациенсов идентичен (контроль над совершаемыми действиями или состояниями). Митун предполагает следующий механизм заимствования активной конструкции. В юки местоимения третьего лица обычно опускались за ненадобностью, так как их можно было восстановить по контексту. Предложения типа *Это утомляет меня* выглядели обычно как *Утомляет меня*, причём глаголы в юки не имеют формальных признаков переходности. Под влиянием языков помо местоимение «меня» в *Утомляет меня* было переосмыслено из дополнения в пациентивный субъект, о первоначально употреблявшемся в таких конструкциях подлежащем «это» было забыто. Никаких дополнительных деталей Митун не сообщает, примеров также не приводится. Можно предположить, что и русский, не испытывая явного влияния окружающих деноминативных языков, впитал в себя некий общий знаменатель языков деноминативного строя и далее развил такие конструкции благодаря сохранившимся предпосылкам (остаткам активного строя индоевропейского праязыка), экстралингвистическому воздействию через смешанные браки, а также по законам внутренней логики. Тот факт, что сегодня контакты русского с деноминативными языками можно назвать маргинальными, ещё не значит, что так было всегда. Русские веками жили среди других этносов, постепенно сливаясь с ними и ассимилируя

их. Носители деноминативных языков, возможно, веками говорили на русском, опираясь при этом мысленно на синтаксические структуры своих родных языков. В результате русский язык впитывал в себя всё больше характеристик деноминативного строя, или же они консервировались в нём так же, как падежная система.

Г.А. Климов видит следующие признаки активного строя в индоевропейском: отсутствие категории залога (но различие в глаголе диатезы актива и медиума), отсутствие переходных и непереходных глаголов, деление глаголов на глаголы действия и состояния, деление имён на классы одушевлённых и неодушевлённых, отсутствие инфинитивов и связочных глаголов, недифференцированность прямого и косвенного дополнений, неразвитость прилагательных, наличие супплетивных глаголов (в значении «идти», «приходить», «бежать», «есть», «быть», «бить», «говорить», «вести», «попадать» и т.д.), невыработанность сквозной системы спряжения, функционирование в системе глагола категории способа действия, а не времени (Климов, 1977, с. 22–24, 119, 180, 209). Из этого списка Р. Диксон ставит под сомнение неразвитость прилагательных и отсутствие категории переходности (Dixon, 1994, p. 216; Dixon, 1979, p. 69).

У. Леман посвятил значительную часть книги «Доиндоевропейский язык» анализу различных доказательств существования активного строя в предшественнике индоевропейского. Леман полагает, что некоторые пары существительных, сохранившиеся с древнейших времён в различных индоевропейских языках и обладающие одинаковыми или похожими значениями, представляют пережитки бывших дихотомий активных и инактивных названий для одного и того же денотата (Lehmann, 2002, p. 27–28). Например, на латыни *огонь* называется *ignis*, на санскрите – *Agnis* (также имя божества), на английском – *fire*, на хеттском – *pahhur*. Первые два слова должны, по мнению Лемана, представлять собой активное существительное (в санскрите слово имеет мужской род), вторые два – инактивное (в хеттском слово имеет средний род). Распределение по родам, особенно в древнейших языках, является одним из основных способов установления соответствующих дихотомий. Мужской или женский род представляют остатки древнего класса активных существительных, средний род – остатки класса инактивных существительных. После распада категории активности / инактивности одни языки унаследовали активные единицы, другие – инактивные. Аналогично реконструируются формы слова «вода». В греческом оно передаётся как *húdor*, в хеттском – как *watar* (существительные среднего рода); в индоиранских языках сохранилось существительное женского рода *āp-* (*вода*), ср. д.-прус. *ape*, лит. *ùpė* (*река*), авест. *āfš* (активные эквиваленты существительного, сохранившегося в хеттском). Лат. *fons* (*источник, родник*) отображает доиндоевропейское представление об активном источнике воды, греч. *phréar* (*колодец*) – о пассивном (Lehmann, 2002, p. 54).

Похожим образом можно реконструировать и дихотомии активных / стативных глаголов. Активные сохранились в действительном залоге, стативные – в среднем (со значением центростремительного действия, отображающего соответствующую диатезу активных языков). В следующих примерах первый глагол в каждой паре несёт центростремительное значение, то есть направленное на говорящего (обычно стативное), второй – центробежное (обычно активное): **bher* > санск. *bhárati* (*несём*), д.-исл. *bera* (*уносить, рождать*); **ger* > санск. *jáрати* (*просыпается*), греч. *egeírō* (*будить*); **segh* > греч. *ékhō* (*держат, иметь, достигать*), санск. *sáhate* (*победить, покорить*); **sek^w* > д.-в.-нем. *sehan* (*видеть*), д.-ирл. *in-coissig* (*показывать*) (Lehmann, 2002, р. 38–39). Деревья и растения относились к классу активных существительных (так как растут), внутренние органы – к стативным, наружные органы (нога, рука) – к активным. Так, в латыни *pirus* (*груша (дерево)*) – м. р., а *pirum* (*груша (плод)*) – ср. р., *mālus* (*яблоня*) – ж. р., а *mālum* (*яблоко*) – ср. р.; прочие названия деревьев также не относятся к среднему роду: *quercus* (*дуб*) – ж. р., *pīnus* (*сосна*) – ж. р., *betula* (*берёза*) – ж. р., *abies* (*ель*) – ж. р.; но названия различного рода семян – среднего рода: *frūmentum* (*хлеб, пшеница (зерно)*), *triticum* (*пшеница (зерно)*), *hordeum* (*ячмень (зерно)*) (Lehmann, 2002, р. 54–55, 66–67).

Названия внутренних органов принадлежат к существительным среднего рода: лат. *iesur* (*печень*), *cor* (*сердце*), хетт. *lesi-* (*печень*), *ker* (*сердце*); названия наружных органов принадлежат к какому-то другому роду: лат. *manus* (*рука*) – ж. р., *oculus* (*глаз*) – м. р., *pēs* (*нога*) – м. р., хетт. *kessar-* (*рука*) – общ. р., *sakui-* (*глаз*) – общ. р., *pata-* (*нога*) – общ. р. Продукты питания именовались неодушевлёнными существительными: лат. *lās* (*молоко*), *mel* (*мёд*), *ōvum* (*яйцо*), греч. *méthui* (*вино*) – все среднего рода. Если какой-то элемент окружающего мира способен к движению или регулярному видоизменению, даже если он неодушевлён (дым, солнце, луна, рассвет, тень, ночь, сезон, вечер), велика вероятность того, что в доиндоевропейском ему соответствовало активное существительное, хотя и не всегда (Lehmann, 2002, р. 69–70). Названия животных в древних индоевропейских языках почти всегда мужского или женского рода (Lehmann, 2002, р. 70–71). В качестве остатков лабильных глаголов Леман приводит немецкий глагол *nehmen* (*брать*) в противопоставлении греческому *néto* (*давать*) – оба происходят от одного корня **net-* (Lehmann, 2002, р. 29).

Центростремительные глаголы, как упоминалось выше, стали передаваться формами среднего залога, ср. греч. *daneízesthai* (*занимать, то есть брать деньги*) и греч. *daneízein* (*занимать, то есть давать деньги*). В первом случае употреблена форма среднего залога. Разница между центробежной и центростремительной версиями могла оформляться морфологически (Lehmann, 2002, р. 85). Третья группа глаголов (неволитивного действия) употреблялась в доиндоевропейском только в 3 л. и без подлежащего, особенно для описания погодных явлений и психологических состоя-

ний. Остатки этой группы можно наблюдать в конструкциях типа лат. *Pluit* (Дождит), лат. *Raenit me* (Я раскаиваюсь) (Lehmann, 2002, p. 30). Леман делит такие глаголы на три группы: а) природные феномены: авест. *Sna-ēžaiti*, греч. *Neíphei* и лат. *Ningit* (Идём снег); санс. *Stanáyati* и лат. *Tonat* (Гремит гром); санс. *Tápati* (Жарко), санс. *Vāti* (Дует (ветер)); б) психологические состояния: греч. *Dokeí moi* (Мне кажется), *Mélei moi* (Меня волнует), лат. *Me piget* (Мне противно), *Me pudet* (Мне стыдно), *Eos raenitebat* (Они сожалели), *Eum taedet* (Ему было противно); в) модальные значения (необходимость, возможность, долженствование и т.д.): греч. *Deí* (Необходимо), лат. *Licet* (Можно), *Potest* (Возможно) (Lehmann, 2002, p. 81–84). Эти глаголы всегда были безличными, их расширения типа *Зевс дождит* автор считает вторичными.

В доиндоевропейском У. Леман видит зачатки будущего безличного пассива: речь идёт в данном случае о стативных глаголах, при которых могло опускаться «подлежащее», походившее в активном языке, скорее, на необязательное дополнение (Lehmann, 2002, p. 84) (ср. выше похожие мысли у М.М. Гухман). Для раннего индоевропейского автор реконструирует актив и перфект – наследие активного и стативного спряжения глаголов. Перфект имел меньше флексий, чем актив, поскольку и у стативных глаголов в активных языках меньше флексий, чем у активных. Перфект передавал, скорее, состояния, а не действия. Леман перечисляет некоторые глаголы, которые являются, как он полагает, остатками активного и стативного классов. Например, только в активе употреблялись санс. *átti* и греч. *édō* (есть), санс. *bhrjjáti* и греч. *phrūgō* (готовить), санс. *dásati* и греч. *dáknō* (кусать), санс. *gácchati* и греч. *báskō* / *baínō* (приходить), санс. *jīvati* и греч. *záō* / *zōō* (жить), санс. *sárpanti* и греч. *hérpō* (скользить, красться) (Lehmann, 2002, p. 77–78). Следующие глаголы употребляются преимущественно или исключительно в перфекте: глаголы, относящиеся к сидению, стоянию и т.п., напр. санс. *tastháu* (сидит), *rarābha* (отдыхает на); глаголы психологических состояний типа греч. *pérusmai* ([я понял >] я знаю), *gégētha* (радоваться), *akákhēmai* (озабочен); глаголы телесных состояний типа санс. *tātrpāñā* (удовлетворён), греч. *kéktēka* (измождён), *bébrītha* (отягощён); глаголы оконченного движения типа санс. *jágāta* ([он пришёл и теперь] присутствует) (Lehmann, 2002, p. 79). Исключительно или преимущественно в медиуме – ещё одной форме развития стативных глаголов – употреблялись первоначально глаголы типа санс. *āste* (сидит), *śéte* (лежит), *módate* (радуется), греч. *agállomai* (хвалиться), *térsomai* (высыхать), *théromai* (теплеть), *púthomai* (гнить, портиться).

Леман также обращает внимание на малочисленность прилагательных в древних индоевропейских языках. Эту характеристику он объясняет отсутствием прилагательных в языках активного строя (Lehmann, 2002, p. 30). Соответственно, формы сравнения прилагательных также не являются индоевропейским наследием, а развиваются в более поздних языках

отдельно, из-за чего могут принимать совершенно разные формы, в том числе супплетивные (ср. лат. *malus – peior – pessimus*, англ. *bad – worse – worst*) (Lehmann, 2002, р. 60). Примечательно, что в некоторых языках, в том числе славянских и германских, развитие прилагательных как класса повлекло за собой образование новой парадигмы флексий – слабой, в то время как ещё одна группа сохранила сильное склонение существительных. Это указывает на отымённое происхождение части прилагательных.

Возвратные местоимения в активных языках отсутствуют, поэтому и в индоевропейских языках они представляют собой сравнительно новое явление. Даже в германских языках прослеживается их различное происхождение, ср. нем. *mich* – англ. *myself* (Lehmann, 2002, р. 60–61). В протогерманском, как и в других древних индоевропейских языках, то же значение передавалось без местоимений формами среднего залога. Леман обращает также внимание на сходство глагольной флексии 1 л. активного залога *-m(i)* с реконструируемой формой местоимения 1 л. ед. ч. акк. **me* (меня) (Lehmann, 2002, р. 126–127). Возможно, данная флексия развилась в результате слияния местоимения с глаголом. Это же местоимение могло употребляться и в качестве подлежащего при неагентивных глаголах. Местоимением 1 л. ед. ч. при переходных и непереходных активных глаголах было **egh* (первоначально **e?*), после распада активного строя вытеснившее **me* из позиции подлежащего; его более поздними формами являются греч. *egō*, лат. *ego*, санс. *ahám* (Lehmann, 2002, р. 189; ср. Bauer, 2000, р. 47; Mallory, Adams, 2006, р. 64, 416). Для доиндоевропейского Леман реконструирует флексии активных и стативных глаголов (Lehmann, 2002, р. 171; ср. Бабаев, 2007; Greenberg, 2000, р. 61–74; Kortlandt, 1983, р. 309, 312), представленные в таблице 4.

Таблица 4

Флексии активных и стативных глаголов в доиндоевропейском языке

Лицо	Активное спряжение	Стативное спряжение
1 (ед. ч.)	*-m	*-χ-e
2 (ед. ч.)	*-s	*-tχe
3 (ед. ч.)	*-t	*-e
3 (мн. ч.)	*-nt	*-r

Например, в хеттском из флексий стативного спряжения возникли флексии центростремительной версии (*hi*-спряжение), а из флексий активного – флексии центробежной версии (*mi*-спряжение) (Lehmann, 2002, р. 169; ср. Kortlandt, 2007; Kortlandt, 1983, р. 309–310). К *mi*-спряжению принадлежат глаголы типа хетт. *arsu-* (мечь), *arnu-* (двигать), *ep-* (хватать); к *hi*-спряжению – глаголы типа *ak-* (умирать), *aus-* (видеть), *nahh-* (бояться). В других языках флексии активного спряжения стали флексиями настоящего времени, а флексии стативного – флексиями перфекта. Дальше из перфекта, то есть показателя завершённости действия / состояния, могло развиваться обычное прошедшее время (Lehmann, 2002, р. 176). В

германских языках также прослеживается связь между перфектом и глаголами в настоящем времени, ср. гот. *kann* ([понял >] могу), *wait* ([увидел >] знаю) (*weiß*)¹.

У существительных флексия *-s* обозначала первоначально агенс, но со временем превратилась в окончание номинатива единственного числа существительных с одушевлёнными денотатами; *-m* обозначала цель действия, но со временем стала обозначать номинатив и аккузатив единственного числа существительных с неодушевлёнными денотатами (*-om*) (Lehmann, 2002, p. 185). Первоначальные формы без окончаний долго сохранялись в вокативах разных языков. Сначала в индоевропейском возникли номинатив, аккузатив и вокатив, позже к ним добавился генитив, затем – локатив и датив (очевидно, путём слияния частиц с существительными) (Lehmann, 2002, p. 185–186). Порядок слов в доиндоевропейском соответствовал стандартному порядку слов в активных языках – дополнение стоит перед глаголом (Lehmann, 2002, p. 45).

Частицы выполняли роль союзов и постпозиций. Как активные языки (Lehmann, 2002, p. 31), так и доиндоевропейский (Lehmann, 2002, p. 60) различали на морфологическом уровне отчуждаемую и неотчуждаемую принадлежность (собственность). В первом случае подразумевается нечто внешнее, не принадлежащее к телу одушевлённого существа (одежда, оружие, инструменты), во втором – нечто неотделимое от одушевлённого существа (внешние и внутренние органы, моральные качества).

Помимо описанной выше книги «Доиндоевропейский язык», Леман ещё в нескольких работах останавливался на доказательствах активного строя предка индоевропейского языка. В статье “Active language characteristics in Pre-Indo-European and Pre-Afro-Asiatic” он сравнивает доиндоевропейский с доафро-азиатским языком (прародителем кушитских, омотских, берберо-ливийских, чадских и семитских языков, а также древнеегипетского), распавшимся за 8 000 лет до н.э. Многие потомки доафро-азиатского принадлежали или по сей день принадлежат к языкам классного типа, который он считает подвидом активного (Климов, напротив, видел в классном строе предшественника активного строя). В классных языках существительные делятся не на активные и инактивные классы, а на неопределённое множество других классов типа «полезные животные», «опасные живот-

¹ Очевидно, аналогичная характеристика наблюдалась и в древнерусском: «По значению перфект в древнерусском языке не был, строго говоря, прошедшим временем. Он обозначал отнесенное к настоящему времени состояние, являющееся результатом совершённого в прошлом действия, поэтому значение его близко к значению настоящего времени. Так, форма *вѣдѣ* первоначально значила “я узнал и (в результате этого, теперь) знаю”» (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 260). Современное русское прошедшее время является бывшим перфектом, в котором исчез вспомогательный глагол, потому по сей день оно может передавать соотносённое с настоящим временем состояние, являющееся результатом действия в прошлом: *Скалы нависли (= висят) над морем* (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 284–285).

ные», «инструменты», «деревья» и т.д.¹ В протоафро-азиатском (= протоафризийском, протосемитохамитском, протохамитосемитском), как и в доиндоевропейском, поначалу почти не было флексий, глаголы делились на активные и стативные, принадлежность также выражалась дативной или, вернее, дативоподобной конструкцией с глаголом «быть», древние афроазиатские языки также часто причисляли к эргативным, пока от них не были отделены активные, в них также с самых древних времён, которые можно проследить по священным текстам типа Библии, использовались безличные конструкции тех же аффективных и метеорологических типов (хотя в Библии ниспослание дождя зависело от Бога, ср. «Бытие 2.5»: «...ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли»), в них также прослеживалась двойственность местоимений, когда одна и та же форма могла употребляться и в качестве субъекта, и в качестве объекта (Lehmann, 1995 a, p. 67–68). Схожесть доиндоевропейского и доафроазиатского по этим пунктам Леман считает случайной (Lehmann, 1995 a, p. 72). Он отмечает, однако, что сходство языкового строя может в какой-то мере объясняться не только генетически, но и с точки зрения культурного развития. Из этого не следует, однако, что переход от одного строя к другому должен свидетельствовать об интеллектуальном превосходстве одной культуры или одной группы наций над другой (Lehmann, 1995 a, p. 75). «Идеологическое» обоснование номинативного строя он видит в греческой философии, не вдаваясь, однако, далее в подробности.

В статье “Impersonal verbs as relics of a sub-class in Pre-Indo-European” Леман высказывает предположение, что флексией имперсонала в доиндоевропейском был *-r*, ср. лат. *itur* (дословно: *Идётся*) (Lehmann, 1991, p. 35; ср. Bauer, 2000, p. 116; Bomhard, Kerns, 1994, p. 179). Г. Хирт полагал, что в данном случае речь может идти о происхождении имперсонала из глаголов с высокой степенью номинальности (ср. лат. *iter* – «путь»), вообще о происхождении глаголов от существительных. Это предположение требует, однако, дополнительных доказательств. Леман, например, обращает внимание на тот факт, что в активных языках глаголы и существительные уже чётко разграничиваются. Первоначальная флексия имперсонала сохранилась только в медиопассиве некоторых древних индоевропейских языков: хеттском, тохарском, италийском, кельтском, фригийском (Lehmann, 1991, p. 36).

В качестве доказательства активного строя индоевропейского языка Ю. Тойота перечисляет следующие характеристики древнеанглийского: в предложениях доминирует глагол, с глаголами восприятия используется

¹ Заметим, что очень слабая изученность языков классного строя привела к постоянному смешиванию его характеристик с характеристиками нейтральных и активных языков. Г.А. Климов выделял следующие признаки классного строя: наличие нескольких содержательно обусловленных именных классов («человек», «животные», «длинные предметы», «круглые предметы», «растения» и т.д.), наличие диатезы незалогового характера, отсутствие именного склонения, включение в глагольную форму префиксов-«подлежащих» и классных показателей предмета действия (Климов, 1983, с. 88–90).

обратный порядок слов (ср. рус. *Мне видится что-то*), обычным порядком слов является SOV, у глагола больше флексий, чем у существительного; актив противостоит не пассиву, а среднему залогу; морфологическая категория числа выражена слабо (Toyota, 2004, p. 7; ср. Климов, 1977, с. 123, 131, 156). Исчезновение безличных конструкций с дативом в английском Тойота связывает с переходом от активного строя к номинативному (к «аккузативному» в другой терминологии): “The development from active to accusative alignment is often associated with the emergence of transitivity: active alignment organizes the clause in terms of aspect, but accusative, transitivity. Such a developmental path can clearly be seen in the development of the impersonal verb. It was present until around 1600. The subject of this construction is commonly found in dative, but there are some variations. [...] Chronologically, however, the dative experiencer... [is – E.3.] older and the nominative is a later development. This may be partly aided by the loss of case marking system in English, but earlier dative subject represents the experiencer as a mere recipient of sensation, to which sensation is directed. When transitivity overtook the aspectual distinction, the construction was unified into a single pattern, i.e. nominative subject” (Toyota, 2004, p. 7–8).

Дополнительные признаки номинативизации Тойота видит в развитии пассива и переходе от строя «тема > рема» к строю «субъект > предикат > объект». Тойота также обращает внимание на так называемый адъективный пассив в современном английском: *I am interested in linguistics* (*Я интересуюсь лингвистикой*); *I am amazed at the scenery* (*Я поражён пейзажем*). Партицип уподобляется в них прилагательному, а сама конструкция, которую он называет не пассивной, а «пассивообразной», напоминает безличные дативные конструкции восприятия в активных языках, так как подлежащее здесь, хотя и выражено номинативом, явно несёт вместо агентивной функции функцию экспериенцера. Автор полагает, что глаголы, употребляющиеся в адъективном пассиве, похожи на описанные выше системы Fluid-S в том смысле, что говорящий может выбирать, поставить ли экспериенцер в номинативе (как в адъективном пассиве) или в косвенном падеже (как в *Linguistics interests me* (*Меня интересуется лингвистика*) и *The scenery amazes me* (*Меня поражает пейзаж*)). Едва ли такая аналогия уместна, поскольку таким же образом можно причислить к активным языкам любой язык, имеющий противопоставление актив-пассив в сочетании с противопоставлением «номинатив» – «датив» (или другой косвенный падеж) субъекта. В остальном Тойота повторяет уже приведённые выше мысли Климова и Лемана.

Интересны мысли о дономинативном строе индоевропейского языка, высказываемые А.Н. Савченко. Заметим, что к моменту написания работы теория активных языков находилась ещё в зачаточном состоянии, поэтому некоторые выводы автора можно переосмыслить в свете новых данных. Так, Савченко начинает статью с тезиса, что все существительные в ран-

нем индоевропейском (а эргативная конструкция существовала, по мнению автора, только в раннем индоевропейском) делились на два класса – активный и пассивный. Первый со временем разделился на мужской и женский роды, а второй стал средним (Савченко, 1967, с. 74). То же утверждал и У. Леман (см. выше), но в рамках теории об активном строе доиндоевропейского языка, так как разделение существительных на два класса характерно именно для активных, а не для эргативных языков. А.Н. Савченко вплотную подходит к основной черте, отличающей эргативный строй от активного: «Видимо, эргативная конструкция возникла на основе такого строя языка, в котором не субъект противопоставлялся объекту, а активный предмет – пассивному...» (Савченко, 1967, с. 83).

Падежных форм в индоевропейском было всего две: *-es* и нулевая. Из *-es* образовались номинатив активного класса и генитив. Форма без окончания стала номинативом и аккумулятивом пассивного класса и только аккумулятивом активного. Нулевая форма по сей день маркирует номинатив и аккумулятив среднего рода (бывшего пассивного класса), из-за чего их формы идентичны во всех индоевропейских языках. Из двух рядов личных окончаний глаголов первый предназначался для маркировки глаголов действия, второй – глаголов состояния (Савченко, 1967, с. 81). Пассивные существительные могли выступать в качестве подлежащего только со стативными глаголами (Савченко, 1967, с. 84). Это также более характерно для активных языков. Как и многие другие исследователи, Савченко полагал, что индоевропейский медиум возник на базе категории состояния, причём глаголы состояния были непереходными по своей семантике: «мочь», «надеяться», «лежать» (Листунова, 1998). Савченко приходит к выводу, ещё раз подтверждающему, что за терминологией эргативных языков уже отчётливо проступили характеристики активного строя: «Следовательно, в праиндоевропейском языке на древнейшем этапе развития его грамматического строя была эргативная конструкция предложения. При сравнении с вариантами эргативной конструкции, существующей в современных языках, она оказывается нетипичной, так как в ней выражение субъекта действия эргативным или абсолютным падежом зависело не от переходности или непереходности глагола, а от глагольной формы действия или состояния, эргатив выражал в ней не только субъект действия и косвенный объект, но и объект желания, восприятия и мысли...» (Савченко, 1967, с. 90). В последнем случае речь идёт, очевидно, об аффективной конструкции, описанной выше.

Во многом повторяет мысли А.Н. Савченко И.М. Тронский (Тронский, 1967): существительные в индоевропейских языках делились на классы активных и пассивных / инертных, у активного класса было два падежа – именительный (*-s*) и винительный (его окончанием был, как правило, носовой сонант). Вместе с тем, мог существовать *casus indefinitus* с нулевым окончанием. У имён инертного класса такого противопоставления

падежных окончаний не было, что до сих пор видно по одинаковым формам среднего рода в именительном и винительном падежах во всех индоевропейских языках. Возможно, существительные этого класса получили свои окончания позже по образцу активных. Глаголы делились на группы действия и состояния. Категории переходности ещё не существовало, что заставляет Тронского усомниться в эргативности индоевропейского. На это можно ответить, что категория переходности действительно характерна для эргативных языков, но её нет в активных, так что противоречие здесь только мнимое.

Некоторые замечания по поводу остатков активного строя в индоевропейском делает Б. Дринка. Он обращает внимание на тот факт, что языков абсолютно однородных в типологическом отношении не существует, нет и чисто активных языков. Обычно они представляют собой смесь черт активности и номинативности, то есть, например, одну часть глаголов можно отнести к обычным переходным и непереходным, а другая часть оформляется агентивно или пациентивно по принципам активного строя (Drinka, 1999, p. 477). Как он полагает, переходность является слишком универсальной категорией, чтобы хоть один язык мог полностью от неё избавиться. Соответственно, в индоевропейском наверняка были и обычные переходные глаголы, даже если он был языком активного строя. Эти глаголы не развились в процессе номинативизации, а существовали с самого начала в рамках смешанной системы. Более того, вполне возможно, что индоевропейский был, скорее, номинативным языком, но с яркими чертами активности. Высказывание Э. Харрис, что любой строй может превращаться в любой, Дринка модифицирует в том отношении, что, во-первых, смена строя встречается в языках очень редко и, во-вторых, практически всегда является частичной, то есть меняется соотношение номинативных, эргативных и активных характеристик в одном языке (Drinka, 1999, p. 481). То же касается и индоевропейского (на это обстоятельство указывал и Б. Комри, отмечая, что большинство существующих языков типологически неоднородны, поэтому вполне вероятно, что и индоевропейский не представлял исключения в данном отношении (Comrie, 1983, p. 205; ср. Pirkola, 2001)).

Относительно предположения Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, что языки мира развиваются по принципу «активный > (эргативный) > номинативный» (что относится и к индоевропейскому), Дринка замечает, что такая схема подразумевает происхождение всех языков мира из активного строя, строя слишком редкого, чтобы выдвигать подобные гипотезы (Drinka, 1999, p. 482). Кроме того, современные активные языки практически не выказывают движения к номинативному строю. Далее Дринка приводит реконструкцию флексий активных и стативных глаголов по версии Э. Ноя (Drinka, 1999, p. 484) (табл. 5). Она несколько отличается от версии У. Лемана (см. выше).

**Флексии активных и стативных глаголов
индоевропейского праязыка (по Э. Ною)**

<i>Первая стадия</i>				
Лицо	Активное спряжение		Перфектное / стативное спряжение	
1 ед. ч.	*-m		*-Ho	
2 ед. ч.	*-s		*-t ^h o	
3 ед. ч.	*-t		*-o	
3 мн. ч.	*-nt		*-or	
<i>Вторая стадия</i>				
Лицо	Активное спряжение		Перфектное / стативное спряжение	
	Настоящее время	Ненастоящее время	Настоящее время	Ненастоящее время
1 ед. ч.	*-m-i	*-m	*-Ha	*-Ho
2 ед. ч.	*-s-i	*-s	*-t ^h a	*-t ^h o
3 ед. ч.	*-t-i	*-t	*-e	*-o
3 мн. ч.	*-nt-i	*-nt	*-Vr	*-or

Как видно из таблицы, в индоевропейском перфект имел поначалу стативное значение, а не результативное (Т.В. Гамкрелидзе полагает, что индоевропейское *ha*-спряжение возникло из «безличных конструкций с семантически инактивными аргументами», но при переходе к номинативному строю оно было переосмыслено, благодаря чему в таких конструкциях стало возможным употреблять и семантически активные аргументы (Gamkrelidze, 1994, p. 30)). Для выражения результативного значения в древних индоевропейских языках развился аорист (Drinka, 1999, p. 485). В перфекте действие было непереходным и замыкалось на самом субъекте, как в более позднем меди (Я мучился), в аористе этот акцент снимался. Первоначально перфект выражал не время, а стативность и ориентированность действия на субъект. Со временем у него развилось и результативное значение. В более позднем меди индоевропейского Дринка видит систему, напоминающую по своим функциям Fluid-S: в древних индоевропейских языках некоторые глаголы могли употребляться только агентивно (*activa tantum*), другие – только в меди (то есть пациентивно; *media tantum*), третьи – агентивно или в меди в зависимости от контекста (Drinka, 1999, p. 489). Только агентивно в языках типа греческого, латыни и санскрита обычно употреблялись глаголы «быть» (санс. *asti*, греч. *ἔστι*), «идти» (санс. *gachati*, греч. *βαίνει*), «есть», «пить», «жить», «ползти» и т.д.; только в меди – глаголы «родиться», «умереть», «следовать», «лежать», «наслаждаться», «страдать» и т.д.; агентивно или в меди – «нести». Наконец, Дринка делает одно интересное замечание о природе некоторых существительных активного класса. В существительных, которые обычно рассматривались как неактивные, но могли иногда выступать и в качестве

активных, прослеживается суффикс активности *-(a)nt*: хетт. *watar (вода) > wetenant* (в контексте типа *Пусть вода спросит меня*), *eṣḥar (кровь) > eṣḥanant* (в контексте типа *Кровь излечивает болезни*), *uttar (слово) > uddanant* (в контексте типа *Мои слова покорили их*) (Drinka, 1999, p. 474; Oettinger, 2001, S. 312).

Некоторые считают, что *-n(t)* следует рассматривать в качестве индоевропейского окончания эргативного падежа (использовавшегося только с неодушевленными субъектами), другие видят в нём «индивидуализирующий суффикс», то есть языковое средство, с помощью которого неодушевленные сущности дополнительно маркируются подобно одушевленному, чтобы их можно было использовать в качестве субъектов (Oettinger, 2001, S. 301–303). В любом случае подразумевается, что неодушевленные сущности не могли быть использованы в качестве субъектов без особой маркировки, возможно, сопоставимой с инструменталем (ср. Kortlandt, 1983, p. 308, 321–322; Kortlandt, 2001). Буква *t* добавилась к *n* уже относительно поздно (ср. Oettinger, 2001, S. 308). Мы не нашли ничего определённого о происхождении русского окончания творительного падежа *-(о/е)м*, но можно предположить, что оно является разновидностью упомянутого индоевропейского окончания *-n*, так как *m* и *n*, будучи оба назальными и звонкими, часто переходят друг в друга. В древнерусском оно уже присутствовало (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 185). Альтернативно можно предположить, что *-м* происходит от одного из нескольких реконструируемых для индоевропейского окончаний творительного падежа, в которых присутствует *m* (ср. Quiles, 2007, p. 121–133). В любом случае, как подтвердил известный индоевропеист Ф. Кортландт, хеттская конструкция рассматриваемого типа, а также эквивалентная ей русская конструкция *Его переехало трамваем* являются наследниками общей индоевропейской конструкции: “Indeed, I think that the Russian construction you mention [*Его переехало трамваем* – Е.З.] is a relic of the Indo-European ergative construction, though I would object to the idea that Russian is “split-ergative”. [...] The Hittite construction [with *-nt*-suffix – Е.З.] is probably also a relic of the same because a transitive verb cannot have a regular neuter subject in this language” (получено по электронной почте в феврале 2008 г.).

Заметим, что Кортландт считает первичным элементом в хетт. *-nt* не *n* (как Н. Еттингер), а *t*; этот суффикс он считает наследием индоуральского аблатива-инструменталиса **-t*. Относительно предположения Еттингера, что *-nt* является индивидуализирующим суффиксом, Кортландт замечает: “These views are not in contradiction because the morphological origin of the suffix is different from the syntax. Of course, I do not claim that the suffix **-nt* continues the original ergative suffix. The point is that the form in **-nt* (whatever its origin) fills the syntactic gap created by the fact that a neuter noun is disallowed in the subject position of a transitive verb” (получено по электронной почте в феврале 2008 г.).

Огромный вклад в реконструкцию активной стадии индоевропейского языка внесли Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов (Gamkrelidze, Ivanov, 1995). Здесь мы приводим некоторые аргументы авторов, взятые из первого тома их труда «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Как и другие авторы, они обращают внимание на явную бинарность индоевропейского языка. В окончании **-os*, уже описывавшемся выше, они видят предшественника флексии номинатива, в окончании **-om* – предшественника аккузатива. Характерно, что образования на *-om* обозначали в древнейших языках обычно нечто неодушевлённое, образования на *-os* – нечто одушевлённое. К одушевлённым причислялись и неживые предметы, способные к активной деятельности, поэтому более верным для этой группы было бы название «класс активных существительных». Речь идёт только об основных суффиксах, так как были и менее распространённые: **-t'*, **-k*, нулевой для образования существительных инактивного класса и т.д.

Гамкрелидзе и Иванов, как и Леман, обращают внимание на тот факт, что в древних языках названия растений обычно относились к мужскому или женскому роду (то есть к активному классу), а их плоды – к среднему роду (то есть к инактивному классу). К активному классу обычно относились существительные типа «ветер», «гроза», «молния», «осень», «вода», «река», «рок», «судьба», «доля», «благо» и другие. Класс активных глаголов сочетался с активными существительными; к таким глаголам относились «ходить», «гнать / бежать», «губить / гибнуть», «есть», «жить», «дышать», «говорить» и прочие глаголы, выражающие действия, характерные для живых существ или способных к движению предметов. Второй класс глаголов (обычно глаголы состояния) сочетался с инактивными существительными: «лежать», «падать», «быть тяжёлым», «быть маленьким», «быть большим».

Для описания одного и того же действия, выполняемого одушевлёнными и неодушевлёнными денотатами, существовали глагольные дублиеты (*лежать*, *падать*, *двигаться*, *быть*); ср. и.-е. **es-* и **set'-* (*сидеть*), **es-* и **b^[h]uH-* (*быть*), **st^[h]-aH-* и **or* (*стоять*). Возможно также, что существовали параллельные морфологические показатели глагола, соотносимые с именами активного и инактивного классов.

Для оформления пациенса в предложениях типа *Человек убил зверя* к существительному активного класса (*зверя*) добавляли формант пассивного класса **-om*. Из этого же окончания впоследствии развился аккузатив, имевший значительно более широкий спектр значений. Его семантика предполагала общую направленность, адресата и цель действия: *Человек убил зверя*, *Я иду в Рим*, *Они ведут воды к небу*. Далее от флексий инактивного класса (**-om* и нулевой) отделился и датив, поначалу не разграничивавшийся с аккузативом, что видно по многочисленным случаям двойных прямых дополнений, а также по совпадению дативных и аккузативных форм местоимений (*мне / меня*) в древних индоевропейских языках (ср. с

приведённой выше мыслью М.М. Гухман об общем происхождении аккумулятива и датива). Дополнительно от того же аккумулятива отделились местный и направительный падежи, причём датив и местный, очевидно, прошли через общую стадию обстоятельственного падежа. Дативный падеж стал употребляться с существительными активного класса в том же контексте, в каком местный падеж употреблялся с существительными пассивного класса.

Класс активных существительных подразделялся на способных и неспособных к восприятию (к неспособным относились растения, некоторые животные). Есть все основания полагать, что датив изначально применялся только с классом существительных со способными к восприятию денотатами (см. описанную выше аффективную конструкцию). Таким образом, датив отделился от общего пациентивного падежа (можно назвать его аккумулятивом, но спектр его значений был шире) для обозначения воздействия на способных к восприятию живых существ (боль, слух, зрение, холод, страх и т.д.). Употребление в данном случае вместо датива окончания **-os* было бы неуместно, так как одушевлённые существа мыслились здесь не агенсами, а объектами действия. Противопоставление активного и пассивного начал видно также в системе местоимений, где форма **is* (*этот, эта*) относилась только к активным денотатам, а форма **it* (*это*) – к пассивным.

Показатели презенса и аориста развились из показателей активного спряжения глаголов, показатели перфекта и медиа (медиума) – из показателей стивного (носившего поначалу безличный характер). Первоначальное значение перфекта в индоевропейском – выражение состояния объекта (в том числе психического), возникшего в результате предшествующего действия, а также выражение свойства или качества. Той же парадигмой окончаний выражался и индоевропейский медиум. Возникновение медиального спряжения в индоевропейском авторы объясняют необходимостью передачи семантики глагольной версии (категории, выражающей направленность и предназначение действия), а именно центростремительных значений. Медиальное спряжение подчёркивало направленность действия на сам субъект, а не на других / другого; ср. *Он мылся* (центростремительная версия) – *Он мыл кого-то* (центробежная версия). Поначалу версии маркировались флексиями глаголов, но при переходе к номинативному строю развились аналитические формы выражения флексивных отношений с помощью номинальных образований в значении «себя». Поскольку действие направлено на самого себя, соответствующие глаголы становятся непереходными. В дальнейшем медиум, образовавшийся из форм центростремительной версии, может трансформироваться в пассивные конструкции, поскольку и для них характерно значение центростремительности действия, направленного на грамматический субъект.

Переход индоевропейского языка от активного строя к номинативному сопряжён с перестройкой системы, основанной на бинарном принципе активности / инактивности, в систему, основанную на противопоставлении переходных и непереходных глаголов. При этом «подлежащее» инактивного класса при одновалентных глаголах начинает ассоциироваться с «подлежащим» активного класса и противопоставляться «дополнению» любого класса при двухвалентных глаголах. Порядок слов в индоевропейском, как и в активных языках, соответствовал схеме «субъект > объект > глагол», что, однако, не может считаться однозначным доказательством активного строя, так как тот же порядок слов наблюдается обычно и в эргативных языках. Промежуточную стадию эргативности при переходе индоевропейского языка к номинативному строю Гамкрелидзе и Иванов отрицают.

Единственная известная нам работа, где активный строй индоевропейского ставится под сомнение, – это небольшая статья Х. Курзовой «Синтаксис в индоевропейском морфосинтаксическом типе». Х. Курзова не видит в перечисленных в этой главе характеристиках, в том числе безличных конструкциях, признака эргативного или активного строя, предполагая, скорее, флуктуации в рамках номинативной системы (Kurzová, 1999, p. 505). Индоевропейский был, по её мнению, номинативным языком, причём и деление существительных на классы, и деление глаголов на активные и инактивные (употребляемые в меди) она считает типичными характеристиками номинативных языков или, по крайней мере, характеристиками, не противоречащими их принципам (Kurzová, 1999, p. 507). Маркер активного падежа *-s* она считает маркером топика, то есть уже известной информации, а отсутствие маркера у дополнений должно значить, что речь идёт о реме (Kurzová, 1999, p. 508). Как мы покажем в главе «Тема / рема и порядок слов», данное предположение ещё несколько десятилетий назад было опровергнуто.

Данные по грамматическому строю ностратического языка, как бы ни были они скудны, вполне подтверждают теорию об остатках активного строя в индоевропейском. Так, М. Кайзер и В. Шеворошкин пишут, что порядок слов в ностратическом языке был SOV, первое лицо маркировалось местоимением **mi*, присоединявшимся к глаголу, второе – **ti*, третье в настоящем времени не маркировалось; глаголы делились на активные и пассивные (инактивные), существительные – на одушевлённые и неодушевлённые (с разными маркерами множественного числа), то же деление наблюдалось у местоимений; использовались локативные и другие частицы (аналитическое средство); слова состояли либо из корней, либо из корней с суффиксами; префиксов не было (Kaiser, Shevoroshkin, 1988, p. 314–315; ср. Bomhard, Kerns, 1994, p. 159, 163, 166, 182). Последняя упомянутая особенность ностратического языка вписывается в общую картину, если вспомнить, что “OV languages tend to have suffixes and VO languages

prefixes” (“The Universals Archive”, 2007). Отсутствие флексий также характерно для активного строя, флексии возникли уже при переходе к индоевропейскому в качестве вспомогательного средства, «поддерживавшего» терявшие мотивацию грамматические категории. Флексионная парадигма не полностью совпадает с приводившимися выше, что, однако, вполне естественно, если учитывать возраст искомым окончаний. Падежные окончания в ностратическом предположительно возникли из постпозиций, причём А. Бомхард и Дж. Кернс отмечают позитивную корреляцию между обилием флексий и порядком слов SOV (Bomhard, Kerns, 1994, p. 162). Авторами отмечается также высокая степень номинальности ностратического глагола. Хотя авторы ассоциируют SOV с деноминативностью, они считают, что возникавшие в отдельных ветвях ностратических языков черты эргативного строя едва ли были связаны друг с другом и имели общие корни (Bomhard, Kerns, 1994, p. 163). Пассив в ностратическом языке маловероятен (Bomhard, Kerns, 1994, p. 168). Форма аккузатива обычно не имела собственного маркера, как в современных языках не имеет его номинатив (Bomhard, Kerns, 1994, p. 172–173). А. Бомхард и Дж. Кернс, в отличие от большинства авторов, видят в источнике категории рода деление существительных не по принципу «одушевлённый / неодушевлённый» или «активный / инактивный», а по принципу «определённый / неопределённый» (Bomhard, Kerns, 1994, p. 184). В данном случае они больше исходят из свидетельств уральских языков, чем индоевропейских. Кроме того, их предположение нарушает следующую универсалию, общую для всех человеческих языков: “The implicational hierarchy of semantic distinctions for noun class systems: Animacy is involved in all noun class systems” (“The Universals Archive”, 2007).

Таким образом, предполагаемые характеристики ностратического языка в большинстве своём подтверждают теорию о его активном строе. Явные следы данного строя должны были оставаться и в индоевропейском. Термин «ностратический язык» перекликается с термином У. Лемана «доиндоевропейский язык», хотя приравнивать друг к другу их нельзя, так как обычно проponentы ностратической теории исходят из значительно более обширного родства индоевропейских языков, чем предполагал Леман. Доиндоевропейский, по мнению Лемана, существовал в 8000–5000 гг. до н.э., то есть значительно позже ностратического (Lehmann, 2002, p. 219). Из ностратического языка развились, как полагает А. Долгопольский, хамитосемитские, картвельские, индоевропейские, уральские (уральско-юкагирские), алтайские и дравидийские языки; из евроазиатского (евразийского) развились, как полагает Дж. Гринберг, индоевропейские, уральско-юкагирские, алтайские, корейский, японский, айнский, гилякский, чукотский и эскимосско-алеутские языки (Lehmann, 2002, p. 246; ср. Dolgorolsky, 1998, p. XII). Некоторые учёные считают евроазиатский одним из потомков ностратического языка (Bomhard, Kerns, 1994, p. 36). Индоевропейские языки

считаются сравнительно консервативными среди ностратических, в том числе в синтаксисе и словарном запасе (Bomhard, Kerns, 1994, p. 155).

Ниже представлены некоторые предположения о чертах активного строя в современном русском языке.

В статье “A case of rare fluid intransitivity in Europe: Russian” американский типолог Дж. Николс указывает на признаки активного строя в русском языке, приводя в качестве доказательства волитивные и неволитивные конструкции типа *Я не работаю – Мне не работается, Я хочу – Мне хочется* (Nichols, 2006). Среди двух подтипов языков активного строя – Split-S (где непереходные глаголы разделены на две части, одна из которых требует только субъекта-агенса, а другая – только объекта в зависимости от семантики) и Fluid-S (где одни и те же непереходные глаголы могут требовать субъекта-агенса или объекта в зависимости от степени волитивности) – русский она причисляет к относительно редкому второму типу.

Б. Бикель и Дж. Николс видят признак активного строя в русских дативных экспериенцерах: “First, there are lexical splits: most and probably all languages have verbs that display distinct valence patterns. For instance, Basque has enough agentively inflected subjects, and Russian enough dative experiencer subjects, to qualify either language as split-intransitive” (Bickel, Nichols, 2007). Под “split-intransitive” здесь подразумевается язык активного строя (Fluid-S), ср. “Split intransitive: The pattern exemplified in an active language, in which the single argument or valent of an intransitive construction is identified in some conditions with the agent in a transitive construction and in others with the patient” (Matthews, 1997; ср. Andréasson, 2001, p. 10; Nichols, 2006).

Хотя Дж. Николс не приводит в своей статье следующие пары глаголов, мы перечислим их здесь для полноты картины; все они напоминают волитивные и неволитивные пары глаголов в активных языках (Fluid-S): *Он не верил – Ему не верилось; Я вздремнул – Мне вздремнулось; Я вздумал – Мне вздумалось; Я врал – Мне вралось; Я вспомнил – Мне вспомнилось; Я не встречал – Мне не встречалось; Я не грустил – Мне не грустилось; Я не гулял – Мне не гулялось; Я не дремал – Мне не дремалось; Я не ездил – Мне не ездило; Он не писал – Ему не писалось; Он не плакал – Ему не плакалось; Он плясал – Ему плясалось; Он подумал – Ему подумалось; Он пожелал – Ему пожелалось; Он полюбил – Ему полюбилось; Он не сидел – Ему не сиделось; Он не смеялся – Ему не смеялось* (редко; в русском такие диатезы от возвратных глаголов, как правило, не образуются); *Я не ел – Мне не елось; Я желал – Мне желалось; Я жил – Мне жило; Я забыл – Мне забылось; Он зевал – Ему зевалось; Он икал – Ему икалось; Он не лежал – Ему не лежалось; Он не может – Ему не может; Он отдыхал – Ему отдыхалось; Он не пел – Ему не пелось; Он не пил – Ему не пило; Он спал – Ему спалось; Он не танцевал – Ему не танцевалось; Он умирал – Ему умирались* и т.д. Во всех случаях используется дативный субъект для акцентирования неволитивности. Дативные конструкции для подчёркивания неволи-

тивности действия по сей день употребляются и в некоторых других индоевропейских языках: исл. *Honum mæltist vel* (*Ему хорошо говорилось*); автор, приводящий этот пример, подчёркивает, что в исландском аккумулятивные и дативные субъекты никогда не передают волитивность действий и зависимость результатов действий от субъекта (Andrews, 2001, p. 99).

Возможно, именно активным строем индоевропейского языка объясняется возникновение в русском языке конструкций типа *Его убило молнией*: как отмечает Г.А. Климов, в активных языках позицию подлежащего могут занимать только имена активного класса, в то время как имена пассивного в лучшем случае могут выступать орудным дополнением (Климов, 1973 б, с. 443). Слово «молнией» в приведённом примере как раз и является таким орудным дополнением (впрочем, как было показано выше, Гамкрелидзе и Иванов причисляют индоевропейский эквивалент слова «молния» к активному классу, то же делает Климов по отношению к эквиваленту слова «сверкать» (о молнии), но Леман относит «метеорологические» конструкции к неволитивным, так что данный вопрос остаётся открытым).

Г. Хеттрих обращает внимание на тот факт, что, по мнению многих учёных, в индоевропейском языке в инструменталисе употреблялись поначалу только существительные, имеющие неодушевлённые денотаты, и только со временем инструменталис начал по принципу аналогии переходить на одушевлённые (Hettrich, 1990, S. 81–82). Это также вполне согласуется с высказанным нами предположением о невозможности конструкций типа *Его убило собакой* в индоевропейском и возможности конструкций типа *Его убило молнией*. Происхождение данной конструкции не следует привязывать именно к слову «молнией» – частному случаю, когда соответствующее существительное действительно могло принадлежать к классу активных. Можно привести множество других примеров, когда производитель действия явно не причислялся и не причисляется к активным и/или одушевлённым. Мы ввели в поиск по Интернету слово «убило» и нашли такие заголовки статей: *Трёх рабочих убило нефтяной вышкой; Спасателей убило перемычкой; Водителя ЗИЛа убило оторвавшимся прицепом; Женщину убило ящиком водки; 13-летнего мальчика убило бетонной плитой; Жителя Ленинградской области убило глыбой льда; Беназир Бхутто убило люком; В Новосибирске сосулькой убило пенсионера*. Как отмечалось выше, особую маркировку нестандартные (неодушевлённые) агенты получают и в эргативных языках, поэтому соответствующие флексии (суффиксы?) в древних индоевропейских языках типа хеттского часто получают название эргативных. Название «активные» было бы не менее верным.

Поскольку русский язык ближе к первоначальному строю, чем английский, переходность в нём развита слабее; ещё в большей мере это касается древнерусского (Букатеви́ч и др., 1974, с. 188). В «Исторической грамматике русского языка» становление транзитивности напрямую связывается с номинативизацией (Букатеви́ч и др., 1974, с. 210). Соответст-

вующие статистические данные для русского по сравнению с английским, итальянским и немецким мы приведём в главе «Безличные конструкции в языках мира: обзор». Здесь же только скажем, что в русском языке переходных глаголов меньше, чем в этих трёх языках. Помимо индоевропейского прошлого, можно также предположить «консервирующее» влияние на русский деноминативных языков, на которых говорят жители России, а также финно-угорских (с реликтами деноминативности), поскольку ни в тех, ни в других нет винительного падежа (Мещанинов, 1967, с. 51, 213; Климов, 1973 а, с. 24; Чикобава, 1950, с. 5; Мещанинов, 1947, с. 177; Дьяконов, 1967, с. 105), хотя «безаккузативные» переходные глаголы в эргативных языках есть (Мещанинов, 1967, с. 172; Чикобава, 1950, с. 5; Дешериев, 1951, с. 594–595). Если использовать терминологию Уленбека, то, как отмечалось выше, аккузатив развился из пассивного падежа, употреблявшегося в первоначальной дихотомии «активный / пассивный падеж», причём активный обозначал деятеля, а пассивный – объект действия (Уленбек, 1950 а, с. 101–102). Вопрос требует более подробного изучения, так как, например, Р. Диксон утверждает, что категория переходности является универсальной, и эргативные языки (в которые он включает и активные) не могут быть исключением (Dixon, 1994, p. 118; ср. Onishi, 2001 а, p. 1). Относительно тезиса Г.А. Климова, что наличие лабильных глаголов в эргативных языках есть свидетельство их активного строя на более ранних стадиях развития, Диксон замечает, что более подробное исследование эргативных языков Австралии зачастую не позволяло обнаружить таких глаголов. Следовательно, нельзя утверждать, что все эргативные языки были активными или что для эргативных языков характерны лабильные глаголы (Dixon, 1994, p. 185–186, 217–218). Этот якобы характерный признак языков без категории транзитивности (по Климову) представляется не таким распространённым в деноминативных языках.

Особенно отметим сохранение в русском языке эргативной / активной конструкции с глаголом «быть» для выражения посессивности: *У меня есть собака* вместо *Я имею собаку*. В германских языках значение «обладать» у глагола «быть» было утеряно в процессе аналитизации, в результате чего принадлежность начал выражать глагол «иметь» (более древнее значение – «держат в руке»); во французском и его предшественнике латинском первоначальное употребление сохранилось: лат. *Est mihi*, фр. *C'est à moi* – *У меня есть* (“Oxford English Dictionary”, 1989). Похожие примеры можно найти в раннем санскрите, кельтских и балтийских языках (Lehmann, 1995 b, p. 54), в готском (*Ni was im rūmis in stada þamma, þatei saúrǵa mis ist mikila*) и церковнославянском (*Ruměno lice jemu jestъ*) (Brugmann, 1904, S. 431).

По данным Б. Бауэр, конструкции принадлежности с глаголом «быть» встречались во всех древних индоевропейских языках. Она приводит примеры из хеттского, умбрского, оскского, древнегреческого, церковнославянского, санскрита, кельтских языков, латыни; без приведения приме-

ров упоминается наличие соответствующих конструкций в литовском, классическом армянском, тохарском и древнеперсидском языках (в данном случае – с генитивом вместо датива, но первый возник из второго) (Вауер, 2000, р. 171–190).

На основе посессивных конструкций возникли модальные типа лат. *Mihi est legendum* (Мне надо [= есть] читать) (Вауер, 2000, р. 152). О.В. Востриков напрямую указывает на индоевропейское происхождение конструкций принадлежности с глаголом «быть» (Востриков, 1990, с. 50; ср. Benveniste, 1974, S. 211, 220). А. фон Зеефранц-Монтаг отмечает, что замена конструкции «быть + датив / локатив / генитив» на «иметь + аккумулятив» в индоевропейских языках является относительно поздним явлением; конструкции с «быть» встречались или до сих пор встречаются в ирландском, древненемецком, индоиранском, в алтайских, финно-угорских, картвельских и многих других языках, то есть выходят далеко за пределы индоевропейской семьи (von See Franz-Montag, 1983, S. 77; ср. Вауер, 2000, р. 152). Целый ряд языков обнаруживает синонимию глаголов «быть» и «существовать»: например, в якутском выражение «У меня есть дом» передаётся дословно как *Мой дом существует* (Кассирер, 2001, с. 195). Заметим, что русский язык, обычно выражающий принадлежность локативно, иногда использует и дативные конструкции для выражения метафорической принадлежности: *По крайности, царю будет слуга; А то вот ещё какой мне был сон; Ему там будет занятие* (Мразек, 1990, с. 46). «Фаталистические» конструкции типа рус. *Мне некуда идти*, чешск. *Netám kam jít* Р. Мразек считает производными от дативных посессивных конструкций, приспособленных впоследствии для передачи модальных значений возможности / невозможности (Мразек, 1990, с. 51). Мразек, хотя и не пишет об эргативных и активных языках, всё же приходит к выводу о том, что посессивные конструкции типа рус. *У меня есть* и болг. *Лице му беше бледо* (то есть «быть» + датив)¹ не вписываются в рамки номинативного строя (Мразек, 1990, с. 30).

Сосуществование глаголов «быть» и «иметь» для выражения принадлежности в древнерусском описано в статье Е.Е. Рыбниковой и М.М. Кемеровой «Предикативные посессивные конструкции с глаголом *имети* в древнерусском языке» (Рыбникова, Кемерова, 2007). Как полагают Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, выражение принадлежности с глаголом *-es (*быть*) является одной из древнейших функций датива в индоевропейском, ср. хетт. *Tuqqa UL kuitki ešzi* (*У тебя ничего нет*), греч. *Estí soi khrusós* (*У тебя золото*), д.-ирл. *Ni-t-ta* (*У тебя нет*) (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, р. 250; ср. Schmidt-Brandt, 1998, S. 192). Эта характеристика свидетельствует, как они полагают, о его активном строе; в языках активного строя глагол «иметь» для выражения принадлежности не употребляется:

¹ Мразек приводит здесь устаревшую конструкцию с безартиклевой формой (*лице*), которая употреблялась в XIX в. Сейчас говорят *Лицето му беше бледо* (*Его лицо было бледным*).

нав. *N-tcij xqlq* (*У тебя есть дрова / Твои дрова есть*) (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 268–269; ср. Gamkrelidze, 1994, p. 27).

Поскольку принадлежность не является действием, субъект в посессивных конструкциях активных языков должен выражаться подобно объекту в номинативных языках, что мы и наблюдаем в конструкциях с глаголом «быть» (Bauer, 2000, p. 81). Г.А. Климов обращает внимание на тот факт, что в современных активных языках принадлежность неизменно выражается глаголами «быть», «находиться», «наличествовать», различными глаголами непроизвольного действия или состояния, что объясняется отсутствием в активных языках переходных глаголов, к которым принадлежит и «иметь» (Климов, 1977, с. 64–65, 101; ср. Lehmann, 2002, p. 30; Justus, 1999, p. 613, 616; Drinka, 1999, p. 469; Bauer, 1999, p. 592). По его мнению, *verba habendi* появляются только в языках номинативного строя, и то не во всех (Климов, 1983, с. 177; ср. Lehmann, 2002, p. 83).

Типична конструкция с глаголом «быть» и для эргативных языков: ав. *Дир чу буго* (*Моя лошадь есть*) и *Дих чу буго* (*Возле меня лошадь есть*): «я» стоит в локативе, то есть *У меня есть лошадь*; лак. *Тул чу бур* (*Моя лошадь есть*) (Мещанинов, 1940, с. 184–185; ср. Bomhard, Kerns, 1994, p. 164–165). Д.И. Эдельман сообщает, что в древнеиранском глагол «иметь» ещё не потерял первоначального значения «держат, схватывать», для выражения посессивности использовался глагол «быть»; автор приводит эти данные в контексте перехода от активного строя к номинативному (Эдельман, 2002, с. 115–116). Б. Дринка приводит несколько примеров из древних индоевропейских языков, где принадлежность выражается сочетанием глагола «быть» и субъекта в генитиве, производном от датива: ведийский санск. *Àhar devānām (GEN) āsīd rātrir āsurānām (GEN) – the day belongs to (= is of) the gods, the night to the Asuras*; греч. (времен Гомера) *τοῦ (GEN) ὑὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον – for to him belongs (= of him is) the greatest power*; лат. *Galliam potius esse Ariovisti (GEN) quam populi romani (GEN) – (he could not believe) that Gaul could belong to Ariovistus rather than to the Roman people* (Drinka, 1999, p. 472; ср. Lehmann, 2002, p. 83). Дринка считает, что глагол «иметь» слишком редко употребляется в языках мира, чтобы ассоциировать его с каким-то языковым строем. Однако, следующая универсалия из «Архива универсалий» университета Констанц явно связывает наличие глагола «иметь» с аналитическим строем: “IF there is no definite article, THEN there is no transitive verb of possession (*have*)” (“The Universals Archive”, 2007); артикли присущи аналитическому строю. В.Ю. Копров пишет по поводу происхождения конструкции с глаголом «иметь» следующее: «Особое положение глаголов "быть" и "иметь" в языках, их частотность, широкая сочетаемость и участие в конструкциях различного типа обуславливают их притягательность для лингвофилософских изысканий. Анализируя рассматриваемую проблему в широком плане, В.Г. Гак отмечает, что глаголы "быть" и "иметь" настолько употребитель-

ны в западноевропейских языках, что создается впечатление, будто язык без них обоих вообще обойтись не может. А между тем было время, когда в индоевропейских языках глагола "иметь" не было: до его появления для выражения обладания (принадлежности) использовали глагол "быть" с наименованием обладателя в косвенном падеже. Но есть и современные языки, где глагола "иметь" нет, а обладание выражается только глаголом "быть" (венгерский, семитские, многие африканские)» (Копров, 2002 а; ср. Короткова, 2008, с. 11; Bauer, 2000, p. 151).

Подобные мысли находим у Ю. Тойоты, видевшего в конструкции с глаголом «быть» наследие активного строя: «Принадлежность в индоевропейском передавалась перефразистически, номинальной фразой в дативе для обозначения обладателя + номинальной фразой в номинативе для обозначения обладаемого + **es-* (*быть*). Глагола "иметь" в индоевропейском не было, он возник, как полагают, значительно позже. [Уинфред – Е.З.] Леман, например, утверждает, что глагол "иметь" в различных потомках индоевропейского возник независимо от внешнего влияния после появления различных характеристик номинативного строя. Первоначально он, очевидно, имел значение "держат", ср. хетт. *hark-* "держат", лат. *arceo* "держат, удерживать", греч. *ékho* из индоевропейского **seǵ^h-* "держат"» (Toyota, 2004, p. 5).

Как и Тойота, К. Юстус обращает внимание на тот факт, что в различных индоевропейских языках глагол «иметь» не имеет общего происхождения, то есть зародился относительно поздно: хетт. *H₂ark-* > *ḫ ar(k)*, греч. **seǵ^h-* > *ékho*, лат. **ǵ^hab^(h)-* > *habēre*, гот. **kab^h-* > *haban* (Justus, 1999, p. 614–615; ср. Bauer, 1999, p. 605) (по данным Б. Бауэр, один из таких глаголов, **d^her*, до сих пор употребляется в осетинском и ягнобском в значении «держат» (Bauer, 2000, p. 177)). То же касается и глагола «обладать». Всего в индоевропейской семье 9 из 25 языков, данные по которым приведены в "World Atlas of Language Structures", выражают принадлежность локативно (как русский), 4 – генитивно, 12 – глаголом «иметь» ("World Atlas of Language Structures", 2005). Использование одной и той же формы для выражения существования и принадлежности является, согласно Д. Бикертону, одной из языковых универсалий, проявляющихся и при развитии креольских языков (то есть дети, являющиеся создателями нового языка при невозможности усвоить язык родителей, автоматически, согласно заложенной в их мозге программе, прибегают именно к этому способу выражения данных значений, что видно по неродственным креольским языкам мира): гав. к. я. *Get one wahine she get one daughter* – *Жила-была женщина, и была у неё дочь*; для выражения существования и принадлежности использован глагол *to get* ("Encyclopedia of Language and Linguistics", 2006, p. 8207). По данным энциклопедии "Language Typology and Language Universals", наиболее часто принадлежность выражается в языках мира локативно, что характерно и для выражения существования / наличия ("Lan-

guage Typology and Language Universals”, 2001, p. 943). Английский с двумя разными конструкциями (*There is* и *I have*) является исключением из этого правила.

Таким образом, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в данном случае речь идёт не о каких-то особенностях русского менталитета, отразившихся в конструкции *У меня есть* (некоторые видят в ней отсутствие интереса к частной собственности и накопительству), а о консервативности русского языка. Против этнологической трактовки глагола «иметь» говорит и следующее замечание М. Хаспельмата касательно широкого распространения данного глагола в европейских языках: комментируя примеры типа фр. *J'ai froid* (*Я имею холод*, то есть *Мне холодно*); исп. *Tengo hambre* (*Я имею голод*); нем. *Hab Mitleid mit uns* (*Имей сострадание к нам*); итал. *Ho bisogno di te* (*Я имею надобность в тебе*); англ. *I have a headache* (*Я имею головную боль*), он называет глагол «иметь» составной частью конструкции экспериенцера (Haspelmath, 2001, p. 64).

Э. Бенвенист сравнивает глагол «иметь» в современных индоевропейских языках с глаголами состояния в активных языках индейцев (типа *чувствовать голод, знать, забыть, быть счастливым*) (Benveniste, 1974, S. 221–223). Субъект при глаголе «иметь» является, по его мнению, носителем состояния, и именно поэтому «иметь» так часто используется для описания состояний: нем. *Hunger haben* (*иметь голод*), *Lust haben* (*иметь желание*). Переход от глагола «быть» к «иметь» обусловлен аналогией (но не более!) с глаголами действия, требующими номинативного субъекта. «Быть» также является глаголом состояния. Фраза «иметь больного сына», как полагает Бенвенист, не более агентивна, чем «иметь лихорадку», то есть ни агентивности, ни интереса к частной собственности в “to have” и его эквивалентах не отражается, речь идёт о переходе от дативного экспериенцера / обладателя / носителя состояния с глаголом «быть» к номинативному с глаголом «иметь». Б. Бауэр полагает, что глагол «иметь» в конструкциях типа *Я имею холод* является вспомогательным и не обладает собственным значением, его возникновение она связывает с развитием категории переходности (Bauer, 2000, p. 126). Поскольку «я» выполняет здесь роль экспериенцера (= рус. *мне*), а у «иметь» собственного значения нет, «Я имею холод» вполне можно перевести как *Мне – холод*.

Заметим также, что современный русский использует противопоставление конструкций *У меня есть* и *Я имею* для выражения различий между отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежностью (собственностью). Оно не может считаться унаследованным со времён активного строя индоевропейского языка, так как при активном строе глагола «иметь» нет, то есть в русском данное разграничение видов принадлежности, типичное для активных языков, было воссоздано с помощью новых языковых средств. Конструкция с глаголом «быть» используется для выражения неотчуждаемой принадлежности (*У него были серые глаза*), конструкция с глаголом «иметь» – для

выражения отчуждаемой принадлежности (*Тогда он имел обширное состояние, три дачи и три квартиры впридачу*). Разграничение это не очень чёткое, но всё же фразы типа *Он имел серые глаза* в русском языке не допускаются. С другой стороны, фразы типа *У него была машина* вполне допустимы, то есть ограничения касаются только относительно молодого глагола «иметь».

А.М. Лаврентьев в статье «Русский: аккумулятивный или активный?» (Lavrent'ev, 2004) указывает на некоторые особенности русского языка, не вписывающиеся в общую картину номинативного строя. Например, если в английском подлежащее обычно стоит в номинативе, а дополнение в аккумулятиве, то в русском та же маркировка наблюдается далеко не всегда. В частности, типичный номинативный строй можно проследить в выражениях с существительными на *-а* (*Я вижу машину*), но не у существительных с одушевлёнными денотатами и местоимений, у которых форма аккумулятива совпадает с формой генитива (*Я вижу Ивана / его*), а также не у существительных с неодушевлёнными денотатами, у которых форма аккумулятива совпадает с номинативом (*Я вижу стол*). Это напоминает оформление актантов во многих деноминативных языках. Дательный падеж, употребляемый в безличных конструкциях, должен, с его точки зрения, оформлять пассивность одушевлённых актантов, что особенно важно для активных языков.

По мнению А.М. Лаврентьева, при поисках следов активного строя в русском языке следует обратить особое внимание на так называемую категорию состояния, выделяемую некоторыми учёными в отдельную часть речи (другие названия – безлично-предикативные слова, предикативные наречия) (Lavrent'ev, 2004). Лаврентьев видит в категории состояния нечто напоминающее инактивные глаголы активных языков. К данной категории относятся неизменяемые слова, способные сочетаться со связкой и употребляться в функции главного члена безличного предложения или в роли сказуемого двусоставного предложения с подлежащим-инфинитивом (Бэнь, 2001). Слова категории состояния обозначают преимущественно состояние природы или среды: *Было холодно / туманно / темно / жарко / сыро / мокро / душно / ветрено / пустынно / тихо / солнечно / снежно*; физическое или психическое состояние человека: *Мне уютно / радостно / хорошо / весело / плохо / мутно / тошно / больно / зябко / горько / дурно / щекотно / горячо / сладостно / жутко / обидно / неудобно / стыдно / приятно / досадно* и оценку действий: *Можно / надо / надобно / нужно / нельзя / возможно / должно / необходимо пойти в кино*. Некоторые из таких слов можно употреблять и в личных конструкциях (*Папа сидел тихо* (наречие) vs. *В классе было тихо* (категория состояния)), другие – только в безличных: *можно, нельзя, боязно, совестно, стыдно, пора, жаль* и т.п. А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов обращают внимание на тот факт, что русские слова данного типа встречаются обычно в безличных конструкциях, в немецком – изредка в безличных, но обычно в личных (ср. *Mir ist angst und*

bange (Мне страшно) – *Ich habe Angst* (дословно: Я имею страх)), а в английском подобные предикативы вовсе исчезли, что говорит о его большей номинативности (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 156).

Дативные субъекты для выражения состояния (*Мне жарко*) употребляются в индоевропейских языках ещё со времён общего праязыка (Hettrich, 1990, S. 75). Р. Шмидт-Брандт пишет, что датив употреблялся в индоевропейском для выражения субъектов при прилагательных ощущений и чувств (Schmidt-Brandt, 1998, S. 192), причём следует учитывать, что в немецкой терминологии прилагательными часто называют то, что русские учёные относят к наречиям. В книге В.И. Борковского «Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения» можно найти соответствующие примеры из древнерусского и родственных ему языков (в терминологии автора книги слова категории состояния называются наречиями-сказуемыми) (Борковский, 1968, с. 179–191).

Таким образом, нам представляется возможным, что часть слов, относимых к категории состояния, употребляется в безличных конструкциях ещё со времён индоевропейского, где субъекты при описании состояний оформлялись неагентивно. Наиболее вероятными кандидатами являются слова, описывающие состояния природы и человека, а также оценку действий (примеры с ними даны первыми). Или же употребляемые в категории состояния слова возникли по аналогии с более древними, уже исчезнувшими (это представляется нам более вероятным, так как самые важные слова категории состояния – *можно, надо, надобно, нужно* – явно не имеют общих индоевропейских корней с другими языками, то есть они возникли уже в русском). Примечательно, однако, что слова категории состояния заканчиваются на *-o* – типичный способ производства наречий в древнерусском по аналогии с прилагательными им. п. / вин. п. ср. р. (Букатеви́ч и др., 1974, с. 228). То же *-o* встречается и у существительных среднего рода (*просо*), и у глаголов (*дождило*), и у местоимений (*оно, это*). По случайному совпадению или нет, предполагаемое окончание 3 л. ед. ч. у предикатов состояния (стативных глаголов) в индоевропейском тоже было *-o*: **h₁éh₁s-o(-i)* – «сидит» (Oettinger, 1993, S. 347, 359; Kortlandt, 1983, p. 312; Kortlandt, 2001). Можно предположить, что первоначально *-o* было универсальным маркером инактивности, пассивности, неодушевлённости, перешедшим в древнерусском от существительных к прилагательным и затем к наречиям, оформившимся затем в отдельную категорию состояния. Специалист по индоевропеистике Ф. Кортландт, к которому мы обратились за дальнейшими разъяснениями, считает, однако, что *-o* в рус. *надо* и т.д. не имеет никакого отношения к и.-е. *-o* в медиальных (бывших стативных) глаголах: “The *-o* of Russian *Xto, nado, selo*, etc. is simply the original pronominal neuter ending *-o* < **-od*, cf. Latin *quod*, OHG *hwaz*. It has nothing to do with the IE middle ending *-o*, which developed from the Indo-Uralic reflexive **u/w*” (получено по элек-

тронной почте в феврале 2008 г.). Таким образом, по его мнению, речь здесь идёт о случайном совпадении.

А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов отмечают, что в русском языке вероятность употребления безличной конструкции особенно велика, если речь идёт о глаголе состояния в сочетании с экспериенцером или бенефициантом (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 155; ср. Bauer, 2000, p. 131) (не путать с категорией состояния, к которой глаголы не относятся). К глаголам состояния (англ. *stative verbs*, нем. *Zustandsverben*) обычно относят «пахнуть», «жить», «нуждаться», «оставаться», «лежать», «стоять», «любить», «ненавидеть», «хотеть», «слышать», «видеть» и т.п. Предположение Зеленецкого и Монахова вполне вписывается в приведённую выше схему употребления имперсонала в языках мира: если агентивность / волитивность субъекта низка или если действие, выраженное сказуемым, направлено на него, субъект оформляется нестандартным падежом подлежащего. Например, когда человек что-то слышит, когда ему что-то кажется или видится, его агентивность и волитивность практически равны нулю, потому употребление имперсонала вполне закономерно. Примерно в том же духе высказывается М. Гиро-Вебер, обращая внимание на тот факт, что русские безличные конструкции обычно описывают неконтролируемые события, то есть события, в которых субъект не проявляет волитивности и потому оформляется особым падежом: «Представляется, что определение интересующих нас конструкций [безличных – Е.З.] в современном русском языке должно основываться на признаке "неконтролируемость", который объединяет синтаксические структуры, выражающие разные степени отчуждения субъекта от действия-состояния. Интересно, что показателями этого отчуждения являются именно косвенные падежи, не способные обозначать активного производителя действия, организующего мир вокруг своего ego» (Гиро-Вебер, 2001, с. 77). Таким образом, многие глаголы состояния могут происходить из индоевропейских неволитивных глаголов, изначально оформлявшихся неагентивно, или возникли по аналогии с ними.

Ю.С. Степанов отмечает у некоторых русских безличных конструкций те же характеристики, что и предыдущие авторы (форму 3 л. ед. ч., исконную бессубъектность, происхождение из категории состояния): «Отсутствие объекта при древнейшем типе перфектных [перфект здесь – это вид, а не время – Е.З.] предикатов было давно подмечено, между тем как их бессубъектность оставалась вне внимания исследователей, возможно, потому, что вообще отношения предикатов к субъектам мало исследовались. Исконная бессубъектность вытекает из типов тех синтаксических конструкций, которые засвидетельствованы при перфектных предикативах в разных языках. Всюду при них отмечают либо безличные предложения (типа рус. *На дворе студит, студёно, холодно*), либо конструкции с присоединённым аккузативом или дативом (типа рус. *Мне больно, Мне ногу больно, Ногу больно...*). Таким образом, индоевропейский перфект, вопреки

его названию, которое наводит на мысль о грамматической категории, первоначально был, скорее, не парадигмой, а специфической группой предикативных лексем, выразивших состояние (ср. "перфект первоначально был не словообразовательной категорией внутри системы глагола, а составлял особый лексико-грамматический класс слов, служивших для выражения физических и психических состояний" [И.А. Перельмутер]). [...] Морфологический облик перфекта, напротив, реконструируется достаточно определённо: первоначально перфект связан с формой 3-го "лица", то есть структурно безличной формой, не знавшей парадигматических противопоставлений по лицам» (Степанов, 1989, с. 27).

Ф. Кортландт считает «наследниками» стативных глаголов индоевропейского языка непереходные славянские глаголы на *-еть*: “On the other hand, the intransitive Slavic verbs in *-ěti* clearly correspond to an original perfect, which can now be identified with the Hittite *hi*-verbs in **-(o)i-*. It follows that the latter formation must be reconstructed for the Indo-European proto-language. It is reflected in Skt. *kupya-* (be angry), *tuṣya-* (be content), *tṛṣya-* (be thirsty), *dṛhya-* (be firm), *búdhya-* (be awake), *mánya-* (think), *yúdhya-* (fight), *lúbhya-* (be confused), *hr̥ṣya-* (be exited), Gr. *mainomai* (be furious), *phainomai* (appear), *khairō* (rejoice), Latin *cupiō* (desire), *fugiō* (flee), *patior* (suffer), Old Irish *do-moinethar* (think)” (Kortlandt, 2007). Выше мы уже отмечали, что *hi*-спряжение хеттского языка, о котором говорит Кортландт, было продолжением стативного. Автор подчёркивает, что в случае упомянутых славянских глаголов речь идёт именно о стативных глаголах, причём первоначально с ними употреблялись не номинативные, а дативные субъекты: “...unlike aorists and thematic presents, Indo-European perfects and thematic presents originally had a dative subject, as in German *mir träumt* "me dreams" for *ich träume* "I dream", e.g. Greek *oīda* "I know" < "it is known to me", *édomai* "I will eat" < "it is eatable to me". [...] The Slavic stative verbs in *-ěti* such as Czech *klečēt* "to kneel", *vidět* "to see", *držēt* "to hold" correspond to the Greek perfect, denoting an event where the non-agentive subject has no effect on an outside object. [...] Turning now to the Hittite material, we may wonder if the *hi*-verbs can semantically be derived from Indo-European perfects along the lines indicated by [Herman – E.3.] Kølln for the Slavic stative verbs in *-ěti* such as Czech *klečēt*, *pučet*, *pištět*, *bolet*, *šumět*, *letět*, *běžēt*, *hořēt*, *křičēt*, *vidět*, *držēt*, *vrtět*. An important point which must be taken into account is the syntactic change from dative subject to nominative subject...” (Kortlandt, 2007; ср. Kortlandt, 1983, p. 321; Kortlandt, 2001). В плане деноминативности автор усматривает признаки родства индоевропейского с уральскими языками (Kortlandt, 1983, p. 322). Примечательно также, что Кортландт восстанавливает флексию стативных глаголов *-о* (3 л. ед. ч.) не только для индоевропейского, но даже для гипотетического индоуральского (Kortlandt, 2001). Как обычно, подразумевается, что стативные глаголы были непереходными.

Й. Барддал в статье «Происхождение конструкции с косвенным субъектом: индоевропейские языки в сравнении» приводит доводы в пользу того, что дативные, генитивные и аккузативные конструкции типа исл. *Mér (DAT) er illt (Мне нехорошо)*; нем. *Mir (DAT) ist übel (Мне нехорошо)*; исл. *Mér (DAT) líkar þessi tilgáta (Мне нравится эта гипотеза)*; рус. *Мне (DAT) жаль Ваши сестры*; лат. *Fratris me (ACC) pudet (Мне стыдно за брата)*; лит. *Mán (DAT) nęzti (У меня чешется)*, встречающиеся во всех древних индоевропейских языках, являются наследием активного строя (Barðdal, Eythórsson, 2008). Она полагает, что в германских языках дативные, генитивные и аккузативные субъекты в большинстве своём не могут быть производными от объектов, а были субъектами со времён индоевропейского. Барддал отвергает предположение М. Хаспельмата, что дативные экспериментеры получили свойства субъектов из-за частой топикализации и одушевлённости (только одушевлённые существа могут что-то переживать, а типичные субъекты также одушевлены). Барддал считает объяснение Хаспельмата неверным, поскольку оно подразумевает наличие в предложении номинативного субъекта (если топикализируется объект, то где-то дальше должен стоять настоящий субъект в типичном падеже субъекта), отсутствующего в некоторых рассматриваемых конструкциях древних и современных языков (ср. *Мне жарко; Мне больно*). С помощью различных синтаксических тестов автор демонстрирует, что в дативных и аккузативных конструкциях никаких «скрытых» или «нулевых» субъектов нет. Объяснение, что дативные субъекты могли возникнуть из «свободных дативов» типа нем. *Das is mir eine grosse Freude (Это для меня [дословно: мне] большая радость)*, она считает недостаточным, поскольку оно может охватить лишь небольшую часть дативных конструкций и вообще не охватывает аккузативные. Обычно предикаты (глаголы или другие части речи), требующие неканонических субъектов, обладают низкой переходностью, что характерно и для инактивных предикатов в активных языках. Заметим также, что при перечислении типичных характеристик активных языков (отсутствие глагола «иметь» и пассива, деление лексики по принципу активности / инактивности и т.д.) она отрицает их обязательность для активного строя, то есть язык будет не менее «типичным» активным языком, если в нём будут присутствовать пассив и глагол «иметь», но при этом сохранятся определяющие черты активного строя (оформление субъектов и объектов по принципу активности / инактивности). Поэтому нет смысла искать в индоевропейском всех особенностей, приписываемых современным активным языкам. Наиболее важным признаком активного строя в современных индоевропейских языках она считает как раз аккузативные, генитивные и дативные субъекты греческого, латыни, хеттского, готского, протогерманского, славянских и балтийских языков. Обычно конструкции с подобными субъектами непродуктивны, то есть сохранились со времён индоевропейского и сейчас вымирают. Так, в древнеисландском на 20 000 слов тек-

стов четырёх жанров приходилось в среднем по 72 типа (в противовес метам) дативных, генитивных и аккузативных конструкций, в современном исландском – по 48.

Если исходить из частичной деноминативности современного русского языка, следует заново поставить вопрос о статусе дативных и аккузативных дополнений в конструкциях, называемых безличными. Поскольку в активных языках дополнения при неволитивных глаголах обычно причисляют к подлежащим, можно было бы аргументировать, что и в русском именительный падеж не является единственным падежом подлежащего.

Насколько нам известно, впервые подобные мысли были высказаны ещё в XIX в. В.И. Классовским (Бирюлин, 1994, с. 57). Полагая, что формальные критерии не могут служить достаточным основанием для определения синтаксических ролей, он расценивал дополнения в дательном падеже в качестве подлежащего (его примеры: *Быть тебе биту; Ему стыдно*).

С.Д. Кацнельсон полагал, что подлежащее не обязательно должно оформляться именительным падежом; более адекватным ему представлялся подход со стороны валентных свойств глагола: например, единственный аргумент одноместного предиката безличного предложения и есть его подлежащее (Климов, 1977, с. 116–117).

Г.А. Золотова, исходя из тезиса о принципиальной двусоставности предложения, полагает, что за некоторыми формами косвенных падежей следует признать роль подлежащего (Золотова, 1998, с. 320).

Нельзя не признать подлежащей сущности членов предложения в дативе (*Мне кажется*), если исходить из (частичной) эргативности современного русского языка, так как в эргативных языках падежное оформление подлежащего зависит от семантического наполнения субъекта и его грамматических функций (ср. Мещанинов, 1984, с. 34; Мещанинов, 1967, с. 22–23, 48; Мещанинов, 1947, с. 176): подлежащее с ролью агенса оформляется эргативом, подлежащее с ролью экспериенцера – дативом и т.д., выше приводились и некоторые альтернативные варианты.

Если мы сочтём возможным называть подлежащим член предложения в неканонических падежах субъекта, то сам вопрос о широкой сфере безличности в русском языке перестанет существовать, поскольку практически все безличные конструкции обретут подлежащее в дательном или винительном падеже. То же относится и к прочим индоевропейским языкам, сохранившим остатки деноминативности. Следует, однако, отметить, что в этом вопросе остаётся много неясного из-за путаницы в терминологии (субъект / квазисубъект / подлежащее / реальный субъект / семантический субъект / психологический субъект / логический субъект и т.д.). Кроме того, как говорилось выше, не совсем ясен и статус неволитивных конструкций в активных языках. Э. Сэпир, в частности, считал их безличными.

Как было указано выше, индоевропейский язык чётко разграничивал существительные активного и инактивного классов. Одно из различий со-

стояло в том, что существительные второго класса в позиции объекта действия не имели специального окончания, а существительные первого класса, обычно выступавшие деятелем, получали специальное окончание, маркировавшее их инактивность в данном случае. Было бы логично предположить, что в языке с остатками активного строя подобное разграничение будет более или менее последовательно проводиться на флексионном уровне при условии наличия развитой флексионной системы. Действительно, в русском языке (как и в польском, чешском) существует так называемая категория одушевлённости, которая позволяет формально различать одушевлённые (активные) и неодушевлённые (инактивные) объекты действия: *Я мою стол* (объект пассивен, неодушевлён, не получает специальной флексии, так как ясно, что он – объект) vs. *Я мою младенца* (объект действия одушевлён, а потому обычно активен, но в данном случае пассивен; отклонение от нормы обозначается специальной флексией *-а*). Мы не ставим себе целью дать здесь подробное описание данной категории, поэтому рассмотрим лишь основные её характеристики (ср. Швачко и др., 1977, с. 93).

Одушевлённые и неодушевлённые существительные отличаются друг от друга формой винительного падежа множественного числа: у одушевлённых существительных эта форма совпадает с формой родительного падежа, у неодушевлённых – с формой именительного: *нет друзей – вижу друзей* (но: *нет столов – вижу столы*), *нет братьев – вижу братьев* (но: *нет огней – вижу огни*), *нет лошадей – вижу лошадей* (но: *нет теней – вижу тени*), *нет детей – вижу детей* (но: *нет морей – вижу моря*). У имён существительных мужского рода, кроме существительных на *-а* и *-я*, это различие сохраняется и в единственном числе: *нет друга – вижу друга* (но: *нет дома – вижу дом*).

История категории одушевлённости описывается в исторических грамматиках русского языка (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 208–211; Букатевич и др., 1974, с. 148–150). Её становление обусловлено совпадением субъектных и объектных форм из-за разрушительных фонетических процессов ещё в общеславянские времена (их последствия сохранились в выражениях типа *выйти замуж*, где «муж» – дополнение в винительном падеже, формально совпавшем с именительным; ср. также *выйти в люди / гости, призвать в солдаты* (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 211)). «Исправление» падежной формы существительных с одушевлёнными денотатами шло по схеме *купить волю > купить вола* (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 208–209; Винокур, 1959, с. 15).

Современная категория одушевлённости является наследницей более древней, которая распалась из-за «проглатывания» окончаний. Сегодня к одушевлённым существительным относятся названия людей, животных, насекомых и прочих живых существ (то есть существительные преимущественно мужского и женского рода), к неодушевлённым – названия предметов, абстракций, явлений действительности (зачастую – существитель-

ные среднего рода). К неодушевлённым принадлежат и собирательные существительные, то есть названия групп людей и животных (*народ, стадо* и т.п.); та же картина наблюдается и в активных языках. Существует, однако, столько исключений, что вполне можно ожидать реорганизации или выхода из строя данной грамматической категории (например, *Я вижу машину, корзину* – неодушевлённые существительные оформляются подобно одушевлённым).

Грамматические категории, в большей или меньшей степени напоминающие категорию одушевлённости, присутствуют и в некоторых других индоевропейских языках, включая языки Западной Европы. Например, в немецком языке есть особый тип склонения (слабое), к которому относятся главным образом одушевлённые имена существительные (Нещеретова, 2006, с. 18). В польском форма одушевлённых существительных мужского рода единственного числа в винительном падеже соответствует форме родительного падежа, а у неодушевлённых – форме именительного; у неодушевлённых существительных мужского и среднего рода винительный падеж формально совпадает с именительным; во множественном числе существительные мужского рода, относящиеся к людям, в винительном падеже оформляются так же, как в родительном, а все остальные существительные – так же, как в именительном; у женского рода различий по оформлению в зависимости от одушевлённости нет (Wierzbicka, 1981, p. 53).

Как и в других индоевропейских языках, в древнерусском наблюдался синкретизм форм существительных среднего рода в именительном и винительном падеже (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 184). Данная особенность русского языка соответствует также следующей универсалии из «Архива универсалий» университета Констанца, относящейся ко всем языкам мира: “If in a language there is a special distinction of animate and inanimate (personal and non-personal) nouns connected with a regular syncretism in the expression of these categories, then it is always the expression of the inanimate (non-personal) that is connected with the syncretism of forms” (“The Universals Archive”, 2007); ср. “If inanimate nominals have the opposition of the syntactic form of the nominative and the syntactic form of the accusative, then animate nominals also have this opposition” (“The Universals Archive”, 2007). Это совпадение форм отчасти сохранилось в русском поныне (“Languages and their Status”, 1987, p. 102): *Я вижу болото / дверь / платье / заблуждение / облако / автобусы / заводы*. Обусловлено оно ненужностью особой маркировки активности у существительных с неодушевлёнными денотатами, так как они в принципе не могли выступать в роли субъекта-агенса, если исходить из активного строя индоевропейского)¹. Вот что пишет по поводу

¹ Хотя Р. Диксон отрицает деноминативность индоевропейского, его объяснение синкретизма форм номинатива и аккузатива выглядит примерно так же: у дополнений среднего рода нет специальных окончаний, так как и так ясно, что они являются дополнениями, а не производителями действия, т.е. подлежащими (Dixon, 1979, p. 88; Dixon, 1994, p. 3; ср. Wierzbicka, 1981, p. 51).

совпадения аккузативных и номинативных форм в русском типолог Б. Комри: «Только в редких случаях приходится описывать ситуации, когда неодушевлённый предмет осуществляет какое-то действие (физическое или чаще абстрактное) над другим предметом (одушевлённым или неодушевлённым). [...] Обычно в русском языке существительные с неодушевлёнными денотатами не встречаются в позиции подлежащего при переходном глаголе, а с непереходными глаголами, то есть глаголами без объектов, смешения субъекта и объекта быть не может, так как не может быть самого объекта, потому различие форм номинатива и аккузатива иррелевантно» (цит. по: “Languages and their Status”, 1987, p. 107).

Хотя стремление использовать в субъектной позиции при переходном глаголе одушевлённый агент типично для всех языков, к русскому высказывание Комри относится в большей мере, чем к английскому, так как в русском языке реже, чем в английском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначение производителя действия, ср. *The crash killed 20 people* (подлежащее-агент заменено здесь обстоятельством причины, что типичнее для английского) > *В результате аварии погибло 20 человек* (Комиссаров, 2000, с. 171). В этом отношении русский остался ближе к активному строю, чем английский, так как в активных языках субъектами при глаголах действия являются одушевлённые агенты.

Как известно, в русском сохранилась категория рода, являющаяся трансформированной категорией классов существительных (активных и инактивных) в раннем индоевропейском языке. Вполне может быть, что О. Есперсен не без оснований сравнивал деление на классы в некоторых африканских языках с делением существительных по родам в индоевропейских (Jespersen, 1894, p. 73), так как индоевропейский ещё до активной стадии мог принадлежать к языкам классового строя, о чём уже говорилось выше. Со временем деление на множество классов могло смениться делением на два класса: одушевлённое и неодушевлённое или активное и инактивное. Деление существительных по родам присутствовало во всех древних индоевропейских языках (Brugmann, 1897, p. 2–3); в современных языках К. Бругман называет его «абсолютно излишним», обращая внимание на потерявшуюся логику родовых классов (Brugmann, 1897, p. 6). Как мы покажем ниже, излишне оно в немецком, но не в русском, где мотивированность категории рода в значительной мере сохранилась. В английском категория рода распалась в процессе аналитизации к концу XIV в., в этом отношении он отошёл от первоначальной парадигмы дальше, чем все родственные ему языки (McWhorter, 2004, p. 29). Как и в большинстве других славянских языков, а также в санскрите, греческом, немецком и латыни, в русском насчитывается три рода (мужской, женский, средний). Мужской и женский являются остатками категории одушевлённых / активных существительных (ср. Нещеретова, 2006, с. 10). В некоторых других индоевропейских языках средний род исчез (романские и кельтские) или вместо мужского и женско-

го рода используется общий (некоторые германские). В большей или меньшей степени категория рода – одна из «наименее логичных и наиболее непредвиденных категорий», по А. Мейе – сохранилась почти во всех индоевропейских языках (Нещеретова, 2006, с. 3). Ещё в XIX в. была подмечена несклонность индоевропейских языков разграничивать формы единственного и множественного числа у существительных среднего рода (Jespersen, 1894, p. 74), что вполне согласуется с одной из особенностей активного строя: “In languages with a distinction between active (animate) vs. passive (inanimate) nouns, passive nouns don’t distinguish numbers (SG/PL)” (“The Universals Archive”, 2007; ср. Lehmann, 2002, p. 184).

Вполне вероятно, что развитость и прозрачность категории рода напрямую соотносится с наличием других признаков, унаследованных от денотативного строя, так как он подразумевает деление всех существительных на одушевлённые / активные и неодушевлённые / пассивные. В номинативном строе такое подразделение больше не требуется, поэтому категория рода теряет свою мотивацию и исчезает. Поскольку в русском деление на мужской, женский и средний род ещё в значительной мере совпадает с делением на одушевлённое и неодушевлённое, это способствует сохранению реликтов активного строя.

Большую мотивированность и сохранность категории рода в русском по сравнению с другими индоевропейскими языками мы продемонстрируем на примере немецкого. Как отмечает Т.Т. Нещеретова, проводившая статистические исследования по этой теме, в группу одушевлённых существительных в русском языке входят, в основном, имена существительные мужского и женского рода, и лишь немногие среднего рода (*дитя, животное, существо, божество, ничтожество, млекопитающее, пресмыкающееся, земноводное*), а в современном немецком языке, наряду со словами мужского и женского рода, в группу одушевлённых входит значительное количество существительных среднего рода, обозначающих как лица, так и животных: *Kind* (ребёнок), *Weib* (женщина, баба), *Weibsbild* (баба, тётка); *Ferkel* (поросёнок), *Kalb* (телёнок), *Pferd* (лошадь), *Lamm* (ягнёнок), *Schaf* (овца), *Tier* (животное), *Vieh* (скот), *Rind* (крупный рогатый скот), *Wesen* (существо), *Geschöpf* (создание), *Elefantenweibchen* (слониха) и многие другие (Нещеретова, 2006, с. 16, 22). Т.Т. Нещеретова подразделяет немецкие существительные среднего рода с одушевлёнными денотатами на следующие категории: обозначения людей и животных в раннем возрасте, обобщающие названия лиц и животных, имена существительные, образованные при помощи суффиксов среднего рода (часто уменьшительно-ласкательных, но потерявших первоначальную мотивацию) и т.д. Т.Т. Нещеретова, как и многие другие учёные, исходит из первоначальной мотивированности рода, причём не только в русском, но и в языках вообще

(Нещеретова, 2006, с. 14)¹. От себя добавим, что искать стоит не столько мотивированность рода, сколько мотивированность принадлежности существительных мужского и женского рода к более общему классу всего одушевлённого и активного.

Бóльшая мотивированность рода в русском по сравнению с немецким коррелирует с его большей морфологической выраженностью: русский язык располагает более обширной базой суффиксов, образующих слова того или иного рода (Нещеретова, 2006, с. 7). Анализ категории рода в русском, немецком и других индоевропейских языках позволяет Нещеретовой сделать вывод о том, что «категория рода – классифицирующая грамматическая категория, восходящая к двучленной именной классификации, развитие которой, приведшее к формированию трёхчленной родовой классификации, связано со становлением категории лица и с развитием категории склонения» (Нещеретова, 2006, с. 13; ср. Иванов, 1983, с. 263). Это вполне соответствует предложенной здесь теории о первоначальном делении существительных на одушевлённые и неодушевлённые с последующим распадом на три рода. Возможно, следует ещё раз подчеркнуть, что речь идёт о теории, поскольку и Нещеретова замечает, что «вопросы происхождения и сущности рода, сформулированные более двух тысячелетий тому назад и вовлекавшие в дискуссию многие поколения лингвистов, до сих пор остаются большей частью открытыми» (Нещеретова, 2006, с. 9). Так, теория о первоначальном семантическом делении существительных по родам, предложенная, среди прочих учёных, А. Мейе, критиковалась известным индоевропеистом К. Бругманом (ср. Нещеретова, 2006, с. 10–11).

Бругман полагал, что род одушевлённых имён существительных никак не связан с полом (что само по себе верно: род первоначально был связан не с полом, а с одушевлённостью и/или активностью). Исходным моментом в возникновении категории рода явилось, по его мнению, чисто внешнее морфологическое сходство имён, обозначающих существа женского рода, и других отпричастных образований, называвших неодушевлённые предметы. К. Бругман отвергает теорию Я. Гримма о персонификации и анимизации всего окружающего мира древними людьми как жившую себя: во-первых, нет никаких свидетельств, что носители древних индоевропейских языков видели в неодушевлённых предметах женского и мужского рода какие-то характеристики женского и мужского пола, что носители современных индоевропейских языков видят такие характеристики сейчас (например, в рус. *рука* – что-то женское); во-вторых, современные «примитивные» народы обычно не анимизируют окружающий мир в такой мере, чтоб видеть в каждом предмете существо какого-то пола; в-

¹ Ср. “When gender is assigned according to morphological properties of nouns (such as declension class, or other inflectional or derivational categories) or to phonological properties of nouns, this is always secondary, being limited to residues of semantic assignment or being overruled by semantic assignment rules” (“The Universals Archive”, 2007).

третьих, персонификации в индоевропейском культурном пространстве вторичны и производятся уже на основе существующего деления по родам, то есть боги становятся мужчинами или женщинами по роду существительного, а не существительные становятся мужского или женского рода в зависимости от пола богов (Brugmann, 1897, p. 9–13, 17). С отказом от персонификации и анимизации можно согласиться, так как если бы древние индоевропейцы анимизировали всё вокруг, класс неодушевлённых существительных был бы излишним. Бругман считает, что слова женского рода изначально обозначали собирательные и абстрактные понятия, а его перенесение на женщин произошло по той же схеме, по какой в европейских языках слово «красота» перенимает значение «красавица», «молодость» – значение «юноша» и т.п. (Brugmann, 1897, p. 25–27; ср. Jespersen, 1894, p. 74). Кроме того, слова могли причисляться к женскому роду по аналогии с наиболее распространёнными существительными на *-a* (в первую очередь, по аналогии со словами «мама» и «женщина», имевшими в древних индоевропейских языках окончание *-a*) (ср. Jespersen, 1894, p. 72–73). Бругман не увидел, что за разграничением родов могло скрываться более общее разграничение классов одушевлённого и неодушевлённого. Если рассмотреть пример русского слова «рука», который он приводит, можно убедиться, что хотя в самом понятии «рука» нет ничего женского (связанного с женским полом), но, как уже отмечалось, внешние органы человека рассматривались индоевропейцами в качестве одушевлённых / активных, поэтому их обозначения принадлежали к классу одушевлённых / активных существей (из которого и развился женский род). По каким принципам происходил распад данного класса – это уже иной вопрос, которого мы не будем касаться в данной работе. Г. Стронг полагал, что деление родов первоначально происходило по биологическому полу денотатов, а затем – по принципу аналогии (Strong, 1891, p. 240; ср. Lehmann, 2002, p. 67). Дж. Гринберг считал, что слова, выделившиеся в женский род, первоначально были уменьшительными формами с древним суффиксом, имевшим в доиндоевропейский период форму *-k-* (Greenberg, 2000, p. 164–166). Причина распада категории классов на три рода связана со становлением разграничения «номинатив vs. аккузатив», если исходить из следующей универсалии университета Констанц («Архив универсалий»): “The presence of the category of gender is connected with the development of the morphological opposition of nominative/accusative. In those systems where the special form of accusative is attested, the category of gender exists” (“The Universals Archive”, 2007). Судя по двум следующим универсалиям, исчезновение рода связано также с распадом системы флексий и упрощением морфологической системы: “Grammatical gender occurs only in flexive languages”; “Languages that have a complex morphological structure are more likely to show systems of noun classes” (“The Universals Archive”, 2007).

В русском языке порядок слов SOV встречается чаще, чем в английском и многих других анализированных индоевропейских языках (благодаря более свободному порядку слов), но нельзя забывать о том, что данная фреквенталия активных языков была поставлена под вопрос американским типологом Дж. Николс (см. выше). Тем не менее, если частотность SOV не свидетельствует о близости к активному строю, она всё же свидетельствует о близости к индоевропейскому языку. В русском сериализация SOV характерна для предложений с местоимениями. Так, в корпусе А. Тимберлейка (художественная литература) 30 % высказываний, содержащих местоимение «меня», имели порядок слов SOV, 46 % – SVO (Timberlake, 2004, p. 451–452). Хотя существует множество более или менее универсальных языковых характеристик порядка слов SVO или SOV, среди которых можно было бы усмотреть и типичные различия между русским и анализированными индоевропейскими языками, речь обычно идёт о столь общих и труднообъяснимых явлениях, что точно установить корреляцию с типом сериализации невозможно. Ниже приведены некоторые из них.

1. В «Архиве универсалий» университета Констанц можно найти следующие два утверждения: “IF basic order is VO, THEN syllable structure is complex (permitting initial and final consonant clusters)” и “IF basic order is OV, THEN syllable structure is simple (tending towards CV)” (“The Universals Archive”, 2007), то есть языки с порядком слов «глагол > объект» склонны к закрытым слогам, а языки с порядком слов «объект > глагол» – к открытым. В русском языке слова с открытыми слогами действительно встречаются значительно чаще, чем в английском и других западных языках индоевропейского происхождения (Зеленецкий, 2004, с. 64), но на это обстоятельство могло повлиять такое необозримое количество других факторов, не имеющих отношения к порядку слов, что искать здесь фреквенталию первичной индоевропейской сериализации было бы недопустимым упрощением, тем более что для индоевропейского, как и для ностратического, восстанавливаются два основных типа слогов: «согласный – гласный» и «согласный – гласный – согласный» (Bomhard, Kerns, 1994, p. 58, 123), то есть структура слога не отразила однозначно SOV.

2. Поскольку для порядка слов SOV характерны постпозиции (ср. “With overwhelmingly greater than chance frequency, languages with normal SOV order are postpositional” (“The Universals Archive”, 2007; ср. Bomhard, Kerns, 1994, p. 161)), можно было бы предположить, что они встречаются в русском чаще, чем в английском, что также теоретически могло бы свидетельствовать о близости русского языка индоевропейскому. Действительно, в английском постпозиций всего три (*ago, away, hence*), в русском же значительно больше, хотя все или почти все они используются и в качестве обычных препозиций (*ради, вопреки, навстречу, наперекор, погода, спустя, включая, исключая, начиная, вслед, наперерез: несколько часов спустя, собственным интересам вопреки*) (Крылов, Муравенко, 2007, с. 279; Галактио-

нова, 2007, с. 273). В разряд послелогов переходят также некоторые русские наречия в форме сравнительной степени: *часом раньше, годом позже, этажом ниже*. Относительное множество послелогов, однако, едва ли имеет прямое отношение к индоевропейскому, так как «первообразных послелогов в русском языке нет, все послелоги производные» (Крылов, Муравенко, 2007, с. 279). В индоевропейском постпозиции использовались активно, что У. Леман связывает с SOV (Lehmann, 2002, p. 45).

3. 1142-я универсалия «Архива универсалий» гласит: “If there is a passive, THEN basic word order will be SVO rather than (S)OV” (“The Universals Archive”, 2007). В русском пассив действительно развит несоизмеримо меньше, чем в английском (см. главу «Пассив в английском как функциональное соответствие русским безличным конструкциям»).

4. Для языков с сериализацией SOV характерно активное применение глагольных префиксов, а не суффиксов (Bomhard, Kerns, 1994, p. 162). Данных по английским глагольным префиксам у нас нет, но едва ли их наберётся больше 11–12 (причём продуктивность некоторых вызывает сомнения): *re-build, un-lock, over-whelm, be-moan, dis-connect, out-reach, mis-guide, en-slave* (+ *em-power*), *counter-act, de-emphasise, under-achieve*. В русском таких приставок 23, то есть и по этому параметру русский ближе сериализации «субъект > объект > глагол». Выше мы показали, что в немецком префиксов меньше, чем в русском. Этому способствовала сохранность синтетического строя в русском. В современном русском префиксальный способ образования глаголов является доминирующим, но связывать это с реликтами индоевропейского языка не позволяет тот факт, что в древнерусском с помощью префиксов образовывалось сравнительно мало глаголов, то есть больше прибегали к суффиксации (Букатеви́ч и др., 1974, с. 188–189).

5. 1372-я универсалия «Архива универсалий» гласит: “A lexically distinct form of verb HAVE is generally missing in verb peripheral languages (i.e. SOV, VOS). That is, a verb HAVE is generally confined to SVO languages” (“The Universals Archive”, 2007). В русском глагол «иметь» действительно используется несоизмеримо реже, чем в английском, даже в качестве полнозначного.

Наверняка найдутся и другие универсалии, которые противопоставят русский язык языкам с порядком слов SOV, тем более что доминирует в нём всё-таки SVO.

Если предположить, что русский язык сохранил в себе признаки активного строя, то в нём должна быть относительно сильно развита категория вида (вид = аспект – грамматическая категория, выражающая то, как говорящий осмысливает протекание действия во времени, то есть описывает ли он действие как одномоментное, постоянное, продолжительное и т.д.). В активных языках она обычно используется вместо времён (Климов, 1977, с. 144; Панфилов, 2002; Wichmann, 2008). Как известно, «...индоевропейские

языки первоначально не имели глагольных форм времени, а выражали различные виды – совершенный, несовершенный, мгновенный, длительный, начинательный или другие» (Есперсен, 1958). В русском языке глаголы принадлежат к совершенному или несовершенному виду, существует также ограниченная группа двувидовых глаголов (преимущественно заимствований типа *реконструировать*).

Существование категории вида в современном английском ставилось под сомнение многими учёными: Г. Суитом, О. Есперсеном, И. Вахеком, Б. Трикой, Р. Зандвоортом, Н.Ф. Иртеневой; другие считали, что вид в английском подчинён категории времени и не существует отдельно (Швачко и др. 1977, с. 97). А.Л. Зеленецкий, напротив, полагает, что категория вида выступает наиболее отчётливо как раз в английском, по сравнению с другими европейскими языками и русским (Зеленецкий, 2004, с. 141). Те учёные, которые выделяют в английском категорию вида, различают общий и продолженный / длительный вид (Швачко и др., 1977, с. 98). Б. Комри противопоставляет в английском следующие пары видовых форм: *habitual – nonhabitual, progressive – nonprogressive* (“Languages and their Status”, 1987, p. 120). “Concise Companion to the English Language” сообщает о существовании в английском двух видов – *perfect, progressive* (McArthur, 1998, p. 51). В.Д. Аракин указывает на то, что древняя категория вида (совершенный / несовершенный) в английском была утрачена, а новая (общий / длительный) появилась относительно недавно (Аракин, 2005, с. 116–118; ср. Широкова, 2000, с. 135).

Мы придерживаемся взгляда, что категория вида в русском языке осталась более независимой от системы времён, чем в других индоевропейских языках, в том числе в английском. Так, в русском любой глагол может выражать видовые различия вне зависимости от категории времён (*читать, читывать*), что в английском и других аналитических языках невозможно. “Metzler Lexikon Sprache” приводит русский в качестве образцового языка с развитой категорией вида и обращает внимание на то, что данная категория компенсирует в славянских языках неразвитость времён (“Metzler Lexikon Sprache”, 2000). Точку зрения, согласно которой аспект может выражаться через систему времён, как в английском и немецком (нем. *Ich machte* (Я делал); *Ich habe gemacht* – (Я сделал)), авторы называют очень проблематичной. В случае английского они допускают существование категории аспекта только при условии расширения и переосмысления данного термина, в случае немецкого они вообще не допускают возможности её существования (“Metzler Lexikon Sprache”, 2000). Славянские же языки, и в первую очередь русский, они относят к так называемым *Aspektsprachen* – аспектным языкам, вся глагольная система которых проникнута категорией аспекта. Это может свидетельствовать об относительной близости русского к языкам активного строя.

Заметим, что в древнерусском унаследованная от индоевропейского категория вида была ослаблена и не совпадала с её современным пониманием, поэтому и терминология для её описания несколько отличается: относительно глаголов несовершенного вида в древнерусском предпочитают термин «глаголы с имперфективным значением», а относительно глаголов совершенного вида – «глаголы с перфективным значением» (Букатеви́ч и др., 1974, с. 188). Следствием этой ослабленности стало использование множества временных форм, которые, однако, затем постепенно отмирали по мере восстановления категории вида. Примечательно, что некоторые исчезнувшие времена строились аналитически (перфект, давнопрошедшее), а вид выражается синтетически (в этом отношении русский вернулся от аналитических форм к синтетическим).

Ещё одним фактором, влияющим на систему времён, является флективность: “The more developed a case system is, the less is its system of verbal tenses” (“The Universals Archive”, 2007). В русском меньше времён, чем в английском, но флективность не может объяснить возникновения более обширной системы времён на ранних стадиях развития русского языка, а затем её исчезновение. Решающим фактором была всё-таки развитость категории вида, ср. “A large number of tense oppositions correlates with the absence of aspect differentiation”; “There is a correlation between the development of continuous tenses and absence of aspect differentiation” (“The Universals Archive”, 2007).

Существует ещё одно доказательство большей близости русского языка к активному строю по сравнению с английским. Как указывалось выше, в активных языках нет прилагательных, вместо них употребляются обычно стативные глаголы. Можно предположить, что тот индоевропейский язык, в котором прилагательные как часть речи развиты слабее, чем в остальных, стоит ближе к первоначальному языковому строю. Здесь, однако, может вмешаться и множество других факторов, поэтому мы считаем данное доказательство второстепенным. В списке 6 000 наиболее частых лексем английского языка, согласно British National Corpus (Kilgarriff, 1995), встречается 1 055 прилагательных (большого частотного списка английских лексем у нас нет), а среди 6 000 наиболее частых русских лексем (Шаров, 2001 б) – 932. В списке наиболее частых 7 726 английских словоформ встречается 1 072 прилагательных (Leech et al., 2001); в списке словоформ Шарова той же длины – 900 (Шаров, 2001 а). Таким образом, в английском прилагательные употребляются интенсивнее, хотя функцию прилагательных в нём выполняют и практически отсутствующие в русском атрибутивные существительные (ср. *family business* – *семейный бизнес*), называемые О. Есперсеном «квазиадъективами» (Jespersen, 1894, p. 79). Можно предположить, что прилагательные как часть речи успели развиться в английском больше, чем в русском, благодаря большей степени номинативизации.

С другой стороны, в русском интенсивнее употребляются глаголы: 1 308 в английском против 1 703 в русском на первые 6 000 лексем; 1 650 в английском против 2 035 в русском на первые 7 726 словоформ. 5 000 наиболее частотных лексем покрывают 82 % всех слов среднестатистического русского текста (Шаров, 2001 б). Каким образом многочисленность глаголов может компенсировать меньшее распространение прилагательных, показывает следующий пример. Мы составили несколько корпусов русской и английской художественной литературы размером 16 140 000 словоформ каждый: досоветская литература, советская и постсоветская литература плюс два корпуса переводов с английского без деления по векам. Все выборки были составлены на основе текстовых файлов из он-лайн-библиотеки Максима Мошкова (www.lib.ru). Из корпуса русской классики были удалены многочисленные сноски и комментарии, если они не принадлежали самому автору (поскольку почти все они были составлены только в XX в.). То же относится и ко многим переводным произведениям. Читаемость файлов была проверена программой “Wordsmith Tools”, подсчёты производились программами “SearchInform Desktop” и “Wordsmith Tools”. Состав корпусов выглядит следующим образом.

Литература до 1917 г.: Авдеев М.В., Аксаков С.Т., Андреев Л.Н., Анненков П.В., Анненский И.Ф., Апухтин А.Н., Баратынский Е.А., Белинский В.Г., Бестужев-Марлинский А.А., Боборыкин П.Д., Булгарин Ф.В., Гаршин В.М., Герцен А.И., Гоголь Н.В., Гончаров И.А., Грибоедов А.С., Григорьев А.А., Давыдов Д.В., Добролюбов Н.А., Достоевский Ф.М., Ершов П.В., Жуковский В.А., Карамзин Н.М., Крылов И.А., Куприн А.И., Левитов А.И., Лермонтов М.Ю., Лесков Н.С., Ломоносов М.В., Некрасов Н.А., Одоевский В.Ф., Островский А.Н., Писарев Д.И., Писемский А.Ф., Погорельский А. (Перовский А.А.), Помяловский Н.Г., Пушкин А.С., Радищев А.Н., Репин И.Е., Салтыков-Щедрин М.Е., Сомов О.И., Толстой А.К., Толстой Л.Н., Тургенев И.С., Тютчев Ф.И., Тынянов Ю.Н., Фет А.А., Фонвизин Д.И., Чернышевский Н.Г., Чехов А.П.

Литература 1917–1980-х гг.: Аверченко А.Т., Авилова Л.А., Алданов М.А., Арцбышев М.П., Архангельский А.Г., Ахматова А.А., Белый А. (Бугаев Б.Н.), Булгаков М.А., Бунин И.А., Вересаев В.В., Виноградов А.К., Волошин М.А., Гайдар (Голиков) А.П., Гарин-Михайловский Н.Г., Гиляровский В.А., Гиппиус З.Н., Горький М. (Пешков А.М.), Грин А.С., Гуль Р.Б., Гумилев Н.С., Добычин Л.И., Дорошевич В.М., Жаботинский З.Е., Заболоцкий Н.А., Зазубрин В.Я., Зайцев Б.К., Зоценко М.М., Иванов Г.В., Ильф И.А. и Петров Е.П., К.Р. (Романов К.К.), Кин В.П., Короленко В.Г., Лавренёв Б.А., Мариенгоф А.Б., Маяковский В.В., Мережковский Д.С., Осоргин М.А., Островский Н.А., Пантелеев А.И., Пастернак Б.Л., Пикуль В.С., Платонов А.П., Пришвин М.М., Серафимович А. (Попов А.С.), Свирский А.И., Северянин И. (Лотарев И.В.), Сергеев-Ценский С.Н., Скалдин А.Д., Соболев Л.С., Соловьёв В.С., Сологуб Ф.К., Станюкович К.М., Толстой А.Н., Тынянов Ю.Н., Тэффи (Лохвицкая Н.А.), Фадеев А.А., Федорова Н.Н., Фурманов Д.А., Хлебников В.В., Цветаева М.И., Шварц Е.Л., Шмелёв И.С., Чаянов А.В.

Литература 1990–2000 гг.: Авин В., Аграновский В., Агрис Б., Алфеева В., Белобров В., Бен-Лев С., Беттгер Н., Блоцкий О., Божидарова Н., Болотовский М., Бонч-Осмоловская М., Борисова И., Буртяк С., Бутов М., Веллер М., Винокур М., Витковский Е., Волос А., Вулах А., Габриэлян Н., Гвоздей В., Гембицкий А., Генинг Г., Гордасевич А., Горчев Д., Гергенредер И., Джин Н., Дыбин А., Дяченко М. и С., Елизаров М.,

Зиганшин К., Злотин Г., Исаев М., Казанов Б., Калугин С., Канович Г., Капкин П., Каралис Д., Карив А., Кейс Е., Кеслер Д., Кинзбургская И., Климова М., Козлова М., Кокурин Е., Копсова Н., Королев В., Крапп Р., Кунин В., Курякова К., Левинштейн М., Лисовская И., Лихачев В., Лобас В., Лукьяненко С., Лысенков В., Макаров Р., Малахов О., Маринина А., Матрос Л., Машинская И., Межирицкий П., Митрошник Д., Наталик И., Нель В., Немировская М., Немчинов Г., Нетребо Л., Никонов А., Обломов С., Ольшанский А., Ольшевский Р., Орлова В., Пекуровская А., Пелевин В., Письменный Б., Плотник И., Полянская И., Попандопуло Д., Попов А., Проталин В., Рапопорт В., Рейнгольд Г., Рекшан В., Ройзман Е., Романчук Л., Роньшин В., Рубина Д., Садовский М., Садур Е., Свиаренко И., Свирский Г., Себастьян О., Семенов А., Сергеев И., Сидоренко А., Соловьев В., Сорин И., Сорокин В., Стариков Н., Стогофф И., Суворов О., Торин А., Файнберг В., Федотов М., Фридлянд А., Хаецкая Е., Холмогоров В., Хулин А., Хургин А., Черкасский М., Шавырин В., Шамес А., Шахов А., Шишкин Е., Шкловский Е., Шленский А., Этерман А., Ярмолинец В. Отчества были опущены, поскольку многие постсоветские авторы их не указывают.

Переводы художественной литературы с английского (1): Адамс Генри, Адамс Дуглас, Азимов Айзек, Апдайк Джон, Вулф Вирджиния, Голдинг Уильям, Джером Клапка Джером, Джойс Джеймс, Ирвинг Вашингтон, Кизи Кен, Киплинг Редьярд, Конан Дойл Артур, Кэрролл Льюис, Ле Гуин Урсула К., Лондон Джек, Лоуренс Дэвид Герберт, Мелвилл Герман, Олдридж Джеймс, Оруэлл Джордж, Стейнбек Джон, Стивенсон Роберт Луис, Сэлинджер Джером, Уайлд Оскар, Фаулз Джон, Хаггард Райдер, Шоу Бернард.

Переводы художественной литературы с английского (2): Андерсон Шервуд, Беккет Сэмюэл, Берджесс Энтони, Берроуз Вильям, Бичер-Стоу Гарриет, Бронте Эмилия, Буковски Чарльз, Вулф Томас, Гарди Томас, Диккенс Чарльз, Доктороу Эдгар Л., Драйзер Теодор, Конрад Джозеф, Мейлер Норман, Миллер Генри, Митчелл Дэвид, Митчелл Маргарет, Моэм Сомерсет, О. Генри, Паланик Чак, Пассос Джон Дос, Синклер Эптон, Таунсенд Сью, Теккерей Уильям Мейкпис, Торо Генри Дэвид, Филдинг Хелен, Фицджеральд Фрэнсис Скотт, Фолкнер Уильям, Хемингуэй Эрнест.

Мы ввели в поиск глаголы «белеть», «краснеть», «синеть», «чернеть», «зеленеть», «желтеть», «розоветь», «алеть» и «голубеть». Проверялись все формы слов. Как выяснилось, в выборках русской художественной литературы эти глаголы употребляются чаще, чем в переводах с английского: досоветская литература – 1 619 словоформ, советская – 2 266, постсоветская – 975, первый корпус переводов – 728, второй – 860. Возможно, то же относится и к оригиналам (проверка по списку 6 000 лексем невозможна потому, что подобные глаголы слишком редки, а проверка по списку словоформ – потому, что в английском списке их нельзя отличить от других частей речи из-за формальной идентичности, ср. “green” – «зелёный», «зеленеть»). Правильность результатов данного исследования подтверждается и данными по мегакорпусу объёмом свыше 276 млн словоформ. Мегакорпус составлен на основе материалов той же он-лайн-библиотеки (www.lib.ru) по тем же принципам, что и предыдущий, с делением на четыре подкорпуса (досоветская, советская, постсоветская художественная литература плюс один подкорпус переводов с английского), каждый объёмом примерно 69 млн словоформ. Объём мегакорпуса обусловлен относительной малочисленностью классических произведений (если бы было

оцифровано больше классики, объём подкорпусов можно было бы значительно увеличить, так как материала для расширения других подкорпусов достаточно). В тексте были по возможности унифицированы правила грамматического оформления, удалены стандартные ошибки. Подсчёт по мегакорпусу проводился для проверки результатов не во всех случаях, так как это сопряжено со значительными техническими трудностями и временными затратами. В мегакорпус вошли все более или менее известные дореволюционные (классические) и советские произведения. Из постсоветских и переводных были отобраны те, которые имеются в бесплатном доступе, чтобы не нарушались авторские права. Полный список авторов мы не приводим в целях экономии места.

В случае глаголов «белеть», «краснеть», «синеть», «чернеть», «зеленеть», «желтеть», «розоветь», «алеть» и «голубеть» результаты распределены следующим образом: досоветская литература – 5 417 словоформ, советская – 6 531, постсоветская – 3 340, корпус переводов – 2 646. Таким образом, все тенденции подтверждаются: повышение частотности в советские времена, спад в постсоветские, низкая частотность в английской литературе, по сравнению с русской. Репрезентативный подсчёт частотности прилагательных, обозначающих цвета, не представляется возможным из-за того, что они часто употребляются в качестве существительных (например, в советской литературе очень высока частотность прилагательного «красный» и производного существительного в значении «коммунист»). Если не учитывать это обстоятельство, то можно установить, что прилагательные «белый», «красный», «синий», «чёрный», «зелёный», «жёлтый», «розовый», «алый» и «голубой» действительно встречаются в русской художественной литературе реже, чем в переводах с английского (мегакорпус: в русских корпусах в среднем – 112 095, в переводах – 116 807). Этот разрыв, очевидно, компенсируется русскими глаголами «белеть», «краснеть» и т.д. Вполне вероятно, что на частотность прилагательных и глаголов, обозначающих цвета, влияет и множество других неучтённых факторов (например, частотность наречий типа «зелено», которые встречаются чаще в русских текстах, чем в переводах).

Интенсивное развитие прилагательных как части речи началось в русском языке только в XVI в., до этого их было относительно немного (Букачевич и др., 1974, с. 165). Заметим, что выполнение прилагательными и глаголами одних и тех же функций не подразумевает происхождения первых от вторых. В индоевропейском и древнерусском многие прилагательные формально походили на существительные и зачастую могли использоваться в качестве существительных без изменения формы, что указывает на их деноминальное происхождение (Mallory, Adams, 2006, p. 59; Борков-

ский, Кузнецов, 2006, с. 163; Lehmann, 2002, p. 187–188)¹. Примечательно также, что сравнительные степени в древнерусском можно было строить только от ограниченного числа прилагательных, а превосходной не существовало вообще (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 230). Это соответствует описанным выше представлениям У. Лемана о развитии прилагательных в индоевропейских языках (он приводил примеры из германских языков). Правда, у других авторов можно найти реконструируемые суффиксы сравнительной и превосходной степеней и для индоевропейского (Mallory, Adams, 2006, p. 59).

Как и в случае с эргативными конструкциями, некоторые учёные усмотрели в активных языках признаки пассивности, иррациональности и т.д. Это дало повод Г.А. Климову сделать в одной из работ замечание о том, что особенности конструкций активного строя не должны инструментализироваться для культурологических спекуляций: «Не приходится здесь говорить и о сколько-нибудь пассивном или "орудийном" восприятии действующего участника ситуации в речевом сознании говорящих на этих языках, которое постулировалось в прошлом, исходя исключительно из анализа языковых форм...» (Климов, 1977, с. 130). Также он отрицал иррациональность носителей активных языков: «Дихотомия активного и инактивного начал наложила, как полагают, определённый отпечаток и на обычаи, мифологию, искусство и фольклор их носителей. Необходимо вместе с тем подчеркнуть, что её функционирование было обусловлено не столько струёй иррационального в мышлении, как это неоднократно представлялось в прошлом, а скорее теми вполне рациональными аналогиями, которые могут быть проведены между ингредиентами живой природы (человеком, животными, растениями), с одной стороны, и элементами неживой, с другой. В этой связи полезно вспомнить следующее высказывание С.Д. Кацнельсона: "Смешно отрицать, что фантастические элементы наподобие мифологии, магии и т.п. занимали огромное место в сознании первобытных людей. Но каков бы ни был удельный вес этих иррациональных элементов в первобытном сознании, не им должна принадлежать главенствующая роль при определении важнейших особенностей этой стадии. Мышление всякой эпохи есть, прежде всего, процесс отражения действительности, процесс подхода к жизни и воспроизведение её с различной степенью точности и приближения. Понять мышление какой-либо эпохи значит, прежде всего, раскрыть отношения этого мышления к действительности..." Думается, что принципы активного строя составляют одно из наиболее очевидных проявлений того, как внешний мир детерминирует через сферу сознания характер языковой структуры. Эти принципы не да-

¹ Вторичность прилагательных по сравнению с существительными отражена во множестве универсалий университета Констанц, например: "If an adjective has the categories of gender and/or number and/or case, then the noun has these categories also" ("The Universals Archive", 2007).

ют никаких оснований думать, что они порождены так называемым дологическим мышлением» (Климов, 1977, с. 167).

Роль анимистического начала в мышлении носителей активного строя Г.А. Климов считал преувеличенной, как и роль мифологического мышления, тем более что в некоторых отношениях степень выразительности (точности отображения действительности) активных языков явно превосходит степень выразительности номинативных (Климов, 1977, с. 301–302). Свою книгу об активных языках он завершает следующей цитатой: «...подобно другим языкам, американские аборигенные идиомы представляют собой в высшей степени совершенные знаковые системы, непохожие на наши собственные, но столько же хорошо приспособленные к коммуникации и другим функциям языка, как и самые восхитительные из классических и современных европейских языков» (Г. Хойер, цит. по: Климов, 1977, с. 303).

После рассмотрения характеристик эргативного и активного строя можно ответить на вопрос, почему отечественные и зарубежные лингвисты проводили параллели между русскими безличными конструкциями и обоими типами деноминативности: а) как в эргативных, так и в активных языках употребляется «аффективная конструкция», похожая на рус. *Мне любо, Мне нравится*; б) в обоих типах для оформления нестандартного (неодушевлённого) агенса, если он вообще допускается, используется маркировка субъекта, сопоставимая с русским творительным падежом (отсюда параллели с рус. *Его переехало трамваем*); в) в обоих типах присутствуют глаголы неволитивного действия и состояния, используемые для описания природных явлений (отсюда параллели с рус. *Дождит*); г) в обоих типах возможно противопоставление волитивных и неволитивных конструкций, сопоставимых с рус. *Я не сплю – Мне не спится*.

Поскольку, как утверждал Г.А. Климов, неволитивные и аффективные конструкции в эргативных языках являются непродуктивными, то есть сохранились со времён активного строя, можно предположить, что русские безличные конструкции типов (а) и (в) так или иначе являются реликтами той фазы развития индоевропейского или доиндоевропейского языка, для которой были характерны черты активного строя. Что касается пар *Я не сплю – Мне не спится*, то они типичны для активных языков типа Fluid-S, а в эргативных обычно могут возникнуть только при номинативизации, когда номинатив противопоставляется эргативу, генитиву, аккузативу или дативу. Теоретически можно предположить возникновение типа (г) при эргативном строе в индоевропейском без предварительной или последующей стадии активности, но в таком случае остаётся необъяснённым ряд характеристик данного языка, явно указывающих на его активное прошлое (например, деление существительных на классы «одушевлённое – неодушевлённое» или «активное – инактивное», которое при эргативном строе от-

сутствует). Соответственно, существование фазы активного строя представляется неизбежным.

2.4. Прочие теории возникновения имперсонала

Помимо теории деноминативности, существует ещё несколько версий возникновения безличных конструкций в индоевропейском языке, не всегда исключаящих его эргативное или активное прошлое. Возникли они ещё в те времена, когда категории активности / эргативности на индоевропейский язык не переносили, и потому было бы правильнее сказать, что они не противоречат теории деноминативности, а ещё не учитывают её. В частности, целый ряд философов и психологов (И.-Ф. Гербарт, Ф. Brentano, В. Вундт) видели в имперсонале доказательство нерасчленённости восприятия предмета с его деятельностью и качеством. Некоторые учёные считали, что бессубъектные предложения появились вследствие сокращения от субъектных из страха перед высшими силами (*Зевс сверкает > Сверкает*); что у древних людей все предложения были личными из-за присущего им антропоморфизма, поэтому за всеми формальными подлежащими скрывается Бог (Е. Герман); что безличные предложения являются не индоевропейским наследием, а греческим, повлиявшим затем на славянские и германские языки; что безличных предложений нет вообще¹; что «субъектом может быть само действие [то есть глагол – Е.З.] или понятие о самом действии» (Б. Бранденштейн) и т.д. (Галкина-Федорук, 1958, с. 44, 46, 50–52).

Некоторые из этих утверждений встречаются в научных работах по сей день (например, об антропоморфизме), другие практически или полностью исчезли (например, о греческом происхождении безличных конструкций). Обычно споры велись и ведутся по двум вопросам: односоставности или двусоставности имперсонала и первичности или вторичности безличных конструкций по сравнению с личными. Так, Ф. Миклошич считал первичными безличные конструкции; В. Хаферс, напротив, исходил из первичной двусоставности (Lehmann, 1995 b, p. 52). Й. Фридрих видел в хеттских безличных конструкциях следствие сокрытия имени того или иного божества (Friedrich, 1974, S. 131), отсюда мнимая бессубъектность. А. Мейе считал безличные конструкции вторичными, так как исходил из анимизма индоевропейцев (анимизм – вера в существование души и духов, в одушевлённость всей природы) (Bauer, 2000, p. 102). Один из наиболее известных индоевропейцев Б. Дельбрюк также перешёл на эту точку зрения, хотя первоначально считал первичными безличные конструкции. Поводом к этому послужи-

¹ Ср. «Из последнего примера [*It thunders* – Е.З.] явственно видно, что в английском, как, впрочем, и в любом другом языке, настоящих безличных глаголов нет. Человек или же производитель действия выражается [в таких конструкциях – Е.З.] в английском местоимением среднего рода, в некоторых других языках его опускают, но подразумевают» (Lowth, 1799, p. 77).

ло не обнаружение каких-то новых лингвистических свидетельств, а влияние коллег и популярных философов начала XX в. (Bauer, 2000, p. 102). Немецкий лингвист Х. Шухардт полагал, что наиболее древние стадии развития языка отразились в безличных, восклицательных и императивных конструкциях (Schuhardt, 1919, S. 864). В качестве наиболее близких древнейшим стадиям языкового развития Шухардт называет креольские языки, в которых нет падежей, нет чётко выделенных частей речи и т.д., а также язык детей (Schuhardt, 1919, S. 866–867). Как дети начинают говорить отдельными словами типа «Мама!» или «Играть!», так и древние люди были способны поначалу строить лишь односоставные предложения, не требующие деления на подлежащее и сказуемое. Отсюда Шухардт выводит первичную односоставность имперсонала.

А.А. Дмитриевский также высказывал мысль об одночленности первичного предложения, отразившейся в имперсонале, сравнивая при этом речь древних людей с речью детей. Кроме того, он подчёркивал такие функции имперсонала, как удаление неизвестного субъекта, акцентирование самого события или состояния: «В самом деле, грамматика учит разбору предложения, а разобрать какую-нибудь вещь значит так разложить её по частям, как она сложена. Предложение же сложилось-образовалось не от учёных людей, а в просторечии, путём разговора, и ведёт свое начало ещё от первобытного [...] человечества. Но первобытный человек или дитя разве начинают говорить с подлежащего? Г. Буслаев в своей прекрасно изложенной статье о безличном глаголе (§ 200 Ист. гр.) говорит, что безличными глаголами выражаются явления природы, совершающиеся от силы, простому, безыскусственному наблюдению непонятной (*завесняет*), или действия от предполагаемой сверхъестественной или недоведомой силы (*эк тебя угораздило!*), или, наконец, внутренние побуждения и явления, независимо от воли человека совершающиеся в его природе как физической, так и нравственной (*молвится, стосковалось, скучилось, поется*). Если так, то безличные глаголы не составляют ли типа предложений, которые суть археологические памятники седой старины, тем не менее раскрывающие перед нами завесу, за которой напрасно скрывается путь, которым образовались первичные, так сказать, зачатки предложения. Первобытный человек слышит оглушительный, раздающийся сверху, с неба, звук – он говорит: "гремит, bronta"; видит ослепительный небесный свет, который, внезапно блистая огнем, заставляет дрожать все его члены – он говорит "fulgurat"; замечает, как благодетельный свет солнца исчезает, распространяя невеселый сумрак – он говорит "смеркается", "esperazei". Да и цивилизованный человек, положим, испытывает нестерпимое ощущение от удара камня, от пореза ножом, он кричит: "больно"; находясь в комнате и внезапно слыша запах дыма и гари, он в испуге кричит: "горит!" Что выражается этими безличными глаголами? Испытываемое посредством внешних чувств ощущение боли, чувство страха и ужаса. Тут и мысли о том нет, от-

куда эти впечатления. Это невольный, не дающий себе отчёта крик испуганного ребёнка, как бы инстинктивно пытающегося словом облегчить чувство страдания. Тут ещё и мысли о помощи нет, это какое-то беззащитное, подавляющее состояние. До того ли тут рассуждать, откуда приходит это ощущение, когда вопрос о собственном существовании – вопрос жизни и смерти. Одним словом, тут вполне оправдывается пословица: "у кого что болит, тот про то и говорит". Тут нет никакого отношения даже и к лицу – таковы предложения в дофлективную пору языка» [сноска: «Приводимые нами примеры имеют флективную примету, но они понимаются нами как бы лишённые флексии: чисто нефлективных сказуемых язык не сохранил, кроме разве таких: "хлоп, бац, стук" и др. звукоподражательные.» – Е.З.] (Дмитриевский, 1877, с. 23–24).

Дмитриевский полагает, не без оснований и с точки зрения современной лингвистики, что конструкции типа рус. *Мне больно*, *Мне любо*, лат. *Me miseret* изначально были безличными, «[и] это косвенное указание на лицо всего естественнее при предложении-впечатлении от силы страшной, неизвестной, испытывая которую человек находится в положении страдательном и косвенным падежом местоимения обозначает, что не от него исходит сила, а на него враждебно находит» (Дмитриевский, 1877, с. 26). Переход к личным конструкциям он объясняет возрастающей осознанностью своих сил, перенятием ответственности за события. Подлежащее, по мнению Дмитриевского, может оформляться не только именительным падежом и относиться к второстепенным членам предложения, благодаря чему и существуют до сих пор безличные конструкции (Дмитриевский, 1877, с. 32, 35).

Как утверждал Ф. Brentano, первичные предложения были одночленными, и лишь на более поздних отрезках истории к ним начали добавлять субъект (нем. *Regen regnet* (дословно: *Дождь дождит*); *Zeus regnet* (*Зевс дождит*); *Es regnet* ([Это / оно] *дождит*) (Галкина-Федорук, 1958, с. 40–41). Э. Герман полагал, что безличные конструкции в индоевропейских языках являются относительно новым явлением, ссылаясь на Гомера, в произведениях которого имперсонала нет (Havers, 1928, S. 75). В. Вундт сомневался в первоначальной безличности конструкций типа *Дождит*, исходя из якобы присущего древним людям типа мышления – конкретного и привязанного к наглядности. М.М. Гухман пишет, что безличные конструкции с дативом и аккузативом типа фр. *Il me faut* (*Мне подоает*); лат. *Licet me / mihi* (*Мне позволено*); рус. *Меня знобит* в XIX в. считались первичными, затем из-за их немногочисленности в санскрите и греческом их стали считать вторичными, после чего принцип первичности опять вышел на первый план в 1930-е гг. благодаря открытию новых данных по другим древним языкам (хеттскому, тохарскому) и более тщательному исследованию итало-кельтских языков (Гухман, 1945, с. 151–152). Определённое влияние имела и разработка теории эргативных языков.

А.А. Потебня видел в обезличивании русского синтаксиса усиление глагольности русского языка (особенно в погодных выражениях), принципа аналогии, действие принципа наименьшего усилия (эллипсы ради краткости) и следствие постепенной потери субстанциальности (устранение в предложении субстанций, ставших мнимыми); сами безличные предложения он считал остатками первичных, нерасчленённых форм мышления, где члены предложения ещё не соответствуют членам суждения (подлежащего – субъекту, сказуемого – предикату) (Галкина-Федорук, 1958, с. 68, 73, 326; ср. Кацнельсон, 1948, с. 89). Д.Н. Овсяннико-Куликовский полагал, что общее развитие грамматической мысли идёт в направлении от мышления грамматическими категориями субстанции к мышлению грамматическими категориями действия, деятельности, процесса, то есть от имени к глагольности; отсюда и рост числа безличных конструкций без указания деятеля (Галкина-Федорук, 1958, с. 77). Мысли о переходе к глагольности высказывал и А.М. Пешковский (Галкина-Федорук, 1958, с. 83). Е.М. Галкина-Федорук считает точку зрения этих трёх лингвистов отражением популярной в конце XIX в. физической теории, согласно которой материя исчезает, уступая место энергии; её комментарий: «...вряд ли можно согласиться с утверждением, что имеется какое-то особое грамматическое мышление или что имя вытесняется глаголом» (Галкина-Федорук, 1958, с. 77, 83; ср. Кацнельсон, 1940, с. 74).

После детального рассмотрения всех типов безличных предложений в русском языке и всех основных работ по категории безличности в различных индоевропейских языках Галкина-Федорук приходит к следующему выводу: «Исследуя материал языка в его истории и сравнивая различные языки, можно предположить, что в древнейший период были как личные, так и безличные конструкции. Если действие воспринималось человеком как исходящее из какого-то источника и если потребность в общении заставляла фиксировать внимание как на деятеле, так и на действии, то деятель-субъект обозначался словом так же, как и действие-предикат. В таком случае образовывались двусоставные, личные конструкции. Если нужно было сосредоточить внимание только на процессе или состоянии, то субъект-деятель не только не назывался, но и не имел определённого, ясного представления, то предложение было бессубъектным» (Галкина-Федорук, 1958, с. 327).

Следует отметить, что не все отечественные учёные видели истоки имперсонала в индоевропейском. В.Л. Георгиева в статье «Безличные предложения по материалам древнейших славянских памятников» (“Slavia”. – 1969. – № 38. – С. 63–90) писала, что в общеславянское время сформировались только предпосылки для развития имперсонала, но настоящее развитие данной категории началось уже в историческую эпоху (Бирнбаум, 1986, с. 221). Данные, приведенные в книге В.И. Борковского «Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения» (Борковский, 1968), свидетельствуют, однако, об об-

ратном. Хотя в древнерусском безличных конструкций было действительно меньше, чем в современном русском (ср. Букатеви́ч и др., 1974, с. 255), но они явно находились не в зачаточном состоянии. Вот что пишет по этому поводу В.В. Иванов в книге «Историческая грамматика русского языка»: «Точно так же [как бесподлежащие – Е.З.] широко распространёнными в древнерусском языке были и безличные предложения, причём основные типы этих предложений были те же, что и в современном русском языке. Это значит, что сказуемое подобных древнерусских предложений могло выражаться безличными глаголами, личными глаголами в безличном употреблении, предикативными наречиями в сочетании с инфинитивом или без него и, наконец, независимым инфинитивом» (Иванов, 1983, с. 371). Ниже В.В. Иванов также отмечает расширение сферы употребления имперсонала, особенно начиная с XV–XVI вв. (Иванов, 1983, с. 372). В первую очередь это касается глаголов, обозначающих стихийные явления, глаголов на *-ся* и предикативных наречий на *-о* для обозначения состояния, сопровождающего то или иное действие (типа *Мне тяжко*).

Некоторые учёные, придерживавшиеся теории о первичности безличных конструкций, исходили из достаточно распространённого в начале XX в. мнения о дорелигиозном сознании древних людей. Согласно этой точке зрения, древние люди не обладали достаточно развитым мышлением, чтобы создать себе какое-то представление о Боге или иных потусторонних силах. Следовательно, функция имперсонала сводится к указанию на само действие без его производителя. Т. Зибс писал в работе «Так называемые безличные предложения» (1910): «Погодные безличные конструкции были с самого начала безличными, обозначали только само событие или состояние, так как ещё не было религиозных и мистических представлений о тайном деятеле» (цит. по: Havers, 1928, S. 105). Похожие мысли находим у Я. Вакернагеля: «У нас нет никакого основания предполагать, что религиозные представления древнее, чем то представление, когда человеку было достаточно просто назвать событие, не спрашивая себя об агенсе» (там же). Наконец, в том же духе высказывался и К. Бругман: «Для таких природных явлений [дождь, гроза и т.д. – Е.З.] наверняка были уже способы выражения и тогда, когда их не рассматривали с точки зрения мифологии» (там же). Напомним, что некоторые современные учёные, исходящие из гипотезы активного строя индоевропейского или доиндоевропейского языка, относят глаголы типа «дождить» к классу неволитивных, изначально употреблявшихся без производителя действия.

Д. Грейсселс, сравнивая русские аккумулятивные конструкции типа *Меня трясёт от лихорадки* с эргативными, всё-таки считает это сходство мнимым: по его мнению, речь в данном случае идёт об эллипсе, который из-за частого употребления привёл к переосмыслению первоначально личной конструкции (Greissels, 2006). Он не приводит, однако, никаких доказательств в пользу этой теории, кроме примера из амхарского языка (госу-

дарственного языка Эфиопии, южная подгруппа эфиосемитских языков семитской семьи), где такое переосмысление имело место. В этом номинативном языке конструкция *Rabä-ñ* (*Меня голодит*, то есть *Я хочу есть*), появилась из конструкции типа *Īnjära rabä-ñ* (*Хлеб меня голодит*, то есть *Я хочу есть хлеб*). Элизия имела место, поскольку в подобном контексте обычно высказывается не желание съесть что-то конкретное, а желание есть вообще.

Теорию о происхождении имперсонала посредством элизии развивал в своих работах также В. Шульце (Lehmann, 2002, р. 62). Он полагал, что выражения типа санск. *Várṣati* и греч. *Húei* (*Дождит*) имеют форму мужского рода, так как перед ними опущено имя божества. Если форма глагола стоит в среднем роде, как в гот. *Rigneiþ* (*Дождит*), это свидетельствует о том, что само слово «Бог» было среднего рода. В случае лат. *Pluit* (*Дождит*) он предполагал опущенное подлежащее “caelum” («небо»). Едва ли, однако, возможно подобрать имена богов или имена нарицательные ко всем безличным глаголам индоевропейских языков, так как почти все они используются в форме среднего рода независимо от языка (по крайней мере, такова была их первичная форма в индоевропейском).

Нельзя не вспомнить и соответствующей теории Н.Я. Марра, работы которого воспринимались как директивные до разгрома марризма вскоре после Второй мировой войны. Марр видел в формах 3 л. ед. ч. безличных глаголов отголоски древней веры в тотема (*[Дух] дождит*). Он аргументирует свою мысль тем, что ещё у Гомера встречаются конструкции типа *Зевс дождит*, но никогда – просто *Дождит*. К его мнению присоединяется И.И. Мещанинов (Мещанинов, 1940, с. 256–257). За конструкциями типа немепу *Hiyawtsana* (*Он холодил*) и фр. *Il fait froid* (*Он делает холод*), то есть (*Было холодно*), он видит веру в активность некоего невидимого субъекта. Уже в 1994 г. Г. Хартман связывал переход в ирландском от безличных конструкций типа *Buaileadh tinn é* (*[Оно] его заболело*) к личным типа *Fuar sé tinn* (*Он заболел*) с отказом от веры в потусторонние силы и, возможно, влиянием английского (Hartmann, 1994, S. 342).

Таким образом, теория об элизии подлежащего в безличных предложениях тесно связана с теорией о мифологичности сознания древних людей. Подобные объяснения могут иметь под собой реальную почву лишь в единичных случаях. Если в предложениях *Его убило молнией* или *Дождило* можно при некоторой фантазии представить себе, что за формой 3 л. ед. ч. ср. р. скрывается нечто, движущее силами природы (хотя и неодушевлённое, так как используется средний род), то в конструкциях типа *Мне танцевалось [оно?] лучше обычного*, *Ему стало [оно?] грустно*, *Ему надо было [оно?] уйти*, *Мне было [оно?] не до развлечений*, *Было [оно?] окола пяти часов* никакого деятеля, даже неодушевлённого, домыслить нельзя, хотя используется та же форма глагола 3 л. ед. ч. ср. р. Речь идёт просто о наиболее нейтральной из глагольных форм, отвлечённой от понятия субъекта и, воз-

можно, только совпадающей с настоящей формой 3 л. ед. ч. ср. р., но не являющейся таковой (так как в других формах безличные глаголы не употребляются, а без противопоставления первому и второму лицу едва ли может быть третье). Тот факт, что используется форма именно среднего рода, а не просто 3 л. ед. ч., упоминается далеко не всегда, так как в русском различия по родам видны только в прошедшем времени (ср. *Дождит* – *Будет дождить* – *Дождило*), а во многих других языках их нет вовсе, так как распалась система флексий, но первоначально использовался исключительно средний род. В этой связи примечательно употребление местоимений именно среднего рода (англ. *It rained* – [*Оно*] *дождило*) в большинстве имперсональных конструкций аналитических языков. В активном строе глагольная форма среднего рода может свидетельствовать только об отсутствии деятеля, что исключает мифологические трактовки.

Отдельно скажем о теории В. Хаферса, опубликованной ещё в 1928 г., но не потерявшей актуальности по сей день (Havers, 1928). Хаферс полагал, что приписываемые древним людям характеристики типа нелогичности не отражают действительности и потому не могут привлекаться в качестве мировоззренческого базиса возникновения имперсонала. Бóльшая часть его статьи посвящена не языкознанию, а собранным к моменту написания данным по антропологии и истории, в некоторых отношениях довольно убедительным. Автор цитирует наиболее выдающихся учёных своего времени, утверждавших, что древние индоевропейцы (или древние люди вообще) были довольно изобретательны, умны, даже практичны (первые рисунки, найденные в гротах Испании и Франции, явно были созданы для вполне конкретных целей – чтобы обеспечить себе удачную охоту посредством магического воздействия на животных), обладали фантазией, имели представления о загробном мире и Боге. Были у них и чувства, что видно по заботе об умерших близких: уже во времена палеолита (от появления рода *homo* до 8000 г. до н.э.) трупы умерших детей украшались, под головы трупов подкладывались «подушки», в обустройстве могил видна забота о любимом человеке. Под сомнение ставится не только безбожие древнейших людей (среди современных диких народов не верящих в высшие силы нет), но и многобожие: поскольку не было разделения труда, не было и богов для разных целей (покровителей того или иного ремесла и т.д.).

Хаферс приводит мнения учёных, которые не видят причин считать мышление древнейших людей в чём-то отличным от современного: разница заключается только в том, что современному человеку помогают мыслить его знания, образование и язык. Древние люди вполне могли видеть связь между причиной и следствием, могли мыслить логически, хотя эта логика укладывалась в совсем другие мерки, чем логика современных людей. Например, если древний человек знал, что летящее копьё, несомненно, кто-то бросил, то он должен был вполне логическим путём прийти к выводу о том, что молнию тоже кто-то бросил, некий невидимый ему в вы-

соте производитель действия. Кроме того, Хаферс предполагает в древних людях склонность к персонификации окружающего мира (опять же по вполне разумной аналогии на уровне доступных тогда знаний), что дополнительно стимулировало представление о невидимых производителях действия, причём в более или менее человеческом облике.

Хаферс подвергает критике взгляды эволюционистов, искавших в древних людях признаки животного начала; в противовес им он утверждает, что уже древнейший человек был «полным человеком» (по крайней мере, древнейший человек, который уже начал учиться говорить). Он указывает на тот факт, что миссионеры, путешественники и просто случайные люди, по какой-то причине подолгу контактировавшие с самыми «примитивными» ныне живущими народами, неизменно сообщают о том, что добродетели этих народов вполне соответствуют современным представлениям о добродетелях западного общества, то есть они тоже ценят терпеливость, вежливость, гостеприимство, любовь к ближним, миролюбие и т.д. Они не следуют своим инстинктам, как делали бы это животные, но умеют сдерживать их, чтобы соответствовать своим представлениям о добродетелях. Хаферс ставит под сомнение даже неспособность древних людей к абстракции (а ведь именно развитием абстрактного мышления, как было показано выше, некоторые учёные объясняют расширение сферы имперсонала). Напротив, он показывает, что представители некоторых «примитивных» народов прибегают к абстракциям на языковом уровне чаще европейцев (впрочем, в данном случае его аргумент – единственный пример из языка американских индейцев – не очень убедителен). Хаферс критикует не только Л. Леви-Брюля за его тезис о дологическом мышлении древних людей, но и других известных учёных начала века, вполне серьёзно сравнивавших мышление «примитивных» народов с мышлением шизофреников. У нас нет возможности привести цитаты всех учёных, на которых ссылается Хаферс, поэтому ограничимся следующей: «Я не вижу никакой причины предполагать, что душевная организация так называемых примитивных народов значительно отличается от нашей. Представитель такого народа не знает, что такое критика и анализ, но не более. Даже очень основательная книга Леви-Брюля о мышлении диких народов не смогла меня переубедить. Дикарь мыслит теми же категориями, так же устанавливает причинно-следственные связи, но с той разницей, что делает это очень некритично. Несомненно, он не знает законов индукции [Джона Стюарта – Е.З.] Милла. Но из этого не следует, что его душевное устройство сильно отличается от нашего» (Н. Driesch. Grundprobleme der Psychologie. Лейпциг, 1926; цит. по: Havers, 1928, S. 99).

Ниже Хаферс добавляет, что индивидов с мышлением дикарей вполне можно встретить и в современной Германии. Хаферс приводит также цитату Ф. Барлета из работы “The psychology of the lower races” (1923) (название не должно смущать, так как на Западе до конца Второй Мировой вой-

ны даже в научных работах зачастую встречались рассуждения о низших расах и превосходстве арийцев): «Таким образом, я не могу согласиться с тем, что умственная жизнь низших рас дологична» (цит. по: Havers, 1928, S. 97). Таким образом, Хаферс полагает, что древние люди посредством вполне логичных аналогий пришли к выводу о том, что должен существовать единый Бог и что этот Бог совершает те действия, которые иначе осмыслить невозможно. Например, Бог гремит во время дождя, насылает болезни или чувства. Не зря германский бог носит имя *Þótt* (*Гром*). Конкретное, антропоморфное и привязанное к зрительным аналогиям мышление заставляло древних людей подставлять в описаниях явлений природы и некоторых других необъяснимых действий / состояний имена или прочие обозначения какого-то божества, какой-то одушевлённой силы, что видно по оформлению глагола в греческом и санскрите (мужской род).

Хаферс возражает Е. Швицеру, писавшему в 1927 г., что конструкция *Зевс дождит* древнее *Дождит*, но не самая древняя, так как первичен политеизм: по мнению Хаферса, *Зевс дождит* является самой древней формой данной конструкции (монотеизм изначален), и древнее её, возможно, только *Дождь вот!* или *Вот дождь!*, то есть сочетание указательного местоимения с неким неопределённым словом, обозначающим какое-то явление и ещё не являющимся глаголом. Превращение *Зевс дождит* в *Дождит* он объясняет страхом перед высшими силами (например, в египетских надписях часто избегают называть по имени фараонов, которых приравнивали к богам), а также опусканием само собой разумеющихся подлежащих (кто ещё может дождить, если не Зевс?).

Теория Хаферса необычна тем, что он выводит конструкции с мифическим производителем действия не из дологического мышления, как все остальные авторы, а из логического. Эта теория не объясняет, однако, происхождение формы 3 л. ср. р. у безличных конструкций, где никак нельзя домыслить даже мифического, скрытого агенса (*Ему было весело*). Кроме того, если бы имелся в виду некий дух, руководящий природой и людьми, то мы бы говорили в прошедшем времени – [*Зевс*] *дождил*, *Его убил* [*Зевс*] *осколком*, но мы говорим: *Дождило*, *Его убило осколком*. По той же причине трудно согласиться с А.А. Потемной и некоторыми другими авторами, предполагавшими элизию в первоначально личных конструкциях типа *Свет светает* (ср. Тупикова, 1998, с. 78–79; Валгина, 2000). Если бы элизия действительно имела место, мы бы, вероятно, говорили [*Свет*] *светал*, а не *Светало*. Вспомним, что явления природы (дождь, снег, град, молния, гром, вечер и т.д.), будучи активными по своей натуре, были причислены индоевропейцами к активному классу (поэтому, кстати, в индоевропейских языках трудно найти соответствующие существительные среднего рода, если не считать поздних образований, калек с других языков и т.п.), и, следовательно, их названия не могли согласовываться с глагольной формой среднего рода, подразумевающей инактивность или отсутствие деятеля.

Если учитывать универсальность формы 3 л. ед. ч. ср. р. у безличных индоевропейских глаголов, вполне можно предположить, что она представляет или раньше представляла собой отдельное стативное спряжение, использовавшееся также для описания неволевых действий и состояний (то есть действий и состояний, возникших без воли говорящего или чьей-либо воли вообще). Что же касается постулируемого Хафферсом отсутствия связи между примитивным (дологическим) типом мышления и имперсоналом, то подобные мысли можно встретить и в современной литературе по данной теме: «Их [безличных конструкций – Е.З.] происхождение связывается часто с представлением так называемого "примитивного мышления" о действиях природных явлений, от которых всецело зависит человек. Человек предстаёт в них якобы как жертва каких-то таинственных или мифических сил. Эта интерпретация, однако, неприменима к современному состоянию этих конструкций. История языка показывает, что с развитием современного мышления несогласованные конструкции не только не ушли в прошлое, но наоборот, прочно вошли в язык, подверглись систематизации и нормализации и обогатились новыми разновидностями. Это позволяет нам говорить об особом синтаксическом классе несогласованности, в котором современный носитель языка выражает ситуации, возникшие без его сознательного участия и помимо его воли. Этой семантике соответствуют все древние разновидности этих конструкций, в которых нет активного субъекта, выраженного прямым, именительным падежом. Субъект в них либо вовсе не выражен, либо предстаёт в виде экспериента или пациенса» (Гиро-Вебер, 2001, с. 76).

Не совсем понятно, подразумевает ли Гиро-Вебер переосмысление изначально «иррациональных» конструкций или их изначальную «рациональность».

Из-за древности безличных конструкций едва ли можно считать их отражением современного русского менталитета или мировоззрения. В этих окостенелых формах мы видим остатки вызванного особенностями индоевропейского языка грамматического строя, закрепившегося в русском языке благодаря его консерватизму¹. Английский язык из-за радикально ускорившейся аналитизации в значительной мере приблизился к противоположному полюсу того языкового типа, из которого вышел первоначально. Это, однако, не должно давать повода видеть в нём бóльшую «прогрессивность» по сравнению с русским. Об этом говорят и данные

¹ Ср. «Ряд глаголов [*Дёрнуло, Попало, Влечёт, Угораздило, Носит, Клонит, Тянет, Везло – Е.З.*], сохраняя, по-видимому, СЛЕДЫ мифологического мировосприятия, означает воздействие, благоприятное или неблагоприятное, на волю человека какой-то "неведомой" силы, судьбы, рока, обстоятельств, "нечистой силы". Случаи именования этой силы сами по себе делексикализованы или фразеологизированы и почти равны употреблению глаголов в 3 лице (вне парадигмы) или в среднем роде прошедшего времени с неназванным каузатором» (Золотова и др., 2004, с. 128). Выделено нами.

языковой типологии: в частности, американская исследовательница Дж. Николс, опубликовавшая в 1992 г. книгу «Языковое разнообразие во времени и пространстве», пришла к выводу, что более поздние языки не являются в каком-то отношении более развитыми или сложными, чем более ранние; в этом смысле языковая эволюция не похожа на биологическую (Кибрик, Плунгян, 2002, с. 301).

Э. Бенвенист предостерегал от приписывания каким-либо языкам нелогичности, так как у каждого языка, включая древнейшие, есть своя логика, вполне позволяющая справляться с описанием мира в той степени, какая требуется его носителям (Benveniste, 1974, S. 99). Эта логика может быть недостаточно понятна современным носителям западноевропейских языков. Предостережение знаменитого французского учёного, несомненно, относится и к тем критикам русской ментальности, которые объявляют русский язык иррациональным, не пытаясь заглянуть за фасад языкового оформления и объяснить механизмы грамматики иначе, чем через призму английского языка. Мы не можем исключить, что в русской грамматике сохранились следы мифологического мировоззрения индоевропейского народа, распавшегося за 3 000 лет до н.э. (если он вообще существовал¹), но едва ли можно настаивать и на том, что мировоззрение этого народа, отразившееся на языковом уровне, соответствовало современному русскому. Достаточно вспомнить, например, что в русском слова «мертвец» и «покойник» грамматически относятся к категории одушевлённых существительных (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 206), что вполне можно считать отголоском древних верований в Бабу-Ягу и прочие разновидности оживших мертвецов. Но едва ли кто-то будет утверждать, что современные русские по-прежнему верят в одушевлённость трупов, если не относят сознательно эти два слова к категории неодушевлённых существительных (типа «дом», «стена», «окно», «сани»). Примерно в том же духе высказался в своё время В.И. Абаев: «Все без исключения элементы речи, слова, морфологические образования, целые речевые категории, как, например, грамматический класс и род, синтаксические обороты, как, например, пассивная конструкция, – все они подвержены десемантизации и технизации и поэтому все они сплошь и рядом своей современной материальной формой связаны не с современными же, а с бесконечно отдалёнными нормами мышления и речетворчества, что, однако, не мешает им успешно обслуживать технические нужды современной коммуникации» (цит. по: Климов, 1981, с. 74).

¹ Ср. А. Мейе: «Нет никакого основания полагать, что границы индоевропейских языков совпадали с границей какой-либо расы. В действительности народы, говорящие на индоевропейских языках, издавна различаются по своему внешнему облику и не имеют никаких общих физических признаков, которые отличали бы их от народностей, говорящих на других языках. Ещё труднее доказать, будто народности, говорящие на индоевропейских языках, происходят от общих предков». Эту цитату из «Введения в сравнительное изучение индоевропейских языков» (1938) приводит В.М. Жирмунский, разделявший мнение Мейе (Жирмунский, 1940, с. 31).

Безличные конструкции принадлежат к наименее исследованным феноменам не только индоевропейских языков, но и языков вообще (Вауер, 2000, р. 94, 136). Крупных обобщающих работ по данной теме не существует. Нет и консенсуса по самому определению имперсонала, его возможным способам выражения в языках иных типов (например, классовых). Мы причисляем к имперсоналу все конструкции с неканоническими субъектами и без субъектов вообще (те, при которых не может быть субъекта, а не те, при которых он опущен для краткости). Дж. Почепцов считает безличным только второй тип (*Дождит*), а всевозможные конструкции с дативными, аккузативными, генитивными и прочими субъектами называет псевдобезличными (квазиимперсональными), будь то конструкции действия или состояния (Рошептов, 1997, р. 469–470). Мы не видим оснований для подобных разграничений. Если предположить, что безличными можно назвать только глаголы, употребляющиеся исключительно в форме 3 л. ед. ч., то пришлось бы признать, что имперсонал в языках мира относительно редок (Вауер, 2000, р. 135). Многочисленные безличные конструкции в японском с его неизменяемыми глагольными формами выпали бы за рамки такого исследования. Если расширить дефиницию за счёт неканонического оформления субъекта при глаголе или другой части речи, сфера употребления имперсонала в языках мира окажется довольно широкой. О том, является ли её сужение универсальной тенденцией, сведений нет. Пока не будут получены результаты таких обобщающих исследований, связывать исчезновение безличных конструкций с какими-то эволюционными процессами в развитии мышления нет оснований. В индоевропейских языках значительная часть безличных конструкций сохранилась со времён деноминативного праязыка. Как отмечает А.А. Мельникова, в споре о типологических характеристиках индоевропейского уже практически поставлена точка – он был, в её терминологии, раннеэргативным (Мельникова, 2003, с. 258), то есть, в нашей терминологии, активным.

Глава 3

ФОРМА 3 л. ед. ч. ср. р.: ТИПОЛОГИЯ ИЛИ МИФОЛОГИЯ?

3.1. Формальное подлежащее и глагольная флексия 3 л. ед. ч. ср. р.

На ранних этапах исследований остатки мифологического мировоззрения индоевропейцев довольно часто видели в формальных подлежащих типа англ. *it*, фр. *il*, нем. *es* и т.д. в аналитических языках и эквивалентных им окончаниях 3 л. ед. ч. ср. р. (*Дождило*) в синтетических языках. Некоторые учёные расценивали их как отражение некоего неизвестного одушевлённого каузатора, различных потусторонних и/или божественных сил, столь опасных и могущественных, что носители индоевропейского языка не решались называть их по имени (ср. Meillet, 1909, S. 145).

Однако в настоящее время преобладает другая точка зрения, согласно которой за формальным подлежащим и соответствующей ему флексией не скрывается никакого референта (Bishop, 1977, p. 26; Бирюлин, 1994, с. 19). Сначала в индоевропейском для обозначения отсутствия активного, одушевлённого деятеля возникла флексия 3 л. ед. ч., затем на смену ей пришли безличные местоимения. Причину появления формальных подлежащих современные учёные обычно ищут в аналитизации, делающей наличие подлежащего обязательным даже там, где раньше было достаточно формы глагола 3 л. ед. ч., тем более что глагольные флексии в процессе аналитизации часто исчезают или становятся многозначными. Ярким примером такой трансформации является современный английский язык, где, в отличие от синтетического древнеанглийского, активно используются «подлежащие-пустышки» (*dummies*) *it* и *there*.

«Одной из характеристик английского языка является обязательность подлежащего в поверхностной структуре каждого предложения. В предложениях, не имеющих субъекта на глубинном уровне, ставят на его место инструмент (если таковой имеется) [подразумевается грамматическая персонификация, речь о которой ещё пойдёт ниже – Е.З.] или же используют в качестве подлежащего прямое дополнение (за исключением тех случаев, когда прямое дополнение является придаточным предложением). Если оба эти варианта невозможны, на месте подлежащего появляется *it*» (Grace, 1974, p. 22).

«Как бы там ни было, формальное подлежащее (*h*)*it/there* используется всё чаще и чаще к концу [среднеанглийского – Е.З.] периода. Причина, по которой в среднеанглийском подлежащее становится более или менее обязательным, – это становление жёсткого порядка слов SVO [субъект > глагол > объект – Е.З.]» (“The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 2, p. 235).

«В русском языке построение предложений без подлежащего широко распространено. Особенно часто отсутствие подлежащего наблюдается в отрицательных предложениях. Например: "Здесь нет стола", где "нет" становится центром конструкции. В

противоположность русскому языку английский язык избегает построения предложений без подлежащего. Русским предложениям без подлежащего в английском языке часто соответствуют предложения с подлежащим. Ср.: ...*Темнеет – It is getting dark*. Как видно из приводимых примеров, русский язык широко использует предложения безличные и предложения без подлежащего, тогда как в английском языке даже безличные предложения строятся при помощи безличного подлежащего. Это объясняется недостаточно четкой оформленностью английского глагола, который своей формой не всегда может достаточно ясно указывать на субъект; следовательно, наличие подлежащего становится необходимым» (Смирницкий, 1957).

«В русском языке легко обнаружить известное разнообразие типов односоставных предложений и вариативность их семантики. В английском же языке число типов односоставных предложений невелико. Это можно объяснить аналитическим строем предложения, сложившимся в новый период развития английского языка, с присущим ему твёрдым порядком слов и обязательным наличием подлежащего, хотя бы и формального. Так, например, в одних случаях большому классу русских односоставных предложений, таких, как *темнеет, морозит, трудно, важно, мне весело* и т.д., в английском языке соответствуют двусоставные предложения; ср.: *it is getting dark, it freezes, it is difficult, it is important* с выраженным формальным подлежащим *it*» (Аракин, 2005, с. 182).

«В безличных по смыслу предложениях с глаголом *be* или в предложениях, где подлежащее выражено неопределённым существительным, употребляется предвещающее *there*, которое не имеет никакого смыслового значения. Оно развилось из наречия *there*, употребляющегося как обстоятельство места, но теперь представляет собой совершенно другое слово. Говорят: *There was a large crowd* (нельзя сказать **A large crowd was*). Сравните с предложением *There's your hat. Вон там ваша шляпа*, в котором *there* (находящееся под ударением) является обстоятельством места» (Хорнби, 1992, с. 90).

«Основное отличие синтетических языков от аналитических в рассматриваемом вопросе состоит в том, что, поскольку в аналитических языках существует постоянный порядок слов в предложении и обязательно наличие подлежащего (как и сказуемого), то даже безличные и неопределённо-личные предложения оформляются в них как личные. Достигается это различными способами, в частности, с помощью конструкций с формальным подлежащим. В качестве такого формального подлежащего употребляются местоимения *it, one, they, you, we*» (Аполлова, 1977, с. 18).

Таким образом, все конструкции английского языка, традиционно называемые безличными, являются, тем не менее, подлежащими (ср. Копров, 2000, с. 68). В русском же безличные конструкции обычно являются и бесподлежащими, ср. *Темнеет (It's growing dark); Сегодня холодно (It is cold today); Пахло сыростью и табаком (There was a smell of damp and tobacco); Никакой вечеринки не было (There was no party)*. Безличные конструкции с формальным подлежащим употребляются в современном английском столь часто, что некоторые лингвисты даже говорят об «особой любви... к безличным формам» в английском языке (G. Curme. "A grammar of the German language" (1922); цит. по: von Seeffranz-Montag, 1983, S. 58). Высокую частотность нельзя путать, однако, с многочисленностью конструкций. В современном английском практически не осталось употребляемых безлично глаголов и соответствующих конструкций, но очень часто (как и в русском) встречаются

неглагольные безличные выражения типа *It's cold* (*Холодно*), где местоимение “it” выражает ту же форму 3 л. ед. ч. ср. р., что и русское окончание *-о* в наречиях и глаголах (*Холодно; Светало*).

В одной из относительно новых работ по этой теме И. Горзонд после анализа большого статистического материала по корпусу французского языка и работ других лингвистов приходит к следующему выводу: «Было бы неверно предполагать за безличным местоимением *il, it* или *es* сверхъестественную силу, которая нашла в нём отражение из-за страха назвать её по имени. Также складывается впечатление, что видеть в *il, it* и *es* выражение ЧЕГО-ТО вообще противоречило бы языковой интуиции» (Gorzond, 1984, S. 70).

В подтверждение своих слов автор цитирует О. Есперсена, видевшего в безличном местоимении «грамматический приём, позволяющий перестроить предложение по наиболее принятому образцу» (цит. по: Gorzond, 1984, S. 70)¹, а также немецкого лингвиста К. Бругмана, одного из самых известных исследователей индоевропейских языков: «В *es regnet...* само *es* не несёт никакого значения. Никто не вкладывает в *es regnet* больше смысла, чем в выражения *regnen geht vor sich, regen fällt, das gegenwärtige ist ein regen* [синонимы выражения *Es regnet* (*Идём дождь*) – Е.З.] и т.п. Таким образом, выражение *es regnet* имеет то же значение, что и древневерхненемецкое *regenot* (гот. *rigneiþ*, древнеисл. *rignir*, лат. *pluit* и т.д. [все выражения – в значении “*Дождит*” – Е.З.]» (цит. по: Gorzond, 1984, S. 79)².

Бругман полагает, что субъекты в таких конструкциях объединены со сказуемыми, неотделимы от них (Wahlen, 1925, p. 6)³; первоначальную двусоставность конструкций типа *Наснежило* он считал сомнительной (Brugmann, 1925,

¹ Ср. его высказывание из «Философии грамматики»: «В современных языках перед сказуемым всегда стоит подлежащее, а поэтому предложение без подлежащего воспринимается как неполное. В более ранние времена при таких глаголах, как лат. *pluit* (*идём дождь*), *ningit* (*идём снег*) и др., никакого местоимения не требовалось (в итальянском языке до сих пор сохранилось *piove, nevica*); однако по аналогии с бесчисленными сочетаниями типа *I come* (*я прихожу*), *he comes* (*он приходит*) и др. в английском языке было добавлено *it*, откуда *it rains* (*идём дождь*), *it snows* (*идём снег*) и др. и соответственно во французском, немецком, датском и других языках – *il pleut* (*идём дождь*), *es regnet, del regner*. Было правильно замечено, что необходимость местоимения начали ощущать особенно тогда, когда стали выражать различие между утверждением и вопросом с помощью порядка слов (*er kommt* (*он идём*), *kommt er?* (*идет ли он?*)). Точно таким же образом теперь можно выразить различие между *es regnet* и *regnet es?*» (Есперсен, 1958; ср. Jespersen, 1894, p. 91–92).

² Ср. его высказывание из “Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen”: «Предположение, что псевдосубъект *es* указывает на некую неопределённую силу, которая совершает какие-то действия или обладает рассудком, не выдерживает критики. Это *es* появилось у безличных глаголов только в качестве пустого оформительного слова» (Brugmann, 1925, S. 21–22).

³ Ср. его высказывание из “Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen”: «Сначала следует ответить на вопрос, чем была первоначально форма 3 лица и какое значение в неё вкладывалось. Её происхождение неизвестно. [...] Но, по крайней мере, ничего не противоречит и так вполне приемлемому и правдоподобному предположению, что безличные конструкции развились из обозначений действий и состояний, которые и не являлись ничем иным, как обозначениями действий и состояний, напр. *Дождь* или *Дождит* вместо *es regnet* [нем. *Идём дождь* – Е.З.], *es hat geregnet* [*Шёл дождь* – Е.З.]. Можно сказать, что подлежащее и сказуемое здесь объединились в одном выражении (слове)» (Brugmann, 1925, S. 19).

S. 20). Добавим от себя также цитату из знаменитой работы Г. Пауля «Принципы языковой истории»: «...Не может быть сомнений, что в предложениях типа [нем. – Е.З.] *es rauscht*, фр. *il gèle*, сербск. *vono se blyska* (*сверкает*) присутствует субъект. Но все попытки представить все эти [безличные местоимения – Е.З.] *es, il, vono* в качестве психологического субъекта и наделить их определённым смыслом не увенчались успехом. [...] Правильней всего было бы предположить в таких предложениях присутствие субъекта формального. В этом отношении нет разницы между функциями личного окончания и отдельного местоимения. Для приведения предложения в нормативную форму в него вводится формальный субъект, не имеющий ничего общего с психологическим» (Paul, 1920; ср. Strong, 1891, p. 102).

Под психологическим субъектом обычно понимают то представление, которое служит отправным пунктом сообщения (темой), а также слово (или группу слов), выражающее это представление. Действительно, считается, что в «метеорологических» конструкциях (о которых говорит здесь Г. Пауль) деления на тему-рему нет, что способствовало их сохранению, в то время как некоторые другие безличные конструкции стали в период активной аналитизации индоевропейских языков нарушать логический принцип «тема > рема» и потому исчезли (подробнее об том см. в главе «Тема / рема и порядок слов: связь с имперсоналом»). В «метеорологических» конструкциях с формальным подлежащим, как правило, присутствует только рема.

Позиция Г. Пауля соответствует взглядам отечественных учёных, что становится ясно, например, из обзора Л.А. Бирюлина¹. Так, И.П. Сусов называет высказывания с формальным подлежащим «квазипредложениями», а само формальное подлежащее – «квазисубъектом», мотивируя это тем, что «в поверхностной сфере немецкого языка (а также английского и французского) имеют место образования, расчленённые на позиции, которые напоминают собой лишь внешне, по оформлению, позиции субъекта и предиката. Дело в том, что расчленённости этих поверхностных образований в глубинной сфере не соответствуют ни реляционное, ни предикационное членение» (цит. по: Павлий, 2002).

А.И. Смирницкий в книге «Синтаксис английского языка» (1957) отмечал, что подлежащее английского безличного предложения «не обозначает никакого реального объекта: то неуловимое содержание, которое заключено в подлежащем (известной обстановки, жизненной ситуации), как бы растворяется в содержании сказуемого и не может быть выделено и рассмотрено самостоятельно» (цит. по: Павлий, 2002).

¹ Ср. его высказывание: «Традиционная лингвистика, введя эти предложения [*Дождит. Сверкает. Дует* – Е.З.] в реестр основных типов синтаксических структур русского языка и признав их синтаксическую законченность (= неэллиптичность), отметила, в частности, две их особенности. Во-первых, то, что анализируемые имперсональные предложения семантически насыщены, т.е. передают содержание выражаемого ими экстралингвистического события исчерпывающим образом. И, во-вторых, то, что в силу этой семантической насыщенности наличие в их синтаксической структуре второго главного члена предложения (подлежащего) не необходимо» (Бирюлин, 1994, с. 15–16).

А.М. Пешковский выдвинул известный тезис о том, что в безличных предложениях «подлежащее устранено не только из речи, но и из мысли» (цит. по: Бирюлин, 1994, с. 17); безличное сказуемое изображает деятельность без деятеля, оно «не может и намекать на какое-либо определённое подлежащее» (цит. по: Тупикова, 1998, с. 73). Эквивалент формального подлежащего в русском языке (3 л. ед. ч.) он расценивал как совпадающий с формой среднего рода, но на самом деле не являющийся таковой (Green, 1980, p. 73). А.А. Шахматов высказывал ту же мысль о морфологической маркировке глагола в конструкции *Его убило молнией* (Green, 1980, p. 73).

Т.П. Никитина в диссертации, посвящённой генезису, развитию и синтаксической организации безличной конструкции с именной экспансией во французском, отмечает, что местоимение *il* как десемантизированный показатель безличности «не является непосредственным продолжателем латинского местоимения среднего рода *illum* [*illud?* – Е.З.], но возникло в недрах самого французского языка в связи с потребностью в местоимении среднего рода, лишённом интенсивного указательного значения» (Никитина, 1973, с. 13–14; выделено нами).

Интерпретация *verba meteorologica* как бессубъектных глаголов предложена в работах Н.Н. Арвата «Безличные предложения в современном русском языке» (Черновцы, 1965), Л.И. Василевской «Безличные предложения в типологии синтаксических конструкций (на материале русского языка)» (М., 1976), В.В. Богданова «Семантико-синтаксическая организация предложения» (М., 1977), А.А. Потебни «Из записок по русской грамматике III. Об изменении значения и заменах существительного» (М., 1968), Д.Н. Овсяннико-Куликовского «Из синтаксических наблюдений. К вопросу о классификации бессубъектных предложений» (в «Известиях Императорской Академии наук», отделение русского языка и словесности. Т. 5. Книга 4. 1900), Т.П. Ломтева «Основы синтаксиса современного русского языка» (М., 1958), В.В. Бабайцевой «Односоставные предложения в современном русском языке» (М., 1968), В.Г. Гака «К типологии лингвистических номинаций» (в сборнике «Языковая номинация (общие вопросы)» (М., 1977)), С.Д. Кацнельсона «Типология языка и речевое мышление» (Л., 1972) и, наконец, в академической «Грамматике русского языка» (Т. 2. М., 1954), где *verba meteorologica* определяются как глаголы, которые называют действия, протекающие сами по себе, без производителя (Бирюлин, 1994, с. 19, 47–48). Л.А. Бирюлин, который приводит краткий обзор этой литературы, добавляет относительно последнего из перечисленных источников следующий комментарий: «Точка зрения академической грамматики... по данному вопросу является в русистике наиболее распространённой и по сути дела канонической. Согласно академической грамматике, безличные предложения анализируемого типа считаются – можно подчеркнуть это ещё раз – бесподлежащими, состоящими только из сказуемого или из сказуемого с зависимыми от него второстепенными членами предложения» (Бирюлин, 1994, с. 48).

В.В. Виноградов писал в защиту тезиса об односоставности выражений типа *Светает* следующее: «Психологистическая или логистическая защита

тезиса о необходимой двучленности (или двусоставности) всякого предложения всегда основывалась на отрыве от конкретно-исторического языкового материала и почти всегда опиралась на идеалистические предпосылки о тождестве или параллелизме речевых и мыслительных процессов и на отрицание отражения в речи объективной действительности» (Виноградов, 1975).

А.И. Моисеев выделял, наряду с действительным, страдательным и средним залогами, безличный залог, в котором при глагольном сказуемом вообще нет и не может быть подлежащего (Бирюлин, 1994, с. 125).

«Историческая грамматика русского языка» комментирует древнерусские безличные конструкции типа *...и озеро морози в ночь* следующим образом: «...в этих предложениях нет подлежащего, да оно и не мыслится говорящим» (Букатевиц и др., 1974, с. 238).

А.Н. Гвоздев пишет о конструкциях типа *Его убило молнией*: «Безличные обороты обозначают процессы, не имеющие деятеля, в них творительный падеж обозначает средство, материал, орудие»; он отмечает также, что конструкции типа *День вечереет* и *День светает* являются вторичными, книжными (Гвоздев, 2005; выделено нами).

Б.В. Павлий считает безличные глаголы английского языка имеющими нулевую валентность на семантическом уровне и одновалентными на синтаксическом (из-за *it*) (Павлий, 2002).

Н.С. Валгина пишет, что «категория лица в таких глаголах [*моросит, знобит, тошнит; нездоровится, спится, хочется, смеркается, дремлет* и т.д. – Е.З.] имеет чисто формальное значение, причём это застывшая форма именно третьего лица (или форма среднего рода), и другой быть не может. Действие, обозначенное этой формой, происходит независимо от деятеля, то есть семантика таких глаголов несовместима с представлением об активном деятеле» (Валгина, 2000). Заметим, что Валгина, в отличие от большинства других авторов, исходит из существования формального подлежащего и в русском языке, а именно в конструкциях типа *Это чудесно!*; *Им всё тяжело*.

Во «Введении в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков» говорится, что в английском безличность выражается не отсутствием подлежащего, а семантическим опустошением его, то есть наличием чисто грамматического, формального подлежащего *it* (Швачко и др., 1977, с. 140).

А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов рассматривают русские конструкции типа *Дождит* и *Идёт дождь* как полностью эквивалентные односоставному предложению *Дождь*; эта односоставность объясняется тем, что акцент делается только на описании события / ситуации без указания деятеля (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 155). О местоимении *es* в немецких конструкциях типа *Es regnet (Дождит)* они замечают, что речь идёт о чисто формальном подлежащем.

Г.В. Колшанский видит в том же местоимении *es* аналитическое выражение субъекта, передающее его формальный признак (именительный падеж), в то время как имя в косвенном падеже в конструкциях типа *Es hungert*

miş (дословно: *Меня голодит*) передаёт предметную сущность субъекта (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 156).

Есть и другая точка зрения, представленная единичными высказываниями. Например, А.М. Лаврентьев видит в безличной форме глаголов типа *Его убило молнией* неназванную природную силу (Lavrent'ev, 2004). Собственно, природная сила здесь уже названа – молния, но, возможно, автор подразумевает грозу.

Рассмотрим также мнения нескольких западных учёных. Одно из наиболее поздних изданий, в которых утверждается, что за формой 3 л. ед. ч. скрываются духи, датируется 1966 г., но является перепечаткой издания 1930-х гг. (Hudson-Williams, 1966, p. 77). В 1944 г. Ф. Шпехт высказал мнение, что все индоевропейские предложения были личными, а называемые безличными конструкции являются сокращениями от *Зевс сверкает*, *Снег снежит* и т.д.; этим автор демонстрирует антропоморфизацию окружающего мира древним человеком и принципиальную двусложность высказываний (до)индоевропейского (Specht, 1944, S. 336, 292–293).

В работах конца XX – начала XXI в. подобные мнения уже практически не встречаются. Упомянутая выше И. Горзонд отмечает, что в отдельных случаях складывается впечатление, будто безличное местоимение вводится исключительно для поддержания ритма речи (Gorzond, 1984, S. 78–79), в остальных случаях его присутствие обусловлено жёстким порядком слов SVO. Примерно в том же духе высказываются все или почти все авторы, затрагивающие эту тему.

У.Л. Чейф в книге «Значение и структура языка» (1975) называет предложения типа *It's raining* (*Идёт дождь*) амбиентными и утверждает, что глагол здесь представлен в качестве «всеохватывающего» элемента, подразумевающего события безотносительно к предмету окружения (Павлий, 2002). Подлежащее “it”, по мнению Чейфа, является лишь поверхностным элементом.

Ещё в 1900 г. Г. Свит писал, что в безличных конструкциях, относящихся к природным феноменам, глагол объединяет в себе субъект и предикат, а формальное подлежащее является следствием особенностей грамматической структуры английского (Sweet, 1900, p. 93).

По мнению Ф. Миклошича, в предложениях типа лат. *Pluit* (*Дождит*) подлежащее не только не выражено, но и не мыслится (Некрасов, 1881; Тупикова, 1998, с. 75).

Я. Гримм говорит, что назначение *es* – исключать всякую реальную личность, всякий осязательный денотат (Некрасов, 1881).

Л. Янда пишет по поводу русского глагольного окончания 3 л. ед. ч., что его функция – это маркировка невозможности согласования с субъектом: “...if a nominative subject is present, a verb agrees with it (according to some subset of person, number, and gender, depending upon tense), but if there is no nominative subject, a verb will have default (neuter singular) agreement” (Janda, 2005). Относительно конструкций типа *Его убило молнией* она замечает, что невозможность использования на месте *молнией* существительных с одушевлёнными денотатами объясняется тем, что такое употребление могло бы имплициро-

вать воздействие на человека какой-то тайной силы вместо акцентирования самого действия.

В. Бранденштайн – первый или один из первых, кто связал возникновение формального подлежащего с анализацией – показал, что в предложениях типа *Morocum* и *It's raining* событие мыслится само по себе, а потому не имеет смысла искать за формой глагола или местоимением *it* какие-то таинственные силы. Аналогично у В. Майера-Любке: «Говорящий замечает одно лишь действие, не заботясь о творце этого действия, или не имея возможности создать себе представление о таковом, и потому выбирает ту форму *verbum finitum*, которая грамматически является наиболее неопределённой» (цит. по: Кацнельсон, 1936, с. 29–30).

Как отмечается в книге «Пассив. Сравнительный лингвистический анализ» (А. Siewierska, 1984), в датском, шведском и голландском языках вместо местоимения «это» употребляется бывшее наречие «здесь», которое также не относится к каким-либо денотатам (“[t]hese pronouns have no meaning and no referent”) и функционирует в качестве формального подлежащего: швед. *Det skjuts ute* (*Старужи стреляют*) (Siewierska, 1984, p. 108).

Американский исследователь С. Пинкер в конце XX в. писал, что «в Стандартном Американском Английском (SAE) используется *there* в качестве вспомогательного подлежащего, не имеющего конкретного значения» (Пинкер, 1999 а).

Чешский лингвист Р. Мразек пишет о различиях в оформлении безличности в синтетических и аналитических языках, что независимо от использования флексии или местоимения 3 л. ед. ч. речь идёт о безреферентных элементах: «Славянские языки обязательно оставляют левовалентную позицию предиката пустой в асимметричных сообщениях о подлинно безличных, безэффицентных действиях и состояниях» [сноска: «Только в лужицких, под влиянием немецкого, параллельно появляется местоимение *wono, to*» – Е.З.]; напр., слц. *Ochladilo sa*; в.-л. *Před wočomaj so mi zaćmi*; слн. *Danilo se je*, р. *У меня в горле пересохло*; б.-р. *Было ўжо за поўнач*. Важно подчеркнуть, что здесь перед нами, собственно, глагольная форма не-лица, выходящая за рамки парадигмы *я + х, ты + х, он, она, оно + х*, поэтому даже в вост.-слав. языках будет, напр. не р. **Оно темнеет*, **Оно во рту пересохло*, а нуль показателя безличности: *Темнеет*, *Во рту пересохло*. Напротив, западноевропейские языки ставят и здесь большею частью 3-е л. ед. сред. р. в роли чисто формального субъекта: нем. *Es dunkelt schon*, англ. *It was raining*, фр. *Il fait froid*» (Мразек, 1990, с. 27).

Далее Мразек ещё раз замечает, что глаголы типа *Светает* не имеют валентности слева (Мразек, 1990, с. 90).

У. Леман видит в форме 3 л. ед. ч. признак стативного класса глаголов языка активного строя; предложения типа *Зевс дождит* представляют, по его мнению, более поздние образования, свидетельствующие о номинативизации индоевропейских языков (Lehmann, 1995 а, р. 57, 74). По поводу теории антропоморфизации окружающего мира древним человеком и его «примитивном» мышлении он пишет, что подобные взгляды были популярными на ранней ста-

дии исследований, но со временем антропологи сочли их неправомерными (Lehmann, 1991, p. 34). У. Леман обращает также внимание на то, что глаголы неволитивного действия / состояния, включая «метеорологические», в активных языках употребляются в форме 3 л. ед. ч. (Lehmann, 1991, p. 33).

Б. Бауэр полагает, что форма 3 л. ед. ч. у безличных глаголов указывает на то, что употребление первого и второго лица с ними невозможно, “this grammatical person therefore is not referential, it does not inherently refer to a person. Consequently, there is no person specification in the verb itself because the third-person singular is the only form of the paradigm. Since there is no person specification in the verb form itself, it only conveys the state (or the event in weather verbs)” (Bauer, 2000, p. 148). Возникновение формального подлежащего Б. Бауэр связывает со становлением жёсткого порядка слов (Bauer, 2000, p. 95). Примеры типа *Zevc дождит* она считает вторичными, так как они встречаются в памятниках древних языков только в единичных случаях (Bauer, 2000, p. 106). Кроме того, имена богов этимологически не связаны с названиями явлений природы (редкое и возникшее поздно исключение – лит. *Perkunas – Бог грома = perkunas – гром*), то есть изначально имена не ассоциировались с ними и не были произведены от них. Каких-либо устойчивых мифологических ассоциаций определённых богов с явлениями природы тоже не наблюдается, то есть одни и те же боги у разных народов отвечали за различные явления.

А. фон Зеефранц-Монтаг полагает, что встречающиеся в художественной литературе случаи замены формальных подлежащих на имена богов являются скорее художественным приёмом, чем выражением реального мировоззрения (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 27, 44; ср. Brugmann, 1925, S. 20–21). Попытки некоторых авторов (Я. Гёбеля, В. Хафферса, Я. Вакернагеля, Р. Триппа, Х. Вагнера) увидеть за безличными предложениями веру использующего их народа в действие неких божественных сил, а тем более попытки увидеть в употреблении таких конструкций признак примитивности соответствующего народа¹ она называет импрессионистическими, хотя и признаёт, что истинная причина возникновения таких конструкций в индоевропейском языке остаётся неизвестной (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 48–49). Свою точку зрения ав-

¹ Ср. отрывок из работы немецкого лингвиста В. Хафферса о примитивности народов, употребляющих безличные конструкции (раздел «Примитивная духовная культура»): «Здесь [при переходе от безличных конструкций к личным – Е.З.] мы имеем дело со сменой в мировоззрении... Если древние люди верили в духов и демонов, конкретизировали понятия любви, ненависти, страха, ожидания, сожаления, желания и т.д., то затем, в результате культурного прогресса и развития рационализма, исчезла почва для дальнейшего существования пассивообразных безличных конструкций. Так, например, Ф. Аронштайн... объясняет развитие сферы личных конструкций в английском как результат естественного развития: "Примитивный человек видит вокруг себя чуждые и непонятные ему силы, которые не поддаются его контролю, но которые предопределяют его духовную и физическую жизнь. Он называет эти силы только в третьем лице или по аналогии с обычным типом предложения безличным местоимением «оно». Но со временем растёт его уверенность в себе, он всё больше ощущает себя как производителя действия, а вещи – как результат этого действия". Примечательно., что именно в английском сфера личных конструкций распространилась столь повсеместно. Это совпадает с основной характеристикой английского характера – с английской уверенностью в себе и активностью» (Havers, 1931, S. 105).

тор подтверждает тем, что в безличных предложениях древнеанглийского, древненемецкого и исландского формальное подлежащее было введено значительно позже, чем стали употребляться обычные местоимения-субъекты вместо окончаний глаголов в личных предложениях. Если бы формальное подлежащее имело какое-то семантическое наполнение, такой временной разрыв был бы невозможен (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 50). Она указывает также на то, что обычно появление безреферентных местоимений коррелирует с типичными признаками отмирания синтетических способов выражения грамматического значения (как следствие этого появляются артикли, перед сказуемыми начинают ставить опускавшиеся ранее местоимения-подлежащие, так как порядок слов становится более жёстким); по аналогии с личными предложениями перед глаголами с нулевой валентностью постепенно вводят «символическую» замену субъекта в виде безличного местоимения (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 54).

Нельзя утверждать, что все зарубежные авторы считают форму 3 л. ед. ч. ср. р. семантически пустой. По-прежнему иногда, хотя и крайне редко, можно встретить утверждения, что в соответствующих глагольных окончаниях или безличных местоимениях подразумевается или когда-то подразумевался Бог, что само имя Бога опускали из страха, что имперсонал есть проявление примитивного и иррационального мышления (Fónagy, 2001, p. 691–692; Fónagy, 1999, p. 28–29) (в данном случае цитируемый нами автор ссылается на А. Вежицкую). Дж. Гринберг считает, что форму 3 л. можно назвать собирательной, «суррогатом» всех лиц, так как она является наименее маркированной, употребляющейся более часто, по сравнению с 1 и 2 л. (Greenberg, 1976, p. 44–45). Например, в проверенных им корпусах соотношение 1, 2 и 3 л. составило (в %) в санскрите 11,3 : 34,6 : 54,1, в латыни – 29,3 : 24,5 : 45,3, в русском – 31,9 : 17,7 : 50,4. Из этого он делает вывод, что форма 3 л. в безличных конструкциях заменяет собой все лица. Впрочем, несколькими страницами раньше он приводит другую статистику, из которой следует, что в латыни 1 л. употребляется чаще 3 л. (1932 против 1562, если сложить ед. и мн. ч.; по данным пьес) (Greenberg, 1976, p. 35). Кроме того, как мы уже отмечали, прототипичность лица едва ли может иметь какое-то отношение к прототипичности агенса, даже если третье лицо действительно употребляется чаще остальных. Наконец, форма среднего рода в имперсонале явно исключает понятие какого-либо деятеля.

Таким образом, в современной лингвистике преобладает точка зрения, согласно которой за формой глагола 3 л. ед. ч. в синтетических языках (*Дождит*) и за эквивалентным ей формальным подлежащим в аналитических языках (*It's raining*) никаких мистических сил не скрывается. Этнолингвисты, которые ищут признаки «иррациональности» русского национального характера в безличных предложениях, об этом обычно не упоминают.

Возможно, следует также добавить, почему конструкции типа *Дождит* не употреблялись с формальным подлежащим с самого начала: дело здесь не только в том, что то же значение выражалось окончанием, но и в отсутствии

местоимения среднего рода в индоевропейском языке (ср. Henry, 1894, p. 274; Mallory, Adams, 2006, p. 415). М. Кламер указывает на тот факт, что в современных активных языках вместо местоимений-подлежащих обычно используются аффиксы (Klamer, 2007). М.М. Гухман полагала, что 3 л. вторично и образовалось по аналогии с первым и вторым после окончательного разграничения имени и глагола (Климов, 1977, с. 139). В некоторых древних индоевропейских языках неоформленность 3 л. чётко просматривается: например, в древнеисландском вместо личного местоимения «оно» употребляется указательное «это» (Стеблин-Каменский, 1955, с. 87, 91).

Та же этимология местоимений 3 л. просматривается в древнерусском (ср. Тупикова, 1998, с. 98–99; Букатеви́ч и др., 1974, с. 161; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 213; Иванов, 1983, с. 298–299; Timberlake, 2004, p. 117), как и в большинстве языков мира (Бабаев, 2007; ср. Mallory, Adams, 2006, p. 415; Greenberg, 2000, p. 81). В качестве подлежащего местоимения 3 л. стали более или менее регулярно употребляться в русском языке только в XV в. (Букатеви́ч и др., 1974, с. 239).

Выбор именно формы 3 л. ед. ч. для оформления имперсонала обусловлен, как полагают некоторые учёные, её максимальной отвлечённостью от категории деятеля, особенно одушевлённого: «...формы безличного глагола выражают мысль более или менее отвлечённо; потому-то и пользуются или 3 л. глагола, или неопределённым наклонением и существительным, выражающим понятие не столь наглядно, как выражает сам глагол» (Ф.И. Буслаев; цит. по: Тупикова, 1998, с. 72; ср. Борковский, Кузнецов, 2006, с. 384; Veneniste, 1974, S. 285). Н.А. Тупикова пишет, что «при характеристике формы 3 л. чаще всего отмечается, что она выражает соотнесённость действия с таким субъектом, который противостоит 1-му и 2-му лицу как "третье лицо" и сигнализирует об отсутствии отношения к говорящему и адресату» (Тупикова, 1998, с. 73).

Вспомним, что в активных языках, к которым, очевидно, принадлежал индоевропейский, место подлежащего могли занимать только одушевлённые субъекты, поэтому постановка глагола в форму среднего рода заведомо сигнализирует, что об истинном деятеле речи здесь идти не может. Другого способа выразить ту же мысль грамматически, возможно, и не было.

3.2. Конструкции типа *Его убило молнией*

А. Вежбицкая, в отличие от перечисленных выше авторов, в одной из ранних работ (“Czy istnieją zdania bezpodmiotowe?”, *Język Polski*, XLVI, 3, p. 177–196) приходит к выводу о том, что в безличных конструкциях подлежащее всё-таки существует и выражено нулевой лексемой-существительным. Как и некоторые другие авторы, в том числе советские (Е.А. Седельников, И.А. Мельчук, М.В. Панов), она полагает, что за этими существительными скрывается некое обобщённое значение, например, стихии – в предложениях *Улицу засыпало песком*, *Морозит* (Бирюлин,

1994, с. 61). По её мнению, при желании в безличных конструкциях практически всегда можно найти опущенный субъект (Мразек, 1990, с. 88). Её примеры: поль. *Grzmi > Grom grzmi; Pada > Guszcz pada; Świta > Już poranek świta; Ochtodzito się > Powietrze ochtodzito się*. В русском эквиваленте: *Дождит > Дождь дождит; Снежит > Снег снежит* и т.п.

Очевидно, на этом аргументе основывается её теория о действии таинственных сил в некоторых русских безличных конструкциях. В частности, в формах 3 л. ед. ч. она видит выражение феноменологического взгляда на мир: «Синтаксическая типология языков мира говорит о том, что существует два разных способа смотреть на действительный мир, относительно которых могут быть распределены все естественные языки. Первый подход – это по преимуществу описание мира в терминах причин и их следствий; второй подход даёт более субъективную, более импрессионистическую, более феноменологическую картину мира (ср. Bally, 1920).

Из европейских языков русский, по-видимому, дальше других продвинулся по феноменологическому пути. Синтаксически это проявляется в колоссальной (и все возрастающей) роли, которую играют в этом языке так называемые безличные предложения разных типов» (Вежбицкая, 1996).

Именно «феноменологическим путём» русского языка А. Вежбицкая объясняет употребление конструкций типа *Его переехало трамваем* и *Его убило молнией*: «В этой конструкции непосредственная причина событий – трамвай или молния – изображена так, как если бы она была "инструментом" некоей неизвестной силы» (Вежбицкая, 1996). Наличие аналогичных или похожих конструкций в других индоевропейских языках не комментируется, ср. лат. *Si hominem fulminibus occisit* (Если человека убило молниями): автор, приводящий этот пример, напрямую сравнивает его с рус. *Его убило молнией* (Havers, 1931, S. 106)¹; англ. *The hat blew into the river* (дословно: *Шляпа сдула(сь) в реку*); хотя в данном случае использована «грамматическая персонификация», значение предложения примерно соответствует рус. *Шляпу сдуло в реку*; исл. *Eldingu slo niður i husið* (Молнией ударило в дом): «молния» стоит в дативе, обозначающем быстрое воздействие на объект; творительного падежа в исландском нет; *Batnum hvolfði* (Лодку перевернуло): «лодка» стоит в дативе; *Batinn rak a land* (Лодку отнесло к берегу): «лодка» стоит в аккумулятиве, обозначающем длительное воздействие на объект (Onishi, 2001 а, р. 34); *Batinn fyllir* (Лодку заливает) (акк.) (Andrews, 2001, р. 103), укр. *Повіddю знесло міст; Жито вибило градом*; белорус. *Дарогу заб'е снегам*; поль. *Droge zawiało śniegiem* (Дорогу

¹ Заметим, что Ян Пухвел видел в конструкциях типа лат. *Fulminibus hominem occisit* (где «молниями» стоит в аблативе, «человека» – в аккумулятиве, а глагол – в форме 3 л. ед.ч.) и *Mi piget* признаки эргативности индоевропейского языка (Baueg, 2000, р. 52). По его мнению, однако, эргатив был не причиной, а следствием имперсонала, что едва ли возможно, если учитывать явно остаточный характер безличных конструкций в древних индоевропейских языках (там же). Аблатив, в котором стоит слово «молниями» в *Fulminibus hominem occisit*, несёт инструментальное значение (ср. Bomhard, Kerns, 1994, р. 187).

занесло снегом); слов. *Zasypalo jich vřetkřch lavinou* (Мразек, 1990, с. 104). Не комментирует она и более чем вероятное существование данной конструкции в индоевропейском, где конструкции с неодушевлёнными производителями действия были нетипичны и оформлялись творительным падежом (см. выше). Наконец, А. Вежбицкая не обращает внимания на то обстоятельство, что при её толковании формы творительного падежа ничего не мешает употреблять в данном типе конструкций и одушевлённых производителей действия (по принципу *Человека убило собакой = Бог наслал на человека собаку, чтобы его убить*). Как известно, это невозможно¹. Непонятно, почему таинственные силы, предполагаемые Вежбицкой, могут орудовать штормами (*Штормом смыло часть острова*) и землетрясениями (*Город разрушило землетрясением*), но не могут принудить к действию даже муравья.

Тем же «феноменологическим путём» Вежбицкая объясняет форму глагола в предложениях типа *Стучит!* (Вежбицкая, 1996), оставляя без комментариев английский эквивалент с формальным подлежащим *there*: *To bed, to bed; there's knocking at the gate* (В. Шекспир. Макбет); англ. *There is a knock / Something is knocking* – нем. *Es klopft (Стучит)* (Deutschbein, 1953, S. 266), англ. *There is a smell of violets* – нем. *Es riecht nach Veilchen (Пахнут фиалками)* (Deutschbein, 1917, S. 110), *There was a slight frost (Чуть подморазивало)*; *There were outside noises on the line (В трубке щёлкало и шипело)* (Копров, 2000, с. 105).

Таким образом, мнение А. Вежбицкой о природе формы 3 л. ед. ч. глагола в русских безличных конструкциях не соответствует мнению большинства отечественных и зарубежных учёных. Кроме того, приводимые ею примеры не являются безэквивалентными в других языках, в том числе английском, который она противопоставляет русскому языку по шкале агентивности. Разница заключается только в оформлении одинакового смысла способами, характерными для синтетических или аналитических языков: если в русском для обозначения безличности (отсутствия деятеля) достаточно флексии, то в английском, где флексии практически полностью исчезли, требуется некое компенсирующее средство, которым и является в данном случае формальное подлежащее. Творительный падеж слова *трамваем* в предложении *Его переехало трамваем* не указывает на некую тайную силу, а дополнительно маркирует агентивность, поскольку для индоевропейского использование существительных с неодушевлёнными

¹ Ср. «Такие безличные обороты [типа *Его убило молнией* – Е.З.] употребительны только по отношению к силам природы (*ветер, гроза, гром*), предметам (*дерево, пуля*), веществам (*пыль, снег*), вообще неодушевлённым предметам. Наоборот, они неупотребительны, когда речь идёт о лицах (*Рабочий пробил стену*, но не: *Рабочим пробило стену*) и животных (только: *Кошка опрокинула стакан*, но не: *Кошкой опрокинуло стакан*), что и объясняется тем, что лица и животные (составляющие категорию одушевлённости) выступают как активно действующие субъекты, и это их участие в действии резко отграничено от значения средства и орудия действия» (Гвоздев, 2005; ср. Green, 1980, p. 230).

ми денотатами при активных глаголах было нетипично. Вернее, такова была, возможно, функция творительного падежа раньше, если данная конструкция является пережитком доминативного строя; сейчас же нам представляется более вероятным другое объяснение: творительный падеж снимает акцент с производителя действия и переносит его на само действие. Таким образом, имело место переосмысление эргативной или активной конструкции для тематического членения предложения в рамках номинативного строя.

Отметим, что безличные конструкции действительно часто употребляются в русском фольклоре и для описания необъяснимых, загадочных явлений, когда производитель действия неизвестен¹. Объясняется это тем, что форма 3 л. ед. ч. является наиболее нейтральной, наиболее отдалённой от категории агенса, и потому именно она более других пригодна для описания действий с неопределённым каузатором, для деактуализации агенса. Это не должно, однако, означать, что во всех предложениях такого рода существует неопределённый каузатор. Напротив, как мы покажем ниже, конструкции типа *Его ранило* практически всегда используются для описания банальных повседневных событий, где каузатор понятен из контекста и потому не упоминается, а основной акцент делается на самом действии. То есть речь идёт опять же о тематическом членении, о переосмыслении деноминативной конструкции.

Что касается «синтаксической типологии языков», которую упоминает А. Вежбицкая в приведённой выше цитате, то, действительно, выдающийся французский лингвист Ш. Балли, на которого она ссылается, не устоял перед искушением возвеличить свой родной язык (аналитический французский) за счёт «отсталых» синтетических языков типа русского. За это он многократно подвергался критике, так как его аргументы, хотя и соответствовали духу времени (многие знаменитые учёные начала XX в. занимались тем же), не имели под собой никакой серьёзной фактической базы. Недавно вышедшее русское издание книги Ш. Балли «Язык и жизнь» начинается с предисловия профессора В.Г. Гака, в очередной раз раскритиковавшего взгляды автора на аналитические и синтетические языки (Гак, 2003), поэтому основывать свои выводы на данных синтаксической типологии этого автора представляется нам столь же некорректным, как и использование прочих устаревших типологий, например, типологии немецкого лингвиста Ф. Кайнца, делившего языки на индивидуалистические и коллективистские: в частности, признак свободолобивого индивидуализма немцев он видел в свободном порядке слов немецкого предложения; немцам противопоставлялись «коллективисты»-французы с их жёстким порядком слов (Langenmayr, 1997, S. 331).

¹ Ср. «По материалам записей [быличек – Е.З.], сделанных в 1988 г. в Белозёрском крае, можно классифицировать сюжеты с субъектом действия; вольным, лешим, хозяином дома, бани и других построек, колдуном. Часто вместо реально действующей силы для её обозначения употребляются безличные конструкции (*его увело*)» (Басилашвили, Федотова, 1994).

Как отмечалось выше, истинная природа безличных предложений остаётся на сегодня неизвестной. Однозначных данных синтаксической типологии в этом отношении не существует и не может существовать, пока вопрос остаётся открытым. Одни авторы исходят из особенностей психики древних людей, другие – из упомянутого А. Вежбицкой феноменологического взгляда на мир (в индоевропейском, распавшемся 5 000 (Lehmann, 1972, p. 243), 6 000 (Nichols, 1992, p. 25; Ringe, 2006, p. 4), 7 000 (Иванов, 2004, с. 135) или 10 000 (Williams, 1911, p. 2) лет назад), третьи – из чисто грамматических особенностей индоевропейского языка (мы здесь придерживаемся последней точки зрения).

Е.М. Галкина-Федорук, подробно описавшая все крупные и влиятельные работы на эту тему, приходит к следующему выводу: «Решить вопрос о генезисе, специфике безличных предложений никому не удалось» (Галкина-Федорук, 1958, с. 51). В 1994 г. Л.А. Бирюлин писал, что «несмотря на то, что основные вопросы, связанные с анализом имперсонала, на протяжении вот уже почти двух столетий активно дискутируются, они не получили в грамматической теории однозначного решения» (Бирюлин, 1994, с. 8). В 2000 г. В.Ю. Копров после рассмотрения различных типов безличных предложений соглашается с П.А. Лекантом: «Мы не можем утверждать, что данная категория всесторонне изучена, что все спорные вопросы решены; напротив, их становится больше» (Копров, 2000, с. 67). Возвращаясь к вопросу о предложениях типа *Его переехало трамваем*, отметим, что даже в самых современных работах по этой теме причина их возникновения не называется: «Относительно предложений со стихийным каузатором (*Гроза разбила дерево – Грозой разбило дерево*) Ю.С. Степанов и другие авторы высказываются в пользу исторической первичности безличной конструкции. Оставляем этот вопрос открытым» (Золотова, Онипенко, Сидорова, 2004, с. 131); «...исследования безличных конструкций с инструменталисом и попытки описать их использование привели к возникновению широкого спектра противоречащих друг другу мнений» (Green, 1980, p. 38).

Р. Мразек видит в конструкциях типа *Грозой разбило дерево* отклонение от типичной схемы номинативного строя и признаёт первичность за безличным типом (Мразек, 1990, с. 103). Он отрицает существование некой безличной силы, якобы скрывающейся за формой творительного падежа: «Наша модель наделена семантикой воздействия на прямой объект стихийной (часто – разрушающей) силы; в этом и заключается её инвариант. Однако нельзя, как правило, трактовать эту семантику в том смысле, будто бы речь идёт о действии "непознанной" или даже "мифологической" силы, ибо эта стихийная сила обычно указывается существительным в форме творительного падежа» (Мразек, 1990, с. 103).

Мразек приводит свои данные по универсальным тенденциям употребления имперсонала в различных языках мира: эти данные никак не вяжутся с той синтаксической типологией языков, о которой говорит А. Вежбицкая, но полностью соответствуют тем результатам количественных исследований, которые мы приводили во второй главе: «Исключив всё то, что не входит в рамки примарных, исходных глагольных бесподлежащих предложений,

можно задуматься над вопросом: существует ли общий семантический инвариант этих предложений? Ответ будет положительным. Инвариант этот заключается в следующем: сообщать о денотативных явлениях, не поддающихся сознательному воздействию и контролю, следовательно – о явлениях сугубо спонтанных (непроизвольных, или же чисто каузальных, а не финальных) и в числе их зачастую прямо стихийных» (Мразек, 1990, с. 89).

Если языковая структура позволяет обходиться без подлежащего (а эту способность Мразек связывает с высокой степенью синтетичности), неволитивность и спонтанность получают специальное оформление в виде безличной конструкции; если нет, то язык передаёт то же значение личными конструкциями. Эти данные синтаксической типологии представляются нам значительно более надёжными, чем данные Ш. Балли.

В.И. Борковский указывает на то, что конструкции типа *Его убило молнией* употреблялись уже в древнерусском, как и прочие конструкции, имеющие отношение к различным природным явлениям (типа *Смеркалось*) (Борковский, 1968, с. 134–137). Это, однако, нельзя расценивать как окончательное доказательство существования подобных конструкций в индоевропейском. Поэтому, повторимся ещё раз, никакой общепризнанной синтаксической типологии, делящей все языки на субъективные (с феноменологическим взглядом на мир) и объективные (с рациональным взглядом), не существует; есть только мнения отдельных учёных начала XX в., исходивших из превосходства родного языка над остальными. Хотя мы следуем здесь теории денотативности индоевропейского языка, подтверждающей первоначальную безличность конструкций типа *Грозой разбило дерево* (в том смысле, что здесь нет и не было скрытого или опущенного подлежащего), мы, как и наши предшественники, вынуждены оставить этот вопрос открытым.

Следует добавить, что отдельные авторы видят следы иррациональности в бесподлежащих предложениях типа *Стучат*: «Иррациональность как черта русского характера проявляется хотя бы в той огромной роли, которую играют в нашем языке безличные предложения. Эти конструкции предполагают, что мир в конечном счете являет собой сущность непознаваемую и полную загадок, а истинные причины событий неясны и непостижимы. Например: "Вечереет" или "Стучат"» (Чернявская, 2000).

А. Вежбицкая таких примеров, насколько нам известно, не приводит (её пример – *Стучит!*, где форма глагола соответствует безличной). В случае *Стучат* форма множественного числа глагола относится не к каким-то мистическим силам, а к неопределённому числу лиц, то есть к одушевлённому агенту, точные параметры которого неизвестны. Для перевода на английский можно использовать всё то же формальное подлежащее “there” (*There’s knocking*) или слова типа «кто-то» (*Somebody is knocking*).

Глава 4

ПАССИВ В АНГЛИЙСКОМ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РУССКИМ БЕЗЛИЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

4.1. Безличные конструкции с постфиксом *-ся*

Сначала приведём несколько определений. **Залог** – это глагольная категория, выражающая различные отношения между субъектом и объектом действия. В русском языке категорию залога имеют только переходные глаголы, поэтому данная категория имеет более частный характер, чем категория вида или времени.

Под **рефлексивом (возвратным залогом)** мы понимаем залог, отображающий тождество между объектом и субъектом (аналог в русском: *Он одевается*). **Медий (медиум, средний, или медиальный, залог)** обозначает действие, сосредоточенное на субъекте, в то время как объект этого действия не упоминается (аналог в русском: *Жена ругается, Собака кусается*). В современном русском переходные глаголы имеют **возвратно-средний залог (средне-возвратный)**, то есть смесь рефлексива и медиа. Этот залог часто противопоставит английскому пассиву: *His shoes were blistered as if he had held them, uncaring, in the mouth of a stove, motionless, forever* (*Ботинки покрылись трещинами и волдырями, словно старик бесконечно и неподвижно стоял возле пылающей печи, засунув их, не жалея, в её огнедышащую пасть*) (Андреева, 2005); *Я оделась (I got dressed)*; *Он родился (He was born)*; *Окно не открывается (The window cannot be opened)*; *Кинотеатр находится недалеко отсюда (The movie theater is located not far from here)*; в двух последних случаях в русских предложениях употреблены так называемые безобъектно-возвратные глаголы, обозначающие действие вне отношения к объекту, как постоянное активное или пассивное свойство субъекта.

Распространённость в русском языке безличных конструкций можно считать дополнительным функциональным соответствием более широкому употреблению пассива в английском. Безличные конструкции категорией залога не охватываются (Гиро-Вебер, 2001, с. 76), то есть английским пассивным конструкциям противопоставят русские незалоговые: *Эту книгу можно читать (This book can be read)*; *Не слышно ни звука (No sound is (can be) heard)*; *В спину ему ударило тяжёлым мешком, завалило соломой (He was struck heavily in the back by a falling sack and half-buried in straw)*; *Здесь Глеба ранило (Here Gleb was wounded)*. Особое внимание следует обратить на пример *В спину ему ударило...* Речь идёт о конструкции, отсутствующей в большинстве современных западных языков и передающей значение пассива, ср. рус. *Город разрушило / был разрушен землетрясением* vs. нем. *Die Stadt wurde durch ein Erdbeben zerstört* (А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов объясняют эту

разницу между русским и немецким меньшей степенью номинативности русского) (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 105).

Категория залога в русском языке развита не так сильно, как в английском. Это обусловлено относительной немногочисленностью переходных глаголов, продемонстрированной в главе «Безличные конструкции в языках мира: обзор»¹. В свою очередь, немногочисленность переходных глаголов обусловлена близостью русского к строю индоевропейского праязыка, в котором, как было показано выше, глаголы делились не на транзитивные / интранзитивные, а на активные / инактивные (стативные). Заметим, что непереходные глаголы и сейчас часто обозначают состояния («болеть», «спать», «грустить», «горевать», «радоваться») или (реже) неволитивные действия типа «думаться», что свидетельствует об их происхождении из стативных глаголов. Можно предположить, что расширение сферы переходных глаголов в английском языке напрямую связано с продуктивностью конверсии. В русском конверсия встречается крайне редко из-за чёткой разграниченности частей речи. Кроме того, языкам с развитой падежной системой труднее уложиться в стандартную схему «номинатив > глагол > аккузатив», поскольку субъект и/или объект часто употребляются в неканоническом падеже для обозначения каких-то оттенков смысла. О прямой взаимозависимости языкового типа и развитости пассива пишет в «Сравнительном синтаксисе славянских литературных языков» Р. Мразек: «Номинативный строй предложения, с именительным падежом подлежащего, не занимает монопольного положения [в восточнославянских языках – Е.З.]... При деконкретизации денотативного персонического субъекта интранзитивных действий преобладают непассивные морфологические средства; деспецификация неодушевлённого, предметного субъекта часто реализуется нулём подлежащей позиции» (Мразек, 1990, с. 34).

А.Л. Зеленецкий напрямую связывает бóльшую сферу употребления пассива в английском языке с его ярко выраженной номинативностью (Зеленецкий, 2004, с. 168; ср. Копров, 2000, с. 71). В эргативных языках пассива нет, залоговое противопоставление часто отсутствует (Копров, 2000, с. 71; Климов, 1981, с. 48, 60; Гухман, 1967, с. 61; Дьяконов, 1967, с. 101), оно появляется только при переходе от эргативного строя к номинативному (Климов, 1973 а, с. 175). Нет пассива и в языках активного строя, как и залога вообще (Wichmann, 2007; Wichmann, 2008; Климов, 1973 б, с. 443; Климов, 1977,

¹ Ср. «Исторический анализ синтаксиса отдельных индоевропейских языков показывает процесс постепенной грамматизации первоначально чисто лексического деления глаголов на две группы (переходные и непереходные). Деление это лишь путём длительного абстрагирования от конкретных случаев словоупотребления в том или ином смысловом контексте приобретало закономерный синтаксический характер, но до сих пор не получило, однако, специального морфологического оформления. [...] Определяющим моментом здесь является обусловленная лексическим значением способность тех или иных глаголов иметь при себе прямое дополнение. Существенную роль в развитии процесса "грамматизации" переходности и непереходности играет также становление категории страдательного залога, происходящее в индоевропейских языках уже в эпохи, засвидетельствованные письменными памятниками. Возможность образования страдательного залога может рассматриваться уже как формально-грамматический критерий переходности...» (А.В. Десницкая; цит. по: Климов, 1977, с. 181).

с. 139; Velázquez-Castillo, 2004; Панфилов, 2002; Lehmann, 2002, p. 29; Lehmann, 1995 b, p. 55; Justus, 1999, p. 613). Р. Диксон, правда, с этим не соглашается, указывая на существование антипассивной конструкции (Dixon, 1994, p. 216), но его мнение стоит особняком.

Именно со становлением категории залога, наблюдавшимся в индоевропейских языках уже в исторический период, С.Д. Кацнельсон связывал возникновение категории субъекта в именительном падеже (Кацнельсон, 1986, с. 163). В эргативных языках, полагал он, столь чёткого понятия субъекта нет, так как эргатив, будучи падежом субъекта, одновременно может иметь орудийное и родительное значение (то есть значение косвенных падежей), а абсолютный падеж, то есть падеж дополнения, используется и для оформления субъекта при непереходных глаголах (Кацнельсон, 1986, с. 166).

У. Леман связывает развитие пассива в индоевропейских языках с переходом от активного строя к номинативному (Lehmann, 1995 b, p. 54–55).

В языках номинативного строя (не только индоевропейских) пассив развивается на основе стативных, аффективных и возвратных форм (Панфилов, 2002). Зачастую они семантически близки к перфекту и описывают результат действия, которому подвергся денотат дополнения в активной конструкции, и/или его состояние. Из этого, кстати, Р. Диксон делает вывод, что в тех языках, где эргативная конструкция встречается только в прошедшем времени или совершенном виде, она, вероятно, возникла при реинтерпретации пассива (Dixon, 1994, p. 190). При этом денотат, выражаемый подлежащим, не может повлиять или слабо влияет на развитие событий.

Рассмотрим процесс становления залога в индоевропейском более подробно, чтобы понять, почему русским возвратным глаголам средневозвратного и активного залога так часто противостоит английский пассив. В индоевропейском праязыке страдательный залог, очевидно, отсутствовал (“The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 55; Климов, 1977, с. 22; Lehmann, 1991, p. 34; Hettrich, 1990, S. 58; Bauer, 2000, p. 337; Mallory, Adams, 2006, p. 63), а его значения передавались средним, что иногда можно наблюдать и в современных языках, ср. нем. *Durch ihn hat sich das Gerücht verbreitet...* – *Через него распространился слух...* (Brugmann, 1904, S. 601; ср. Hirt, 1937. Bd. 5, S. 198–199; Ringe, 2006, p. 26; Hudson-Williams, 1966, p. 77; Green, 1966, p. 3). В древнейших индоевропейских текстах, написанных на хеттском языке (XVII–XII вв. до н.э., Малая Азия), пассив встречается относительно редко, но та же семантика передаётся медиумом (Friedrich, 1974, S. 136). Средний залог, как и перфект, развился из стативного спряжения доиндоевропейского языка (Lehmann, 2002, p. 59). Соответствующие флексийные парадигмы уже приводились выше. В медиум употреблялись, в первую очередь, глаголы чувств, ощущений и умственной деятельности: «злиться», «восхищаться», «стесняться», «печалиться», «хотеть», «надеяться», «любить», «радоваться», «собираться», «желать», «волноваться» и т.д. (Hirt, 1937. Bd. 5, S. 199).

Конкуренция форм статива и медиа рассматривается у Н. Еттингера (Oettinger, 1993). Он отмечает, что статив не был подвидом медиа, как полагали раньше некоторые учёные, а с самого начала описывал состояния, со временем стал переходить на описания процессов, так как граница между ними часто очень прозрачная (ср. *Скалы нависают над водой, Вода кипит, Фрукты гниют* – состояние или процесс?), а ещё позже – на описание действий, как-то отражающихся на субъекте. Статив никогда не переходил на обычные действия, подразумевающие агентивность субъекта (Oettinger, 1993, S. 359–360).

Из среднего залога развился страдательный (Листунова, 1998; Brugmann, 1904, S. 598; Mallory, Adams, 2006, p. 63; Sweet, 1900, p. 114; Kellner, 1892, p. 224–225; Henry, 1894, p. 372; Lehmann, 2002, p. 84; Benveniste, 1974, S. 83, 189), после чего пути отдельных ветвей индоевропейского разошлись: в частности, в английском функции среднего залога перешли к активу и пассиву, а в русском, греческом и немецком языках он частично сохранился в возвратных глаголах действительного и (возвратно-)среднего залога, разделив некоторые функции с пассивом (Siewierska, 1984, p. 163, ср. Кацнельсон, 1936, с. 41–42; Листунова, 1998). Например, Г. Стронг обращал внимание на то, что в русском и исландском глаголы на *-ся* и *-sk* соответственно, будучи наследниками среднего залога индоевропейского языка, противостоят английскому пассиву (Strong, 1891, p. 266). Различные пути индоевропейских языков обусловлены степенью их приверженности синтетическому строю. Так, О. Есперсен отмечает, что становление жёсткого порядка слов сопровождается развитием пассива (Jespersen, 1894, p. 101–102). В языках со свободным порядком слов пассив требуется не столь часто.

Таким образом, в современном русском языке переходные глаголы могут иметь три залога: действительный (актив), возвратно-средний и страдательный (пассив); в английском – действительный и страдательный (Аракин, 2005, с. 121). Возвратно-средний залог образуется на основе переходных глаголов с постфиксом *-ся*. Употребляющиеся в нём глаголы можно разделить на несколько групп:

- *глаголы собственно-возвратного значения*, обозначающие действие, распространяющееся на носителя действия, то есть действие, при котором объект и субъект представляются одним и тем же лицом (*Она одевается, обувается, пудрится*);
- *глаголы взаимовозвратного значения*, обозначающие действие двух или нескольких лиц, из которых каждое является и производителем, и объектом того же действия со стороны другого лица (*обниматься, целоваться*);
- *глаголы общевозвратного действия*, обозначающие сосредоточенность действия в самом производителе (*обрадоваться, остановиться*);

- *косвенно-возвратные глаголы*, обозначающие действие, совершаемое субъектом для самого себя, в своих интересах (*запасаться тетрадями, собираться в путь, укладываться*);

- *безобъектно-возвратные глаголы*, обозначающие действие вне отношения к объекту, как постоянное активное или пассивное свойство субъекта (*Крапива жжётся; Корова бодается; Собака кусается; Нитки рвутся; Проволока гнётся*).

Для построения форм страдательного залога в русском языке используются постфикс *-ся* (*Дом строится рабочими*) или сочетание страдательных причастий от переходных глаголов и глагола *быть*, причём причастия обычно имеют суффиксы *-м-*, *-н(н)-* или *-т-* (*Букет был собран*). Первый способ называется синтетическим, второй – аналитическим (ср. “*Language Typology and Language Universals*”, 2001, р. 900–901). В английском языке употребляется только аналитический способ, то есть тот же глагол «быть» плюс причастие II. Различия в оформлении пассива объясняются тем, что «для синтетических языков более характерна развитая постфиксация» (Зеленецкий, 2004, с. 194). Агнс в страдательном залоге указывается в английском в сочетании с предлогами “with” и “by”, в русском – в форме творительного падежа (Швачко и др., 1977, с. 100). Иногда в английском дополнительно выделяют взаимный и возвратный залого, но В.Д. Аракин отрицает их существование, так как они не имеют никаких средств выражения (Аракин, 2005, с. 122, ср. Швачко и др., 1977, с. 99). Некоторые учёные выделяют в английском также понятийный пассив, схожий по функциям с медиум (Листунова, 1998). Этот термин относится к конструкциям, которые по форме должны быть отнесены к активному залогу, а по содержанию – к пассивному: *The meat will not keep in hot weather* (*Мясо не сохранится при жаркой погоде*); *The window broke* (*Окно разбилось*). Понятийный пассив употребляют тогда, когда считают, что явление происходит само по себе или спонтанно, естественным образом. Мы причисляем такие случаи к грамматической персонификации, о которой ещё неоднократно будет сказано ниже.

Примечательно, что в готском, то есть более древнем германском родственнике английского, функции медиа очень походили на функции возвратно-среднего залога в современном русском, что в очередной раз демонстрирует консервативность восточнославянской ветви индоевропейских языков: так, готский медий обозначал состояние, возвратность, взаимность и пассивность (Листунова, 1998). Г. Хирт напрямую связывает многочисленность медиальных форм в славянских языках с их особой консервативностью (Hirt, 1937. Bd. 5, S. 203).

Как и многие другие авторы, В.Д. Аракин обращает внимание на тот факт, что в английском пассив применяют значительно чаще, чем в русском (Аракин, 2005, с. 122, ср. “*Languages and their Status*”, 1987, р. 99;

Аполлова, 1977, с. 19; Швачко и др., 1977, с. 101; Некрасова, 1999)¹. Так, если в английском пассив используют в предложениях, где лицо или предмет в функции подлежащего испытывает на себе чьё-либо воздействие, то в русском в той же ситуации нередко используют неопределённо-личные конструкции: *It is said that there will be a war before long* (Говорят, что скоро будет война); *We were told good news* (Нам сообщили приятную новость); *John was given a good mark* (Джону поставили хорошую оценку); *He was given money* (Ему дали денег); *He is considered to be a good student* (Его считают хорошим учеником). Английские предложения, где лицо или предмет в функции подлежащего испытывает на себе чьё-либо воздействие, в русском часто передаются формой действительного залога с прямым объектом, оформленным винительным падежом в позиции перед сказуемым: *This long bridge was built by the workers of our factory* (Этот длинный мост построили рабочие нашего завода); *That wonderful wedding was arranged by the parents of bride* (Эту великолепную свадьбу организовали родители невесты). В начале главы мы уже приводили примеры перевода английского пассива русским имперсоналом и возвратно-средним залогом.

Рассмотрим отрывки из пособий по переводу, где английский аналитический пассив передаётся русским синтетическим (то есть с постфиксом *-ся*), возвратно-средним залогом, имперсоналом, активом или неопределённо-личными конструкциями.

«Многие трудности перевода вызваны особенностями пассивных конструкций в английском языке, где пассив употребляется очень широко, главным образом благодаря тому, что глаголы и с косвенным и с предложным дополнениями могут иметь пассивную форму.

Поэтому далеко не всегда пассивная конструкция в английском языке может быть передана русским страдательным залогом. [...]

¹ Ср. «Английские формы пассивного залога по своему значению аналогичны русским формам страдательного залога. В английском языке формы пассивного залога многочисленны (*He was given the book, The book was given to him, The book was sent for, etc.*) и употребляются значительно чаще, чем аналогичные формы в русском языке. Русский язык также обладает разнообразными способами передачи указания на пассивность или отсутствие действующего лица (формы с глаголом *быть*, глаголы на *-ся*, неопределённо-личные формы глагола и т.п.)» (Комиссаров, 1990, с. 186). «Пассивная форма [английского – Е.З.] в некоторых отношениях отличается от русского страдательного залога, который употребляется значительно реже, уступая место иным выразительным средствам языка» (Клименко, 1999). «Перевод предложений с глаголом-сказуемым в страдательном залоге часто требует изменения конструкции, так как в английском языке пассивные конструкции могут употребляться иначе, чем в русском. Прежде всего, в английском языке пассивную конструкцию можно образовать на основе не только прямо-переходных, но и косвенно-переходных глаголов, а также глаголов с предложными дополнениями. Это создаёт возможность более широкого употребления пассивных конструкций в английском языке, чем в русском» (Рецкер, 1981, с. 26). W. Harrison. *The expression of the passive voice* (London, 1967): «Часто можно встретить утверждение, что определённые пассивные конструкции избегаются в русском [по сравнению с английским – Е.З.], а их значение передаётся активными конструкциями» (цит. по: Green, 1980, p. 78). «Например, русский страдательный залог менее употребителен, чем английский пассив, и английским пассивным структурам нередко соответствуют в русских переводах формы действительного залога...» (Комиссаров, 2000, с. 131).

Следует добавить, что в некоторых случаях английская пассивная конструкция передается в переводе русскими глаголами с суффиксом *-ся*, имеющими также и пассивное значение.

Например:

This method is considered the best. Этот метод считается наилучшим.

Much fish is caught here. Здесь ловится много рыбы.

Lectures on various subjects are given here. Здесь читаются лекции на различные темы» (Левицкая, Фитерман, 1963, с. 67).

«СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ГЛАГОЛОВ В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Глаголом *быть* в сочетании с краткой формой причастия страдательного залога. The book was published last year. Книга была опубликована в прошлом году.
2. Глаголом, оканчивающимся на *-ся, -сь*. This problem is being discussed. Эта проблема обсуждается.
3. Неопределённо-личным предложением. The film is much spoken about. О фильме много говорят.
4. Глаголом в действительном залоге, если в предложении есть дополнение с предлогом *by*. She was laughed at by everybody. Над ней все смеялись.
5. Безличные конструкции соответствуют в русском языке глаголам в 3-м лице множественного числа с неопределённо-личным значением. It is said. Говорят» (Мураткина, 2001, с. 31).

«Пассивные конструкции (страдательный залог) затрудняют начинающего переводчика в тех случаях, когда употреблённое в них предложное наречие вместо того, чтобы присоединиться непосредственно к существительному, которым оно управляет, ставится в конце предложения. Например:

Such slanderous propaganda must be done away with immediately. – С такой клеветнической пропагандой необходимо немедленно покончить.

Such things are seldom thought about. – Над такими вещами редко задумываются.

The house has never yet been lived in. – В этом доме никто никогда не жил.

Перевод таких конструкций обычно совершается с помощью русских безличных или неопределённо-личных конструкций, причём переведённое предложное наречие мысленно ставится в русском предложении на первое место.

Очень часто английская пассивная конструкция передаётся на русский язык формой на "ся" (возвратно-средним залогом).

The Geneva Conference has been so widely reported and discussed that it is necessary to point out only its main features. – Женевская конференция столь широко обсуждалась и комментировалась в печати, что достаточно будет указать на некоторые её самые существенные черты» (Толстой, 1957, с. 41).

По данным языковой статистики, которые приводит Е.Г. Андреева, английский пассив при переводе художественной литературы на русский язык передаётся: 1) русским действительным залогом в 34,6 % случаев; 2) русскими глаголами на *-ся* в 18 %; 3) сочетанием связочного глагола с причастием в 14,4 %; 4) безличными формами глагола в 17 %; 5) неглагольными формами в 16 % (Андреева, 2005). Под неглагольными формами подразумеваются переводы типа *Simmons's eyes were puzzled* (Симмонс озадаченно смотрел на него);

If I could only remember what it's like not to be bothered (Просто, чтобы я вспомнил, что такое покой). Объём корпуса составил 100 000 словоформ оригинальных английских текстов. Из русских глаголов на *-ся/сь*, употребляемых в переводах, английским пассивным конструкциям соответствуют 6 %, активным – 81 %, неглагольным – 13 %. Каждое четвёртое русское предложение содержит глагол на *-ся/сь* (а иногда несколько) в личной или неличной форме. Из них примерно 6–7 % употребляются в безличных конструкциях (*Мне показалось; Ему хотелось*).

Французский лингвист Ш. Балли видел в языках, интенсивно применяющих прямообъектные конструкции (*встретить кого-либо*), больший «активизм», чем в языках, использующих конструкции с косвенным дополнением и возвратным глаголом (*встретиться с кем-либо*). В активном применении возвратных форм с предложным дополнением (*стучаться в дверь*) в русском языке он усматривал признак его архаичности, как и в наличии категории вида, склонности к применению безличных оборотов, возвратных форм при характеристике субъекта: *Эта собака кусается* (Гак, 2003). Рассмотрим его аргументы подробнее с точки зрения языковой типологии.

Сам факт соответствия многих русских возвратных и безличных глаголов английским переходным («прямообъектным») мы под вопрос не ставим, о нём говорится и в работах отечественных авторов: «Как мы не раз будем наблюдать в дальнейшем, характер грамматического строя языка неизбежно оказывает своё влияние на его лексику. Так, например, глаголы *to like, to want, to care* и некоторые другие, соответствующие в русском языке либо возвратным глаголам: *нравиться, требоваться, нуждаться в чём-л.*, либо безличным оборотам: *I don't care (Мне всё равно)*, в своём употреблении в речи ничем не отличаются от других глаголов и функционируют в качестве сказуемого в личном предложении, поскольку в английском языке грамматически безличных предложений не бывает.

I like this song. Мне нравится эта песня. You want a woman to look after you. Вам нужно, чтобы какая-нибудь женщина заботилась о вас.

Заметим, что при переводе на русский язык предложения с этими глаголами претерпевают полную перестройку: прямое дополнение английского предложения становится грамматическим подлежащим в русском» (Аполлова, 1977, с. 21–22).

Хотя в аналитических языках прямообъектные конструкции действительно встречаются чаще (ср. Копров, 2000, с. 111), а возвратные глаголы – реже, чем в синтетических, обусловлено это не бóльшим «активизмом» его носителей, а самой аналитизацией. Вспомним об уже описанном выше переходе индоевропейских языков от деноминативного к номинативному (аккузативному) типу и неизбежном при этом процессе транзитивизации. Уровень аналитизации, являющейся главной причиной или одной из причин этого перехода, в свою очередь, обусловлен не особенностями менталитета, а интенсивностью и частотой языковых контактов, склонностью к ударению на первый слог и прочими факторами, речь о которых пойдёт ниже.

Рассмотрим ещё одну цитату из книги М.А. Аполловой «Specific English (грамматические трудности перевода)», где количество транзитивных глаголов ставится в зависимость от языкового типа: «Для того чтобы понять, почему английский язык, обычно стремящийся к формальной законченности и логической точности выражения, в данном случае идёт как бы по противоположному пути, нам надо вспомнить об отмеченном уже во "Введении" стремлении англичан компенсировать синтаксическую скованность своей речи большей свободой в морфологическом и семантическом отношении. Очевидно, что стирание грани между переходными и непереходными глаголами является одним из таких компенсирующих средств, расширяющих и обогащающих возможности речи. В результате происходит расширение значения многих глаголов. Здесь мы снова наблюдаем влияние грамматического строя языка на характер его лексики. [...] Для английского языка типичными являются конструкции, в которых непереходный глагол становится переходным в каузативном значении "заставить кого-л. или что-л. выполнять соответствующее действие", например: *to fly a plane, to run a pencil* и пр. Возможность такого рода конструкций привела к широкой употребительности лаконичных и выразительных сочетаний типа *to laugh smb. out of the room* (букв.: "заставить кого-л. выйти из комнаты, засмеяв его"), *to wave the question away* (букв.: "отмахнуться от вопроса") и т.п.» (Аполлова, 1977, с. 49–50).

Эта цитата объясняет и многочисленность каузативных конструкций в английском языке, которые А. Вежбицкая считает выражением развитого у англичан и американцев уважения к личности¹. Заметим, что П. Мюльхойзлер сравнивает лёгкость образования и многочисленность каузативных конструкций в английском с аналогичным явлением в пиджинах и креольских языках, также практически всегда являющихся аналитическими (Mühlhäusler, 1986, p. 185). В русском языке из-за большего числа флексий и аффиксов такое простое использование непереходных глаголов в качестве каузативных переходных обычно невозможно, кроме как в ироническом контексте (*Его ушли с работы; Я её кормил, я её и танцевать буду*), но зато для той же цели можно использовать видовые различия (*хихикать > Его там захихикали*).

Напоследок приведём статистические данные, демонстрирующие распространение возвратных глаголов в русской художественной литературе (табл. 6). Подсчёты производились по описанным выше выборкам программой "SearchInform Desktop". Знак * обозначает любое количество букв в слове.

¹ Ср. «Характерный для современных англосаксонских культур акцент на личной независимости, многократно отражённый и в английском языке, несомненно имеет отношение и к развитию каузативных конструкций, и к подчёркиванию необходимости добровольного сотрудничества между людьми. В больших обществах, где оказание услуг играет важнейшую роль в повседневной жизни, где люди явственно ощущают свою потребность в личной автономии, как и своё право на неё, нюансы каузации приобретают огромную важность» (Wierzbicka, 2006, p. 172).

Таблица 6

**Возвратные глаголы в русской художественной литературе
(малый корпус)**

	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература	Переводы с англ.
*усть (1 л. ед. ч.: настоящ. и будущ. время)	4 230	3 612	3 740	5 518
*юсть (1 л. ед. ч.: настоящ. и будущ. время)	10 502	7 857	9 684	12 804
*шься (2 л. ед. ч.: настоящ. и будущ. время)	4 006	3 845	5 903	4 421
*ись без *лись, *шись (2 л. ед. ч.: императивы + инфинитивы на *тись, но без прошед. времени и деепричастий)	5 395	6 172	6 132	5 111
*йся без *ийся, *шейся и *щейся (2 л. ед. ч.: императив без причастий)	3 073	3 321	4 222	2 871
*тся (3 л. ед. ч., мн. ч.: настоящ. и будущ. время)	98 131	86 634	101 738	101 067
*мся (1 л. мн. ч.: настоящ. и будущ. время, императив)	5 580	6 358	8 009	8 189
*тесь (2 л. мн. ч.: настоящ. и будущ. время, императив)	9 052	7 914	5 342	9 199
Всего настоящ. и будущ. время	139 969	125 713	144 770	149 180
*лся (1, 2, 3 л. ед. ч.: прошедш. время; только м. р.)	96 969	128 875	135 568	132 208
*лась (1, 2, 3 л. ед. ч.: прошедш. время, только ж. р.)	49 056	52 130	59 976	55 716
*лось (3 л. ед. ч.: прошедш. время, только ср. р.)	39 652	50 473	53 047	58 561
*лись (1, 2, 3 л. мн. ч.: прошедш. время)	46 398	64 506	56 160	65 428
Всего прошедш. время	232 075	295 984	304 751	311 913
Всего все времена	372 044	421 697	449 521	461 903
*ться (инфинитив)	59 885	49 307	63 838	72 836
*ясь (деепричастия настоящ. и прошедш. времени)	23 552	28 648	23 482	21 700
*шись (деепричастия прошедш. времени)	10 797	13 459	12 373	12 764
Сумма всех возвратных глаголов	466 278	513 111	549 214	569 203

Проверенные данными формулами формы: [я] *кажусь* / [я] *стараюсь* / [ты] *стараешься* / [он, она, оно] *старается*; [они] *стараются* / [мы] *стараемся* (+ императив *постараемся*) / [вы, Вы] *стараетесь* (+ императив *старайтесь*); [я, он; мне, ему, ей, нам, вам, Вам, им] *казался* / [она; мне, ему, ей, нам, вам, Вам, им] *казалась* / [оно; мне, ему, ей, нам, вам, Вам, им] *казалось* / [мы, Вы, вы, они; мне, ему, ей, нам, вам, Вам, им] *казались*. Формы настоящего времени соответствуют формам будущего времени (ср. *сажусь* – *усядусь*). Инфинитивы на *-ться*: *играться*. Деепричастия: *радуясь* (настоящее время), *склонясь* и *собравшись* (прошедшее время).

Частотность возвратных глаголов в художественной литературе постоянно растёт (табл. 6). От того, будем мы учитывать инфинитивы и деепричастия или нет, это соотношение не зависит. Историческое расширение сферы употребления глаголов с формантом *-ся* описывается, например, у С.П. Обнорского (Обнорский, 1960, с. 19–21). В книге «Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения» описываются различные конструкции физического и психического состояния в древнерусском и родственных ему языках, причём обращается внимание на тот факт, что для соответствующих глаголов («хотеться», «казаться») свойственно употребление форманта *-ся*, всё более учащающееся в русском языке за последние века (Борковский, 1968, с. 137–143). Формант *-ся/сь* у русских глаголов был не всегда – речь в данном случае идёт о слившемся с ними возвратном местоимении в форме винительного падежа (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 273; ср. Mallory, Adams, 2006, p. 417), но уже в древнерусском страдательный залог выражался частицей *-ся* или сочетанием страдательных причастий со вспомогательным глаголом «быти»: *хваленъ есть* (Букатевич и др., 1974, с. 188). Можно предположить, что повышение частотности *-ся* свидетельствует о сокращении удельного веса аналитического пассива и росте удельного веса синтетического. Не исключено также, что растёт только количество и/или частотность безличных конструкций типа *Мне думается*. Неожиданной оказалась высокая частотность возвратных глаголов в переводах с английского. Возможно, ими компенсируется многочисленность аналитических пассивных конструкций в английском.

Мы подсчитали также общее число глагольных типов на *-ся* (в противовес глагольным метам) в наших корпусах художественной литературы. Разница между типами и метами заключается в том, что один тип «казаться» может иметь в текстах меты «казался», «казались», «кажемся», «кажутся» и т.д. В корпусе классики формула «*-ться*» (то есть все слова, оканчивающиеся таким образом) выдала 3 235 типов возвратных глаголов, в корпусе советской литературы – 3 348, в корпусе постсоветской литературы – 3 997, в первом корпусе переводов с английского – 2 884, во втором – 2 760. Примечательно, что и по этим показателям видно увеличение числа возвратных глаголов в русском языке. Параллельных подсчётов по мегакорпусу мы в данном случае не производили.

4.2. Имперсонал, пассив и стилистика

Следующий пример должен продемонстрировать, как больший синонимический ряд в английском компенсирует неспособность английской грамматики выражать те оттенки значения, которые в русском передаются имперсоналом. Речь идёт о конструкциях типа *Ego убило / Он был убит*, соответствующих английскому аналитическому пассиву. В электронном сборнике русской классики «Антология русской литературы от Нестора до Булгакова» выражение «Его убило» употребляется два раза, причём из контекста становится ясно, что речь идёт о смерти через воздействие неодушевлённых объектов: 1) Л.Н. Толстой. Севастополь в мае: «А может быть, одного Михайлова убьёт [бомбой – Е.З.], тогда я буду рассказывать, как рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало»; 2) А.П. Платонов. Седьмой человек: «Его пуля ударит слабо, если меня она убьёт, – ну она кость ему может повредить, только и всего, а он подумает, что его убило, и умрёт от страха и сознания».

Выражение «Он был убит», то есть обычный пассив, употребляется семь раз, причём в этом случае смерть может наступать как от объектов, так и от людей (или форма смерти вообще не уточняется): 1) Л.Н. Толстой. Севастополь в мае: «Он был убит на месте осколком в середину груди»; 2) И.Э. Бабель. Эскадронный Трунов: «Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами».

В сборнике английской классики “English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain” выражение *He was killed* употребляется 27 раз на 172 000 страниц, глагол “to kill” употребляется по отношению как к одушевлённым, так и неодушевлённым каузаторам. Его синоним “to murder” (*He was murdered*) употребляется 14 раз, каузатором выступают только люди. Точного аналога безличной конструкции «Его убило» в английском нет. Таким образом, английский язык использует больший синонимический ряд там, где русский использует большее синтаксическое разнообразие (те самые безличные конструкции, которые, как считает А. Вежбицкая, «предполагают, что мир в конечном счёте являет собой сущность непознаваемую и полную загадок, а истинные причины событий неясны и непостижимы» (Омельченко, 2000, с. 39)).

Разнообразие синтаксических форм, используемых в русском языке, делает возможной бóльшую стилистическую дифференциацию по сравнению с более прямолинейным английским (причём прямолинейным не по воле носителей языка, а из-за невозможности отойти от немногочисленных шаблонов английской грамматики: как отмечает В. Элмер, личные и безличные варианты одного и того же высказывания использовались раньше в качестве стилистического приёма и в английском, пока это было возможно

(Krzyszpień, 1990, p. 37)¹). Стилистическая дифференциация ограничивается не только противопоставлением имперсонала пассиву: похожие примеры можно найти при противопоставлении безличных и неопределённо-личных, а также безличных и личных конструкций. В частности, семантические различия между личными и безличными конструкциями подчёркиваются у Е.С. Яковлевой: «Богатейший материал на тему семантики грамматической формы даёт русская безличность. Особенно это касается тех случаев, когда возможна альтернатива, и выбор личной или безличной формы описания моделирует свою действительность, ср.: *Его сбило машиной / ударило кирпичом* и *Его сбили машиной / ударили кирпичом* (первые варианты могут быть предметом хроники происшествий, а вторые относятся уже к уголовным делам)» (Яковлева, 1996).

А.М. Пешковский полагал, что «в огромном большинстве случаев» безличные конструкции с дативом субъекта приобретают «особый оттенок лёгкости действия (*мне говорится = мне легко говорить*)» (цит. по: Гвоздев, 2005).

Как отмечает В.Ю. Копров, если в предложении *Вчера он не спал* субъект получает характеристику «не спал, потому что не хотел или не мог в силу каких-то причин», то в предложении *Вчера ему не спалось* – «не мог спать именно из-за каких-то неназванных причин» (комментарий автора: «...в отличие от синтаксически менее богатого и более "прямолинейного" английского языка в русском языке часто имеется возможность выбора личной или безличной конструкции для выражения одной и той же семантической структуры») (Копров, 2000, с. 106).

А.Н. Гвоздев полагал, что глагол «быть» для выражения принадлежности употребляется больше в разговорной речи, а в научном и деловом стиле более уместен глагол «иметь» (Гвоздев, 2005; ср. Короткова, 2008, с. 12).

На явные смысловые различия между высказываниями *Он грустен* и *Ему грустно* указывается в «Коммуникативной грамматике русского языка»: в выражениях с дативом речь идёт о внутреннем состоянии, которое, возможно, незаметно для окружающих; а в выражениях с номинативом, напротив, отмечается выявленность душевного состояния, подчёркивается наличие внешних признаков грусти (Золотова и др., 2004, с. 192–193). Тот факт, что в английском такие тонкие смысловые различия невозможно передать имперсоналом, ещё не говорит о более активном отношении англичан к жизни.

Н.С. Валгина пишет о стилистических возможностях русского имперсонала следующее: «Семантико-стилистические возможности безличных предложений разных типов необыкновенно широки; особенно распростра-

¹ Ср. «Поражает стилистическое богатство использовавшихся в древнеанглийском "безлично" глаголов и фраз наряду с соперничавшими с ними фразами с номинативом лица и нелица» (Ogura, 1986, p. 203).

нены они в художественной литературе, которая постоянно обогащается фактами разговорного языка. Посредством безличных конструкций возможно описать такие состояния, которые характеризуются неосознанностью, немотивированностью (ср.: *не хочу* – осознанное нежелание; *не хочется* – неосознанное нежелание). Кроме того, при помощи их можно придать действию особый оттенок лёгкости (*мне говорится* – *мне легко говорить*), и, наконец, безличные предложения незаменимы при необходимости выделить само действие и его результат (ср.: *Град побил посевы* – *Градом побило посевы*). Тонкие оттенки значения, передаваемые безличными конструкциями, способствуют их широкому распространению в разговорной речи и в языке художественной литературы» (Валгина, 2000).

Особенно следует обратить внимание на её высказывание о предложениях типа *Градом побило посевы* – ниже мы подтвердим его на конкретных примерах.

Как известно, любой язык, следуя принципу экономии языковых средств, склонен вытеснять абсолютные синонимы. Однако на стилистически и семантически дифференцированные синонимы этот принцип не распространяется, так как именно ими измеряется богатство языка. Так, в 1999 г. в журнале «Санкт-Петербургский университет» были опубликованы материалы круглого стола «Великий и могучий во дни тревог и сомнений», где среди прочего была затронута и тема богатства экспрессивных средств русского языка, выраженного в широком распространении имперсонала: «Владимир Викторович КОЛЕСОВ (заведующий кафедрой русского языка, филологический факультет СПбГУ): В Европе культура живет с V века, 1600 лет нации развиваются параллельно, и там очень много взаимных влияний. Польский лингвист Вежбицкая очень много писала на эту тему, осуждая русскую ментальность через языковые формы, говоря об обилии всяческих безличных конструкций...

Кира Анатольевна РОГОВА (профессор кафедры русского языка для иностранцев-филологов, филологический факультет СПбГУ): Я считаю это богатством языка.

К: Правильно.

Р.: Мы можем передать...

К: ...Передать через слово все оттенки реально существующего. Это богатство языка. А для Вежбицкой нет» («Великий и могучий во дни тревог и сомнений», 1999).

Поскольку в русском языке личные и безличные конструкции противопоставляются друг другу как в стилистическом, так и в смысловом плане, нет никаких оснований полагать, что безличные конструкции излишни, что можно обходиться только личными, что многочисленность безличных конструкций непременно связана с особенностями мышления данного народа. Потеря имперсонала в английском была обусловлена переходом к новому языковому типу, а не изменениями в мировоззрении. Эта потеря

была сопряжена с радикальной перестройкой всей языковой системы и исчезновением стилистической дифференциации на синтаксическом уровне. Потеря имперсонала (как и медия) компенсировалась расширением сферы употребления пассива.

4.3. Причины высокой частотности пассива в английском языке

Некоторые причины большей частотности пассивных конструкций в английском по сравнению с русским мы уже называли выше: английский продвинулся дальше по пути номинативизации, поэтому имеет больше переходных и меньше возвратных глаголов, а также меньше неопределённых и безличных конструкций. Соответственно, английские пассивные конструкции переводятся русскими залогово нейтральными или активными. Ниже мы уточним некоторые моменты, связанные с противопоставлением имперсонала пассиву, а также назовём ещё две важные причины многочисленности всевозможных страдательных конструкций в английском: жёсткий порядок слов (отсюда ограниченные возможности топиализации) и возможность построения пассива не только от обычных переходных глаголов, но также от глаголов, требующих косвенного и предложного дополнения («помогать кому-то», «послать за кем-то»). Эти особенности английского языка имеют непосредственное отношение к распаду флексивной парадигмы, то есть к аналитизации. Будет затронута также тема связи частотности употребления пассива с особенностями национального характера.

Русский язык не является исключением в противопоставлении своих безличных форм английскому пассиву. Так, например, в валлийском специального страдательного залога нет вообще, а вместо него используется имперсонал: *Cosbir plant drwg* (Плохие дети наказываются или Плохих детей наказывают), ср. англ. *...are punished* (Халипов, 1995, с. 51). В «Функциональном синтаксисе современного английского языка» отмечается, что английский пассив противостоит имперсоналу в чешском: «...частотность личных конструкций в английском, очевидно, связана с частотностью пассивных конструкций, в то время как частотность безличных конструкций в чешском связана с несклонностью к пассиву» (Vachek, 1994, р. 9). В книге «Пассив. Сравнительный лингвистический анализ» подчёркивается, что причиной частого употребления пассива в английском по сравнению с другими индоевропейскими языками (славянскими, германскими и романскими) является «отсутствие альтернативных способов топиализации и имперсонализации» (Siewierska, 1984, р. 218; ср. Strong, 1891, р. 262), то есть невозможность употреблять безличные конструкции

и переставлять члены предложения для акцентирования определённой информации¹.

Г. Свит называет две основные причины употребления пассива в английском: акцентирование объекта действия (путём топиализации) и снятие акцента с производителя действия (Sweet, 1900, p. 113; ср. "Encyclopedia of Language and Linguistics", 2006, p. 7796; Курилович, 1946, с. 387–388; "Languages and their Status", 1987, p. 99; Strong, 1891, p. 261–262; "Language Typology and Language Universals", 2001, p. 907); для той же цели используется и большинство русских безличных конструкций. Однако в русском, в отличие от английского, пассивизация как средство топиализации обычно не используется (Leinonen, 1985, p. 72), поэтому бóльшая нагрузка ложится на инверсию и безличные конструкции. В этом легко убедиться, если заглянуть в работы по переводоведению. Например, в следующем отрывке из пособия по переводу автор советует для передачи английского пассива пользоваться не только русскими неопределённо-личными и безличными конструкциями, но и возможностями более гибкого порядка слов: «При выборе конструкции русского предложения в переводе важно знать, какими причинами вызывается употребление страдательного залога в английском. Таких причин в основном четыре:

- 1) указать производителя действия невозможно или нежелательно;
- 2) логическое ударение поставлено на объекте, а не на субъекте действия;
- 3) английское предложение имеет так называемую "централизованную" структуру, то есть два или более сказуемых, отнесённых к одному подлежащему;
- 4) страдательный залог в однородных членах предложения.

§ 17. Первая причина является наиболее распространённой. В большинстве случаев такие предложения переводятся русскими безличными или неопределённо-личными предложениями.

Such state of things cannot be put up with. С таким положением дел нельзя мириться. People are judged by their actions. О людях надо судить по

¹ Ср. «Необходимо обсудить ещё один чрезвычайно важный вопрос: какую роль играет пассив? В английском то, с чего начинается предложение, называется **темой**, или **топиком**, а то, что следует дальше, – **ремой** (от греч. слова в значении "что сказано"), или **комментарием** к теме. Поскольку подлежащее обычно стоит в начале предложения, именно оно, как правило, выражает тему. Иногда, однако, темой является дополнение. Используя пассив, можно превратить его в подлежащее и поставить на место темы в начале предложения» (Gramley, Pätzold, 1995, p. 153; ср. "Language Typology and Language Universals", 2001, p. 907). «Важнейшим косвенным залогом в аккумулятивных языках является пассив, или страдательный залог, обозначающий "пре-терпевание" – процесс, как правило, неконтролируемый, происходящий с объектом действия (*Рабочими строится дом*), или наступившее в результате такого процесса состояние объекта (*Рабочими построен дом; Авель убит Каином*). Внимание сфокусировано на объекте действия; сообщение о состоянии объекта становится магистральным, поэтому пассивный залог во многих языках используется для тематизации объекта действия (постановки его в позицию темы сообщения)» (Энциклопедия «Кругосвет», 2007).

их поступкам. *What can't be cured must be endured. С тем, что неоправимо, приходится мириться. [...]*

§ 18. Вторая причина – логическое ударение, поставленное на объекте, а не на субъекте действия.

Plea for Polaris Protest Support. – Full support for the demonstration on February 25 opposing the launching of Britain's second nuclear Polaris submarine has been urged by the British Peace Committee. The launching ceremony is to be performed by Mrs Denis Healy, wife of the Defence Minister, at Birkenhead. The demonstration is being organised by the North-West Region of the Campaign for Nuclear Disarmament (Morning Star).

В приведённой выше заметке все три предложения имеют названный субъект действия. Во всех трёх случаях логическое ударение поставлено на объекте, и все три глагола-сказуемых даны в страдательном залоге: *full support... has been urged, the launching ceremony... is to be performed, the demonstration is being organized.*

При переводе нужно помнить, что **в русском языке логическое ударение может быть усилено более гибким порядком слов**, позволяющим выдвинуть прямое или косвенное дополнение на первое место в предложении.

К полной поддержке демонстрации 25 февраля против спуска на воду второй английской атомной подводной лодки, оснащённой ракетами "Поларис", призывает Британский комитет защиты мира. Церемонию спуска откроет миссис Хили, супруга министра обороны Дениса Хили. Демонстрацию протеста организует Северо-западное отделение Кампании за ядерное разоружение» (Рецкер, 1981, с. 27–28; выделено нами).

Б. Комри называет некоторые характеристики русского, которые, по его мнению, привели к относительно слабому распространению пассива по сравнению с английским. Среди них фигурируют свободный порядок слов (*Машу убила Таня – Masha was killed by Tanya*) и наличие неопределённо-личных конструкций (*Машу убили – Masha has been killed*) (Comrie, 1983, p. 75–76). Функцию пассива в русском он считает скорее стилистической, чем грамматической, так как для передачи той же семантики вполне достаточно и средств активного залога. В английском же пассив необходим для топикализации за неимением других средств. Русский может вести себя подобно английскому, если субъектно-объектные отношения выражаются только порядком слов, а не окончаниями (*Мать любит дочь*) (Comrie, 1983, p. 77). Как и в русском, в языках деноминативного строя для топикализации за отсутствием пассива прибегают к перестановке слов: “In ergative and active languages only secondary topicalization, by means of changing the word order in the sentence, is possible. Primary topicalization or subjectivization – choosing either agent or patient as subject – is not possible in these languages. This is due to the fact that in ergative languages transitive verbs lack the opposition of an active and passive voice and in active languages the version opposition is of a non-voice character” (“The Universals Archive”, 2007).

А. фон Зеефранц-Монтаг в сравнительном исследовании безличных конструкций в разных языках мира отмечает, что конструкции в пассиве обычно синонимичны безличным, поэтому многие древнеанглийские глаголы, употреблявшиеся поначалу в безличных предложениях, постепенно стали употребляться в пассиве или исчезли из-за появления употребляемых в пассиве синонимов (*I am horrified, I am amused with, I am scared of, I am disgusted with, I am ashamed of*) (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 76); речь идёт о так называемом пассиве состояния, который строится с помощью глагола-связки «быть» и партиципа (Haspelmath, 2001, p. 65). Фон Зеефранц-Монтаг также обращает внимание на совпадение функций возвратных глаголов, безличных конструкций и пассива; приводятся примеры возвратных глаголов, пришедших на смену безличным конструкциям во французском, английском и немецком языках (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 77). Органическую связь безличных конструкций с пассивом подчёркивал и А.А. Шахматов: «...дополнение в винительном падеже может вызывать представление о субъекте, испытывающем на себе действие предиката, подобно тому, как такое же представление вызывается дополнением при глаголе страдательного залога» (цит. по: Копров, 2005).

А.Н. Гвоздев считал безличные и пассивные конструкции синонимичными, ср. *Окно забрызгано дождём; Окно забрызгало дождём* (Green, 1980, p. 77).

На особую близость пассива и безличных конструкций указывали В.В. Виноградов и А.А. Потебня. М. Грин утверждает, что В.В. Виноградов считал безличные конструкции подвидом пассива, хотя и не высказывал эту мысль напрямую (Green, 1980, p. 75).

А. Тромбетти приводит следующие слова английского лингвиста Р.Г. Кодрингтона: «Особенно близко стоит к пассивному глаголу активный глагол, употреблённый безлично» (Тромбетти, 1950, с. 159). Н. МакКоли отмечает, что безличные конструкции и пассив используются для передачи одной и той же семантики – неволевых действий, воздействия на субъект извне (McCawley, 1976, p. 202).

В.С. Храковский предлагал причислить безличные и неопределённо-личные конструкции к пассивным (Энциклопедия «Кругосвет», 2007). Обусловлено это схожестью их функций: «Имперсонал, бессубъектный пассив, безобъектный антипассив [в эргативных языках – Е.З.], медий сходны друг с другом в том отношении, что они как бы устраняют одного из участников действия со сцены. Это делается тогда, когда в замысел высказывания входит нежелание конкретизировать, о ком или о чём идёт речь; это может быть вызвано как экономией усилий говорящего (в случае заведомой известности обоим собеседникам, заведомой неизвестности говорящему, обобщённости или неопределённости участника), так и его нежеланием делиться информацией с собеседником» (там же).

А. Дуранти обращает внимание на одинаковую функцию пассива и безличных конструкций в различных языках – удаление агенса из высказывания (Duranti, 2004, p. 465).

Б. Бауэр отмечает, что в английском и немецком, особенно в научном стиле, пассив часто используется для деперсонализации высказывания (Baueg, 2000, p. 36).

М.М. Гухман после описания преобразования древних индоевропейских безличных конструкций в пассивные приходит к следующему выводу, чрезвычайно важному для нашей работы: «С другой стороны, существует какая-то несомненная связь между сохранением этих конструкций [типа *Мне жаль, Мне думается, Меня тошнит* – Е.З.] и степенью распространённости страдательного залога, и это – связь обратно пропорциональная; в языках с развитым употреблением страдательного залога роль конструкций с дательным-винительным лица сведена до минимума и, наоборот, при отсутствии развитого употребления страдательного залога наблюдается продуктивность данной конструкции» (Гухман, 1945, с. 156–157).

У нас есть все основания считать предположение М.М. Гухман верным. Например, когда в бенгальском несколько веков назад из-за распада системы падежных окончаний стало невозможно использовать пассив, на замену ему пришли безличные конструкции с генитивными субъектами. Возникли они из сочетаний притяжательных местоимений и номинализированных глаголов (обычно с глаголом *হা- (становиться, случаться)*) (Onishi, 2001 b, p. 126). Бенгальский считается языком с элементами эргативности.

О правоте Гухман свидетельствуют и данные сравнительных исследований пассивных конструкций, опубликованные в обзорной статье «Пассив в языках мира» (Keenan, Dryer, 2007) из второго издания «Языковой типологии и синтаксического описания». Авторы приходят к выводу, что пассив употребляется преимущественно в целях топикализации, то есть при необходимости подчеркнуть дополнение и снять акцент с производителя действия, поэтому английский пассив относится к той же группе конструкций, что и *I like beans (Мне нравятся бобы) > Beans I like (Бобы мне нравятся); Congressmen don't respect the President anymore (Конгрессмены больше не уважают президента) > As for the President, congressmen don't respect him anymore (Что касается президента, конгрессмены его больше не уважают); My father is out of work again (Мой отец опять безработный) > He is out of work again, my father (Он опять безработный, мой отец)*. Пассив отличается от них тем, что обычно в нём производитель действия удаляется. Стандартным пассивом, употребляющимся наиболее часто в различных языках мира, является конструкция типа *He was slapped (Ему дали пощёчину / Его ударили)*, где а) не упоминается производитель действия (более того, многие языки вообще не допускают упоминания агенса в пассиве (например, латвийский); в английском пассивные конструкции без упоминания производителя действия встречаются значительно

чаще конструкций с упоминанием), б) используется переходный глагол, обозначающий действие и требующий в активном залоге субъекта-агенса и объекта-пациенса. Если в языке есть хоть одна пассивная конструкция, то она соответствует приведённому образцу. Если в языке нет пассива, используются альтернативные способы удаления агенса, в том числе безличные конструкции. Авторы называют безличными и те формы конструкций, которые в русской грамматике относятся к неопределённо-личным: *кру Tò pō slā ná* (*То [имя] построил дом*) > *Ī pō slā ná* (*Они построили дом = Дом был построен*); где *они* не относится к какой-либо группе лиц, а просто обозначает неопределённого деятеля. Подобные конструкции могут сохраняться и в языках с пассивом: иврит *Ganvu li et ha-mexonit* (*Украли мне машину, то есть Моя машина была украдена*).

В эргативных языках используется антипассивная конструкция, где объект действия превращается в субъект при удалении истинного субъекта: тонган *Na'e tamate'i 'e 'Tevita 'a Koliata* – *Убил Давид* (эрг.) *Голиафа* (абс.) > *Na'e tamate'i 'a Koliata* – *Голиаф был убит* («убить»: прош. вр. + «Голиаф»: абс.; форма глагола та же, что и в активном предложении). Авторы сомневаются, можно ли называть такие конструкции эквивалентными пассиву номинативных языков; возможно, речь идёт о сокращении стандартной конструкции (“truncated” actives). Какова бы ни была форма пассива, его значение всегда подразумевает воздействие из вне, то есть субъект пассива является объектом действия в активной конструкции. То же относится и ко многим безличным конструкциям. Таким образом, языки с неразвитым пассивом чаще прибегают к безличным, неопределённо-личным и прочим похожим конструкциям (включая антипассив в деноминативных языках), а языки с развитым пассивом, наоборот, избегают их.

Подтверждают предположение Гухман и данные «Всемирного атласа языковых структур», согласно которому в языках, не имеющих пассивных конструкций, используют бесподлежащие, безличные и неопределённо-личные обороты: “In languages which have no passive constructions, agent demotion or suppression can be achieved by other means. Some languages simply allow the subject to be omitted. [...] In other languages what in English would be expressed by an agentless passive is rendered by the use of an explicit impersonal or indefinite subject such as the German *man* or French *on*, or simply the word for *persons* or *people*... [...] Yet other languages achieve the same end by using the third person singular or plural form of the verb. The latter is illustrated in (8) from Paamese (Oceanic; Vanuatu) in which the impersonal interpretation is confined to clauses lacking a corresponding third person plural independent pronoun.

- (8) Paamese
 (*kaile) a-munumunu Vauleli
 (*they) 3PL.REAL-drink Vauleli

"There is drinking going on at Vauleli" ("World Atlas of Language Structures", 2005).

Там же указывается на возможность выразить похожие значения с помощью инверсии и среднего залога.

Наконец, правильность предположения Гухман подтверждается и авторами двухтомной работы "The Crosslinguistic Study of Language Acquisition" (Givón, 1985, p. 1012–1013). Как показали результаты сравнительных исследований различных языков мира, деперсонализация достигается либо личными или безличными пассивными конструкциями, либо возвратными, безличными и неопределённо-личными конструкциями (с местоимениями типа англ. *one*, *you*, нем. *man*). Обычно в языке присутствует более одного средства для удаления агенса из высказывания. Примечательно также, что пассивные и безличные конструкции зачастую могут превращаться друг в друга. Так, по данным Л. Кэмпбелл, следующие типы конструкций обычно оказываются генетически родственными в языках мира: возвратные, конструкции для описания спонтанных событий, медиопассивные, псевдопассивные, пассивные, безличные, эргативные, конструкции для описания состояний и результатов, для снятия акцента с какого-то члена предложения или для его топикализации (Campbell, 2004, p. 295). Чаще всего развитие идёт от возвратных к пассивным и от возвратных к безличным конструкциям.

В связи с этим встаёт вопрос: так ли «пациентивна» русская грамматика, как утверждает в работах некоторых этнолингвистов (ср. «При пациентивной ориентации [как в русском – Е.З.], являющейся, в свою очередь, особым случаем феноменологической, акцент делается на "бессилии" и пациентивности (*я ничего не могу <с>делать, разные вещи случаются со мной*)» (Вежбицкая, 1996); «Именно пациентивно ориентированная модель для русской языковой и ментальной картин мира является культуроспецифичной» (Устинова, 2007, с. 11))? На самом деле подлежащее английских пассивных конструкций типа *I was wounded* не менее пациентивно, чем дополнение русских безличных предложений типа *Меня ранило*, поскольку «в пассивной конструкции в качестве носителя признака – подлежащего – выступает пациент, а производитель действия – агенс – представлен дополнением как зависимый синтаксический компонент» (Копров, 2000, с. 74; ср. Курилович, 1946, с. 387; Dessalles, 2007, p. 225; Comrie, 1983, p. 69; "Language Typology and Language Universals", 2001, p. 1414)¹.

Р. Диксон пишет, что в номинативных языках именительный падеж подлежащего в пассивных конструкциях скрывает за собой дополнение на

¹ Ср. «Источник (производитель, агенс) действия не обязательно выражен [в английском пассиве – Е.З.], но если он выражен, то в предложении он занимает позицию предложного дополнения» (Иванова и др., 1981). «Грамматический и истинный субъекты могут совпадать и часто совпадают, но приравнивать их друг к другу нельзя, поскольку номинативные субъекты пассивных конструкций лишены каких-либо коннотаций агентивности. В таких конструкциях пассивный субъект, над которым производится действие, является грамматическим субъектом, а активный – логическим» (Green, 1966, p. 2).

более глубоком уровне (Dixon, 1994, p. 189). Более наглядно это проявляется в следующем примере из Чосера: *And some were brend, and some wer (sic) cut the hals* – *Одних сожгли, другим перерезали горло* (цит. по: Jespersen, 1918, p. 92): хотя оба подлежащих стоят в английском в номинативе, в обоих случаях речь идёт об объектах действия, причём явно не желающих данного действия. В конструкции *Меня ранило* дополнение *меня* также несёт макророль пациенса. Если учитывать, что пассив употребляется в русском значительно реже, чем в английском, то вполне можно предположить, что это компенсирует (или же уравнивает) «пациентивность» русского имперсонала.

Примечательно, что в одной из работ А. Вежбицкая приводит данные по соотношению агенсов и пациенсов в разных языках, то есть соотношению описываемых ситуаций, когда человек сам что-то делал, и ситуаций, когда что-то делали с ним (Wierzbicka, 1981, p. 45–46). Проверялись только предложения с переходными глаголами, в которых и агенс, и пациенс одушевлены. Едва ли её тест можно считать репрезентативным, так как подсчёты проводились только по нескольким произведениям, но всё же примечательно, что в русских пьесах соотношение агенсов и пациенсов стопроцентно соответствует английскому и французскому (в среднем на 100 пациенсов 1-го, 2-го или 3-го лица приходится по 102 агенса 1-го, 2-го или 3-го лица во всех трёх языках). Судя по второму её корпусу, агентивные русские противостоят пациентивным англичанам и французам: в среднем на 100 пациенсов 1-го, 2-го или 3-го лица приходится по 106 агенсов 1-го, 2-го или 3-го лица в английской литературе, 105 – во французской и 117 – в русской. Повторим ещё раз, что подсчёты Вежбицкой едва ли можно назвать репрезентативными. Тем не менее, они демонстрируют, что номинативность и аналитичность английского и французского никак не способствовали росту агентивности соответствующих народов (по крайней мере, по этому грамматическому параметру).

Чтобы проверить соотношение агенсов и пациенсов в русском и английском на основе более репрезентативного материала, мы сравнили соотношение субъектных и объектных форм местоимений «я», «ты», «мы», «вы (+ Вы)» и «они» в наших корпусах художественной литературы. Проверка местоимений «он» и «она» невозможна, так как формы «его» и «её» совпадают с притяжательными. В русском именительный падеж может нести макророль пациенса и экспериенцера, но реже, чем в английском, поэтому переводы с английского на русский должны более точно отображать соотношение агенсов и пациенсов, чем оригиналы. Для сравнения приводятся данные по соотношению номинативных, аккузативных и дативных форм (табл. 7).

Таблица 7

**Соотношение субъектных и объектных форм местоимений
в художественной литературе (мегакорпус)**

Например: я (78,6 %) + меня (21,4 %) = 100 %.

Я (63 %) + меня (17,2 %) + мне (19,8 %) = 100 %.

Местоимение	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература	Переводы с английского
я	678 643 (78,6 %)	579 572 (79,3 %)	751 004 (79,5 %)	941 484 (81,3 %)
меня	184 882 (21,4 %)	150 962 (20,7 %)	193 699 (20,5 %)	216 620 (18,7 %)
вы (+ Вы)	169 146 (69 %)	132 028 (69,9 %)	136 749 (70,3 %)	224 637 (73,9 %)
вас (+ Вас)	75 874 (31 %)	56 833 (30,1 %)	57 874 (29,7 %)	79 308 (26,1 %)
ты	180 497 (75,4 %)	157 813 (76 %)	233 464 (75,9 %)	230 173 (76,8 %)
тебя	59 032 (24,6 %)	49 857 (24 %)	74 135 (24,1 %)	69 701 (23,2 %)
мы	167 031 (67,1 %)	162 191 (68,7 %)	186 463 (69,1 %)	234 453 (74,2 %)
нас	81 763 (32,9 %)	73 930 (31,3 %)	83 264 (30,9 %)	81 497 (25,8 %)
	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература	Переводы с английского
я	678 643 (63 %)	579 572 (65,2 %)	751 004 (66,1 %)	941 484 (67,4 %)
меня	184 882 (17,2 %)	150 962 (17 %)	193 699 (17 %)	216 620 (15,5 %)
мне	213 839 (19,8 %)	158 985 (17,9 %)	191 986 (16,9 %)	239 410 (17,1 %)
вы (+ Вы)	169 146 (52,8 %)	132 028 (55,2 %)	136 749 (56,3 %)	224 637 (59,1 %)
вас (+ Вас)	75 874 (23,7 %)	56 833 (23,8 %)	57 874 (23,8 %)	79 308 (20,9 %)
вам (+ Вам)	75 067 (23,5 %)	50 409 (21,1 %)	48 211 (19,9 %)	76 120 (20 %)
ты	180 497 (60,2 %)	157 813 (61,6 %)	233 464 (62,4 %)	230 173 (63,1 %)
тебя	59 032 (19,7 %)	49 857 (19,5 %)	74 135 (19,8 %)	69 701 (19,1 %)
тебе	60 093 (20,1 %)	48 318 (18,9 %)	66 288 (17,7 %)	64 711 (17,7 %)
мы	167 031 (54,3 %)	162 191 (57 %)	186 463 (58,1 %)	234 453 (61,9 %)
нас	81 763 (26,6 %)	73 930 (26, %)	83 264 (25,9 %)	81 497 (21,5 %)
нам	58 676 (19,1 %)	48 397 (17 %)	51 209 (16 %)	62 794 (16,6 %)

Таким образом, на первый взгляд создаётся впечатление, что в переводах с английского агентивные формы местоимений встречаются чаще. На самом деле это обусловлено более высокой частотностью пассива, в котором подлежащее в именительном падеже выполняет роль пациенса. Данные по аналитическому пассиву в наших корпусах мы опубликовали отдельно (Zarets'ky, 2008, S. 549). О более высокой частотности синтетического пассива в переводах может свидетельствовать многочисленность глаголов с формантом *-ся*, продемонстрированная в этой главе. В малом корпусе доминирование английского по числу агентивных форм вообще не просматривается: в пяти случаях доминирует русский, в трёх – английский (табл. 8).

Таблица 8

**Соотношение субъектных и объектных форм местоимений
в художественной литературе (малый корпус)**

Местоимение	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература	В среднем, %	Переводы с английского 1	Переводы с английского 2	В среднем, %
я	205 347 (80,5 %)	146 874 (81 %)	197 165 (81,8 %)	81,1	226 590 (81,5 %)	213 664 (80,6 %)	81
меня	49 720 (19,5 %)	34 431 (19 %)	43 982 (18,2 %)	18,9	51 585 (18,5 %)	51 483 (19,4 %)	19
вы (+ Вы)	57 019 (72,2 %)	44 138 (73,2 %)	29 416 (72,9 %)	72,8	65 607 (74,8 %)	58 924 (72,4 %)	73,6
вас (+ Вас)	21 937 (27,8 %)	16 170 (26,8 %)	10 951 (27,1 %)	27,2	22 144 (25,2 %)	22 466 (27,6 %)	26,4
ты	51 760 (78 %)	44 756 (79,5 %)	60 288 (78,1 %)	78,5	51 291 (76,4 %)	35 928 (75,6 %)	76
тебя	14 620 (22 %)	11 526 (20,5 %)	16 915 (21,9 %)	21,5	15 820 (23,6 %)	11 569 (24,4 %)	24
мы	35 500 (68,9 %)	33 383 (70,3 %)	45 324 (71,1 %)	70,1	56 642 (73,5 %)	40 400 (74,3 %)	73,9
нас	16 047 (31,1 %)	14 071 (29,7 %)	18 430 (28,9 %)	29,9	20 468 (26,5 %)	14 006 (25,7 %)	26,1
Местоимение	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература	В среднем, %	Переводы с английского 1	Переводы с английского 2	В среднем, %
я	205 347 (66,3 %)	146 874 (67,6 %)	197 165 (69,4 %)	67,8	226 590 (67,6 %)	213 664 (65,8 %)	66,7
меня	49 720 (16,0 %)	34 431 (15,9 %)	43 982 (15,5 %)	15,8	51 585 (15,4 %)	51 483 (15,8 %)	15,6
мне	54 811 (17,7 %)	35 825 (16,5 %)	43 000 (15,1 %)	16,4	57 258 (17,1 %)	59 732 (18,4 %)	17,7
вы (+ Вы)	57 019 (57,4 %)	44 138 (59,1 %)	29 416 (59,4 %)	58,6	65 607 (60,1 %)	58 924 (56,6 %)	58,3
вас (+ Вас)	21 937 (22,1 %)	16 170 (21,7 %)	10 951 (22,1 %)	21,9	22 144 (20,3 %)	22 466 (21,6 %)	20,9
вам (+ Вам)	20 455 (20,6 %)	14 333 (19,2 %)	9 148 (18,5 %)	19,4	21 403 (19,6 %)	22 806 (21,9 %)	20,7
ты	51 760 (64,%)	44 756 (65,7 %)	60 288 (65,1 %)	64,9	51 291 (62,9 %)	35 928 (61,2 %)	62
тебя	14 620 (18,1 %)	11 526 (16,9 %)	16 915 (18,3 %)	17,8	15 820 (19,4 %)	11 569 (19,7 %)	19,6
тебе	14 543 (18 %)	11 876 (17,4 %)	15 353 (16,6 %)	17,3	14 488 (17,8 %)	11 187 (19,1 %)	18,4
мы	35 500 (57 %)	33 383 (58,5 %)	45 324 (60,7 %)	58,8	56 642 (61 %)	40 400 (61,5 %)	61,3
нас	16 047 (25,8 %)	14 071 (24,7 %)	18 430 (24,7 %)	25	20 468 (22,1 %)	14 006 (21,3 %)	21,7
нам	10 733 (17,2 %)	9 565 (16,8 %)	10 896 (14,6 %)	16,2	15 700 (16,9 %)	11 273 (17,2 %)	17

Таким образом, никаких резких различий между английским и русским по числу «агентивных» субъектных форм и «пациентивных» объектных не наблюдается. В большом корпусе незначительно доминирует английский язык (что позитивно коррелирует с высокой частотностью пассива, то есть «пациентивных» субъектных форм), в малом корпусе незначительно доминирует русский.

Ещё одна причина более широкого употребления пассива в английском заключается в следующем: в древнеанглийском формы пассива можно было строить только от глаголов с прямым дополнением, а в современном – также от глаголов с косвенным и предложным дополнением. Многочисленные глаголы типа *helpan* (*помогать*), требовавшие в древнеанглийском дополнений в дативе и/или генитиве, употреблялись только в активе (можно также сказать: вне категории залога, если исходить из того, что залог могут иметь только прямопереходные глаголы). Затем в процессе аналитизации окончания датива и генитива, а также соответствующие формы местоимений постепенно отмирали, увеличивая тем самым количество переходных глаголов (*Pū monegum (DAT) helpst* > *You help many (people)*; *Ponne þū hulpe mīn (GEN)* > *When you helped me*) и расширяя сферу употребления страдательного залога. В частности, форма *Many people are helped by you* стала возможна после отмирания датива местоимения *ты* – *þē* (Barber, 2003, p. 117–118; ср. Kellner, 1892, p. 17, 93–94, 133).

На более ранних стадиях развития английского в пассиве вместо номинативных субъектов могли употребляться дативные: *There was told hym the adventure of the swerd. Therefore was gyuen hym the pryse* (Jespersen, 1894, p. 230), что можно и сегодня распознать в изредка употребляющихся предложных конструкциях с *to*, ср. *Happy woman must she be that **to her was given** the power in such unstinted measure to touch and move the popular heart!* [F. Douglass. *Life and Times of Frederick Douglass. English and American Literature*, S. 52499] vs. *Within the cage, she was denied nothing, **she was given** all licence* [D.H. Lawrence. *Women in Love. English and American Literature*, S. 91969]. Ещё один пример с предложной конструкцией: *He backed away from me, as I advanced, and at last turned and fled into the wood – whither, it is not **given to me** to know* (...*мне не дано знать*) [A.G. Bierce. *Can such Thingsbe? English and American Literature*, S. 3873]. Переосмысление дативных и аккузативных субъектов в качестве номинативных шло по той же схеме, как и в случае безличных конструкций: сначала существительные, затем местоимения, например: *The girl (DAT/NOM?) was given a gold watch* > *She (NOM) was given a gold watch* вместо *Her (DAT) was given a gold watch* (Jespersen, 1894, p. 132). Этому способствовал всё более жёсткий порядок слов с номинативным субъектом в крайней левой позиции в предложениях активного залога. Особенно отметим, что радикальное увеличение числа пассивных конструкций со времён древнеанглийского (а в древнеанглий-

ском пассива поначалу не было вообще (Krapp, 1909, p. 73; Henry, 1894, p. 373), как и грамматически оформленной категории залога (Аракин, 2003, с. 108)) вполне сопоставимо с ростом числа безличных конструкций в русском языке за последние века. Подробно расширение сферы пассива описано у О. Есперсена (Jespersen, 1918, p. 91–96; Jespersen, 1894, p. 227–232).

Отдельно скажем о точке зрения немецкого лингвиста М. Дейчбейна, поскольку он разработал тему интенсивного употребления пассива в английском более подробно, чем другие авторы. Как и другие учёные, он отмечает способность английского строить пассив от глаголов с косвенным и предложным дополнениями: *This must be got rid of* (*От этого надо избавиться*); *The Scottish throne was taken possession of by Macbeth* (*Шотландский трон был занят Макбетом*), обращает внимание на многочисленность прямообъектных (прямопереходных, транзитивных) глаголов в английском по сравнению с немецким и французским, но, помимо чисто лингвистического объяснения данных феноменов, углубляется в этнолингвистические изыскания (Deutschbein, 1953, S. 270; ср. Deutschbein, 1917, S. 107; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 251, 278, 280). Тот факт, что «пассивные конструкции встречаются в английском чаще, чем в любом другом языке», он считает результатом предметного мышления англичан (Deutschbein, 1953, S. 272). Предметное мышление выражается в номинальном стиле речи, то есть в активном употреблении существительных и других частей речи, схожих с существительными (герундиев, партиципов, инфинитивов), в случае пассива – партиципа II.

О том, что такое предметное мышление, Дейчбеин говорит в одной из ранних работ – “System der neuenglischen Syntax” (Deutschbein, 1917, S. 43). Вместе с некоторыми психологами и этнологами начала XX в. (в первую очередь, под влиянием своей жены, имевшей философское образование) он выделяет два типа мышления: предметное и обстоятельствоное. В первом случае внимание человека концентрируется на объектах и их свойствах, на связях объектов в пространстве, но не во времени. Если человек с таким мышлением хочет сказать, что локомотив дымит, он предпочитает изъясняться номинальным способом (не путать с номинативным: первый подразумевает интенсивное использование существительных, а второй – номинатива): нем. *Lokomotivenrauch* – дословно: *Дымление локомотива*. Время, когда случается данное событие, его сознание не отмечает или, вернее, причисляет к второстепенным факторам, не требующим особого выражения в речи. Во втором случае внимание человека концентрируется не на предметах, а на событиях, действиях, изменениях и процессах, потому чаще используются глаголы. Для такого человека или народа более важны не пространственные, а временные отношения; его мышление линейно.

Если при первом типе мышления человек видит в действии принадлежность (*Мои слёзы*), то при втором – функцию субъекта (*Я плачу*). При желании выразить ту же мысль о локомотиве носитель обстоятельствоно-

го мышления скажет *Die Lokomotive raucht* (Локомотив дымит). Второй тип является более молодым, поскольку глаголы моложе существительных. Некоторые дикие племена до сих пор используют в речи почти исключительно существительные. По мнению Дейчбейна, развитие предложения в древнейших языках происходило по принципу *Мое ношение его > Я его несу, Ты – место моего давания > Я тебе дал*. Свою мысль он подтверждает тем фактом, что окончания глаголов во многих языках явно происходят из слияния существительных и стоявших после них личных местоимений. Когда первоначальный смысл местоимений терялся, перед этими новыми частями речи ставили новые местоимения-субъекты.

Склонность англичан к возвращению от обстоятельственного мышления обратно к предметному Дейчбейн датирует временем Ренессанса, а многочисленные конструкции, не вписывающиеся в его схему типичного номинального предложения (англичане всё же говорят *I am crying / I cry* (Я плачу), а не *My tears* (Мои слёзы)), объясняет относительно непродолжительным периодом развития тенденции к номинализации (Deutschbein, 1917, S. 44, 63).

Дейчбейн не приравнивает возврат к более древнему типу мышления к одичанию, хотя в одной из работ называет предметное мышление, пользующееся номинальным стилем, примитивным, сопоставимым с детским, а обстоятельственное – типом мышления просвещённых народов (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 3). Напротив, он видит в этом возврате исключительно позитивные качества: «Номинальные глагольные формы позволяют понять образ мышления и речи англичан. Их можно охарактеризовать как предметные (использующие предметные части речи, являющиеся переходными по направлению к существительному), как наглядные и дифференцирующие, как объективные благодаря спокойному и дельному стилю изложения, а также удалению субъективного восприятия на второй план, как динамические благодаря намеренному акцентированию сознательных и волевых действий и их практических последствий».

С точки зрения культурной специфики, эти языковые формы отвечают своеобразию англичанина, выражающемуся в образе мыслей, направленном на реально существующее, конкретное, отдельное и одушевлённое, в верности традициям и опыту, в высокой оценке целенаправленной воли и практических действий.

Этому можно найти множество доказательств в английской культуре, начиная с политической жизни с её разделением на конкретные задания, позволяющим легче с ними справляться, с её примирением противоположностей путём поиска компромиссов, благодаря чему обеспечивается спокойное и непрерывное развитие, вплоть до предпочтения прагматичных прикладных наук и практических заданий в общественной жизни. Мир, жизнь и язык представляют собой единое целое» (Deutschbein, 1953, S. 129).

Дейчбейну свойственно очень далеко заходить в своих выводах о связи языка и мышления. Кроме того, нельзя не отметить, что этот автор практически в любой особенности английского языка по сравнению с его родным немецким видит какие-то положительные характеристики английского менталитета. Это касается даже употребления артиклей и множественного числа, не говоря уже о более важных характеристиках (а это обычно характеристики, отличающие синтетические языки от аналитических). Например, при рассмотрении исчезновения падежей в английском он всё списывает на склонность англичан к экономичности, полностью игнорируя исторические факторы (Deutschbein, 1953, S. 183). Жёсткий порядок слов он называет логическим, подразумевая, очевидно, что свободный порядок слов нелогичен (причём он отмечает, что инверсия, являющаяся следствием свободного порядка слов, в немецком встречается чаще) (Deutschbein, 1953, S. 277, 279; ср. Мельникова, 2003, с. 238, 258).

При описании процесса транзитивизации глаголов, требовавших в древнеанглийском датива (*to help, to meet, to follow, to fight*), Дейчбейн также предпочитает историческому объяснению культурологическое: интерес англичан к объектам, каузальность их мышления, желание изъясняться объективно, по-деловому и безлично (sic: “unpersönlich”) были, по его мнению, истинной причиной данного явления (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 188–189). На самом деле, аналитический строй подразумевает автоматическое расширение сферы переходных глаголов, потому и в английском оно было неизбежно, как и в любом другом языке (в одной из своих книг Дейчбейн сам говорит, что жёсткий порядок слов SVO является следствием распада системы флексий (Deutschbein, 1953, S. 278), а этот порядок слов подразумевает распространение аккузативных дополнений). Аналогичным образом рассматриваются Дейчбейном и остальные вопросы, причём англичане всегда оказываются в чём-то более развитыми или прогрессивными, чем немцы.

Результатом перехода к предметному мышлению Дейчбейн считает:

- многочисленность существительных, герундиев, партиципов, инфинитивов, пассивных конструкций;
- многочисленность парафраз с высокочастотными глаголами типа *to have the belief* (верить) вместо *to believe*, *to give a hint* (намекать) вместо *to hint*, *to have a doubt* (сомневаться) вместо *to doubt*, *to have a smoke* (курить) вместо *to smoke* для избежания глаголов (противоречия в том, что для избежания глаголов используются другие глаголы, Дейчбейн не видит; кроме того, ему, очевидно, неизвестно, что такие парафразы широко распространены в аналитических креольских языках);
- замену глаголов на прилагательные: *to be expressive* (быть экспрессивным, выразительным) вместо *to express* (выражать), *to be productive* (быть продуктивным) вместо *to produce* (производить);

- склонность к сложносочинённым (а не сложноподчинённым) конструкциям;

- активное использование падежей (sic: “reiche Kasusbildung”), выражаемых предлогами (Deutschbein, 1917, S. 45–47, 52–53; Deutschbein, 1953, S. 128, 143; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 280, 282).

Заметим, что, в отличие от многих других авторов, Дейчбейн полагает, что падежи могут равноценно выражаться и окончаниями, и местом слова в предложении, и предлогами, хотя не любое сочетание предлога с существительным выражает падеж (Deutschbein, 1917, S. 255). Собственно, именно в этом и кроется слабость данной точки зрения, так как никаких убедительных критериев разграничения «настоящих» и «ненастоящих» падежей он не предложил. Дейчбейн выделяет в английском четыре падежа (номинатив, генитив, датив, аккузатив), обращая внимание на тот факт, что именно они встречаются во всех языках мира (данная точка зрения давно опровергнута), и именно им можно приписать определённое место в предложении (также опровергнута) (Deutschbein, 1917, S. 256; Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 9). Необходимо учитывать, что Дейчбейн писал данную работу 90 лет назад, когда языковая типология была развита в значительно меньшей мере.

Помимо деления типов мышления на предметное и обстоятельственное, Дейчбейн использует ещё одну классификацию, имеющую непосредственное отношение к нашей теме (Deutschbein, 1917, S. 59). Опираясь на труды немецкого психолога и философа В. Вундта, он противопоставляет объективное мышление субъективному. В первом случае человек видит вещи такими, какими они являются на самом деле, а во втором – через призму личного к ним отношения, то есть субъективно. Англичане становятся всё более объективными в своём мировоззрении и превосходят в данном отношении немцев. Обычно народы, склонные к предметному мышлению, склонны и к объективному, а носители обстоятельственного – к субъективному. Автор опять же не видит противоречия в своих словах: с одной стороны, он указывает на то, что предметное мышление первично, то есть самое древнее; с другой стороны, именно его носителям он приписывает особую объективность (Deutschbein, 1917, S. 60). Главной характеристикой объективных языков является многочисленность переходных глаголов, поскольку глагол в таких языках играет зависимую роль, а объект – доминирующую. С этим сопряжена и интенсивность применения пассива. Развитость транзитивности Дейчбейн считает доказательством динамичности английского языка, проявлением рассудительно-делового, каузативного и объективного мышления англичан (Deutschbein, 1953, S. 183). Переход к объективному мышлению также связывается с Ренессансом.

Субъективные языки типа немецкого при неизвестности субъекта используют «псевдосубъект» (в терминологии Дейчбейна): нем. *Man beschoss die Stadt* (Город обстреляли), *Es wurde getrunken* (Пили), а объек-

тивные типа английского – пассив, сделав из объекта субъект: *The town was destroyed* (Город был разрушен) (Deutschbein, 1917, S. 60, 106; Deutschbein, 1953, S. 273; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 251). Там, где немец скажет *Man muss mich vergessen* (Меня надо забыть), англичанин скажет *I must be forgotten* (Я должен быть забыт) (пассив). Все глаголы Дейчбейн делит на объективные, то есть предпочитаемые при объективном типе мышления (сюда он относит глаголы с прямым, косвенным и предложным дополнением, а также часть возвратных), и субъективные (непереходные и часть возвратных), предпочитаемые при субъективном типе мышления (Deutschbein, 1917, S. 98). В немецком пассив встречается реже, чем в английском (так как в немецком меньше переходных глаголов), употребляются компенсирующие конструкции с местоимением *man*, пассив может строиться только от прямопереходных глаголов (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 251–252). Из этого, очевидно, следует сделать вывод о большей субъективности немцев.

Ещё одной особенностью английского языка автор считает его особый акцент на одушевлённости субъекта, в том числе при возвратных глаголах (Deutschbein, 1917, S. 106; Deutschbein, 1953, S. 267, 273–274; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 254; Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 50). В английском употребление возвратного местоимения “itself” чрезвычайно редко как раз потому, что субъекты при возвратных глаголах практически всегда одушевлены или же персонифицируются. Это чрезвычайно ограничивает сферу употребления возвратных глаголов и способствует большей частотности пассива: *The key found itself* (Ключ нашёлся) > *The key has been found* (Ключ был найден); *A stone hurt him* (Камень поранил его) > *He was hurt by a stone* (Он был поранен камнем). На английском можно сказать *He killed himself* (Он убил себя), но не *The door opened itself* (Дверь открылась); вместо этого говорят *The door opened* (актив) или *The door was opened* (пассив), что опять же способствует повышению частотности страдательного залога. Возвратные местоимения опускаются даже при глаголах, относящихся к одушевлённым субъектам, если действия, совершаемые ими, механические, неволевые, обусловлены привычкой, поэтому сейчас всё реже говорят, например, *He washed himself* (Он умылся; ежедневное действие), предпочитая *He washed*.

Англичане, будучи объективными, не склонны употреблять подлежащие, не имеющие одушевлённых денотатов, так как у неодушевлённой природы нет воли, а прототипический субъект должен быть активным и одушевлённым (далее он уточняет эту мысль в том отношении, что стандартное и наиболее естественное подлежащее в активном предложении английского языка должно быть деятельным, одушевлённым, конкретным, определённым и образным, а не абстрактным и расплывчатым, как это часто бывает в немецком; в пассивном же предложении подлежащее обычно неодушевлено и бездеятельно, сама конструкция чаще используется для

описания состояний, чем действий (Deutschbein, 1953, S. 265, 267; Deutschbein, 1917, S. 662)). В данном случае Дейчбейн прав в отношении прототипического субъекта, но относительно особой приверженности английского к подлежащим с одушевлёнными денотатами ошибается, так как в английском грамматическая персонификация используется чаще, чем в других индоевропейских языках. Русский в этом отношении ближе к идеалу прототипического субъекта.

Возвратные глаголы представляются Дейчбейну слишком субъективными (соответствующими субъективному мировоззрению, пригодными для выражения личных эмоций, которые, по мнению англичан, лучше скрывать), из-за чего в английском они исчезают, а в немецком сохраняются; по той же причине в английском датив вытесняется аккузативом (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 281). На самом деле возвратные глаголы исчезают и в немецком, так как немецкий также анализируется. Как отмечает Дейчбейн, вместо возвратных глаголов в английском употребляются либо предложные (нем. *sich kümmern* (заботиться) – англ. *to care for*, *sich beklagen* (жаловаться) – *to complain of*), либо непереходные (нем. *Er setzte sich* (Он уселся) – англ. *He sat down*), либо переходные, использующиеся непереходно (нем. *sich zerstreuen* (распылиться) – англ. *to disperse*, *sich vermindern* (уменьшиться) – *to diminish*), либо сочетания вспомогательного глагола *to be* и партиципа II или прилагательного (нем. *sich schämen* (стыдиться) – англ. *to be ashamed*, *sich fürchten* (бояться) – *to be afraid*, *sich ärgern* (злиться) – *to be vexed*). Как видно по примерам, употребление возвратных глаголов в немецком совпадает в данном случае с русским, что говорит об их большей типологической близости. Иногда вместо немецких возвратных местоимений в английском встречается истинный объект действия (ср. нем. *He cleared his throat* (Он прочистил горло) – нем. *Er räusperte sich* (Он прокашлялся)), или же вместо возвратного глагола употребляют парафразу с высокочастотным глаголом (нем. *Er wusch sich* (Он помылся) – англ. *He had a wash*, причём этот вариант должен подчёркивать волитивность, ср. *to walk* – *to take a walk*, где второй вариант, как полагает Дейчбейн, более волитивен) (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 255, 257).

Дейчбейн перечисляет и те типичные функции пассива, о которых мы уже говорили выше: так, пассив в английском, как и в других языках, используется для снятия акцента с производителя действия (Deutschbein, 1953, S. 274). Кроме того, пассив является удобным средством выражения английского *understatement*, то есть вежливого, осторожного, сдержанного, скрытного и неэкспрессивного стиля общения: предложение *He is said to be very aggressive* (Говорят, он очень агрессивен) звучит более осторожно, чем просто утверждение, что кто-то агрессивен. Пассив даёт английскому большую свободу и гибкость способов выражения, больше стилистических возможностей. Пассив также может передавать неволитивность, что охот-

но используется в дипломатических целях: предложение *No answer has been given by the French Government* (Никакого ответа французским правительством дано не было) оставляет открытой возможность, что французское правительство хотело дать ответ, но по каким-то причинам не могло. Если же сказать *The French Government has not yet given an answer* (Французское правительство ещё не дало ответа), подразумевается, что правительство полностью несёт ответственность за своё бездействие.

Столь подробно мы остановились на взглядах М. Дейчбейна потому, что на них основывается его объяснение сужения сферы употребления безличных конструкций в английском, о чём мы ещё скажем в соответствующей главе ниже. Будучи тонким знатоком английской грамматики (а мы неоднократно ссылаемся на него в этой работе), он одним из первых высказал те мысли о связи языка и культуры, которые до сих пор тиражируются современными этнолингвистами. Что, однако, было позволительно Дейчбейну во времена, когда языковая типология и этнолингвистика находились в зачаточном состоянии, нельзя некритично перенимать почти столетие спустя, игнорируя достижения современной науки. Дейчбейн писал свои работы, основываясь на наиболее актуальных теориях своего времени, но многие из них были с тех пор не только опровергнуты, но и забыты (Дейчбейн умер в 1949 г.).

В частности, приведённая в этой главе цитата А. Вежбицкой о многочисленности каузативных конструкций в английском и связанных с этим культурологических предпосылках (из книги 2006 года!) является по сути изложением мыслей Дейчбейна (Deutschbein, 1953, S. 145). Как было показано выше, данная особенность английского объясняется распространённостью переходных глаголов и размытостью границ между частями речи (о которой, кстати, говорил и сам Дейчбейн, не связывая, однако, эти факты воедино (ср. Deutschbein, 1917, S. 57–58; Deutschbein, 1953, S. 128)). Едва ли кто-то сегодня будет воспринимать всерьёз и его рассуждения о взаимообусловленности пассива и предметного / объективного мышления, особенно если вспомнить, что немецкие коллеги Дейчбейна неизменно приписывали высокую частотность пассива в языках других народов их примитивности, пассивному отношению к жизни и иррациональности, но для английского делали исключение – типичное для лингвистики начала XX в. проявление двойных стандартов.

Наконец, Дейчбейн не располагал теми техническими средствами, которыми располагают современные учёные. Например, основываясь на единичных примерах, он приходит к выводу о том, что в английском собирательные существительные встречаются реже, чем в немецком (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 163). Это представляется ему вполне логичным, так как он исходит из того, что англичане склонны подчёркивать личное, единичное, индивидуальное, а немцы – общее, тотальное, коллективное (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 281). Сейчас достаточно нескольких се-

кунд, чтобы установить, что собирательные существительные используются в английском значительно чаще, чем в немецком. Так, в самом большом немецко-английском и англо-немецком словаре “Muret-Sanders e-Großwörterbuch Englisch 4” их встречается 122 в немецкой половине и 494 в английской (всего 410 000 лексем). Не устарели, однако, чисто «технические» описания механизмов английской грамматики: редкость возвратных глаголов, относящихся к неодушевлённым субъектам, возможность построения пассива от предложных дополнений и т.д.

Хотя является очевидным, что сфера употребления актива и пассива напрямую связана с синтетическим и аналитическим строем (по крайней мере, в случае рассматриваемых здесь индоевропейских языков), представляется довольно странным тот факт, что в работах современных этнолингвистов, обычно видящих в пассиве признак пассивного отношения к жизни, столь широкое распространение страдательного залога в английском языке не комментируется вообще, и это при том, что во второй половине XX в. американские стилисты, писатели и социологи превратили употребление актива в настоящий культ, узрев в склонности к пассиву признак слабой, безответственной и бездеятельной личности¹. Вот, например, советы, которые дают преподаватели североамериканских университетов своим студентам.

«Большинство руководств по стилистике советует студентам избегать пассива. Страдательный залог часто делает предложения расплывчатыми и непонятными. Иногда его используют, чтобы избежать обозначения подлежащего. Например, в знаменитой речи о войне во Вьетнаме президент Джонсон использовал пассивную конструкцию "Ошибки были сделаны". Это позволило ему избежать уточнения, кто именно сделал ошибки. Всегда спрашивайте себя, можно ли перефразировать то же предложение в активе» (Kohn, 2006).

«В большинстве случаев избегайте пассива (“Jim is being driven to distraction by his hamster”), заменяйте его более точным активом (“Jim’s hamster is driving him to distraction”). Предложение более эффективно, если концентрирует внимание на субъекте, вы-

¹ Ср. «Американский грамматист Дэнис Вэрон утверждает (в “Going out of style?”, *English Today* № 17, янв. 1989 г.), что с 1940-х гг. писатели и справочники по стилю, особенно американские, всё чаще призывают своих читателей избегать пассива или свести его употребление до минимума; страдательный залог начал ассоциироваться не только с многословием и невнятностью, но также с уклончивостью и обманом, особенно когда используется его “безагентивная” форма, ср. *Бомбы были сброшены на невинных мирных жителей* (кем?). В 1946 г. Джордж Оруэлл в своём эссе “Политика и английский язык” (*Horizon*, том 13) предложил принцип “Никогда не используйте пассив, где можно использовать актив”. [...] Вэрон отмечает, что критики, негативно относящиеся к пассиву, используют в его отношении такие прилагательные, как “ленивый”, “неясный”, “отчуждённый”, “расплывчатый”, “бесцветный” и “многословный» (McArthur, 1998, p. 443). Другие обзоры подобных мнений можно найти у П. Брауна (Braun, 1998, S. 141) (пассив тяжеловесен и используется только «слабыми натурами») и у М. Дейчбейна (Deutschbein et al., 1928, S. 65) (те же аргументы, совет использовать чаще переходные глаголы, так как они выражают активное отношение к жизни).

полняющем какое-то действие, чем на субъекте, с которым что-то делают» (“The UVic Writer’s Guide”, 1995).

«Чтобы избежать проблем с предикацией:

– избегайте пассивных конструкций при написании сочинений, делайте производителя действия подлежащим, добавляйте к нему глагол, обозначающий действие...» (“Predication Workshop”, 2006).

В “The Cambridge Encyclopedia of the English Language” отмечается, что «слишком интенсивное использование пассива часто навлекает на себя критику, особенно со стороны сторонников более чётких форм изложения в официальных документах, и на многих писателей эта критика возымела своё действие» (Crystal, 1995, p. 224).

В более ранних работах по этнолингвистике иногда можно найти утверждения, что немецкий и английский являются языками активного типа (в том смысле, что их носители избегают пассива) по сравнению со славянскими, причём авторы объясняли этот факт большей конкретностью мышления англичан и немцев (Havers, 1931, S. 147). Однако после того как было установлено, что славяне используют страдательный залог относительно редко, западные учёные вместо того, чтобы приписывать больший активизм славянам, перестали упоминать в своих работах о пассиве, ограничиваясь описанием безличных конструкций (как это делает А. Вежбицкая). Это позволило и дальше давать отрицательные характеристики менталитету славянских народов и положительные – менталитету западных народов. Заметим, что Дейчбейн видел признак конкретности английского мышления в интенсивном использовании пассива, а Хаферс – в слабом использовании пассива. По сути, не играет никакой роли, какие характеристики присущи английскому – благоволящие англичанам этнолингвисты истолковывают любые его мнимые или настоящие характеристики с точки зрения достойных похвалы особенностей английского менталитета (которые сами по себе следовало бы как-то обосновать социологически, на примере конкретных цифр в сравнении с менее «развитыми» народами). Одно неизвестное доказывается через другое неизвестное. Если считается, что в английском много пассива, то это признак конкретного мышления, если мало пассива – то это всё равно признак конкретного мышления (сопряжённого с объективностью, логичностью и т.п.). Для славянских же языков действует обратное правило – любое количество пассива есть проявление иррациональности и пассивного отношения к жизни.

Лишь в двух-трёх работах современных отечественных лингвистов можно найти утверждение, что в русском языке категория неопределённости, включая пассив, употребляется шире, чем в английском (ср. Треблер, 2004, с. 147). В частности, С.Г. Тер-Минасова в популярной книге «Язык и межкультурная коммуникация» при сравнительном анализе русского и английского языков приходит к следующему выводу: «Русский язык таким образом подчёркивает действия высших потусторонних сил и скрывает человека как активного действующего за пассивными и безличными конструкциями» (Тер-Минасова, 2000, с. 214). Кроме того, мысль о большей распространённости

пассива в русском периодически встречается в СМИ, особенно в статьях с обличением языкового стиля СССР: «Лингвисты считают, что человек не мыслит словами, языком, но мыслит образами. Но язык, вне сомнения, оказывает определяющее влияние на образ мыслей. Может быть, когда мы говорим "синий" или "голубой", мы представляем себе то же, что и англичанин, произносящий "blue" или немец – "blau", пусть мы и делаем различие между оттенками, а они нет. Но, определенно, обилие пассивов и безличных конструкций в речи (например, в русской и советской речи) неизбежно ведёт к безответственности, возведённой в степень нормы и даже неизбежности. И вот что из этого следует и что гораздо важнее: язык диктует образ действий» (Александров, 2004)¹.

Ни журналисты, ни учёные из этнолингвистических кругов ничем своих данных о склонности русского к пассиву не подтверждают, поэтому нам представляется более корректным придерживаться в данном случае противоположного мнения, высказываемого значительно чаще, в том числе в зарубежной лингвистике, и неоднократно подтверждённого конкретными цифрами. Возможно, оба процитированных автора были введены в заблуждение тем, что в западной лингвистике широко распространено мнение об интенсивном использовании пассива в советских СМИ в манипулятивных целях (причём конкретная статистика и в этом случае не приводится). Разумеется, нет никаких оснований переносить особенности стиля советских СМИ на русский язык вообще.

Таким образом, английские пассивные конструкции употребляются в тех же случаях, что и русские безличные: при желании говорящего акцентировать объект действия или само действие, при неизвестности производителя действия или его несущественности, второстепенности. Поскольку пассив в английском употребляется чаще, чем в русском, можно предположить, что это соотносимо с широким распространением имперсонала в русском языке. Если использовать терминологию этнолингвистов, можно утверждать, что английский синтаксис столь же «пациентивен», сколь и русский, только «пациентивность» проявляется не в безличных конструкциях, а в пассиве. Те учёные, которые отмечают чрезвычайно интенсивное употребление пассива в английском, видят в этом отражение позитивных характеристик английского менталитета; те же, кто полагают, что пассив чаще употребляется в русском или каких-то неевропейских языках, видят в этом проявление исключительно негативных качеств. Такие же двойные стандарты наблюдаются и при рассмотрении сферы употребления имперсонала, о чём будет подробнее сказано ниже на примере французского языка.

¹ Аргумент, будто язык не позволяет видеть англичанам голубой цвет, также сомнителен. Так, можно было бы ожидать, что в переводах с английского слово *голубой* будет встречаться реже, чем в русских текстах, так как голубой в английском в отдельный цвет не выделяется. Тем не менее, по данным мегакорпуса, в русской классике это слово во всех формах встречается 4230 раз, в советской литературе – 7416, в постсоветской – 5429, в переводах с английского – 7491, то есть данная особенность английского языка, очевидно, не лишила англичан возможности видеть голубой цвет и говорить о нём даже чаще, чем это делают русские.

Глава 5

ДАТИВ В БЕЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ РАЗНЫХ ЯЗЫКОВ

5.1. Датив в английском языке

Обращает на себя внимание тот факт, что все 11 структурных формул, которыми А. Вежбицкая иллюстрирует русский фатализм, содержат в себе датив (Вежбицкая, 1996):

1) отрицание (neg) + инфинитив агентив. + (датив человек.): *Не догнать тебе бешеной тройки;*

2) инфинитив + экспрессивная интонация: *Быть первым, вольно одиночим!* (хотя А. Вежбицкая не упоминает в этой формуле наличие датива, там, на наш взгляд, всё-таки содержится имплицитный дативный субъект: *Быть [кому? мне, тебе] первым...*);

3) инфинитив + бы («я / мы» – датив человек.) + восклицательная интонация: *«Закусить бы», – говорит Сашка;*

4) датив человек. + бы + инфинитив: *Елена, тебе бы в министрах быть!*;

5) отрицание + инфинитив + бы + (датив человек.): *Как бы не опоздать;*

6) (ну) инфинитив агентивный + (датив человек.): *Пора идти нам с тобой;*

7) Q + (интонация специального вопроса) + (датив человек.) + инфинитив агентивный: *Что мне было делать? Как подать ей помощь?;*

8) (датив человек.) + инфинитив агентивный: *Нам ехать-то всего сорок километров;*

9) отрицание + глагол 3 л. ед. ч. (ср. р.) рефл. + (датив человек.): *Не спится ей в постели новой;*

10) глагол агентивный 3 л. ед. ч. (ср. р.) рефл. + датив человек. + наречие: *Мне чудесно писалось;*

11) датив человек. + глагол ментальный 3 л. ед. ч. (ср. р.) рефл.: *Теперь уже мало осталось, хотя и самой не верится.*

В этих формулах А. Вежбицкая усматривает отражение пассивного и иррационального мировоззрения русского народа, где весь мир предстаёт противопоставленным человеческим желаниям и волевым устремлениям или, по крайней мере, независимым от них (ср. Омельченко, 2000, с. 39). Русскому языку она противопоставляет английский, где таким конструкциям обычно соответствуют номинативные или номинативоподобные. В связи с этим встаёт вопрос: правомерны ли подобные сравнения, если учитывать тот факт, что в процессе анализации английская система падежей распалась? Напомним, что первоначально в индоевропейском языке паде-

жей было восемь (по некоторым данным, даже девять, к перечисленным выше добавляется направительный, он же аллативный (Ringe, 2006, p. 23; ср. Green, 1966, p. 14)), а в современном английском их осталось от нуля до двух-трёх, по мнению разных учёных (подробней см. ниже).

Когда английский являлся языком синтетического строя, безличные конструкции с дативом встречались и в нём, причём, по выражению фон Зеефранц-Монтаг, были «очень распространены и продуктивны», как и в протогерманском (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 104–105): *thogh him (DAT) gamed or smerte = though he felt pleasure or pain* [G. Chaucer. The Canterbury Tales. English and American Literature, S. 20230], *Me (ACC / DAT) hyngrid = I am hungry*, *Him (DAT) scamode = He was ashamed*, *Me (ACC / DAT) þynceþ þæt... = It seems to me that...*, *Him (DAT) þuhte þæt his forðfor swa neah ne wære = It seemed to him that his death was not so near*; другие примеры безличных глаголов с дативом: *gebyrian* (случаться, происходить), *eglian* (быть в тягость, надоедать), *hreowan* (вызывать сожаление, печаль), *lafian* (быть ненавидимым), *leof beon* (быть приятным), *lician* (нравиться) (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 105), *mislimpan* (не удаваться), *gespowan* (удаваться) (Quirk, Wrenn, 1994, p. 65). Не являются в этом отношении исключением и дативные инфинитивные конструкции (Вежбицкая приводит именно инфинитивные конструкции с дативом): *Hit is swiðe earfoðe ænigum to ðeowienne twam hlafordum* (Любому очень трудно служить двум господам); *Nis me earfeðe to gepolianne þeodnes willan* (Мне тяжело выносить волю господина); *Þes trahst is langsum eow to gehyrenne* (Тебе скучно слушать этот трактат); *What profite is it wallis to schyne wiþ preciose stonys and crist (sic) to die for hunger in þe pore man* (Какой толк сиять стенам драгоценными камнями, когда Христос умирает от голода бедным человеком); *Me, here to leue, & þe, hennys þus go, hit is to me gret care & endeles wo* (Мне оставаться здесь, а тебе уйти вот так отсюда, очень тяжело и больно для меня) (Fisher et al., 2000, p. 216–217); *Hard is to knowe in al роупtis to holde the meene* (Тяжело знать точно, как управлять обществом; субъект опущен) (Fisher et al., 2000, p. 71).

После упрощения древнеанглийской глагольной парадигмы (ср. von Seeffranz-Montag, 1983, S. 89) и сокращения падежной системы с именительного, родительного, дательного, инструментального и винительного падежей до общего и косвенного практически все безличные конструкции с дативом стали невозможны. Аналогичная картина представлена в нидерландском, фризском, датском, шведском и норвежском (Зеленецкий, 2004, с. 116). В немногих случаях сохранились предложные конструкции типа *For you to smoke is bad* (Тебе плохо курить) (Fisher et al., 2000, p. 217); чаще субъект удалён полностью: *What is to be done next?* (Что делать [мне, тебе...] дальше?), *It is time to finish the work* (Пора закончить работу) (Fisher et al., 2000, p. 230–231).

Рассмотрим применение датива в английском и других языках несколько подробнее. Целью данного обзора является демонстрация многофункциональности датива в индоевропейских языках синтетического строя. Причина этой многофункциональности кроется в истории индоевропейского языка, а именно в его эргативном или активном прошлом. Вот, например, как описывает возникновение безличных конструкций с дативом Ю. Тойота.

“The semantic categories of any sensation [in Proto-Indo-European – E.3.] are considered directed towards their recipient, i.e. experiencer and this ‘towardsness’ can be considered as a type of directionality. The nominal with dative case is restricted to animate nouns and the occurrence of verb of perception with dative subject seems to be a natural result of directionality and animacy restriction on experiencer. Some examples from ancient languages are shown in 6 and 7. This type of construction is often not restricted to PIE [= Proto-Indo-European – E.3.] and preserved in much later daughter languages.

Hittite

6. (kued)aniikki meerzi
 someone.DAT disappear
 ‘Someone disappears.’ (lit. ‘disappears in relation to someone’)

Latin

7. mihi displicet
 I.DAT dislike.3SG
 ‘I dislike.’ (lit. ‘to me dislike’)

The descendant of PIE may still preserve the impersonal verb construction to the present day, but in varying degrees. For example, Bauer notes that ‘in Germanic, Italic and Slavic languages the impersonal verb is well represented, but it is much less widespread in Greek and Sanskrit’.

These various features are the result of careful reconstruction work by Gamkrelidze and Ivanov and although there have been a number of works claiming that PIE is actually active language providing partial evidences, they successfully provide convincing evidence and lay out the path of historical changes most convincingly” (Toyota, 2004, p. 6).

Как уже говорилось выше, падежная система индоевропейского языка выросла из первоначального деления всех существительных на активные и инактивные, причём первые употреблялись в формах, ставших номинативом, а вторые – в формах, ставших аккузативом (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 240–241). Класс одушевлённых (активных) существительных делился на способных и неспособных к восприятию (к неспособным относились растения и некоторые животные). С классом способных к восприятию живых объектов со временем стал употребляться датив (ср. *Мне видится*), чем и объясняется наличие подобных конструкций в современном русском. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов называют этот член предложения «дативным субъектом», приводя в пример д.-лит. *Niežti mi* (*У меня чешется*; дословно: *Мне чешется*); лит. *Miegti* (*Мне спится*; диалектальное) (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 249–250). По утверждению А. Грина, первоначальное значение датива в индоевропейском неизвестно, он мог развиться из лока-

тива (то есть отвечал на вопросы *где?*, *куда?*) и выполнять схожие функции, но, вероятнее всего, его основная функция заключалась в том, чтобы показать, что определённое действие каким-то образом отразилось на человеке (Green, 1966, p. 10–12; ср. Henry, 1894, p. 255; Lehmann, 1995 b, p. 56; Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 12). Это несколько не противоречит теории об эргативном или активном строе индоевропейского языка, если вспомнить, что на близкое родство местного и дательного падежей указывали Гамкрелидзе и Иванов (Gamkrelidze, Ivanov, 1995).

И.И. Мещанинов отмечал, что в эргативных языках при глаголах чувственного восприятия подлежащее обычно также стоит в дативе (аффективная конструкция, подробнее см. выше): ав. *Инсу-е жиндирго льимер бокь-ула* (буквально: *Отцу люб его сын*, то есть *Отец любит своего сына*; выражение субъекта в дативе в таком контексте характерно и для других языков иберийско-кавказской семьи); лезг. *Буда-диз кье са сев акуна* (*Отцу был виден сегодня один медведь*, то есть *Отец видел сегодня одного медведя*) (Мещанинов, 1984, с. 47, 53–54). В дативных конструкциях такого рода, схожих – подчеркнём это ещё раз – с дативными конструкциями индоевропейского языка, локатив просматривается ещё достаточно чётко, подчёркивая направленность на человека чего-то извне (здесь: причины чувства / ощущения / восприятия). Таким образом, есть все основания предполагать, что дативные безличные конструкции унаследованы из индоевропейского языка, причём английский не был исключением, пока его строй позволял их сохранение.

В древнеанглийском языке датив широко применялся в следующих функциях:

1) с глаголами типа *andswarian* (*отвечать*), *beorgan* (*спасать*), *bodian* (*объявлять*), *gebiddan* (*молиться*), *bregdan* (*тянуть*), *cyrran* (*подчиняться*), *(ge)dafenian* (*подходить*), *derian* (*причинять вред*), *fylgan* (*следовать*), *gefremman* (*извлекать выгоду*), *fylstan* и *helpan* (*помогать*), *losian* (*теряться*), *miltisian* (*сострадать*), *genyhtsumian* (*быть достаточным*) и т.д. *Ohthere sǣde his hlāforde, Ælfrēde, cyninƷ > Ohthere said to his lord, king Alfred; He bebēad Tituse his sunð > He told Titus, his son; Ic ða sōna mē sēlfum andwyrde > I then soon answered myself; SinƷ mē hwæthwuzu > Sing me something;*

2) с прилагательными типа *известный*, *нужный*, *близкий*: *Ɔæt is mone-Ɔam cūƆ > This is known to many people; Wæs him sē man lēof > The man was dear to him;*

3) с предлогами *on*, *fram*, *wiƆ*, *mid*: *on sande > on the shore; fram fēondum > from the enemy; won wiƆ winde > struggled against the wind; mid scipe liðað > they are proceeding in a ship; Ɔwiton mid ƆƷ wǣƆ > they travelled on the sea;*

4) формальные средства выражения дательного падежа стали использоваться для оформления инструментального и локативного падежей (инструмент, время, место, условия действия и т.д.): *Ælfrēd cynin 2hāteþ Ǽtān Wærferð biscop his wordum* > *King Alfred sends his greetings to bishop Warferth with his words*; *Tryddode Zetrume micle* > *He was proceeding with a large army*; *Ealle mæ Ǽne feorh eal Ǽan* > *Defend one's life with all one's power*; *ōþre naman* > *by another name*, *þȳ ilcan Ǽare* > *in the same year*; *cēolum līðan* > *to move with the ships* (Plyish, 1972, p. 85–86; Quirk, Wrenn, 1994, p. 65; Kellner, 1892, p. 121). О. Есперсен, не вдаваясь в подробности, утверждал, что в древнеанглийском датив принял на себя значения четырёх падежей (Jespersen, 1918, p. 25; Jespersen, 1894, p. 161); Й. Барддал и Л. Куликов говорят о слиянии датива, локатива, аблатива и инструментала в германских языках (Barðdal, Kulikov, 2007). Вспомним в связи с этим приведённое выше высказывание Б.А. Серебренникова о том, что обременённые большим количеством значений падежи исчезли, поскольку противоречили законам человеческой психики. Прежде всего, надо полагать, это относится именно к дативу, перенявшему в дополнение к своим значениям значения двух-четырёх других падежей.

Более подробно применение датива описано в «Грамматике древнеанглийского» (Quirk, Wrenn, 1994, p. 65–68).

Отдельные дативоподобные конструкции дожили вплоть до конца XIX в. В этом контексте можно упомянуть, например, конструкцию *shall us: A helpless silence fell between the man and the woman. "Shall us go i' th' ut?" he asked.* [D.H. Lawrence. *Lady Chatterley's Lover*. English and American Literature, S. 93133]; *How shall's get it?* (*Как нам это заполучить?*); *Where shall's lay him?* (*Где нам его положить?*); данная конструкция ещё в конце XIX в. была широко распространена в разговорной речи Англии (Jespersen, 1918, p. 102–103; Jespersen, 1894, p. 238–238). До сих пор используется дативоподобная конструкция *let us: Let us hope for better things* (*Давайте надеяться на лучшее*) [J. Austen. *Pride and Prejudice*. English and American Literature, S. 797]. Сохранение именно этих двух конструкций объясняется тем, что они не вступали в такое противоречие с жёстким порядком слов, как это было в случае практически всех английских безличных конструкций: подлежащего в них не требуется, а дополнение стоит там, где и должно стоять при порядке слов «субъект > глагол > объект».

Таким образом, сфера употребления датива в древнеанглийском была несоизмеримо шире, чем в современном английском литературном языке (где его, строго говоря, нет вообще), поэтому сравнения типа следующего кажутся нам некорректными: «В заключение обратимся ещё к одному примеру, проясняющему, на наш взгляд, обсуждаемое здесь различие между русским и английским языками:

а. He succeeded – букв. *Он преуспел <в этом>*.

He failed – букв. *Он не преуспел <в этом>*.

б. Ему это удалось.

Ему это не удалось.

Английская номинативная конструкция а. перелагает часть ответственности за успех или неуспех некоторого предприятия на лицо, которое его затевает, в то время как русская дативная конструкция б. полностью освобождает действующее лицо от какой бы то ни было ответственности за конечный результат (какие бы вещи с нами ни происходили, хорошие или плохие, они не являются результатом наших собственных действий))» (Вежбицкая, 1996; ср. Мельникова, 2003, с. 134).

В данном случае история английского языка свидетельствует о том, что во времена, когда он был ещё относительно синтетическим, англичане так же «освобождали действующее лицо от какой бы то ни было ответственности» на языковом уровне, как и русские, интенсивно используя реальные субъекты в дательном падеже¹. Проиллюстрируем это несколькими примерами из “Oxford English Dictionary” (CD), самого большого и авторитетного словаря английского языка: *misbefall* = to happen unfortunately, turn out badly: *Him may fulofte mysbefalle*; *misfall* = to happen unfortunately, fall out amiss: *Thereat she gan... to upbrayd that chaunce which him misfell*; *mishap* = to happen unfortunately: *Gawein was euer pensif for his vnclе, ...that hym sholde eny thinge myshappe*; *misbetide* = *misbefall*: *Alas, that euere him mysbetid!* и т.д. (“Oxford English Dictionary”, 1989). Во всех этих случаях человек видит себя в качестве объекта судьбы и перекладывает вину за случившееся на обстоятельства, в каждом примере реальный субъект оформлен дативом. Мы не отделяем здесь глаголы преуспеяния от глаголов везения, случая и незапланированных происшествий, так как они изначально тесно связаны друг с другом. Например, английское слово “fortune” имеет значения «удача», «счастливый случай», «судьба», «богатство», «состояние», «случаться», что, кстати, противоречит взглядам Вежбицкой о высокой личной ответственности англичан за своё благосостояние и свою судьбу. Если исходить из этимологии данного слова, то богатство для англичанина – это то, что случается с ним, что даётся ему судьбой, а не является результатом упорного и целенаправленного труда. Английское слово “success” («успех»), этимологически связанное с тем самым глаголом “to succeed” («преуспевать»), который при-

¹ Никак не вяжется с особой ответственностью англичан за свои поступки и тот факт, что они чаще русских ссылаются на силу обстоятельств: сочетания слов «воля», «сила», «прихоть», «давление», «тиски», «игра», «власть», «стечение» со словом «обстоятельства» (то есть «воля обстоятельств», «стечение обстоятельств» и т.д. во всех формах) встречаются в мегакорпусе в среднем 294 раза по русским корпусам, а в переводах с английского – 402 раза. Формула «жертв обстоятельств» выдаёт в среднем 12 фраз в русских корпусах, а в переводах с английского – 16 (мегакорпус). Кроме того, англичане чаще ссылаются на своё бессилие в сложившихся обстоятельствах. В русском существует две формы глагола, «поделать» и «поделаешь», употребляющиеся практически без исключения в «фаталистичных» выражениях типа «Ничего тут не поделать», «Что тут поделаешь». Эти формы также встречаются чаще в переводах: по трём корпусам русской художественной литературы мы получили в мегакорпусе среднее число 1 521, в переводах с английского – 2 485.

водит в последней цитате Вежбицкая, имело раньше значение «(хорошая или плохая) судьба» (“The Concise Oxford Dictionary of English Etymology”, 1996, p. 470), причём слово это является латинизмом, и в латыни этого значения не было. То есть англичане сами связали успех с прихотями судьбы (или же до них это сделали французы, так как слово пришло в английский через посредство французского).

Древнеанглийский глагол “(ge)limpan” («преуспевать») связан с “gelimp” («случай, удача»), то есть и здесь преуспевание не зависит от человека. Для сравнения: русское слово «успех» происходит от глагола «спеть», имевшего в древнерусском значения «спешить», «стремиться», «способствовать», «преуспевать» (Черных, 1999. Т. 2, с. 193). Слово имеет индоевропейское происхождение, с самого начала обозначало «преуспевать» и существовало в том же значении в древнеанглийском (“gespowan”), сейчас оно вернулось в английский через посредство латыни в форме “to prosper” («процветать»).

В древнеанглийском существовало также слово “ēad” («имущество», «удача (судьба)», «богатство»). Английское слово “happy” («счастливый»), раньше означавшее также «богатый», этимологически связано с “to happen” («случаться») (“The Concise Oxford Dictionary of English Etymology”, 1996, p. 209–210), то есть богатство и счастье – это то, что случается с англичанином без участия его воли, если верить этимологии. Заметим, что содержащийся в слове “happy” индоевропейский корень *kob- означал «преуспевать», «быть успешным», то есть и здесь утеряна волитивная компонента. Примерно та же картина наблюдается и в русском: слово «богатый» происходит от слова «Бог», означавшего, очевидно, «наделяющий богатством» (Черных, 1999. Т. 1, с. 99), то есть речь идёт, возможно, об общем индоевропейском культурном наследии, общих представлениях, связывавших и у русских, и у англичан, и у других народов богатство и процветание с Богом и судьбой (в чём можно убедиться, проконсультировавшись с “Indogermanisches etymologisches Wörterbuch” Ю. Покорного или более поздними его переработками¹).

В грамматике английского Ф.Т. Виссера приводится следующий список глаголов в значении «случаться», «происходить» и т.п. (о хорошем и плохом), каждый из которых требует нестандартных субъектов: *auter, chance, fall, find, fortune, hap, happen, ifind, luck, lucken, misfortune, mishap, mishappen* (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 1369); сегодня употребляются только два подчёркнутых. Список Виссера частично совпадает со списком Дж. Почепцова (глаголы судьбы древне- и среднеанглийского периода, все с неканоническими субъектами):

¹ Наиболее актуальную версию словаря Ю. Покорного можно найти в Интернете по адресу: <http://dnghu.org> (словарь постоянно обновляется и дополняется).

- *belimpan (to happen, occur, befall)*: Ða him sio sar belamp (when that pain befell him);
- *gesælan (to happen, come to pass, befall)*: Me gesælde ðæt ic mid sweorde ofsloh niceras nigene (it befell me that I slew with my sword nine monsters);
- *gespowan (to succeed, prosper)*: Him æt þære byring ne gespeow (he did not succeed at that city); заметим, что здесь процветание связано с удачей, то есть силами судьбы;
- *getimian (to happen, befall)*: Him getimode swiðe rihtlice (it happened very justly to them);
- *geweorþan (to happen, come to pass, befall)*: Hu gewearþ ðe ðæs (how doth this befall thee?);
- *limpan (to befall, happen, fall (on one's share))*: Sorgaþ ymb oðerra monna wisan ðe him nauht to ne limpp (is busied about other men's affairs that do not all concern him);
- *mis(be)fallen (to turn out ill)*: Him may fulofte mysbefalle (very often he may turn out to be ill);
- *mislimpan (to turn out unfortunately)*: Nis nan wundor ðeah us mislimp (it is no wonder, though we have ill success);
- *misspowan (to succeed badly)*: He sæde ðæt hit ðæm cyninge læsse ed-wit wære, gif ðæm folce buton him misspeowe (he said that the king would be put in less reproach if it went ill with the people when he was not with them);
- *mistiden (to turn out ill)*: Þu myht wene þat þe mystide... (thou might suppose that it turned out ill to thee);
- *sælan (to happen, betide, fortune)*: Sælde unc on þam brocum swa unc gesælde (happened what might to us in those troubles);
- *spowan (to succeed)*: Ða ða him þæs ne speow (then he did not succeed in it);
- *timen (to happen)*: ...so me well time (...so it befell me well) (Pocheptsov, 1997, p. 178–179).

Следующие примеры взяты нами из электронной антологии “English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain”; во всех случаях с глаголами, относящимися к описанию произвольных, неожиданных событий, используется датив.

***Him fortunèd** (hard fortune ye may ghesse)
To come, where vile Acrasia does wonne,
Acrasia a false enchaunteresse,
That many errant knights hath foule fordonne... [E. Spenser. The Faerie Queene. English and American Literature, S. 140305].*

*And at the last by fortune **him happened** against a night to come to a fair courtelage, and therein he found an old gentlewoman that lodged him with a good will, and there he had*

good cheer for him and his horse [M. Twain. A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. English and American Literature, S. 158795].

*Heere cometh my mortal enemy!
Withoute faile, he moot be deed, or I,
For outhur I moot sleen hym at the gappe,
Or he moot sleen me, if that **me myshappe** [G. Chaucer. The Canterbury Tales. English and American Literature, S. 20273].*

*Ful oft **him happeth** to misusen it [G. Chaucer. The Canterbury Tales (Butler, 1977, p. 156)].*

Один из признанных исследователей-индоевропейцев К. Бругман приводит в «Краткой сравнительной грамматике индоевропейского языка» примеры из различных древних языков (санскрита, греческого, латыни), демонстрирующие, что употребление датива с глаголами везения было заимствовано из их общего предка (Brugmann, 1904, S. 630). В древних индоевропейских языках были широко распространены конструкции типа греч. *γίγνεται μοι* и лат. *mihī evenit* (*Со мною случается*) (Bauer, 1999, p. 593). В языках, более или менее сохранивших падежную систему, глаголы успеха, везения и случая требуют дативных субъектов и поныне, ср. итал. *Mi riuscirà di farlo* (*У меня получится сделать это / Мне удастся сделать это*) (Onishi, 2001 а, p. 33), нем. *Mir passiert* (*Со мной случается*); итал. *Mi succede*; фр. *M'arrive* в том же значении; нем. *Es gelingt* + DAT и поль. *Udaje się* + DAT (*Кому-то удаётся что-то*) (Haspelmath, 2001, p. 67). Соответствующие примеры из древнерусского и родственных ему языков можно найти в книге «Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения» (Борковский, 1968, с. 129–134).

Таким образом, употребление глаголов, имеющих отношение к (не)везению, удаче, случаю и успеху, с реальными субъектами в дательном падеже свидетельствует о близости соответствующего языка к индоевропейскому, а использование субъектов в именительном падеже – о переходе соответствующего языка к номинативному строю. Значение от выраженности номинативом или дативом не меняется, что видно по употреблению глаголов везения в английском с номинативом: *I had luck* (*Мне повезло*). Если быть более точным, разграничение по степени волитивности может наблюдаться в языках, где сохранилось противопоставление дативных и номинативных субъектов (хотя может и не наблюдаться, если употребление датива и только датива с определённым глаголом предписывает сам язык: *Ему удалось нельзя переделать в Он удался*), но не в языках с распавшейся падежной системой.

Рассмотрим ещё одно высказывание А. Вежбицкой: «Так, в русском языке имеется особый разряд безличных модальных предикативов со значением долженствования или невозможности, требующих дательного падежа субъекта. В действительности примеры двух модальных значений, которые выражаются в предложениях, построенных по личной, номина-

тивной модели, скорее составляют исключение, чем правило. Например, значение необходимости не может быть выражено таким образом. Иными словами, чтобы дать адекватный перевод на русский таких английских предложений, как *I must, I have to*, их следует сначала представить в пациентивной перспективе, подчеркивающей тот факт, что лицо, о котором идет речь, не контролирует ситуацию.

Класс предикатов, с обязательностью требующих датива субъекта, содержит такие слова, как *надо, нужно, необходимо, нельзя, невозможно, не полагается, следует, должно»* (Вежбицкая, 1996).

Здесь Вежбицкая исходит из того, что английский номинатив имеет какое-то отношение к волитивности, как будто ему противостоит неволитивный датив. На самом деле, датива нет, потому номинатив может выражать и неволитивность. Когда в английском языке существовало противопоставление «номинатив-датив», англичане в модальных конструкциях предпочитали датив: *Him worthit / boes* (Ему надо); *Him deweth* (Ему необходимо, то есть Он обязан); *If it thar / mystier* (Если [кому-то] надо); *To us surgiens aperteneth that we do to every wight the beste that we kan* (Нам, хирургам, надлежит делать каждому человеку лучшее, на что мы способны) (Fisher et al., 2000, p. 71) и т.д.; все они подробно описаны в “Oxford English Dictionary”, краткий обзор можно найти у М. Огуры (Ogura, 1986, p. 150–159). М. Батлер цитирует следующий пример с глаголом *to behove* (следовать, надлежать) из “Sir Gawain and the Green Knight” (1390): *Me behouez of fyne force Your seruant be, and schale* (Мне непременно следует быть Вашим слугой, и я буду им; с дативным субъектом *me*) (Butler, 1977, p. 163). Ф.Т. Виссер приводит примеры *It is him a need* и *It needs him to + INF* в значении *Ему надо*; в обоих случаях местоимения стоят в косвенном падеже – бывшем дативе (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 1430); ср. *Fair sir, / Give me this hour to watch with and say prayers: / You have no faith – it needs me to say prayers, / That with commending of this deed to God / I may get grace for it – ...мне надо помолиться...* [A.Ch. Swinburne. Chastelard. English and American Literature, S. 149833]. На более ранней стадии развития английского «реальный субъект» глагола “to need” стоял на первом месте и оформлялся дативом.

*O lady myn, that called art Cleo,
Thow be my sped fro this forth, and my muse,
To ryme wel this book til I have do;
Me nedeth here noon other art to use* [G. Chaucer. Troylus and Criseyde. English and American Literature, S. 19794].

*Us nedeth, trewely,
Nothing as now, but that we wery bee,
And come for to play out of the see
Til that the wynd be better in oure wey* [G. Chaucer. Legend of Good Women. English and American Literature, S. 20159].

*But dame, heere as we ryde by the weye
Us nedeth nat to speken but of game,
And lete auctoritees, on Goddes name,
To prechyng and to scole of clergye [G. Chaucer. The Canterbury Tales. English and American Literature, S. 20479].*

*He loketh as a sperhawk with his eyen;
Him nedeth nat his colour for to dyen
With brasile, ne with greyn of Portyngale [G. Chaucer. The Canterbury Tales. English and American Literature, S. 20894].*

Be nede for to cleth and fede = You need to clothe and feed [Pocheptsov, 1997, p. 480].

Дативный субъект мог опускаться, как в современном русском: *On cealdum eardum neodað, þæt þæs reafes mare sy* (В холодной местности должно быть [монахам – Е.З.] больше предметов одежды) (примерно 960 г., Aethelwold. “Anglo-Saxon Benedictine Rule”) (Butler, 1977, p. 156). О. Есперсен приводит следующие примеры из произведений Т. Мэлори (XV в.): *Ye nede not to pulle half so hard; Ye shalle not need* (Jespersen, 1918, p. 112). Почему эта конструкция подверглась перестройке, становится понятно из примеров типа следующего: *These ceremonies need not* (Таких церемоний не надо) (Abbott, 1870, p. 203). Из-за отмирания окончаний дополнение здесь уже не отличить от подлежащего.

Модальная конструкция *ought to* раньше также употреблялась с дативом (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 822), о чём свидетельствуют следующие примеры.

Fayre curteyse knyghte, seyde dame Lyonesse, “be nat displeased, nother be nat overhasty, for wete you well youre grete travayle nother your good love shall nat be loste, for I consyder your grete laboure and your hardynesse, your bounté and your goodnesse as me ought to do” [Th. Malory. Le Morte D’Arthur. English and American Literature, S. 100429].

“Alas!” seyde sir Lameroke, “full well me ought to know you, for ye ar the man that moste have done for me” [Th. Malory. Le Morte D’Arthur. English and American Literature, S. 100598].

Wherefore us oghte... have pacience = Wherefore we ought... to have patience [Pocheptsov, 1997, p. 479].

*This shoold a ryghtwis lord have in his thoght,
And nat be lyk tirauntez of Lumbardye
That han no reward but at tyrannye,
For he that kyng or lord ys naturel,
Hym oghte nat be tiraunt ne crewel,
As is a fermour, to doon the harm he kan [G. Chaucer. Legend of Good Women. English and American Literature, S. 20115].*

For certes, resoun wol nat that any man sholde bigynne a thyng but if he myghte parfourne it as hym oghte [G. Chaucer. The Canterbury Tales. English and American Literature, S. 20783].

He is a japer and a gabber and no verray repentant that eftsoone dooth thyng for which hym oghte repente [G. Chaucer. The Canterbury Tales. English and American Literature, S. 20975].

Прочие глаголы с модальными значениями тоже употреблялись с неканоническими субъектами (список Дж. Почепцова):

- *alyftan (to permit)*: Ne alefeþ hire on cyricean gangan (she is not allowed to go to church);
- *magan (may)*: Him mæg to sorge ðæt he nat hwæt him toward biþ (it causes him anxiety that he knows what will happen);
- *motan (may, must)*: ...to grave moste me wende (to the grave must I direct my course);
- *ðurfan (to need)*: Ne þorte us have frizt (we needn't be afraid) (Pochepcov, 1997, p. 480).

Если в современном русском «реальный субъект» выражается дательным падежом, то в современном английском – предложной конструкцией типа следующей: ...*my misfortunes had taught me how little the caresses of the world during a man's prosperity, are to be valued by him; and how seriously and expeditiously he ought to set himself about making himself independent of them* (...мои неудачи научили меня, как мало следует ценить ласки мира богатому человеку, как серьёзно и скоро ему следует научиться быть независимым от них) [T. Smollett. The Adventures of Roderick Random. English and American Literature, S. 136685]. Заметим, что в пределах одного предложения значение долженствования передаётся два раза, причём в одном случае сопровождается подлежащим в номинативе, а в другом – предложной конструкцией. Смысл долженствования от этого не меняется. Не изменится он и от другого падежного оформления, включая русский дательный падеж, поэтому видеть пациентивность только в русском, игнорируя при этом абсолютно идентичные в смысловом отношении английские обороты, не может быть правильным подходом.

Рассмотрим ещё один пример со значением долженствования: *It will be necessary for you to write, dear. Or shall I write an answer for you – which you will dictate?* (Тебе надо (будет) написать, дорогая. Или, может, ответ запишу я, а ты мне продиктуешь?) [G. Eliot. Daniel Deronda. English and American Literature, S. 59201]. В данном случае «реальный субъект» представлен другой предложной конструкцией – “for you”. Значение остаётся тем же, что и в русском переводе. Без труда можно найти подобные примеры в латыни, стоящей особенно близко к общему праязыку: *Necesse est ieiunari* (Необходимо поститься; субъект опущен); *Mihi necesse est ire* (Мне надо идти) (Bauer, 1999, p. 603). Разница заключается только в том, что в латыни используется датив, а в английском – предложная конструкция.

В отдельных индоевропейских языках глаголы в значении «быть необходимым, нуждаться» по сей день употребляются с субъектами в косвенных

падежах: бенг. *Amar junis-Ta cai* (Мне (ген.) нужна эта вещь) (Onishi, 2001 b, p. 122). Р. Мразек на примере восточнославянских языков отмечает прямую связь высокой частотности употребления «именных предикаторов» (по его терминологии: *надо, нельзя, можно*) с низкой степенью номинативности соответствующего языка (украинского, белорусского, русского) по сравнению с другими индоевропейскими языками; аналогично он объясняет и пристрастие русского к инфинитивным дативным конструкциям (Мразек, 1990, с. 34). Индоевропейское происхождение модальных дативных конструкций не вызывает сомнения, соответствующие примеры (типа *Ему подобает*) в древнерусском и родственных ему языках можно найти в книге «Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения» (Борковский, 1968, с. 121–129).

Возвращаясь к падежной системе английского языка, необходимо сказать следующее. Общее количество падежей в современном английском является вопросом спорным: в таблице А.Л. Зеленецкого, где приведены основные грамматические категории существительных некоторых европейских языков, в графе «падеж в английском» стоит знак вопроса (Зеленецкий, 2004, с. 99), при более подробном рассмотрении этой темы автор предлагает выделять либо трёхпадежную систему (субъектный, объектный и родительный падежи), либо двухпадежную (общий и притяжательный падеж у имени, прямой и косвенный – у местоимения) (Зеленецкий, 2004, с. 111; ср. “The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 47–48; Lowth, 1799, p. 18, 21; Mallory, Adams, 2006, p. 56; Мураткина, 2001, с. 12, 19; Швачко и др., 1977, с. 89). Т. МакАртур выделяет два падежа у существительных и три у местоимений: “The contemporary [English – E.3.] language has cases for nouns and pronouns, mainly the *common case* (*Tom, anybody*) and the *genitive or possessive case* (*Tom’s, anybody’s*). [...] A few pronouns have three cases: subjective or nominative, objective or accusative, and genitive or possessive” (McArthur, 1998, p. 107; ср. Eckersley, 1970, p. 421; Crystal, 1995, p. 202–203). Дж. Крапп комментирует развитие падежей со времён древнеанглийского следующим образом: номинатив в современном английском сохранился, генитив превратился в притяжательный падеж, аккузатив превратился в объектный падеж, инструменталис и датив утеряны (Крапп, 1909, p. 64). О. Фишер пишет, что датив был утерян в период среднеанглийского (Fisher et al., 2000, p. 17). Есть также точка зрения, согласно которой английскому имени присуща не категория падежа, а категория притяжательности, то есть падежей нет вообще: «Существование притяжательного падежа было поставлено под сомнение некоторыми советскими лингвистами (Г.Н. Воронцовой, А.М. Мухиным и др.). Они указывали на особый характер форманта -'s, способного оформлять не только отдельные существительные, но и словосочетания. Г.Н. Воронцова предлагала считать формы на -'s формами категории притяжательности, а

сам формант – агглютинативным формантом. Термин "агглютинативный" всё чаще используется в зарубежной и отечественной литературе в применении к английским словоизменительным аффиксам, свободно присоединяющимся к основам. Мы предпочитаем не употреблять его, так как английские словоизменительные форманты не наслаиваются один на другой. Что же касается "категории притяжательности", то, если принять существование такой категории, следует предположить, что форма "общего падежа" является по противопоставлению формой "непритяжательности". Вряд ли это вносит большую ясность, чем понятие общего падежа.

Однако основное положение Г.Н. Воронцовой и А.М. Мухина – отрицание существования притяжательного падежа в английском – совершенно справедливо и нуждается только в дальнейшем подкреплении» (Иванова, Буракова, Почепцов, 1981; ср. Аракин, 2005, с. 102; Зеленецкий, 2004, с. 111).

Дательный падеж в английском обычно больше не выделяют (видеть датив в английском было характерно для лингвистов XIX и начала XX в. (ср. Meiklejohn, 1891, p. 70–72), измерявших всё по эталону латыни, но не для сегодняшних), поэтому сравнивать склонность к применению датива в русском и английском и делать из этого какие-то культурологические выводы представляется нам некорректным. О. Есперсен ещё в 1918 г. писал, что со времён древнеанглийского номинатив, датив, аккумулятив и инструментальный падеж существительных слились в общий, перенявший на себя и отдельные функции генитива, ср. *a twopenny stamp, a five pound note* (Jespersen, 1918, p. 30; ср. Jespersen, 1894, p. 166). Предложные конструкции, как совершенно справедливо отмечал Есперсен, не могут считаться эквивалентом исчезнувшей падежной системы: «В английском языке *to a man* "человеку" так же не является дательным падежом, как *by a man* "человеком" не является творительным, а *in a man* "в человеке" – местным падежом. [...] Гораздо правильнее признать эти сочетания тем, чем они являются в действительности – предложными группами, и избегать термина "дательный падеж", кроме тех случаев, когда мы находим что-либо сходное с латинским, древнеанглийским или немецким дательным падежом» (Есперсен, 1958). Мнение Есперсена соответствует установившейся точке зрения на этот вопрос, о чём можно узнать в том числе из «Лингвистического энциклопедического словаря»: «Традиционное понимание требует, кроме того, чтобы внешние различия между падежами выражались морфологическими средствами, в пределах самих *словоформ*» («Лингвистический энциклопедический словарь» 1990, с. 355; ср. Кацнельсон, 1940, с. 65). Если мы признаем, что "to a man" («человеку») – это датив, то вынуждены будем признать, что "around a school" («вокруг школы») – это локатив, "by a bullet" («пулей») – инструменталис, и таким образом можно было бы насчитать в английском полтора-два десятка падежей. На это обстоятельство указывал в своё время И.М. Дьяконов: по его мнению, выделение в английском обширной падежной системы на основе категорий ла-

тыни является заблуждением, и так же, как некоторые учёные видели в английском шесть падежей, можно было бы выделить в нём и четырнадцать, если исходить не из латыни, а из какого-нибудь финно-угорского языка (Дьяконов, 1967, с. 97). В.Д. Аракин комментирует утверждение М. Дейчбейна, будто в английском есть четыре падежа (именительный, родительный, дательный, винительный), следующим образом: «Однако такая трактовка проблемы падежа [причисление к падежам предложных конструкций – Е.З.] представляется в корне неверной, поскольку под падежом понимается словоформа, в которой имеется соответствующая падежная морфема, в случае английского языка – "s"» (Аракин, 2005, с. 101–102). Практически общепринятой Аракин называет точку зрения, согласно которой английские существительные могут принимать формы только именительного и притяжательного падежа, а местоимения – формы именительного и объектного падежа. Примечательно, что Аракин делит английские существительные на одушевлённые и неодушевлённые: с одушевлёнными употребляется притяжательный падеж (или же притяжательный суффикс, если вовсе отрицать наличие категории падежа в английском), с неодушевлёнными – нет. Сам Аракин склоняется к мнению, что падежей в английском нет (Аракин, 2005, с. 103).

Перенесение категорий латыни на английский является не единственным примером создания ложной эмпирической базы для последующих (псевдо)культурологических спекуляций. В частности, неверная атрибуция падежной системы, свойственной синтетическим языкам номинативного строя, языкам эргативного строя привела к распространению мнения о пассивном и иррациональном характере мировоззрения древних людей (из-за «реальных субъектов» в косвенных падежах). В данном случае мы имеем дело с выражением явного научного этноцентризма, когда прогрессивность или отсталость других языков измеряется по критериям родного языка исследователя или языка, принятого в данной культуре за эталон. На самом деле, как отмечал ещё Г. Шухардт, «говорить о существовании и именительного и винительного падежей в [эргативных – Е.З.] кавказских языках было бы совершенно неверно» (цит. по: Климов, 1973 а, с. 25), потому сравнения «агентивности» культур, пользующихся эргативными языками, с культурами, пользующимися номинативными языками, не более оправданы, чем сравнение русского и английского по интенсивности использования датива, особенно если учитывать, что и в русском могли сохраниться остатки деноминативного строя.

Таким образом, английский язык на более ранних стадиях развития обнаруживает значительное сходство с русским в плане употребления датива и, следовательно, безличных конструкций, о чём этнолингвисты, усматривающие в русском языке признаки пассивности, слабОВОлия и т.д., обычно не упоминают. Английский номинатив (вернее, общий падеж) больше не ассоциируется с волитивными действиями, поскольку нет про-

тивопоставляемого ему неволитивного датива. Поэтому номинативные конструкции, которые А. Вежбицкая приводит в качестве агентивных, на самом деле таковыми не являются – степень агентивности полностью зависит от контекста, а не от формы субъекта.

5.2. Дативные конструкции в некоторых других языках

Датив широко использовался во всех древних индоевропейских языках, что в очередной раз свидетельствует о консервативности русского, сохранившего многочисленные функции датива по сей день. Например, поражает богатство значений датива в латыни:

- *dativus commodi et incommodi* (дательный пригодности и непригодности, или выгоды и невыгоды), отвечающий на вопросы *для кого?* и *для чего?* и применяющийся для названия лица или предмета, в пользу или во вред которому совершается действие: *Non scholae, sed vitae discimus* (Мы учимся не для школы, а для жизни);

- *dativus finalis* (с какой целью?), выражающий цель действия: *Dies crastinus consilio dicitur* (Для совещания назначается завтрашний день);

- *dativus obiecti indirecti* (кому?, чему?), указывающий на предмет или лицо, которому адресуется действие: *Seneca Lucilio suo salutem* (Сенека [шлёт] привет своему Луцилию);

- *dativus possessivus* (у кого?), использующийся для выражения принадлежности (что соответствует функции датива в русском языке): *Mihi tecum est actio* (У меня с тобой тяжба);

- *dativus auctoris*, указывающий на то, кем совершается то или иное действие, кем переживается то или иное состояние: *Is mihi emptus esto* (Да будет он мною приобретён); часто употребляется в конструкциях, примерно соответствующих русской *Мне пришлось сделать это* (то есть, другими словами, *Обстоятельства сложились так, что я должен был сделать это*);

- датив употребляется в предложениях с глаголами страха, боязни и опасения, требующими придаточных предложений: *Est mihi verendum, ne tua superbia reprehātur* (Мне следует опасаться того, что моя надменность будет осуждена);

- датив используется в конструкциях с наречиями *bene* (хорошо), *satis* (достаточно), *male* (плохо) и другими: *Mihi ipse nunquam satisfacio* (Мне всегда мало); *Optimo virō maledicere* (Говорить плохо о лучшем человеке); *Pulchrum est benefacere rei pūblicaе* (Прекрасно приносит пользу государству);

- датив используется после целого ряда глаголов (*grātificor, grātulor, nūbō, permittō, plaudō, probō, studeō, supplicō, excellō*) и прилагательных (*Castris idōneum locum dēlēgit* (Он выбрал подходящее для лагеря место);

Tribūnī nōbīs sunt amīcī (Трибуны дружелюбны к нам); *Sēdēs huic nostrō nōn importūna sermōnī* (Место, не подходящее для нашего разговора));

• датив используется с разнообразными безличными конструкциями: *Libet* (Приятно); *Licet* (Можно, разрешено); *Mihi eundum est* (Мне надо идти); *Haec nōbīs agenda sunt* (Нам надо это сделать);

• пассив: *Disputātiō quae mihi nūper habita est* (Дискуссия, которая была недавно проведена мною);

• для определения направления: *It clātor caelō* (Крик поднялся до небес) (Ниссенбаум, 1996, с. 78–79, 49, 64, 228, 297; Bennett, 1908, p. 129–134, Greenough, Allen, 1903, p. 224–239).

Безличные конструкции с косвенным дополнением вместо подлежащего (*Мне нравится*) сохранились в исландском, датском, шведском, голландском, немецком, индоиранском, румынском, кельтском; вне индогерманских языков в японском, финно-угорских языках, иврите и дравидийских языках (von See Franz-Montag, 1983, S. 46). Например, в следующих предложениях из дравидийского языка малаялама подлежащее стоит в дативе, а дополнение – в аккумулятиве: *Ammak'k'ə kutṭiye adik'k'-aṇam* (Матери хочется побить ребёнка) в противовес *Amma kutṭiye adik'k'-aṇam* (Мать должна побить ребёнка, где «мать» стоит в номинативе); *Avanz var-aam* (Ему можно прийти) в противовес *Avan var-aam* (Он может прийти, где «он» стоит в номинативе, а «может» выражает не разрешение, а возможность); *Meeri-k'k'z paadaan kazhiy-illa / patt-illa* (Мэри [сейчас] не может петь) в противовес *Meeri-ekkoṇḍz paadaan kazhiy-illa / patt-illa* (Мэри не может петь [вообще], где «Мэри» стоит в инструментале, что подразумевает неспособность / невозможность действия на протяжении долгого периода или вообще) (Butt, 2006, p. 74; Butt et al., 2004). Хотя большинство глаголов в дравидийских языках обычно требует номинатива (поскольку дравидийские языки не относятся к эргативным), некоторые глаголы типа «дрожать» и «забывать» могут сочетаться с дативными субъектами для подчёркивания неволевитивности (Dixon, 1994, p. 122).

Также датив часто можно встретить в безличном пассиве: исл. *Mér var bodið* (Мне было предложено); ср.-англ. *Me was toold* (Мне было сказано); нем. *Ihm wurde verziehen* (Ему простили или, более точно, Ему было прощено) (von See Franz-Montag, 1983, S. 47). В готском датив использовался с многочисленными глаголами и прилагательными, а также для выражения обладания (*Saurga mis ist mikila* (У меня большая печаль)), в сравнениях (*As sa afar mis gagganda swinþōza mis ist* (Тот, кто придёт после меня, сильнее меня)), с возвратными глаголами (в том числе для построения безличных конструкций: *Frawaurhta mis* (Мне почувствовалось)); для выражения значений аблатива, инструменталиса и локатива (Wright, 1910, p. 185–186). Обратим внимание на тот факт, что в различных языках падежи приобретают какие-то новые функции, отсутствующие в других языках той же семьи, поэтому неудивительно, что некоторые русские безличные

конструкции с дативом не имеют эквивалентов в других языках, так же как и некоторые безличные конструкции в других языках не имеют эквивалентов в русском (это относится, например, к широко распространённому в германских языках безличному пассиву, который в русском часто передаётся активом, ср. нем. *Ihm wurde verziehen* (*Ему простили*)).

Поскольку носители русского языка не находились, в отличие от англичан, в течение нескольких веков под лингвистическим воздействием покорившего их народа (татаро-монгольское иго выражалось в выплате дани и набегах, но не в ежедневном общении), русским удалось сохранить грамматические формы своего языка в значительно большей мере, чем англичанам. Как следствие, русский является одним из наиболее синтетических языков индоевропейской семьи (в этом отношении русский и английский часто представляются противоположными полюсами¹), и поэтому можно считать закономерностью, что именно в нём падежи, в том числе датив, используются наиболее активно. В «Энциклопедии языка и лингвистики» при обсуждении падежных систем в индоевропейских языках русский и греческий называют особенно консервативными в этом отношении («Encyclopedia of Language and Linguistics», 2006, p. 1264). Всего в индоевропейской семье 5 из 32 языков, данные по которым приведены в «World Atlas of Language Structures», имеют 6–7 падежей, 5 – 5 падежей, 4 – 4 падежа, 2 – 3 падежа, 8 – 2 падежа (английский отнесён сюда), один не имеет падежей вообще (Haspelmath et al., 2005). Таким образом, русский входит в группу с максимальным количеством падежей, наиболее близкую индоевропейскому праязыку. В большей мере это относилось к древнерусскому, где в некоторых отношениях дательный падеж использовался более активно. Например, существовал соответствующий латинскому аблативу партицип *dativus absolutus* (дательный самостоятельный оборот): *Деревляном же пришедшим повеле Ольга мовь створити* (*Когда же древляне пришли, то Ольга велела приготовить баню*); *И бывшу молчанию и рече Владимир* (*Когда наступило молчание, Владимир сказал*). *Dativus absolutus* имеет, очевидно, индоевропейское происхождение (Бирнбаум, 1986, с. 301–302), хотя с точностью это не установлено (Иванов, 1983, с. 382).

¹ Например: «Нетрудно заметить, что степень размытости границ частей речи в языке прямо соотносится со степенью развития в нём аналитических средств передачи языковых значений. В английском она при этом приближается к изолирующему строю, тогда как в русском, напротив, развитая аффиксация обеспечивает чёткое формальное противопоставление частей речи. Положение с формальным противопоставлением частей речи во французском и немецком языках следует признать промежуточным относительно английского и русского как своеобразных ПОЛЮСОВ» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 90; выделено нами). «Английский и русский языки являются примерами двух типов языков: аналитического и синтетического. Уже само название этих типов языков показывает, что они по существу своему, по принципу построения не только различны, но даже противоположны. Однако эта противоположность формальная, поскольку касается выражения одного и того же содержания» (Аполлова, 1977, с. 6).

Неверны утверждения некоторых авторов о том, что сфера употребления датива сокращается во всех индоевропейских языках, кроме русского. Дативные субъекты были неизвестны в санскрите, но появились в его наследнике урду: *use ye xiyal baha-ya* (Ему эта идея понравилась: «он»: дат. + «эта»: ном. + «идея» + «нравиться»: перф., м. р., ед. ч.); *Muj^he buxar he* (У меня лихорадка: «я»: 1 л., ед. ч., дат. + «лихорадка»: м. р., ном. + «быть»: наст. вр., 3 л., ед. ч.); *Muj^he kitabē pasand hē* (Мне нравятся книги: «я»: 1 л., ед. ч., дат. + «книги»: ж. р., мн. ч., ном. + «симпатия» / «направление» + «есть»: наст. вр., 3 л., ед. ч.); *Muj^he (ye) pata he* (Мне (этот) адрес известен: «я»: 1 л., ед. ч., дат. + «этот»: ном. + «адрес» + «иметь»: наст. вр., 3 л., ед. ч.); *Nadya=ko dar lag-a* (Наде стало страшно: «Надя» = дат. + «страх» + «пристать»); *use-e sitara dik^h-a* (Ему стала видна звезда, дословно: Ему появилась звезда: «он»: 1 л., ед. ч., дат. + «звезда»: м. р., ед. ч., ном. + «появляться»: перф., м. р., ед. ч.); все дативные субъекты используются для описания неволитивных действий и состояний (Butt, Grimm, Ahmed, 2006).

Исследователям исландского и фарерского языков известно явление, называемое *дативной болезнью* – смена падежа «реального субъекта» предложения с аккузатива на датив при глаголах, выражающих чувства, ощущения и восприятие вообще. Именно развитием «дативной болезни» некоторые учёные пытаются доказать превращение исландского в язык эргативного строя: «Интерпретация датива при оформлении субъекта в качестве эргативного падежа представляется ещё более оправданной, если принять во внимание феномен, называемый "дативной болезнью"... Речь идёт о распространившейся тенденции использовать датив вместо любого другого косвенного падежа для оформления субъекта в исландском. Когда язык в процессе эволюции становится эргативным, обычно один из морфологических падежей реинтерпретируется в качестве эргативного падежа переходного субъекта. Расширение сферы употребления датива для оформления субъекта [в исландском – Е.З.] соответствует этой картине» (Rannemann, 2002, p. 26).

«Дативная болезнь» стала распространяться в исландском с конца XIX в. (Varðdal, 2007). В 2002 г. были опубликованы результаты очередного теста 900 школьников-носителей исландского и 340 школьников-носителей фарерского (год рождения – 1990), где им на выбор представлялись варианты предложений с «подлежащим» в аккузативе и дативе (в русской терминологии – с дополнением в безличном предложении). Как выяснилось, употребление дативных субъектов в Исландии выросло по сравнению с 1982 г. на 25 %, а на Фарерских островах аккузатив для оформления субъектов данной группы успел исчезнуть почти полностью, уступив место дативу или номинативу. Опрос финансировался Британской Академией (Varðdal, 2006 b).

Наиболее распространёнными объяснениями «дативной болезни» считаются: а) принцип аналогии: датив и так употребляется в этих языках чаще, чем аккузатив, каждое новое поколение при усвоении языка переносит датив на новые глаголы; определённую роль сыграла также близость значений датива и аккузатива в противовес номинативу (Varðdal, 2001, p. 137–138; Varðdal, 2007); б) семантическая мотивация: датив вытесняет аккузатив там, где «подлежащее» выполняет роль экспериенцера (Butt, 2006, p. 75; Andrews, 2001, p. 100).

Несомненно, такую аргументацию можно было бы применить и по отношению к русскому языку. Первое объяснение (а) представляется нам несколько сомнительным, так как распространение номинативных субъектов часто объясняется точно так же, то есть два разнонаправленных движения получают одно и то же толкование. Что касается давления семантики (б), то оно действительно может приводить к образованию безличных конструкций даже в номинативных языках.

Рассмотрим следующие примеры «дативной болезни»: исл. *Mig (ACC) vantar bókina* (дословно: *Меня нужна книга*) > *Mér (DAT) vantar bókina* (*Мне нужна книга*); *Mig (ACC) brestur kjark* > *Mér (DAT) brestur kjarkur* (*Мне не хватает смелости*); *Mennina (ACC) Þrýtur mat* (*Людям не хватает еды*) > *Honum (DAT) Þraut Þróttur* (*Ему не хватает силы*) (Pannemann, 2002, p. 2–3); *Mig (ACC) langar* (дословно: *Меня хочется*) > *Mér (DAT) langar* (*Мне хочется*) (Varðdal, 2007). Субъект в дативе вытесняет и субъекты в генитиве (Pannemann, 2002, p. 2). В отдельных случаях дативные субъекты вытесняют даже номинативные: *Ég (NOM) hlakka til* (*Я смотрю вперёд*) > *Mér (DAT) hlakkar til* (дословно: *Мне смотрится вперёд*) (Varðdal, 2007). Всего в современном исландском дативные субъекты употребляются с 700 предикатами, аккузативные – с 200 (Varðdal, 2007; Varðdal, Kulikov, 2007).

5.3. Датив для оформления оптатива

Рассмотрим ещё одну дативную конструкцию, которую А. Вежбицкая считает выражением русского иррационализма и пассивного отношения к жизни, а именно [*Мне*] *покурить бы*. Использование датива делает существование английского эквивалента полностью невозможным, ср. **(To) smoke would (to) me*. В древне- и среднеанглийском, однако, можно было найти некоторые более или менее похожие дативные конструкции, выражающие пожелания, о чём свидетельствует следующий отрывок из юмористического стихотворения XV в. “The Tournament of Tottenham” (модернизированное написание):

Me had lever then a ston of chese That dere Tyb had al these, And wyst it were my sand.	Мне бы лучше / я бы предпочёл вместо 14 фунтов сыра, Чтобы столько же досталось дорогому Тибу, И чтобы он знал, что это было послано мною.
---	---

Субъект в данном случае оформлен дативом. Использовались также следующие синонимичные дативные конструкции:

- *Me rather had* (ср. *Me rather had my heart might feel your love / Than my displeas'd eye see your courtesy* [W. Shakespeare. The Tragedy of King Richard the Second. English and American Literature, S. 130436]);

- *Me were / is liefer / liever* (ср. *Me liefer were ten thousand deathes priefe, / Then wound of gealous worme, and shame of such repriefe* [E. Spenser. The Faerie Queene. English and American Literature, S. 140358]); другое написание *liefer – leuer*, ср.: *That thousand deathes me leuer were to dye, / Then breake the vow, that to faire Columbelle / I plighted haue...* [E. Spenser. The Faerie Queene. English and American Literature, S. 140720];

- *Him were / is better* (ср. *Ye were better for to stynte, for ye shalle not here prevaille, though ye were ten so many.* [Sir Th. Malory. Le Morte D'Arthur. English and American Literature, S. 100030]);

- *Me were / is loth* ("*Sir, seyde sir Trystram, that is me loth to telle ony man my name*" [Sir Th. Malory. Le Morte D'Arthur. English and American Literature, S. 100753]).

Такие конструкции стали личными посредством употреблений типа *You were best to go to bed* (Тебе бы лучше идти спать / Иди-ка ты лучше спать) или *You were better do it* (Лучше бы тебе сделать это), где не совсем ясно, в каком падеже стоит *you* (Abbott, 1870, p. 253; Jespersen, 1918, p. 112, 140; Jespersen, 1894, p. 276). Множество примеров такого рода приводится у О. Есперсена (Jespersen, 1918, p. 88–90; Jespersen, 1894, p. 224–226). После перехода английского к аналитическому типу то же значение пожелания или совета стало передаваться новыми способами.

...I readily grant, that it were better for me to have marry'd you than to admit you to the Liberty I have given you... [D. Defoe. The Fortunate Mistress or A History of the Life. English and American Literature, S. 34961].

I asked her where she lived herself. She said, after a pause, in no place long. It were better not to know [Ch. Dickens. The Personal History of David Copperfield. English and American Literature, S. 45737].

If so, it were better that he knew nothing [Ch. Dickens. Bleak House. English and American Literature, S. 47113].

He could not be informed of her illness without many other particulars being communicated at the same time, of which it were better he should be kept in ignorance; indeed, of which Mary herself could alone give the full explanation [E. Gaskell. Mary Barton. A Tale of Manchester Life. English and American Literature, S. 67389].

Е. Эббот приводит конструкции *To me it were lever / better...* (Мне бы лучше...) (Abbott, 1870, p. 152–153), *Twere best not know myself* (Лучше всего было бы мне не знать); *Best draw my sword* (Лучше [мне] вытянуть меч), *Better be with the dead* (Лучше быть с мёртвыми) (Abbott, 1870, p. 253). Ни одна из приведённых здесь конструкций не передаёт в точности русской *Покурить бы!*, но их наличие показывает, что английскому не были чужды дативные конструкции для выражения пожеланий. Следует учитывать, что древнеанглийский несколько веков оставался языком бесписьменным, а потому мы не можем знать, какие конструкции употреблялись в нём на самых ранних стадиях, когда он был ещё более синтетичным. Весьма вероятно, что датив использовался в нём шире (в том числе и в оптативе), чем принято считать. Следует, однако, добавить, что в русском языке сочетания инфинитивов с частицей «бы» появились не ранее XIV в. (Букатевиц и др., 1974, с. 257), потому едва ли именно эта форма была унаследована из индоевропейского.

Не может быть сомнений, что английский номинатив (или же общий падеж), используемый в современном оптативе, не более волитивен, чем русский датив. Особенно хорошо это видно в конструкциях нереального пожелания, то есть когда говорящий полностью или почти полностью уверен, что его желание не может исполниться, что он не в силах что-либо изменить (иногда для таких конструкций используется термин “optativus irrealis”). Будучи бессильным как-то повлиять на судьбу, говорящий всё равно использует номинативные субъекты, так как других языковым строем не предусмотрено: *I wish he would come* (Если бы он пришёл!); *Would that I had never seen it!* (Если бы я никогда этого не видел!); *Oh that I might recall him from the grave!* (О, если бы я мог поднять его из могилы!) (Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 103–104; Deutschbein, 1917, S. 121–122; Deutschbein, 1953, S. 124).

То же касается «усиленного оптатива» (в терминологии М. Дейчбейна), когда говорящий понимает, что его желание расходится с его возможностями: *I should like to know what you have learned* (Хотел бы я знать, что ты узнал). Эта форма используется и для вежливых просьб, чтобы подчеркнуть скромность говорящего: *I should like a glass of water* (Я бы хотел стакан воды): подразумевается, что человек демонстрирует свою полную зависимость от воли того, к кому обращается. Способ действия, называемый нереальным волюнтативом (то есть выражение нереального пожелания), также выражается номинативно: *You should not make personal remarks* (Ты бы не делал личных замечаний) (Deutschbein, 1917, S. 126). Нереальный экспектатив (способ действия, подразумевающий, что ожидать чего-то не приходится, нет причин) также не представляет собой исключения: *A simple child ...what should it know of death?* (Простое дитя... откуда ему знать о смерти?); *How should you understand what is so little intelligible?* (Как тебе понять то, что так мало понятно?) (Deutschbein, 1917, S. 129). Данный вид

экспектатива часто используется в риторических вопросах. Таким образом, в английском для выражения нереальных возможностей, в том числе в оптативе, используется номинатив, хотя от самого индивида в данном случае (по его мнению) ничего не зависит. Это сопряжено с многофункциональностью данного падежа в плане семантических ролей.

Как показывает наше исследование, форма оптатива [*Мне*] *покурить бы* используется в русском при том условии, что акцент делается на самом желании, а не на желающем, из-за чего косвенное дополнение, выражающее «реальный субъект», обычно опускается. В центре высказывания стоит глагол, перемещающийся на место опущенного реального субъекта. Поскольку автор высказывания (человек, выражающий желание) отходит на второй план, он обозначает себя¹ местоимением в дативе (номинатив подчеркивал бы личность говорящего) или не обозначает вообще: *Я хочу курить* звучит более лично, чем *Мне хочется курить*, *Мне хочется курить* – более лично, чем *Покурить бы мне*, а *Покурить бы мне* – более лично, чем *Покурить бы*. Восстановление подлежащего обычно не представляет трудностей, так как оптатив относится в большинстве случаев к 1 л. ед. ч., то есть к самому говорящему (вспомним выведенный К. Бюлером принцип *hic-nunc-ego-Origo* (*здесь-сейчас-я-начало*), согласно которому наиболее немаркированными или же естественными высказываниями являются те, которые описывают самого говорящего в данный момент времени в данном месте; именно из этого принципа неосознанно исходят все участники коммуникации, благодаря чему даже простые детские высказывания типа *Играть* декодируются правильно – *Я хочу играть здесь и сейчас* (Bühler, 1978, S. 102–103)). Форма глагола в оптативе соответствует форме сослагательного наклонения, которым он выражается и в английском языке.

Таким образом, различия между русским и английским в построении желательного наклонения обусловлены языковой типологией, но в обоих языках основной принцип его построения совпадает (используется конъюнктив). В английском чередование падежей не используется. О меньшем фатализме или иррационализме англичан в данном случае можно было бы говорить, если бы язык предоставлял им выбор между личной и безличной конструкцией, из которой они выбирали бы личную, но выбора у них нет, так как язык диктует свои правила (впрочем, несколько столетий назад такой выбор присутствовал, но переход к личным был тогда обусловлен совсем иными факторами, а именно номинативизацией и аналитизацией). Отметим также, что в эргативных языках подлежащее в предложениях сослагательного наклонения может стоять в дательном падеже, как, например, в грузинском (Мещанинов, 1967, с. 47), поэтому вполне правомерно предпо-

¹ Конечно, опущенный субъект – не всегда говорящий. Нулевой субъект может также указывать на неопределённое или обобщённое лицо. Конкретный референт (кроме говорящего) обычно требует экспликации: *Поспать бы ему*.

ложить, что русский оптатив с дативом является индоевропейским наследием, если индоевропейский язык действительно был эргативным или активным (некоторые учёные причисляют грузинский к активным языкам).

Ниже приводятся несколько примеров, подтверждающих, что глагол в русском оптативе данного типа (*Покурить бы*) действительно практически всегда стоит в начале высказывания, а субъект опускается или ставится после глагола. Данная комбинация признаков, являющаяся, возможно, переосмысленным наследием доминативного строя, свидетельствует о доминирующей роли глагола (или же, иными словами, об акцентировании глагола) в предложении. Примеры взяты методом сплошной выборки из наших корпусов русской художественной литературы.

Опустить бы занавеси на окошках, **погасить** пестрые лучи, – неохота встать, неохота позвать девку (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

Василий Васильевич, озлившись, написал в Москву Фёдору Леонтьевичу Шакловитому, поставленному им возле Софьи: «Умилосердись, добейся против обидчиков моих указа, чтоб их за это воровство разорить, в старцы сослать навечно, деревни их неимуцим раздать, – **учинить бы** им строгости такой образец, чтоб все задрожали...» (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:
– **Наложить бы** ещё какую подать на посады и слободы... (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

Схватить бы князя сильно за руку да завопить: «К царю на смертную муку идёшь!» (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

Ах, Саня, Саня, присмирела бы да забрюхатела, **жить бы** с тобой дома, тихо... (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

Не курить бы, не пить: органы чувств снова будут служить! (А. Белый. Петербург).

Порасспросить бы как-нибудь осторожно, обходом... (А. Белый. Петербург).

Не жил я ещё, молод умирать. **Пожить бы** мне ещё, маменьку, маменьку свою ещё один разочек **увидать** (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

Топить бы всех вас с топорами на шеях... (В.С. Пикуль. Фаворит).

Жарища невыносимая! Пить хотелось. **Пить бы и пить**, блаженно закрыв глаза, а воды не было (В.С. Пикуль. Площадь павших борцов).

Эх, **выпить бы!** И што это у нас губернатор смурной: чуть што сразу замок на питейное вешать (В.С. Пикуль. На задворках Великой империи).

Падал лёгкий снежок. Лошади с коляской шагали рядом, а Сергей Яковлевич шёл по панели, обледенелой и заскорузлой.

– **Надо бы** посыпать солью, – сказал мимоходом дворнику.

– **Полить бы!** – сдерзил тот. – Кровушкой (В.С. Пикуль. На задворках Великой империи).

– Да, – продолжал он, – пройдохи, плуты, лгуны, мошенники и подлецы. **Облить бы вас всех керосином!** (А.С. Грин. Новый цирк).

– Что сейчас?.. Ночь? – спрашивал Ефим, очнувшись.

– Вечер, солнце заходит.

– **Закурить бы...**

– Нельзя, что вы! (В.М. Шукшин. Заревой дождь).

Жить бы тебе, как люди живут, без вожжи этой умственной (А.С. Грин. Жизнеописания великих людей).

Разворотить бы, думаю, недры эти, лесопилки поставить, крупорушки завертеть, плоты, пароходы по рекам пустить! (А.А. Фадеев. Последний из удаэе).

Вот, – подумал я, – **жить бы так и жить:** ты ничего не делаешь, а за тобой все ухаживают (М.М. Пришвин. Зелёный шум).

Подшутить бы над ними? У ног моих на дне лодки большой камень-якорь с веревкой. Беру этот камень и прямо возле девушки бросаю его в Иmandру (М.М. Пришвин. Зелёный шум).

Повернутся в земле кости батюшки, когда над ним надругается сын – всё расточит, разорит, не оставит камня на камне, погубит Россию. **Не постричь, а убить бы его, истребить, стереть с лица земли** (Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей).

Очистить бы сор, а подколодников свести в иные места (Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей).

Сокрушить бы челюсти отступникам! (Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей).

Ответить бы ей, да лень пошевелинуться (В.С. Пикуль. Океанский патруль).

Он проехал три фонарных столба, думая: «А кого посадил? **Попросить бы расчёту, да в сторону, вдруг удерёт? Лошадь запылится и самому чаю охота**» (А.С. Грин. Проходной двор).

– **Убить бы его и повесить над кроватью, вместо коврика! А? Вот красота-то!** (А.И. Пантелеев. Из старых записных книжек. 1924–1947).

Дожить бы до смертного часа и – аминь, слава тебе, господи... (А.И. Пантелеев. Из старых записных книжек. 1924–1947).

– Дорогой товарищ командир, а что – **вдарить бы нам по почте? В самый аккурат...** (А.Н. Толстой. Хождение по мукам).

– Не могу вертаться, товарищи. Хоть тут что, а надо пройти, – зашептал Хведин. – Нам **проскочить бы до Батраков, там ошвартуемся, выгрузимся...** (А.Н. Толстой. Хождение по мукам).

Ах, Боже мой, какие могли быть дела важнее Катюшиной любви! Как неразумно были упущены эти летние, горячие дни. **Остановить бы время, тогда, на пригорке** (А.Н. Толстой. Аэлита).

Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека (А.Н. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина).

– Вот тебе и разведка... – уныло шепчет Юрка. – Эх, **заложить бы** под стены крепости хорошую бомбу! (А.П. Гайдар. Комендант снежной крепости).

– Мама, – прервала её Эмма. – Уже давно звонили. Опоздаете намного.

– Правда, правда, – засуетилась старуха. – **Не пропустить бы.** Поди уж «от Иоанна» читают (А.П. Голиков. В дни поражений и побед).

Ох, Сашка, я ведь про тебя все знаю... **Бить бы** тебя, да сил у меня не стало (В.С. Пикуль. Богатство).

– Баловство одно! – кидает Андрей Иванович.

– Баловство и есть... **Поучить бы** хорошенько...

– **Поучи-ить?** – язвительно и звонко подхватывает какая-то бабёнка. – Чем она виновата? (В.Г. Короленко. За иконой).

Входит в зал бедно одетый юноша.

– **Пожить бы** у вас... (В.А. Гиляровский. Москва и москвичи).

– Ну, будет бой. **Не подпакостить бы,** ребятки (Г.Г. Белых, А.И. Пантелеев. Республика ШКИД).

– А как ваш Бубик?

– Только **не сглазить бы**... прямо мешок с салом! (И.С. Шмелёв. Солнце мёртвых).

О, если юность **возвратить бы!**

И быть счастливою, как он!.. (И. Северянин. Соловей).

Знобит меня, **не заразить бы** вас чем... (Л.С. Соболев. Капитальный ремонт).

По-настоящему, пора бы готовиться к смерти... **Бросить бы** всё, да поговорить, да **позаботиться**, чтоб люди меня добром вспомнили... (М. Горький. Фома Гордеев).

А наши мужики – которые жалели его, этого-то, а другие говорят – **прикончить бы!** (М. Горький. Мать).

А хорошо теперь чайку хлебнуть! Да и **подзакусить бы**... можно надеяться? (М. Горький. Мещане).

Погоди, не ходи туда... Ничего не слышать. Может, спит она... **не разбудить бы**... (М. Горький. Мещане).

Поскорее **бы** с тобою **разделаться,**

Юность – молодость, – эка невидаль!

Всё: отселева – и доселева

Зачеркнуть бы крест на крест – наотмашь!

И **почить бы** в глубинах кресельных,

Меж небесных планид бесчисленных,

И **учить бы** науке висельной

Юных крестниц своих и крестников (М.И. Цветаева. Стихотворения 1906–1941).

Но прячется зерно поглубже, подале, побаивается: **не обездолить бы** самого мужика, **не обречь бы** его на голод со всем собранным добром (М.А. Осоргин. Сивцев Вражек).

Вспомнить бы: к чему себя готовила, к какой жизни? (М.А. Осоргин. Сивцев Вражек).

Я и говорю: «Вот **сбить бы** с позиции это каре да под их прикрытием и **двинуть** вперёд; без одного выстрела подобрались бы» (Н.Г. Гарин-Михайловский. Детство Тёмы).

– Эта история, – проговорил он, – меня совсем убьёт, если вы не положите ей конец... **Убить бы** эту гадину Бурцева... (Р.Б. Гуль. Азеф).

– Что ты во мне нашла?! **Встретить бы** тебе хорошего человека! Какого-нибудь военнoслужашего... (С.Д. Довлатов. Заповедник).

Таня снова плакала. Говорила такое, что я всё думал – **не разбудить бы** хозяина (С.Д. Довлатов. Заповедник).

Я ему и говорю: «**Пожить бы** мне твоей жизнью, может, я бы прежним человеком стал» (С.Н. Сергеев-Ценский. Кость в голове).

Упасть бы, словно невзначай, к её ногам, – мечтал он, – **стащить бы** её башмак, **поцеловать бы** нежную ногу (Ф.К. Сологуб. Мелкий бес).

Таким образом, почти во всех случаях используется порядок слов, практически невозможный в современном английском. Кроме того, «реальный субъект» встречается в наших примерах только в порядке исключения, что также несовместимо с современной английской грамматикой. Неудивительно, что англичане прибегают к другим формулировкам: *I wish I could; I would like to; I would rather* или, значительно реже, *I should rather*; как в следующем примере из «Приключений Шерлока Холмса»: “*Or should you rather that I sent James off to bed?*” (Или Вы бы предпочли, чтобы я отправил Джеймса спать?) [А.С. Doyle. The Adventures of Sherlock Holmes. English and American Literature, S. 53202]. Примечательно практически неизбежное использование модальных глаголов в таких конструкциях, пришедшее на смену специальным окончаниям сослагательного наклонения, использовавшимся в древнеанглийском, ср. *They demanded that he should take his job seriously* (Они потребовали, чтоб он воспринимал свою работу серьёзно); *May the best candidate win* (Пусть победит лучший кандидат) (Siemund, 2004, S. 186; Deutschbein, 1917, S. 114; Deutschbein, 1953, S. 92). Для передачи конъюнктива, в том числе и оптатива, в современном английском используются глаголы “shall”, “should”, “will”, “would”, “may”, “might”. Не падеж подлежащего, а модальный глагол определяет, зависит ли действие от воли говорящего. Практически вымершие архаичные формы конъюнктива сохранились лишь в устойчивых выражениях и диалектах: *God bless you* (Да благословит тебя Бог); *She had insisted that he come* (Она настаивала на том, чтобы он пришёл; ещё без модального глагола “should”) (Deutschbein, 1953, S. 123–124).

5.4. «Пророческое будущее»

Вызывают сомнение утверждения А. Вежбицкой, будто русский фатализм отразился в конструкциях типа *Мне не жить там*. Помимо того, что здесь употребляется невозможный в аналитических языках дативный «реальный субъект» (отсюда отсутствие эквивалента в английском), наше исследование показало, что в большинстве случаев при употреблении оборотов такого рода речь идёт не о влиянии высших сил на человека, а о вполне банальных, повседневных причинах, которыми говорящие объясняют невозможность того или иного действия в будущем. Это может быть чья-то или собственная физическая слабость, умственная ограниченность, стечение обстоятельств, недостаток денег, времени и т.д. Лишь в единичных случаях можно предположить, что автор действительно имел в виду предрешённость событий или волю рока. Особенно следует отметить, что во многих предложениях отчётливо просматривается связь между дальнейшим развитием событий и действиями какого-то вполне реального лица (или группы лиц), включая самого говорящего. Рассмотрим примеры, полученные также методом сплошной выборки.

Она рассчитала, что двух ей не выйдить, не спасти. И перестала кормить одного. И он умер (А.И. Пантелеев. В осаждённом городе).

Причина невозможности достижения результата – недостаток пищи.

Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать (А.Т. Аверченко. Рассказы).

Причина невозможности действия – ограниченность собственных способностей и возможностей (воли, например).

Пока жив Иоанн Антонович, покоя ей не видать: сверженный император стал знаменем, под которым собирались все недовольные её правлением (В.С. Пикуль. Фаворит).

Причина невозможности действия – существование конкурента.

А ты передай своей жене, что Натальей Первой и Великой ей не бывать... Вряд ли что из неё получится, если до сих пор она не в силах произнести простейшее русское: здарсьте и до свиданья! (В.С. Пикуль. Фаворит).

Причина – несоответствие человека должности, его ограниченные способности.

Твёрдым и ровным голосом Потёмкин, лежа в постели, сказал, что Англия, конечно, вправе собирать свои эскадры в любых проливах, но Россию ей не запугать... (В.С. Пикуль. Фаворит).

Причина – предполагаемое говорящим бесстрашие русских политиков, их уверенность в силах страны.

И природа перестала создавать красивых женщин, потому что красивее Зорайбы ей не создать ничего! (В.М. Дорошевич. Сказки и легенды).

Данный пример особенно интересен, так как имеется в виду сила, которая сама должна предопределять судьбы (природа).

Алексей взглянул на отца, на Евфросинью и понял, что ей **не миновать** пытки, ежели он, царевич, запрётся (Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей).

Здесь будущее Евфросиньи зависит от конкретного человека.

Она поняла, что ей **не разбогатеть** в социалистическом обществе, что мужчины, даже если их будет полтора десятка, не смогут, по крайней мере сегодня, сложившись, создать ей пышную, сказочную жизнь (М.М. Зоценко. Возвращённая молодость).

Будущее героини зависит от реалий окружающего её общества.

Взволнованный Василёк просил её умолкнуть, говоря, что ей **не понять** всей сложности вопроса и что он вовсе не о себе говорит, а вообще (М.М. Зоценко. Возвращённая молодость).

Говорящий сомневается в умственных способностях того, к кому обращена речь.

Он не мог назвать это чувство любовью, но в то же время ощущал отчётливо, что она для него единственна и без неё ему **не быть** (А.В. Чаянов. Приключения графа Бутурлина).

Здесь судьба человека зависит от его любимой.

Надвигалась зима – смерть. Сжималось сердце... Неужели никогда больше ему **не увидеть** человеческих лиц, **не посидеть** у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал (А.К. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина).

Здесь персонаж связывает свою судьбу с надвигающейся зимой, которую он, очевидно, не надеется пережить.

Петербург встретил полководца морозом, а Екатерина обдала его холодом. Нет, она, конечно, признавала всё величие успеха измайловского, но с первых же слов императрицы Суворов понял, что фельдмаршальского жезла ему **не видать** (В.С. Пикуль. Фаворит).

Судьба полководца зависит от благосклонности конкретных людей.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему **не отвоевать** её. Всегда у него так: как что чуть посерьезнее, поглубже – так не его (В.М. Шукшин. Классный водитель).

Здесь судьба персонажа predetermined его собственным характером.

Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена – ему **не видать** никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!.. (В.Г. Короленко. Слепой музыкант).

Будущее персонажа predetermined слепотой.

Вон уж и баннички несут крендель, трое, "заказной", в месяц ему **не съесть** (И.С. Шмелёв. Лето Господне).

Малая вероятность / невероятность определённого события обусловлена ограниченностью физических возможностей персонажа.

Я к нему усовецать, а он на меня с корягой так и кидается, так и наскакивает. Ах ты, господи! Выбился я на вторые сутки из сил, вижу: либо мне, либо ему **не жить**. Стал супротив его на тропке, дожидаясь (В.Г. Короленко. Фёдор Бесприютный).

Будущее персонажа зависит от исхода драки.

Ниже цитаты приводятся почти без комментариев из-за их однотипности.

Разогнувшись, Ипполит Матвеевич понял, что без прокурорши ему **не жить**, и попросил секретаря суда представить его новому прокурору (И. Ильф, Е. Петров. Прошлое регистратора ЗАГСа).

Стоит на своём месте и командир в отчаянности. Видит, ничего ему **не выдумать**, будь ты хоть самый форменный капитан (К.М. Станюкович. «Глупая» причина).

К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему **не совладать**, не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Во-первых, – он стал загигать пальцы с крупными блестящими ногтями, – во-первых, пороха мне **не выдумать**, стало быть, не к чему мотаться по университетам, проникая в тайны мироздания (Л.С. Соболев. Капитальный ремонт).

Да и в гражданской, правду сказать, приходилось способы изыскивать. А почему? Потому что я этой царской чаркой насквозь отравленный. Сколько я её, проклятушкой, за эти годы выпил, ни тебе, ни мне **не сосчитать!** (Л.С. Соболев. Рассказы капитана 2-го ранга В.Л. Кирдяги, слышанные от него во время «Великого сиденья»).

А ещё я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне **не жить, как не жить** и тебе без меня (М. Горький. Макар Чудра).

– Как держать? – спрашивали от руля боцманматы.

– Так и держите... лучше нам **не придумать!** (В.С. Пикуль. Фаворит).

Старик сурово повернулся к нему.

– А такое указание!.. Такая вера!.. Тебе **не понять**. Чтобы понять, надо сердце очистить, от разума отказаться... (М.П. Арцыбашев. Палата неизлечимых).

– Сорок мне **не выбить**, – сознался Иоська. – У меня после третьего выстрела рука устаёт (А.П. Гайдар. Военная тайна).

– От тебя мне **не ждать** пощады! (В.М. Дорошевич. Сказки и легенды).

Шестьдесят окон пробили купол, и никогда мне **не забыть** радостного солнечного света, который столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма! (И.А. Бунин. Тень птицы).

Наличие отрицательной частицы «не» в данной конструкции не обязательно, как показывают следующие несколько примеров.

К Аське он ходил, когда ему хотелось странного. Сейчас Аська рухнула в очередной роман, и **гореть** ей на незримом огне ещё самое малое неделю (В. Беньковский, Е. Хаецкая. Анахрон).

– Не плачь, Гуго, мы этой тете ещё покажем. – Полудокл погрозил кулаком. – Устроила, стерва, себе серные купальни. **Лизать** ей сковородки на том свете (В. Белобров, О. Попов. Наступление королей).

Саночки возит женщина, тут с природой не поспоришь... Ей **беременеть**, ей **носить** и **рожать**, ей **поднимать** детей одной, если мужика нет (М.И. Веллер. Всё о жизни).

*А политик должен понимать: если он сунет голову в песок – **быть** ей в корзине с отрубями, подставленной к политической гильотине (М.И. Веллер. Кассандра).*

*Тут и высказжи: «**Быть** мне судаком заливным, с горошком мозговым, со стручковым перцем! Будет жена меня щучить с хреном, с приятным желе, кушать с шафранами. То и цветок подтверждает – **быть** мне в жениной ручке, в её ноготках!» (И.А. Гергенредер. Буколические сказы).*

Подводя итог, можно сказать, что данная конструкция употребляется для того, чтобы показать неспособность человека произвести некое действие или достичь результата действия из-за каких-то внутренних или внешних факторов, будь то физическая слабость или неблагоклонность власть имущих (это относится только к конструкциям с отрицанием). Действительно, изредка таким фактором выступает и провидение, но обычно речь идёт о повседневных препятствиях, встречающихся каждому на жизненном пути. Более того, данная конструкция вполне может относиться и к силам, предопределяющим судьбу человека (природе, Богу), если говорящий уверен, что они не в состоянии чего-то совершить (в английском для выражения того же значения используется модальный глагол “must”, см. ниже).

Во многих предложениях подчёркивается или намекается, что устранение препятствия может изменить ситуацию на более благоприятную (*Пока жив Иоанн Антонович, покоя ей не видать*), так что о фатализме здесь говорить не приходится. За всей конструкцией обычно стоит вполне реальная и рациональная оценка ситуации, подразумевающая (не)возможность совершить какое-то действие. В английском то же значение передаётся, очевидно, аналитически. Например, слово «никогда», подразумевающее предрешённую невозможность какого-то события / состояния, употребляется 9 336 раз в нашем корпусе русской классики, 6 970 – в советской литературе, 8 495 – в постсоветской, 12 153 – в первом корпусе переводов с английского и 13 520 – во втором (данные по мегакорпусу: классика – 32 566, советская литература – 27 722, постсоветская – 33 832, переводы с английского – 52 765)¹. Многогранность русского синтаксиса, позволяющего выразить такие тонкие оттенки значения нелексически, не должна служить поводом для спекуляций по поводу его культурологической подоплёки, тем более когда исследуемый феномен вполне объясняется в рамках чисто лингвистической теории и – что обычно не упоминается в работах этнолингвистов – имеет параллели в других языках, ср. нем. *Ihm (DAT) ist nicht zu helfen* (*Ему не помочь*). Чем больше степень номинативности языка, тем реже в нём встречаются такие (унаследованные из индоевропейского) инфинитивные конструкции с дативом, и тем чаще – номи-

¹ Если предположить, что та же предрешённость и неизбежность событий лучше выражаются во фразе «никогда больше / больше никогда», то и в этом случае соотношение результатов не изменится: в мегакорпусе в среднем по русским корпусам – 722, в переводах с английского – 2 257.

нативные конструкции с различными вспомогательными глаголами, то есть типичным средством аналитических языков.

Если в русском для разграничения зависящих и не зависящих от говорящего действий в будущем используются личная и безличная конструкции, то в английском то же разграничение делается с помощью вспомогательных глаголов “shall” и “will”. Кроме того, для обозначения «неволеитивного» будущего используются конструкции «подлежащее + to be + инфинитив» и «must + инфинитив», а также некоторые другие. В частности, в грамматике Ф.Т. Виссера конструкция «подлежащее + to be + инфинитив» связывается с предопределённостью событий: “Originally it expressed a special kind of futurity: a connotation, perhaps first of predestination or foreordaining, later of destiny was inherent in it, though growing weaker and weaker” (Visser, 1969. Vol. 3, p. 1450; ср. Deutschbein, 1917, S. 141; Deutschbein, 1953, S. 98). На той же странице автор приводит пример, подтверждающий, что «фаталистические» коннотации не исчезли у этой конструкции и поныне: *Simon Flint was never to hear again the voice of the girl* (Никогда больше Симону Флинту (было) не услышать голоса этой девушки) (S. Fairway. Cuckoo in Harley Street 32, 1928). Как показало наше исследование английской художественной литературы, такие примеры встречаются достаточно часто.

*When the sentence was concluded the prisoner acknowledged in a few scarcely audible words that he was justly punished, and that he had had a fair trial. He was then removed to the prison from which he **was never to return** [S. Butler (II). Erehwon, or Over the Range. English and American Literature, S. 14294].*

*She stepped forward on her bare feet as firm on that floor which seemed to heave up and down before my eyes as she had ever been – goatherd child leaping on the rocks of her native hills which she **was never to see** again [J. Conrad. The Arrow of Gold. A Story between Two Notes. English and American Literature, S. 26685].*

*Chief of the Mohicans! my heart is very glad. Often have we passed through blood and strife together, but I was afraid it **was never to be** so again [J.F. Cooper. The Pathfinder or, The Inland Sea. English and American Literature, p. 30327].*

*Before my Husband dy'd, his elder Brother was married, and we being then remov'd to London, were written to by the old Lady to come and be at the Wedding; my Husband went, but I pretended Indisposition, so I staid behind; for in short, I could not bear the sight of his being given to another Woman, tho' I knew I **was never to have** him my self [D. Defoe. The Fortunes and Misfortunes of the famous Moll Flanders. English and American Literature, S. 34310].*

*Three years. Long in the aggregate, though short as they went by. And home was very dear to me, and Agnes too – but she was not mine – she **was never to be** mine [Ch. Dickens. The Personal History of David Copperfield. English and American Literature, S. 45976].*

*"It's brought into my head, master," returns the woman, her eyes filling with tears, "when I look down at the child lying so. If it **was never to wake** no more, you'd think me mad, I should take on so [Ch. Dickens. Bleak House. English and American Literature, S. 46639].*

*There is ever a flaw, however, in the best laid of human plans, and the murderers of John Openshaw **were never to receive** the orange pips which would show them that another, as cunning and as resolute as themselves, was upon their track [A.C. Doyle. *The Adventures of Sherlock Holmes*. *English and American Literature*, S. 53200].*

*On the morning after her arrival in London Adela took a long journey by herself to the far East End. Going by omnibus it seemed to her that she **was never to reach** that street off Bow Road which she had occasion to visit [G.R. Gissing. *Demos. A Story of English Socialism*. *English and American Literature*, S. 69656].*

*Mallard, after preliminary training, was sent to the studio of a young artist whom Doran greatly admired, Cullen Banks, then struggling for the recognition he **was never to enjoy**, death being beforehand with him [G.R. Gissing. *The Emancipated*. *English and American Literature*, S. 70501].*

*Suppose poor Reardon's novels had been published in the full light of reputation instead of in the struggling dawn which **was never to become** day, wouldn't they have been magnified by every critic? [G.R. Gissing. *New Grub Street*. *English and American Literature*, S. 71687].*

*When I recollected what I had undergone, it was not without satisfaction as the recollection of a thing that was past; every day augmented my hope that it **was never to return** [W. Godwin. *Things as They Are, or The Adventures of Caleb Williams*. *English and American Literature*, S. 73279].*

*It is incomprehensible, by what means he glides thus away from my eye, and fades, as if into air, at my approach! He is repeatedly in my presence, yet **is never to be found!** [A. Radcliffe. *The Italian, or The Confessional of the Black Penitents*. *English and American Literature*, S. 117826].*

*Now, when I write full, – I write as if I **was never to write** fasting again as long as I live; – that is, I write free from the cares, as well as the terrors of the world [L. Sterne. *The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman*. *English and American Literature*, S. 142250].*

*But Laura's intended visit to Lady Clara **was never to have** a fulfilment; for on this same evening, as we sate at our dessert, comes a messenger from Newcome, with a note for my wife from the lady there [W. Makepeace Thackeray. *The Newcomes*. *Memoirs of a most respectable Family*. *English and American Literature*, S. 156555].*

*Why, Sir, because it is so much better for a man to be sure that he **is never to be intoxicated, never to lose** the power over himself [J. Boswell. *Life of Johnson*. *English and American Literature*, S. 7420].*

*Indeed, I believe, I am able to recollect much the greatest Part; for the Impression **is never to be effaced** from my Memory [H. Fielding. *Amelia*. *English and American Literature*, S. 65575].*

*I think I repeat you his very Words: For the Impression they made on me **is never to be obliterated** [H. Fielding. *Amelia*. *English and American Literature*, S. 65897].*

But at length, overcome with weariness by the fatigues of the day, the dispersed soldiers crowded under such shelter as they could meet with, and those who could find none sunk down through very fatigue under walls, hedges, and such temporary protection, there to await

the morning – a morning which some of them were never to behold [W. Scott. *Quentin Durward. English and American Literature, S. 127193*].

Наречие «никогда» не является обязательной составной частью данной конструкции, как показывают следующие отрывки, но облегчает поиск примеров и усиливает значение.

He that is to be saved will be saved, and he that is predestined to be damned will be damned! [J.F. Cooper. *The Last of the Mohicans. English and American Literature, S. 29700*].

Тому, кому суждено быть спасённым...

Good Heaven! What is to become of us! What are we to do! [J. Austen. *Pride and Prejudice. English and American Literature, S. 938*].

О небо! Что с нами будет?! Что нам делать?!

There was nothing to be done, however, but to submit quietly, and hope the best. [J. Austen. *Mansfield Park. English and American Literature, S. 1687*].

Нечего было делать, кроме как...

Ф.Т. Виссер приводит и другие конструкции, в которых усматривает «фаталистичность» или похожие коннотации. Например, конструкцию типа *Thou shalt deny me thrice* (Ты отречёшься от меня трижды); *Under the cross of gold that shines over city and river, there he shall rest for ever* (Лежать ему вечно под золотым крестом, сияющим над городом и рекой); *I shall be killed before the war is over* (Быть мне убитым до конца войны), называемую в грамматиках «пророческим будущим», он комментирует следующим образом: подобные формы с глаголом “shall”, до сих пор встречающиеся довольно часто, используются для описания событий в будущем, которые не могут не случиться, поскольку являются следствием естественного хода вещей или действия «непоколебимых моральных законов вселенной» (sic), то есть выражают уверенность говорящего в абсолютной неизбежности события (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 1590–1591). Непроизвольность действия, то есть тот самый неволевитивный аспект, который присутствует в русских дативных конструкциях, выражается здесь вспомогательным глаголом “shall”. В “A Guide to Old English” Б. Митчела и Ф. Робинсона сообщается, что первоначально данный глагол почти всегда имел коннотации долженствования, ср. д.-англ. *Hwæt sceal ic singan?* = *What must I (ought I to) sing?* (Что мне деть?); *Ic sceal rædan tomerigen* = *I must read tomorrow* (Я должен читать завтра) (Mitchell, Robinson, 2003, p. 114–115). *Will*, напротив, с самого начала выражал желание или намерение: *Ic wille sellan* = *I wish to give* (Я хочу дать) (Mitchell, Robinson, 2003, p. 115). А. Чемпнис указывает на тот факт, что значение долженствования или обязательности существовало у “shall” с самого начала, то есть ещё в древнеанглийском, когда “shall” и “will” не были вспомогательными глаголами (Champneys, 1893, p. 95). М. Дейчбейн отмечает, что глагол “shall” имеет коннотации неизбежности какого-либо события в будущем, потому

используется в пророчествах и пословицах: *He that touches pitch shall be defiled* (Тот, кто прикоснётся к дёгтю, вымажется) (Deutschbein, 1917, S. 140). Данное модальное значение и привело к созданию будущего времени с коннотациями высокой степени вероятности вплоть до предопределённости и неизбежности событий.

А. Бейн пишет в “Higher English Grammar” (1879), что при желании подчеркнуть, что кто-то вынужден будет прибегнуть к каким-то действиям вопреки своей воле, так как является жертвой обстоятельств, англичане используют *I shall* вместо *I will* (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 1605). Г. Брэдли формулирует разницу между “shall” и “will” следующим образом: «Будущие события можно разделить на два вида: те, которые зависят от воли говорящего, и те, которые не зависят. В первом случае мы говорим *I will* и *you / he shall*; во втором – *I shall* и *you / he will*» (Bradley, 1919, p. 73). Он отмечает, однако, что фраза “he will” (3 л. + “will”) остаётся двусмысленной из-за неизбежных коннотаций неволевитивности. Ф.Т. Виссер приводит следующий пример, где, как он полагает, особенно хорошо выразилась фаталистичность глагола *shall*: *O Susie, I will always love you! I shall love you!* (О Сюзии, я всегда буду любить тебя! Мне суждено любить тебя!): Виссер комментирует, что в первом случае говорящий обещает любить девушку со своей стороны (*I will*), а во втором подчёркивает, что «это обещание исходит не только от него, но и от провидения или судьбы, и, следовательно, не может быть нарушено» (*I shall*) (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 1605). В следующем примере “shall” выражает, по мнению Виссера, беспомощность или озадаченность говорящего: *What shall I do?* (Что мне делать?)

Е. Эббот приводит следующие примеры из Шекспира, чтобы продемонстрировать коннотации фаталистичности и абсолютной предрешённости у глагола “shall”: *Fair Jessica shall be my torch-bearer* (...не может не быть / обязательно будет...), *If much you note him, you shall offend him and extend his passion* (...не можешь не оскорбить...), *He shall wear his crown* (Носить ему корону), *My country shall have more vices than it had before* (И погрязнет моя страна ещё больше в грехе, чем прежде) (Abbott, 1870, p. 223). Эббот также отмечает, что «пророческое будущее» с *shall* часто встречается в Библии (Abbott, 1870, p. 225).

Ф.Т. Виссер подчёркивает, что раньше в том же «неволевитивном» значении часто употреблялся и глагол “will” (вопреки своему первичному значению), но английские грамматисты решили, что употребление “will” должно ограничиваться контекстом, где никакого давления извне (обстоятельств, других людей) на говорящего нет (Visser, 1969, Vol. 3 (1), p. 1702; ср. Abbott, 1870, p. 227), то есть “will” был сделан «волевитивным» искусственно во время распространения всеобщего образования где-то в начале XX в. Действительно, в книге Т. Кингтона Олифанта «Древне- и средне-английский» читаем пример такого предписания: «*I will* никогда нельзя использовать, если не подразумевается намерение или обещание; *thou*

shalt, he shall никогда нельзя использовать, если не подразумевается воля судьбы, приказ или долженствование; *shall* очень похож на *must* в его современном значении» (Kington Oliphant, 1878, p. 44). Рассмотрим несколько примеров «неволевитивного» *will*:

Very well. We now come to the point. Your mother insists upon your accepting it. Is not it so, Mrs. Bennet?

Yes, or I will never see her again [J. Austen. Pride and Prejudice. English and American Literature, S. 768].

Come to my side, Jane, and let us explain and understand one another.

I will never again come to your side: I am torn away now, and cannot return [Ch. Brontë. Jane Eyre. English and American Literature, S. 8926].

You might be an old maid yourself, Caroline, you speak so earnestly.

I shall be one: it is my destiny. I will never marry a Malone or a Sykes – and no one else will ever marry me [Ch. Brontë. Shirley. English and American Literature, S. 9639].

How did you learn what you seem to know about my intentions?

I know nothing: I am only discovering them now: I spoke at hazard.

Your hazard sounds like divination. A tutor I will never be again: never take a pupil after Henry and yourself: not again will I sit habitually at another man's table – no more be the appendage of a family [Ch. Brontë. Shirley. English and American Literature, S. 10226].

Well, I let her clamber in. What could I do? The river's full of alligators. I will never forget that pull up-stream in the night as long as I live. She sat in the bottom of the boat, holding his head in her lap, and now and again wiping his face with her hair. There was a lot of blood dried about his mouth and chin [J. Conrad. An Outcast of the Islands. English and American Literature, S. 24530].

She pushed the lamp-post away from her violently, and found herself walking. But another wave of faintness overtook her like a great sea, washing away her heart clean out of her breast. "I will never get there", she muttered, suddenly arrested, swaying lightly where she stood. "Never" [J. Conrad. The Secret Agent. A Simple Tale. English and American Literature, S. 26192].

Во всех случаях использующие глагол “will” персонажи ссылаются на внешние обстоятельства, в том числе непосредственно на судьбу. Во всех случаях речь идёт о каких-то неприятных для персонажей событиях, что дополнительно подчёркивает «неволевитивность» их действий (или их бездействия). Следует добавить, что в современном английском глагол “shall” отмирает, потому все его значения постепенно переходят к “will”, в том числе и «пророческое будущее» (ср. Swan, 2001, p. 221–222).

Ещё одна, более редкая «фаталистичная» конструкция, описанная у Виссера, выглядит следующим образом: *Crowds of dead, that never must return to their lov'd hives* (Толпы мертвецов, которым уже никогда не вернуться к любимым); *What must, must be* (Чему быть, того не миновать) (Visser, 1969. Vol. 3 (1), p. 1806). По мнению М. Дейчбейна, глагол “must” передаёт в таких случаях неизбежность, обусловленную природой человека или вещей; его пример: *All men must die* (Все люди должны умереть)

(Deutschbein, 1953, S. 99; ср. Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 96). Вот ещё несколько примеров такого рода:

*I'll act with prudence as far's I'm able,
But if success I **must** never find,
Then come Misfortune, I bid thee welcome,
I'll meet thee with an undaunted mind* [R. Burns. *The Poems and Songs. English and American Literature*, S. 12470].

*Breeze of the night in gentler sighs
More softly murmur o'er the pillow;
For Slumber seals my Fanny's eyes,
And Peace **must** never shun her pillow* [G.G. Lord Byron. *Hours of Idleness and Other Early Poems. English and American Literature*, S. 15615].

*The life of a hermit is nowise parallel to his. He was in the bustle of the city, as of old; but the crowd swept by, and saw him not; he was, we may figuratively say, always beside his wife, and at his hearth, yet **must** never feel the warmth of the one, nor the affection of the other. It was Wakefield's unprecedented fate, to retain his original share of human sympathies, and to be still involved in human interests, while he had lost his reciprocal influence on them* [N. Hawthorne. *Twice-Told Tales. English and American Literature*, S. 79827].

*They both observed this, and thought how delighted she would have been with the present landscape, while they knew that her eyes **must** never, never more open upon this world* [A. Radcliffe. *The Mysteries of Udolpho. English and American Literature*, S. 116426].

Е. Эббот приводит два следующих примера из трагедии «Макбет» Шекспира, чтобы продемонстрировать «фаталистичность» глагола “must”:
And I must be from thence; A life which must not yield / To one of woman born (Abbott, 1870, p. 223).

Иногда фаталистичные коннотации просматриваются в конструкции “to be bound to”: *Wasn't this bound to happen? (Разве этому не суждено было случиться?)* [D.H. Lawrence. *Women in Love. English and American Literature*, S. 91904]; а также в конструкции “to be meant to”: *You have a quarrel with Providence – so have I. I was meant to be a professor, while – look (Я тоже поспорил с провидением, как и ты. Мне было предназначено стать профессором, и посмотри, что из этого вышло)* [J. Conrad. *An Outcast of the Islands. English and American Literature*, S. 24532]. Едва ли можно увидеть контролируемость действия и в следующей конструкции, как бы ни была обманчива форма подлежащего: *He says he **is going to be blind**. There's something the matter with his eyes, and he went to see someone about it this afternoon (Он сказал, что может ослепнуть, дословно: ...что он собирается ослепнуть)* [G.R. Gissing. *New Grub Street. English and American Literature*, S. 71748].

Таким образом, современные и устаревшие номинативные конструкции английского языка с различными вспомогательными глаголами вполне могут выражать ту же фаталистичность и неволевитивность действия, которая выражается русскими дативными конструкциями.

5.5. Инфинитивные конструкции с дативом

Ещё один момент заслуживает внимания в связи с русскими дативными конструкциями, перечисленными в начале главы, а именно присутствие в них инфинитивов. Активное употребление инфинитивов едва ли можно считать характерной чертой синтетических языков с их обширными системами флексий, но в данном случае мы, очевидно, опять имеем дело с консерватизмом русского языка, сохранившего некоторые признаки индоевропейского. Речь идёт о склонности позднего индоевропейского к использованию нефинитных форм глагола: причастий, деепричастий и глагольных существительных, ставших со временем инфинитивами. Нефинитные формы использовались для выражения модальных значений и вместо придаточных предложений, практически отсутствовавших в древних языках.

Как полагает большинство учёных, в индоевропейском инфинитивов не было (Соммерфельт, 1950, с. 184; Lehmann, 2002, p. 113, 181), а при его распаде инфинитивы развились из части речи, занимающей промежуточное положение между глаголом и существительным, то есть, например, предложение *Не жить мне* обозначало раньше нечто типа *Нет жизни / жития мне*¹. Становление инфинитивов зачастую связывают с развитием абстрактного мышления (Тупикова, 1998, с. 56). Происходило оно по следующей схеме (подробное описание с акцентом на английском языке: см. Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 122–138): «глагол > отглагольное существительное (существительное, обозначающее действие; называется также *nomen actionis*) > инфинитив» (ср. Callaway, 1913, p. 1; Brugmann, 1904, S. 351; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 122). Г. Хирт объяснял существование в индоевропейском «отглагольных существительных» и возникновение конструкций типа *Дождит*, *Мне везёт* и *Мне тошно* (Hirt, 1937. Bd. 7, S. 10, 14; ср. Deutschbein, 1918–1919. Bd. 1, S. 45), с чем мы не можем согласиться, так как с точки зрения теории активных языков «метеорологические» конструкции произошли от глаголов неволитивного действия / состояния (по крайней мере, по мнению У. Лемана). О связи глаголов неволитивного действия / состояния с «отглагольными существительными» ни Г.А. Климов, ни У. Леман, ни какой-либо другой автор, насколько

¹ Ср. «В языках индоевропейского происхождения существуют инфинитивные и деепричастные конструкции, отразившие в себе отглагольные имена в определённом падеже времён индоевропейского праязыка. К отглагольным именам в индоевропейском относились такие существительные и прилагательные, которые со временем стали инфинитивами и деепричастиями в глагольных парадигмах более поздних языков. Существовали ли инфинитивы и деепричастия в самом индоевропейском, остаётся неясным. [...] Инфинитивные конструкции с *dativus finalis*, аккузативом направления и локативом цели глагольных имён вполне вероятны» (Meier-Brügger, 2002, S. 246). «Инфинитивы и партиципы древних индоевропейских языков несомненно возникли из отглагольных имён, инфинитивы и супины... – из различных падежных форм отглагольных существительных, т.е. существительных, возникших из глаголов» (Schmidt-Brandt, 1998, S. 265).

нам известно, не сообщает. Возникновение инфинитивов Леман связывает со становлением порядка слов SVO (Lehmann, 2002, p. 181–182).

Nomina actionis могли склоняться подобно обычным существительным, но при этом иметь дополнения подобно глаголам. Т. Хадсон-Вильямс обращает, например, внимание на то, что в древнегреческом перед инфинитивами (очень похожими по форме на существительные среднего рода) ставился артикль, в валлийском инфинитивы по сей день не только употребляются с артиклями, но и могут сочетаться с прилагательными или существительными в генитиве (ср. *приготовление пирога*), а в немецком инфинитивы имеют окончание аккузатива *-en* (Hudson-Williams, 1966, p. 50–51; ср. Henry, 1894, p. 362–363). В древнеанглийском инфинитив маркировался суффиксом *-an* (ср. суффикс существительных *-ana-* в санскрите), аналогичная ситуация наблюдается и в других германских языках. Р. Моррис делает из этого вывод, что английские инфинитивы – это абстрактные существительные (Morris, 1872, p. 176; ср. Аракин, 2003, с. 85–86; Deutschbein, Mutschmann, 1931, S. 122). Р. Лаут предлагал выделять особое субстантивное наклонение глагола, выражаемое инфинитивами, аргументируя это чрезвычайной близостью инфинитивов к существительным (например, их способностью сочетаться с предлогами: *All their works they do for to be seen of men. For not to have been dip'd in Lethe's lake / Could save the son of Thetis from to die*) (Lowth, 1799, p. 80–81). Н.П. Некрасов называл инфинитивы «существительной формой глагола»; часто инфинитив выделялся в особую часть речи, то есть исключался из состава глагольных форм (Тупикова, 1998, с. 55). А.А. Потевня утверждал, что инфинитив «есть имя в этимологическом отношении и род глагола в синтаксическом отношении» (цит. по: Букатевиц и др., 1974, с. 206). В случае славянских языков предполагается возникновение инфинитива из отглагольных существительных в дательном или местном падеже единственного числа древних основ на *-ĩ* (*nomina actionis*) (ср. Тупикова, 1998, с. 55–56; Букатевиц и др., 1974, с. 206; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 275; Иванов, 1983, с. 359). Заметим также, что в активных языках инфинитивы обычно невозможны, в эргативных редки, и только в номинативных они широко распространены (Климов, 1983, с. 177). Это позволяет предположить позитивную корреляцию возникновения инфинитивов с типологией, а не с уровнем абстрактности мышления.

Как бы то ни было, для индоевропейского и его древних «потомков» было характерно сравнительно более активное использование существительных и частей речи, похожих на существительные, в том числе «отглагольных существительных», чем для современных индоевропейских языков (Hirt, 1937. Bd. 5, S. 181; ср. Lehmann, 2002, p. 112–113). Возможно, русский язык в этом отношении ближе к праязыку, чем английский. Так, Р. Мразек пишет, что в восточнославянском ареале значительна функциональная ёмкость инфинитива, как и других именных форм (деепричастий, причастий), по сравнению с другими индоевропейскими языками (Мразек,

1990, с. 34). Скорее всего, именно этим объясняется бóльшая склонность английского к сложноподчинённым предложениям; ср. «Однако в целом для русского языка, особенно для устно-разговорной речи, более характерно преобладание сочинительных конструкций, в то время как в английском, например, подчинение встречается чаще» (Степанов, 1997)¹. Мы не будем, однако, делать окончательных выводов по данному вопросу, принимая во внимание описывавшийся выше номинальный стиль английского (по М. Дейчбейну).

Уменьшение числа партиципных форм обычно связывают с развитием глагольной системы и придаточных предложений, что касается не только языков индоевропейского происхождения. Так, Г.А. Климов объясняет многочисленность всевозможных герундивных и партиципных форм в кавказских языках неразвитостью придаточных предложений (ср.: *Приготовленный тобою пирог стоит на столе – Пирог, который ты приготовила, стоит на столе; Идущий по склону человек похож на твоего брата – Человек, который идёт по склону, похож на твоего брата*), в чём У. Леман усматривает аналогию с древними индоевропейскими языками (Lehmann, 2002, p. 112). Леман приводит следующие примеры, где инфинитивообразные конструкции в «Ригведе» заменяются придаточными предложениями при переводе на современный английский: ведич. санск. *Prá ṇa āyur jīvāse, Soma, tārīḥ* (*Продли наш [жизненный] путь, чтобы мы могли жить, Сома!*; англ. перевод: *Extend our span so that we may live, Soma!*; дословно: *Our span-of-life for-living Soma, cross!*); частица “prá” вместе с “tārīḥ” обозначает «продлевать» (Lehmann, 2002, p. 113). Ещё один пример из «Ригведы»: *Śvātrām arkā anūṣaténdra gotrásya dāvāne* (*Песни дали тебе импульс, о Индра, чтобы ты дала скот; дословно: импульс [для] давания скота; англ. перевод: The songs aroused the impulse (in you), oh Indra, so that you give cattle*) (Lehmann, 2002, p. 180). Если здесь слово «скот» стоит ещё в генитиве, то позже инфинитивы стали сочетаться с дополнениями: хетт. *Asmé śatáśarádo jīvāse dhāḥ* (*Сделай так, чтобы мы жили сто лет; дословно: Нам сто лет жить сделай*); *Apasmati harkanna sanhta* (*Но он искал убить меня; дословно: Но он мне убить / убиения искал*) (Lehmann, 2002, p. 181). Ещё один пример из хеттского: *LU^{MES} KUR^{URU} Mizrama mahhan ŠA KUR^{URU} Amka GUL-ahhuuar istamassanzi* (*Но когда народ Египта услышит, что страна Амка была атакована..., дословно: ...услышит об атаке / «атаковании» страны Амка; англ. перевод: But when the people of Egypt hear that the land of Amka had been attacked...*

¹ Мы подтвердили это утверждение следующими подсчётами: союзы *чтоб(ы)*, *ибо*, *так как* / *т.к.*, *потому что*, *если*, *что*, *когда*, *который* (во всех формах), *пока*, *коли*, *как только*, *так что*, *хотя*, *поскольку*, *ежели*, *лишь только*, *с тех пор как*, *после того как* встречаются после запятых в общей сложности 280 413 раз в русской классике, 227 995 раз – в советской литературе, 252 769 – в постсоветской, 339 100 – в первом корпусе переводов с английского (малый корпус), то есть в переводах чаще употребляются подчинительные союзы и, следовательно, сложноподчинённые предложения. Этому есть, конечно, и другие причины.

(...hear of the attack of...)). Возникновение причастий в индоевропейском Леман связывает с порядком слов SOV (Lehmann, 2002, p. 45, 108, 113). Примечательно, что в английском за последние несколько веков инфинитивы опять распространились, вытесняя придаточные предложения: ...and behead ðam cwellerum þæt hi hine mid wiððum, handum and fotum on þære rode gebundon (...и [он] приказал пыточным мастерам, чтобы они привязали шнуром его руки и ноги к кресту > ...and he ordered the torturers to fasten his hands and feet with cords to the cross (...и он приказал палачам привязать его руки и ноги шнуром к кресту) (Fisher et al., 2000, p. 211). Инфинитивные конструкции распространяются и в русском (Мразек, 1990, с. 25).

Можно вспомнить, что в первой главе среди конструкций, требующих оформления неканоническим падежом подлежащего, упоминаются и модальные. Не являются в этом отношении исключением и древние индоевропейские языки, для которых типично сочетание нефинитных форм глагола с дативными, генитивными и т.д. субъектами для выражения долженствования, необходимости, желательности и других подобных значений: лит. (диалект.) *Tõm būs wisztà suwólgyt* (дословно: *Этим будет курица, чтобы съесть*, то есть *Эти должны будут / смогут съесть курицу*); д.-в.-нем. *Uns sint kind zu bëranne* (дословно: *Нам дети, чтобы носить*, то есть *У нас могут быть (родиться) дети*) (Hettrich, 1993, S. 197–198). Автор, приводящий эти и другие подобные им примеры, комментирует их следующим образом: для индоевропейских языков характерны конструкции долженствования, состоящие из дативных субъектов в сочетании с инфинитивами, отглагольными существительными или *participium necessitatis*, из-за чего можно предположить существование их общего предка с дативом и отглагольным существительным (типа *убивать* > *убиение*) в индоевропейском языке (Hettrich, 1993, S. 198). Инфинитивы с модальными значениями в связке с глаголом «быть» употреблялись уже в хеттском языке, древнейшем из индоевропейских: *Tuk-ma kī uttar ŠÀ-ta siyanna ishiull-a esdu* (*Но это слово должно быть положено в твоё сердце и должно быть [тебе] правилом*); *NINDA.KUR₄.RA parsiyawanzi NU.ĜÁL* (*Не было хлеба, который можно было бы преломить*); *INA KUR^{URU} Assuwa lahhiyawanzi esun* (*Мне надо было провести кампанию в стране Ассуве*) (Lauffenburger, 2006); *Mān buk-ma çariššuçanzi UL kišari* (*Но если тебе невозможно помочь*), то есть *если ты не можешь помочь* (Friedrich, 1974, S. 143). Значение долженствования с самых древних времён передавалось сочетанием вспомогательного глагола «быть» и инфинитива и в английском: *Monige scylda beoð to forberanne* > *Many sins are to be tolerated* (*Многие грехи необходимо терпеть*); *Da ðing ðe to donne sind* > *The things which are to be done* (*Вещи, которые надо сделать*) (Callaway, 1913, p. 97).

Ф.Т. Виссер приводит в своей четырёхтомной грамматике английского многочисленные примеры безличной конструкции *Us (DAT) is to donne it* (*Нам надо сделать это*), соответствующей конструкциям *We are to...*, *We*

ought to..., *We must* в современном английском, причём автор приходит к выводу, что эта дативная конструкция существовала в германских языках ещё со времён индоевропейского (Visser, 1969. Vol. 1, p. 351; vol. 3 (1), p. 1445).

Б. Бауэр приводит примеры такого рода (то есть неканонический субъект [+ «быть»] + инфинитив или *nomem actionis* для выражения модальности) из хеттского, санскрита, греческого, тохарского, бретонского, ирландского, церковнославянского, литовского, германских и других индоевропейских языков (Bauer, 2000, p. 198–221). Здесь мы ограничимся её примерами из английского: *Me ys to erigenne* (*Мне надо пахать*); *Ne wiste hwaet him... to donne* (*[Он] не знал, что ему делать*); *Us is to biddene Drihtnes mildheortnyse* (*Мы должны искать божьей милости*) (Bauer, 2000, p. 212–213). Во всех трёх случаях используются неканонические субъекты. Остаётся неразрешённым вопрос, являются ли эти конструкции кальками с латыни или наследием протогерманского. С уверенностью можно сказать только то, что в древнеанглийском они принадлежали к высокочастотным, а в среднеанглийском уже почти не употреблялись. В современном английском вместо устаревших инфинитивных конструкций используются преимущественно модальные глаголы. Возникновение модальных глаголов идёт в языках мира по универсальной схеме, отражённой в следующем положении из «Архива универсалий»: “Hierarchy of the auxiliarization of modality: possibility > necessity > impossibility > non-necessity” (“The Universals Archive”, 2007).

Р. Мразек пишет, что в общеславянском языке, когда модальных глаголов ещё не было, соответствующие значения (долженствование, необходимость и т.д.) выражались инфинитивными конструкциями типа древнерус. *Мне (есть) трава съчи* (Мразек, 1990, с. 29). По свидетельству В.И. Борковского, инфинитивные конструкции с глаголом «быть» были широко представлены в древнерусском языке, причём во всех приводимых им примерах он видит оттенки различных модальных значений («быть необходимым», «быть возможным» и т.д.) (Борковский, 1968, с. 158–170). Инфинитивные модальные конструкции без глагола «быть» и с дативными субъектами были наиболее распространённым типом безличных конструкций в древнерусском, их современными «наследниками» являются *За бесчестие судить*; *Шила в мешке не утаить*; *Всем спать!* (Борковский, 1968, с. 158–170). Инфинитивы с выраженным лексически или опущенным глаголом «быть» на более ранних стадиях развития русского языка употреблялись:

- в тех случаях, когда сейчас говорят *можно, могу, следует, надо, нельзя*, ср. *...да в нём же купити люди черныя (...можно купить...)*; *...и про то, государь, распросити пана Юрья Мнишка и его дочери; ...божиею помощью нам, великому государю, преславных государств своих доступати; Сколько ни браниться, а быть перестать (...а надо перестать); Грустно*

мне будет, но быть терпеть (...но надо терпеть); Тебе было поговорить с ним (Тебе надлежало поговорить с ним);

- вместо современного повелительного наклонения: *И я ему говорил, что Печерской монастырь за рубежом в Литве и за рубеж ехать не смей;*
- вместо современного будущего времени: *Как почел снимать с себя митру, и говорил: не быти мне слыти патриархом Московским (...больше не буду называться...);*
- вместо форм условного наклонения: *А меня вам камением побить и мне де никого кровию своею не избавить (А если меня побьёте камнями...);*
- вместо придаточных предложений цели: *Говорить не смею, тебя бы, света, не опечалить (...чтобы тебя не опечалить) (Букатевич и др., 1974, с. 257–258).*

Инфинитив, будучи нефинитной формой, употреблялся для выражения всего, что должно, может или могло бы быть (модальные значения), в то время как финитные формы употреблялись для выражения того, что есть и было на самом деле. Примеры безличных инфинитивных конструкций в древнерусском можно найти в «Исторической грамматике русского языка» (Букатевич и др., 1974, с. 255; ср. Иванов, 1983, с. 372–373).

Модальные значения у русских инфинитивных конструкций остались и поныне: *К кому ему [надо, можно] обратиться?; Зачем мне [надо] прийти?; На какой срок [надо] планировать занятия?; Какие упражнения [надо] проработать?; Вот вас бы с тётушкою [надо] свести, чтоб всех знакомых перечесть!; К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам [надо]!; Вам бы, ребята, на медведей сходить [надо], забава хорошая; Если бы [можно было] снять с груди и плеч моих тяжёлый камень, если бы я могла забыть моё прошлое...; Быть дождю = Непременно, по всем данным должен быть дождь; Вам не найти лучшего друга = Вы не сможете найти лучшего друга; Конечно, нашу русскую птичку обезьяне не поймать = Нет сомненья, что обезьяна не сумеет поймать нашу русскую птичку; Не сосчитать всех гроз, всех бед, что мы перенесли = Невозможно, нельзя сосчитать... (Гвоздев, 2005); это компенсирует, возможно, меньшую развитость модальных глаголов в русском, по сравнению с английским (ср. приложение 3). Так, глагол «мочь», который некоторые считают единственным модальным глаголом русского языка, употребляется во всех формах в нашем корпусе русской классики 57 214 раз, в корпусе советской литературы – 43 449, в корпусе постсоветской литературы – 52 338, в первом корпусе переводов с английского – 70 921, во втором – 66 041, то есть в переводах он встречается чаще, что является отражением большей склонности английского к модальным глаголам. Данные по мегакорпусу подтверждают эту картину: классика – 227 730 раз, советская литература – 200 683, постсоветская – 231 216, переводы с английского – 314 428.*

В хинди, одном из индоевропейских языков, модальные значения по сей день выражаются так же, как и в индоевропейском, то есть глаголом

«быть» в сочетании с инфинитивами и дативными субъектами: *Vikram-ko is saal do kitaabē likh-nii hĒ* (Викраму надо написать в этом году две книги, дословно: Викраму в этом году две книги писать есть); *Yeh per kal kaṭ-ne hĒ* (Эти деревья надо срубить завтра, дословно: Эти деревья завтра рубить есть). Заметим, что в хинди дативные субъекты также ассоциируются с меньшей степенью контроля над событиями и волиитивности (Montaut, 2004). Похожим образом необходимость выражается в бенгальском: *Amake niḡe kaj-Ta korte ho-ech-e* (Мне надо было делать всю работу самому, дословно: Мне [стало] делать...) «мне» стоит в объектном падеже, “*hġ*” («становиться») является вспомогательным глаголом, а потому, очевидно, в данном случае никак не переводится, “*korte*” («делать») имеет форму инфинитива) (Onishi, 2001 b, p. 123).

Как мы отметили выше, дательный падеж субъекта использовался с инфинитивами изначально (ср. Тупикова, 1998, с. 66). Н. Винсент и Т. Эйторссон объясняют это следующим образом (Vincent, Eythórsson, 2003). Они видят в использовании датива при инфинитивах вполне закономерный перенос форм дативного экспериенцера с конструкций типа лат. *licet* ([мне] можно), *libet* ([мне] приятно), *est opus* ([мне] надо). Общим их звеном с инфинитивными конструкциями являются модальные значения, то есть выражения необходимости, долженствования, желательности, возможности и т.п. Таким образом, дополнения, стоящие в дательном падеже в русских конструкциях типа *Мне бы идти уже*, вполне сопоставимы с дополнениями в конструкциях типа *Мне можно* или *Мне приятно* в том смысле, что в обоих случаях датив выражает семантическую роль экспериенцера (только испытывает человек не чувства, эмоции или переживания, а потребность, необходимость и т.п.). Использование датива для выражения данной семантической роли является его исконной функцией. Использование инфинитива для выражения модальности обусловлено, по их мнению, его отвлечённостью от описываемых финитными формами реальных событий, передаваемых изъявительным наклонением. Инфинитивами передаются не реальные события, а только те, которые должны или могут случиться, поэтому финитные формы изъявительного наклонения здесь не совсем подходят. Второе общее звено заключается в использовании глагола «быть», ср. лат. *est opus* (дословно: [Мне] есть необходимость) и *Тебе было поговорить с ним* (Тебе надо было поговорить с ним). После рассмотрения некоторых других аргументов, которые мы здесь опускаем, Винсент и Эйторссон делают вывод о том, что вполне можно назвать номинатив немаркированным падежом подлежащего при финитных формах глагола, а датив – при нефинитных. Эту точку зрения можно назвать верной в том смысле, что в (до)индоевропейском, если он был активным языком, подлежащее могло оформляться подобно дополнению с глаголами неволиитивного действия и состояния.

Похожие мысли находим у М. Батт: использование глагола «быть» в приведённой выше конструкции из урду «Наде [хочется / надо] идти в зоопарк» (дословно: «Наде есть идти в зоопарк») демонстрирует, что субъект находится в какой-то связи с названным далее действием, а дательный падеж указывает на то, что «Надя» не может быть агенсом, так как действие не исходит от неё, а направлено на неё (Butt, 2006, p. 85).

Р. Трнавац пишет по поводу дативных конструкций с инфинитивами в русском, голландском и сербском, что модальные значения в них обусловлены отвлечённостью от обычных форм, от системы времён, что позволяет передавать инфинитивами потенциально (не)возможные ситуации / действия, то есть, например, действия, которые надо, хочется, можно или нельзя совершить (Trnavaц, 2006, p. 43). Особенно отчётливо, как полагает этот автор, модальные значения просматриваются в конструкциях типа *Лизе завтра вставать рано; Молчать!; Сдать бы экзамен!; Мне и отсюда видать; Идти было 50 метров*, причём в переводах на английский присутствуют компенсирующие отсутствие дативных инфинитивных конструкций модальные глаголы: *I can see from here, If only I could pass the exam!* и т.д. Субъект в дативе, как полагает Трнавац, создаёт эффект модальности в сочетании с инфинитивом (Trnavaц, 2006, p. 44). Трнавац отмечает также общую склонность языков оформлять значения долженствования таким же образом, как оформляется принадлежность: в английском для этого используется глагол «иметь» (*I have (Я имею) – I have to (Я должен)*), в латыни – глагол «быть» (*Mihi est (Мне есть) – Mihi bibendum est (Мне есть [= надо] пить)*); автор предполагает наличие похожей дативной конструкции со значением принадлежности на более ранних стадиях развития и в русском языке (Trnavaц, 2006, p. 47). Действительно, такая конструкция существовала, выше мы уже приводили её примеры. Сейчас она используется для передачи метафорической принадлежности (*Будет ему хороший слуга*).

М. Янда пишет, что в русском из-за слабой развитости модальных глаголов используются другие способы выражения модальности, а именно комбинации дативного экспериенцера с инфинитивами (Janda, 2005). Д.И. Эдельман объясняет возникновение инфинитивных модальных конструкций в индоевропейских языках а) ассоциированием модальности с нефинитными формами глагола и б) отсутствием на ранних стадиях индоевропейского вспомогательного глагола «иметь» для построения модальных конструкций (вспомним, что такие конструкции часто строятся по аналогии с посессивными) (Эдельман, 2002, с. 139–140).

Модальность выражалась в древних индоевропейских языках и другими нефинитными формами – герундием, партиципами, также сочетавшимися с «подлежащими» в косвенных падежах: лат. *Haec Caesari facienda erant* – *Цезарю надо было сделать эти вещи* (эти: ном., мн. ч. + Цезарь: дат. + делать: герундий, ном., мн. ч. + быть: прош. вр., 3 л., мн. ч.); санс.

Samprati gan-tavyā puri vārāṇasī mayā – Теперь я хочу идти в город Бенарес (теперь + идти: герундий + город: ном., ж. р., ед. ч. + Бенарес: ном., ж. р., ед. ч. + я: INSTR.) (Butt, 2006, p. 75), санск. *Nā te dāmāna ādābhe* – Твои дары нельзя разделять (Hettrich, 1990, S. 58), санск. *Asmābhir atra sthātavyam. Nedāniṃ kasyāpi gantavyam* – Мы должны оставаться здесь. Никто не должен идти (в обоих случаях субъекты стоят в инструментале, герундии имеют форму 3 л. ед. ч. ср. р.), санск. *Nūnam atra kāsāre nakreṇa bhāvuyam* – Несомненно, здесь в озере может быть крокодил (нем. перевод: *Es ist ein zu Seiendes durch das Krokodil*, герундий + субъект в инструментале) (Stiehl, 2002, S. 217–218).

Следующие несколько примеров мы оставляем с переводами на немецкий (как в источнике), везде используется датив в сочетании с нефинитной формой глагола для выражения необходимости или возможности: авест. *Tāsa voḥū... yā frāīiašaθβa naire aṣaone* (und die guten Dinge, die dem aṣahaften Mann [d.h. von dem...] zu verehren sind); греч. *Ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὐ ποτ' ἀμβατὸς αὐτῷ* (Der eherne Himmel ist niemals ersteigbar für ihn); *ὡς οὐ σφι περιοπτέη ἐστὶ ἢ Ἑλλάς ἀπολλομένη* (dass ihnen [d.h. von ihnen] nicht zuzulassen ist, dass Griechenland zugrundegeht); лат. *Adeundus mihi illic est homo* (Ich muss zu dem Mann dort hingehen); тох. *Tarya pelaiknenta ... kraupanallona wnolements-aiśmopi* (Drei Dharmas... (sind) zu sammeln einem [= von einem] verständigen Wesen); д.-ирл. *Ní tabarthe dímess do neoch for nach n-énirt arafoirbthetu fadesin* (contempt is not to be shown by any one to any one feeble person because of his own perfection); санск. *Mā te asyām sahasāvan pariṣṭāv aghāya bhūma harivaḥ parādāi* (Nicht wollen wir, o Mächtiger, in dieser Notlage von dir, o Falbenfahrer, dem Bösen auszuliefern sein) (Hettrich, 1990, S. 64–65, 70, 73). В конструкциях такого рода обычно присутствует глагол-связка, который может, однако, опускаться. Хеттрих подчёркивает, что широкое распространение данной конструкции (инфинитив / девербальное существительное / партицип + вспомогательный глагол + датив) в самых древних индоевропейских языках свидетельствует о её происхождении из общего праязыка (Hettrich, 1990, S. 66). Тот факт, что в санскрите и некоторых других индоиранских языках вместо датива используется инструменталис, Хеттрих объясняет уже вторичным развитием; первоначально датив использовался и в санскрите (Hettrich, 1990, S. 69, 89). Его примеры с инструменталисом: ведич. санск. *Āsya vratāni nādhṛse pāvamānasya dūḍhyā* (Die Vratas dieses Pavamāna sind nicht anzugreifen durch den Übelgesinnten); *Tvām nṛbhir hāvyo viśvādhāsi* (Du bist durch die Männer überall anzurufen); авест. *Zā... yā karšīia karšīuuata* (die Erde..., die zu pflügen ist durch den Pflüger); *Rátho ná mahé sāvase yujānò 'smābhir índro anumādyo bhūt* (Wie ein zu großer Stärke geschirrter Wagen ist Indra von uns anzujauchzen); *Asmābhiḥ te suśāhāḥ santu śātravas* (Durch uns sollen deine Feinde leicht zu besiegen sein) (Hettrich, 1990, S. 69, 88–89).

Отдельно скажем о второй конструкции в приведённом выше списке А. Вежбицкой (*Быть первым, вольно одиноким...*). Данная конструкция имеет точный эквивалент в английском языке. Вот, например, цитата из Дж. Голсуорси, которая приводится во «Введении в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков»: *To be lonely and grow older and older, yearning for a soul to speak to!* (*Быть одиноким, всё стареть и стареть, тоскуя по душе, с которой можно было бы поговорить!* (Швачко и др., 1977, с. 138). Можно также вспомнить *To be or not to be* (*Быть или не быть*) Гамлета. В следующей цитате из «Мэнсфилд парк» Дж. Остин та же конструкция повторяется несколько раз: *To be in the centre of such a circle, loved by so many, and more loved by all than she had ever been before, to feel affection without fear or restraint, to feel herself the equal of those who surrounded her, to be at peace from all mention of the Crawfords, safe from every look which could be fancied a reproach on their account!* [J. Austen. Mansfield Park. English and American Literature, S. 1707]. Добавим, что данная конструкция чрезвычайно распространена в английском, поэтому непонятно, почему в русском она должна обозначать фаталистичность и т.п., а в английском – нет.

Таким образом, о каких-то изменениях в мировоззрении англичан можно было бы говорить только в том случае, если бы дативные конструкции превратились в номинативные при сохранении синтетического строя, но не при переходе к другому языковому строю. В связи с этим можно вспомнить, что распад английской падежной системы происходил отнюдь не во времена рационализма, развития наук и ослабления влияния церкви, а в тяжёлые годы оккупации, когда норманны грабили и выжигали целые регионы, не оставляя в живых ни одного человека (см. об этом ниже). Едва ли можно представить себе, что «волитивное» начало развилось у покорённого народа во время оккупации, совпавшей с аналитизацией. Датив активно употребляется во всех индоевропейских языках синтетического строя и постепенно исчезает во всех языках аналитического строя. Никакого отношения к рационализму и «активизму» этот процесс не имеет, о чём свидетельствует распространение датива в исландском и фарерском, то есть в языках типичных западноевропейских обществ. Инфинитивные конструкции развиты и в английском языке, но обычно оформляются номинативно или без указания на субъект. Русский, напротив, указывает лицо специальным падежом (дативом), который был закреплён в этой функции ещё в индоевропейском. Модальность передаётся модальными глаголами в английском значительно чаще, чем в русском; русский (как и древнеанглийский) для выражения той же семантики прибегает к инфинитивным конструкциям с неканоническими субъектами. Номинативные субъекты при модальных глаголах в английском не могут свидетельствовать о воли-

тивности или агентивности, так как номинатив вобрал в себя и другие семантические макроролы.

Чтобы выяснить, насколько широка реальная сфера употребления волитивных и неволитивных субъектов в английском, необходимо перевести соответствующий корпус текстов на язык, в котором субъект маркирует макроролы, а не игнорирует их. Проиллюстрируем это на примере «фаталистичных» конструкций типа *Мне не увидеть её никогда*. Хотя в английском они оформляются номинативно, переводы на русский показывают, что неизбежность, фаталистичность событий тематизируются в английской художественной литературе чаще, чем в русской. Формула «не *ить + мне / тебе / ему / ей / нам / вам / им» (*Мне не жить; Не сделать мне / тебе / им / нам... этого*) находит в нашем мегакорпусе 386 фраз в русской классике, 308 – в литературе советского периода, 354 – в литературе постсоветского периода и 649 – в переводах с английского. Из этого не следует, однако, что та же тенденция распространяется на все конструкции с инфинитивами. Например, формула «некого / не на кого / нечего / не на что / некуда / негде / незачем / не о чем / не у кого / не из чего / некем / не с кем / нечем / не с чем / не о ком + ^^*ть/^^*ться» (*Не на кого мне надеяться; Не о чем тут и говорить*) обнаруживает 8 941 фразу в корпусе классики, 6 180 фраз – в советской литературе, 6 065 – в постсоветской и только 5 392 – в переводах (мегакорпус). Ещё больше разрыв в результатах по конструкции типа *Не выбрасывать же его* (формула «не ^^*ть же»): здесь то же соотношение составило в мегакорпусе 404 : 492 : 775 : 133. По оптативу (различного рода пожеланиям) особой разницы в результатах не наблюдается (формула «только бы / если бы / хоть бы + ^^*ть/^^*ться»): 634 : 528 : 314 : 404. Примечательно, что данная конструкция (*Только бы выбраться; Хоть бы покурить*) употребляется в русском всё реже. Чаще, чем в среднем по русской литературе, в переводах с английского употребляются конструкции типа *Жаль / лень бросать* (формула «жаль / пора / охота / неволя / досада / позор / лень + ^^*ть/^^*ться»), где дативный субъект обычно не упоминается: 1 703 : 1 979 : 2 851 : 2 741 (мегакорпус). В данном случае частотность конструкции в русском быстро растёт.

Таким образом, различные конструкции с инфинитивами и неагентивными субъектами употребляются в переводах с английского то чаще, то реже, чем в русском, но наиболее «фаталистичный» тип – *Мне не жить* – более типичен для английского, хотя эта фаталистичность и не находит в английском выражения на уровне оформления субъекта. Ниже приводятся данные по прочим модальным конструкциям (табл. 9). В них также не наблюдается чётких тенденций в сравнении с английским, но в общей сложности они встречаются в английском реже (в основном за счёт модальных предикативов «надо», «надобно», «нельзя»).

Таблица 9

**Частотность некоторых безличных конструкций
с модальными значениями в мегакорпусе**

Формула в WordSmith Tools (фразы) или SearchInform Desktop (отдельные слова)	Русская классика	Советская литература	Постсовет- ская литера- тура	Переводы с английс- кого
можно	49 259	50 425	68 972	56 623
надо	46 690	67 899	72 088	44 945
нужно	27 149	24 633	35 135	27 536
надобно	13 063	2 325	754	448
нельзя	33 928	24 108	21 006	19 063
необходимо	7 197	4 706	5 703	6 201
невозможно	7 967	6 541	10 209	8 734
мне след*/мне не след*/тебе след*/тебе не след*/ ему след*/ему не след*/ей след*/ей не след*/им след*/им не след*/нам след*/нам не след*/вам след*/вам не след*	776	751	1 110	4 426
мне стоит/мне не стоит/тебе сто- ит/тебе не стоит/ему стоит/ему не стоит/ей стоит/ей не стоит/им сто- ит/им не стоит/нам стоит/нам не стоит/вам стоит/вам не стоит	303	212	388	742
надлежит / надлежало	2 349	1 272	671	1 085
подобает / подобало	708	511	363	1 449

Как и в других случаях, все неподходящие фразы, не отфильтрованные формулами поиска, отфильтровывались нами самостоятельно.

Глава 6

МИФОЛОГИЧНОСТЬ СОЗНАНИЯ ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИИ

6.1. Статистические данные

Некоторые авторы видят в синтетическом строе русского языка и присущих ему безличных конструкциях выражение мифологизированности, пассивности и иррациональности сознания русского народа. В английском языке, напротив, якобы отражается рациональное мировоззрение его носителей. Ф. Аронштайн видел в исчезновении безличных конструкций в английском языке признак индивидуализации и рационализации, выражающихся в отказе от первобытных верований в духов и таинственные силы, управляющие поведением человека (Кацнельсон, 1936, с. 26); Е. Эббот считал исчезновение имперсонала признаком роста агентивности (Abbott, 1870, p. 208).

Результаты социологических опросов (табл. 10) подтверждают, однако, что американцы, говорящие на ещё более анализированном английском, чем британцы, особенно часто верят в потустороннее и иррациональное. Русские явно более рациональны, чем граждане США. Наиболее рациональное мировоззрение наблюдается у немцев, говорящих на языке промежуточного типа (более анализированном, чем русский, но менее анализированном, чем английский). Согласно источнику [16] (см. список после табл. 10), практически по всем пунктам граждане бывшей ГДР оказались рациональней жителей «старых земель». Впрочем, рациональность немцев тоже относительна: так, разуверившись после Второй мировой войны во всемирном заговоре евреев, немцы в большинстве своём поверили в зловещую организацию иллюминатов, которая стремится управлять или уже управляет миром (в 2007 г. в иллюминатов верили 56 % немцев) [29]. Австрийцы несколько иррациональней немцев. Мировоззрение англичан по некоторым пунктам более рационально, чем русское, по другим – менее; явных тенденций не наблюдается. Удивляет, что англичане значительно чаще верят в судьбу, чем русские. При желании это можно было бы истолковать как проявление фатализма. Самыми «иррациональными» оказались поляки, говорящие на более анализированном языке, чем русские. Следует также отметить, что в 1990-х гг. наблюдалась явная мифологизация сознания русских под влиянием американской культуры (мистических триллеров, сект и т.д.). Так, Е.А. Баландина пишет в диссертации, что после 1991 г. под целенаправленным воздействием СМИ в русском общественном сознании происходит ослабление рационально-критической оценки происходящего, благодаря чему значительно облегчается процесс внедрения социальных мифов в сознание общества, то есть его мифологизация и перестройка по западным лекалам (Баландина, 2006, с. 11).

Таблица 10

**Мифологичность сознания у разных народов: данные статистики, %
(во что верят разные народы в конце XX – начале XXI в.)**

	Американцы	Русские	Англичане	Немцы	Австрийцы	Поляки
Бог	90 [5], 92 [7], 82 [23]	58 [1], 73 [3], 55 [22]	60 [11], 55 [12], 62 [19]	45 [16], 64 [17]	47 [16]	94 [16]
Жизнь после смерти	84 [5], 70 [23], 82 [26]	7 [1], 40 [20], 9 [22]	47 [11], 53 [14], 51 [19]	35 [16], 27 [17]	40 [16], 42 [32]	57 [16]
Чудеса	84 [5], 82 [7], 73 [23]	44 [3]	–	41 [16], 50 [17]	48 [16]	64 [16]
Рай	82 [5], 85 [7], 70 [23]	46 [3]	52 [11]	25 [16]	28 [16]	84 [16]
Ангелы	68 [23], 78 [7]	53 [9]	36 [24]	24 [16]	26 [16]	62 [16]
Ад	69 [5], 74 [7], 59 [23]	44 [3]	32 [11], 28 [15]	17 [16]	21 [16]	65 [16]
Дьявол	68 [5], 71 [7], 61 [23]	44 [3]	29 [14; 24], 32 [15]	18 [16], 27 [17]	21 [16]	41 [16]
Привидения	51 [5], 34 [7], 40 [23]	13 [4], 25 [3]	38 [11], 68 [12]	21 [16]	29 [16]	47 [16]
Астрология	31 [5], 29 [7], 25 [23]	15 [2], 42 [3], 8 [1] (гороскопы)	31 [11]	22 [16]	23 [16]	36 [16]
Реинкарна- ция	27 [5], 25 [7]	3 [1], 6 [22]	23 [11], 19 [12]	20 [16], 11 [17]	24 [16]	27 [16]
Ведьмы	24 [7], 21 [8; 23]	38 [9]	–	14 [16]	14 [16]	13 [16]
НЛО	64 [6], 34 [7; 23]	5 [1], 34 [3], 7 [22]	26 [12]	16 [16], 40 [28]	16 [16]	15 [16]
Я (почти) никогда не был(а) в церкви	15 [7]	42 [10], 35 [21]	28 [13], 35 [14]	11 [17]	24 [16], 28 [32]	–
Судьба	–	35 [1], 42 [22]	68 [14], 55 [19] (fate)	56 [27], 57 [30]	–	–
Телепатия	31 [8]	14 [4]	42 [11], 50 [25]	36 (Stern, 2003), 68 (Bild, 2004) [18]	–	–

Источники

1. Навстречу Хэллоуину: во что верят россияне. – ВЦИОМ. – 31.10.2005, пресс-выпуск № 326. – Режим доступа: <http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/1915.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
2. Россияне и мистика. Фонд «Общественное мнение». – 30.10.1997. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/societas/culture/church/mistika/of19974305>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
3. Большинство россиян верят в Бога, рай и ангелов. Опрос ВЦИОМ. – Росбалт. – 20.01.2004. – Режим доступа: <http://m1.rosbalt.ru/2004/01/20/139377.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
4. «Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных явлений Вы считаете возможными, верите в них?» Фонд «Общественное мнение». – 22.10.1997. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/societas/culture/church/mistika/t8029112/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
5. Humphrey Taylor. The Religious and Other Beliefs of Americans 2003. Harris Interactive Inc., The Harris Poll № 11. – 26.02.2003. – Access mode: http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/printerfriend/index.asp?PID=359, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
6. Poll: U.S. hiding knowledge of aliens. – CNN. – 15.06.1997. – Access mode: <http://www.cnn.com/US/9706/15/ufo.poll/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
7. Dana Blanton. More believe in God than Heaven. Опрос Opinion Dynamics Corporation. – FOX News. – 18.06.2004. – Режим доступа: <http://www.foxnews.com/story/0,2933,99945,00.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
8. Подавляющее большинство американцев верит в паранормальный мир. Опрос Gallup. – Утро. – 16.06.2005. – № 167. – Режим доступа: <http://www.utro.ru/news/2005/06/16/449505.shtml>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
9. 38 русских ведьм. Газета. Опрос ВЦИОМ-А. 19.01.2004. – Режим доступа: <http://www.gazeta.ru/comments/digit/84027.shtml>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
10. Религиозность и воцерковленность. Фонд «Общественное мнение». – 22.08.2002. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/man/religion/d023309/printable/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
11. Three in five “believe in God” – Topline Results. – Ipsos MORI. – 09.09.2003. – Access mode: <http://www.mori.com/polls/2003/bbc-heavenandearth-top.shtml>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
12. More Britons believe in ghosts than in God. Daily Times. – 01.11.2005. – Access mode: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2005%5c11%5c01%5cstory_1-11-2005_pg9_7, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
13. Britons “back Christian society”. – BBC. – 14.11.2005. – Access mode: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4434096>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
14. Fieldwork : April 8th – 9th 2005. Published in The Sun, June 20th & 21st 2005. – Populus Limited, 2005. – Access mode: http://www.populuslimited.com/poll_summaries/2005_06_20_sun.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
15. Voting & the influence of religion. – Ipsos MORI. – 23.06.2000. – Access mode: <http://www.morimrc.ie/mrr/2000/c000623.shtml>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
16. Glauben und Gläubigkeit im Meinugstest. – IMAS-International № 1(2006). – Access mode: http://www.imas-international.de/IMAS_Rep_06_1.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.
17. Deutsche glauben eher an Schutzengel als an Gott – Jeder Vierte fürchtet den Teufel. – GEO. Опрос Forsa, Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH. – 19.12.2005. – Access mode: http://www.geo.de/_components/GEO/info/presse/files/2006/geo_200601_glauben.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.
18. Zusatzinformationen “Geisterjäger, Grusel, Spuk”. – NDR (нем. телеканал). – 26.10.06. – Access mode: http://www3.ndr.de/container/ndr_style_file_default/0,2300,OID3270974_REF10196,00.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.
19. Meyrick, S. New survey justifies Census question on religion, says Anglican professor: Two in three still believe. Интернет-страница Англиканской церкви (Англия). Опрос проведен BBC.

02.06.2000. – Access mode: <http://copies.anglicansonline.org/churchtimes/000602/news1.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

20. Почти половина опрошенных верят в существование внеземных цивилизаций, а 40 % – в жизнь после смерти. Фонд «Общественное мнение». – 24.03.1995. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/man/religion/of19951106>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

21. Вера, религия, церковь. Фонд «Общественное мнение». – 30.08.2000. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/man/religion/tb001910>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

22. Научные знания россиян и европейцев. ВЦИОМ. – 20.04.2007. – Режим доступа: <http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/4448.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

23. The religious and other beliefs of Americans 2005. Harris Interactive Inc., The Harris Poll № 90. – 14.12.2005. – Access mode: http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=618, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

24. Divine subjects: Canadians believe, Britons skeptical. – Gallup Poll News Service. – 16.11.2004. – Access mode: <http://www.gallup.com/poll/content/?ci=14083>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

25. Dawkins, Richard. Aliens are not among us. – Sunday Mirror. – 08.02.1998. – Access mode: <http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Articles/1998-02-08paranormal.shtml>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

26. O'Reilly, D. More people than ever believe in life after death. – Salt Lake Tribune. – 23.10.1999. – Access mode: <http://www.sltrib.com/10231999/religion/40692.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

27. Schicksal, Geister, Mythen – Hirngespinnst oder Horizonterweiterung? – Sozioland (Respondi AG), 2007. – Access mode: http://www.sozioland.de/4562a_esoterik.php?SES=1d216d47c542cbca8244a71570684e1d, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем. В данном случае мы суммировали два положительных ответа. Результаты полностью: «Верите ли Вы, что наша жизнь predetermined судьбой?» – «Да, но на судьбу можно повлиять» – 46 %, «Да, всё predetermined» – 10 %, «Нет, но полной уверенности у меня нет» – 28 %, «Нет, судьбы точно нет» – 13 %, «Не знаю» – 2 %.

28. UFO-Forschung: 40 Prozent der Deutschen glauben an Außerirdische. – News Explorer. – 28.12.2006. – Access mode: <http://press.jrc.it/NewsExplorer/clusteredition/de/20061228,Welt-6212c13e47e6a616f9e6ff11bbccdc80.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.

29. Verschwörungstheorien. Sozioland (Respondi AG), 2007. – Access mode: <http://www.sozioland.de/rp/esoterik/19.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.

30. Horizonterweiterung in unsicheren Zeiten. Sozioland (Respondi AG), 2006. – Access mode: http://www.sozioland.de/rp/esoterik/tabellen_esoterik.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.

31. Jeder vierte Österreicher geht nie in die Kirche. – ORF. – 15.11.2006. – Access mode: <http://oee.orf.at/stories/150802/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.

32. Religiosität behauptet sich trotz leerer Kirchenbänke. – Umfrageberichte von IMAS – International 3 (2002). – Access mode: <http://www.imas-international.com/report/2002/03-01.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем.

33. Астрологические прогнозы. Фонд «Общественное мнение». – 05.02.2004. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/societas/culture/church/mistika/dd040531>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

Все опросы были проведены в 1990–2000 гг. Общеамериканских данных по вере в судьбу нет, но по опросу 2004 г. в судьбу (destiny или fate) верят 59 % религиозных негров США (Green et al., 2004, p. 15–27). Заметим, что согласно «Большой Советской Энциклопедии» выражением фатализма является вера в астрологию («Большая Советская Энциклопедия», 1969–1978), но, к сожалению, данные опросов по этому параметру слишком противоречивы. В 2001 г. 43 % немцев верили, что жизненный путь человека по крайней мере

частично предначертан, 71 % – что люди часто путают удачу с успехом, 63 % – что возможность контролировать свою жизнь является популярной, но неверной точкой зрения (“Umfrage: Jeder ist seines Glückes Schmied – oder nicht?”, 2001). В 2003 г. 46 % немцев считали, что человек – кузнец своего счастья, в то время как 34 % придерживались позиции «одни остаются вверху, другие внизу» (“Der Wert der Freiheit. Ergebnisse einer Grundlagenstudie zum Freiheitsverständnis der Deutschen”, 2003, p. 98). В 2007 г. 53 % русских верили, что успех – это, скорее, результат усилий человека, а не стечения обстоятельств и удачи (32 %) («Как добиться успеха в жизни?», 2007). В 2006 г., по данным Института социологии РАН, 42 % опрошенных считали, что человек – кузнец своего счастья (Медовой, 2006). Русские по своему мировоззрению в этом отношении не сильно отличаются от немцев, хотя однозначно приведенные результаты сравнивать нельзя из-за несколько различных постановок вопроса.

Одно любопытное исследование о вере в судьбу в Англии пришлось вынести за рамки таблицы, так как его результаты были разделены в соответствии с гендерной спецификой: по данным опроса 2003 г., в судьбу (fate) верят 62 % опрошенных женщин и 47 % опрошенных мужчин, то есть в среднем получают те же 55 %, что и в таблице; опрашивались только заядлые игроки в бинго (Griffiths, Bingham, 2005). В Мексике, где также говорят на аналитическом языке (испанском), в судьбу верит 54 % населения (Reguillo, 2004), а на Тайване, где говорят на изолирующем китайском (в котором характеристики аналитизма выражены ещё больше, чем в английском), в судьбу верит около 70 % опрошенных (Лю, 2005). Очевидно, корреляции между степенью аналитизма и степенью рациональности и антифатализма не существует. Это утверждение, ещё недавно казавшееся самим собой разумеющимся, приходится опять отстаивать из-за воскрешения этнолингвистических теорий XIX – начала XX в.

Ещё несколько опросов могут быть интересны в контексте связи имперсонала с национальным характером, в данном случае – с активным отношением к жизни. Опросы, проведенные в 2002 г. фондом «Общественное мнение», показали, что новое российское поколение, воспитанное в соответствии с западной («общечеловеческой») системой ценностей, чаще верит в святость свободы личности, чаще подтверждает, что «благополучие человека в первую очередь зависит от его собственных усилий», что «России нужны, прежде всего, условия, при которых каждый мог бы позаботиться о себе и своих близких» (а не «России необходима общая цель, которая могла бы сплотить народ»), что можно совершать преступления ради достижения личных целей («Принципы и ценности молодежи», 2002). По данным опроса 2006 г. (ВЦИОМ), молодёжь в возрасте до 24 лет чаще, чем остальные возрастные группы, верит, что успех человека зависит от трудолюбия, квалификации и таланта, а не от внешних факторов. Директор по коммуникациям ВЦИОМ И. Эйдман, комментируя данные опроса, отметил, что российская молодёжь оптимистична и активна по сравнению с более старшими поколениями (Милов, 2006). Е.А. Баландина пишет в диссертации «Социальное мифотворчество в качестве средства манипуляции сознанием (философский подход)», что после 1991 г. «в общественном

сознании русского народа происходит переориентация на прагматический тип мышления. В обществе формируется специфическая, мифологизированная сфера существования людей, где каждый сам за себя ("человек человеку волк")» (Баландина, 2006, с. 13). Тем не менее расширение сферы употребления имперсонала наблюдается и в постсоветский период (Градинарова, 2007 б; Арутюнова, 1999, с. 794), что противоречит социологическим данным, если предположить, что имперсонал действительно несовместим с активным отношением к жизни, прагматизмом и антифатализмом.

Таким образом, русская иррациональность, выражающаяся в мифологизированности сознания, социологически не подтверждается. Хотя в западной культурологической литературе, как и в постсоветской, без труда можно найти утверждения, будто русские особенно иррациональны, доверять таким источникам следует не более, чем следующему утверждению «Большой Советской Энциклопедии»: «Иррационалистические умонастроения получают широкое распространение в связи с кризисом буржуазного общества и его культуры в конце 19–20 вв. [...] И[ррационализм – Е.З.] представляет собой прямую противоположность марксистско-ленинской философии, научному, материалистическому мировоззрению» («Большая Советская Энциклопедия», 1969–1978). Культурология, философия, история и социология являются особенно широко используемыми орудиями в «войне культур», в том числе в «холодной войне», поэтому адекватности описания идеологического врага от этих наук ждать не следует, причём с обеих сторон. Тот факт, что после 1991 г. распространилась западная точка зрения на вопросы русского менталитета, объясняется не тем, что она верна, а тем, что Запад победил в «холодной войне». Едва ли, однако, кто-то будет отрицать, что в СССР велась широкая разъяснительная работа против суеверий, веры во всё потустороннее, иррациональное, в то время как на Западе – вопреки распространению рациональных взглядов благодаря развитию наук – наблюдалось и активное течение в противоположном направлении через непрерывное распространение новых сект (не сдерживаемых особо государством), популярные и намеренно популяризируемые верования в потустороннее, религиоведение в школах. Распространение иррациональных взглядов, иррационального мировоззрения в постсоветской России – это отчасти результат влияния западной культуры¹, хотя нельзя также забывать и о том, что «широкое распространение И[ррационализм –

¹ В пользу этого утверждения можно привести следующие доказательства: согласно источнику [1], молодёжь считает воскрешение мёртвых людьми возможным чаще, чем представители возрастной группы старше 60 лет; согласно источнику [4], респонденты 18–35 лет чаще, чем люди старше 50 лет, верят в сбывающиеся приметы, колдовство, экстрасенсорнику, астрологию, телепатию, проявление потусторонних сил, привидений, домовых, хиромантию, телекинез, инопланетян, спиритизм, полтергейст и левитацию (ни одного показателя, по которому доминировала бы старшая возрастная группа, нет). Примечательны также следующие тенденции: особенно часто в перечисленные явления верят граждане с высшим образованием (хотя здесь разница не так велика), а также группа населения, считающая себя адаптированной к постсоветским реалиям и оптимистично смотрящая в будущее. Согласно источнику [33], электорат партий «Единая Россия», ЛДПР, СПС и «Яблоко» чаще старается учитывать гороскопы и советы астрологов в своём поведении, чем электорат КПРФ.

Е.З.], как правило, получает в переломные эпохи развития общества» («Философский энциклопедический словарь», 1989).

На безличные конструкции развитие или спад иррациональных взглядов в обществе не оказывает никакого влияния: их сфера употребления расширялась и в глубоко религиозной дореволюционной России, и в атеистические советские времена, и после 1991 г. Если верно то, что русские развили после распада СССР более активное отношение к жизни, то, очевидно, имперсонал никак не связан и с ним. Тема связи с фатализмом будет рассмотрена ниже.

6.2. Доктрина предопределения в кальвинизме

Необычная на первый взгляд вера англичан в судьбу становится более понятной, если вспомнить учение Ж. Кальвина (1509–1564), ставшего для Запада «осевой фигурой Нового времени», по выражению статьи из энциклопедии «Религия» («Религия», 2007). Именно он разработал доктрину о предопределении, вошедшую позже «в плоть и кровь» западного общества, особенно его протестантской части.

Вот что пишет по поводу этого учения та же энциклопедия: «Бог активно желает спасения тех, кто будут спасены, и проклятия тех, кто спасены не будут. Предопределение поэтому является "вечным повелением Божиим, которым Он определяет то, что Он желает для каждого отдельного человека. Он не создает всем равных условий, но готовит вечную жизнь одним и вечное проклятие другим". Одной из центральных функций этой доктрины является подчеркивание милости Божьей. Для Лютера милость Божья выражена в том, что Он оправдывает грешников, людей, которые недостойны такой привилегии. Для К[альвина – Е.З.] милость Божья проявляется в Его решении искупить грехи отдельных людей независимо от их заслуг: решение об искуплении человека принимается независимо от того, насколько данный человек достоин этого. Для Лютера Божественная милость проявляется в том, что Он спасает грешников, несмотря на их пороки; для К. милость проявляется в том, что Бог спасает отдельных людей вне зависимости от их заслуг. Хотя Лютер и К. отстаивают Божью милость с несколько разных точек зрения, своими взглядами на оправдание и предопределение они утверждают один и тот же принцип. Хотя доктрина предопределения не была центральной в богословии К., она стала ядром позднего реформатского богословия. Уже начиная с 1570 тема "избранности" стала доминировать в реформатском богословии... [...]

Доктрина предопределения не была новаторской для христианства. К. не ввел в сферу христианского богословия ранее неизвестное понятие. Позднесредневековая августинианская школа учила о доктрине абсолютного двойного предопределения: Бог предназначает одним вечную жизнь, а другим – вечное осуждение, не обращая внимания на их личные заслуги или недостатки. Их судьба полностью зависит от воли Божьей, а не от их

индивидуальности. Вероятно, К. сознательно перенял этот аспект позднесредневекового августицианства, обладающий необыкновенной схожестью с его собственным учением.

Согласно К., спасение находится вне власти людей, которые бессильны изменить существующее положение. К. подчеркивал, что эта выборочность наблюдается не только в вопросе о спасении. Во всех областях жизни, утверждает он, мы вынуждены столкнуться с непостижимой тайной. Почему одни оказываются более удачливыми в жизни, чем другие? Почему один человек обладает интеллектуальными дарами, в которых отказано другим? Даже с момента рождения два младенца без какой-либо своей вины могут оказаться в совершенно различных обстоятельствах... Для К. предопределение было лишь еще одним проявлением общей тайны человеческого существования, когда одним достаются материальные и интеллектуальные дары, в которых отказано другим» («Религия», 2007).

Доктрина кальвинизма оставила глубокий след в мировоззрении почти всех западных обществ. По сей день она даёт сознание собственной непогрешимости и избранности обладателям солидного состояния и сознание неполноценности, изначально предопределённой и неминуемой муки в аду – бедным слоям населения (по крайней мере, его религиозной части). Если богоизбранность определяется по материальному благосостоянию, то бедность служит предзнаменованием того, что человек был проклят ещё до рождения, что никакими добрыми делами ему не заслужить спасения, что все его поступки Бог знает наперёд, что все они предрешены и осуждены. Христос умер не за всех, а за избранных, которые, напротив, по милости божьей попадут в рай при любых обстоятельствах, будь они самыми отъявленными грешниками. Милость эта определяется ещё при жизни по якобы дарованному Богом земным благам, преимущественно в денежном эквиваленте. Именно деньгами измеряется успешность человека при поиске своего «призвания», данного Богом¹. Православию измерение богоизбранности по данному критерию остаётся чуждым, поскольку больший акцент делается на словах Библии о том, что легче верблюду (в правильном переводе – канату) пройти через игольное ушко, чем богачу войти в царство небесное. В советской идеологии богатство рассматривалось как угроза коллективистским

¹ Ср. «Дело в том, что [с точки зрения кальвинизма – Е.З.] Бог ещё до сотворения человека заранее и бесповоротно определил, кому уготована погибель, а кому вечное спасение (т.н. двойное предопределение). Ни точно знать это решение, ни изменить его демонстративной набожностью и какими-то особыми поступками люди не могут. Однако безнадежности в этом нет. В сотворенном мире человек имеет некоторую свободу, дабы найти место в жизни ("призвание"), на котором он полнее всего воплотит провиденциальный замысел. Среда обитания и способность обустраивать ее даны людям от Бога. Следовательно, чем добросовестнее человек трудится и вообще выполняет предписанные Богом мирские обязанности, тем точнее он реализует свое "призвание". И хотя окончательная судьба остается христианину неведомой, но добытое упорным трудом жизненное благополучие толкуется как "знамение" возможной предызбранности к спасению» (Смирнов, 2005).

устоям общества¹. В обоих случаях акцент делался на моральной стороне поступков, а не на материальном вознаграждении за них.

Мы не будем подробно вдаваться в рассуждения о том, присущ ли фатализм православию. Приведём лишь высказывание по этому поводу кандидата исторических наук С. Рыбакова: «Что есть Божий Промысел [в православии – Е.З.]? Это отнюдь не примитивный фатализм. Свобода личного выбора не подавляется и не ограничивается Божиим Промыслом: человек ответствен за свои дела и поступки. Бог никого не принуждает: человек сам определяет свою судьбу, народ – свою историю» (Рыбаков, 1998). Несомненно, найдётся множество работ, где эта точка зрения ставилась бы под сомнение, особенно среди последователей М. Вебера². Последние полвека показали, однако, что теория М. Вебера об активных протестантах и пассивных буддистах, католиках и т.д. не в состоянии объяснить быстрое экономическое развитие тех стран, жители которых якобы недостаточно активны из-за своих религий (см. главу «Альтернативные культурологические объяснения безличных конструкций»). Вот как определяется разница в отношении к предопределению у протестантов и православных в «Большой Советской Энциклопедии»: «Теологич. Ф.[атализм – Е.З.], учащий, что Бог ещё до рождения предопределил одних людей "к спасению", а других "к гибели", получил особенно последовательное выражение в исламе (доктрина джабаритов, сформулированная в спорах 8–9 вв.), в некоторых христианских ересьх средневековья (у Готшалка, 9 в.), в кальвинизме и янсенизме, ортодоксальная теология православия и католицизма ему враждебна» («Большая Советская Энциклопедия», 1969–1978).

Похожее объяснение можно найти в «Малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», опубликованном ещё до революции: «**Предо-**

¹ «Напомню, цель – быть богатым и преуспевающим – никогда не ставилась и не могла быть поставлена ни в обществе социализма, ни в старой православной России. Христос пришел к нуждающимся и обремененным и провозгласил отказ не только от богатства, но и от имущества вообще. "Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах..." Переживание о богатстве было Его особенно мучительным переживанием: "Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!" (Лк, 18, 25). Идея-фикс стать богатым, как Ротшильд, с которой пришел в мир молодой человек Аркадий Долгорукий, была последовательно дискредитирована Достоевским в романе "Подросток", главном романе воспитания XIX века. Ныне маятник качнулся в другую крайность. Тезис "стань богаче", "добудь свой миллион", любой ценой, "в один час", "в один миг", "вдруг" и "сразу" стал фактически государственной идеологией» (Сараскина, 2000, с. 10). Примечательно, что частотность слова *деньги* резко выросла после 1991 г.: корпус классики – 8 802, корпус советской литературы – 7 312, корпус постсоветской литературы – 9 011 (данные по мегакорпусу: классика – 38 248, советская литература – 25 345, постсоветская литература – 36 961).

² Например: «Так, православная церковь с детства внушает своим адептам идею непротivления злу и насилию. У них развивается социальный фатализм (вера в божественную предопределенность своей судьбы). Католицизм и протестантизм, напротив, ориентируют личность на упорную борьбу за достижение своих личных целей, всячески поощряют гибкое ситуативное взаимодействие с другими людьми» (Крысько, 1999). Заметим, что М. Вебер противопоставлял пассивных католиков активным протестантам-кальвинистам, а Крысько противопоставляет активных католиков и протестантов пассивным православным.

пределение, учение, что всемогущая воля всеведущего Бога заранее пре-
доопределила одних людей к добру и спасению, других ко злу и гибели. [...] Православная церковь не признает абсолютного П. и учит, что Бог хочет спасения всех, но разумные существа, сознательно отвергающие всякую помощь благодати для своего спасения, не могут быть спасены и по всеведению Божию преопределены к гибели; след., П. относится лишь к последствиям зла, а не к самому злу. В XVI в. учение об абсолютном П. было возобновлено Кальвином» (<http://slovari.yandex.ru/>).

Упомянутая выше энциклопедия «Религия» разъясняет разницу между пониманием преопределения у православных и протестантов (кальвинистов) следующим образом: «Для разрешения этих споров [о доктрине преопределения – Е.З.] было точнее определено на нескольких поместных соборах православное учение, сущность которого сводится к следующему: Бог желает всем спастись, а потому абсолютного П. [редопределения – Е.З.] или П. к нравственному злу не существует; но истинное или окончательное спасение не может быть насильственным и внешним, а потому действие благости и премудрости Божьей для спасения человека употребляет с этой целью все средства, за исключением тех, которыми упраздняясь бы нравственная свобода; следовательно, разумные существа, сознательно отвергающие всякую помощь благодати для своего спасения, не могут быть спасены и по всеведению Божьему преопределены к исключению из Царства Божьего или к гибели. П. относится, следовательно, лишь к необходимым последствиям зла, а не к самому злу, которое есть лишь сопротивление свободной воли действию спасающей благодати. [...] Окончательные разработки вопросов, связанных с П., принадлежат Кальвину, который показал, что исследование вопроса о П. не является чисто академическим занятием, а имеет практическое значение. Хотя Кальвин не соглашается с утверждением У. Цвингли, что грех стал необходимым, чтобы должным образом проявилась слава Божья, он тем не менее настаивал на том, что Бог одних избрал для спасения, а других отверг, но во всем этом остался абсолютно праведным и непорочным. Преемник Кальвина Т. Беза не только придерживался учения Кальвина о двойном П., но и без колебаний утверждал, что Бог решил некоторых людей послать в ад, что он побуждает их грешить. Он был убежден, что, несмотря на отсутствие каких-либо специальных указаний на этот счет в Библии, можно определить логический приоритет и последовательность Божьих решений. Он считал, что решение спасти одних и осудить других логически предшествует решению сотворить людей. Из этого следует, что Бог творит некоторых для того, чтобы впоследствии осудить. Это учение со временем стало рассматриваться многими как официальная позиция кальвинизма» («Религия», 2007).

Наиболее чётко разница в мировоззрении православных и протестантов отразилась в следующей дефиниции фатализма из «Философского энциклопедического словаря»: «Теологический Ф.[атализм – Е.З.] исходит из

предопределения событий истории и жизни человека волей Бога; в его рамках идет борьба между концепциями абсолютного предопределения (августинизм, кальвинизм, янсенизм) и воззрениями, пытающимися совместить всемогущество провидения со свободной волей человека (католицизм, православие)» («Философский энциклопедический словарь», 1992).

Таким образом, православие делает больший акцент на свободной воле человека, в то время как кальвинизм исходит из предопределённости событий.

В «Атеистическом словаре» под редакцией М.П. Новикова ничего не говорится о православии, но подчёркивается фатализм кальвинизма и протестантизма вообще (кальвинизм является одной из разновидностей протестантизма наряду с лютеранством, цвинглианством, анабаптизмом, менонитством, англиканством, баптизмом, методизмом, квакерством, пятидесятничеством, Армией спасения и т.д.): «В той или иной форме Ф.[атализм – Е.З.] присущ мн. идеалистич. учениям, занимает важное место в религ. мировоззрении. Признание Бога в качестве творца и управителя мира неизбежно ведет к отрицанию способности человека влиять на ход событий, обрекает его на пассивность и бездействие. В вероучениях различных религий Ф. проявляется в разной степени. Он пронизывает вероучение ислама. Идеи Ф. отчетливо выражены в кальвинизме. [...]

Католицизм опирается на учение Августина о том, что человек не свободен в добре, поскольку на этом пути в нем действует благодать, но свободен во зле, к к-рому влечет его греховная природа. В протестантизме доминирует идея предопределения всех судеб волей Бога, что превращает С[вободу – Е.З.] в иллюзию» («Атеистический словарь», 1986).

Похожим образом высказывается немецкий “Herders Conversations-Lexikon” (1-е издание, 1854–1857, приводим в оригинале): “In der nachchristl. Zeit spielt das F.[atum – Е.З.] vor allem im Mohammedanismus, in der Kirchengeschichte durch den gall. Priester Lucidus im 5., den Mönch Gottschalk im 9., dann durch Luther, Zwingli und vor allem durch Calvin und Beza, in der Philosophie durch Spinoza, Hobbes, Bayle, die frz. Encyklopädisten und Hegel eine entscheidende Rolle” [Herders Conversations-Lexikon: Fatum. DB Sonderband: Legendäre Lexika, S. 38996].

“Meyers Großes Konversations-Lexikon” (6-е издание, 1905–1909) полагает, что фатализм является одной из характеристик протестантского учения о предестинации [Meyers Großes Konversations-Lexikon. Fatalismus. DB Sonderband: Legendäre Lexika, S. 385478]. В определении термина «детерминизм» в «Справочнике по ересям, сектам и расколам» С.В. Булгакова также упоминается, что кальвинизму присущ фатализм: «От строгого философского материалистического и идеалистического детерминизма должно отличать детерминизм религиозный, иначе называемый фатализмом. Так, религия древних греков признавала существование рока или судьбы как темной, непостижимой, безличной силы, которая определяет жизнь людей, и противостоять

которой не в силах не только люди, но и самые боги. На востоке, а позднее на западе, было распространено мнение, что все главные события исторической и частной жизни людей неизменно предопределены течением звезд (детерминизм астрологический). Сюда же относится верование магометан, что Бог, в силу вечного решения Своей воли, неизменно определил судьбу каждого человека, даже до малейших обстоятельств его жизни. В христианском мире сюда относится отрицающее нравственную свободу учение Кальвина и др., по которому Бог безусловно и неизменно предопределил одних к вечному блаженству, других к вечному осуждению» (Булгаков, 1994).

Таким образом, фатализм протестантизма отмечается и в дореволюционных, и в советских, и в постсоветских, и в западных справочных изданиях.

Исследователь, пожелавший доказать изначальную склонность германцев к фатализму, нашёл бы этому тезису достаточно подтверждений в древнейшем эпосе и научной (исторической, социологической, культурологической) литературе. Так, специалист по английской литературе Р. Флетчер пишет в своём комментарии к древнему англосаксонскому эпосу «Беофульф» (700 г.), что понятие судьбы, обыгрываемое в этом произведении, представляется деспотичной и не имеющей сострадания к людям силой, с которой невозможно бороться; причём это понятие (называемое *Wyrd*) не вымерло вместе с язычеством, а вошло в несколько изменённом виде и в мировоззрение английских пуритан (Fletcher, 2004).

А.Я. Гуревич отмечает в предисловии к «Беовульфу», что данное произведение «пестрит ссылками на Судьбу, которая то выступает в качестве орудия творца и идентична божественному Провидению, то фигурирует как самостоятельная сила. Но вера в Судьбу занимала центральное место в дохристианской идеологии германских народов. [...] Судьба понималась не как всеобщий рок, а как индивидуальная доля отдельного человека, его везенье, счастье; у одних удачи больше, у других меньше» («Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах», 1975). Соответственно, согласно мифологии древних германцев, человеку изначалью предопределено быть успешным или неуспешным, счастливым или несчастливым. Это подтверждается и следующим отрывком из «Прорицания Вельвы» («Старшая Эдда», VI–VIII вв., стихотворный сборник германских мифов):

Мудрые девы
оттуда возникли,
три из ключа
под деревом высоким;
Урд имя первой,
вторая – Вердани, –
резали руны, –
Скульд имя третьей;
судьбы судили,
жизнь выбирали
детям людей,
жребий готовят.

Речь здесь идёт о богинях судьбы – норнах, отвечающих за настоящее, прошлое и будущее человека (как древнеримские парки, древнегреческие мойры). К. Бишоп (Австралийский национальный университет) комментирует слова *Wyrd bið ful aræd* (*Судьба всегда predetermined*) древнеанглийского стихотворения “The Wanderer” (современное название) следующим образом: стихотворение отражает типичное представление древних западных саксов о неизбежности судьбы, о невозможности ублажить её мольбами, дарами и благородными поступками (Bishop, 2007). Понятие “Wyrd” («судьба»), как полагает Бишоп, не просто фаталистично, но и подразумевает всеохватывающее, неизбежное predetermined, не обладающее какой-либо осмысленной силой, но ведущее всё к разрушению и уничтожению.

В приложении 2 мы привели точку зрения культуролога А.П. Богатырёва на данный вопрос (статья написана специально для этой монографии по нашей просьбе). Он полагает, что:

а) западному человеку ещё со времён Древней Греции присущ фатализм;

б) этот фатализм значительно усилился во времена средневековья из-за постоянных эпидемий, которые невозможно было предотвратить или остановить (в XIV в., например, от «чёрной смерти» вымерло от четверти до трети населения Европы);

в) особенно яркое отражение фатализм нашёл в доктрине predetermined у протестантов;

г) вполне может быть, что соответствующее мировоззрение отобразилось в высокой частотности «фаталистичной» лексики.

С просьбой разъяснить относительно широкое распространение веры в судьбу в Англии по сравнению с Россией мы обратились непосредственно к А. Вежбицкой, которая популяризировала теорию «фатализма» русской грамматики. Приводим её ответ, полученный по электронной почте в июне 2007 г.: “To take just one of your questions – How many “Anglos” believe in “sud’ba”. To me, the question doesn’t make much sense, since there is no concept of ‘sud’ba’ in English. Questionnaires of this kind are based on the assumption that there is a shared concept which can be investigated in different languages. To do semantics cross-linguistically, one needs an appropriate meta-language”.

С одной стороны, её отказ приравнять русское понятие «судьба» к английскому “destiny” или “fate” совершенно понятен, так как у каждого слова есть свои особенные коннотации. С другой стороны, едва ли кто-то будет отрицать, что английское “fate” (именно это слово использовалось в приведённых выше опросах) не менее фаталистично, чем русское «судьба». Вот как, например, определяет понятие “fate” “Roget’s II: The New Thesaurus” (1995): “1. A predestined tragic end., 2. That which is inevitably destined...” (Roget’s II: The New Thesaurus, 1995), то есть “fate” по своему

определению трагичнее «судьбы», это, скорее, рок, участь, и не зря другими значениями этого слова являются «смерть», «гибель». Сама Вежбицкая в одной из работ сравнивает “fate” с русским словом «рок» (Wierzbicka, 1992, p. 66).

Учитывая широко распространённую веру англичан в “fate”, нельзя назвать случайностью то, что именно в Англии зародились и приобрели особую популярность готические романы, персонажи которых неизменно становятся жертвой судьбы и потусторонних сил, а затем – всевозможные мистические триллеры и жанр ужасов. Русским до самого последнего времени всё это было чуждо, к мифическим существам относились часто с иронией, и даже самые отрицательные персонажи из потустороннего мира (типа Бабы-Яги, Кошечья Бессмертного, чертей) зачастую становились предметом юмористических рассказов. Особенно это касается произведений советских времён, но уже у Гоголя тенденция говорить о потустороннем в ироническом тоне просматривается совершенно отчётливо.

Если исходить из результатов приведенных в данной работе анализов частотности лексем, имеющих отношение к фатализму (см. ниже), всё же следует признать, что до революции русские писатели активнее использовали средства выражения неизбежности судьбы, чем советские, и после распада СССР по некоторым параметрам начался возврат к дореволюционному уровню. Является ли это следствием вторичного распространения православия, с уверенностью сказать нельзя, поскольку русские в большинстве своём, хотя и причисляют себя к православным, обычно не имеют никакого понятия о его учении. Например, даже Библию никогда не читали 60 % опрошенных в 2002 г. россиян, 18 % читали её когда-то, лишь 2 % читают её регулярно (см. более подробную статистику и по другим параметрам в приведенном выше источнике [10]). Для сравнения: 59 % американцев читают Библию время от времени, 37 % – минимум раз в неделю (Gallup, Simmons, 2000); каждый третий американец считает, что Библию следует понимать буквально (Barrick, 2007). Более вероятно предположение, что мифологизация сознания после распада СССР обусловлена влиянием западной культуры через фильмы ужасов, мистические произведения, через распространение всевозможных сект.

Учитывая веру протестантов в богоданность успеха, особенно в денежном эквиваленте, вполне логично предположить, что современная британская и американская литература о том, как достигать своих жизненных целей, будет в большей или меньшей мере пропитана мистицизмом. Так оно и есть. Мы продемонстрируем это на примере наиболее известной и популярной книги по данной теме – «Думай и богатей» Н. Хилла. Хотя книга была выпущена в 1937 г., она до сих пор постоянно переиздается во многих странах в различных вариантах (полных, сокращённых), причём только в США после 1973 г. она выдержала свыше 50 изданий, периодически попадая в “BusinessWeek Best-Seller List” (в том числе в 2007 г.). По всему миру к

концу 2007 г. было продано не менее 30 млн копий. Существует несколько продолжений. Книга многократно переиздавалась и в России.

Среди различных советов, как достичь своей цели (богатства), автор вполне серьезно приводит способы связи с Высшим Разумом (чтобы «выпросить» у него желанную сумму), советует пользоваться шестым чувством, рассуждает о полезности телепатии и ясновидения: «Если Вы молитесь о чем-то, боясь, что Высший Разум не захочет действовать согласно Вашему желанию, – значит, Вы молитесь впустую. Если Вы когда-либо получали то, что просили в молитве, вспомните состояние Вашей души тогда – и Вы поймете, что теория, излагаемая здесь, больше чем теория.

Способ связи с Мировым Разумом подобен тому, как колебания звука передаются радио. Если Вы знакомы с принципом работы радио, то, конечно, знаете, что звук может быть передан, лишь когда его колебания преобразованы до уровня, не воспринимаемого человеческим ухом. Радиопередающее устройство модифицирует человеческий голос, увеличивая его колебания в миллион раз. Только таким образом энергию звука можно передавать через пространство. Преобразованная таким образом энергия поступает в радиоприемники и реконвертируется до первоначального уровня колебания.

Подсознание, выступающее как посредник, переводит молитву на Язык, понятный Мировому Разуму, доносит послание, содержащееся в молитве, и принимает ответ – в форме плана или идеи по достижению цели. Осознайте это – и Вы поймете, почему слова, содержащиеся в молитвеннике, не могут и никогда не смогут связать Ваш разум с Высшим Разумом. [...] Ваш разум мал – настройте его на Мировой Разум. Подсознание – ваше радио: посылайте молитвы и принимайте ответы. Энергия всей Вселенной поможет молитвам сбыться. [...]

Мы открыли то, что – хочется верить – представляет собой идеальные условия, находясь в которых сознание заставляет работать шестое чувство (описываемое в следующей главе). [...]

Из того, что Я испытал в жизни, шестое чувство ближе всего к чуду. И Я знаю наверняка, что есть в мире некая сила, или Первотолчок, или Разум, пронизывающая каждый атом материи и делающая сгустки энергии воспринимаемыми для человека; что этот Мировой Разум превращает желуди в дубы, заставляет воду падать с холмов (делая за это ответственным Закон всемирного тяготения); сменяет ночь днем и зиму летом, устанавливает каждому его место и отношение к остальному миру. Этот Разум в сочетании с принципами нашей философии может помочь и Вам – в превращении Ваших желаний в конкретные материальные формы. Я это знаю: у меня есть опыт – и этот опыт меня научил» (Хилл, 1996).

Столь необычный подход к достижению успеха не должен удивлять: пока советские школьники учили логику, американские учили божественный закон. Если в СССР совершенно сознательно, на государственном уровне от-

казались от фаталистического мировоззрения¹, то в США по-прежнему пропагандируется богоданность жизненных благ. Результатом является мистифицированное сознание, причём до такой степени, что 83 % американцев в начале XXI в. всё ещё верят в непорочное зачатие (Kristof, 2003).

Мы не ставим перед собой задачу доказать фаталистичность англичан, американцев или западных людей вообще по сравнению с русскими. Достаточно продемонстрировать, как легко можно было бы сделать это на основе вполне солидных и достоверных источников, включая социологические опросы (которые, кстати, этнолингвисты, критикующие русских за фатализм, никогда не приводят) и самые известные энциклопедии. Приведенные нами материалы по фатализму протестантского мировоззрения неизменно замалчиваются критиками русской ментальности, из-за чего такая критика является не более чем однобоким подбором подходящих фактов и игнорированием остальных.

6.3. Секуляризация и языковой «фатализм»

С точки зрения лингвистики, столь укоренившаяся на Западе, особенно в протестантских кругах, вера в предопределение интересна в следующем отношении. Если предположить, что мировоззрение должно отображаться и в синтаксисе, то современные западноевропейские языки должны нести на себе отпечаток фатализма. Именно в западных странах протестантизм получил наибольшее распространение, и именно в протестантизме представление о судьбе как о божественном предопределении носит наиболее выраженный фаталистический характер (ср. «Философский словарь», 1972, с. 400). Мы не утверждаем, что этот отпечаток существует. Напротив, более вероятно, что мировоззрение отображается в лексике, изредка – в морфологии, но едва ли может отображаться в каких-то синтаксических конструкци-

¹ Ср. отрывок из интервью Сталина: «Большевики, марксисты в "судьбу" не верят. Само понятие судьбы, понятие "шикзала" – предрассудок, ерунда, пережиток мифологии, вроде мифологии древних греков, у которых богиня судьбы направляла судьбы людей» (Людвиг, 1932). Отрывок из определения фатализма в «Большой Советской Энциклопедии»: «Отвергая любые формы Ф.[атализма – Е.З.], марксизм противопоставляет им учение о необходимости и случайности, о диалектике свободы и необходимости в общественно-историческом процессе» («Большая Советская Энциклопедия», 1969–1978). «В марксистской философии органически связано действие законов развития об-ва и свободной деятельности людей, достигнуто понимание диалектики необходимости и случайности, свободы и необходимости. Марксизм усматривает корни Ф[атализма – Е.З.] в интересах определенных социальных сил и показывает; что лишь в результате создания гуманного и справедливого об-ва постепенно устраняется историческая почва для фаталистических воззрений» («Философский энциклопедический словарь», 1989). «Марксистская этика исходит из историко-материалистического учения об объективных законах развития об-ва и роли масс и личности в истории. Она считает, что исторические законы, определяя общий ход развития об-ва, тем не менее оставляют место для морального выбора, поэтому не устраняют личной ответственности человека за свои поступки и необходимости их нравственной оценки» («Словарь по этике», 1981).

ях. О том, каким образом фатализм может отобразиться на лексическом уровне, должна дать некоторое представление таблица 11. Одновременно можно проследить, как в процессе секуляризации происходит демифологизация массового сознания, что приводит к снижению частотности соответствующей лексики. Поскольку у нас нет достаточно крупного корпуса английской литературы, мы привели данные по немецкому (в Германии каждый второй житель считает себя протестантом).

Таблица 11

**Частотность лексем, имеющих отношение к фатализму,
в немецкой художественной литературе**

	XVIII в.	XIX в.	XX в.
Schicksal* (судьб*)	2 570	1 770	2 010
Fatum* (фатум*)	4	33	23
Geschick (судьба)	209	568	235
Geschicke (судьба)	110	87	51
Kismet (судьба)	–	–	18
Fatalis* (фаталис*)	16	16	22
Prädestin* (предопред*)	3	9	23
Vorbestimm* (предопред*)	1	4	42
Vorausbestimm* (предопред*)	1	3	3
Vorherbestimm* (предопред*)	11	4	11
Vorsehung (провидение)	301	72	52
Schickung (судьба)	92	14	8
Всего	3 318	2 580	2 498

Примечание: * – любое число знаков до пробела. Объем каждой выборки: примерно 65 960 страниц электронной антологии “Digitale Bibliothek Band 125. Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky”.

Состав выборок

XVIII в.: Auenbrugger, Johann Leopold von; Ayrenhoff, Cornelius Hermann von; Blanckenburg, Friedrich; Blumauer, Aloys; Bodmer, Johann Jacob; Borkenstein, Hinrich; Bostel, Lukas von; Bräker, Ulrich; Brandes, Johann Christian; Brawe, Joachim Wilhelm von; Breitinger, Johann Jakob; Bretzner, Christoph Friedrich; Brockes, Barthold Heinrich; Bürger, Gottfried August; Cronck, Johann Friedrich von; Denis, Michael; Drollinger, Carl Friedrich; Dusch, Johann Jakob; Ehrmann, Marianne; Engel, Johann Jakob; Ewald, Johann Joachim; Forster, Georg; Gellert, Christian Fürchtegott; Gemmingen-Hornberg, Otto Heinrich von; Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von; Gessner, Salomon; Gleim, Johann Wilhelm Ludwig; Goethe, Johann Wolfgang; Gotter, Friedrich Wilhelm; Gottsched, Johann Christoph; Gottsched, Luise Adelgunde Victorie; Götz, Nicolaus; Günther, Johann Christian; Hafner, Philipp; Hagedorn, Friedrich von; Haller, Albrecht von; Hamann, Johann Georg; Heinse, Wilhelm; Hensler, Karl Friedrich; Herder, Johann Gottfried; Hippiel, Theodor Gottlieb von; Hölderlin, Friedrich; Hölty, Ludwig Christoph Heinrich; Huber, Therese; Hunold, Christian Friedrich; Iffland, August Wilhelm; Jacobi, Friedrich Heinrich; Jean Paul; Jung-Stilling, Johann Heinrich; Karsch, Anna Louisa; Kästner, Abraham Gotthelf; Kleist, Ewald Christian von; Klemm, Christian Gottlob; Klinger, Friedrich Maximilian; Klopstock, Friedrich Gottlieb; Knigge, Adolph Freiherr von; Kosegarten, Gotthard Ludwig; Kotzebue, August von;

Kretschmann, Karl Friedrich; Krüger, Johann Christian; Kurz, Joseph von; Lange, Samuel Gotthold; La Roche, Sophie von; Lavater, Johann Kaspar; Leisewitz, Johann Anton; Lenz, Jakob Michael Reinhold; Lessing, Gotthold Ephraim; Lichtenberg, Georg Christoph; Liebeskind, Margareta Sophia; Loën, Johann Michael von; Merck, Johann Heinrich; Mereau, Sophie; Miller, Johann Martin; Moritz, Karl Philipp; Müller, Friedrich (Maler Müller); Müller, Johann Gottwerth; Musäus, Johann Karl August; Mylius, Christlob; Naubert, Benedikte.

XIX B.: Meyer, Conrad Ferdinand; Meysenbug, Malwida Freiin von; Möllhausen, Balduin; Mörike, Eduard; Mosenthal, Salomon Hermann von; Moser, Gustav von; Müllenhoff, Karl; Müller, Wilhelm; Müllner, Adolph; Mundt, Theodor; Nestroy, Johann; Niebergall, Ernst Elias; Nietzsche, Friedrich; Otto, Louise; Paalzow, Henriette von; Panizza, Oskar; Paoli, Betty; Pichler, Karoline; Platen, August von; Polenz, Wilhelm von; Pröhle, Heinrich; Prutz, Robert Eduard; Pückler-Muskau, Hermann von; Raabe, Wilhelm; Raimund, Ferdinand; Raupach, Ernst; Reinick, Robert; Reuter, Fritz; Riehl, Wilhelm Heinrich von; Riese, Friedrich Wilhelm; Roeber, Friedrich; Roquette, Otto; Rosegger, Peter; Rückert, Friedrich; Ruederer, Josef; Ruppert, Otto; Saar, Ferdinand von; Sacher-Masoch, Leopold von; Schack, Adolf Friedrich von; Schambach, Georg; Scheffel, Joseph Viktor von; Schenkendorf, Max von; Schlaf, Johannes; Schlegel, August Wilhelm; Schlegel, Dorothea; Schlegel, Friedrich; Schnitzler, Arthur; Schober, Franz von; Schönthan, Franz und Paul von; Schönwerth, Franz; Schopenhauer, Adele; Schopenhauer, Johanna; Schöppner, Alexander; Schulze, Ernst; Schwab, Gustav; Sealsfield, Charles; Seume, Johann Gottfried; Sommer, Elise; Sommer, Emil; Sonnleithner, Joseph Ferdinand von; Spielhagen, Friedrich.

XX B.: Altenberg, Peter; Ball, Hugo; Boßdorf, Hermann; Boy-Ed, Ida; Braun, Lily; Busch, Wilhelm; Busoni, Ferruccio; Chlumberg, Hans von; Christ, Lena; Däubler, Theodor; Dauthendey, Max; Dehmel, Richard Fedor Leopold; Dohm, Hedwig; Dovsky, Beatrice; Duncker, Dora; Ebner-Eschenbach, Marie von; Engelke, Gerrit; Ernst, Paul; Ertler, Bruno; Essig, Hermann; Federer, Heinrich; Flex, Walter; Fock, Gorch; Frapan, Ilse; Ganghofer, Ludwig; George, Stefan; Gerhäuser, Emil; Hauptmann, Carl; Heiseler, Henry von; Henckell, Karl; Heyking, Elisabeth von; Heym, Georg; Heyse, Paul; Hofmannsthal, Hugo von; Holz, Arno; Janitschek, Maria; Jensen, Wilhelm; Kafka, Franz; Kaltneker, Hans; Keyserling, Eduard von; Klabund; Lachmann, Hedwig; Lautensack, Heinrich; Lichtenstein, Alfred; Liliencron, Detlev von; Löns, Hermann; May, Karl; Meisel-Hess, Grete; Meyrink, Gustav; Morgenstern, Christian; Mühsam, Erich; Müller, Robert; Müller-Jahnke, Clara; Panizza, Oskar; Reventlow, Franziska Gräfin zu; Rilke, Rainer Maria; Ringelnatz, Joachim; Rosenow, Emil; Rubiner, Ludwig; Saar, Ferdinand von; Sack, Gustav; Scheerbart, Paul; Schnitzler, Arthur; Sorge, Reinhard Johannes; Spiegel, Karl; Spitteler, Carl; Stadler, Ernst; Stavenhagen, Fritz; Stramm, August; Sudermann, Hermann; Suttner, Bertha von; Thoma, Ludwig; Trakl, Georg; Tucholsky, Kurt; Wassermann, Jakob; Wedekind, Frank; Weissmann, Maria Luise; Wilbrandt, Adolf von; Wildgans, Anton.

Объём выборок обусловлен относительной немногочисленностью произведений XX в. в данной антологии. От проверки произведений XVII в. мы отказались из-за неоднородности применявшихся тогда правил правописания. Написание с большой или маленькой буквы не учитывалось, поэтому формулы типа “Prädestin*” находили и существительное “Prädestination”, и глагол “prädestinieren”, и партицип “prädestiniert”.

Глава 7

ТЕОРИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ БЕЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ (на примере английского языка)

Поскольку обычно в культурологических работах о русских безличных конструкциях тема исчезновения их эквивалентов в английском не затрагивается (или объясняется чисто культурологическими факторами), имеет смысл сделать краткий обзор соответствующих работ по диахронной лингвистике. Н. МакКоли называет переход от безличных конструкций к личным в английском языке одним из наиболее хорошо задокументированных явлений в истории английского (McCawley, 1976, p. 192), поэтому вполне понятно, что соответствующие объяснения давно были предложены, активно обсуждались, перепроверялись и на сегодня сложились во вполне стройную теорию. Ниже мы рассмотрим её в изложении нескольких лингвистов. Поскольку исчезновение имперсонала в индоевропейских языках протекает примерно по одному и тому же сценарию, факторы, повлиявшие на английский, несомненно, играли значительную или решающую роль и в других языках, которые пошли по пути аналитизации и потеряли часть безличных конструкций.

Ещё в начале XX в. О. Есперсен объяснял исчезновение безличных конструкций в английском языке следующим образом: «Как подлежащее, так и дополнение являются первичными компонентами, и в какой-то степени мы можем принять положение Мадвига, что дополнение является как бы скрытым подлежащим, или положение Шухардта, что дополнение – это помещённое в тени подлежащее (“Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften”, 1920, p. 462). Таким образом, мы видим, что во многих отношениях между подлежащим и дополнением существует некоторое родство.

Если бы это было не так, нам трудно было бы понять частые случаи перехода одного в другое в ходе истории языка: ср. ср.-англ. *him* (Д = дополнение) *dreams a strange dream* (П = подлежащее) "Ему снится странный сон", которое с течением времени стало *He* (П) *dreams a strange dream* (Д). Такому превращению, без всякого сомнения, способствовало то обстоятельство, что в огромном большинстве предложений форма первого слова не показывала, что оно является дополнением: ср. *The king dreamed...* "Королю снилось..." Этот сдвиг вызвал семантическое изменение в глаголе "like", который первоначально имел значение "нравиться" (*Him like oysters* "Ему нравятся устрицы"), а впоследствии стал означать "любить" (*He likes oysters* "Он любит устрицы"). В результате такого изменения название лица, занимавшее ранее первое место ввиду его эмоциональной важности,

стало теперь занимать это место также и по грамматическим соображениям» (Есперсен, 1958; ср. Jespersen, 1894, p. 216–224, 275).

Таким образом, безличные конструкции стали личными, так как дополнение было переосмыслено в качестве подлежащего из-за стирания границ между падежами. Поначалу это касалось, очевидно, только существительных, у которых номинатив и аккузатив совпали окончательно, а затем распространилось по принципу аналогии и на местоимения. Уже в древнеанглийском, по подсчётам Ч. Фриза, в каждом десятом случае форма аккузатива совпадала в тексте с формой номинатива (подсчёт проведен на основе 2000 употреблений) (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 85). Сегодня они стали вовсе неразличимы, за исключением местоимений: *John likes Freddie; Freddie likes John*, но *I like him*.

В той же главе «Философии грамматики», где описываются причины исчезновения имперсонала в английском, Есперсен отмечает общую тенденцию языков рано или поздно переосмысливать дополнения, выражающие истинного исполнителя действия, в качестве подлежащего: «Однако в огромном большинстве случаев, там, где при глаголе есть только одно первичное слово [нем. *Mich friert* (Мне холодно); *Mich hungert* (Мне хочется есть) – Е.З.], оно будет восприниматься как подлежащее и соответственно оформляется или с течением времени будет оформляться именительным падежом, то есть подлинным падежом подлежащего» (Есперсен, 1958). Правомерность этого утверждения сомнительна, так как нет никаких доказательств превращения безличных конструкций в личные в тех языках, которые сохранили синтетический строй. Но для западных индоевропейских языков оно, безусловно, верно, поскольку все они подверглись аналитизации.

Ещё одна работа, в которой Есперсен затрагивает ту же тему, называется “A Modern English Grammar on Historical Principles” (O. Jespersen, London) – монументальное семитомное издание, на подготовку которого ушло 40 лет (1909–1949). Здесь он также настаивает на том, что превращение безличных конструкций в личные обусловлено идентичностью форм субъекта и объекта у существительных и некоторых местоимений. В качестве иллюстрации он приводит следующий случай:

- a. þam synge licoden peran (IOVS)
- b. the king liceden peares (OVS)
- c. the king liked pears (OVS или SVO)
- d. he liked pears (SVO)

Если в первом случае (*Королю нравятся груши*) форму датива можно определить по окончанию *-e* и артиклю, то в третьем это уже невозможно. Четвёртый случай возник по аналогии с третьим; одновременно произошло и переосмысление глагола “to like” (см. выше) (Krzyszpień, 1990, p. 16). “To like” является не единственным случаем, когда значение было переосмысле-

но из-за превращения дополнения в подлежащее: глаголы “to need”, “to lack”, “to want” («недоставать», «быть необходимым») приняли значение «нуждаться, иметь потребность, хотеть»; глагол “to remember” означал первоначально не «вспоминать», а «напоминать» (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 130).

Точка зрения, которую представляет в данном случае О. Есперсен, является не только доминирующей, но и практически безальтернативной в тех работах, где для объяснения причин исчезновения безличных конструкций в английском привлекаются только лингвистические факторы. В 1999 г. М. Паландер-Коллин уже называет её традиционной: “This process [превращение безличных конструкций в личные – Е.З.] is traditionally attributed to the loss of the inflectional system and the stabilization of the SVO word order. Consequently, the preverbal oblique experiencer was reinterpreted as a subject” (Palander-Collin, 1999, p. 110; ср. Pocheptsov, 1997, p. 480). Обзор таких работ можно найти, например, в книге “A Diachronic Analysis of English Impersonal Constructions with an Experiencer” (Krzyszpień, 1990). Рассмотрим вкратце некоторые из них.

Среди ранних книг по данной тематике можно назвать “The Transition from the Impersonal to the Personal Construction in Middle English” (W. van der Gaaf, Heidelberg, 1904). Ван дер Гааф также придерживается мнения, что в раннем среднеанглийском из-за постепенного отмирания окончаний (а именно из-за синкретизма форм номинатива, датива и аккузатива) стало невозможным различать субъект и объект по их форме, что привело к тому, что объекты, стоящие в начале высказывания, были реинтерпретированы в качестве субъектов. Способствовал этому и становившийся всё более жёстким порядок слов, требовавший начинать предложение не с дополнения, а с подлежащего (Krzyszpień, 1990, p. 14–15). Ту же точку зрения можно найти в работах Ch. Fries “On the development of the structural use of word-order in Modern English” (Language, 16 (1940), p. 199–208); F. Parker, N. Macari “On syntactic change” (Linguistics, 209 (1978), p. 5–41); J. Hawkins, “A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts” (London, 1986); L. Kellner “Historical Outlines of English Syntax” (London, 1892); P. Siemund “Analytische und synthetische Tendenzen in der Entwicklung des Englischen” (Siemund, 2004); H. Marchand “The syntactic change from inflectional to word order system and some effects of this change on the relation *verb to object* in English” (Anglia, 70 (1951), p. 70–89); O. Mutt “A Student’s Guide to Middle English” (Tartu, 1966); R. Stevick “English and its History: The Evolution of a Language” (Boston, 1968); J. Krzyszpień “On the impersonal-to-personal transition in English” (Studia Anglica Posnaniensia, 17 (1984), p. 63–69); M. Schlauch “The English Language in Modern Times (since 1400)” (Warszawa – London, 1964).

Ч. Фриз пишет: «Позиция перед глаголом [в среднеанглийском – Е.З.] становится территорией производителя действия (начальной точки высказывания, субъекта), а позиция после глагола становится территорией цели

(конечной точки высказывания, объекта); обе оказывают "давление позиций" на функции всех существительных в зависимости от их положения. Существительные, стоявшие перед так называемыми безличными глаголами и являвшиеся дативными дополнениями, стали интерпретироваться в качестве субъектов, когда позволяла глагольная форма, а существительные после безличных глаголов, имевшие поначалу явные флективные характеристики субъектов, стали восприниматься как объекты» (цит. по: McCawley, 1976, p. 203).

В 1981 г. В. Элмер пишет по поводу теории ван дер Гаафа, что она «явно была правильной, и даже последние исследования в рамках генеративной грамматики не ставят её под сомнение» (Elmer, 1981, p. 4).

В 1960 г. вышла книга "A Middle English Syntax" (Т.Ф. Mustanoja, Helsinki), где объяснение исчезновения безличных конструкций в английском ничем не отличается от объяснения ван дер Гаафа и Есперсена; один из приводимых автором примеров выглядел так: *My fader (DAT) nedeth > My fader (NOM) nedeth* (Моему отцу нужно): в первом случае использован датив, во втором – номинатив, ср. *Моему отцу нужно > Мой отец нуждается* (Krzyszpień, 1990, p. 18).

В четырёхтомном труде Ф.Т. Виссера «Исторический синтаксис английского языка» (F.Th. Visser. An Historical Syntax of the English Language. Leiden, 1963–1973) автор приводит 83 древне- и среднеанглийских глагола, использовавшихся в безличных конструкциях типа *Hine / him hungereth* (Ему голодно, буквально: *Ego / ему голодит*), то есть с дополнением перед глаголом и без подлежащего. Среди основных причин исчезновения этого типа конструкций он называет: а) отмирание некоторых глаголов; б) конкуренцию между двумя типами новых конструкций (с формальным местоимением *it* и с превращением объекта в субъект); в) отмирание флексий (Krzyszpień, 1990, p. 19).

В «Истории английского синтаксиса» (С.Е. Traugott. A History of English Syntax. New-York, 1972) автор объясняет переход к личным конструкциям растущей «субъективизацией», в том числе «псевдосубъективизацией», в среднеанглийском, то есть увеличением количества глаголов, требовавших перед собой не датив или аккузатив, а номинатив. Под псевдосубъективизацией он понимал использование формального подлежащего типа *it* (*It liketh the man that... – Человеку нравится, что...*). Причиной субъективизации является совпадение форм разных падежей, делающее невозможным различать объект и субъект. Кроме того, конструкции, где субъект стоит на первом месте, кажутся ему естественней, поэтому процесс субъективизации он рассматривает как упрощение английской грамматики (Krzyszpień, 1990, p. 20–21).

В статье «Бесподлежащие предложения в среднеанглийском» (J. Fisiak. Subjectless sentences in Middle English // *Kwartalnik Neofilologiczny*. – 1976. – № 23) Я. Физияк рассматривает в качестве причины исчезновения

безличных конструкций, начинающихся с объекта, элизию звука [ə] в форме единственного числа датива, повлекшую реинтерпретацию превербального элемента как подлежащего (Krzyszpień, 1990, p. 21).

В 18-томной энциклопедии “The Cambridge History of the English and American Literature” в разделе «Результат потери флексий» исчезновение безличных конструкций и развитие пассива описываются как следствие распада падежной системы: «Дальнейшие изменения, обусловленные преимущественно теми же причинами [распадом системы флексий – Е.З.], заключались в развитии форм пассива, характерных для современного английского, и личных конструкций вместо безличных. На более ранних стадиях развития английского пассив использовался редко, вместо него обычно употребляли формы актива с неопределённым местоимением *man* (ср.-англ. *me*). Но с потерей флексий косвенных падежей существительных объекты стали всё чаще путать с субъектами, и поскольку местоимение *man* исчезло, а современная форма *one* ещё не пришла ему на замену, глагол обычно ставился в форме страдательного залога. [...]

Аналогичным образом число безличных глаголов, употреблявшихся в более ранних конструкциях, в данный период значительно сократилось. Частично это объясняется совпадением форм различных падежей существительных, так как безличные конструкции с дативом стали восприниматься как личные с номинативом. Ещё одной несомненной причиной этого процесса было влияние аналогии многочисленных личных конструкций на малочисленные безличные» (“The Cambridge History of the English and American Literature: An Encyclopedia in Eighteen Volumes”, 1907–1921).

Следует обратить внимание на то, что в этой цитате автор упоминает среди прочих причин и принцип аналогии, ускоряющий переход от безличных конструкций к личным (ср. Eythórsson, 2000, p. 39). К этому можно добавить, что тем же принципом аналогии Ф.Н. Финк объясняет и вытеснение конструкций типа *Мне виден* конструкцией *Я вижу*, хотя, как он полагает, *Мне виден* более точно отображает ситуацию, так как речь идёт о восприятии человеком чего-то извне (Финк, 1950, с. 120). Подобные мысли о вытеснении личными конструкциями безличных можно найти у А. Тромбетти на примере грузинского языка (Тромбетти, 1950, с. 151–152).

В одном из наиболее авторитетных и актуальных изданий по истории английского, “The Cambridge History of the English Language”, можно найти следующее объяснение: “In Old English, cases could be syntactically determined, e.g. nominative and accusative case could be direct arguments of the verb, whose semantic roles were also assigned by the verb. As direct arguments, they represent direct participants in the process expressed by the verb. However, the cases, especially genitive and dative, could also still be semantically autonomous, we could call these “concrete cases”. These are independent of the verb and provide their own semantic role. They do not directly participate in the process expressed by the verb. Normally in Old English all verbs would require

at least one direct argument (nominative), but the impersonal verbs are semantically anomalous in that they do not require a direct argument...

Syntactically, this situation changed drastically in Late Middle English because the concrete cases disappeared due to the collapse of the inflectional case system, with the result that bare NPs could only represent direct arguments or direct participants. At the same time the presence of a subject became more and more obligatory, due among other things to the loss of distinct verbal endings. As a consequence of this the impersonal proper, which showed no direct arguments, had to disappear. In principle the concrete cases could have been replaced by prepositional phrases, but the position of the experiencer before the verb (the normal subject position in Middle English) and the growing need for a syntactic subject (due to, among other things, the loss of inflections on the verb) decided the direction of the development. The semantic notion formerly expressed by the impersonal proper now found its expression in different surface forms. In some cases this was done by adopting new lexical items such as *please* and *seem* to stand beside *like* and *think*, and by using passive or adjectival constructions such as *I am ashamed*, *he was sorry* for the older constructions *me sceamaþ* and *me hreoweþ*” (“The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 2, p. 238).

Эта цитата особенно показательна, так как в ней отмечается роль и пассива, и заимствований, и распада системы флексий, и становления более жёсткого порядка слов с обязательным подлежащим на первом месте (где теоретически могла бы появиться предложная замена датива). Кроме того, автор подчёркивает, что семантическое наполнение от смены грамматических форм не изменилось (“The semantic notion formerly expressed by the impersonal proper now found its expression in different surface forms”), что в корне противоречит утверждениям А. Вежбицкой и её последователей.

Н. МакКоли (N. McCawley. From OE/ME “impersonal” to “personal” constructions: What is a “subject-less” S? // S. Stever et al. Papers from the Parasession on Diachronic Syntax. Chicago, 1976) выдвигает предположение, что формально превратившиеся в подлежащее прямые и косвенные дополнения не растворились в нём, а скорее слились с ним, сохранив все свои макророль и функции: действие может являться для референтов нежелательным, не соответствовать их воле и намерениям, может быть следствием необходимости, нужды, приказа, стечения обстоятельств и т.д., то есть выражать всё то, что могли выражать безличные конструкции древнеанглийского, ср. *I (NOM) happened to be there* (Мне (DAT) случилось там быть) – говорящий здесь является объектом судьбы, хотя подлежащее стоит в номинативе. Из-за этого подлежащее стало менее прозрачным в своих функциях и семантически более расплывчатым. Если бы подлежащее не вобрало в себя макророль дополнения (особенно макророль экспериенцера), в английском появилось бы значительно больше глаголов, требующих формального подлежащего *it* (*It seems to me*). МакКоли не отрица-

ет, что слияние этих членов предложения произошло вследствие распада системы падежей и невозможности различать формы номинатива, датива и генитива (Krzyszpień, 1990, p. 22–23). В частности, она пишет, что «переход от так называемых безличных конструкций к личным является вполне естественным следствием смены грамматического строя» (цит. по: Trapp, 1978, p. 178). МакКоли делает также некоторые замечания об универсальных тенденциях употребления имперсонала, требующие более подробного рассмотрения. Так, она пишет, что во многих языках субъекты маркируются нестандартным падежом (то есть не номинативом в номинативных языках, не эргативом в эргативных языках, не активом в активных языках), если субъект не контролирует действие, описываемое глаголом, если несёт в себе низкую волитивность (McCawley, 1976, p. 194). Древнеанглийский не являлся в этом отношении исключением, его безличные глаголы можно распределить по тем же семантическим группам, что и в прочих языках мира, где вообще есть имперсонал (ср. Bauer, 2000, p. 132):

- сенсорное восприятие, неконтролируемая ментальная активность: *þrupsan* (казаться), *semen* (казаться), *mætan* (мечтать);
- аффекты, эмоции: *langian* (возбуждать желание, желаться), *hreo-wan* (возбуждать печаль), *eglian* (беспокоить);
- физические ощущения: *hungrian* (причинять голод, дословно: голодить), *smerten* (болеть), *þyrstan* (причинять жажду);
- надобность, необходимость, обязанность: *myster / neden / behofian* (быть необходимым);
- неотчуждаемая принадлежность, существование: *lakken* (недоста-вать), *wanten* (недоставать);
- случай, случайность: *hap(ren)* (случиться).

В древнеанглийском нет только одной группы безличных глаголов, обычно встречающейся в других языках, а именно – «умение и возможность делать что-то» (в оригинале: “competence / potential”), то есть типа *Мне можется*. Ниже МакКоли сравнивает русские безличные конструкции с древнеанглийскими и приходит к выводу о том, что они имеют одинаковую семантику, то есть делятся на те же группы (McCawley, 1976, p. 195). Аналогия с русским простирается ещё дальше: как в русском можно разграничивать волитивное и неволитивное действия в конструкциях *Я думаю* – *Мне думается*, так и в древнеанглийском многие глаголы, причисляемые к безличным, могли употребляться и в личных конструкциях: *tweogan* (сомневаться, колебаться, казаться сомнительным), *wonder* (удивляться), *terveillen* (удивляться, поражаться), *ofhreowan* (сожалеть), *тунпен* (вспоминать, помнить) (McCawley, 1976, p. 196). Обращая внимание на эту двойственность форм, Дж. Почепцов высказал мысль, что в случае таких глаголов никакого переосмысления субъектов вообще не было – безличные варианты вымерли, так как они не соответствовали SVO, а личные остались (Pochepstov, 1997, p. 481; ср. Jespersen, 1894, p. 217).

Именно маркировка неволитивности субъекта является наиболее частой причиной возникновения безличных конструкций в языках мира, пишет МакКоли. Она обращает также внимание на тот факт, что под давлением семантики некоторые заимствованные из французского глаголы – *deynen*, *repenten* и *remembren* – стали употребляться безлично уже в период активной анализации (McCawley, 1976, p. 195). Ещё несколько подобных примеров, включая и заимствования из скандинавского, приводятся у Б. Бауэр: *gebyrian* > *happen* (случаться), *maeten* > *dremen* (сниться), *hreo-wan* > *greven* (печалить), *lician* > *plesen* (доставлять удовольствие) (Baueг, 2000, p. 132, 134). Это свидетельствует о том, что англичане, как и носители прочих языков, имеют потребность выражать субъекты неволитивных конструкций альтернативными способами, причём потребность настолько сильную, что даже в переходный период от синтеза к анализу некоторые глаголы пытались употреблять безлично уже вопреки новой системе. МакКоли ставит под сомнение предположение ван дер Гаафа, согласно которому склоняемые местоимения использовались в безличных конструкциях реже, чем несклоняемые местоимения и существительные, что привело к унификации форм под давлением аналогии (McCawley, 1976, p. 198). По её мнению, формы 1 л. (склоняемые формы местоимений) употребляются значительно чаще несклоняемых форм. Традиционная теория синкретизма форм субъекта и объекта кажется ей неудовлетворительной, если не учитывается расширение семантических ролей субъекта за счёт объекта при анализации (McCawley, 1976, p. 199, 202). Если первоначально субъект в дативе употреблялся в древнеанглийском для обозначения неволитивности, то после его исчезновения оставшийся номинативный субъект не может больше маркировать волитивность, а просто выполняет синтаксическую функцию, противостоящую функции объекта (McCawley, 1976, p. 201). При этом он может быть и агенсом, и экспериенцером, и пациенсом в зависимости от контекста.

Если Н. МакКоли права относительно слияния различных семантических ролей в номинативе, то сравнения «агентивности» русского и английского языков вообще теряют смысл, так как исчезновение безличных конструкций не привело к исчезновению «пациентивности» восприятия мира в определённых ситуациях, а только сменило её грамматическое оформление. Высказанная МакКоли мысль встречается и в работах других авторов.

«Как представляется, внутренняя логика номинативности состоит в том, что выделение подлежащего-субъекта (агенса, пациенса, бенефицианта и т.п.) через его формальное единообразие ведёт в конечном счёте к распаду морфологического падежа. Так, уже соединяя в форме именительного падежа почти все амплуа, тенденция к номинативности вызывает высокую степень его полисемии, минимальную семантическую маркированность и превращает его, по существу, в падеж, называющий исходный момент высказывания (тему). Это снижение маркированности именительного падежа (её своеобразное "снятие") естественно приводит к ликвидации морфологического падежа вообще. Иными

словами, доведённый до предельной ступени своего развития (гипертрофированный) номинатив отрицает падеж» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 118).

«В номинативном строе предложения одною грамматическою формою передаётся подлежащее. Им выделяется член предложения, но не уточняется его отношение к совершаемому действию, которое может исходить от субъекта, но может также и направляться на него. Его активное и пассивное значение устанавливается содержанием высказывания и грамматическим построением сказуемого. Логическая категория субъекта выражается в подлежащем той же грамматической формой именительного (основного) падежа. [...] Действие, передаваемое в эргативной конструкции, различается по направляемым им отношениям к субъекту и объекту. Их различное содержание, включаемое в структуру предложения, образует в нём непереходные и переходные построения. Их различное содержание отражается на субъекте высказывания, который, выступая подлежащим, получает в нём разные падежи» (Мещанинов, 1967, с. 200–201).

Поскольку английский отличается большей степенью номинативности, а русский сохранил больше черт дономинативного строя, к английскому в большей степени относится первая половина второй цитаты (согласно которой подлежащее всегда стоит в одном падеже вне зависимости от активности или пассивности субъекта), а к русскому – вторая (согласно которой подлежащее может стоять в разных падежах в зависимости от значения). В другой работе («К вопросу о стадильности в строе глагольного предложения») И.И. Мещанинов ещё раз затрагивает эту тему, подчёркивая, что носители языков, отражающих и не отражающих в оформлении подлежащего различные его семантические роли (аффект, агенс и т.д.), воспринимают реальность одинаково, то есть вполне осознают разницу между этими семантическими ролями (Мещанинов, 1947, с. 182–183).

Р. Диксон пишет, что в языках номинативного строя, в противовес эргативным, подлежащее обычно обозначает деятеля, который потенциально мог бы выполнить действие, описываемое глаголом, но не обязательно выполнит и не обязательно по своей воле (Dixon, 1994, p. 124; Dixon, 1979, p. 101).

А. Дуранти в сравнительном анализе языков разных типов указывает, что в номинативных языках субъект реже выполняет роль агенса, чем в эргативных (в английском – в менее 50 % случаев), в том числе из-за склонности к грамматической персонификации (Duranti, 2004, p. 460–464).

У. Чейф писал в «Значении и структуре языка», что именительный падеж совмещает в себе роли бенефицианта, агенса, пациенса и экспериментера (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 103).

Один из самых известных типологов мира Б. Комри при сравнении русского и английского отмечает, что в английском подлежащее несёт какие-то семантические роли, кроме агенса, чаще, чем в русском, из-за необходимости придерживаться жёсткого порядка слов. Например, русский может благодаря своей падежной системе выделить роль инструмента орудийным падежом (*Джона ударил камнем*), в то время как в английском то же значение приходится передавать псевдоагентивно, хотя семантическая роль здесь та же – инструмент (*The stone hit John*). То же относится и к ро-

ли экспериенцера: в русском есть для него специальный падеж (*Тане холодно*), в английском то же значение передаётся псевдоагентивно (*Tanya feels cold*); впрочем, как он верно отмечает, и в русском можно встретить подобные примеры: *Таня видела Колю* (Comrie, 1983, p. 68, 72, 77).

В энциклопедии “Language Typology and Language Universals” сообщается, что в английском субъекте совмещаются роли агенса (*Mother washed the linen* (*Мать стирала бельё*)), пациенса (*The linen was washed by mother* (дословно: *Бельё стиралось / было стирано матерью*)) и экспериенцера (*Who do you see?* (*Кого ты видишь?*)) (“Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 1414).

А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов обращают внимание на тот факт, что русская конструкция *Мне (DAT) нравится*, немецкая *Mir (DAT) gefällt* (*Мне нравится*) и английская *I (NOM) like* (*Мне нравится*) подразумевают под субъектами в дативе и номинативе одно и то же – семантическую роль экспериенцера, и что в случае английского оформление номинативом объясняется большей степенью номинативности языка (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 107).

Тему номинативных экспериенцеров затрагивает при описании номинативизации индоевропейских языков Б. Бауэр: «Последовательный переход от безличных конструкций к личным у глаголов, описывающих эмоции и ощущения, коррелирует с тенденцией индоевропейских языков выражать роль экспериенцера так же, как стали выражаться роли агенса и обладателя в глагольных конструкциях типа *mihi est* [лат. “У меня есть” – Е.З.], – подлежащим в номинативе. [...] Потому безличные конструкции структурно соответствуют правилам активных языков, а то структурное развитие, которое совершили некоторые из них, обусловлено распространением черт номинативности в индоевропейских языках» (Bauer, 2000, p. 150).

По данным А.Е. Кибрика, субъектно ориентированные языки (номинативные в противовес активным) характеризуются относительно жёстким порядком слов, частично флективной морфологией и незакреплённостью за подлежащим определённой семантической роли (агенса, пациенса и т.д.). Активные языки характеризуются большей склонностью к агглютинации, более свободным порядком слов и закреплённостью за «подлежащим» (Actor) роли агенса (Montaut, 2004).

Рассмотрим ещё одну цитату, уже конкретно относящуюся к английскому: «Ещё одна интересная характеристика чешского... становится очевидной, если сравнить чешские безличные конструкции, описывающие приятные и неприятные ментальные и физические состояния, с соответствующими личными конструкциями в английском. К таким конструкциям относятся, например, *Těší mě; Je mi líto; Mrzí mě; Bylo mi zima* в противовес англ. *I am pleased; I am sorry; I regret; I felt cold* в том же значении соответственно. Во всех этих примерах, как и прочих конструкциях такого рода, говорящий находится под влиянием описываемой ситуации, то есть

он (или она) – не агенс, а пациенс. В чешском это обстоятельство маркируется тем, что используется не подлежащее, а местоименное дополнение в безличной конструкции.

В английском дело обстоит совсем иным образом: подлежащее в нём больше не обозначает активного деятеля, его главная функция – это выражение темы высказывания. Другими словами, подлежащее обозначает лицо или предмет, к которым относится предикат; глагольное подлежащее не выражает здесь некоего действия, совершённого субъектом, а просто каким-то образом связано с ним.

Как видно по примерам, в английском не прямое воздействие на субъект было на формальном уровне переосмыслено как его (или её) активное поведение. Но эта предполагаемая активность чисто формальна, и глаголы типа “find” (и в ещё большей мере глаголы типа “feel”) семантически находятся на границе между активностью и воздействием внешнего мира» (Vachek, 1994, p. 8–9).

В данном случае автор отмечает, что в английском подлежащее относительно редко несёт семантическую роль агенса (по сравнению с чешским); его функция – заполнить первое место в предложении темой, имеющей какое-то отношение к предикату. При этом субъект может испытывать какое-то воздействие извне. Особенно хорошо это видно на примере глагола “to chance”, который неизменно употребляется с подлежащим в «именительном» (общем) падеже, но при этом никак не может сочетаться с ролью агенса, поскольку денотат подлежащего всегда является объектом воздействия внешних сил.

*But while she was more regarding him than the Steps she took, she **chanced to** fall, and so near him, as that leaping with extreme Force from the Carpet, he caught her in his Arms as she fell; and 'twas visible to the whole Presence, the Joy wherewith he received her [A. Behn. Oroonoko, or The Royal Slave. English and American Literature, S. 2783].*

*Had its theme been yet more incredible, the circumstantiality of this narrative, as well as the impressive manner and personality of the narrator, might have staggered a listener, and I had begun to feel very strangely, when, as he closed, I **chanced to** catch a glimpse of my reflection in a mirror hanging on the wall of the room [E. Bellamy. Looking Backward: 2000–1887. English and American Literature, S. 3125].*

*Speaking of a dull tiresome fellow, whom he **chanced to** meet, he said, “That fellow seems to me to possess but one idea, and that is a wrong one” [J. Boswell. Life of Johnson. English and American Literature, S. 6708].*

*It was one afternoon, when he **chanced to** meet me and Adèle in the grounds; and while she played with Pilot and her shuttlecock, he asked me to walk up and down a long beech avenue within sight of her [Ch. Brontë. Jane Eyre. English and American Literature, S. 8719].*

*And this Little-Faith going on Pilgrimage, as we do now, **chanced to** sit down there and slept [J. Bunyan. The Pilgrim’s Progress. English and American Literature, S. 11884].*

*Studying faces, she thought many of the women and girls she **chanced to** meet, smiled with serenity as though forever cherished and watched over by those they loved [S. Crane. Maggie, a Girl of the Streets. English and American Literature, S. 32514].*

*As fate would have it, Mrs. Bedwin **chanced to** bring in, at this moment, a small parcel of books, which Mr. Brownlow had that morning purchased of the identical bookstall-keeper, who has already figured in this history; having laid them on the table, she prepared to leave the room [Ch. Dickens. Oliver Twist, or The Parish Boy's Progress. English and American Literature, S. 37277].*

*It was not long before his body was recognised by a stranger, who **chanced to** visit that hospital in Paris where the drowned are laid out to be owned; despite the bruises and disfigurements which were said to have been occasioned by some previous scuffle [Ch. Dickens. The Old Curiosity Shop. English and American Literature, S. 40300].*

*I **chanced to** see you pass the gate, and followed [Ch. Dickens. Barnaby Rudge. A Tale of the Riots of Eighty. English and American Literature, S. 40507].*

*He **chanced to** turn his head when at some considerable distance, and seeing that his late companion had by that time risen and was looking after him, stood still as though he half expected him to follow and waited for his coming up [Ch. Dickens. Barnaby Rudge. A Tale of the Riots of Eighty. English and American Literature, S. 40715].*

*It was considered very pleasant reading, but I never read more of it myself than the sentence on which I **chanced to** light on opening the book [Ch. Dickens. Bleak House. English and American Literature, S. 47557].*

*The square finger, moving here and there, lighted suddenly on Bitzer, perhaps because he **chanced to** sit in the same ray of sunlight which, darting in at one of the bare windows of the intensely whitewashed room, irradiated Sissy [Ch. Dickens. Hard Times. For These Times. English and American Literature, S. 47650].*

То же касается глагола “to happen”.

*She **happened to** be quite alone [J. Austen. Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 207].*

*Somewhat or other I never **happened to** be staying at Barton while he was at Allenham [J. Austen. Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 220].*

*I do not know whether you ever **happened to** see any of her performances before, but she is in general reckoned to draw extremely well [J. Austen. Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 393].*

*That is strange! – I never **happened to** see them together, or I am sure I should have found it out directly [J. Austen. Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 424].*

*Yes; once, while she was staying in this house, I **happened to** drop in for ten minutes; and I saw quite enough of her [J. Austen. Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 484].*

*I **happened to** overhear the gentleman himself mentioning to the young lady who does the honours of this house the names of his cousin Miss de Bourgh, and of her mother Lady Catherine [J. Austen. Pride and Prejudice. English and American Literature, S. 745].*

No sooner were they finished than Gulchenrouz demanded of Sutlememe, and the rest, “how they **happened to** die so opportunely for his cousin and himself?” [W. Beckford. *Vathek. An Arabian Tale. English and American Literature, S. 2692*].

Dorrimore explained at some length how he **happened to** be there, and where he had been during the years that had elapsed since I had seen him [A. Bierce. *Can such Things be? English and American Literature, S. 4027*].

As we were about to cross I **happened to** cast my eyes to the other shore, where I saw a sight that made my blood turn cold with terror [A. Bierce. *The Monk and the Hangman's Daughter. English and American Literature, S. 4100*].

Next morning Mr. Dempster **happened to** call on me, and was so much struck even with the imperfect account which I gave him of Dr. Johnson's conversation, that to his honour be it recorded, when I complained that drinking port and sitting up late with him affected my nerves for some time after, he said, “One had better be palsied at eighteen, than not keep company with such a man” [J. Boswell. *Life of Johnson. English and American Literature, S. 6498*].

I listened too; and as I **happened to** be seated quite at the top of the room, I caught most of what he said: its import relieved me from immediate apprehension [Ch. Brontë. *Jane Eyre. English and American Literature, S. 8574*].

I **happened to** remark to Mr. Rochester how much Adèle wished to be introduced to the ladies, and he said: “Oh! let her come into the drawing-room after dinner; and request Miss Eyre to accompany her” [Ch. Brontë. *Jane Eyre. English and American Literature, S. 8770*].

То же касается и многих других конструкций, в которых субъект в общем падеже не несёт макророли агенса (человек выступает в качестве объекта / жертвы внешних обстоятельств, невольно испытывает какое-то воздействие извне, не может выполнить какое-то действие по внешним причинам).

I. Сенсорное восприятие.

1. “What! you will go?”

“**I am cold, sir**”.

“Cold? Yes, – and standing in a pool! Go, then, Jane; go!” [Ch. Brontë. *Jane Eyre. English and American Literature, S. 8739*] – Мне холодно.

2. More than once, while on my journeys, I found that there was no provision made in the house used for school purposes for heating the building during the winter, and consequently a fire had to be built in the yard, and teacher and pupils passed in and out of the house **as they got cold or warm** [B. Taliaferro Washington. *Up from Slavery. English and American Literature, S. 164672*] – ...когда им становилось холодно или жарко.

3. “Yes; **I feel cold**. I was hot just now” [G.R. Gissing. *The Nether World. English and American Literature, S. 70293*] – Мне холодно.

4. I **was itching** in eleven different places now [M. Twain. *Adventures of Huckleberry Finn. English and American Literature, S. 158328*] – У меня чесалось...

II. Болезни, болезненные состояния.

1. Rags, with cheeks as white as paper, ran up to the little head, put out a finger as if he wanted to touch it, shrank back again and then again put out a finger. He **was shivering** all over [K. Mansfield. Bliss. English and American Literature, S. 102741] – Его всего трясло.

2. He observed great ceremony in approaching Edward; and though our hero **was writhing with pain**, would not proceed to any operation which might assuage it until he had perambulated his couch three times, moving from east to west, according to the course of the sun (W. Scott. Waverley, or Tis Sixty Years Since. English and American Literature, S. 120776) – ...хотя нашего героя корчило от боли.

3. At length, however, he **got better**, though he still panted hard, and was so exhausted that he was obliged to sit on the stool of the shop-desk [Ch. Dickens. The Personal History of David Copperfield. English and American Literature, S. 45066] – ...ему стало лучше.

4. The girl, unconscious, sewed on. Mrs. Hermann was absent in one of the staterooms, sitting up with Lena, who **was feverish**; but Hermann suddenly put both his hands up with a jerk [J. Conrad. Falk. A Reminiscence. English and American Literature, S. 27326] – ...Лена, которую лихорадило.

5. It proved the commencement of delirium; Mr. Kenneth, as soon as he saw her, pronounced her dangerously ill; she **had a fever** [E. Brontë. Wuthering Heights. English and American Literature, S. 11301] – ...её лихорадило.

6. Soon after this event, the lady having over-exerted herself at a ball, caught cold, **took a fever**, and died after a very brief illness [E. Brontë. Villette. English and American Literature, S. 10283] – ...её залихорадило.

III. Физические и психические состояния / действия с низкой или нулевой степенью волиитивности.

1. But now I **seem to feel** that I may deserve him; and that if he does choose me, it will not be any thing so very wonderful [J. Austen. Emma. English and American Literature, S. 2465] – Но теперь мне кажется, что я чувствую...

2. I **dreamt** that they were fill'd with dew
And when I awoke it rain'd [S.T. Coleridge. The Rime of the Ancyent Marinere [First Version]. English and American Literature, S. 21898] – Мне снилось / грезилось, что...

3. All this time he **was shivering with cold**; and every time he raised his hand to the knocker, the wind took the dressing gown in a most unpleasant manner [Ch. Dickens. The Posthumous Papers of the Pickwick Club. English and American Literature, S. 36579] – ...его трясло от холода.

4. They **shuddered with cold**; then he raced her down the road to the green turf bridge [D.H. Lawrence. Sons and Lovers. English and American Literature, S. 91481] – Их трясло от холода...

5. In the morning the bo'sun came along dragging after him a hose to wash the foc'sle head, and, beholding the shiny cabin lamps, resplendent in the morning light, one on each side of the bowsprit, he **was paralysed with awe** [J. Conrad. Notes on Life and Letters. English and American Literature, S. 27952] – ...его парализовало страхом.

IV. (Не)везение, случай.

1. *We cannot, indeed, too much or too often admire his wonderful powers of mind, when we consider that the principal store of wit and wisdom which this Work contains, was not a particular selection from his general conversation, but was merely his occasional talk at such times as **I had the good fortune to be in his company**... [J. Boswell. *Life of Johnson. English and American Literature*, S. 6041] – ...мне посчастливилось.*

2. *I do not mean to reflect upon the good intentions of either Mr. Dixon or Miss Fairfax, but I cannot help suspecting either that, after making his proposals to her friend, he **had the misfortune to fall in love with her**, or that he became conscious of a little attachment on her side [J. Austen. *Emma. English and American Literature*, S. 2179] – ...ему не посчастливилось...*

3. *At Ashbourne, where I had very little company, **I had the luck to borrow Mr. Bowyer's Life**; a book so full of contemporary history, that a literary man must find some of his old friends [J. Boswell. *Life of Johnson. English and American Literature*, S. 8088] – ...мне посчастливилось.*

4. *At church only Caroline **had the chance of seeing him**, and there she rarely looked at him: it was both too much pain and too much pleasure to look: it excited too much emotion; and that it was all wasted emotion, she had learned well to comprehend [Ch. Brontë. *Shirley. English and American Literature*, S. 9555] – Видеть его Каролине доводилось только в церкви, но и там она редко взглядывала на него...*

5. *I **was in luck** when I tumbled amongst them at my last gasp [J. Conrad. *Lord Jim. A Tale. English and American Literature*, S. 24877] – Мне повезло...*

V. Судьба, предопределение.

1. *Now this criminal of ours **is predestinate to crime** also; he too have child-brain, and it is of the child to do what he have done [B. Stoker. *Dracula. English and American Literature*, S. 145856] – И вот этому нашему преступнику судьбой предписано совершать преступления...*

2. *But he **was foredoomed**, and he went down with the she-wolf tearing savagely at his throat, and with other teeth fixed everywhere upon him, devouring him alive, before ever his last struggles ceased or his last damage had been wrought [J. London. *White Fang. English and American Literature*, S. 95801] – Но участь его была предрешена...*

3. LUCIO. *Sir, my name is Lucio, well known to the Duke.*

DUKE. *He shall know you better, sir, if I **may live** to report you [W. Shakespeare. *Measure for Measure. English and American Literature*, S. 129421].*

Е. Эббот парафразирует вторую часть фразы следующим образом: *...if I am permitted by heaven to live long enough (если небеса позволят мне жить достаточно долго) (Abbott, 1870, p. 219).*

4. *Indeed, sir, he that sleeps feels not the toothache; but a man that **were to sleep** your sleep, and a hangman to help him to bed, I think he would change places with his officer; for, look you, sir, you know not which way you shall go [W. Shakespeare. *Cymbeline. English and American Literature*, S. 133246].*

Е. Эббот парафразирует слова *a man that were to sleep your sleep* как *If there were a man who was destined to sleep your sleep* (если бы кому-то было суждено спать, как тебе) (Abbott, 1870, p. 267).

5. *No! she is **destined** to live out her life within my embraces: such is my will: retire; and disturb not the night I devote to the worship of her charms* [W. Beckford. *Vathek. An Arabian Tale. English and American Literature, S. 2683*] – ...ей предписано судьбой.

6. *The life that was within him knew that it was the one way out, the way he **was predestined** to tread* [J. London. *White Fang. English and American Literature, S. 95829*] – ...нумь, на который ему судьбой предписано вступить.

7. *If poor Sir Thomas **were fated never to return**, it would be peculiarly consoling to see their dear Maria well married...* [J. Austen. *Mansfield Park. English and American Literature, S. 1223*] – Если бы Сэру Томасу было судьбой предписано более никогда не вернуться...

8. *It is not so written, he said; that which **is not foreordained** will not happen* [M. Twain. *The Mysterious Stranger. English and American Literature, S. 159722*] – ...что не предписано судьбой.

9. *No need to say ›this one **was doomed to die**; for there were the words broadly stamped and branded on his face* [Ch. Dickens. *Barnaby Rudge. A Tale of the Riots of Eighty. English and American Literature, S. 41209*] – ...ему судьбой предписано умереть.

10. *Exercise cannot secure us from that dissolution to which we **are decreed**; but while the soul and body continue united, it can make the association pleasing, and give probable hopes that they shall be disjoined by an easy separation* [J. Boswell. *Life of Johnson. English and American Literature, S. 8378*] – ...которая нам предписана судьбой.

11. *Upon my word and honour **I seem to be fated, and destined, and ordained, to live in the midst of things that I am never to hear the last of*** [Ch. Dickens. *Hard Times. For These Times. English and American Literature, S. 47744*] – ...мне, казалось, было предписано, предначертано, предопределено судьбой.

VI. Невозможность совершить что-то из-за внешних обстоятельств.

1. *I knew I **could not sleep** that night, and as for lying awake and thinking, it argues no cowardice, I am sure, to confess that I was afraid of it* [E. Bellamy. *Looking Backward: 2000–1887. English and American Literature, S. 3137*] – ...мне было не уснуть.

2. *I am so hungry that I **may not slepe*** [G. Chaucer. *Monke's tale: цит. по: Abbott, 1870, S. 218*] – Я так голоден, что мне не уснуть.

VII. Неизбежность выбора или какого-то действия.

1. *Q. ELIZ. Nay then indeed she **cannot choose but hate thee**, Having bought love with such a bloody spoil* [W. Shakespeare. *The Tragedy of Richard the Third. English and American Literature, S. 130161*] – ...ей только и остаётся, что ненавидеть тебя.

2. *She **could not stand thinking** of it* [J. Conrad. *The Secret Agent. A Simple Tale. English and American Literature, S. 26190*] – Она не могла не думать об этом.

3. *Elinor could not help laughing* [J. Austen. *Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 86*] – Элино́р не могла не засмеяться.

4. *Elizabeth could not but smile at such a conclusion...* [J. Austen. *Pride and Prejudice. English and American Literature, S. 769*] – Элизабет не могла не улыбнуться...

VIII. Надобность, необходимость, долженствование (из-за внешних обстоятельств).

1. *He had to leave early by special express for London to catch the last train to Romfrey* [G. Meredith. *Beauchamp's Career. English and American Literature, S. 108802*] – Ему пришлось уехать...

2. *After a pause of several minutes, their silence was broken, by his asking her in a voice of some agitation, when he was to congratulate her on the acquisition of a brother?* [J. Austen. *Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 300*] – ...когда ему следует поздравить её с появлением брата.

3. *On this point Sir John could give more certain intelligence; and he told them that Mr. Willoughby had no property of his own in the country; that he resided there only while he was visiting the old lady at Allenham Court, to whom he was related, and whose possessions he was to inherit...* [J. Austen. *Sense and Sensibility. English and American Literature, S. 121*] – ...с которой он был родственно связан и чьё состояние ему предстояло унаследовать.

Иногда с теми же глаголами, которые сочетаются с номинативными субъектами для передачи влияния на их денотаты (референты) высших сил, употребляются существительные, обозначающие эти высшие силы.

There was also a large rock on the beach, about ten feet high, which was in the form of a punch-bowl at the top; this we could not help thinking Providence had ordained to supply us with rainwater; and it was something singular that, if we did not take the water when it rained, in some little time after it would turn as salt as sea-water [O. Equiano. *The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano. English and American Literature, S. 62893*] – ...провидение предписало...

But it was decreed by Fortune, my perpetual Enemy, that so great a Felicity should not fall to my Share [J. Swift. *Travels into several remote Nations of the World. By Lemuel Gulliver. English and American Literature, S. 147160*] – Но судьбой, моим извечным врагом, было предопределено...

He will go out and stand at the front door, and when these two come out he will arrest Ambulinia from the hands of the insolent Elfonzo, and thus make for himself a more prosperous field of immortality than ever was decreed by Omnipotence, or ever pencil drew or artist imagined [M. Twain. *The \$ 30,000 Bequest and Other Stories. English and American Literature, S. 160913*] – ...чем когда-либо было предопределено Всесильным.

*Until he was retriev'd by Sterry:
Who in a false Erroneous Dream,
Mistook the New Jerusalem:
Prophanely, for th'Apochryphal,
False Heaven, at the End o'th' Hall:
Whither, it was decreed by Fate,*

His Pretious Relicks to Translate... [S. Butler (I). Hudibras. English and American Literature, S. 14033] – ...судьбой было предписано.

Таким образом, нам представляется допустимым согласиться с Н. МакКоли в том, что в современном английском семантические роли, которые раньше брали на себя субъекты в дативе и других падежах, кроме номинативного, сейчас стали передаваться субъектом в общем падеже.

Д.В. Лайтфут (D.W. Lightfoot. *Principles of Diachronic Syntax*. Cambridge, 1979) согласен с тем, что исчезновение безличных конструкций обусловлено синкретизмом форм номинатива, датива и аккузатива, но делает ряд замечаний. Порядок слов SVO он считает более естественным, чем OVS, чем объясняет отмирание структур с дополнением в начале. Не помешали этому даже сохранившиеся формы местоимений, которые могли различаться по падежу значительно дольше, чем существительные; ср. *Him liked pears* (*Ему нравились груши*) vs. *The king liked the pears* (*Королю нравились груши*). На различных примерах автор демонстрирует, что в таких случаях местоимения в процессе аналитизации иногда рассматривались как подлежащее даже в тех случаях, когда их форма ещё стояла в дативе или аккузативе, что в конечном счёте привело к смешению форм местоимений (*Me think we shal be strong enough* вместо *I think...*; *For certes, lord, so wel us liketh yow* – автор считает, что “us” здесь является подлежащим) (Krzyszpień, 1990, p. 24–25).

За два года до Лайтфута то же о переосмыслении дативных и аккузативных субъектов писал М. Батлер. В его статье “Reanalysis of object as subject in Middle English impersonal constructions” речь идёт только о конструкциях «неволитивного» типа с субъектами в роли экспериенцера, то есть с глаголами типа *semen* (*казаться*), *hungrian* (*быть голодным*), *gescamian* (*стыдиться*), *listen* (*желать*), *lakken* (*недоставать*) и т.д. Батлер отмечает, что по традиционной версии, которую он называет «гипотезой конкурирующих конструкций», исчезновение имперсонала обусловлено становлением жёсткого порядка слов SVO (Butler, 1977, p. 157). Так, по данным Ч. Фриза, за период с 1200 по 1500 г. количество доглагольных аккузативных дополнений упало с 50 до 2 %, а для безличных конструкций обычно требуется именно доглагольное дополнение (в аккузативе или дативе). Жёсткий порядок слов есть следствие распада флексий, а распад флексий – следствие сокращения безударных слогов в конце слова. Батлер, однако, считает «гипотезу конкурирующих конструкций» недостаточной и дополняет её в том смысле, что дативные и аккузативные субъекты перед тем, как превратиться в номинативные, стали функционировать в речи подобно обычным подлежащим, ср. *Me-seem my head doth swim*; *Me think it nott necessary so to do*; *Sum men þat han suche likynge wondren what hem ailen* – во всех трёх случаях глаголы согласуются с дополнениями (“me”, “me”, “hem”), хотя в обычных безличных конструкциях глаголы должны стоять в нейтральной форме 3 л. ед. ч. (Butler, 1977, p. 158–159). Соответственно, делает вывод Батлер,

эти «дополнения» уже воспринимались как подлежащие, хотя формально отличались от них (не стояли в номинативе). Автор обсуждает и другие доказательства, которые мы здесь воспроизводим лишь частично. Так, он указывает на то, что в сложных предложениях субъект мог не упоминаться во второй раз, даже если в первый раз он был упомянут в безличной конструкции: в предложении *Us sholde neither lakken gold ne gere, but ben honoured whil we dwelten there* номинативный субъект перед “ben” опущен, будто дативного субъекта *us* достаточно; складывается впечатление, что номинативный и дативный субъекты приравниваются друг к другу (Butler, 1977, p. 160). С другой стороны, трудно вписываются в эту концепцию предложения типа *It repenteth hym and is sory*, где как бы подразумевается, что перед “is sory” можно поставить “hym”. Можно предположить, что автором высказывания подразумевалась возможность не вторичного использования “hym”, а восстановления номинативного субъекта по форме глагола “is”.

В книге «Синтаксис раннего английского», написанной коллективом авторов и вышедшей в 2000 г. в Кембридже, исчезновение имперсонала объясняется становлением жёсткого порядка слов, то есть появлением обязательного подлежащего в период среднеанглийского (Fisher et al., 2000, p. 23). Авторы обращают внимание на значительную синкретичность форм существительных ещё в период древнеанглийского (особенно номинатива и аккумулятива), которая только усиливалась с течением времени (Fisher et al., 2000, p. 39). Зачастую совпадали и формы глаголов, которые могли бы компенсировать недостаточную маркировку падежей у имён: например, древнеанглийская форма “fremþaþ” от глагола «совершать» обозначала множественное число индикатива во всех лицах и множественное число императива; форма “fremede” от того же глагола обозначала единственное число сослагательного наклонения (все формы лица) или единственное число индикатива (1 или 3 л.). В целом форму подлежащего обычно можно было восстановить по форме глагола, благодаря чему подлежащее могло опускаться (pro-drop-language), а формальное местоимение “it” в безличных конструкциях было необязательно. Английский перестал быть pro-drop-language примерно к 1500 г. Экспериментер выражался в древнеанглийском двояко: дативом (в сочетании с номинативом или значительно реже – генитивом) или номинативом (в сочетании с генитивом). Экспериментером могли быть только существительные и местоимения с одушевлёнными денотатами (Fisher et al., 2000, p. 44–45). Постепенно дативный экспериментер уступил место номинативному: *Me marvaylyyth mychil why God zeuyth wyskyd men swyuch power* (Меня удивляет, почему Бог даёт порочным людям такую власть) > *I merveyll that I here no tidyngges from yow* (Я удивляюсь, почему я не слышу от тебя никаких новостей) (Fisher et al., 2000, p. 76). Примечательно, что глагол “to marvel” был заимствован только в XVI в., но под давлением семантики, подразумевающей воздействие на человека извне, использовался некоторое время в безличной конструк-

ции. Аналогичным образом в среднеанглийский период стал на некоторое время безличным вопреки давлению анализируемой грамматической системы глагол “must”: *Us must worschepyn hут* (Мы должны поклоняться ему). Авторы книги подчёркивают, что выражение экспериенцера, то есть воздействие на человека извне, каким-то альтернативным способом оформления субъекта вообще распространено в языках мира, так что английский не являлся в этом отношении исключением, пока позволял грамматический строй (Fisher et al., 2000, p. 77).

Несколько особняком стоит работа Р. Триппа «Психология безличных конструкций». Автор не отрицает важную роль исчезновения флексий и становления жёсткого порядка слов в распаде английского имперсонала, но считает их скорее следствием, чем причиной. По его мнению, решающую роль в данном процессе сыграло становление понятия субъекта, активного и деятельного человека в противовес силам природы, а также развитие эгоцентричности западной цивилизации (Tripp, 1978, p. 177). Если раньше человек видел себя вовлечённым в какие-то события против своей воли, многие явления приписывал воздействию неких природных или божественных сил, то с развитием эгоцентризма он всё чаще начинал видеть в себе причины своего гнева или своей радости. Древний человек одушевлял природу, что, однако, не должно расцениваться как проявление его умственной недостаточности; в связи с этим Трипп приводит цитату К. Юнга: «Нет никаких оснований полагать, что примитивный человек думает, чувствует, воспринимает мир фундаментально иначе, чем мы. Его психика функционирует таким же образом, но на основе совсем иных предпосылок» (Tripp, 1978, p. 180).

Древний человек полагал, будто сознанием, чувствами, волей и способностью к действию наделены не только люди, но и практически всё вокруг. Более того, многие окружающие силы могли и хотели воздействовать на человека в значительно большей мере, чем он на них. Человек виделся слабым, зависимым от воли неизвестных и непредсказуемых сил природы.

С переходом от этой «досознательной» стадии к сознательной становятся ненужными и безличные конструкции, так как носители языка уже не могут вкладывать в них прежний смысл из-за сменившегося мировоззрения. Решающую роль в этом процессе Трипп приписывает Ренессансу, всеобщему распространению рационализма во времена позднего среднеанглийского (Tripp, 1978, p. 181). Трипп считает малочисленность безличных конструкций мерилем развитости «современной эго-личности» в соответствующей культуре. Превращение безличных конструкций в личные может осуществляться двумя путями: замена дативных, аккузативных и прочих субъектов на субъекты в падеже подлежащего (то есть в номинативе в номинативных языках) или переосмысление субъекта в косвенном падеже в качестве стандартного (канонического) субъекта, наделение его всеми функциями стандартного субъекта (Tripp, 1978, p. 182).

Таким образом, Трипп считает основной причиной исчезновения имперсонала действие «этно-психологических» сил, вызвавших превращение «личных» конструкций в личные путём переосмысления семантического содержания дативных и аккузативных субъектов и, как следствие, превращения их в номинативные субъекты (Tripp, 1978, p. 184). Становление жёсткого порядка слов есть следствие действия этих «этно-психологических» сил. Теория Триппа полностью игнорирует смешение английского с французским и датским, процесс анализации, а также приведенные выше данные по доминативности индоевропейского языка. Если бы древние носители индоевропейского приписывали способность к действию, восприятию, чувствам и т.д. всем окружающим предметам, то необходимость в классе неодушевлённых предметов отпала бы сама собой. Тот факт, что он существовал и включал в себя практически всё неживое, кроме нескольких движущихся объектов (небесных светил и т.п.), свидетельствует о том, что антропоморфизация, если и была свойственна древнему человеку, то отнюдь не в такой мере, в какой утверждает Трипп. Непонятно и то, почему безличные конструкции неизменно исчезают в тех языках, которые подвергаются радикальному смещению независимо от уровня «эгоцентризма» соответствующей культуры. Кроме того, начало эпохи Ренессанса датируется XIV в., а безличные конструкции начали исчезать ещё в XI в. Как отмечает М. Батлер, ближе к концу среднеанглийского периода процесс исчезновения безличных конструкций уже завершился (Butler, 1977, p. 156–157), а не только начался в силу распространения рационализма, как утверждает Трипп. Наконец, трудно представить себе, насколько дологичным должно быть мышление древнего человека, чтобы видеть, скажем, в конструкции *Мне нравится кусок мяса* агентивность куска мяса.

Во многом перекликается с мнением Триппа и мнение М. Дейчбейна. Причина превращения английских безличных конструкций в личные заключается в том, что «английский язык всё более склонен подразумевать под субъектом предложения нечто активное, деятельное, динамичное, то есть по возможности представлять человека (сознание) носителем действия» (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 38; ср. Deutschbein, 1917, S. 111); на самом деле, развитие английского идёт в противоположном направлении – из-за номинативизации на месте подлежащего всё чаще вместо агенса появляются пациенс и экспериенцер, так что Дейчбейн здесь неправ.

Что касается «метеорологических» конструкций, то в них, по мнению Дейчбейна, выражается только само действие, процесс, а переход от предложений типа *Дождь* к *Дождит* связан с развитием глагола (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 44–45, 4–6), то есть производителя действия в данном случае нет, потому они и сохранились. Примечательно, что Дейчбейн считает аккузативные конструкции типа нем. *Mich hungert* (дословно: *Меня голодит*) более точно отображающими реальность, чем номинативные, так как человек здесь является пассивным, страдательным началом. Их происхождение он также связывает с номинальным (древним, примитивным) строем индоевропейского языка, первоначально данное предложение выглядело примерно так:

Hunger(n) mich (Голод(ит) меня). Большинство индоевропейских безличных конструкций, по его мнению, производны от существительных.

В другом томе той же работы Дейчбейн разбирает предложение *Ich höre das Geschrei der Möwen (Я слышу крики чаек)* (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 1, S. 37). Поскольку на объект не производится никакого действия, истинной транзитивности здесь не наблюдается, а потому такие конструкции не могут вписываться в логику языка. Правильнее было бы представить объектом чувствующего, воспринимающего, ощущающего что-то человека: *Es erscheint mir das Schiff (Мне появляется / видится корабль)*; *Das Geschrei der Möwen trifft mein Ohr (Крики чаек достигают моего уха)* (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 1, S. 39). В английском глаголы восприятия стали восприниматься в качестве глаголов активного действия, поэтому нелогичность выражений типа *Ich höre das Geschrei der Möwen* исчезла (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 1, S. 40). Этому способствовало распространение номинативных способов выражения, то есть доминирование конструкций с номинативными субъектами. Из-за слияния истинных номинативных субъектов с субъектами, подразумевающими восприятие извне, волиитивность номинатива могла стереться. Одно совпадение падежей не могло, по мнению Дейчбейна, привести к исчезновению имперсонала, так как у местоимений различия форм оставались (*I – me*), а местоимения в безличных конструкциях ощущения, восприятия и т.п. наверняка употреблялись чаще существительных (Deutschbein, 1917, S. 111), поэтому главной причиной он считает склонность англичан акцентировать живое, активное, личное. В главе «Тема / рема и порядок слов» мы покажем, что разграничение форм местоимений едва ли можно принимать во внимание, поскольку вопреки запретам грамматик англичане эти разграничения игнорируют и зачастую употребляют (и употребляли) субъектные формы вместо объектных и наоборот. Что касается акцентирования живого, активного, личного, то ещё раз подчеркнём, что из-за номинативизации как раз в английском субъекты особенно часто по сравнению с синтетическими индоевропейскими языками относятся к неживому, пассивному и неличному, так как могут выражать не только агенс, но и пациенс, и инструмент действия, и различные обстоятельства действия.

М. Хаспельмат затрагивает в своей статье “Non-canonical marking in European languages”, среди прочего, тему исчезновения безличных конструкций в английском. Он обращает внимание на тот факт, что в древнеанглийском было множество глаголов, требовавших особой маркировки экспериенцера: *lician* (нравиться), *lystan* (желать), *ofhreowan* (сожалеть) и т.д., напр. *Ram wife þa word wel licodon (Женщине очень понравились эти слова: артикль: дат. + «женщина»: дат. + «эти»: ном. + «слова»: ном. + «очень» + «нравиться»: 3 л., ед. ч., прош. вр.)*; *Him ofhreow þæs mannes (Ему было жалко этого человека: «он»: дат. + «сочувствовать»: прош. вр. + «этот»: ген. + «человек»: ген.)*. Как и предыдущие авторы, Хаспельмат объясняет исчезновение этих конструкций распадом падежной системы и, как следствие, – внешним синкретизмом падежных форм: *The wife (DAT) liked the words (NOM) > The wife (SUBJ) liked the words (OBJ) (Женщине понравились эти слова)* (Haspelmath, 2001,

р. 76). Речь идёт о постепенном процессе, когда дативные и аккузативные субъекты, поначалу не имевшие характеристик подлежащего, стали приобретать такие характеристики, пока не стали расцениваться в качестве истинных подлежащих вопреки их форме. Это видно по ряду специальных тестов. Например, аккузативный экспериенцер глагола «вызывать (голод)» мог в среднеанглийском (в отличие от древнеанглийского) опускаться, если в том же предложении тот же субъект упоминался до этого в номинативе: *I wat at þou has fasted lang and... hungres nu* (XIV в.) (*Я знаю, что ты долго постился, и теперь... голодит*, то есть *...и теперь ты голоден*), где аккузативный экспериенцер был опущен, так как, очевидно, приравнивался к номинативному (Haspelmath, 2001, р. 77). В этом отношении Хаспельмат подтверждает предположение М. Батлера (см. выше). Последняя стадия перехода аккузативных и дативных субъектов в номинативные началась после приобретения дополнением всех характеристик подлежащего и заключалась в переходе к падежу подлежащего и согласованию с глаголом. Сейчас согласование формы подлежащего и глагола в английском кажется чем-то самим собой разумеющимся, но раньше это было не так, ср. д.-англ. *Preief þanne first for zouresilf as ze þenkif moost spedeful* (*Молись за себя, как ты считаешь наиболее благотворным*, то есть *...таким образом, какой тебе кажется наиболее благотворным*: субъект «ты» стоит в номинативе, но глагол с ним не согласуется, используя в форме 3 л. ед. ч.). Дополнительно автор описывает процесс распада имперсонала в мальтийском (семитская ветвь афразийской семьи, близок к арабскому), долго находившемся под влиянием европейских языков (итальянского, английского) и теперь заменяющем свои дативные экспериенцеры номинативными.

А. фон Зеефранц-Монтаг (A. von See Franz-Montag. Subjectless constructions and syntactic change. Paper read at 3rd International Conference on Historical syntax, Blazejewko, 31 March – 3 April 1981) подчёркивает, в первую очередь, что процесс, наблюдаемый в английском, типичен в большей или меньшей мере для всех индоевропейских языков и обусловлен их типологическими изменениями. Как она полагает, в индоевропейском языке система падежей служила для спецификации только семантических значений, поскольку чёткого синтаксического разграничения подлежащего и дополнения тогда не делалось. Кроме того, глаголы индоевропейского языка имели нулевую валентность, подлежащих не требовали и в своих функциях были похожи на современные существительные (её примеры: [*Есть*] *любовь от меня к тебе* = *Я люблю тебя*; [*Есть*] *зрение от меня к тебе* = *Ты меня видишь*) (ср. с мнением Дейчбейна выше).

Из-за постепенного сокращения падежной системы оставшиеся падежи вбирали в себя всё больше значений, а различные виды зависящих от глагола элементов высказывания всё больше приобретали отчётливые синтаксические функции (подлежащее, прямое дополнение и т.д.), зависящие, среди прочего, от относительной частоты их топикализации. Семантические функции, ранее передававшиеся падежными окончаниями, стали всё больше зависеть от функций синтаксических. Английский представляет собой пример языка, где

этот процесс практически завершён, и косвенное кодирование семантики происходит посредством синтаксиса (порядка слов и т.д.), а не окончаний. Безличные конструкции, являющиеся наследием индоевропейского языка, исчезли в его различных «потомках» из-за реинтерпретации экспериенцера в качестве выраженного номинативом подлежащего, введения возвратных глаголов (особенно в немецком, французском и славянских языках) и аналитического пассива (особенно в английском). А. фон Зеефранц-Монтаг разделяет точку зрения, согласно которой в английском исчезновении безличных конструкций способствовал синкретизм падежных форм, но он один, по её мнению, не мог вызвать столь кардинальных перестроек системы. Возможной причиной отмирания падежей она считает их многозначность: поскольку исчезающие падежи передавали свои функции остающимся, те становились всё более расплывчатыми в своём значении, что делало падежную систему всё менее функциональной. Как и предыдущий автор, А. фон Зеефранц-Монтаг полагает, что дополнение стало восприниматься в качестве подлежащего ещё задолго до того, как порядок слов SVO стал доминирующим. Таким образом, автор видит причину исчезновения безличных конструкций, в первую очередь, не в синкретизме форм падежей и не в становлении жёсткого порядка слов (хотя и они сыграли свою роль), а в закреплении всё более чётко разграничиваемых грамматических отношений в предложении, выражаемых подлежащим, прямым дополнением и т.д.

А. фон Зеефранц-Монтаг отмечает также, что порядок слов начал становиться более жёстким ещё до существенных изменений в системе падежей и потому не может считаться его следствием. Если изначально порядок слов английского служил преимущественно отделению темы от ремы, то в процессе перестройки системы данная функция отошла на второй план, уступив место сериализации «субъект > предикат > объект». Наименее продвинувшимся по пути аналитизации среди германских языков она считает современный исландский, где порядок слов TVX («тема > глагол > любой член предложения») только начинает превращаться в SVX («субъект > глагол > любой член предложения») (Krzyszpień, 1990, p. 25–28; von Seeffranz-Montag, 1983, S. 19, 86, 90, 99, 127, 201).

О порядке слов TVX подробнее будет сказано ниже, чтобы объяснить немногочисленность конструкций типа *It seems to me* (где тема не совпадает с подлежащим) в современном английском. Что касается расплывчатости грамматических категорий в индоевропейском, о которой говорит А. фон Зеефранц-Монтаг, то подобные мысли можно встретить и в работах отечественных учёных. В частности, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов отмечают, что чёткое разграничение субъекта и объекта возникло только при переходе от активного строя языка к номинативному: “A language of the active type is oriented not toward subject-object relations but toward relations among active and inactive arguments. The dominant semantic principle of such a language is a binary nominal classification (active vs. inactive), which in effect determines the entire structure of the language – declension and conjugation. The morphological and syntactic potential of the verb depends on the binary classification of nouns”

(Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 270–271). А.А. Потебня ещё в XIX в. писал, что развитие языка идёт по направлению к всё более чёткому разграничению субъекта и атрибута, субъекта и предиката, субъекта и объекта, что, возможно, как-то связано с развитием самого мышления (Климов, 1983, с. 55). С.Д. Кацнельсон в книге «К генезису номинативного предложения» приходит к выводу о том, что появление чётко выраженного номинативного субъекта является относительно поздним явлением, чем, очевидно, и обусловлено сохранение многочисленных следов дономинативного строя, в том числе безличных конструкций, в современных индоевропейских языках: «Выше уже приведены некоторые данные, свидетельствующие о том, что именительный падеж в этой абсолютной функции субъекта не является исконным. Супплетивность прямого и косвенного падежей личных местоимений, совпадение формы именительного и винительного падежей в именах существительных среднего рода основы на -о в индоевропейских языках, безличная конструкция, – всё это говорит о сравнительно позднем появлении этой категории. Рассмотрение коррелятивной категории глагольных залогов ещё больше убеждает нас в этом» (Кацнельсон, 1936, с. 41).

Г. Хирт полагал, что нерасчленённость субъекта и объекта объясняется нерасчленённостью аккузатива и номинатива, наблюдаемой до сих пор в формах среднего рода (ср. рус. *Бытие определяет сознание*), поэтому предлагал считать конструкции с этими двумя падежами эквивалентными: «Я спрашиваю себя, какая разница между номинативом и аккузативом? Смысл не меняется от того, сказать ли *Es friert mich* (*Мне морозно*) или *Ich friere* (*Я мёрзну*), *Mich hungert* (*Мне голодно*) или *Ich hungere* (*Я голоден*). [...] Несомненно, что аккузатив и номинатив в таких случаях одинаковы по значению» (Hirt, 1937. Bd. 6, S. 76, 80; ср. Bishop, 1977, p. 117). Во времена Хирта теория об активном строе индоевропейского ещё находилась в зачаточном состоянии (отдельные авторы говорили о схожести индоевропейского с эргативными языками, тогда включавшими в себя и активные). Говоря о нерасчленённости аккузатива и номинатива, Хирт, однако, прав в том отношении, что в языке субъект мог выражаться подобно современному дополнению или подлежащему в зависимости от его принадлежности к активному или инактивному классу существительных, причём активные существительные могли оформляться подобно дополнениям в случае неволитивного действия (отсюда произошли безличные конструкции с дативными и аккузативными субъектами). Что касается упомянутых им современных безличных конструкций, то, как мы показали выше, номинатив при номинативизации начинает сочетать в себе роли экспериенцера и пациенса, поэтому семантические различия между упомянутыми Хиртом конструкциями в значительной мере сгладились.

А.Ф. Лосев полагал, что до образования номинативного строя «субъект и объект вообще различались слабо, и одна и та же грамматическая форма свободно могла обслуживать там и субъект, и объект. В условиях чёткого различения субъекта и объекта, сказуемого и дополнения, дополнение, как того требует сам его смысл, впервые ставшее на ноги, уже никак не может подчинять себе сказуемое, а, наоборот, может только зависеть от него, может толь-

ко управляться им. Другими словами, дополнение в деноминативных строях попросту еще не было настоящим дополнением, как и подлежащее в них еще не есть подлежащее вообще, а всегда только то или иное его частное проявление, и сказуемое не есть сказуемое вообще, а только тот или иной его случайный или конкретный вид» (Лосев, 1982).

В некоторых источниках подтверждается и предположение А. фон Зеефранц-Монтаг о номинальной сущности индоевропейского глагола (ранее мы уже затрагивали эту тему в связи с происхождением конструкций типа *Дождало*). В частности, А.Ф. Лосев полагал, что индоевропейские глаголы по своим функциям походили скорее на существительные (Лосев, 1982). К.В. Бабаев среди моделей происхождения спряжения в ностратическом языке указывает и следующую: «делание (есть) моё/меня», то есть флексии являются остатками местоимений и, возможно, глагола «быть» (Бабаев, 2007). Автор при этом исходит из аналитичности данного языка. А. Бомхард и Дж. Кернс сравнивают глаголы в ностратическом языке с современными партиципами и герундиями (Bomhard, Kerns, 1994, p. 162). В.В. Иванов приводит пример из индоевропейского *Es-m(i)* (*Я есть, был*, дословно: *Бытие – моё*), где вместо глагола употребляется существительное (Иванов, 1976). Ф.Н. Финк считал «само собой разумеющимся», что глаголы произошли от существительных, причём формально эти части речи ещё долго оставались очень похожи (Финк, 1950, с. 136). Он полагал, например, что аффективные конструкции развились из посессивных (*восприятие отца > восприятие отцу*) при условии направленности действия на человека. Ф. Гане высказывал предположение, что чрезвычайно частое употребление существительных характерно и для речи «примитивных» народов, и для начальной стадии усвоения языка детьми; глаголы возникают / усваиваются во вторую очередь. Г. Шухардт, приводящий это мнение, напротив, высказывает предположение, что первичен глагол (Шухардт, 1950, с. 144). А. Грин сравнивает древние индоевропейские формы с формами языков (по его утверждению, довольно многочисленных), где степень номинальности глаголов слишком высока, чтобы использовать перед ними подлежащее в именительном падеже: на тибетском говорят, например, *Ударение тебя мною* вместо *Я бью тебя*, причём «мною» стоит, как и в русском переводе, в инструментале (Green, 1966, p. 1). Ф. Шпехт обращал внимание на тот факт, что для древнейших индоевропейских существительных характерно отсутствие в них отглагольных корней (Specht, 1944, S. 7).

Некоторые учёные полагают, что изначально существовала некая универсальная часть речи, напоминающая более всего существительное, но намного более функциональная (Dessalles, 2007, p. 186). Д. Бикертон обращает внимание на то, что у детей при приобретении языка от природы, очевидно, заложены только две части речи, глагол и существительное, причём существительное важнее (Bartens, 1996, S. 76; ср. Мельникова, 2003, с. 260). Этим объясняется номинальный стиль креольских языков, созданных детьми. Ч. Фергюсон при исследовании речи родителей, обращённой к детям, приходит к выводу о том, что «во всех языках [арабском (Сирия), маратхи, команчском, нивхском, аме-

риканском английском и испанском – Е.З.] более употребительны существительные, чем местоимения или глаголы» (Фергюсон, 1975), то есть родители интуитивно исходят из того, что дети лучше понимают существительные. Г. Хирт писал в «Индоевропейской грамматике», что «безличные глаголы – это по сути существительные, употребляющиеся по собственным правилам и являющиеся пережитком древних времён» (Hirt, 1937, Bd. 7, S. 11).

В речи моторных афатиков, которая, как считают некоторые учёные, позволяет проследить более ранние / древние формы языка, чётко просматривается номинальный стиль (Seewald, 1998, S. 80, 117; Peuser, 1978, S. 112–115, 342; Лурия, 1979, с. 282; Benson, Ardila, 1996, p. 55)¹. У. Леман, ссылающийся в том числе и на Г. Хирта, пишет в книге «Доиндоевропейский язык», что стандартной теорией с самого начала и по сей день было происхождение глаголов от существительных, а не наоборот, отсюда и высокая степень номинальности доиндоевропейского языка; глагольные флексии развились из частиц, местоимений и некоторых корней (Lehmann, 2002, p. 167). Н.Я. Марр полагал, что глаголы являются относительно поздним образованием, а до них действия или состояния выражались комбинациями имён со служебными частями речи (Мещанинов, 1940, с. 225). Согласно В.М. Жирмунскому, в древних индоевропейских языках чёткого разграничения глаголов и существительных, возможно, не делалось, из-за чего целый ряд именных показателей индоевропейских языков совпадает с соответствующими глагольными суффиксами (Жирмунский, 1940, с. 60). Похожие мысли находим у М.М. Гухман: «Одной из наиболее характер-

¹ Для примера соотношения универсальных тенденций исторического развития языка, приобретения языка детьми и его деградации у афатиков (в обратной последовательности) приведём следующие данные. Вид глагола (совершенный / несовершенный) приобретается детьми до категории времени. В языках мира категория вида обозначается в глаголах ближе к корню, чем категория времени (проверено на 50 языках). Категория времени обычно возникает в языках из категории вида. Афатики забывают категорию времени раньше категории вида (Seewald, 1998, S. 12, 42–43). В готском вид ещё выражался специальной морфемой (*ga-*), в немецком та же ситуация наблюдалась до XIV в., но затем *ga-/ge-* была переосмыслена в выражающую категорию времени (Seewald, 1998, S. 50). П. Мюльхойзлер пишет, что менее «естественные» языковые элементы позже приобретаются детьми, позже развиваются в языках, имеют в языках меньшее распространение по сравнению с «естественными» и быстрее теряются при афазии (Mühlhäusler, 1986, p. 61–62). О соотношении эволюционного развития языка и его деградации у афатиков говорил советский учёный Б.Ф. Поршнев: «Иными словами, афазии – не просто поломки, то есть не просто уничтожение чего-то, но они – возбуждение чего-то, а именно возбуждение некоторых мозговых механизмов, которые в норме (вне поломки) подавлены, не возбуждаются, "загнаны вглубь", перекрыты более молодыми образованиями. Тот факт, что больной с афазией обычно ясно сознает свой дефект, нисколько не противоречит этой гипотезе. Больной сохраняет сознание и самоконтроль современного человека, он вовсе не "хочет" реагировать на современную речь, скажем, как кроманьонец, но замечает, что болен, что не может реагировать правильно. А афазиолог недостаточно учитывает, что поражение того или иного участка коры головного мозга вызвало нарушение отношений и взаимодействий больного с людьми, регресс вниз на ту или иную древнюю ступеньку второй сигнальной системы, когда она ещё не была или не вполне была номинативно-информативной, а выполняла другие задачи» (Поршнев, 1974). О параллелях между развитием языка у детей, историческим развитием языков мира и деградацией языка у больных афазией писал также Р. Якобсон (Peuser, 1978, S. 159–160).

ных особенностей строя индоевропейских языков считается четкая дифференциация основных частей речи, в первую очередь глагола и имени. "Нигде, – пишет Мейе, – различие имен и глаголов не проведено так отчетливо, как в индоевропейском". Два, казалось бы, совершенно не связанных ни семантически, ни формально способа словоизменения – склонение имен и спряжение глаголов подчеркивали особенно резко данное обстоятельство. Между тем ряд фактов сравнительной грамматики индоевропейских языков противоречит этому положению, заставляя предполагать наличие каких-то других параллельных отношений. Сюда относится прежде всего общность основообразующих суффиксов в системе имен и глаголов. Если предположить, что древнейший тип индоевропейского корня – моносиллабический, то все типы расширения корня выступают как производные. Суффиксальные показатели этих производных форм совпали в древнейшем слое именных и глагольных категорий, свидетельствуя тем самым об отсутствии их четкой дифференциации в эпоху образования основных элементов индоевропейской морфологической системы (см. например, тематические основы в обоих рядах, суффиксы *-je/-jo*, носовые суффиксы и т.д.)» (Гухман, 1947, с. 102).

Ещё в 1904 г. И.А. Бодуэн де Куртенэ писал, что природу безличных конструкций следует искать в нерасчленённости форм древнего языка: «Первичные "слова" языка были словами неопределённой формы (*mots vagues*), вроде нынешних неизменяемых словечек *бух, бултых, цап, цап-царан, щёлк, хан, фырк, шасть, трах* и т.д. или же вроде более уже морфологически расчлённых безличных глаголов: *светлеет, гремит, мерещится, заволокло* и т. п. В таких словах продолжается по настоящее время один из древнейших слоёв языкового творчества. Только впоследствии подобные общие слова развивались в различных направлениях, производя из себя имена рядом с глаголами, существительные рядом с прилагательными и т.д., причём эти различные функции могли быть или выражаемы с помощью особых морфологических показателей (*бел-ый, белизна, белеть, лететь, лет, летучий*; *пыл, пыл-кий, пылать* и т.п.), или же только добываемы из связи с другими словами, как это имеет место по преимуществу в китайском языке и в значительной мере тоже в английском» (Бодуэн де Куртенэ, 1963. Т. 2, с. 88–89).

А.А. Потеня исходил из отыменного происхождения глаголов и прилагательных. Возражая Ф.И. Буслаеву, считавшему глагол древнейшей категорией, он писал: «Я думаю, наоборот. Предикативность и атрибутивность имени, иначе – именной характер предложения, увеличивается по направлению к древности. Вместе с тем увеличивается конкретность языка. Мера конкретности есть степень близости к чувственному образу, к безразличию субстанции и атрибута. Поэтому глагол и прилагательное отвлечённее существительного...» (цит. по: Кацнельсон, 1948, с. 87). Развитие языка он делил на две фазы – доглагольную и глагольную, в догла-

гольной фазе вместо *Я не езжу* говорили *Я не ездок*, вместо *Я жалуюсь* – *Жалоба моя*, что должно быть как-то сопряжено и с развитием мышления (Климов, 1981, с. 13).

Нельзя не отметить, однако, что языки активного строя, к которым, возможно, принадлежал индоевропейский, характеризуются формальной и семантической дифференцированностью существительных и глаголов (Климов, 1977, с. 82, 274), что противоречит приведённым выше мнениям. Более того, в них нет ни инфинитивов, ни даже *nomina actionis* (Климов, 1977, с. 111). Подробно критика «посессивистского» подхода, то есть теории происхождения конструкций типа *Я есть* от *Бытие – мое*, изложена у А. Тромбетти (Тромбетти, 1950), он же придерживается мнения, что не глаголы произошли от существительных, а существительные от глаголов (Тромбетти, 1950, с. 164; ср. Поршневу, 1974). О том же, очевидно, имплицитно свидетельствует следующая универсалия из «Архива универсалий» университета Констанца, отмечающая первичность глагола при оформлении частей речи в языках мира: “Parts of speech hierarchy: verb > noun > adjective > adverb. This hierarchy says that a category of predicates is more likely to occur as a separate part of speech the more to the left it is in this hierarchy” (“The Universals Archive”, 2007). Чрезвычайная развитость глагольной парадигмы в активных языках даёт Г.А. Климову основания полагать, что существительные в них произошли от глаголов (Климов, 1977, с. 131). Данную точку зрения подтверждают будто бы известные на сегодня результаты исследований языков некоторых «примитивных» народов. В частности, В.В. Иванов пишет относительно некоторых языков Амазонии, что в сочинённых на них мифологических текстах предложения, состоящие из одних глаголов, преобладают и составляют основную часть повествования – до 80–90 % (Иванов, 2004, с. 51). Он отмечает также, что в архаическом варианте алеутского и многих других полисинтетических языках Евразии и Нового Света (например, в ирокезских) глагол формально не отличается от имени, причём зачастую существительные, если о существовании такой части речи вообще правомерно говорить в случае полисинтетических языков, входят в состав глаголов и неотделимы от них (Иванов, 2004, с. 51–52). Глаголами часто в них заменяются и прилагательные (Иванов, 2004, с. 53), что было характерно и для раннего индоевропейского праязыка. После рассмотрения соответствующих примеров Иванов приходит к следующему выводу: «Типологическое сравнение с языками типа американских индейских заставляет предположить, что к раннему общечеловеческому (изначально мифологическому или мифопоэтическому, по нейролингвистическим семантическим признакам в значительной мере правополушарному) способу языкового описания и понимания внешнего мира были приспособлены языковые средства, по преимуществу связанные с (конкретными) глаголами, обозначающими действия, состояния и наличие определённых признаков. Вычленение особых способов обозначе-

ния предметов могло осуществляться путём образования отглагольных имен, то есть номинализации» (Иванов, 2004, с. 58).

С другой стороны, можно найти немало свидетельств того, что в языках самых «примитивных» народов, напротив, нет глаголов, а есть только существительные. С.Д. Кацнельсон описывает в одной из статей язык австралийского племени аранта, уже почти полностью вымершего к середине XX в. «под тлетворным уничтожающим влиянием капиталистической колонизации» (Кацнельсон, 1947, с. 44). Вместо глаголов в языке аранта употребляются «предикативные имена», как их называет Кацнельсон; вместо прилагательных и причастий – существительные. Д.В. Бубрих полагал, что «в глубокой доистории финно-угорских языков глагола не было», все предложения были именными (Бубрих, 1946, с. 209), поэтому мордвин-мокша по сей день говорит *Сон сокай – Он пашет = Он пахарь; Синь сокайтхь – Они пашут = Они пахари* (Бубрих, 1946, с. 208). В древнерусском имя и глагол уже чётко противопоставлялись друг другу (Букатеви́ч и др., 1974, с. 116).

Подводя итог этой краткой дискуссии первичности глагола или существительного, скажем только, что нам представляется более адекватным поиск истоков имперсонала не в первичной части речи, а в категории неволитивных глаголов, то есть на несоизмеримо более позднем этапе развития языка. Как мы покажем ниже на примере креольских языков, «примитивные» народы склонны выражать семантику безличных конструкций очень приземлённо и конкретно, в их языках нет привычных английских фраз типа *It rains* ([*Это*] дождит), на основе которых и велась дискуссия о том, какой частью речи первично было «дождит». На этих языках, носителями которых являются папуасы и африканцы, говорят *Небо дождит; Небо падает; Дождь дождит; Дождь падает* и т.п. Креольские языки в этом отношении особенно интересны, так как считается, что они в большей или меньшей мере отображают врождённые универсалии языкового развития.

Таким образом, все упомянутые выше западные авторы согласны с тем, что исчезновение безличных конструкций в английском языке в большей или меньшей степени обусловлено распадом падежной системы, то есть является следствием аналитизации. Аналогичной точки зрения придерживались и отечественные учёные, пока не пришла мода на объяснение грамматических явлений с точки зрения этнолингвистики; соответствующие цитаты были приведены выше. Споры ведутся в основном о том, какие дополнительные факторы могли повлиять на отмирание безличных конструкций: более чёткое разграничение членов предложения в современном английском, чрезмерная многозначность древних падежей и т.д. Возникновение безличных конструкций в индоевропейском часто объясняется его доминативным, доглагольным прошлым, а также слабым разграничением субъекта и объекта (или же разграничением по правилам, отличным от нынешних).

Глава 8

ТЕМА / РЕМА И ПОРЯДОК СЛОВ: СВЯЗЬ С ИМПЕРСОНАЛОМ

8.1. Универсальный принцип «тема > рема»

Ещё одна проблема, имеющая непосредственное отношение к безличным конструкциям в английском языке, уже была упомянута в связи с немногочисленностью форм типа *It seems to me* в современном английском – это несовпадение подлежащего с темой высказывания. Темой в таких предложениях является дополнение (здесь: *me*), стоящее на месте ремы в конце предложения. Как мы увидим ниже, это, очевидно, противоречит законам логики, общим для всего человечества. Кроме того, в этой главе мы рассмотрим различные возможности топиализации в аналитических и синтетических языках, поскольку именно тематическим членением (акцентированием действия, снятием акцента с его производителя, возможностью топиализации дополнения) объясняется использование многих безличных конструкций.

Как известно, наиболее важной функцией порядка слов в русском языке является отделение темы (известной информации) от ремы (новой информации), причём тема предшествует реме и тяготеет к началу предложения¹ (Фаулер, 2002, с. 390–391; Comrie, 1983, p. 72; “Languages and their Status”, 1987, p. 96–98), ср. *Маши* [тема] *помогает Саши* [рема]; *Саши* [тема] *помогает Маши* [рема]; *Мне* [тема] *кажется, что...* [рема]. Как отмечается в “The Cambridge Encyclopedia of the English Language”, носители английского также начинают высказывания с темы (Crystal, 1995, p. 220, 232). Выше мы уже, однако, обращали внимание на то, что в аналитических языках тематическое членение несколько затруднено из-за жёсткого порядка слов и малочисленности безличных конструкций, поэтому, например, по данным Б. Комри, в английском рема в конце предложения встречается не так часто, как в русском (“Languages and their Status”, 1987, p. 99).

¹ Ср. «Как показали исследования русских и западных лингвистов, основная функция порядка слов в русском языке – обозначать актуальное членение предложения, то есть его членение на **тему** (theme) и **рему** (rheme)» (Фаулер, 2002, с. 390). На той же странице приводятся определения: «Тема – это то, что дано или уже известно из предыдущего высказывания, или то, что может быть принято за исходный пункт. Рема – это то, что является новым, несёт основную семантическую нагрузку и является основной целью коммуникации». «В повествовательном предложении [русского языка – Е.З.] обычен порядок слов, начинающийся с изложения основы (то есть того, что известно) и направляющийся к ядру высказывания; этот порядок можно назвать объективным» (Виноградов, 1975). «...в русском наблюдается естественная тенденция синтаксической структуры предложения соответствовать делению на тему и рему» (Green, 1980, p. 232).

Обычно тема выражается подлежащим, но может выражаться и другими членами предложения (в безличных конструкциях – часто дополнением (ср. Green, 1980, p. 231)). Тема чаще относится к одушевлённым денотатам, рема – к неодушевлённым (Dixon, 1994, p. 211–212); тема – к определённым денотатам, рема – к неопределённым (Wierzbicka, 1981, p. 64). Поток информации от темы к реме (или же, если применить другую терминологию в том же значении, от топика через нейтральную информацию к фокусу) является, как полагала Пражская Школа, универсальным правилом всех языков, отражающим некий когнитивный принцип, который относится не только к языковому знанию (Кондрашова, 2002, с. 127; ср. Dixon, 1979, p. 68; Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 228). Подтверждением этому может служить тот факт, что практически во всех языках мира тема совпадает с подлежащим и обозначается в начале предложения активного залога (Siewierska, 1984, p. 3, 221–222). Индоевропейский праязык в этом отношении не являлся исключением (Grace, 1974, p. 375; ср. Toyota, 2004, p. 11), с той только разницей, что рема выражалась не после глагола, а перед ним, ср. “IF basic word order is SOV, THEN the usual place of rheme is the position immediately preceding the verb”; “IF basic word order is SVO, THEN the usual place of rheme is after the verb either in an immediately postverbal position or after an unstressed element” (“The Universals Archive”, 2007).

Согласно Т.Б. Алисовой, языки со свободным порядком слов, позволяющим чётко разграничивать тему и рему, развивают и сохраняют больше безличных конструкций, чем языки с жёстким порядком слов: “...in languages with relatively free word order, the high frequency of a syntactic subject which becomes part of the rheme creates a favorable climate for the preservation and development of impersonal and 3rd-person-only structures” (цит. по: Green, 1980, p. 192). Это относится как к индоевропейскому, так и к современному русскому языку. Добавим также, что эргативный падеж в языках соответствующего типа обычно стоит в начале предложения (Тромбетти, 1950, с. 161) и редко вводит новую информацию (Степанов, 1989, с. 136). Правда, Г. Шухардт и А. Тромбетти утверждали, что член предложения в эргативном падеже несёт особое логическое ударение, но данная точка зрения была довольно скоро опровергнута (ср. Дешериев, 1951, с. 590, 593).

Б. Бикель пишет, что в языках с развитой падежной системой экспериенцеры часто оформляются подобно объектам (то есть не падежом подлежащего) и ставятся в начале высказываний, так как обычно принадлежат к теме (Bickel, 2004). В качестве экспериенцеров могут обычно выступать только одушевлённые денотаты. Например, по данным Бикеля, в непальском (индоиранская ветвь индоевропейских языков) 100 % экспериенцеров в проанализированных текстах были одушевлены, 93,3 % относились к теме высказывания и, соответственно, стояли в начале высказывания на месте подлежащего, оформляясь дативом. Стимулы (семантическая роль существительных, обозначающих те денотаты, которые вызывают какие-то

эмоции и чувства у экспериенцеров, напр. *Мне нравится стол*) обычно ставятся после экспериенцеров, так как несут новую информацию. В этом отношении непальский не является исключением среди мировых языков, а иллюстрирует правило. Русский язык, имеющий развитую падежную систему, также не является чем-то особенным в этом отношении: экспериенцеры чаще выражаются дативом, одушевлены, принадлежат к теме и ставятся в начале предложения, а стимулы ставятся после них.

После распада праязыка развитие индоевропейской языковой семьи идёт от сериализации «тема > глагол» к сериализации «подлежащее > глагол» (Toyota, 2004, p. 11; ср. “The Nordic Languages”, 2002, p. 195), что обусловлено аналитизацией и закреплением порядка слов SVO. Когнитивный принцип «тема > рема» всё чаще нарушается из-за изменившейся языковой структуры, что особенно хорошо видно в безличных конструкциях с формальным подлежащим. Англичанин в конструкциях типа *It seems to me* больше не может выражать тему дополнением, стоящим на первом месте (ср. рус. *Мне кажется*, укр. *Мені здається (Мне кажется)*); вместо этого он вынужден прибегать к сериализации, эквивалентной рус. [*Это*] *кажется мне*, где тема оказывается на месте ремы. Поэтому можно считать вполне естественным тот факт, что в процессе аналитизации большинство безличных оборотов превратилось в английском (как и в других языках) не в конструкции с формальным подлежащим, а в личные конструкции: предложения типа *It seems to me* следуют одному правилу логики (SVO¹), нарушая другое (тема на первом месте), в то время как предложения типа *I think* следуют обоим правилам. Способствует этому и увеличение числа семантических ролей подлежащего, о котором говорила Н. МакКоли (см. выше). Что касается потенциально возможных предложных конструкций типа *To me seems*, то они нарушают жесткий порядок слов «номинативный субъект > глагол > аккузативный объект». Возможно, если бы номинативное подлежащее не вобрало в себя столько семантических ролей, то язык за неимением других средств не отторгнул бы столь маркированных построений; однако же, потребности в них нет, так как значение, эквивалентное “to me”, передаётся обычным номинативным субъектом. Вопрос за-

¹ Ср. «Как свидетельствует логика, в начале мысли обозначен предмет, о котором идёт речь (субъект); вот почему предложение может состоять из одного субъекта. Затем указывается факт его бытия и качество этого бытия: простое присутствие, состояние или действие (предикат). После этого, если действие обращено на определенный предмет, даётся указание на этот предмет (объект). Выражающее объект дополнение может присутствовать или отсутствовать в предложении, что снова указывает на его логическое следование за подлежащим и сказуемым. [...] Именно такая логическая структура и оказалась закреплённой в английском предложении. Здесь мы видим непосредственное выражение логики в грамматической форме. Та внутренняя логика мышления, которая остаётся невыделенной в синтетических языках благодаря свободе синтаксических построений, в аналитических языках, и особенно в английском, становится внешним грамматическим правилом» (Аполлова, 1977, с. 7; ср. Krapp, 1909, p. 297; Meiklejohn, 1891, p. 323–324).

крепления английского порядка слов в процессе аналитизации будет подробно рассмотрен ниже.

Для языков, строго придерживающихся принципа «тема > рема», наличие подлежащего в поверхностной структуре не является необходимостью, поэтому формальных подлежащих в них обычно нет. В них также редок пассив: “The more topic-prominent a language, the fewer subject-creating constructions it will have. [...] Subject-creating constructions include relation-changing constructions like passives, various *raising to subject* sentences... and *have constructions*...” (“The Universals Archive”, 2007). К таким языкам принадлежат китайский, японский, венгерский, корейский, вьетнамский и даже некоторые диалекты английского (в Сингапуре и Малайзии), подпавшие под влияние азиатских языков. Их общими характеристиками являются неразвитость рефлексивизации, эллипсис подлежащего и «двойные подлежащие», компенсирующие отсутствие флексий в изолирующих языках, ср. яп. *Sono yashi wa happa ga ookii* (Эта пальма (1-е подлежащее) листья (2-е подлежащее) большие, то есть У этой пальмы / Этой пальмы листья большие); *Sakana-wa tai-ga oishi-i* (Рыба (1-е подлежащее или тема, уже известная информация) красный луциан (2-е подлежащее) вкусная); кит. *Zhāng Sān wǒ yǐjīng jìànguò le* (Жанг Сан (1-е подлежащее) я (2-е подлежащее) видел сегодня, то есть Жанг Сана я видел сегодня); корейск. *Chelswu-ka* (ном.) *Mia-ka* (ном.) *mwusep-ta* ([Именно] Челсву боится Миа); *Waikhikhi-ka* (ном.) *kyongchi-ka* (ном.) *soh-ta* ([Именно] у Ваикхиххи хороший ландшафт) (Rudnitskaja, 2004).

Примечательно, что У. Леман относит доиндоевропейский именно к языкам с выдвиганием топика (topic-prominent language) в противовес современным индоевропейским языкам с выдвиганием субъекта (subject-prominent language). В качестве примера topic-prominent language он приводит предложение из современного языка лаху сино-тибетской семьи: *Нэ̄ ɓ na-qh̄ɔ̄ yì ve yì* (У слонов длинные хоботы, или Что касается слонов, то у них длинные хоботы, дословно: Слон хобот длинный), где частица *ɓ* указывает на то, что слово *нэ̄* (слон) является темой высказывания (Lehmann, 2002, p. 100–101). Именно по такому принципу должны были, по его мнению, строиться высказывания в доиндоевропейском.

Английский, несомненно, является subject-prominent language (ср. Дьячков, 1987, с. 83). Топик в нём реже стоит в начале предложения по сравнению с русским (Comrie, 1983, p. 72). Подлежащее обязательно даже тогда, когда истинного производителя действия или носителя признака нет. Этим объясняется появление маркированного формального субъекта, а также использование всевозможных альтернативных стратегий оформления структуры высказывания типа грамматической персонификации. Маркированность формального подлежащего распространяется не на все виды предложений, а только на те, где можно наблюдать деление информации на тему и ремю. В тех случаях, когда в высказывании присутствует только

новая информация (*It's raining* (дословно: *Дождит*)), наличие “it” не противоречит никаким законам логики. Об этом свидетельствует хорошая сохранность «метеорологических» глаголов, требующих безличных конструкций, во всех германских языках (ср. Ogura, 1986, p. 25, 28, 40; Bauer, 2000, p. 132), как и в индоевропейских языках вообще (Bauer, 2000, p. 97). То же относится к всевозможным неглагольным конструкциям типа *It's warm* (*Тепло*), где также нет темы, а есть только рема (“to be” здесь – это только глагол-связка).

Закрепление жёсткого порядка слов SVO в результате стремления к унификации языковых средств является, по мнению авторов книги “The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages”, причиной исчезновения имперсонала в германских языках, поскольку жёсткий порядок слов способствовал интерпретации первого элемента в качестве субъекта (“The Nordic Languages”, 2002, p. 195). Как мы показали выше, данная точка зрения является стандартной. Под унаследованным из индоевропейского имперсоналом авторы подразумевают конструкции с неноминативными субъектами и конструкции без «номинальных элементов» (“The Nordic Languages”, 2002, p. 20). Как и многие другие, они полагают, что индоевропейские языки движутся от порядка слов SOV (с доминированием темы) к SVO (с доминированием порядка слов) (“The Nordic Languages”, 2002, p. 195). Одновременно увеличивается частотность пассива, необходимого для компенсации исчезнувшего имперсонала. Следует добавить, что становление жёсткого порядка слов SVO обусловлено не только и не столько стремлением к унификации языковых средств (как полагают авторы “The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages”), сколько распадом системы флексий. Доступные на сегодня данные типологии языков мира демонстрируют, что слабая развитость флексий обычно позитивно коррелирует с жёстким порядком слов. Так, согласно энциклопедии “Language Typology and Language Universals”, 81 % языков без согласования и 69 % языков без падежной системы используют более или менее жёсткий порядок слов, а 84 % языков с согласованием и 63 % с падежной системой – более или менее свободный порядок слов (“Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 866).

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих различия между аналитическими и синтетическими языками в плане разграничения темы и ремы. В предложении *Гости так и не пришли* имеются в виду какие-то конкретные гости, уже обозначенные выше в контексте, то есть речь идёт о теме предложения (в английском слово *guests* употреблялось бы с определённым артиклем); в предложении *Гостей не было*, напротив, речь идёт о гостях вообще, не обозначенных выше, то есть речь идёт о реме, причём о второстепенной информации, когда больший акцент делается на глаголе (в английском определённый артикль в таких случаях не употребляется).

А. Вежбицкая приводит такие примеры: *Иван не читал ещё эту книгу* (акк.; подчёркивается определённый объект) = *Ivan hasn't read this book yet* vs. *Иван не читает книгу* (ген.; подчёркивается неопределённый объект) = *Ivan doesn't read books* (Wierzbicka, 1981, p. 56).

Таким образом, там, где в английском используются служебные части речи, в русском для выражения того же значения определённости / неопределённости используется падежное оформление. Для выражения определённости / неопределённости служит в русском и порядок слов, что соответствует 298-й универсалии из «Архива универсалий» университета Констанца: “In all languages: if there is no category definiteness/indefiniteness, then the change of the word order is used as a way of distinguishing the *given* (closer to the beginning of the sentence) and the *new* (closer to its end)” (“The Universals Archive”, 2007): англ. *The boy entered the room* (*Мальчик вошёл в комнату*); *A boy entered the room* (*В комнату вошёл мальчик*) (Комиссаров, 2000, с. 131); нем. *Der Schuljunge holte eine Zeitung* (тема > рема) (*Школьник принёс газету*); *Ein Schuljunge holte die Zeitung* (рема > тема) (*Газету принёс школьник*); *Der Schuljunge holte die Zeitung* (тема > рема > тема) (*Школьник газету принёс [а не унёс]*) (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 229). Акцентирование информации возможно и с помощью интонации: *Ты не знаешь, кто принёс видеокассету с «Щелкунчиком»?* / *Do you know who brought this video of “The Nutcracker”?* – *Чайковского любит Джон. Скорее всего, это он* / *John loves Tchaikovsky. It must be him*. Топикализация слова “Tchaikovsky” в английском варианте невозможна из-за жёсткого порядка слов (ср. *Tchaikovsky loves John*), поэтому носителям английского приходится в таких случаях делать акцент на определённом слове интонацией (Кондрашова, 2002, с. 132–133; ср. “Languages and their Status”, 1987, p. 99).

В отдельных случаях топикализацию с помощью порядка слов можно, однако, встретить и в более или менее аналитических языках, для этого используется формальное подлежащее: англ. *There was once a king*, нем. *Es war einmal ein König* (*Жил-был король*) (ср. Hirt, 1937. Bd. 7, S. 252). В исландском при неопределённости субъекта можно более точно передавать тематическое членение формальным подлежащим *það*: *Það sáu margir þessa mynd* или *Það hafa margir séð þessa mynd* (*Многие видели этот фильм*, дословно: [*Это*] видели многие этот фильм); *Það hefur einhverjum þótt Ólafur leiðinlegur* (*Кому-то Олаф показался надоедливым*, дословно: [*Это*] кому-то показался Олаф надоедливым); *Það hefur einhver köttur étíð músnar* (*Какой-то кот съел мышь*, дословно: [*Это*] какой-то кот съел мышь) (Andrews, 2001, p. 87, 89, 105).

В предложениях типа *Мне больно*, *Меня знобит* акцент делается не на говорящем, а на самом действии / состоянии; ср. «во всех случаях, когда выбор падает на безличные конструкции при наличии синонимичных личных, он объясняется необходимостью по тем или иным причинам устранить из речи обозначение производителя действия и носителя признака»;

«...безличные предложения незаменимы при необходимости выделить само действие и его результат» (Валгина, 2000). Местоимение здесь стоит на месте темы, а глагол или другая часть речи, несущая основную смысловую нагрузку, – на месте ремы, как тому и следует быть по правилам логики. Тот факт, что вместо именительного падежа используется дательный или винительный, дополнительно усиливает эффект акцентирования второго элемента, поскольку именительный падеж слишком «выпячивает» личность говорящего. Русский язык в этом отношении позволяет выделять различные оттенки смысла, которые при переводе на английский часто исчезают. *Я чувствую боль* звучит более лично, чем *Мне больно*, а *Мне больно* – более лично, чем *Больно*. При максимальном акценте на личности говорящего можно сказать *Боль чувствую я (а не Пётр Иванович)*. То же касается предложений типа *Его смыло волной*: ни «его», ни «волной» не несут здесь главной нагрузки. М. Грин на основе анализа глубинной структуры этой конструкции пришёл к выводу о том, что элемент в творительном падеже («волной») не является «скрытым» подлежащим, а выполняет скорее наречную функцию и принадлежит к реме высказывания. Соответственно, значение предложения *Его смыло волной* по смыслу отличается от *Волна смыла его*: в первом случае «волна» является новой информацией, во втором – старой, то есть темой; волна была упомянута выше в контексте или является второстепенной информацией (Leinonen, 1985, p. 84). «Его» в *Его смыло волной* является, по Грину, семантическим субъектом, под которым подразумевается участник обозначаемой ситуации, информация о котором отнесена к теме высказывания (Green, 1980, p. 41).

Некоторые учёные, в частности А. Мартинэ, при анализе эргативных конструкций пришли к выводу о том, что их центром является предикат (то есть переходный или непереходный глагол), а субъект и объект оказываются лишь уточнителями процесса, то есть вторичной информацией; в номинативных языках, напротив, акцентируются субъектно-объектные отношения (Гухман, 1967, с. 62; ср. Панфилов, 2002). Результаты более поздних исследований позволяют заключить, что в ещё большей мере это относится к активным языкам. По данным языковой статистики, с бóльшим акцентом на действии в активных языках позитивно коррелируют бóльшая развитость категории вида в ущерб категории времени (вторая больше развита в номинативных и эргативных языках), чувствительность валентности глагола к его значению, слабая развитость или отсутствие пассива (Wichmann, 2005). По всем трём параметрам русский больше похож на языки активного строя, чем английский, что свидетельствует о его относительной структурной близости к индоевропейскому языку, если тот был языком активного строя. Речь в данном случае идёт не о том, действительно ли имперсонал использовался для тематического членения на стадии дономинативности в индоевропейском языке, было ли слово «волной» субъектом или наречием (скорее всего, оно было всё-таки субъектом с дополнительно

подчёркнутой агентивностью); для нас важно то, как воспринимают носители языков номинативного строя доминативную конструкцию сегодня и в каком контексте они могут её использовать. Если *Его смыло волной* – пережиток эргативного или активного строя, то современный носитель языка, независимо от изначальных функций «его» и «волной», видит в ней, в первую очередь, возможность сделать акцент на самом действии и именно для этого её использует, то есть эргативная / активная конструкция была, возможно, переосмыслена в соответствии с грамматическими категориями нового строя и наполнена новым значением.

Рассмотрим несколько примеров другого плана. На Интернет-странице «Рыбалка – он-лайн» (www.fish.ru) в разделе фотографий на одном из снимков изображена огромная рыба, выскочившая из бассейна и схватившая человека за кисть руки. Подпись: «Укусило». В предложении нет ни субъекта, ни объекта, поскольку они и так видны на снимке. Описывать их дополнительно нет нужды, акцент делается только на действии. Таким образом, можно сказать, что опущенные подлежащее и дополнение здесь являются старой информацией, то есть темой, не нуждающейся в упоминании, а действие – ремой. Глагол стоит в безличной форме, хотя деятель известен. Ещё одна фотография, на которой изображён рыбак у реки, подписана «Клевало». Понятно, что клевала рыба, поэтому употребляется безличная форма, делающая акцент на самом действии, а не его производителе. Любопытен следующий случай: на одном из фото виден светящийся объект странной формы на чёрном фоне, подпись: «На лесной дорожке, летело параллельно машине». Употребление безличной конструкции здесь можно объяснить двояко: во-первых, объект и так виден на фото (старая информация часто опускается); во-вторых, автор снимка не знает, что именно он увидел, а при неопределённости / неизвестности субъекта также употребляется имперсонал. Кроме того, в русском часто опускают подлежащее *нечто* (или *что-то*), и потому грань между личными и безличными предложениями довольно прозрачна.

В примерах такого рода мы обычно имеем дело с большей гибкостью русского в акцентировании сказуемого, по сравнению с английским. Особенно примечательно, что форма 3 л. ед. ч. употребляется в русском иногда и в тех случаях, когда производитель действия явно одушевлён и известен говорящему (*Клевало*). Если существует какое-то более или менее обоснованное доказательство эллиптичности безличных конструкций типа *Его зашатало*, то искать его следует именно в этой особенности русского синтаксиса. В этом контексте можно также вспомнить один отрывок из рассказа А.П. Чехова «Беспокойный гость», где безличная форма наверняка относится к человеку, но человеку неизвестному, неопределённому, из-за чего место подлежащего пустует: «Но рванул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донёс явственный крик: "Караул!" [...] Охотник бесцельно поглядел в окно и прошёлся по избе. – Ночь-то, ночь какая! – про-

бормотал он. – Зги не видать! Время самое такое, чтоб грабить. Слышь? Опять **крикнуло!**»

Глаголов, охватывающих безличными формами действия одушевлённых агентов, однако, крайне мало, поэтому можно сказать *Клевало*, но нельзя – *Строило*; *Ехало*; *Пробивало стену*; *Готовило ужин*; *Поругалось за завтраком с тёщей* и т.д. В этом контексте можно вспомнить приводившуюся выше цепочку прототипичности деятеля, где человек занимал более высокую позицию, чем животные, а животные – чем всё неживое. Очевидно, имперсональные формы наиболее характерны для неживого, ещё могут употребляться в определённом контексте для описания действий животных, но практически никогда – для описания действий людей. Нечистая сила мыслилась, очевидно, ближе к животному миру. Формы типа *Крикнуло* в предыдущем примере выражают некоторое сомнение в том, что кричит человек, и отражают веру в существование злых сил, увлекающих людей. Таким образом, иногда безличные конструкции используются для удаления темы (производителя действия) из высказывания, если он и так известен или, наоборот, неизвестен, неопределён, если речь идёт не о людях. Вместо агенса акцентируется действие / состояние. Хотя такие конструкции можно употреблять и для описания действий потусторонних сил, данный контекст не является доминирующим; напротив, он практически не встречается. Как уже говорилось в предыдущих главах, английский склонен в таких случаях прибегать к пассиву. Чтобы найти пример *Крикнуло*, в котором форма 3 л. ед. ч. ср. р. относится (с высокой долей вероятности) к человеку, мы просмотрели огромный массив художественной литературы, поэтому такое употребление безличной формы можно отнести к периферийному.

Чтобы подтвердить, что «потусторонний» контекст для наиболее распространённых типов имперсонала нельзя назвать доминирующим, рассмотрим несколько примеров типа *Его смыло волной*. Все примеры взяты из описанных выше корпусов русской художественной литературы методом сплошной выборки. Во всех случаях дополнение, на которое обращено действие, является старой информацией (стоящей на первом месте), действие – центром высказывания (новой информацией), а производитель действия – второстепенной информацией (часто опускающейся). По нашему мнению, данная конструкция наиболее часто употребляется для акцентирования действия в тех случаях, когда деятель неизвестен, не важен, отсутствует или легко восстанавливается по контексту (чаще всего). Крайне редко в художественной литературе можно встретить примеры, когда под деятелем / причиной действия подразумевается некая роковая сила, предопределяющая судьбу человека.

*Тяжело упала волна впереди. Прокатилась с грохотом сзади. Ещё, и ещё, и ещё... Серёжка упал на живот, и – его **понесло** (В.С. Пикуль. Океанский патруль).*

Деятель восстанавливается по контексту (течение).

*После еды дезертир присел на лавку, его **разморило** от избыточного тепла и сытости (В.С. Пикуль. Океанский патруль).*

В центре высказывания стоит процесс, выраженный глаголом; причины процесса высказываются тут же (тепло и сытость).

*В узком кормовом коридоре его **зашатало**, как в шторм, бросая плечами от одной переборки к другой (В.С. Пикуль. Океанский патруль).*

В центре высказывания – процесс, каузатор ситуации восстанавливается по контексту (плохое самочувствие).

*Труднее всего было идти Василию Хмырову. Сорвавшимся во время взрыва дальномером его **ударило** в спину, когда он висел на штурвале, и теперь у него часто шла горлом кровь (В.С. Пикуль. Океанский патруль).*

Деятель / причина действия / каузатор ситуации восстанавливается по контексту (взрывная волна, удар дальномером).

*Кормовая пушка разбита снарядом: её **развалило** на две ровные половинки, словно раскрыли футляр от скрипки (В.С. Пикуль. Океанский патруль).*

Деятель / причина действия / каузатор ситуации восстанавливается по контексту (взрыв).

*Гапон ворвался в комнаты, крикнул: Вина-а!.. Выпил два стакана подряд, его **трясло** (В.С. Пикуль. На задворках Великой империи).*

Деятель / причина действия / каузатор ситуации восстанавливается по контексту (опьянение, нервное возбуждение).

*Корчевский стоял, держась за виски, и его **шатало**, как пьяного (В.С. Пикуль. На задворках Великой империи).*

Деятель / причина действия / каузатор ситуации восстанавливается по контексту (недомогание).

*И вдруг в тоске одиночества его **рвануло** навстречу этой женщине (В.С. Пикуль. На задворках Великой империи).*

Каузатор ситуации восстанавливается по контексту (влечение к женщине).

Местные женщины не пускали на паром танк с надписью на броне: «Вперёд на запад!»

*Ишь, какой шустрый, уже и за Волгу его **потянуло** (В.С. Пикуль. Площадь павших борцов).*

Предполагаемая женщинами причина действия (попытки захватить на паром) – трусость, страх за свою жизнь.

*Наконец, немцы оседлали автостраду Москва-Ленинград, выбрались на пригородное шоссе, где под снежными шапками притихли подмосковные дачи. Их **вынесло** прямо к автобусной остановке, верстовой указатель показывал, что до Москвы оставалось 38 км (В.С. Пикуль. Площадь павших борцов).*

В данном случае можно действительно предположить действие неких роковых сил, но также и обычное стечения обстоятельств.

*Вот видишь, упрекнула его Коко, лучше сидеть у телефона и карт в Цоссене, где всё гигиенично. А тебя **потянуло** к этому забулдыге Рейхенау, которого сам чёрт не берёт (В.С. Пикуль. Площадь павших борцов).*

Как и во многих других случаях, форма «потянуло» здесь выражает нежелание или неспособность говорящего понять мотивацию действий другого лица. Ничего мистического, никакого перста судьбы здесь нет.

Рулевой шагнул вниз, но с трапа его сорвало сильным ударом в днище миноноски (В.С. Пикуль. Три возраста Окини-сан).

Рема высказывания – глагол *сорвало*, объект действия уже был упомянут, производитель действия является второстепенной информацией.

На высоте он оценил подвиг матросов: купол храма покрывал скользкий иней, его обдувало свирепым, обжигающим ветром (В.С. Пикуль. Три возраста Окини-сан).

Рема высказывания – глагол *обдувало*, объект действия уже был упомянут, производитель действия и так понятен (чем ещё может обдувать, если не ветром?).

Газеты врут: Вильгельм Карлович не просто убит – его разорвало, как тряпку, от него осталась одна нога с ботинком (В.С. Пикуль. Три возраста Окини-сан).

Рема высказывания – глагол «разорвало», объект действия уже был упомянут, производитель действия является второстепенной информацией.

«Буйный» взлетал на гребень волны, потом его опускало вниз, и было слышно, как потоки воды омывают его палубу (В.С. Пикуль. Три возраста Окини-сан).

Рема высказывания – глагол «опускало», объект действия уже был упомянут, деятель (шторм, стихия) восстанавливается по контексту.

Коковцев очнулся от резкой качки, он лежал на койке в знакомой каюте, перевернулся на бок, его тошнило, над ним болталась штора из голубого бархата, концом её он вытер рот, дёрнул «грушу» звонка, вызывая кого-либо с вахты, вестовой явился в белом фартуке, словно заправский официант (В.С. Пикуль. Три возраста Окини-сан).

В центре высказывания – действие («тошнило»), деятеля нет (или же деятель / причина действия / каузатор ситуации – недомогание). Едва ли можно предположить, что за формой 3 л. ед. ч. здесь может скрываться нечто живое и активное, некая таинственная сила.

Теперь, когда в Москве, наверху, сидели свои, Пётр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его прорвало, и тут в особенности понадобился Лефорт: без него хотелось и не зналось... (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

В центре высказывания – глагол, производителя действия не существует (или же это нетерпение, желание развлекаться), причина действия («его прорвало») вполне ясна из контекста («в Москве, наверху, сидели свои»).

Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

В центре высказывания – глагол. Если бы в центре высказывания был ветер, то оно звучало бы следующим образом: *Красный плащ его надувал ветер.*

«Победы!» – взревел, потрясая своды, пышно облачённый архидьякон, – красные розы, вытканые на ризе его, затащило клубами (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

В центре высказывания – глагол «затащило».

Большие глаза её заволокло слезами (А.Н. Толстой. Пётр Первый).

В центре высказывания – глагол «заволокло». Данная конструкция очень часто употребляется с глаголами, сочетающимися только с одним или двумя-тремя существительными, из-за чего причину действия легко угадать по контексту и даже без него.

*На зеркальной излуине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда: лодки, паузки, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры, с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме... Все – только что с верфи. Течением их **покачивало** (А.Н. Толстой. Пётр Первый).*

Данный случай является скорее исключением, поскольку производитель действия стоит не после глагола, как это обычно бывает, а перед ним. Выше в контексте уже было упомянуто, что суда стоят на воде (а не на берегу), поэтому автор счёл течение старой информацией. В предыдущих примерах производитель действия принадлежал к реме, то есть не упоминался выше в контексте.

*Она не помнила, как пробежала через комнаты, её **снесло** с крыльца, точно ветром, и от всего благодарного, несчастного сердца она обхватила шею юноши своими ловкими сильными руками и, заплаканная, полуголая, горячая после материнских объятий, прижалась к нему всем телом (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).*

Причина действия – порыв чувств.

*Их **обдало** донельзя спёртым, смрадно-тёплым воздухом (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).*

«Обдавать» принадлежит к тем глаголам, которые сочетаются с немногими существительными, из-за чего угадать причину действия или его производителя особенно легко.

*Армия наша ушла. Немец нас захватил. Семью я не увижу. Может быть, никогда не увижу. А на душе у меня **отлегло** (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).*

Один из многих случаев, когда субъект устранён и из мысли. При всём желании домыслить некоего деятеля невозможно.

*– Где тебя **носило**? Мы думали, може, эвакуировался, може, убит (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).*

Глагол «носить» в данном значении часто употребляется в контексте, имеющем отношение к судьбе, воле каких-то высших сил, к последствиям стечения обстоятельств.

*Пробежал там с покупками Степка; но за дрова он от Степки, как шаркнет, потому что его **осенило**:*

– «Оно – в металлическом месте...» (А. Белый. Петербург).

Глагол «осенить» употребляется либо по отношению к воздействию некой внешней силы, которая, как полагает автор, может даровать вдохновение, либо, значительно чаще, – в качестве синонима выражения «приходить в голову».

*Что-то его **осенило**: и пружинными, лёгкими побежал он шагами к перекрёстку двух улиц; на перекрёстке двух улиц (он знал это) из окна магазина выпрыскивал переливчатый блеск... (А. Белый. Петербург).*

Изредка безличные глаголы типа *осенить* употребляются с неким очень расплывчатым в своём значении подлежащим («что-то», «нечто»), подчёркивающим, что человек является в данном случае объектом внешней и непонятной силы. Предложения с более определённым подлежащим (типа *Его осенило высказывание из Библии*) нам не попадались, но, возможно, существуют.

*Часы проходили за часами. Его **бросало** то в жар, то в озноб (Д.С. Мережковский. Воскресшие боги).*

Акцент делается на действии, а не на его объекте и причине.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покорило (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

«Коробить» – один из глаголов, очень редко сочетающихся с подлежащим, поскольку причина действия или состояния обычно ясна из контекста.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так без цели на улицу (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

В «его поманило» подчёркивается спонтанность действия, возможно, вызванная какими-то необъяснимыми или не совсем понятными факторами. С другой стороны, часто обороты такого рода употребляются только для того, чтобы подчеркнуть резкую смену настроения, появление нового желания.

Она стала сходить с ума. Ёе тянуло бросить всё знакомое и испытанное и начать что-то новое (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

Причина состояния уже упомянута в первом предложении и не нуждается в дальнейших комментариях.

Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у неё слишком вбок и её защемило в раме (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

Авторы, которые видят в данной конструкции (аккузатив + глагол на -ло) отражение русского иррационального мировоззрения, обычно обходят примеры, где объектом действия становится неодушевлённый предмет. Действительно, довольно трудно представить себе, что в данном случае заскочившая каретка стала жертвой провидения или каких-то иных высших сил. По нашему мнению, автор просто хотел сделать акцент на факте защемления, а не на сопровождающих этот факт обстоятельствах.

У его научной мысли и музыки нашлось ещё большее количество неизвестных друзей, никогда не выдавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

Хотя примеры такого рода довольно часто приводятся для доказательства русской иррациональности (людей тянуло вопреки их воле), мы не видим здесь ничего нелогичного, неволевого и навязанного извне. В данном случае видно, что людей тянуло к персонажу по вполне конкретной причине, а именно из-за их симпатии к его научной мысли и музыке. В английском то же значение передаётся пассивом: *Here, though without any taste for magnificence himself, he usually entertained at his table the learned and polite of Europe, who were attracted by a desire of seeing a person from whom they had received so much satisfaction* [O. Goldsmith. The Citizen of the World, or Letters from a Chinese Philosopher. English and American Literature, S. 74023].

При воспоминании о муже её передёрнуло от брезгливости (В.С. Пикуль. Фаворит).

Производителя действия нет; причина действия, однако, ясна – брезгливость к мужу. Автор делает акцент на действии.

Вечером Natalie изнемогала от тяжести парчи из серебра, выносливости её хватило лишь на два менюэта (В.С. Пикуль. Фаворит).

Употребление имперсонала предписывается здесь, как это нередко бывает, самим языком, конструкция типа *Выносливость хватила ей лишь на два менюэта* невозможна.

*Сегюр появился на балу в Зимнем дворце, его **закружило** в вихре парчи и золота, алмазов и кружев, сарафанов и кокошников (В.С. Пикуль. Фаворит).*

В этом случае едва ли можно предположить, что персонаж романа стал объектом действия некой высшей силы или собственной иррациональности. Очевидно, автор хотел акцентировать само действие, а не то, как и по какой причине оно происходило.

*Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его **занесло** в Москву (Ю.Н. Тынянов. Пушкин).*

Данный пример демонстрирует, что глагол *занести* вполне может относиться и к вполне обычным житейским обстоятельствам. Никакого влияния провидения или иррационального мировоззрения персонажа здесь не угадывается. Очевидно, под причиной действия здесь подразумеваются жизненные обстоятельства.

*В одну ночь его **скрутило**. Он мычал таким страшным голосом и его так **подбрасывало**, что Палашка к утру послала в город за лекарем (Ю.Н. Тынянов. Пушкин).*

Причина состояния – болезнь – легко угадывается по контексту, акцент делается на последствиях болезни.

*– Он умер, – сказал он тихо, – в госпитале. Рот его **перекосило** (Ю.Н. Тынянов. Пушкин).*

Конкретного производителя действия нет, причина действия ясна по контексту, акцент делается на том факте, что рот перекосило.

*По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; потом их **смывало**, и вода молодела (Ю.Н. Тынянов. Пушкин).*

«Смывать» принадлежит к тем глаголам, которые сочетаются с ограниченной группой существительных (жидкости), поэтому установить производителя действия особенно легко по контексту и даже без него.

*В то время он начинал уже отвыкать от своих сверстников – его **тянуло** к взрослым парням: они привлекали его своей грубой, независимой, веселой жизнью, работой до ночи, плясками до утра, полуночными вылазками к девкам (А.А. Фадеев. Последний из удэге).*

Говорящий вполне осознаёт, почему его тянуло к взрослым парням, поэтому говорить о его иррациональности и тем более о действии высших сил неуместно. Как и во всех предыдущих случаях, использование безличной конструкции объясняется желанием автора подчеркнуть само действие, а не его причину.

*Его **обдало** запахом испарений от стираного белья (А.А. Фадеев. Последний из удэге).*

«Обдавать» принадлежит к группе глаголов ограниченной сочетаемости, особенно часто встречающихся в безличных конструкциях.

*Охота у нас, малец, на белок... Восемь гривен шкурка в старое время. А убивали мы их по триста, по четыреста на человека за зиму... А то один год – был я ещё мальцом вроде тебя – так много их **навалило**, по хатам бегали (А.А. Фадеев. Последний из удэге).*

Производитель действия был упомянут выше и больше не нуждается в акцентировании.

*Не успел я броситься ему на помощь, меня **свалило** ветром: медведь и Монгули летали уже по воздуху!.. (А.А. Фадеев. Последний из удэге).*

Акцентируется не сам ветер, а действие, которое он произвёл на говорящего.

Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа; но Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение – упоительное состояние перед выше-средним шантажом (И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев).

Причина действия здесь называется самими авторами в другом предложении – вдохновение. В английском для передачи того же смысла используется личная конструкция, что, однако, не делает её более «волитивной», чем русскую безличную, так как говорящий не может остановиться вопреки своей воле: *I was sure she was with me, and I could not help talking to her* [Е. Brontë. *Wuthering Heights*. English and American Literature, S. 11621].

Окровавленное лицо корнета Краузе вдруг выскочило у него перед глазами. Его охватило животным ужасом и отвращением почти паническим (М.П. Арцыбашев. У последней черты).

Альтернативное предложение *Ужас и отвращение охватили его* подчёркивало бы действие в значительно меньшей мере.

Его колотило двойным ознобом – ознобом лихорадки и ознобом мысли (Л.С. Соболев. Капитальный ремонт).

Сначала делается акцент на действии, а затем – на его причине.

Даже весёлый снег, вчера ещё так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толчёные орехи, халва-халвой, – совсем его развезло на площади (И.С. Шмелёв. Лето Господне).

Данный пример демонстрирует, что производителем действия в конструкциях такого рода изредка выступают и люди (или же автор имел в виду управляемые людьми средства передвижения, будь то телеги или сани).

Да, попробовать окатиться, тазов полсотни. Всегда мне и при кашле помогало, и при ломотах каких... Вон, той весной, на ледоколье в полынью валился, как меня скрючило!.. А скатился студеной – рукой сняло (И.С. Шмелёв. Лето Господне).

Производителем / причиной действия здесь является холодная вода.

Фрида протянула обе руки к Маргарите, но Коровьев и Бегемот очень ловко подхватили её под руки, и её затерло в толпе (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита).

В данном случае можно было бы сказать, что производителем действия здесь являются люди, но значительно более вероятно всякое отсутствие каузатора (или же каузатор – движение людей).

– Прошу глядеть вверх!... Раз! – в руке у него показался пистолет, он крикнул: – Два! – Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: – Три! – сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Производитель действия ясен, но играет второстепенную роль.

Он вдруг вспомнил, как за чайным столом его подмывало придраться к Алексею Алексеевичу и оборвать эту «либеральную шельму», готовую за изрядный куш подать иск на самого Господа Бога (Николай доподлинно знал подноготную г. Присухина) (К.М. Станюкович. Два брата).

Этот пример демонстрирует, что безличные конструкции, употребляющиеся для выражения немотивированных и нелогичных действий, используются и для описания абсолютно прозрачной, с точки зрения логики, мотивации того или иного поступка или

душевного состояния. Здесь персонаж, о котором идёт речь, хочет придаться к Алексею Алексеевичу потому, что хорошо знает негативные стороны биографии и/или характера последнего.

Подводя итог, смысл конструкций типа *Его убило молнией* можно сформулировать следующим образом: живой или неживой объект (тема) подвергается воздействию, стоящему в центре высказывания (ремы), причём производитель действия (или же его причина, каузатор действия / состояния) практически всегда восстанавливается по контексту, но может быть и неясен. Производитель действия, если вообще указан, всегда неодушевлён. Крайне редко в нём угадывается неподконтрольная человеку высшая сила (провидение, судьба), но обычно это некие жизненные обстоятельства, силы природы или предметы. Едва ли данная конструкция может быть отнесена к доказательствам иррациональности русского менталитета, так как практически во всех случаях авторы используют её для подчёркивания действия в контексте, где производитель этого действия и так понятен или валентность глагола его не требует. То же относится и к конструкции «датель + глагол на -ло», что видно по следующим примерам.

Я тебя своими мыслями занимаю и, верно, тебе надоело, а ты и не скажешь... (К.М. Станюкович. Два брата).

Причина состояния ясна по контексту (*Я тебя своими мыслями занимаю*). Довольно часто в предложениях с глаголом *надоедать* в качестве подлежащего выступает придаточное предложение: *Ему надоело, что...* В английской лингвистике такие глаголы иногда называют «квазибезличными» (Ogura, 1986, p. 14).

Ему повезло. Никто из немецких солдат не поселился у Пелагеи Ильиничны: в городе даже по соседству можно было найти дома попросторней, получше (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).

Производителя действия нет вообще (или же производитель действия – случай, судьба).

Правда, когда Жора пытался проникнуть взором в туманное будущее, ему льстило, что Люся будет вполне свободно владеть тремя иностранными языками, но всё же он считал такое образование недостаточно основательным и был, может быть, не так уж тактичен, пытаясь сделать из Люси инженера-строителя (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).

Здесь в качестве подлежащего выступает придаточное предложение. В английском в таких случаях часто используется пассив (*He was flattered by...*).

*Иван Федорович стоял, не чувствуя мороза, грудь ему **распирало**, он жадно вдыхал морозный воздух и не удерживал слёз, катившихся из глаз его и замерзавших на щеках* (А.А. Фадеев. Молодая гвардия).

Производитель действия восстанавливается по контексту (дыхание), акцент делается на самом действии.

Он сделал к ней шаг, и в лицо ей **пахнуло** нездешним холодом (Д.С. Мережковский. Воскресшие боги).

Здесь и далее примеры, где просто делается акцент на действии, а его производитель неясен, уже известен или не играет никакой роли, больше комментироваться не будут.

Но на этот раз не **суждено** ему было произнести достопамятного изречения: у входа в пещеру слышалось фыркание лошади, топот копыт, заглушённые голоса (Д.С. Мережковский. Воскресшие боги).

Глагольная форма «суждено» является одной из немногих, в которых действительно отразилась вера в судьбу и высшие силы.

– Пусты меня во взвод...

– Во взво-од?.. С чего это тебе **приспичило**? (А.А. Фадеев. Разгром).

Ударом бревна мне **переломило** ногу, – но это тогда, когда мы – ещё неумело – валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на картинке (А.П. Гайдар. Горячий камень).

«Все мы хамы и негодяи!» – правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему **полегчало** (А.П. Платонов. Чевенгур).

– Тебе **подфартило**, братец ты мой, а я таки много прежде натерпелся, пока не нашел места и сделался возчиком... (К.М. Станюкович. Похождения одного матроса).

Ещё один глагол, отразивший веру в судьбу. С другой стороны, можно расценивать его как обозначение счастливой случайности без какого-либо вмешательства высших сил.

Наконец остановился возле двух матросов. Один матрос сказал другому: «Что? На приколе сидишь, скоро зад обрастёт ракушей?» – «Да, не везёт, всю кормушку нам **разворотило**», ответил второй (В.С. Пикуль. Океанский патруль).

Почему именно на нас пал выбор, почему вас сюда, сюда, к нам **угораздило**? (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго).

Ещё один глагол, который может отражать как влияние на жизнь человека каких-то высших сил, так и стечение обстоятельств или даже результат непредвиденного поведения.

На минуту показалось даже, что в нос мне **ударило** теми самыми – детскими, лимонадными, пробочными, плесенными – запахами (А.И. Пантелеев. Экспериментальный театр).

И вот как подавал я им артишоки, **замутило-замутило** меня, дрожание такое в груди (И.С. Шмелёв. Человек из ресторана).

Сергей посмотрел, но глаза ему **слепило** солнцем, и он никого не видел (А.П. Гайдар. Военная тайна).

Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему **заложило** глотку (М.А. Булгаков. Записки юного врача).

Последняя граната, пробив стену, попала под стол, за которым сидел Корнилов. Его **подбросило** кверху, **ударило** об печь: ему **раздробило** висок и **переломило** бедро (Р.Б. Гуль. Конь рыжий).

Но православный Данило ответил на его вопрос, подумав:

– Ум ему **затмило**, то уж видно... (С.Н. Сергеев-Ценский. Преображение России).

А тут ему **приспичило** ехать куда-то, немцу тому, по делам по своим, дня на три... (С.Н. Сергеев-Ценский. Преображение России).

И не успела она договорить, как с первой фразы, долетевшей из-за стенки, ей **сдавило** горло, и слезы сами покатались из глаз (М. Садовский. Фитиль для керосинки).

Если бы ему **приспичило**, он мог бы остановить солнце, не то что пароход (Б. Казанов. Осень на Шантарских островах).

Парень отрицал, что сунулся под пули, чтобы спасти командира. Ему **пробило** лёгкие и печень (Д.Н. Каралис. Автопортрет).

Вся эта орава пёрлась куда-то по улице и едва миновала здание, как нам **приспичило** выйти (С.В. Лукьяненко. Фальшивые зеркала).

Людским водоворотом к нам **прибило** того самого проворного юнца, что польстился на шоколадные конфеты (Ю.С. Буркин, С.В. Лукьяненко. Царь, царевич, король, королевич...)

Уколов каких-то ему понатыкали, внутренние органы промыли, и Гордеев очухался и весь диван и пол вокруг дивана обгадил – **вывернуло** его навыворот – и после этого ему **полегчало** очень заметно, и он с дивана ноги свесил и сел (А.З. Хургин. Как-кая-то ерунда).

Отключив головки самонаведения, я выстрелил «болтом» навскидку – как по тарелочке. Взрывом ему **оторвало** лопасть ротора, он затрясся и стал разваливаться (А.Г. Лазарчук. Иное небо).

Компания эта была исключительно тёплая и жизнерадостная – как будто им **повыбивало** критические центры; не исключено, кстати, что так оно и было (А.Г. Лазарчук. Зеркала).

Когда приземлялся на лоб в заключительной третьей стадии, сзади хрустнула дверная броня, как кусок сахара, а следом фукнула взрывчатка. Мне **поддало** под зад, **перевернуло** и **вленило** (sic) в стенку (А.В. Тюрин. В мире животного).

Зазвенов, разлетелось переднее стекло. Осколком мне **оцарапало** лоб, соленая вода ударила в лицо, вышибая дыхание (С.В. Лукьяненко. Близится утро).

– Ромка, тыходишь со своего компьютера?

– С отцовского. Мне **влетало** всегда, если заставляли в виртуальности. Отец думает, будто тут сплошной разврат и мордобой (С.В. Лукьяненко. Лабиринт отражений).

Во мне **прорвало** невидимую плотину, и я почти закричал:

– Толик, я не могу с ними, они там все не люди, а роботы, им никого не жалко, ты один нормальный, да и то... (С.В. Лукьяненко. Рыцари сорока островов).

Одна соседская бабка посоветовала купать тебя в отваре череды, другая велела заваривать ромашку. И я заваривал череду и заваривал ромашку. Заварил бы и чёрта лысого, лишь бы тебе **полегчало** (Д.И. Рубина. Двойная фамилия).

Конструкция «датель + глагол на -ло» (*Ему полегчало*) примечательна в следующих отношениях:

а) по сравнению с конструкцией «аккузатив + глагол на -ло» (*Его ранило*) она встречается реже;

б) производитель действия в ней обычно не указывается, хотя есть много исключений;

в) как и в accusative construction, в центре высказывания стоит глагол, являющийся ремой;

г) в обеих конструкциях на первом месте стоит тема;

д) только в единичных случаях можно угадать за формой глагола действие каких-то высших сил.

Коммуникативный принцип «тема > рема» не нарушен, чего нельзя сказать о большинстве английских конструкций с формальным подлежащим.

8.2. Маркированность / естественность подлежащего

На нелогичность формулировок типа *It seems to me* указывает тот факт, что больные моторной афазией, то есть речевым расстройством, вызванным травмой мозга (нижних отделов премоторной коры левого полушария), зачастую не в состоянии понять предложения, в которых подлежащее не имеет семантического наполнения, в том числе и предложения с формальным подлежащим. Трудны для них и формы, где подлежащее с макроролью производителя действия не относится к живому существу (*Вода точит камень; Волна смыла жука*), или где и субъект, и объект являются одушевленными (*Саша кормит птиц*). Очевидно, на подсознательном уровне человек наиболее легко воспринимает структуры типа «субъект (одушевленный, производитель действия) > глагол > объект (неодушевленный)»: *Саша бросает камень* (Maser, 1994; Yinghong, 1993, S. 21), поэтому в языках мира независимо от их происхождения и структуры подлежащим чаще всего является одушевленный производитель действия, а дополнением – нечто неодушевленное; при невозможности построить такое предложение с помощью стандартной конструкции прибегают, среди прочего, к пассиву: нем. *Der Mann wurde von einem Stein erschlagen* (*Человек убит камнем*) вместо *Der / Ein Stein erschlug den Mann* (*Камень убил человека*) (Hettrich, 1990, S. 90).

Любопытно также, что больные афазией и дисграмматизмом склонны воспринимать предложения с порядком слов OVS как SVO, поскольку интуитивно чувствуют, что подлежащее должно занимать крайнюю левую позицию в предложении (Yinghong, 1993, S. 21). В собственных высказываниях они пользуются сериализациями SVO и SOV, что доказывает естественность конструкций, начинающихся с субъекта. Тема в их речи обычно выражается перед ремой и совпадает с агенсом, все высказывания строятся по принципу «я-здесь-сейчас». То же наблюдается и у здоровых носи-

телей языка, но в меньшей степени (ср. Dixon, 1979, p. 93). Больные не могут воспринимать те элементы грамматики, где семантическая мотивация подменяется синтаксической, например, непрозрачный в своей мотивации выбор генитива у немецкого глагола “gedenken” («поминать кого-то»). Все флексии и грамматические морфемы они либо опускают, либо путают; свою речь они редуцируют до того грамматического состояния, которое, как мы видели выше, возможно, было характерно для древнейшей стадии индоевропейского языка – до несклоняемых существительных и частей речи, похожих на существительные (партиципов и инфинитивов) (Yinghong, 1993, S. 8, 32).

Поскольку формальное подлежащее выполняет чисто синтаксическую функцию, оно часто опускается больными афазией, что также подтверждает его маркированность. Вот, например, отрывки из высказываний немецких афатиков: *Nein / und [es ist] immer warm...* – *Нет, и всегда тепло* (в квадратных скобках указано опущенное формальное подлежащее и соответствующий вспомогательный глагол); *Ne / und im Wald [gibt es] Licht* (*Нет, в лесу светло*; дословно: *есть свет*); *[Es gibt] kein Dschungel* (*Джунглей нет*); *Aber [es ist] trocken und die Flüsse [sind] ausgetrocknet und dann...* (*Но сухо, и реки высохли, и тогда...*); *Ja / und / wenn [es] im Winter / glatt war, [wenn es] kalt [war] und / der das Eis ist glatt aber [es hat] nicht / nicht geschneit dann haben wir Schlittschuhe...* (*Да, и когда зимой было скользко, когда было холодно, и был скользкий лёд, но при этом не шёл снег, тогда мы на коньках...*) (Seewald, 1998, S. 65, 95).

Психолингвистические эксперименты с носителями различных языков неизменно показывают, что под темой высказывания (выражаемой обычно подлежащим) чаще всего подразумевается живое существо, являющееся исполнителем действия; иерархия живых существ выглядит следующим образом: 1 лицо > 2 лицо > 3 лицо > животные > абстрактные понятия и всё неживое (Siewierska, 1984, p. 221–222; ср. “Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 1267; Степанов, 1989, с. 15; Dixon, 1994, p. 84–85; Dixon, 1979, p. 85–86). В различных языках предложения, где подлежащее имеет живого референта, стоит в самом начале, является темой высказывания и несёт агентивную функцию, воспринимаются легче всех остальных типов (Siewierska, 1984, p. 222; ср. Comrie, 1983, p. 101; “Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 1415; Givón, 1985, p. 1012). В определённой мере с этим коррелирует и тот факт, что, по данным исторической лингвистики, первичным значением именительного падежа в индоевропейском языке было некое обобщённо-агентивное представление, сочетающееся с синтаксической позицией подлежащего; «подобное совмещение агентивного значения и позиции подлежащего рассматривается также как своеобразный прототип (лучший образец) для реализации последнего» (Зеленецкий, 2004, с. 117; ср. Green, 1980, p. 230; Климов, 1977, с. 46; Klamer, 2007; Dixon, 1979, p. 86).

Именно одушевлённые объекты стали, по мнению М. Дейчбейна, первыми отчётливо восприниматься в качестве подлежащего в те времена, когда

разница между подлежащим и дополнением в индоевропейском языке на грамматическом и, видимо, мировоззренческом уровне практически отсутствовала (Кацнельсон, 1936, с. 25–26; Deutschbein, 1918–1919. Bd. 2, S. 37). Поскольку формальное подлежащее не только не совпадает с темой, но и не несёт никакой агентивной функции (как и вообще никакой семантической макроролли), это делает его ещё менее естественным (или, другими словами, ещё более маркированным).

После распада индоевропейского на отдельные языки на месте подлежащего стали всё чаще появляться неодушевлённые и/или пассивные субъекты. Ю.С. Степанов отмечает, например, что на древнейшей стадии развития индоевропейского, когда он ещё принадлежал к языкам активного строя, противопоставление активных существей неактивным выражалось особенно ярко (в позиции субъекта оказывались только активные), но в процессе перехода к номинативному строю на месте субъекта всё чаще стали появляться и неактивные существа, будь то предметы или абстрактные понятия, то есть всё неживое, «неагентивное» (Степанов, 1989, с. 15). С этой точки зрения для русского, сохранившего многочисленные характеристики более древних языковых стадий, использование неактивной сущности на месте субъекта менее типично, чем для английского; отсюда относительно редкое использование «грамматической персонификации» в русском (Казакова, 2001, с. 211)¹, ср.: *The book sells 10.000 copies* (Было продано 10 000 экземпляров книги), то есть объект действия на грамматическом уровне превращается в активный субъект, поскольку чем-то надо заполнить место подлежащего; *The article says about the new trends in economy* (В статье сообщается о новых тенденциях в экономике); *The trees drop honey* (С деревьев капает мёд).

П. Зимунд связывает возникновение грамматической персонификации со становлением жёсткого порядка слов в английском, его примеры: *The tunnel is seeping water* – В туннель протекает вода; *The dead bird is dripping blood* – С мёртвой птицы капает кровь; *My guitar broke a string* – На моей гитаре порвалась струна (Siemund, 2004, S. 184). Часто на месте субъекта-агенса в английском стоит обозначение времени, то есть подлежащее заменяется обстоятельством времени: (*The last week saw an intensification of diplomatic activity* (На прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической деятельности)), или обозначение пространства, то есть подлежащее заменяется обстоятельством места (*The little town of Clay Cross today witnessed a massive demonstration* (Сегодня в небольшом городке Клей-Кросс состоялась массовая демонстрация)). В этих двух предложениях неделя и город представляются будто видящими живыми существами (*the last week saw, town of Clay Cross today witnessed*), хотя носителям языка, несомненно, понятно, что это не так.

¹ Ср. «Именно на почве стремления построить во что бы то ни стало предложение с глаголом в личной форме в английском языке, очевидно, стало возможным сочетание несовместимых в семантическом отношении глаголов действия с существительными, не обозначающими деятеля. Так, русским сочетаниям: *В статье говорится...*, *В коммюнике сообщается...* в английском соответствуют: *The article says...*, *The communique says...* Тем самым неодушевлённые предметы как бы персонифицируются» (Аполлова, 1977, с. 21).

Характерно появление на месте субъекта инструмента действия: *The key opens the door* (Дверь открывается ключом; дословно: Ключ открывает дверь) (“Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 1415). Ниже приведено ещё несколько примеров грамматической персонификации.

The Dictionary sells well [J. Boswell. *Life of Johnson. English and American Literature*, S. 6349] – Словарь продаётся хорошо.

It is, unquestionably, the most accurate and beautiful edition of this work; and there being but a small impression, it is now become scarce, and sells at a very high price [J. Boswell. *Life of Johnson. English and American Literature*, S. 8181] – ...издание... продаётся по очень высокой цене.

“History of the Navy” is published and sells well until it is attacked in the press by partisans of Commodore Oliver Hazard Perry for its account of the controversial Battle of Lake Erie [J.F. Cooper. *Biography. English and American Literature*, S. 28559] – «История флота» была напечатана и продавалась хорошо...

For five minutes the air quaked with shouts and the crash of musical instruments, and was white with a storm of waving handkerchiefs... [M. Twain. *The Prince and the Pauper. English and American Literature*, S. 158288] – Пять минут воздух сотрясало криками...

A large part of the remaining portions of the book read like good Scripture, however [M. Twain. *The Prince and the Pauper. English and American Literature*, S. 162077] – Большая часть оставшихся разделов книги читалась...

Г. Стронг объяснял на похожем примере (*The book reads like a translation*), что в английском субъект обозначает не только деятеля, но и объект действия [Strong, 1891, p. 123–124].

For round the temple rolled the clang of arms, / And the twelve Gods leapt up in marble fear, / And the air quaked with dissonant alarms / Till huge Poseidon shook his mighty spear... [O. Wilde. *Poems. English and American Literature*, S. 166505] – ...воздух сотрясало...

Следующие три примера двусмысленны: можно предположить либо грамматическую персонификацию, переводящуюся *Каким ветром -ло... (занесло, принесло)*, либо обычные предложения типа *Какой ветер занёс тебя сюда?*

“Why, he they called Tony Fire-the-Fagot, because he brought a light to kindle the pile round Latimer and Ridley, when the wind blew out Jack Thong’s torch, and no man else would give him light for love or money” [W. Scott. *Kenilworth. English and American Literature*, S. 125568] – ...когда факел Джека Тонга задуло ветром...

FAL. What wind blew you hither, Pistol? [W. Shakespeare. *The Second Part of Henry the Fourth. English and American Literature*, S. 130798] – Каким ветром тебя занесло сюда...?

LORD SP. Tom, How is it? what, you can’t see the Wood for Trees? What Wind blew you hither? [J. Swift. *A Compleat Collection of Genteel and Ingenious Conversation. English and American Literature*, S. 148022] – Каким ветром тебя сюда занесло?

1234-я универсалия из «Архива универсалий» университета Констанц гласит, что грамматическая персонификация может использоваться для описания спонтанных событий, то есть с той же целью, с какой используются некоторые русские безличные конструкции: “If a language provides intransitive verbs that take patients as their theme (as in English “These wine glasses break easily, so be careful with them”), these will normally be used for the description of spontaneous events” (“The Universals Archive”, 2007).

Эта искусственная «анимизация» неодушевлённого существительного на грамматическом уровне проявляется в английском не только в приведённых выше примерах грамматической персонификации. Можно, например, также вспомнить, что в современном английском всё чаще с генитивом употребляются существительные, обозначающие предметы, в то время как раньше генитив употреблялся преимущественно с существительными (а также местоимениями), имеющими одушевлённые денотаты: *the plane’s altitude*, *the train’s driver*, *a mile’s distance* (Зеленецкий, 2004, с. 119; ср. Siemund, 2004, S. 186). Для учёного, незнакомого достаточно хорошо с особенностями номинативного строя, эти характеристики английского могли бы свидетельствовать о распространении мифологического мировоззрения среди его носителей, об их склонности к анимизации окружающего мира¹. На самом деле, в случае «грамматической персонификации» речь идёт о требованиях языковой системы с жёстким порядком слов, а в случае генитива – об унификации оформления категории притяжательности.

8.3. Становление жёсткого порядка слов

О закреплении порядка слов в английском следует сказать особо, поскольку именно этот фактор привёл к употреблению различных стратегий топикализации в сравниваемых языках. Основные различия русского и английского в этом отношении собраны в приведённых ниже цитатах.

«Нарушение прямого порядка слов в повествовательном предложении в английском языке выглядит как нечто необычное, как выразительное стилистическое средство. Здесь мы впервые и в наиболее непосредственном виде сталкиваемся с выражением логики мышления в грамматической форме аналитических языков, ибо ясно, что прямой порядок слов в предложении совпадает с последовательностью логических компонентов (субъект – предикат – объект)» (Аполлова, 1977, с. 7).

¹ Ср. «Возможно, семантико-синтаксические отношения, характерные для языков номинативного строя, отражают более высокую степень абстракции, но, с другой стороны, в так называемых активных языках языковое моделирование более прямолинейно и последовательно отражает различия, реально существующие в действительности. Если при некоторой фантазии представить себе, что среди носителей активных языков оказался бы лингвист-теоретик, занимающийся сравнительной типологией и изучающий языки номинативного строя, он, пожалуй, пришёл бы к выводу, что моделирование этих языков отражает ту стадию мышления, когда человек одухотворял всю окружающую его действительность» (Гухман, 1973, с. 357–358). Речь идёт о невозможной в активных языках и обычной для номинативного строя грамматической персонификации типа *Нож режет хорошо*; *Преступление требует наказания*.

«В современном английском порядок слов относительно жёсткий. В древнеанглийском отношения между членами предложения выражались другими средствами, из-за чего и порядок слов мог варьироваться в значительно большей мере. Как и другие германские языки, древнеанглийский был языком *флективного* строя, то есть функция слова в предложении определялась по его окончанию. Со временем большинство этих окончаний исчезло...» (Crystal, 1995, p. 20).

«С исчезновением окончаний важность порядка слов становилась критической, в результате чего и возникла грамматическая система, очень похожая на современную. В [рассматриваемом – Е.З.] отрывке из “Peterborough Chronicle” характерная для древнеанглийского тенденция ставить дополнение перед глаголом больше не наблюдается. Порядок слов SVO, который и в древнеанглийском играл важную роль, окончательно утвердился в начале среднеанглийского периода» (Crystal, 1995, p. 32).

«Большая грамматическая нагрузка порядка слов ведёт к тому, что возможности использования порядка слов не для грамматических целей в английском языке значительно ограничены. В русском языке для оживления речи и для придания ей характера спокойного повествования можно относительно свободно переставлять слова; в английском же языке этого делать почти нельзя, так как есть опасность нарушить синтаксические связи между словами. [...] Прежде всего следует отметить использование порядка слов для разграничения между подлежащим и прямым дополнением. Ведь, как известно, различие между именительным и объектным падежами в английском языке проводится только у личных местоимений, но даже и у этой категории слов оно не всегда является чётким, поскольку местоимения *it* и *you* в указанных падежах совпадают по звучанию» (Смирницкий, 1957).

«Примером таксемы *порядка следования* является такая аранжировка, в соответствии с которой форма действующего лица предшествует форме действия в обычном типе английской конструкции “деятель-действие”: *John ran*. В языках, где используются очень сложные таксемы селекции, порядок следования является в большинстве случаев недистинктивным и передаёт лишь определённые коннотации. В таком латинском словосочетании, как *pater amat filium* (*отец любит сына*), синтаксические отношения являются полностью селективными (перекрёстное согласование и управление), и слова могут располагаться в любом порядке (*pater filium amat*; *filium pater amat* и т.д.), разница здесь лишь в эмфазе и живости. В английском языке таксемы порядка следования появляются для передачи различия между конструкцией “деятель-действие” и “действие-объект действия”, как в *John ran* (*Джон бежал*) и *catch John* (*лови Джона*). Различия между *John hit Bill* (*Джон ударил Билла*) и *Bill hit John* (*Билл ударил Джона*) зависит полностью от порядка следования» (Блумфилд, 2002, с. 210).

Именно из-за становления жёсткого порядка слов SVO вымерли или сменили свою форму на личную такие выражения, как англ. *Me rues*; *Me boots*; *Me marvels*; *Me forthinks*; *Meseems*; *Methinks*; *Melists*; *Me ails*; *Me owe / awe*; *Me grieves*; *Me pleases*, где дополнение стояло на первом месте (ср. von Seefranz-Montag, 1983, S. 107, 117; Jespersen, 1918, p. 80–81). С закреплением жёсткого порядка слов носителям языка становилось всё менее понятно, что именно является субъектом, а что – объектом в безличных конструкциях; и только если первый член предложения являлся неодушевлённым предметом или абстрактным понятием, можно было догадаться, что дополнение после глагола выступает в роли реального субъекта: *This motion likes me well*; *It likes*

vs well; But that that likes not you pleases me best; Much better would it like him to be the messenger of gladness; Some [women – E.3.] are made to scheme, and some to love: and I wish any respected bachelor... may take the sort that best likes him (Jespersen, 1918, p. 82–83). На более ранних стадиях в английском доминировал порядок слов SOV, но топикализация объекта была вполне приемлема. Вот, например, как выглядело соотношение различных сериализаций в “Pastoral Care” Альфреда (900 г.): SVO – 26 %, SOV – 44 %, VSO – 6 %, OVS – 2 %, VOS – 1 % (von Seeffranz-Montag, 1983, p. 92; ср. Jespersen, 1918, p. 77). По данным “The Cambridge Encyclopedia of the English Language”, в текстах XII в. (ранний среднеанглийский) порядок слов SVO наблюдался в 62 % предложений (подсчитывалось по книге “Ormulum” монаха Орма), SOV – в 14 %, VSO – в 11 %, OSV – в 8 %, OVS и VOS – в общей сложности в 5 % (Crystal, 1995, p. 44), то есть удельный вес SOV резко сократился. В современном английском примерно 90 % предложений, имеющих в своём составе подлежащее, сказуемое и дополнение, имеют структуру SVO (Crystal, 1995, p. 220); в первой главе приводились другие данные (80 %), основанные на другом источнике.

Доминирование SOV является характерной чертой многих древних индоевропейских языков (Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 277–279; Grace, 1974, p. 364; Nafiqoff, 2004), в том числе хеттского, санскрита, латинского, греческого (Grace, 1974, p. 3). SOV являлся доминирующим порядком слов в протославянском (Dezsó, 1980, p. 24; Бирнбаум, 1986, с. 145, 303), на котором говорили в I в. (Janson, 2002, p. 33), общеиранском (Эдельман, 2002, p. 112), самом индоевропейском и протогерманском (Lehmann, 1972, p. 241, 243–244; Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 277–278; “The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 60; Mallory, Adams, 2006, p. 47; Bauer, 2000, p. 337; Ringe, 2006, p. 64, 295; Климов, 1977, с. 212; «Атлас языков мира», 1998, с. 27; Bomhard, Kerns, 1994, p. 20, 167–168), если таковой вообще существовал¹.

В современном русском SVO встречается чаще всех остальных сериализаций, то есть SOV отошёл на второй план (Comrie, 1983, p. 82; “Languages

¹ В существовании протогерманского сомневался В.М. Жирмунский: «Таким образом, реальная историческая картина развития западно-германских диалектов в период, более или менее доступный прямому историческому исследованию, полностью опровергает упрощённый схематизм “праязыковых” реконструкций, построенных по принципу “родословного древа”. В частности конкретное историко-лингвистическое исследование приводит к выводу, что так называемый “пранемецкий” (Urdeutsch) представляет собой не историческую реальность, а сравнительно-грамматическую иллюзию, типичную для формалистического сравнительного метода индоевропеистики. На самом деле единство немецкого языка лежит не в прошлом, не в общности происхождения немецких диалектов от мнимого “праязыка”. Оно сложилось исторически как результат схождения “верхненемецких” (франкских, алеманнских, баварских) племенных диалектов в рамках восточной части империи Карла Великого и развившегося из неё немецкого государства» (Жирмунский, 1940, с. 36). К сожалению, его работа содержит сильную идеологическую компоненту: автор основывает свои выводы на «гениальном прозрении» Энгельса (Жирмунский, 1940, с. 35), подтверждает свои мысли словами Сталина (Жирмунский, 1940, с. 34) и т.п. За существование протогерманского высказывался, например, Т. Янсон (Janson, 2002, p. 32); по данным «Лингвистической истории английского», на протогерманском говорили после 500 г. до н.э. (Ringe, 2006, p. 67).

and Their Status”, 1987, p. 108), причём русские дети поначалу даже игнорируют падежные окончания в предложениях с иными сериализациями, предпочитая анализировать такие предложения по схеме SVO: *Женщину защищает Виктор > Женщина защищает Виктора* (“Languages and their Status”, 1987, p. 108). SOV характерен для эргативных языков (Dezsó, 1980, p. 22; Nafiqoff, 2004; Панфилов, 2002; Климов, 1983, с. 74), их переход к SVO обычно связан с номинативизацией¹. SVO в эргативных языках вообще невозможен: “Ergative systems are found only in SOV and VSO languages. SVO languages are never ergative” (“The Universals Archive”, 2007; ср. Bomhard, Kerns, 1994, p. 164–165). Для активных языков характерен либо SOV (чаще), либо OVS, что, как полагает Г.А. Климов, выражает синтаксическое доминирование глагола-сказуемого над остальными членами предложения (Климов, 1977, с. 115; Климов, 1983, с. 73; ср. Schmidt, 1979, p. 336). Дж. Николс ставит, однако, такую корреляцию под сомнение, о чём уже говорилось во второй главе.

Как показывают статистические данные, употреблявшийся в древних индоевропейских языках порядок слов, как и употребляющийся ныне, являются чрезвычайно распространёнными во всём мире, что, возможно, свидетельствует об их «природности», то есть близости основным принципам человеческого мышления. Так, из 174 языков, исследованных Дж. Николс, объект предшествует субъекту всего в 12 (причём по четырём из них данные противоречивы); порядок слов SOV является самым распространённым (Nichols, 1992, p. 302–306).

Дж. Гринберг, занимавшийся типологией языков всего мира, пришёл к выводу о том, что подавляющее большинство языков использует сериализацию, где субъект предшествует объекту, то есть SVO, VSO и SOV (Grace, 1974, p. 321; ср. Comrie, 1983, p. 86). По данным “World Atlas of Language Structures” (электронная версия), на 1228 проверенных языков приходится 497 с порядком слов SOV, 435 – SVO, 85 – VSO, 26 – VOS, 9 – OVS, 4 – OSV, 172 – свободный (“World Atlas of Language Structures”, 2005).

У Л. Ухлировой приводятся следующие данные: из 402 исследованных языков 44,8 % относились к типу SOV, 41,8 % – к типу SVO (Uhlířová, 2005, p. 601). Авторы «Архива универсалий» считают SOV наименее маркированным и, соответственно, наиболее естественным порядком слов: “Universal Hierarchy of Markedness of basic word orders: SOV < SVO < OVS < VOS < VSO < OSV” (“The Universals Archive”, 2007).

¹ «Не исключено, что с процессом номинативизации языковой структуры связаны и некоторые изменения в словопорядке, наиболее ощутимые в языках с сильно расшатанной системой эргативности. Этим изменениям должна была, в частности, способствовать тенденция к некоторому ослаблению синтаксической связи между транзитивным глаголом-сказуемым и прямым дополнением. Во всяком случае конкуренция нормальных схем словопорядка S-O-V и S-V-O особенно характерна для языков переходной к номинативной типологии (ср., например, положение в картвельских языках)» (Климов, 1973 а, с. 165).

Американский исследователь Ю. Грейс, хотя и признаёт, что порядок слов в индоевропейском соответствовал SOV, глубинным порядком слов считает SVO, как и в латыни, санскрите, греческом, хеттском, всех славянских, романских и германских языках, литовском, албанском и других языках индоевропейской семьи (Grace, 1974, p. 360–361, 365). Это противоречит теории о «естественности» порядка слов SOV. Э. Эндрюс, напротив, видит в немецком под стандартным порядком слов SVO «скрытый» истинный порядок слов SOV (Andrews, 2001, p. 92). Тот факт, что некоторые учёные связывают сериализацию SOV с мышлением древнего человека, а SVO – с мышлением современного (ср. Toyota, 2004, p. 9–10; Климов, 1983, с. 74), следует воспринимать с осторожностью, поскольку, например, в “*Lexikon der germanistischen Linguistik*”, напротив, высказывается предположение, что именно SOV отражает глубинную структуру человеческой речи (“*Lexikon der germanistischen Linguistik*”, 1980. Bd. 4, S. 640); это в какой-то мере подтверждается склонностью к данному порядку слов в речи афатиков (Лурия, 1979, с. 282). В “*Encyclopedia of Language and Linguistics*” говорится, что порядок SVO является типичным для аналитических языков (“*Encyclopedia of Language and Linguistics*”, 2006, p. 8207). В определённой мере с последним утверждением коррелируют 8-я и 180-я грамматические универсалии из «Архива универсалий» университета Констанца: “If in a language the verb follows the nominal subject and the nominal object as the dominant order [= SOV, OSV – E.3.], the language almost always has a case system”; “Case-marking for subject vs. object correlates positively with SOV and negatively with SVO” (“*The Universals Archive*”, 2007; ср. «Атлас языков мира», 1998, с. 102), то есть можно предположить, что переход от SOV к SVO есть следствие аналитизации.

Т. Веннеман высказал предположение, что распад падежной системы может быть универсальным явлением либо только для индоевропейских языков, либо для всех языков мира (намекая таким образом на некие эволюционные процессы, связанные с развитием человеческого мышления), и что результатом этих процессов является переход от SOV к SVO (Comrie, 1983, p. 205).

Л. Тодд в книге по креолистике пишет, что опыт сравнительного анализа индоевропейских языков показывает явную тенденцию в плане жёсткости порядка слов: языки, которые мало смешивались с окружающими и сохранили флексии, демонстрируют свободный порядок слов, а языки, которые вступали в активные контакты, служили в качестве лингва франка или подверглись креолизации (как, возможно, английский), теряли флексии и становились более зависимыми от порядка слов (Todd, 1990, p. 6, 87), то есть активные контакты ускоряют аналитизацию и способствуют смене языкового типа в случае синтетических языков.

Таким образом, эволюция порядка слов от индоевропейского языка к его современным наследникам заключается в переходе от SOV к SVO; этот

переход обусловлен либо сменой типа мышления (что сомнительно), либо сменой языкового строя (эргативный / активный > номинативный). Обе сериализации являются чрезвычайно распространёнными во всём мире, что, возможно, говорит об их естественности. В обоих случаях подлежащее предшествует дополнению и глаголу, занимая первое место в предложении. Одновременно с переходом к SVO порядок слов становится более жёстким, из-за чего исчезают безличные конструкции, начинающиеся с дополнения. Становление жёсткого порядка слов зависит, среди прочего, от активности контактов с другими языками и, как следствие, – от степени распада системы флексий, если таковая вообще присутствовала в данном языке.

О возможных причинах относительно быстрого закрепления жёсткого порядка слов в германских языках можно сказать следующее. В древнеанглийском склонность избегать стоящего перед подлежащим дополнения объясняется, среди прочего, частичным синкретизмом форм номинатива и аккузатива у существительных: в сильном склонении формы номинатива и аккузатива совпадали в основах на *a, ja, wa, ð* (в большинстве случаев), *i* и *u*; в основах на *jō, n* и *wō* совпадали во множественном числе, но не совпадали в единственном; во всех остальных случаях совпадение парадигм было полным (Plyish, 1972, p. 65–74). В среднеанглийском все формы аккузатива и номинатива существительных совпадали полностью, а в некоторых регионах с ними слился и датив (Plyish, 1972, p. 177–178, 180). У местоимений совпадений форм номинатива и аккузатива относительно мало: *hit* (оно), *hīe* или *hī* (они) (Mitchell, Robinson, 2003, p. 18).

Г. Хирт отмечает, что синкретизм форм номинатива и аккузатива довольно часто встречается в индоевропейских языках, что, возможно, обусловлено пересечением их функций в протоязыке (выше мы уже объясняли эту особенность с точки зрения теории активного строя индоевропейского); однако в германских языках совпадение форм этих падежей выражено особенно ярко (Bishop, 1977, p. 117; ср. Jespersen, 1894, p. 68).

М. Дейчбейн связывает переход к SVO с возрастающей век за веком длиной предложения: слушателю трудно было воспринимать всё больший объём информации, не зная, о каком действии или состоянии идёт речь (ср. *Я туда пойду* vs. *Я туда, наверное, после завтра за новой просмоленной лодкой пойду*) (Deutschbein, 1917, S. 33–34). Кроме того, порядок SVO Дейчбейн считает более логичным, чем SOV. Сам по себе распад системы флексий представляется ему недостаточным объяснением.

Возможно, определённую роль в закреплении жёсткого порядка слов с подлежащим на первом месте сыграла многофункциональность местоимений “I” и “me”, которые слишком часто являлись и до сих пор являются взаимозаменяемыми. “Oxford English Dictionary” приводит следующие случаи употребления “me” вместо “I”: *It’s me; He is not so old as me; As Timothy would say, silly me; me and you; Me and Mr. Boffin stood the poor girl’s friend; Him and me are friends; She is younger than me; Me miserable!; Me, I like fighting, too* (“Oxford English Dictionary”, 1989; ср. Gramley, Pätzold, 1995, p. 127). Как по-

лагает М. Дейчбейн, “me” стали употреблять предикативно вместо “I” под влиянием схожих по звучанию форм *he* (*It’s he*), *she*, *we*, хотя сами они являются номинативными (Deutschbein, 1918–1919. Bd. 1, S. 11; ср. Jespersen, 1894, p. 247–248). Затем по аналогии “he” стали заменять на “him”, “she” – на “her”, а “we” – на “us”, хотя конструкции типа *It’s him*, *It’s us* по сей день считаются вульгарными. Разумеется, объектные формы местоимений стали в свою очередь употребляться чаще после глаголов-связок под влиянием всё более жёсткого порядка слов SVO (Jespersen, 1894, p. 235).

Нельзя также забывать о том, что вплоть до конца XIV в. активно употреблялось неопределённое местоимение *man* (*человек, кто-то, люди*), обычно сокращавшееся до *me* и стоявшее в начале предложения (Rissanen, 1997, p. 520; ср. McWhorter, 2004, p. 42–43). Исчезло это местоимение потому, что постоянно возникала путаница с безличными конструкциями типа *me seems*. Исчезновение *man* открыло дорогу для более активного использования пассива при неизвестном или слишком общем субъекте (*все люди*), хотя со временем для той же цели возникло новое местоимение – *one*.

Возможно, определённую роль в замене “I” посредством “me” сыграло то обстоятельство, что в кимрском (одном из кельтских языков, с которым контактировал английский) “mi” обозначает «я» (Nichues, 2006, p. 44)¹. Если учитывать, что многие носители кимрского из века в век говорили на недоученном английском в условиях двуязычия, можно предположить, что они путались в местоименных формах. Форма “I” вплоть до XVII в. активно употреблялось вместо “me” (что можно иногда наблюдать и сегодня, хотя такое употребление противоречит правилам грамматики). Например, в романе «Робинзон Крузо» есть фраза *Our God made the whole world, and you, and I, and all things* (*Наш господь сотворил весь мир, и вас, и меня, и всё [на земле]*) (Есперсен, 1958); в «Оксфордском словаре английского» приводятся примеры: *After showing photographer Bill Radford and I her stitching skill she went back to the tea table; Let you and I cry quits; I was sure they were looking for Michael and I; Leave your Lady and I alone; between you and I; My father hath no childe but I; The postscript to your letter gave my wife and I unexpressed joy* (“Oxford English Dictionary”, 1989).

Л. Кэмпбелл считает формы типа *for you and I* проявлением гиперкоррекции (Campbell, 2004, p. 114). В диалектах *I* используется вместо *me* в качестве эмфатического средства: *Gi’e the money to I, not he; Gi’e I the spade!* (“Oxford English Dictionary”, 1989). У Е. Эббота приводится множество других примеров смешивания форм местоимений “he” / “him”, “I” / “me”, “she” / “her”, “thee” / “thou” и т.д. в произведениях Шекспира (Abbott, 1870, p. 139–142). Мы приводим их ниже.

¹ Едва ли речь здесь идёт о совпадении, так как форма местоимения 1 л. ед. ч. *mi* (или *me*) реконструируется для ностратического языка в качестве первичной, наиболее древней (Bomhard, Kerns, 1994, p. 3–4). В некоторых индоевропейских языках она стала обозначать номинатив (кельтские языки), в других – косвенные падежи (как в английском).

- “He” вместо “him”:
 - Which of he or Adrian, for a good wager, begins to crow?;
 - I would wish me only he;
 - From the first corse till he that died to-day;
 - Tis better thee without than he within;
 - And he my husband best of all affects;
 - Thus he that over-ruled I over-sway’d.
- “Him” вместо “he”:
 - Him [= he whom] I accuse;
By this the city ports hath enter’d;
 - Ay, better than him [= he whom] I am before knows me;
 - His brother and yours abide distracted but chiefly him that you term’d Gonzalo.
- “I” вместо “me”:
 - Here’s none but thee and I;
 - All debts are cleared between you and I;
 - You know my father hath no child but I;
 - Unless you would devise some virtuous lie;
And hang some praise upon deceased I;
- “Me” вместо “I”:
 - No mightier than thyself or me;
 - Is she as tall as me?
- “She” вместо “her”:
 - Yes, you have seen Cassio and she together.
 - So saucy with the hand of she here what's her name?
- “Thee” вместо “thou”:
 - Blossom, speed thee well;
 - Look thee here, boy;
 - Run thee to the parlour;
 - Haste thee;
 - I would not be thee, nuncle;
 - I am not thee;
 - It is thee I fear.
- “Them” вместо “they”:
 - Your safety, for the which myself and them;
Bend their best studies.

При такой взаимозаменяемости форм местоимений неудивительно, что “me” (как и прочие местоимения в отмирающих падежах) постепенно стало восприниматься в качестве подлежащего. Более подробно вопрос взаимозаменяемости форм местоимений рассмотрен у О. Есперсена (Jespersen, 1894, p. 186–201, 234–247; Jespersen, 1918, p. 50–65, 99–107) и у А.И. Смирницкого (Смирницкий, 1957). У А. фон Зеефранц-Монтаг приводятся случаи конкуренции “I” и “me” в безличных конструкциях: *I had lever / me had lever, I had better / me had better* (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 129).

Таким образом, английские безличные конструкции типа *It seems to me* остались маргинальным явлением по следующим причинам: формальное подлежащее не соответствует теме, выполняет чисто синтаксическую функцию (что делает его более трудным для восприятия), не несёт вообще никакой семантической нагрузки и, соответственно, не может быть агенсом; дополнение

занимает место ремы, хотя является темой. По-настоящему веской из названных причин является, на наш взгляд, только неправильное распределение темы и ремы. Ни в индоевропейском, ни в протогерманском, ни в древнеанглийском этого феномена не наблюдалось. Его возникновение обусловлено анализацией, и, как следствие, – становлением жёсткого порядка слов, где перед глаголом и дополнением непременно должно стоять подлежащее, пусть даже ничего не выражающее. Вместо формального подлежащего может применяться грамматическая персонификация. В русских предложениях типа *Мне кажется* тема совпадает с первым элементом и относится к одушевлённому существу, а на более ранних стадиях развития дополнение в дативе, очевидно, воспринималось как подлежащее, поскольку при доминативном строе подлежащее могло стоять в разных падежах в зависимости от своего значения. Свободный порядок слов русского языка позволяет более эффективно и компактно выражать оттенки тематического членения, которые не передаются на английском вообще или передаются очень многословно: *Пить хочу я*; *Я хочу пить*; *Хочется пить* (в первом случае наибольший акцент делается на говорящем, в последнем случае – на желании).

Нет никаких оснований полагать, как это делал О. Есперсен, будто жёсткий порядок слов является «высшим, лучшим и, соответственно, самым поздним речевым средством, изобретённым человеком», будто он возникает в «арийских» языках только у народов с наиболее развитым мышлением (Jespersen, 1894, p. 90–91). Жёсткий порядок слов есть не более чем следствие распада системы флексий. Есперсен считал распад системы флексий не причиной, а следствием жёсткого SVO, являющегося, в свою очередь, следствием общего для всего человечества развития мышления (Jespersen, 1894, p. 97, 110–111) – мнение совершенно необоснованное, поскольку, как мы показали выше, языки вне индоевропейской семьи движутся и к синтетическому строю с его свободным порядком слов. Хотя анализация наблюдается во всех индоевропейских языках, в случае английского она протекала особенно быстро из-за частичного совпадения парадигм номинатива, датива и аккузатива, пересечения функций наиболее употребительных местоимений и соответствующей внеязыковой обстановки (активных контактов с другими языками). Если английский язык чаще следует правилу логики, согласно которому подлежащее должно стоять перед дополнением, то русский – правилу логики, требующему выражения темы перед ремой. Обе эти тенденции наблюдались ещё в индоевропейском, где подлежащее также стояло перед дополнением (хотя порядок слов был другой – SOV), а тема обычно выражалась в начале предложения. Темой обычно выступало что-то одушевлённое (класс активных существительных). Это соответствует общей для всех или почти всех языков мира тенденции начинать высказывания с подлежащего-темы с одушевлённым денотатом.

Глава 9

ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА НА СФЕРУ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМПЕРСОНАЛА: РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ

9.1. Колонизация территории России и её языковые последствия

В начале этой работы уже упоминалось, что в распространении безличных конструкций в русском языке определённую роль мог сыграть финно-угорский субстрат. Хотя современные финно-угорские языки не являются ни активными, ни эргативными, черты эргативности восстанавливаются для протоуральского (Navas, 2006), из которого произошли финно-угорские, самодийские и, возможно, эскимосско-алеутские языки. Перед тем как перейти непосредственно к описанию взаимодействия русского суперстрата с языками финно-угорской семьи, обратимся к данным антропологии.

Ещё в начале XX в. Е.М. Чепурковский на основании исследования географического распределения головного указателя, цвета глаз и волос у 1000 человек из различных губерний Европейской части России и украинцев Волыни пришёл к выводу, что один из антропологических типов русского, а именно восточный великорус, является потомком ассимилированных финнов. Он же установил, что антропологический тип новгородцев соответствует типу западных финнов («Русские», 1997, с. 57). Г.Ф. Гебец, проводивший свои исследования в 1930-е гг., полагал, что восточный великорус (в его терминологии – «великоросс») генетически связан с финно-угорскими народами, а именно с мордвой-мокшей и мордвой-эрзей («Русские», 1997, с. 58). Антропологические экспедиции, проводившиеся в СССР в послевоенное время, подтвердили генетическое родство русских с финно-угорскими народами. В частности, Белозёрско-Камский комплекс антропологических характеристик (небольшой рост, пониженный рост бороды, преобладание прямых и вогнутых спинок носа, некоторая уплощённость лица и т.д.) отмечается не только у русских, но и у вепсов, ижор, води, финнов. Волго-Камский и приуральский комплексы (низкий рост, слабый рост бороды, относительно тёмная пигментация, средневыступающий нос с вогнутой спинкой, уплощённость лица, брахикефалия и т.д.) также встречаются как у русских, так и у финно-угорских народов («Русские», 1997, с. 70–71).

По данным археологии и исторического языкознания, а также по летописным источникам, до прихода славян финно-угорские народы жили в широкой полосе от Балтийского моря до среднего течения Волги. Поскольку колонизация новых территорий славянами носила мирный харак-

тер, основным фактором формирования антропологического облика славян стала метисация. Как отмечают Т.И. Алексеева и Г.М. Давыдова, «метисация, как выяснилось при изучении демографической структуры пришельцев и местного населения, при ранней колонизации Русского Севера явилась стратегией выживания славян на новых землях» («Русские», 1997, с. 73). При этом постепенно были поглощены многочисленные группы местных жителей: мери, муромы, мешеры, чудь, веси и т.д., которые в результате смешения со славянами превратились в вятичей, новгородцев и кривичей, впоследствии ставших основой русского народа («Русские», 1997, с. 74; ср. Veenker, 1967, S. 18–19; Востриков, 1990, с. 16). Как отмечается в первой главе фундаментального исследования Российской академии наук «Русские», основными составляющими древнерусской народности были племена восточных славян, балты и финно-угры («Русские», 1997, с. 12). Первые контакты этих племён относятся ещё к VI–VIII вв. и локализуются в верховьях Волги, Мологи, Мсты и Ловати, куда славяне проникают из Поднепровья (Востриков, 1990, с. 18). Период смешения датируется IX–X вв. и локализуется в Волго-Окском междуречье, ставшем со временем ядром историко-этнической территории русских («Русские», 1997, с. 12; ср. Veenker, 1967, S. 19–20). Особенно интенсивная фаза смешения датируется XI–XIII вв. (Veenker, 1967, S. 19).

Таким образом, можно без преувеличения сказать, что русские не вытеснили и не уничтожили местные народы (что вполне соответствует укрепившимся как в русской, так и в зарубежной литературе стереотипам о миролюбивом характере славян¹); напротив, русские и есть смесь славянского начала с тем генетическим материалом, который встречался на пути наших предков. В. Феенкер говорит о «симбиозе» славян и финно-угорских народов, отразившемся не только в языке, но и в фольклоре, ритуалах и т.п. (Veenker, 1967, S. 20–21). Способ создания российского госу-

¹ Ср. «Самый характер русских и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почительности, имеет наибольшую соотнесённость с христианским идеалом» (Данилевский, 1995, с. 407). «Славянские народы. За редкими исключениями они никогда не принадлежали к таким активным, ищущим приключений и войн народам, как немцы. Обычно они тихо занимали оставленные немцами земли и страны, пока в их владении не оказалась огромная территория от Дона до Эльбы, от Балтийского до Адриатического моря» (Herder, 1998, S. 1035). «Россия – величайшая империя, но именно потому ей чужд империализм в английском или германском смысле слова. У нас, русских, нет великоимперских стремлений, потому что великая империя – наша данность, а не задание. Россия слишком велика, чтобы иметь пафос расширения и владычества. Да и темперамент славянской расы – не империалистический темперамент» (Бердяев, 2006, файл 2.4.07). «Потом известно, что воинственность не была господствующей чертой славянского народного характера и что славяне вовсе не гнушались земледельческими занятиями» (Соловьёв, 2007, файл 01-03-04). В отличие от славян, германские племена (как, возможно, и индоевропейцы вообще) с самого начала избегали занятий сельским хозяйством, предпочитая охоту и войны, причём германские вожди сознательно культивировали воинственность в своих подчинённых (Lehmann, 2002, p. 241, 243–244). Некоторые учёные видят в склонности к охоте и собирательству вместо занятий сельским хозяйством истоки индивидуализма (Мельникова, 2003, с. 71–73).

дарства отразился уже в слове «русский», построенном не по принципу остальных обозначений национальностей (*немец, украинец, американец*), а от прилагательного, то есть как некое качество человека (Мельникова, 2003, с. 112–114). Русским считался любой, кто жил на территории России и вёл себя примерно так же, как ведут себя этнические русские, говорил на русском.

Тактика метисации, избранная славянами, разительно отличалась от методов колонизации, применявшихся как западными, так и азиатскими народами. В связи с этим можно вспомнить судьбы тех племён, стран и континентов, которые стали колониями Запада, – от практически полностью истреблённых австралийских аборигенов до американских индейцев (например, англичане только в Индии в 1857–1867 гг. уничтожили около 10 млн человек – от одной пятой до одной трети всего работоспособного населения; Ч. Диккенс писал по этому поводу: «Жаль, что я не могу стать главнокомандующим в Индии... Я бы объявил им на их собственном языке, что считаю себя назначенным на эту должность по божьему соизволению и, следовательно, приложу все усилия, чтобы уничтожить этот народ» (Ramesh, 2007)). Ещё Н.М. Карамзин (1766–1826) в предисловии к «Истории государства Российского» писал об этом следующее: «Подобно Америке Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему Географии, Истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употреблённых другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего» (Карамзин, 2005–2006, файл 01-00-01).

Методами, подобными европейским, действовали и монголы, чем объясняется тот факт, что в русском генофонде следы смешения с ордынцами прослеживаются только на юго-восточных границах Древней Руси, где были постоянные монгольские форпосты («Русские», 1997, с. 74).

Что же касается финно-угров, то ни летописные, ни археологические материалы не содержат указаний на вооружённые столкновения с ними в процессе заселения славянами Волго-Окского междуречья. Как отмечал историк В.О. Ключевский, «русские переселенцы не вторгались в край финнов крупными массами, а, как бы сказать, просачивались тонкими струями, занимая обширные промежутки, какие оставались между разбро- санными между болот и лесов финскими посёлками. Такой порядок размещения колонистов был бы невозможен при усиленной борьбе их с туземцами» (цит. по: «Русские», 1997, с. 14).

О.В. Востриков после описания истории контактов славян и финно-угорских народов с самого начала вплоть до окончательной ассимиляции

последних в XIV в. приходит к выводу, что «можно говорить о мирных в целом отношениях между финно-уграми и славянами» (Востриков, 1990, с. 18). То же пишет о начальном периоде истории славян и С.М. Соловьёв: «Племена славянские раскинулись на огромных пространствах, по берегам больших рек; при движении с юга на север они должны были встретиться с племенами финскими, но о враждебных столкновениях между ними не сохранилось преданий: легко можно предположить, что племена не очень ссорились за землю, которой было так много, по которой можно было так просторно расселиться без обиды друг другу. В начале нашей истории мы видим, что славяне и финны действуют заодно; каким образом ославились финские племена – меря, мурома, каким образом Двинская область получила русское народонаселение и стала владением Великого Новгорода? – всё это произошло тихо, незаметно для истории, потому что здесь, собственно, было не завоевание одного народа другим, но мирное занятие земли, никому не принадлежащей» (Соловьёв, 2007, файл 01-01-01).

Более того, по мнению историков, есть свидетельства существования во второй половине IX в. Новгородской федерации, включавшей Новгород, Псков и Ладогу, то есть словен, кривичей и приладожскую весь («чудь»). В X в. та же весь выступила на стороне Владимира Святославовича против Киева, а меря – на стороне князя Олега против Царьграда (Востриков, 1990, с. 18–19), то есть славяне и финно-угорские племена были стратегическими союзниками.

Тот факт, что в случае финно-угорских языков речь идёт всё-таки не об адстрате, а о субстрате, объясняется более высоким уровнем общественного развития и материальной культуры переселенцев-славян. В процессе ассимиляции перечисленные выше племена перешли на древнерусский язык, одновременно обогатив его некоторыми оборотами родных языков. К таким оборотам относятся и некоторые безличные конструкции. О степени влияния финно-угорского субстрата говорит уже тот факт, что под его давлением вышел из употребления глагол-связка «быть» в предложениях типа *Москва [есть] столица России* (Havers, 1931, S. 143; ср. Бирнбаум, 1986, с. 142; Мразек, 1990, с. 33), хотя следует отметить, что в «Энциклопедии языка и лингвистики» высказывается предположение, что такие конструкции в русском, латинском, тохарском и древнеперсидском могут быть отражением первоначального индоевропейского синтаксиса (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8700; ср. Климов, 1973 б, с. 444). Х. Курзова обращает внимание на тот факт, что славянские языки сохранили сравнительно много характеристик индоевропейского, не вписывающихся в стандартную схему «номинатив > глагол > аккузатив», но особенно много таких характеристик в тех регионах, где можно предполагать контакт с финно-угорскими языками (Kurzová, 1999, p. 503).

В. Феенкер отмечает следующие виды воздействия финно-угорского субстрата на русский язык:

- упрощение морфологического различия по родам, особенно у прилагательных (в этом отношении русский опередил остальные славянские языки) (Veenker, 1967, S. 78–79);
- исчезновение двойственного числа (в этом русский также опередил всех славянских соседей) (Veenker, 1967, S. 80);
- сохранение падежной системы (из-за многочисленности падежей в финно-угорских языках¹), причём Феенкер полагает, что система падежей русского языка в перспективе даже может расшириться до тринадцати: номинатив I, номинатив II, генитив, датив, аккузатив, инструменталис, локатив, эссив, вокатив, *casus obiecti animati* (вероятно, подразумевается оформление категории одушевлённости), *casus negationis*, *genitivus partitivus*, *locativus interior* (Veenker, 1967, S. 80–83);
- употребление артиклевой частицы *-to/ta* в некоторых северо-восточных диалектах (Veenker, 1967, S. 88–89);
- сокращение количества времён (Veenker, 1967, S. 95–97);
- упомянутая выше элизия глагола «быть» (Veenker, 1967, S. 109–117) и т.д.

В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера приводятся около 800 финно-угризмов (Востриков, 1990, с. 70), что свидетельствует о значительном влиянии данной группы языков на русский. Количество лексических заимствований для нас важно по той причине, что, согласно одной из лингвистических универсалий, “If anything grammatical is borrowed, THEN there is a borrowed lexical item from the same source language” (“The Universals Archive”, 2007).

Среди безличных конструкций, которые могли возникнуть или участиться в употреблении под влиянием финно-угорского субстрата, Феенкер называет *У меня есть* вместо *Я имею* (в других славянских языках используется глагол «иметь»: укр. *мати*, болг. *имат*, сербох. *imati*, словен. *imeti*, чеш. *míti*, слов. *mat'*, поль. *mieć* (Veenker, 1967, S. 238), хотя в польском, сербохорватском, украинском и белорусском ещё остались конструкции с «быть»). Ц. Василеву удалось установить, что на более ранних стадиях конструкция с «быть» для выражения принадлежности интенсивно употреблялась и в других славянских языках: не только в древнерусском,

¹ Например, в коми-зырянском языке насчитывается 16 падежей, в эстонском – 18, в некоторых диалектах коми-пермяцкого языка – до 28 (Востриков, 1990, с. 17; ср. Naarmann, 2004, S. 80). В другой работе мы уже указывали на то, что английский язык находится в окружении языков без падежной системы или со слабо развитой падежной системой, немецкий имеет несколько соседей с хорошо развитой системой падежей, а русский окружён языками с развитой или сильно развитой системой падежей (Зарецкий, 2007 а). Кроме того, если русский контактирует с языками, где местоимение-подлежащее может опускаться и заменяться на глагольный аффикс, то английский и немецкий – с языками, где местоимение-подлежащее обязательно. Если английский и немецкий окружены языками, где дополнение должно непременно следовать после глагола, то русский – языками, где дополнение стоит перед глаголом (что часто требуется в безличных конструкциях).

но и в древнесербском, древнехорватском и древнецерковнославянском, то есть является общеславянской; Василев также предполагал влияние финно-угорского субстрата на жизнеспособность данной конструкции (Бирнбаум, 1986, с. 302; Востриков, 1990, с. 50).

Рассмотрим некоторые эквиваленты предложения *У меня есть книга* в финно-угорских языках: саам. *Муст ли книга*; к.-зыр. *Мэнам эм книга*; венг. *Nekem van könyvem*; фин. *Minulla on kirja*; вотяк. *Мунат knjigaje vañ*, чер. *Мужун knjigam ulo* – во всех случаях использован глагол «быть» (Veenker, 1967, S. 118; Востриков, 1990, с. 49). В латышском, несущем явные следы влияния финно-угорского ливского языка, подобная конструкция также присутствует: *Medniekam bija strazds* (*У охотника был скворец*) (Востриков, 1990, с. 50).

В 1893 г. Ф. Миками указывал на то, что русская конструкция *У меня есть* возникла в результате финно-угорского влияния. В. Скаличка, развивавший теорию евразийского языкового союза, считал данную конструкцию одной из характернейших его черт (Востриков, 1990, с. 50). Активное использование глагола «иметь» в древнерусских летописях Феенкер объясняет влиянием церковнославянского; на разговорном уровне уже тогда использовался глагол «быть», со временем вошедший и в литературный канон. Как в финно-угорских, так и в индоевропейских языках конструкция с «быть» является древней, поэтому речь в данном случае идёт не о калькировании, а скорее о взаимном «консервирующем» влиянии данных языков (Veenker, 1967, S. 121).

В. Кипарски предполагал торможение развития глагола «иметь» в русском со стороны финно-угорских языков; финно-угорское влияние он реконструировал для русского, но не для общеславянского (Бирнбаум, 1986, с. 239–240; ср. Востриков, 1990, с. 45). Отметим также, что в финно-угорских языках объект часто стоит на первом месте, что наблюдается и во многих русских безличных конструкциях (Wagner, 1959, S. 207).

Среди безличных конструкций, употреблявшихся или до сих пор употребляющихся в диалектах, Феенкер нашёл следующие заимствования из финно-угорских языков: *У него уехано* вместо *Он уехал* (Veenker, 1967, S. 137–138); *У волков тут идено* вместо *Тут шли волки*; *Было идено*, *Было проехано* (Veenker, 1967, S. 256); *Надо земля подборанивать*; *Надо баня топить* (Veenker, 1967, S. 121–122). Первая из упомянутых конструкций – *У волков тут идено* – имеет точное соответствие в финском, ср. *Ruu hakattiin kirveellä roikku* (*Дерево у топора перерублено*, то есть *Топор перерубил дерево*), где для оформления слова «топор» используется адессив, соответствующий русскому родительному падежу с предлогом «у» (Востриков, 1990, с. 51). Её структура имеет значительное сходство с эргативной, что уже было подмечено некоторыми учёными. В частности, Дж. Лэвин в статье “Subject properties and ergativity in North Russian and Lithuanian” приходит к выводу, что предложения типа *У лисицы унесено*

курочка, *У нас кадочка огурцов посолен*, *У меня уж корова подоивши* в севернорусских диалектах представляют собой эргативные конструкции (Lavine, 1999). Подчеркнём, что автор говорит не о схожести с эргативной конструкцией, а о настоящей эргативности. Соответственно, «у меня», «у нас» и «у лисицы» в приведённых выше предложениях – это подлежащие в эргативном падеже, а «корова», «курочка», «кадочка» – дополнения в абсолютном.

Во втором типе конструкций – *Надо баня топить* – объект действия стоит не в винительном, а в именительном падеже. Как утверждает историческая лингвистика, в древнеславянском и индоевропейском такая конструкция также присутствовала (Veenker, 1967, S. 122; Востриков, 1990, с. 46). Х. Бирнбаум в обзорной работе приходит к выводу, что эта точка зрения является доминирующей, хотя, например, А. Тимберлейк сомневается в индоевропейском или праславянском происхождении данной конструкции (Бирнбаум, 1986, с. 302).

Б.А. Ларин предположил, что в славянских, балтийских и финно-угорских языках использование именительного падежа вместо винительного является влиянием неизвестного субстрата – языка ассимилированных славянами, балтами и финно-угорскими племенами жителей Европы времён неолита (Востриков, 1990, с. 45–46). Ф.П. Филин указал, однако, что восточные славяне появились на северо-востоке Европы (месте предполагаемого контакта со своими предшественниками) значительно позже финно-угров и балтов и, следовательно, не могли испытать воздействие деноминативного строя. Кроме того, конструкции типа *Надо баня топить* встречаются и в индоарийских языках, в которых сохраняются остатки эргативности, причём и в славянских языках, и в индоарийских, и в прочих индоевропейских (литовском, латышском) сочетания инфинитива с дополнением в именительном падеже – *Nominativus cum infinitivo* – имеют коннотации модальности (необходимости). Подобные параллели могут свидетельствовать в пользу общего происхождения рассматриваемого оборота из праязыка.

В. Кипарски видел в использовании объекта в именительном падеже при инфинитивах в северных диалектах влияние финно-угорских народов, но позже отказался от своего мнения, обратив внимание на наличие той же конструкции в других славянских языках (чешском, украинском), не имевших столь явных контактов с финно-уграми (Бирнбаум, 1986, с. 239–240). О.Н. Трубочёв и В.Н. Топоров, напротив, высказались в пользу финно-угорского происхождения данной конструкции не только в русском, но и в балтийских языках. В.В. Иванов полагал, что номинативная форма дополнений свидетельствует о том, что первоначально они были подлежащими (Иванов, 1983, с. 386–387). О влиянии субстрата он ничего не говорит, хотя обращает внимание на распространённость данной конструкции в северных диалектах.

Г. Вагнер (этнолингвист начала XX в., взгляды которого уже неоднократно подвергались вполне заслуженной, на наш взгляд, критике) видит в формах глагола финно-угорских языков выражение мировоззрения древних народов: посессивно-номинальный характер глагола, превращающий практически любое высказывание в подобие безличного, является следствием «некаузального» видения мира, когда события просто перечисляются, как факты (отсюда сильная номинализация глагола), без установления какой-либо логической связи между причиной и следствием. Помимо прямого влияния на русский, автор предполагает воздействие финно-угорских языков на сам индоевропейский в доисторические времена (Wagner, 1959, p. 145, 245). Вагнер также указывает на родство финно-угорских языков с японским, где глагол отличается сильной номинальностью, из-за чего местоимение, выражающее подлежащее, часто опускается, как и в корейском, монгольском (Wagner, 1959, S. 147).

Дж. Гринберг высказывал мысль о возможном родстве индоевропейской семьи языков с японским (а также с корейским, чукотскими, алтайскими, эскимосско-алеутскими языками и т.д.) в рамках гипотетической евроазиатской семьи (Greenberg, 2000; Toyota, 2004, p. 13; Lehmann, 2002, p. 246).

В.М. Иллич-Свитыч и его последователи предполагали родство японского, индоевропейских и финно-угорских языков, входивших 12–15 тыс. лет назад в одну ностратическую семью (Иванов, 2004, с. 136; Дыбо, 1978, с. 400, 411; Dolgorolsky, 1998, p. V–VIII). Эта теория могла бы пролить свет на природу значительной степени номинальности индоевропейского глагола, о которой было сказано выше. Примечательно, что приверженцы теории ностратического языка отмечают особую консервативность языков русского севера (чукотско-камчатских, эскимосско-алеутских, юкагирского и т.д.) в плане сохранности первичной грамматики (Bomhard, Kerns, 1994, p. 190; ср. Kortlandt, 2001). Г.А. Климов отмечал, однако, что теория ностратической семьи не может считаться сколько-нибудь доказанной (Климов, 1983, с. 36).

М. Лейнонен в своём сравнительном анализе безличных конструкций в русском и финском языках приходит к выводу о том, что сходство их слишком велико, чтобы быть случайным (Leinonen, 1985, p. 4). В качестве примера она приводит следующие эквиваленты безличных конструкций в обоих языках (табл. 12).

**Безличные конструкции в финском и русском: эквиваленты
(Leinonen, 1985, p. 7–9)**

<i>Minua viluttaa</i> (N-Part V-3Sg)	<i>Меня знобит</i> (N-Gen-Acc V-3Sg)
<i>Minun on kylmä</i> (N-Gen Cop-3Sg Adj-Nom)	<i>Мне холодно</i> (N-Dat Adv)
<i>Pimenee</i> (V-3Sg)	<i>Темнеет</i> (V-3Sg)
<i>Minun on lähdettävä</i> (N-Gen Cop-3Sg V-1.Prt.Pass)	<i>Мне надо уходить</i> (N-Dat Adv Ind [Inf? – E.3.])
<i>On yö</i> (Cop-3Sg N-Nom)	<i>Ночь</i> (N-Nom)
<i>Eteisessä kolisee</i> (N-Iness V-3Sg)	<i>В сенях гремит</i> (Pr N-Loc V-3Sg)
<i>Täällä tehdään näin</i> (Adv V-Pass Adv)	<i>Здесь делают / делается так</i> (Adv V-3Pl /V-3Sg-Pass Adv)
<i>Näin kävi</i> (Adv V-3Sg)	<i>Так вышло</i> (Adv V-Sg.n)
<i>Minun on lähteminen</i> (N-Gen Cop-3Sg 4.Inf)	<i>Мне уйти</i> (Pron-Dat Inf)
–	<i>Жалоб не поступало</i> (N-Gen Neg V-Sg.n)
	<i>Охотнику руку ранило ружьём</i> (N-Dat N-Acc V-Sg.n N-Instr)
	<i>Слышно собак</i> (Adv N-Gen-Acc)
	<i>Мне приказано стрелять</i> (N-Dat Pass-Prt.Sg.n Inf)

Далее в тексте автор ещё неоднократно приводит русские безличные конструкции с их финскими эквивалентами (также безличными): *Мне не спится* = *Minua ei nukuta*, *Мне надо уходить* = *Minun täytyy lähteä*, *Мне везёт* = *Minua onnistaa*, *Мне жаль его* = *Minun on sääli häntä* и т.д. (Leinonen, 1985, p. 26–27). Автор объясняет это сходство, однако, не географической близостью, а ярко выраженной синтетичностью обоих языков (в финском насчитывается 14 падежей) (Leinonen, 1985, p. 4–5). Как и в русском, глагол в финских безличных предложениях обычно стоит в форме 3 л. ед. ч. (Leinonen, 1985, p. 7; Sands, Campbell, 2001, p. 257). Каждое десятое предложение в текстах на финском языке не имеет подлежащего (Leinonen, 1985, p. 19).

По данным К. Сэндс и Л. Кэмпбелл, 70 % субъектов в финском оформляются номинативом, 5 % – партитивом и 3 % – генитивом (Sands, Campbell, 2001, p. 252). Эти же авторы приводят многочисленные примеры финских безличных конструкций с модальными значениями. Во всех предложениях субъект оформлен генитивом, который, по мнению авторов, сигнализирует воздействие на человека извне со стороны каких-то не зависящих от его воли обстоятельств: *Sinun pitää mennä* (*Ты должен идти* (с модальным глаголом “*pitää*” – «долженствовать»)); *Minun täytyy nyt lähteä* (*Мне надо теперь идти* (с модальным глаголом “*täytyisi*” – «долженствовать»)); *Sinun on pakko mennä* (*Тебе надо идти*, дословно: *Тебе есть необходимо идти*); *Sinun on mentävä* (*Тебе надо идти*; с пассивным партиципом от глагола «идти»); *Hänen ei tarvitse lähteä* (*Ему / ей не надо уходить*; с модальным глаголом “*tarvitse*” – «не быть должным, необходимым») (Sands,

Campbell, 2001, p. 270–271). При желании дополнительно понизить уровень волитивности субъекта вместо генитива можно использовать аллатив: *Minun ei sovi lähteä* (генитивный субъект) и *Minulle ei sovi lähteä* (аллативный субъект) (*Мне нельзя уйти*, в обоих случаях дословно: *Мне не подходит уйти*). Как объясняют авторы, в первом случае генитив обозначает давление на субъект социальных норм, но при этом окончательное решение остаётся за ним; во втором случае аллатив указывает на полную зависимость от внешних обстоятельств. Заметим, что датива, обычно употребляющегося в других языках в подобном контексте, в финском нет. В том же источнике перечисляются многие другие типы финских безличных конструкций с многочисленными примерами, напр. *Minun on hyvä olla kotona* (*Мне хорошо быть дома*, дословно: *Мне есть хорошо быть дома*); *Jukalla oli avaimet* (*У Юкки были ключи* (в сочетании с глаголом «быть» употреблён адессив, то есть один из падежей местонахождения)) (Sands, Campbell, 2001, p. 288, 292).

В.В. Иванов предполагает влияние субстрата на сферу употребления конструкций типа *Его убило молнией* в северных диалектах русского языка, причём он подчёркивает сходство данной конструкции с эргативной и активной (Иванов, 2004, с. 56). Аналогичные мысли находим у А.М. Лаврентьева (Lavrent'ev, 2004).

Г. Вагнер полагал, что в русских дативных конструкциях можно также различить влияние (эргативных) кавказских языков (Wagner, 1959, S. 54), ср. груз. *M-šurs* (*Мне завидно*); *M-e-lmis* (*Мне больно*); *M-šüis* (*Мне хочется есть*); *M-rcxuenis* (*Мне стыдно*); *M-a-kls* (*Мне не хватает*); *M-i-nda* (*Мне хочется*); *M-a-xsovs* (*Мне вспоминается*) – во всех случаях употреблён датив (Wagner, 1959, S. 49). В других известных нам источниках о возможном кавказском субстрате или адстрате, отразившемся как-то на сфере имперсонала, ничего не говорится. Можно предположить, что сходство русского с кавказскими языками обусловлено остатками эргативности или активности в русском языке. Ф. Кортландт указывает, правда, на возможность кавказского субстрата в индоуральском, одной из ветвей которого может являться индоевропейский (Kortlandt, 2001). Он также обратил внимание на тот факт, что индоевропеист Х. Педерсен считал конструкции типа *Течением его понесло назад*, *Ветром снесло крышу* и их эквиваленты в иранских, кельтских, германских и эргативных кавказских языках возможным свидетельством их родства. Объединяет их нестандартная маркировка неодушевлённых агентов инструментальным или родственным инструментальному падежом. Теоретически можно предположить также влияние на русский следующих языков с чертами эргативности: классический армянский, чукотско-камчатские (например, языки чукчей и алюторский), юкагирские и эскимосско-алеутские (Dixon, 1994, p. 2–5), но едва ли интенсивность таких контактов была столь высока, чтобы оказать существенное влияние на русский. Сходство между ними и русским может объясняться их отдалённым родством, предполагаемым многими учёными.

9.2. Колонизация Британских островов и её языковые последствия

Процесс колонизации территории нынешней Англии разительно отличался от колонизации территории России. Вот как описывает нашествие германцев В.В. Штокмар: «Дальнейшее завоевание Британии ютами, англами и саксами приходится на вторую половину V в. Высадка дружин морских разбойников на побережье сопровождалась пожарами, истреблением всех, кто попадал в руки завоевателей, грабежами и насилиями. Кто мог, спасался бегством. Местное население было охвачено паническим ужасом и полностью деморализовано. Это делало невозможным какое-либо сопротивление завоевателям. [...] Гильдас сообщает о разорённых и разгромленных городах, брошенных затем завоевателями, так как они не представляли для них интереса, о рухнувших башнях, обвалившихся стенах, опустошённых деревнях, заброшенных полях, на которых не было ни колоса. Он пишет о том, как кельты бегут в горы и леса, как их ловят, убивают, наиболее упорных голодом вынуждают к сдаче, а потом либо убивают, либо обращают в рабство. Некоторые, спасаясь, бегут за море на континент или в Ирландию. "Огонь их (саксов) ярости лизал своим красным языком западный океан" (Ирландское море), – говорит летописец» (Штокмар, 2000, с. 21).

Как отметил В. Келлер, кельтские заимствования в английском столь же малочисленны, как заимствования из славянских языков в немецком (восточная часть нынешней территории ФРГ раньше была заселена славянами, впоследствии либо уничтоженными, либо ассимилированными) (Keller, 1925, S. 57; ср. Eckersley, 1970, p. 418; Crystal, 1995, p. 8; Sweet, 1900, p. 215; Emerson, 1906, p. 14; Bradley, 1919, p. 82; Williams, 1911, p. 7; Champneys, 1893, p. 144). Нельзя не заметить, что во многих книгах по истории английского языка это обстоятельство осторожно обходится, как и история заселения острова, но по утверждениям типа «есть данные, что не всё бритонское население было вырезано или изгнано на запад завоевателями» (Bradley, 1919, p. 83) можно догадаться, что англы, саксы и юты прибегали к метисации реже, чем славяне. А. Чемпис не говорит прямо о массовом уничтожении, но замечает среди прочего, что «...если бы среди победителей [то есть среди германцев – Е.З.] оставались бретонцы, то в английский на ранней стадии развития наверняка вошло бы больше кельтских и латинских слов» (Champneys, 1893, p. 78) (за весь период древнеанглийского, насчитывающий примерно 700 лет, из кельтских языков германцы заимствовали менее дюжины слов ("The Oxford History of English", 2006, p. 65)). Германцев и бретонцев он сравнивает с маслом и уксусом, которые не могут смешиваться друг с другом (Champneys, 1893, p. 79).

О. Есперсен отрицал уничтожение бретонцев: «Бретонцы были не уничтожены, а ассимилированы их саксонскими завоевателями. Их цивили-

лизация и язык исчезли, но раса осталась» (Jespersen, 1982, p. 35). Археолог Х. Херке также склоняется к аккультурации (Härke, 2003, p. 24; ср. Tristram, 2004; Niehues, 2006, p. 1). Я. Нихуэс делает вывод о том, что, согласно летописным источникам, при нашествии англо-саксов имели место настоящие этнические чистки, считая это, однако, преувеличением (Niehues, 2006, p. 7). Р. Гоутс видит в отсутствии следов кельтских языков в английском достаточное свидетельство малочисленности кельтов, то есть их массового уничтожения и изгнания (Niehues, 2006, p. 24), а Э. Фримен полагал, что имело место практически полное уничтожение побеждённого народа, за исключением, возможно, некоторого числа женщин, обращённых в рабство (Freeman, 1888, p. 103; Freeman, 1869, p. 27). Тот факт, что слово “wealh” («валлиец») в древнеанглийском приобрело значение «раб» (Bradley, 1919, p. 83; Tristram, 2004), в какой-то мере подтверждает предположение Фримена («валлиец» и «бретонец» – это два названия одного народа, первое из которых употребляли германские племена, а второе было самоназванием; бретонцы говорят на валлийском = кимрском языке кельтской семьи). Столь необычную даже для германских народов жестокость Фримен объясняет чрезвычайно низким цивилизационным уровнем англо-саксов, по сравнению с прочими германскими племенами, которые подверглись частичной романизации и, следовательно, христианизации (Freeman, 1869, p. 26). Для романизированных бретонцев англо-саксы были не более чем варварами. Так, в одном письме римскому консулу с просьбой о помощи в борьбе с германскими племенами они писали: «Варвары гонят нас к морю. Море гонит нас обратно к варварам. Между ними нас настигает одна из двух смертей: либо нас убивают, либо мы тонем» (цит. по: Niehues, 2006, p. 7).

Многочисленные безличные конструкции, которые могли бы перейти из кельтских языков в английский, если бы германские завоеватели были более миролюбивыми, описаны в книге Г. Вагнера «Глагол в языках Британских островов»¹. Этот же автор отмечает, что в кимрском безличные конструкции сейчас исчезают под давлением английского (Wagner, 1959, S. 73). Влияние кельтских языков на древнеанглийский предполагают в появлении герундия (Keller, 1925, S. 61; Niehues, 2006, p. 49–57), в смене форм выражения посессивности (Niehues, 2006, p. 40–42), в распространении вспомогательного глагола *to do* в отрицаниях, вопросах и эмфатиче-

¹ Назовём для примера некоторые безличные конструкции из списка Г. Вагнера: ирл. *Ta: okras oram* (Мне голодно), *Ta: tart oram* (Мне пить хочется), *Ta: agla oram* (Мне страшно), *Ta: ta ha:i agum* (Мне достаточно), *Ta: su:l' agum* (Я надеюсь), *Is taih L'um e* (Мне он нравится), *Es f'e:d'er' l'um* (Я могу, дословно: У меня возможно) (Wagner, 1959, S. 43–45); кимр.: *Ma na i ovn* (Мне страшно), *Ma na i išo* (Мне надо), *Ma na i išo bu:yd* (Мне голодно), *Ma na i vly:s o* (Мне хочется этого), *Maу n divar gin i to:d wedi dēyd* (Мне жаль, что я это сказал), *Pa: gin i tonovo* (Мне это не нравится) (Wagner, 1959, S. 71). Как утверждает “The Columbia Encyclopedia”, для кельтских языков характерно необычно интенсивное использование безличного пассива (“The Columbia Encyclopedia”, 2001–2004).

ском контексте типа *I do like* (*Мне действительно нравится*) (Niehues, 2006, p. 43–49), но не в категории безличности. Впрочем, ни один из указанных пунктов не был убедительно доказан.

Добавим, что те учёные, которые исходят из теории аккультурации, объясняют малочисленность лексических заимствований в английском из языков туземцев быстрым переходом последних на древнеанглийский и/или делением населения по принципам апартеида (апартеид – официальная политика расовой сегрегации, практиковавшаяся в ЮАР в 1948–1990 гг., а также в некоторых других странах Африки, где белое меньшинство отделялось от чёрного большинства территориально, лишало его гражданских прав, контролировало его финансово и политически) (Niehues, 2006, p. 1, 10–11).

Сами кельты, появившиеся на территории Англии в 700 г. до н.э., колонизировали остров относительно мирно, смешиваясь с местным населением (иберами), подобно славянам (Штокмар, 2000, с. 10). В начале I тыс. н.э. у них уже имелся богатый опыт общения с германскими народами, которые непрерывно совершали грабительские набеги на кельтские поселения, а на континенте вытеснили их с территории нынешней Германии. Существует предположение, что кельты сами позвали германские племена на остров в качестве союзников в междоусобных войнах, но германцы нарушили соглашение и без труда практически полностью уничтожили ослабленное войнами местное население. Впрочем, с конца VIII в. германцам довелось испытать на себе такие же методы колонизации со стороны своих кровных братьев – норманнов: «Норманны грабили нещадно города, монастыри и сёла, захватывали в плен людей, обращая их в рабство. Повсеместно они восстанавливали языческую веру и истребляли христианское духовенство. Весть о приближении норманнов вызывала панику, жители, бросая всё, спасались бегством» (Штокмар, 2000, с. 29). Со временем, однако, норманны признали в англах и саксах родственников (как это и было на самом деле) и слились с ними в один народ, о чём говорит и факт языкового смешения (см. ниже). То же можно сказать и о второй волне норманнов, которые до этого грабили Францию, а в XI в., будучи уже носителями французского языка, напали на Британские острова. Поначалу они пользовались тактикой выжженной земли, что хорошо характеризуется следующим отрывком о восстании 1069 г. в северных районах Англии: «В результате [карательной экспедиции, организованной королём Вильгельмом – Е.З.] на всём пространстве между Йорком и Даремом не осталось ни одного дома и ни одного живого человека. Йоркская долина превратилась в пустыню, которую пришлось заново заселять уже в XII в.» (Штокмар, 2000, с. 46). Со временем, однако, и эта волна норманнов слилась с местным населением. Подчеркнём, что речь идёт о тех же норманнах, которые пытались завоевать славян на самой заре истории России, были изгнаны, а затем приглашены обратно на правление (Рюрики). Вот что об этом пишет

Карамзин: «Прежде всего решим вопрос: кого именует Нестор Варягами? Мы знаем, что Балтийское море издревле называлось в России Варяжским: кто же в сие время – то есть в IX веке – господствовал на водах его? Скандинавы, или жители трех Королевств: Дании, Норвегии и Швеции, единоплеменные с Готфами. Они, под общим именем Норманов или Северных людей, громили тогда Европу. Еще Тацит упоминает о мореходстве Свеонов или Шведов; еще в шестом веке Датчане приплывали к берегам Галлии: в конце осьмого слава их уже везде гремела, и флаги Скандинавские, развеваясь пред глазами Карла Великого, смиряли гордость сего Монарха, который с досадою видел, что Норманы презирают власть и силу его. В девятом веке они грабили Шотландию, Англию, Францию, Андалузию, Италию; утвердились в Ирландии и построили там города, которые доньше существуют; в 911 году овладели Нормандиею; наконец, основали Королевство Неаполитанское и под начальством храброго Вильгельма в 1066 году покорили Англию. [...] Имена трех Князей Варяжских – Рюрика, Синеуса, Трувора – призванных Славянами и Чудью, суть неоспоримо Норманские: так, в летописях Франкских около 850 года – что достойно замечания – упоминается о трех Рориках: один назван Вождем Датчан, другой Королем (Rex) Норманским, третий просто Норманом; они воевали берега Фландрии, Эльбы и Рейна» (Карамзин, 2005–2006, файл 01-02-03).

Можно предположить, что контакты русских с германскими языками остались после прихода шведов (если это были шведы) довольно слабыми, так как у новых властителей не было нужды приводить с собой оккупационную армию. О незначительности влияния норманнов на славян пишет С.М. Соловьёв в первом томе «Истории России с древнейших времен»: «Но, кроме греков, новорождённая Русь находится в тесной связи, в беспрестанных сношениях с другим европейским народом – с норманнами: от них пришли первые князья, норманны составляли главным образом первоначальную дружину, беспрестанно являлись при дворе наших князей, как наемники участвовали почти во всех походах, – каково же было их влияние? Оказывается, что оно было незначительно. Норманны не были господствующим племенем, они только служили князьям туземных племен; многие служили только временно; те же, которые оставались в Руси навсегда, по своей численной незначительности быстро сливались с туземцами, тем более что в своём народном быте не находили препятствий к этому слиянию. Таким образом, при начале русского общества не может быть речи о *господстве* норманнов, о норманнском периоде» (Соловьёв, 2007, файл 01-00-01).

Позже он ещё раз подчёркивает незначительность влияния норманнов: «Но при этом должно строго отличать влияние народа от влияния народности: влияние скандинавского племени на древнюю нашу историю было сильно, ощутительно, влияние скандинавской народности на славянскую было очень незначительно. [...] Мы видим, что у нас варяги не со-

ставляют господствующего народонаселения относительно славян, не являются как завоеватели последних, следовательно, не могут надать славянам насильственно своих форм быта, сделать их господствующими, распорядиться как полновластные хозяева в земле. [...] Варяги не стояли выше славян на ступенях общественной жизни, следовательно, не могли быть среди последних господствующим народом в духовном, нравственном смысле; наконец, что всего важнее, в древнем языческом быте скандинаво-германских племен мы замечаем близкое сходство с древним языческим бытом славян; оба племени не успели ещё выработать тогда резких отмен в своих народностях, и вот горсть варягов, поселившись среди славянских племён, не находит никаких препятствий слиться с большинством.

Так должно было быть, так и было. В чём можно заметить сильное влияние скандинавской народности на славянскую? В языке? По последним выводам, добытым филологией, оказывается, что в русском языке находится не более десятка слов происхождения сомнительного или действительно германского» (Соловьёв, 2007, файл 01-08-12).

Добавим также, что отчасти именно норманны несут ответственность за уничтожение славян на территории нынешней Германии и окружающих её территориях (Карамзин пишет об этом в третьей главе первого тома «Истории государства Российского»).

Не удивляет и то, что англичане не заимствовали безличные конструкции из более отдалённых языков, хотя во времена колониализма у них были для этого все возможности. Достаточно вспомнить, что писали русские классики об отношении англичан к иностранцам, чтобы понять, почему при всём богатстве английской лексики основными источниками её пополнения были языки народов, победивших англичан (а также языки «культурного суперстрата» – латыни и греческого), но не языки побеждённых.

Вы слышали о грубости здешнего народа в рассуждении иностранцев: с некоторого времени она помягчилась, и учтивое имя French dog (французская собака), которым лондонская чернь жаловала всех неангличан, уже вышло из моды. [...] Вообще английский народ считает нас, чужеземцев, какими-то несовершеннолетними, жалкими людьми. «Не тронь его, – говорят здесь на улице, – это иностранец», – что значит: «Это бедный человек или младенец» (Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника).

Англичанин не имеет особой любви к иностранцам, ещё меньше – к изгнанникам, которых считает бедняками, – а этого порока он не прощает... (А.И. Герцен. Былое и думы).

Путешественник страшится быть жертвою: в Италии – ревности; в Испании – суеверия; а в Англии – гордости и высокомерия тех людей, с которыми живёт вместе. Однако ж я лучше бы согласился попасть в руки жестокому инквизитору, нежели англичанину, который непрестанно будет давать мне чувствовать, сколько он почитает себя во всем лучшим предо мною, и который, если удостоит меня своими разговорами, то не о другом чём будет со мною говорить, как бранить всех других народов и скупать рассказыванием о великих добродетелях своих соотечественников (И.А. Крылов. Почта духов).

Примерно в том же духе высказываются и сами англичане и американцы.

Мы, англичане, до того неохотно допускаем чужестранца в свой дом, что можно подумать, будто принимаем каждого за вора (Г. Филдинг. Амелия).

Человеку, имеющему намерение обосноваться там [на Соломоновых о-вах – Е.З.] надолго, необходимо обладать известной осторожностью и своего рода счастьем. Помимо этого, он должен принадлежать к особому разряду людей. Его душа должна быть отмечена клеймом непреклонного белого человека. Ему надлежит быть неумолимым, он должен невозмутимо встречать всевозможные непредвиденные сюрпризы и должен отличаться безграничной самоуверенностью, а также расовым эгоизмом, убеждающим его, что в любой день недели белый человек стоит тысячи чернокожих, а в воскресный день ему позволительно уничтожить их в большем количестве. Все эти качества и делают белого человека непреклонным. Да, имеется ещё одно обстоятельство. Белый, желающий быть непреклонным, не только должен презирать другие расы и быть высокого мнения о себе, но и обязан не давать воли воображению. Ему нет надобности вникать в обычаи и психологию чёрных, жёлтых и коричневых людей, ибо вовсе не этим способом белая раса проложила свой царственный путь по всему земному шару (Дж. Лондон. Страшные Соломоновы острова).

Поскольку цитаты из художественных произведений научным аргументом считаться не могут, приведём также отрывок из работы С.Г. Тер-Минасовой «Язык и межкультурная коммуникация»: «Вернёмся к любви к родине, проявлению патриотизма как черты национального характера. "Другой путь" английского языка заключается в том, что у британцев любовь к родине выражается через нескрываемую антипатию к иностранцам и всему иностранному. Соответственно, слова *foreign* [иностраный – Е.З.] и *foreigner* [иностранец – Е.З.] имеют отрицательные коннотации. Эти оттенки неприязни так сильны, что даже совершенно, казалось бы, нейтральное терминологическое словосочетание *the faculty of foreign languages* [факультет иностранных языков – Е.З.] вытеснено в современном английском языке более нейтральным: *the faculty of modern languages* [факультет современных языков – Е.З.]. В этом плане различия между английским и русским языком как отражение различий между соответствующими национальными характеристиками ещё более углубляются.

Русскому национальному характеру свойственны повышенный интерес, любопытство и доброжелательство к иностранцам и иностранному образу жизни, культуре, видению мира. Соответственно, слова *иностраный* и *иностранец* не имеют ингерентных (то есть изначально присущих независимо от контекста) отрицательных коннотаций, скорее наоборот. Это слова, возбуждающие интерес и повышенное внимание, настраивающие на восприятие чего-то нового, увлекательного, неизвестного.

Английские слова *foreign* и *foreigner* употребляются, как правило, в отрицательных контекстах» (Тер-Минасова, 2000, с. 183).

Далее Тер-Минасова приводит результаты контент-анализа примеров из словарей, полностью подтверждающие её точку зрения. Таким образом,

в данном случае русской «всечеловечности»¹ и открытости влиянию других народов противостоит английский этноцентризм и пренебрежительное отношение ко всему иностранному. Любопытное высказывание по этому поводу, касающееся Европы в целом, есть у Г.В. Вернадского, крупнейшего историка русского зарубежья: «В основе психологии европейцев лежало презрение к туземцам, сознание себя высшею расою. Вот этого в отношении русских к другим евразийским народам не было, почему в Евразии и более осуществим, и близок идеал свободы и братства народов» (Вернадский, 2006, файл 6.4).

Отметим также, что похожие высказывания о своеобразной форме патриотизма, выражающейся в ненависти или нелюбви ко всему иностранному, можно найти и по отношению к немцам². Очевидно, именно этой особенностью национального менталитета обусловлено практически полное отсутствие в немецком каких-либо заимствований из постоянно находящихся с ним в контакте славянских языков.

Красноречиво отразилось отношение англичан к иностранцам в некоторых креольских языках. Так, в ток-писине, смеси английского с различными папуасскими языками, слово “monkey” («обезьяна») приобрело значение «мальчик, не прошедший обряда инициации» (“manki”) (Беликов, 2005), ср. “manki bilong masta” («слуга», дословно: «обезьяна европейца») (Mühlhäusler, 1986, p. 197). Объясняется это тем, что англичане называли местных детей обезьянами, а папуасы, не будучи в силах понять английского, «угадали» значение “monkey” по-своему – довольно частое явление в пиджинах и креольских языках. Также для таких языков характерно активное применение английской пейоративной лексики, так как англичане не выбирали выражений в общении с народами, которые вплоть до конца Второй мировой войны даже в научной литературе открыто причислялись к низшим расам.

¹ Ср. «Но с нами согласятся, по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нём по преимуществу выступает способность высоко синтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во всё вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всём, в чём хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса, у него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов» (Ф.М. Достоевский, цит. по: Зеньковский, 1997, с. 118).

² Ср. «Патриотизм француза заключается в тепле его сердца, в его широте, охватывающей этим теплом и любовью не только своих близких, но и всю Францию, все цивилизованные страны. Патриотизм немца, напротив, состоит в том, что сердце его узко., он состоит в ненависти ко всему иностранному, в нежелании признавать себя гражданином мира или европейцем, но только немцем» [H. Heine. Die romantische Schule. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 40011].

Глава 10

БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЯЗЫКАХ МИРА: ОБЗОР

10.1. Синтетические языки индоевропейского происхождения

Хотя безличные конструкции можно найти во многих языках мира (очевидно, в большинстве), распределились они очень неравномерно, явно предпочитая языки синтетического строя. Среди индоевропейских языков совершенно освободившихся от имперсонала нет (Baueg, 2000, p. 96). В следующем обзоре будут рассмотрены некоторые из них, отдалённо родственные русскому.

Из германских языков по степени синтетичности русскому наиболее близки исландский и фарерский (Зеленецкий, 2004, с. 126; Гухман, 1973, с. 358), наиболее далёк сверханалитичный африкаанс (Зеленецкий, 2004, с. 183) – язык на основе нидерландского, использующийся в Намибии и ЮАР. Характерно, что носителям африкаанс этнолингвисты не приписывают ни активного отношения к жизни, ни рационализма, ни прагматизма, хотя отличительные черты английского выражены в нём ещё более ярко. Подчеркнём, что германские языки, сейчас уже в значительной мере аналитизированные, в более ранние периоды истории довольно активно использовали безличные конструкции, причём без формальных подлежащих: д.-исл. *Og þótti honum sem föstra sínum mundi mein að verða* (И ему показалось, что его приёмный отец был ранен); д.-швед. *Thy thykker os thet vnder væra* (Потому это показалось нам чудом); д.-в.-нем. *Mich dunket* (Мне кажется); д.-англ. *Ða ælcum men ðuhte genog on ðære eorðan wæstum* (Когда каждому показалось, что плодов земли достаточно); гот. *Fugkeiþ im auk ei in filuwaurdein seinai andhausjaindau* (Им показалось, что их услышали, так как они говорили громко) (Barðdal, Eythórsson, 2003, p. 442).

Древнеисландский язык (XII–XIV вв.) интересен в следующих отношениях:

- в нём был постфикс в значении «себя» (= рус. -ся/сь): *finnask* (найтись) (Nedoma, 2006, S. 67; Стеблин-Каменский, 1955, с. 124–125);
- возвратные глаголы употреблялись для формирования страдательного залога: *Ísland bygðesc fyrst ýr Norvege á dögum Haralds ens hárfagra* (Сначала, во времена Харальда Прекрасноволосого, остров заселялся из Норвегии) (Nedoma, 2006, S. 120); как и в других индоевропейских языках, в исландском пассив произошёл от медия, по сей день сохранившего свои формы в возвратных глаголах (van Nahl, 2003, S. 168–169);
- вместо доминирующего в современном исландском порядка слов SVO использовался SOV (Barðdal, 2001, p. 169; ср. Andrews, 2001, p. 93);

- в нём были широко распространены бесподлежащные предложения: *Ófeigr karl gekk frá búð, sinni, ok var áhyggjumikit* (Старый Офейгр вышел из своей палатки, [он] был очень взволнован); *Hann hjó til mannz ok kom í skjöldinn* (Он рубанул по человеку, и [удар] пришёлся по щиту); *Tók hverr, slíkt er fekk* (Всякий взял столько, сколько [он] мог); *Vel skulum drekka dýrar veigar* ([Мы] будем пить драгоценный напиток) (Nedoma, 2006, S. 131–132; Стеблин-Каменский, 1955, с. 140–141), что характерно и для индоевропейского (Ringe, 2006, p. 24), и для хеттского (Friedrich, 1974, S. 131), и для русского, в котором вплоть до XVII в. включительно личные местоимения при глаголах обычно опускались (Тупикова, 1998, с. 94; Букатович и др., 1974, с. 191, 237–238; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 377; Иванов, 1983, с. 374); обычно бесподлежащность объясняется достаточностью флексии глагола для выражения лица;

- активно в самых разных функциях использовался датив, иногда даже в функции прямого дополнения (Nedoma, 2006, S. 116; Стеблин-Каменский, 1955, с. 67–69);

- широко были представлены безличные конструкции, причём не требующие, как и в русском, формального подлежащего: *Várar* (Наступает весна); *Gerði myrkt* (Потемнело); *Væntir mik* (Я надеюсь); *Sýnisk mér / þykkir mér* (Мне кажется); *Heitir þar síðan F.* (Там это с тех пор называется Ф.); *Svá at ór dró allt aflit ór* (Так что оттуда [из руки] вытянуло всю силу); *Konung dreymði aldri* (Конунг никогда не видел снов); *Mik grunar* (Мне думается); *Mik þyrstir* (Мне хочется пить); *Uggar mik* (Я боюсь); *Minnir mik* (Мне вспоминается); *Fysir / lystir mik* (Мне хочется); *Batnaði honum* (Ему стало лучше); *Brá tönnum mjök við þat* (Люди были очень поражены этим); *Henni líkaði vel til hans* (Он понравился ей); *Mik skortir eigi hug* (У меня достаточно смелости); *Eigi skortí þar áfenginn mjöð* (Не было там недостатка в пьяном вине); *Þik hefir mikla úgíptu hent* (С тобой случилось большое несчастье); *Skipit kafði undir þeim* (Корабль потопило); в современном исландском формальное подлежащее используется, хотя и в меньшем объёме, чем в других германских языках: *Það snjóar* (Идёт снег); *Það dimmir* (Темнеет) (Nedoma, 2006, S. 132; von See Franz-Montag, 1983, S. 202; Галкина-Федорук, 1958, с. 53; Стеблин-Каменский, 1955, с. 69–70, 140);

- в формах склонения прилагательных ещё явственно просматриваются склонения существительных (Стеблин-Каменский, 1955, с. 71); вспомним, что в активных языках прилагательных нет.

В отличие от остальных германских языков, исландская морфологическая система за прошедшие столетия практически не изменилась (Varðdal, 2001, p. 11), так что исландцы до сих пор могут более или менее свободно читать древнейшие саги (Кацнельсон, 1949, с. 67). Причиной этому принято считать слабое взаимодействие с другими языками (хотя Исландия раньше являлась частью Дании и Норвегии, её никто не поработал; сами жители Исландии – это преимущественно этнические норвежцы и датча-

не), слабую диалектальную раздробленность, радикальный языковой пуризм (ещё с XVIII в.) и высокий уровень образованности населения (Eythórsson, 2000, p. 41; Гухман, 1973, с. 358–359)¹. Причина сокращения падежной системы с восьми падежей до четырёх, очевидно, та же, что и в других германских языках – склонность к ударению на первый слог, из-за которой окончания редуцируются до минимума (van Nahl, 2003, S. 3–4; Eckersley, 1970, p. 427; “The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 30; Стеблин-Каменский, 1955, с. 21, 24–25).

В современном исландском, как и в других германских языках, присутствует безличный пассив, являющийся трансформацией конструкций с дополнениями в дативе и генитиве: *Það var talað í kirkjunni* (В церкви было говорено); *Það oft mikið sofid í tímanum hér* (В классе слишком много спали) (Andrews, 2001, p. 101); *Steinum var kastad af Jóni* (В Джона кидали камнями); *Min var bedið af Jóni* (Я был ожидаем Джоном); *Mér var gefin bokina af Jóni* (Мне была дана книга Джоном); *Það var sungið* (Пели); *Þeim var fylgit* (Их вели); *Þessa verður minnt* (Над этим думают); в древнеисландском формальное подлежащее «это / оно» в безличном пассиве обычно опускалось: *Var móts kuatt* (Позвали на собрание); *Er drepet á dyrr* (Стучат в дверь) (Siewierska, 1984, p. 103; von Seeffranz-Montag, 1983, S. 203).

До сих пор очень широко распространён в самых разных функциях датив: “Dative case is found with arguments denoting Themes, Contents, Stations, Experiencers, Cognizer, Perceivers, Beneficiaries, Goals, Reasons, Sources, Instruments, Comitatives, Manners, Locatives, Paths, Measures and Time...” (Barðdal, 2001, p. 70); см. примеры в том же источнике, Интернет-версия: <http://www.hf.uib.no/i/lili/SLF/ans/barddal/chapter%203.pdf>. Датив в современном исландском языке имеет больше функций, чем остальные три падежа: у аккузатива их 14, у генитива – 11, у номинатива – 13, у датива – 17 (Barðdal, 2001, p. 74). Последние исследования распределения падежей в исландской литературе (художественной, детской, переводной, публицистике) показывают, что с 1991 по 2001 г. употребление датива с существительными несколько участилось (с 29 до 29,7 % от общего употребления падежей), то же касается аккузатива и номинатива, но не генитива (Barðdal, 2001, p. 82). Аналогичные тенденции распределения падежей наблюдаются у местоимений: датив – 20,6 % в 1991 г. > 21 в 2001 г. (Barðdal, 2001, p. 84). На 4 351 случай употребления субъекта в номинативе прихо-

¹ Ср. «Исландия расположена на отдалённом от материка острове, первыми жителями которого были скандинавские рыбаки. Жизнь вдали от иных народов, изолированность от других языков обусловили своеобразие исландского языка. Даже темпы изменчивости оказались у исландского языка гораздо более медленными, чем у языков континентальных, и сейчас исландцы совершенно свободно понимают древние саги, сложенные почти тысячу лет назад. За этот период исландский язык не претерпел сколько-нибудь существенных изменений в своём строении, и сейчас он по своему облику гораздо ближе к древнорвежскому языку, чем к языкам современной Скандинавии. От остальных языков исландский отличается ещё одной особенностью: в нём почти нет заимствований» (Рядченко, 1970).

дятся 49 субъектов в аккумулятиве, 221 – в дативе и 9 – в генитиве (Barðdal, 2001, p. 86, 89)¹. Более частое употребление датива не касается, однако, подлежащего: если в древнеисландском подлежащее употреблялось в дативе в 5,8 % случаев, то в современном исландском – в 4,2 %. С другой стороны, стал несколько активнее употребляться номинатив: 1 % vs. 0,7 % (Barðdal, 2001, p. 181).

Таким образом, анализация всё-таки даёт о себе знать: описанная выше «дативная болезнь», очевидно, не компенсирует в достаточной мере исчезновение дативных субъектов, но началась она по историческим меркам относительно недавно, в XIX в., поэтому окончательные выводы делать ещё рано. Статистические данные, основанные на анализе корпусов русского, исландского, санскрита и латыни, подтверждают, что употребление «косвенных падежей» (датива, генитива и прочих) в исландском встречается чаще, чем в остальных языках: суммарный вес «прямых падежей» (номинатива и аккумулятива) составляет в санскрите 72,5 %, в латыни – 68,7 %, в русском – 65,2 %, в исландском – 59,1 %; суммарный вес «косвенных падежей» составляет в санскрите 27,5 %, в латыни – 31,3 %, в русском – 34,8 %, в исландском – 40,1 %. Таким образом, исландский использует минимум прямых и максимум косвенных падежей. Автор, приводящий эти данные, подчёркивает, что из двух косвенных падежей исландского – генитива и датива – доминирование исландского над остальными тремя языками обеспечил всё-таки датив (Barðdal, 2001, p. 85; ср. Greenberg, 1976, p. 38).

Особенно следует подчеркнуть тот факт, что в исландском, являющемся самым синтетичным из всех германских языков, безличные конструкции представлены наиболее широко, а в более ранние периоды истории безличность являлась, по выражению А. Хойслера, «поразительной особенностью древнеисландского предложения» (цит. по: von Seeffranz-Montag, 1983, S. 201–202). Дативные конструкции описывают преимущественно психические состояния (субъект выполняет роль экспериенцера), аккумулятивные – физические (субъект выполняет роль пациенса); датив ассоциируется с неволеитивностью (Onishi, 2001 a, p. 27; Andrews, 2001, p. 99). Хотя сфера безличности в современном исландском сокращается, общее число таких конструкций всё ещё достаточно велико: *Mig langar* (Мне хочется); *Mig þyrstir* (Мне хочется пить); *Mig minnir* (Мне вспоминается); *Mig syfiar* (Меня клонит ко сну); *Mér er heitt / kalt / illt* (Мне жарко / холодно / плохо); *Mér lizt / heyrir* (Мне кажется); *Mik dreymdi* (Мне снилось); *Mér líkar* (Мне нравится); *Mig vantar* (Мне не хватает); *Mig skorti ekkert* (Мне ничего не надо); во всех случаях место подлежащего занимает дополнение в аккумулятиве или дативе (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 204–205); *Manninn (ACC) tók út af bátnum* (Мужчину

¹ Для сравнения: по данным А.М. Лаврентьева, на 338 проверенных им падежных форм в функции субъекта приходятся 309 в именительном падеже, 19 – в дательном падеже (*Мне удобнее было; Им невдомёк*), 7 – в родительном падеже (при отрицании: *Никаких книг не находилось*), 2 – в сочетании с предлогами (*Для них будет любопытно узнать, Около трёх недель прошло для меня в хлопотах*) (Лаврентьев, 2004).

смыло с лодки); *Bátinn* (ACC) *braut í spón* (Корабль разбило в щепки); в безличных конструкциях такого типа производитель действия никогда не упоминается (Thráinsson et al., 2004, p. 276, 280); *Mér batnaði kvefið* (Я выздоровел от простуды) (Butt, 2006, p. 70); *Mér er bumbult / óglatt* (Меня тошнит); *Auk þess undrar mig* (Кроме того, меня удивляет); *Mér reiknaðist / taldist það til að...* (Мне кажется, Мне оценилось это...); *Mér hugsaðist það svo að...* (Мне думалось, что...); *Mér hugkvæmdist það að...* (Мне пришло в голову, что...); *Mér skipulagðist þetta þannig að...* (Я организовал это так, что..., Мне организовалось...); *Mér skrifaðist þetta þannig að...* (Я написал это так, что..., Мне написалось...); *Mér analyseraðist þetta þannig að...* (Я проанализировал это так, что..., Мне проанализировалось...); *Hopum heppnaðist þetta* (У него получилось это); *Mér gekk vel* (У меня получилось, обошлось); *Mér versnaði* (Мне стало хуже) (Barðdal, 2001, p. 137–139, 149, 158–161, 69, 71); *Við Ólaf er ekki talandi* (С Олафом невозможно говорить); *Ekki er alltaf gaman [að læra mál]* (Учить языки не всегда приятно); *Ígær ringði* (Вчера дождило); *Ekki skal harma fletta* (Об этом не следует сожалеть); *Ekki má gleyma raðherranum* (Министра нельзя забывать) (Platzack, 2003, p. 349–350); *Búðinni* (DAT) *lokaði* (Магазин закрылся; «эргативный датив»); *Búðin* (NOM) *opnaði* (Магазин открылся; «эргативный номинатив») (Barðdal, 2001, p. 157–158); *Leikjunum* (DAT) *lyktaði með jafnetefli* (Спички закончились в ящике) (Butt, 2006, p. 74).

Помимо стандартной формулы индоевропейских языков «номинатив (подлежащее) > глагол > аккузатив (дополнение)», возможны следующие варианты: а) аккузатив > аккузатив (встречается редко по сравнению со следующим типом): *Strákana vantar mat* (Парням (акк.) не хватает еды (акк.)); б) датив > номинатив (встречается чрезвычайно часто): *Henni hefur alltaf þótt Ólafur leiðinlegur* (Ей (дат.) Олаф (ном.) всегда казался надоедливым); в) аккузатив > генитив (очень редко): *Mig íðrar þess* (Я (акк.) сожалею об этом (ген.)); г) аккузатив > номинатив (очень редко): *Mig sækir syfja* (Меня (акк.) клонит ко сну (ном.), дословно: Меня (акк.) ищет сонливость (ном.)) (Andrews, 2001, p. 88).

Главное различие исландского и русского языков состоит в том, что в исландском количество безличных конструкций сокращается (Andrews, 2001, p. 103), а в русском растёт (ср. Тупикова, 1998, с. 80; Устинова, 2007, с. 18). Впрочем, русский в этом отношении не одинок. В «Курсе современного украинского литературного языка», изданном Академией наук Украинской ССР, отмечается расширение сферы безличности и в украинском языке (Виноградов 1975)¹, что противоречит утверждениям последователей А. Вежбицкой, что «рост безличных конструкций является типично русским феноме-

¹ Культурологи обычно приписывают украинцам примерно те же особенности национального характера, что и русским: преобладание иррационального начала в сочетании с эмоциональностью и «сердечностью» (ср. рус. *душевность*) над рациональным, фатализм, созерцательность, мечтательность, склонность к анархии. Украинцам, однако, приписывают большую степень индивидуализма или даже примат индивидуализма над коллективизмом (Додонов, 1998). Какие-то конкретные социологические исследования, которые подтверждали бы эти предположения, нам неизвестны.

ном» (Захарова, 2003). И. Фодор отмечает расширение сферы имперсонала и в других славянских языках, не вдаваясь, однако, в подробности (Fodor, 1957, S. 149). Установлен рост сферы употребления имперсонала в каракалпакском языке тюркской группы (Узбекистан) (Умаров, 1990) и ирландском языке кельтской ветви индоевропейской семьи (Wagner, 1959). Сокращение сферы имперсонала в исландском тоже не является абсолютным. Например, в 2004 г. в журнале “The Journal of Comparative Germanic Linguistics” была опубликована статья “The new impersonal construction in Icelandic”, где сообщается об образовании новой безличной конструкции в пассивном значении (Maling, Sigurjónsdóttir, 2002).

Фарерский язык (один из северогерманских языков, 50 000 носителей на Фарерских о-вах) является несколько более анализированным по сравнению с исландским (von See Franz-Montag, 1983, S. 207). Очевидно, именно этим обусловлен тот факт, что дополнения в аккумулятиве типа *Meg (ACC) droymdi ljótan dreymt* (Мне снился отвратительный сон) уже в значительной мере превратились в номинативные субъекты (Thráinsson et al., 2004, p. 227). Если в исландском генитив для оформления субъекта ещё довольно активно употребляется, то в фарерском он уже выходит из употребления, остаются номинатив, датив и аккумулятив (Thráinsson et al., 2004, p. 61; 206). С другой стороны, фарерский является менее анализированным, чем остальные северогерманские языки, что видно, среди прочего, по глагольной парадигме, более простой, чем в исландском, но более сложной, чем, например, в датском (Thráinsson et al., 2004, p. 369).

Фарерский богат безличными конструкциями с дативом: *Mær barst fyri at hann var sjkúr* (Мне показалось, что он болен); *Mær eydnaðist túrur in væl* (Мне удалось хорошо попутешествовать); *Mær gongur væl* (У меня всё в порядке); *Mær gekst striltið at vinna upp land* (Мне было трудно выбраться на берег); *Mær hóvar lítið ta nýggju uppgávinu* (Мне не нравится новое задание); *Mær hugar hetta einki* и *Mær hungar ikki við tað* (Мне это не нравится); *Henni leiddist við hetta* (Ей это надоело); *Mær líkar hana væl* (Мне она очень нравится); *Mær lítst væl á hann* (Мне он очень нравится; другой глагол); *Mær nýtist ikki at siga meir* (Мне не надо говорить ничего больше); *Mær skortar ikki pening* (Мне хватает денег, У меня достаточно денег); *Mær skrímir einki um hann* (Он мне совсем не нравится); *Mær sýnist hetta vera best* (Это кажется мне лучшим решением); *Honum trýtur pening* (Ему не хватает денег); *Mær tykir synd í henni* (Мне её жаль); *Mær tykist hetta vera stuttligt* (Мне это кажется интересным); *Mær lukkast ikki at fáa hetta liðugt* (Мне не удалось справиться с этим); *Mær manglar tíggju krónur* (Мне не хватает десяти крон); *Mær tørvar góða hjálp* (Мне нужна хорошая помощь); *Henni vantar góða orðabók* (Ей нужен хороший словарь); *Honum varð á at bróta árina* (Ему случилось сломать весло); *Henni varð dátt við, tá ið teir komu innum* (Она испугалась, когда они вошли); *Henni dámar væl fisk* (Ей очень нравится рыба); *Honum leingist altíð heim aftur* (Ему всегда хо-

чется домой) (Thráinsson et al., 2004, p. 255–257). Остаётся также довольно много аккузативных конструкций: *Meg (ACC) nøtrar í holdið* (Меня тряcёт); *Meg (ACC) órdi tað ikki* (Я не ожидал этого); *Meg (ACC) varði einki ilt* (Я не ожидал ничего плохого); *Meg / mæR (ACC / DAT) fýsir ógvuliga lítið at fara* (Мне совсем не хочется идти); *Meg / mæR (ACC / DAT) lystir at dansa* (Мне хочется танцевать); *Meg / mæR (ACC / DAT) hugbítur eftir tí* (Мне очень этого хочется) (Thráinsson et al., 2004, p. 253–254). В современном фарерском аккузативные субъекты превращаются в номинативные или дативные, а дативные – в номинативные (Thráinsson et al., 2004, p. 427–429).

Хотя основным порядком слов в фарерском является SVO (Thráinsson et al., 2004, p. 236), объект ещё можно ставить перед субъектом, что мы и наблюдаем во всех приведённых выше примерах безличных конструкций. Приведём ещё несколько примеров топиализации в личных конструкциях: *Hesa bókiná hevur Jógván lisið* (Эту книгу Йогван прочитал); *Tann gamla bilin seldi Zakaris Eivindi* (Старую машину Закарис продал Эйвнду); *Tann gamla bilin vil eg ikki hava* (Старую машину я не хочу); *Vøkurnar vil eg ikki geva honum* (Эти книги я ему давать не хочу) (Thráinsson et al., 2004, p. 239, 289). Хотя различия между подлежащим и прямым дополнением делать всё сложнее из-за почти полного совпадения их форм (номинатив, аккузатив) (Thráinsson et al., 2004, p. 78–91), это пока в какой-то мере компенсируется достаточно дифференцированной парадигмой глагольных флексий (Thráinsson et al., 2004, p. 135–140). Следует полагать, однако, что в дальнейшем аналитизация приведёт к исчезновению большинства безличных конструкций.

Как и в других германских языках, в фарерском можно найти примеры безличного пассива: *Tað varð dansað alla náttina* и *Dansað varð alla náttina* (Танцевали всю ночь); *Tað bleiv etið og drukkið í fleiri dagar* (Ели и пили много дней); *Tað varð vitjað í hvørjari bygd* ([Они] наносили визиты в каждой деревне) (Thráinsson et al., 2004, p. 274–275). *Tað* в данном случае является формальным подлежащим, употребляющимся и в других типах безличных конструкций (*Tað regnar ofta* (Часто идёт дождь)), а также в качестве анафорического местоимения (*Tað er lítið skilagott at koyra við summardekkum um veturin* ([Это] не очень разумно ездить с летними шинами зимой)) (Thráinsson et al., 2004, p. 283). На более ранних стадиях формальное подлежащее могло опускаться (Thráinsson et al., 2004, p. 436), а дополнение чаще ставилось перед подлежащим (Thráinsson et al., 2004, p. 427).

Как и в исландском, в фарерском сохранился постфикс *-ся (-st)*, употребляющийся в конструкциях среднего залога; производитель действия в нём обычно не упоминается: *Íbúð unskist til leigu* (Ищется квартира для съёма, то есть Я ищу...); *Bókin seldist væl* (Книга хорошо продавалась); *Her skal eitt hús byggjast* (Здесь будет строиться дом); *Hann brendist illa* (Он сильно обжёгся); *Hon hoyrdist syngja langa leið* (Её пение слышалось изда-лека); *Dyrnar opnaðust knappliga* (Дверь внезапно открылась) (Thráinsson

et al., 2004, p. 277–279). Средний залог фарерского может передаваться пассивом английского: *Hann noyddist av landinum* (*He was forced to leave the country*) (Thráinsson et al., 2004, p. 71).

Древневерхненемецкий язык (1050–1500), как и древнеанглийский, также использовал свободный порядок слов, его падежная система также состояла из номинатива, генитива, датива, аккузатива и остатков инструменталиса; формы номинатива и аккузатива у существительных во многом совпадали; формальный субъект *es* был необязателен; местоимения перед глаголами могли опускаться, так как окончания глаголов отражали форму подлежащего; артикли и вспомогательные глаголы только зарождались (Schmidt, 2000, S. 223–227, 233–234, 237; “Lexikon der germanistischen Linguistik”, 1980. Bd. 3, S. 573–574). Процесс аналитизации наметился уже тогда, что объясняется ослаблением флексий из-за специфической просодии немецкого языка. Так, Б.А. Серебренников отмечает, что «ударение в древних германских языках падало на первый слог. Изменение характера ударения вызывало ослабление конечных слогов. Ослабленная флексия постепенно исчезала, что привело к развитию аналитических конструкций» (Серебренников, 1970, с. 264; ср. Зеленецкий, 2004, с. 65–66; Crystal, 1995, p. 32; Аракин, 2003, с. 19–20; “The Oxford History of English”, 2006, p. 20). В современном немецком ударение по-прежнему тяготеет к первому слогу (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 58). Как и в английском, разграничение субъекта и объекта становилось всё более затруднительным, что привело к частичному исчезновению имперсонала, ср. д.-в.-нем. *Daʒ kind hungarit* (дословно: *Ребёнка голодит* или *Ребёнок хочет есть*) (McCawley, 1976, p. 199). Кроме того, для индоевропейских языков вообще характерен отход от синтетических конструкций, что, как полагала М.М. Гухман, обусловлено скрещением языков (Серебренников, 1970, с. 303). Помимо упомянутых выше причин аналитизации германских языков, в случае немецкого можно добавить сильное диалектальное дробление, вызванное, среди прочего, склонностью немцев к регионализму (отсюда официальное название страны – Федеративная Республика Германия)¹.

¹ Ср. «...именно тогда, в 1250–1500 гг., сформировалось многое из того, что и по сей день является частью нашей жизни [в Германии – Е.З.], хотя иногда в изменённом виде. Как и прежде, мы живём и думаем преимущественно в границах нашей земли. Именно тогда жизненное пространство стало для немцев слишком узким, в политическом, экономическом и культурном смысле. Центра не было и до этого, но именно с тех пор региональность, провинциализм стали формой существования» (Г. Штеффан, цит. по: Pfeiffer, 1993, S. 14). Как утверждал ещё в 1783 г. немецкий писатель Й.К. Ризбек, немцы «разделены на почти бесчисленные, большие и маленькие племена, бесконечно далеко стоящие друг от друга в плане формы правления, религии и пр.; их единственное общее звено – это язык» (цит. по: Pfeiffer, 1993, S. 42). «Особенностью истории образования немецкой нации считается "федеративный национализм". Его пропагандисты ещё в начале XIX в. часто подчёркивали отличие Германии от Франции и пытались соединить требования единства страны с сохранением "многообразия государств немецкой нации", которые, как сказал Вильгельм фон Гумбольдт, не должны "слиться в одну массу", как это случилось в Испании и Франции» (Wenk, 2005, S. 76). С самого начала истории «немцы не имели друг с другом абсолютно ничего общего и были разделены на многочисленные независимые королевства небольшого размера» (Janson, 2002, p. 133).

В случае протогерманского скрещение было столь сильным, что некоторые учёные говорят о креолизации данного языка (ср. Mühlhäusler, 1986, p. 34). Среди предполагаемых контактёров называют культуру боевых топоров (археологический пласт в Европе, берущий начало в позднем неолите, достигший расцвета в медный век и закончившийся в раннем бронзовом веке), культуру эртебелле (4200–2000 гг. до н.э.) и ряд других; реже – финно-угорские народы. Другим возможным объяснением является возникновение протогерманского из каких-то двух древних индоевропейских языков, один из которых принадлежал к группе кентум, другой – к группе сатем, причём носители этих языков могли понимать друг друга (сейчас немецкий относят к группе кентум). Как бы то ни было, каждое третье слово в исконном немецком словарном запасе имеет неизвестное происхождение, явно неиндоевропейское и никоим образом не указывающее на то, что речь идёт о германском суперстрате и неизвестном субстрате. Напротив, категории, к которым принадлежат этимологически непрозрачные слова, обычно причисляют к суперстратальным: оружие / война, власть / право, мореходство. Вот некоторые из них: англ. *sea, ship, strand, ebb, steer, sail, keel, north, south, east, west, sword, shield, helmet, bow, king, knight, thing*. Подробно гипотеза рассматривается в разделе “Germanic Languages” книги “The Major Languages of Western Europe” (Ed. B. Comrie. Routledge, 1990), а также в статье З. Файста «Происхождение германских языков и индоевропеизация Северной Европы» (Siegmond Feist. The origin of the Germanic languages and the Indo-Europeanising of North Europe // Language 8. – 1932. – P. 245–254).

Безличные конструкции в древне- и средневерхненемецком достаточно подробно описаны в работе Г. Пауля «Грамматика средневерхненемецкого» (Paul, 1998, S. 336, 321–323, 307–308, 319, 350, 368); аналогичная информация по всем древним германским языкам дана в кратком обзоре М. Огуры (Ogura, 1986, p. 28–33); общий обзор безличных глаголов во все периоды истории немецкого языка можно найти в четвёртом томе «Немецкой грамматики» Я. Гримма (Grimm, 1898, S. 262–292). Г. Бишоп (Bishop, 1977, p. 27–28) после обзора соответствующей литературы перечисляет следующие виды безличных конструкций в древневерхненемецком:

- 1) «метеорологические» глаголы: *Iz régenôt; Iz uuât;*
- 2) время, включая время года и суток (частично совпадает с предыдущей группой): *Iz ist zit; Iz uuard aband; Iz abandet; Iz ist tag;*
- 3) глаголы, относящиеся к недостатку чего-то: *Brást in thar thes wínes; Dîen neménget neheines kûotes;*
- 4) физические и ментальные состояния: *Ímo unuuíllôta; Ward ire ofto sware; Nirthróz se thero wóрто; Thanne wírdit imo báz; Tih áber súozes sánges lángêt; Mih hungrita;*
- 5) безличный пассив: *Thes ér iu ward giwáhinit; Inti ist thir gilonot.*

Конструкции типа *Mir ist nōt*; *Mir ist durft*; *Mih ist wuntar*; *Mir ist wê* он к безличным не причисляет, аргументируя это тем, что “nōt”, “durft” и “wuntar” грамматически являются подлежащим (номинатив определяет форму глагола), а дополнение в дативе “wê” слишком близко по своим функциям к подлежащему (Bishop, 1977, p. 29–30).

Датив в древневерхненемецком использовался после некоторых междометий (“ach”, “leider”, “phi”, “wol” и т.д.), после предлогов “abe”, “after”, “an”, “neben”, “vor”, “gegen” и т.д., при некоторых прилагательных в предикативной функции (“liep”, “wert”, “holt”, “nütze”, “kund”, “niuwe”, “verge” и т.д.), для построения безличных конструкций типа *Mir eiset / anet / grûwet / versmâhet*; *Mir ist leit / durft / zorn* и во многих других функциях (Paul, 1998, S. 350–353). Любопытно также замечание Я. Гримма, что в древневерхненемецком большинство глаголов, употреблявшихся в безличных конструкциях, требовало чаще не датива, а аккузатива; кроме того, датив и аккузатив часто взаимозаменяемы в диалектах (Grimm, 1898, S. 291). Похожую ситуацию можно наблюдать и в древнеанглийском, часто прибегавшем к необычным для русскоязычных конструкциям типа *Меня голодит* вместо *Мне голодно*. Взаимозаменяемость датива и аккузатива можно объяснить тем, что в доиндоевропейском, как мы показали в третьей главе, датив произошёл из общего объектного / пациентивного падежа, называемого аккузативом, но вмещавшего в себя больше функций.

А. фон Зеефранц-Монтаг приводит следующие безличные конструкции с дативом и аккузативом в средневерхненемецком: *mir grûset, mich jâmmert, mich wundert, mich verdriezet, mir griulet, mich (ge)lustet, mich be/ver/erlanget, mir zôget, mich betrâget, mir liebet, mir leidet, mich bevilt, mir / mich genüeget, mir troumet, mich erbarmet, mir dunket, mir (ge)zemet, mir gebrist, mir gebricht, mir zerinnet, mir geschicht, mir / mich anet, mir gelinget, mich riuwet, mir versmâhet, mich müet, mir vrunt, mich touc, mir / mich gerinet, mir gollet, mich unbildet, mich bidemit, mir bâzet, mir (gi)spuoet, mir zâwet, mich bedriuzet, mir gerîset, mir / mich verwâhet*; некоторые глаголы сохранились по сей день, но, скорее, как архаизмы и диалектизмы: *mich lächert, mich tanzert, mich schläfert, mich lüstert, mich begehrt, mir zweifelt, mich ahnt, mich denkt, mich leidet, mich liebt, mich sehnt, mich hungert, mich dürstet, mich verlangt, mir beliebt, mich jammert, mich gelüstet, mich dauert, mir träumt, mich dünkt, mich ekelt, mir schwant, mich schwitzt* (von See Franz-Montag, 1983, S. 159–161). Удельный вес таких глаголов постепенно сокращается, уступая место личным конструкциям (von See Franz-Montag, 1983, S. 163; Haspelmath, 2001, p. 66). Примечательно, что в немецком, как и прочих германских языках, дативные и аккузативные субъекты обычно встречаются в комбинации со стативными непереходными глаголами (Barðdal, Kulikov, 2007), то есть той самой группой глаголов, которая требует оформления субъекта подобно дополнению в активных языках.

В современном немецком можно наблюдать некоторые тенденции, типологически сближающие его с английским вследствие аналитизации:

- увеличение числа и частотности пассивных конструкций (Roelcke, 2004, S. 152): удельный вес пассива с глаголом “werden” в СМИ увеличился, например, с 14,5 % в 1866 г. до 21,89 % в 1985 г. (von Polenz, 1999, S. 505); А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов в 1983 г. отмечали «увеличение функциональной активности форм пассива во всех функциональных стилях речи, в том числе и обиходной речи» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 147), причём общая частота употребления пассива со вспомогательным глаголом “werden” в немецком выше, чем с глаголом «быть» в русском (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 140), что, возможно, обусловлено большей аналитичностью немецкого;

- замена аффиксации аналитическим словосложением: например, немецкий перевод романа Дж. Оруэлла «1984», сделанный в 1984 г., содержит в 14 раз больше композитов, чем перевод 1950 г.;

- понижение частотности уменьшительно-ласкательных суффиксов, особенно в более аналитизированных северных диалектах (Roelcke, 2004, S. 158);

- увеличение числа глаголов с нулевым суффиксом (*texten, filmen, lacken, paddeln, morsen, röntgen, schriftstellern*); вообще потеря формального разграничения между частями речи, которые и так разграничены менее, чем в русском языке (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 79);

- сокращение числа бесподлежащих предложений (Roelcke, 2004, S. 149);

- переход сильных глаголов в слабые (Roelcke, 2004, S. 151): ср. “IF there is stem modification (other than by assimilation and contraction), THEN morphology is flexive” (“The Universals Archive”, 2007);

- исчезновение возвратных глаголов: например, раньше с возвратным местоимением *sich* употреблялись глаголы *büßen, wännen, meiden, zürnen* (Grimm, 1898, S. 38–39);

- замена дативных дополнений аккузативными (*jemandem rufen > jemanden rufen, jemandem etwas schenken > jemanden beschenken*);

- расширение сферы употребления номинатива, ведущее к превращению в подлежащее членов предложения, выражающих не агенс, а объект или инструмент: *Das Gesetz verbietet; Die Universität ist bestrebt; Der Krieg hat die Stadt zerstört* (von Polenz, 1999, S. 367–369, 346–347).

Увеличение сферы употребления аккузатива с глаголами П. фон Поленц объясняет (помимо аналитизации) удобством их употребления: возможностью не упоминать второй объект (*Wir beliefern Sie* – говорящий может не упоминать, что именно поставляется, так как валентность глагола “beliefern”, в отличие от “liefern”, не требует второго дополнения), возможностью строить пассив (*Sie werden beliefert*), возможностью строить партицип (*der belieferte Kunde*), возможностью добавлять атрибут в генитиве (*die Belieferung des Kunden*) и возможностью номинализировать глагол (*der Belieferte*) (von Polenz, 1999, S. 319).

Подчеркнём, что расширение сферы употребления транзитивных глаголов можно расценивать как следствие усиления номинативности: «Однако следует учитывать также несомненную связь унифицированной формы прямого дополнения в немецком языке с большей степенью его номинативности, осмысляя эти характерологические черты как взаимообусловленные» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 106). Процесс анализации немецкого вкратце описан в статье У. Хинрихса “Vorbemerkungen zum analytischen Sprachtyp in Europa” (Hinrichs, 2004 b, S. 24–27).

Поскольку немецкий и сегодня остаётся языком достаточно синтетическим, сфера безличности в нём несоизмеримо шире, чем в английском. К безличным конструкциям относятся: *Es dürrtet mich* (Мне хочется пить); *Es wurde ihm kalt* (Ему стало холодно); *Es freut mich, dass...* (Рад, что...); *Es stehen zwei Schneemänner im Garten* (В саду стоит два снеговика; в данном случае место субъекта занято местоимением-псевдосубъектом *es*, многие грамматик не относят такие предложения к безличным); *Es regnet* (Идёт дождь); *Es blitzt* (Сверкает (молния)); *Es donnert* (Гремит (гром)); *Es dunkelt* (Темнеет); *Es hagelt* (Идёт град); *Es herbstet* (Наступает осень); *Es nieselt* (Моросит (дождь)); *Es reift* (Выпал иней); *Es schneit* (Идёт снег); *Es tagt* (Светаёт); *Es kommt mir vor, als...* (Сдаётся мне, что...); *Es ist, als hörte Mischa ihn* (Такое впечатление, будто Миша его услышал); *Es fiel mir ein...* (Мне вспомнилось, пришло в голову); *Es kam mir zum Bewusstsein...* (Я осознал, дословно: Мне осозналось); *Es fiel mir auf, wie der Kater zugenommen hatte* (Я обратил внимание, как растолстел кот); *Es wurde mir klar* (Мне стало ясно); *Es blieb mir ein Rätsel, wie er mir geholfen hatte* (Для меня осталось загадкой, как он мне помог); *Es bleibt mir nur ihm zu helfen* (Мне остаётся только помочь ему); *Mich friert / Es friert mich* (Я замёрз).

Инфинитивных конструкций с дативом или номинативом в немецком не так много, как в русском (Trnavac, 2006, p. 63). Их значения тоже имеют коннотации модальности: *Ihm ist nicht zu helfen* (Ему не помочь); *Der Ton ist zu hören* (Звук можно (у)слышать); *Es ist nicht zu übersehen* (Нельзя не заметить); *Das zweite Auto ist nicht zu erwähnen* (Не следует упоминать о втором автомобиле). Хотя в немецком субъект может оформляться и номинативом, смысл от этого не меняется – инфинитивные конструкции выражают возможность, необходимость и прочие модальные значения, не зависящие от субъекта, а направленные на него извне (Trnavac, 2006, p. 73).

Хотя во многих примерах присутствует формальное подлежащее “es”, оно ничего не выражает и выполняет чисто синтаксическую функцию (отсюда его название «псевдосубъект» – *Scheinsubjekt* – в немецкой терминологии¹). Тем не менее в XX в. ещё можно было встретить утверждения, что за ним скрываются некие таинственные силы судьбы и природы. В частности,

¹ Ср. определение безличной конструкции из “Metzler Lexikon Sprache”: “Im Dt. auftretender Konstruktionstyp, in welchem es das syntakt. Subjekt darstellt, es jedoch nicht in einem semant. Argument des Verbs identifiziert werden kann, weshalb es auch als formales Subjekt, uneigentliches Subjekt und Scheinsubjekt bezeichnet worden ist” (Glück, 2000; ср. Иванов, 2004, с. 55; “Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 949).

А. Хаммер писал о немецкой конструкции *Es gibt* следующее: «Происхождение и значение этой фразы следующее: природа (или провидение) даёт что-то (или же снабжает чем-то, порождает что-то). Именно так объясняются фразы с *es gibt* типа *Es hat letztes Jahr eine gute Ernte gegeben* [*В прошлом году был (дан) хороший урожай – Е.З.*]» (цит. по: Joseph, 2000). Данная конструкция, согласно тому же источнику, встречается и в других германских языках (голландском, древнесеверном), и потому может быть отнесена к самому древнему периоду существования германской языковой семьи. Там же отмечается, что в английском в XX в. появилась конструкция, являющаяся, очевидно, калькой с немецкого или идиша: *What gives?* (*Что случилось?*). В немецком *Es gibt* появилась только в XVI в. (Bauer, 1999, p. 591). Если речь идёт о выражении иррационального мировоззрения, непонятно, почему носители немецкого языка стали прибегать к этой конструкции так поздно, когда иррациональное мировоззрение было уже явно на спаде. С нашей точки зрения, речь идёт о результате становления категории переходности, поэтому мы бы не стали относить данную структуру к раннему индоевропейскому периоду.

Без подлежащих употребляются в немецком императивы (*Schweig!* (*Молчи!*)), к безличным конструкциям их причислял Э. Бек (Bishop, 1977, p. 29); эллиптические конструкции в разговорной речи (*Bin schon da – [Я] уже здесь*) и безличный пассив с глаголами *werden*, *bleiben*, *sein*, *gehören*: *Auf der Straße wurde gejubelt* (*На улицах праздновали*); *Damals wurde viel getanzt* (*Тогда много танцевали*); *Heute bleibt geschlossen* (*Сегодня закрыто*); *Hier gehört mal wieder aufgeräumt* (*Здесь опять надо убирать*); *In diesem Jahr ist mit Neuwahlen zu rechnen* (*В этом году будут выборы*); *In diesem Jahr bleibt (trotz der gestrigen Ereignisse) mit Neuwahlen zu rechnen* (*В этом году, несмотря на вчерашние события, будут выборы*); *Wie schon eingangs betont wurde* (*Как уже было отмечено в начале*). Распространение безличного (по другой терминологии – неопределённо-личного) пассива в немецком объясняется возможностью избежать упоминания агенса (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 157), что обычно довольно трудно сделать в номинативных языках.

Общим звеном немецкого и английского (включая древнеанглийский) остались неопределённо-личные конструкции, в своём значении вплотную приближающиеся к безличным, ср. д.-англ. *Her mon tæg giet gesion hiora swæð*; англ. *Here one can still see their track*; нем. *Hier kann man immer noch ihre Spuren sehen* (*Здесь всё ещё можно видеть их следы*). В немецком их иногда относят к безличным и даже к пассиву (Siewierska, 1984, p. 112; ср. Hirt, 1937. Bd. 7, S. 17).

Всего в современном немецком употребляется примерно 120 безличных глаголов или, вернее, глаголов с безличными значениями (для сравнения: в древнешведском – 40, в исландском – свыше 1 000) (Barðdal, 2006 a). Примерно 80–100 глаголов требуют дативных или аккузативных субъектов, причём количество первых постепенно выросло за счёт вторых (Barðdal, Kulikov, 2007). Любопытны также результаты подсчётов по словарям “Duden Oxford English-German” (1999) и “Duden Oxford German-English” (1999): если в английской части приводится всего 6 глаголов, употребляющихся в безличных

конструкциях, то в аналогичной по размерам немецкой – 113. Хотя принято считать, что в русском безличность выражена больше, чем в немецком (Галкина-Федорук, 1958, с. 53; Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 208), Я. Гримм отмечает, что возможности построения в немецком безличных конструкций практически безграничны, так как почти каждый непереходный и возвратный глагол может использоваться после формального подлежащего *es*: *es glüht, es läuft, es versteht sich, es hat Eile* и т.д. (Grimm, 1898, S. 291). Целый ряд таких глаголов, не упомянутых в этой работе, приведён у А. фон Зеефранц-Монтаг (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 58–59).

Как утверждает «Энциклопедия языка и лингвистики», безличные конструкции «очень распространены» в бенгальском; там же, кстати, посессивность выражается глаголом «быть», как в русском (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 916), «характерны для балто-финских языков и особенно хорошо представлены в эстонском» (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 7797); об особой распространённости безличных конструкций в **русском** авторы не упоминают. Не вызывает, однако, сомнений тот факт, что именно в русском языке сфера употребления особенно широка по сравнению с другими индоевропейскими языками.

Значительную роль в сохранении имперсонала сыграла, на наш взгляд, консервативность русского языка, или же «архаичность», как выразился Ш. Балли (см. выше). Русский, в отличие от английского, является языком, образно говоря, оседлым: если английский был даже на территории современной Англии занесён извне, тогда ещё будучи англосаксонским (Жирмунский, 1940, с. 34), а затем во времена колониализма из Англии распространился практически по всему миру, то на славянских диалектах, как отмечает М.М. Гухман, на территории России говорят уже не менее 2000 лет (Блумфилд, 2002, с. 51)¹. Кроме того, многие столетия Россия была обособленной страной, развивавшейся по своим законам без

¹ Ср. «Нестор пишет, что Славяне издревле обитали в странах Дунайских и, вытесненные из Мизии Болгарами, а из Паннонии Волохами (дольше живущими в Венгрии), перешли в Россию, в Польшу и другие земли. Сие известие о первобытном жилище наших предков взято, кажется, из Византийских Летописцев, которые в VI веке узнали их на берегах Дуная; однако ж Нестор в другом месте говорит, что Св. Апостол Андрей – проповедуя в Скифии имя Спасителя, поставив крест на горах Киевских, ещё не населённых, и предсказав будущую славу нашей древней столицы – доходил до Ильменя и нашёл там Славян: следственно, они, по собственному Несторову сказанию, жили в России уже в первом столетии и гораздо прежде, нежели Болгары утвердились в Мизии. Но вероятно, что Славяне, угнетённые ими, отчасти действительно возвратились из Мизии к своим северным единоземцам; вероятно и то, что Волохи, потомки древних Гетов и Римских всельников Траянова времени в Дакии, уступив сию землю Готфам, Гуннам и другим народам, искали убежища в горах и, видя наконец слабость Аваров, овладели Трансильваниею и частью Венгрии, где Славяне должны были им покориться. Может быть, ещё за несколько веков до Рождества Христова под именем венедов известные на восточных берегах моря Балтийского, Славяне в то же время обитали и внутри России; может быть Андрюфаги, Меланхлены, Невры Геродотовы принадлежали к их племенам многочисленным» (Карамзин, 2005, файл 010201). По данным “The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World”, древнерусский появился в 1000 г. (Mallory, Adams, 2006, p. 26).

особых контактов с западным миром, что позволило ей сохранить свой язык в значительно большей степени, чем англичанам, несмотря на приписываемый им консерватизм. Т. Янсон обращает внимание на тот факт, что славянские языки сохранили значительно большую степень сходства, чем германские, то есть относительно мало изменились, по сравнению с протославянским (Janson, 2002, p. 33). Как утверждал Н. Ван-Вейк, общий протославянский на протяжении своей двухтысячелетней истории вплоть до начала распада на отдельные славянские языки в IX в. оставался очень стабильным, то есть не претерпел особых изменений (Бирнбаум, 1986, с. 41). Всё это, на наш взгляд, убедительно демонстрирует консервативность всей славянской ветви индоевропейских языков, кроме, возможно, болгарского, подвергнувшегося сильной аналитизации (ср. Hinrichs, 2004 b, S. 18; Бирнбаум, 1986, с. 319).

В последние годы русский, как и другие славянские языки, подвергается сильному воздействию западных аналитических языков, в первую очередь английского. Об этом свидетельствуют следующие явления: повышение частотности и расширение функциональной сферы предлогов (*преподаватель истории* > *преподаватель по истории*), создание устойчивых выражений аналитического типа (*помочь* > *оказать помощь*, *советовать* > *дать совет*), распространение аналитических прилагательных (*час пик*, *спец-*, *гос-*, *парт-*, *хоз-*, *лесо-*, *хлебо-*, *радио-*, *авто-*, *нефте-*, *фото-*, *дем-*, *нац-*, *нар-*), распространение несклоняемых существительных и аналитических композитов (*топ-фильм*, *брейк-данс*, *шоу-программа*, *секс-туризм*), аналитическое обозначение профессий и родов занятости безотносительно к полу (*автор*, *агроном*, *администратор* о женщинах вместо *авторша* и т.д.), распространение глаголов, преимущественно заимствованных или созданных с помощью заимствованных суффиксов *-изова-*, *-изирова-*, *-ирова-*, которые не изменяются для обозначения вида и потому расшатывают данную грамматическую категорию (*телеграфировать*, *атаковать*, *гарантировать*, *радиофицировать*, *электризировать*, *механизировать*; *Мы уже ряд месяцев реконструируем наш завод – К концу года мы окончательно реконструируем наш завод*), распространение аббревиатур, неизменных по своей форме (Ohneiser, 2004, S. 198–201, 205–206; Zemskaĵa, 2004, S. 285–289; Иванов, 1983, с. 385–387; Брызгунова, 2007, с. 14). Из перечисленных пунктов мы не можем согласиться с расшатыванием категории вида. Хотя глаголы с суффиксами *-изова-*, *-изирова-*, *-ирова-* действительно употребляются всё чаще, наши подсчёты по мегакорпусу (табл. 13) показывают, что они благополучно интегрируются в русскую систему аффиксации, в том числе и в категорию вида. В советской литературе удельный вес глаголов такого рода с русскими морфологическими элементами больше, чем в дореволюционной, а в постсоветской – больше, чем в советской, поэтому едва ли категории вида (являющейся, как уже го-

ворилось выше, наследием активного строя индоевропейского языка) что-то грозит в ближайшем будущем.

Таблица 13

Интеграция глаголов с суффиксами *-изова-*, *-изирова-*, *-ирова-* в русскую морфологическую систему

	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература
Всего глаголов с суффиксами <i>-изова-</i> , <i>-изирова-</i> , <i>-ирова-</i>	6 103	11 919	20 777
в-	0	1	8
вы-	5	11	20
за-	86	322	817
на-	10	14	23
об-/о-	119	99	90
от-	34	210	368
пере-	14	53	126
по-	53	102	139
под-	19	20	72
при-	9	8	3
про-	108	598	1 535
раз-	2	42	62
рас-	19	48	83
с-	213	794	1 676
Всего глаголов с русскими приставками	691	2 322	5 022
Процент глаголов с русскими приставками от общего числа глаголов с суффиксами <i>-изова-</i> , <i>-изирова-</i> , <i>-ирова-</i>	11,3	19,5	24,2
Инфикс <i>-ыв-</i>	64	149	326
Процент глаголов с инфиксом <i>-ыв-</i> от общего числа глаголов с суффиксами <i>-изова-</i> , <i>-изирова-</i> , <i>-ирова-</i>	1	1,3	1,6

Влияние английского ведёт к постепенной и пока не очень заметной аналитизации русского языка, чему способствует и значительное расшатывание нормы. С другой стороны, в славянских языках под влиянием того же английского усиливается префиксация (Ohneiser, 2004, S. 197; Zemskaja, 2004, p. 289), что едва ли можно расценивать как процесс, способствующий или свидетельствующий об аналитизации. Д. Вайс вообще называет русский «антианалитическим» языком, в котором склонность к синтетизму только нарастает (Weiss, 2004, S. 280). По его мнению, ни один падеж русского языка не вытесняется предложными конструкциями, аналитические пара-

фразы также не развиваются, глагол «иметь» теряет позиции¹, в то время как, например, в польском явно наблюдаются противоположные тенденции, свидетельствующие об аналитизации. Вайс полагает, что русский по своим типологическим характеристикам движется от европейских к финно-угорским языкам. Мнение Вайса противоречит мнению Е.А. Земской и М.В. Панова, постулировавших аналитизацию русского языка в последние десятилетия XX в. (Zemskaja, 2004, S. 285, 291). Таким образом, пока не совсем понятно, следует ли говорить о повышении частотности имперсонала вопреки аналитизации или в полном соответствии с ростом черт синтетизма. Теоретически рост числа несклоняемых существительных должен рано или поздно негативно отразиться на сфере употребления безличных конструкций, как это было в английском (ср. *КПРФ не нравится ЛДПР*), но пока их число микроскопически мало, поэтому ожидать какого-то явного влияния на ту или иную безличную конструкцию на данном этапе развития русского языка не приходится. Окончания глагола тоже не распадаются, субъектные и объектные формы местоимений не смешиваются, о становлении жёсткого порядка слов нигде не сообщается. Другие же признаки аналитизации никак отразиться на частотности имперсонала не могут.

Несколько слов следует сказать о размерах сферы употребления имперсонала в современном русском. В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой (Ефремова, 2000) (215 000 значений) помета «безл.» встречается 356 раз (подсчёт по электронной версии), но среди приведённых форм есть множество дублетов (*крикнуться / кричатся*), форм глаголов с разными приставками, но одинаковыми значениями (*надувать / продувать* – причинять простуду), окказионализмов (*путешествоваться, разлюбляться*: в нашем мегакорпусе эти два слова не встречаются ни разу). Вот некоторые из собранных у Ефремовой глаголов: *бежаться, болтать / заболтать* (о качке), *болтаться, брезжить, буранить, валить, валять* (качать из стороны в сторону), *везти, взглянуться, вздохнуться / вздыхаться, взорвать, видать, виднеть / завиднеться* (о рассвете), *вкидываться* (о возможности оказаться внутри чего-либо), *влетать* (о наказании), *ворчать* (о звуках в животе), *выворачивать* (о тошноте), *выгонять* (об интенсивном образовании чего-либо, вырастании,

¹ По нашим данным, это не совсем так. Глагол «иметь» действительно резко снизился в частотности в советские времена, но теперь начал возвращаться на утерянные позиции: корпус русской классики – 16 029, советская литература – 8 802, постсоветская литература – 9 655 (данные по мегакорпусу: русская классика – 76 654, советская литература – 41 311, постсоветская литература – 47 503). Конструкция *У меня есть* во всех временах и со всеми местоимениями (*у тебя, него* и т.д.), с учётом отрицания (*У меня нет*), но без учёта вопросов (*Есть у тебя?*), встретилась в классике 15 960 раз, в литературе советского периода – 19 709 раз, в постсоветской литературе – 26 569 раз, в переводах с английского – 40 936 раз (мегакорпус). Для конструкции *Я (не) имею* то же соотношение составляет 7 932 : 4 867 : 6 764 : 10 609. В процентном соотношении: а) классика: *У меня есть* (66,8 %) – *Я имею* (33,2 %), б) советская литература: 80,2 % – 19,8 %, в) постсоветская литература: 79,7 % – 20,3 %, г) переводы: 79,4 % – 20,6 %, то есть в переводах особенно часто встречается *Я имею*, в советские времена чаще встречалась конструкция *У меня есть*, но теперь заметен переход обратно к *Я имею*.

увеличении кого-либо, чего-либо), *выйти* (о результате работы), *выметать* (высыпать, появиться на теле), *выходить* (удаваться), *выясняться* (становиться ясным), *гадаться*, *говариваться* / *говориться* / *заговориться*, *делаться*, *дёргать* (о боли), *доводиться*, *дождить* / *задождить*, *доставать* (быть в достаточном количестве, хватать на что-либо), *доставаться* (выпадать на чью-либо долю), *дрейфовать*, *задрематься*, *дуть*, *дышаться* (о наличии каких-либо условий жизни), *задышаться* (о процессе дыхания), *жечь* / *зажечь*, *заблагорассудиться*, *завьюжить*, *заедать* (задевать чьё-либо самолюбие), *азнобить* / *знобить*, *закладывать* / *заложить* (о болезненном ощущении в ушах, носу, груди), *заклокотать*, *закоробить*, *заломить*, *замозжить*, *замолаживать*, *замутить* (о начале тошноты), *занездоровиться*, *занемочься*, *заненастить*, *занепогодить*, *заносить*, *заосенять*, *запершить*, *заплакаться*, *запоздниться*, *запорашивать*, *зарезать*, *засвежить*, *засквозить*, *заснуть*, *затягивать* (о ране: заживать, закрываться), *захандриться*, *зашибать*, *защипать*, *зудить*, *зябнуть*, *качать* (о пошатывании при ходьбе от усталости, при болезни и т.п.), *кидать* (о придании кому-, чему-либо резких беспорядочных движений), *клевать* (об удаче), *корёжить* (о возникающем чувстве стыда, возмущения), *корчить* / *закорчить* (сводить судорогами), *легчать*, *лежаться*, *лихорадить* / *залихорадить*, *ломить* / *разламывать* / *разламываться*, *мелькать* (об ощущении пестроты, ряби в глазах), *меркнуть*, *молчаться*, *мотать* (о качке), *набегать* (морщить, собираться складками на одежде), *наболеть*, *наваливать*, *наволакивать*, *нагорать*, *наезжать* (овладевать кем-либо, об упрямстве, капризе), *неймётся*, *нести* (передаваться по воздуху), *обойтись*, *осенять*, *оставаться*, *парить* / *припаривать* / *запарить* (обдавать влажным жаром, испускать сильный зной), *пахнуть* / *попахивать* / *запахнуть*, *пестрить*, *печь*, *побелеть*, *повестись*, *повечереть* / *вечереть* / *завечереть*, *повеять* / *веять*, *поводить* / *вести* (о судорогах), *погодить*, *подводить* (заставлять втягиваться, подбираться), *поделываться*, *подмывать* (о появлении невольного влечения), *подпадать* (попадать в руки, подвергываться под руку), *думаться*, *подфартить*, *пожить*, *познабливать* / *знобить*, *показаться* / *казаться*, *покалывать* / *поколоть*, *поламывать* / *выламывать* (о корчах), *полегчать*, *полюбовиться*, *попадать*, *поразобрать*, *послышаться*, *постреливать* / *стрелять* (об острой боли), *посчастливиться* / *счастливиться*, *поташнивать* / *тошнить* / *стошнить* / *стошниться* / *вытошнить* / *затошнить*, *потемнеть* / *темнеть* / *темнеться* / *стемнеть* / *затемнеть*, *потеплеть* / *теплеть*, *потягивать* / *тянуть* (о появлении легкого признака распространения чего-либо), *потянуть* / *тянуть* (о возможности появления влечения куда-либо, к кому-либо, чему-либо), *похолодать* / *холодать* / *холоднеть* / *захолодать*, *предполагаться* (иметься в виду), *пригрезиться*, *прийтись*, *примораживать* / *морозить*, *приносить* (о нежелательном появлении), *прискучиваться*, *приспевать* (понадобиться неотложно), *приспичивать*, *прихворнуться*, *приходиться* (доводиться, случаться; быть вынужденным что-либо делать), *пробить* (исполниться, минуть, о летах, годах), *пробурчать*, *проливать*, *проносить* (о движении чего-либо мимо, стороной; о сильном поносе), *прорывать*, *просквозить* / *сквозить*, *прослабить* / *слабить*, *прочи-*

щаться (проясняться), *прояснивать* / *прояснять(ся)* / *выяснить* / *выясняться* (о хорошей погоде), *прыгаться*, *пуржить* / *запуржить*, *пучить*, *разбивать* (о параличе), *разветриваться*, *развозить* (делать трудно проезжим, трудно проходимым; делать чрезмерно полным), *разговариваться*, *раздувать*, *разить*, *размокорогодиться*, *разносить* (об образовании опухоли, вздутия на чем-либо, о тучности), *разрешаться*, *разъяснить* / *разъясняться*, *распирать*, *распогоживаться*, *рассветать* / *светать*, *рассуждаться*, *расхотеться*, *рвать* (причинять сильную боль), *рвать* / *вырвать* (тошнить), *рекомендоваться*, *росить*, *рябить*, *садить*, *сбредиться*, *свербеть*, *светлеть*, *сводить*, *сдаваться*, *сереться*, *сидеться*, *скорёжить* (согнуть, свести судорогой), *случаться*, *смеркаться*, *смотреться*, *смыть* (о быстром исчезновении кого-либо, чего-либо), *снежить*, *сосать* (о боли), *спрашиваться*, *сровняться*, *стать* (о возможности определенного поступка со стороны кого-либо), *статься*, *стоять*, *стояться*, *стукнуть* (о возрасте), *схватываться* (о начале затвердения вяжущих, клейких веществ), *считаться*, *таять*, *терпеться*, *теснить* (в груди), *томиться*, *трещать* (о головной боли), *трясти* / *утрясать* / *затрясти*, *угораздить*, *удаваться*, *уносить* (о внезапном уходе), *успеться*, *фортунить*, *хватать* / *хватить*, *холодить*, *захотеться*, *хрипеть*, *чуться*, *шагаться*, *шатать*, *шиться*, *щекотать*. Частотность уже существующих в русском безличных конструкций (табл. 14) повысилась в художественной литературе XX в., по сравнению с XIX в. (Зарецкий, 2007 в). Речь идёт о среднем результате по типам конструкций, а не по отдельным глаголам. Некоторые глаголы, разумеется, выходят из употребления, другие – учащаются. Например, глагол *размокорогодиться* встречается в классике 9 раз, в советской литературе – 3, в постсоветской и переводной – ни разу (мегакорпус). С другой стороны, глагол *угораздить* встречается в классике 342 раз, в советской литературе – 434, в постсоветской – 1 062, в переводной – 474.

Низкая частотность имперсонала в переводах является отражением английского синтаксиса. Примечательны исключения *вздуматься*, *заблагорассудиться*, *(за)хотеться* – хотя в английском больше нет соответствующих безличных конструкций, та же семантика влилась в личные конструкции с номинативными субъектами.

О том, почему смешение русского языка с финно-угорскими не привело к аналитизации русского, говорится в следующей цитате из лекции И.А. Бодуэна де Куртенэ «О смешанном характере всех языков» (1900). Не отрицая роль языкового смешения в процессе аналитизации, он подчёркивает, однако, что постепенно должна победить более аналитическая форма, присутствующая в каком-то из контактирующих языков. Если принять во внимание, что русский и финно-угорские языки таковых практически не содержат, становится ясно, почему радикальной аналитизации не произошло.

Таблица 14

Частотность некоторых безличных глаголов в мегакорпусе

	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература	Переводы с английского
<i>кричатся</i>	5	5	2	1
<i>(за)вьюжиться</i>	–	105	54	6
<i>(за)дождить</i>	54	81	51	3
<i>(за)дрематься</i>	77	76	28	3
<i>(за)нездоровиться</i>	1 047	408	111	615
<i>(за)хотеться</i>	18 227	21 444	24 998	26 141
<i>дышатся</i>	180	260	147	79
<i>заблагорассудиться</i>	261	279	483	1 296
<i>неймётся</i>	34	47	115	18
<i>думаться</i>	3 552	4 533	2 715	3 918
<i>(под)фартить</i>	6	63	98	13
<i>(при)грезиться</i>	1 089	579	531	471
<i>(за)пуржиться</i>	–	21	15	–
<i>фортуниться</i>	6	–	–	–
<i>вздуматься</i>	2 880	1 146	933	3 105
<i>чуются</i>	437	390	39	9
<i>сидеться</i>	348	498	474	261

«Влияние смешения языков проявляется в двух направлениях: с одной стороны, оно вносит в данный язык из чужого языка свойственные ему элементы (запас слов, синтаксические обороты, формы, произношение); с другой же стороны, оно является виновником ослабления степени и силы различаемости, свойственной отдельным частям данного языка. При его содействии происходит гораздо быстрее упрощение и смешение форм, устранение нерациональных различий, действие уподобления одних форм другим (действие "аналогии"), потеря флексивного склонения и замена его сочетанием однообразных форм с предлогами, потеря флексивного спряжения и замена его сложением однообразных форм с представками местоименного происхождения и вообще с разными вспомогательными частицами, потеря морфологически подвижного ударения и т. д.

При столкновении и взаимном влиянии двух языков, смешивающихся "естественным образом", победа остаётся в отдельных случаях за тем языком, в котором больше простоты и определённости. Переживают более лёгкие и ясные в своём составе формы, исчезают же более трудные и нерациональные. Итак, если смешиваются два языка, в одном из которых существуют родовые различия, в другом же этих различий не имеется, то всегда в языке, остающемся как результат смешения, произойдёт или полное исчезновение, или же по крайней мере ослабление этих родовых различий. Если только в одном из смешивающихся языков имеется член (*articulus*) или же личные притяжательные суффиксы (то есть суффиксы, означающие принадлежность предмета или лица известному лицу: *мой, твой, его, её, наш, ваш, их*), то гораздо более вероятно, что этот "аналитический", или децентралистический, признак привьётся языку, являющемуся результатом смешения, нежели наоборот» (Бодуэн де Куртенэ, 1963. Т. 1, с. 366).

Хотя данная работа Бодуэна де Куртенэ была написана на рубеже XIX–XX вв., его точка зрения на механизмы языкового контакта не устарела. Например, среди универсалий университета Констанц встречается следующая: “When languages with and without articles are in contact, it is more common for languages without an article to pick one up than for languages with an article to abandon it” (“The Universals Archive”, 2007). Напомним, что артикль является однозначно аналитическим средством, о чём также говорится в одной из универсалий: “(In Indo-European) IF there is no nominal case marking, THEN there will be an article” (“The Universals Archive”, 2007).

Отметим, что расширение сферы безличности в русском позитивно коррелирует с расширением сферы употребления бесподлежащих предложений. В табл. 15 приводятся соответствующие данные на примере первого спряжения. Запятые после глаголов мы ввели, чтобы отфильтровать случаи инверсии. Подсчёты проводились программой “Wordsmith Tools 3” (как и все остальные подсчёты по фразам в данной работе).

Таблица 15

Распространение сферы употребления бесподлежащих предложений в русской художественной литературе (мегакорпус)

Формула	Русская классика	Советская литература	Постсоветская литература
./!/"?" /- + [не] *аю, / *аешь, / *ает, / *аем, / *ают, / *аете	11 326	16 304	24 304
==Я [не] *аю, / Ты *аешь, / Он *ает, / Она *ает, / Оно *ает, / Мы *аем, / Они *ают, / Вы *аете	11 530	11 604	14 944
./!/"?" /- + [не] *ую, / *уешь, / *ует, / *уем, / *уют, / *уете	659	937	1 122
==Я [не] *ую, / Ты *уешь, / Он *ует, / Она *ует	252	228	226
Всего без подлежащего	11 985 (50,4 %)	17 241 (59,3 %)	25 426 (62,6 %)
Всего с подлежащим	11 782 (49,6 %)	11 832 (40,7 %)	15 170 (37,4 %)

Напомним, что бесподлежащие предложения характерны и для языков активного строя, вместо местоимений-субъектов обычно используются аффиксы. Возможно, рост числа бесподлежащих предложений в русской художественной литературе связан и с какими-то экстралингвистическими факторами, в том числе с особенностями стиля повествования (например, с удельным весом диалогов).

Широко были распространены безличные конструкции в латыни: в латинско-немецком словаре К. Георгеса на 62 000 лексем приходится 213 безличных конструкций (автоматический подсчёт в электронной версии по помете *impers.*) (Georges, 1913–1918). Сравним некоторые из них с

их английскими эквивалентами: *Vesperáscit* (*It grows late*); *Ningit* (*It snows*); *Lúciáscit hóc* (*It is getting light*); *Fulgurat* (*It lightens*); *Miseret* (*It grieves*); *Pae-nitet* (*It repents*); *Piget* (*It disgusts*); *Pudet* (*It shames*); *Taedet* (*It wearies*); *Miseret mé* (*I pity (It distresses me)*); *Parcitur mihi* (*I am spared (It is spared to me)*); *Pudet mé* (*I am ashamed*); *Accidit*, *Contingit*, *Évenit*, *Obtingit*, *Obvenit*, *Fit* (*It happens*); *Libet* (*It pleases*); *Délectat*, *Iuvat* (*It delights*); *Oportet* (*It is fitting, ought*); *Certum est* (*It is resolved*); *Necesse est* (*It is needful*); *Cónstat* (*It is clear*); *Praestat* (*It is better*); *Placet* (*It seems good (pleases)*); *Interest*, *Réfert* (*It concerns*); *Vidétur* (*It seems, seems good*); *Vacat* (*There is leisure*); *Decet* (*It is becoming (nодобаem)*); *Restat*, *Superest* (*It remains*); *Ventum est* (*They came (There was coming)*); *Púguátur* (*There is fighting (It is fought)*); *Ítur* (*Someone goes (It is gone)*) (Greenough, Allen, 1903); *Appāret* (*It appears*); *Accēdit* (*It is added*); *Juvat* (*It delights*); *Curritur* (*People run (*It is run)*); *Ventum est* (*He, they etc. came*); *Reliquum est ut doceam* (*It remains for me to show (*It was came)*); *Ex quō efficitur, ut...* (*From which it follows that...*); *Accēdēbat ut nāvēs deessent* (*Another thing was the lack of ships (It was added that ships were lacking)*) (Bennett, 1908, p. 105, 167, 194–165). Большинство английских эквивалентов содержат формальное подлежащее (причём эквиваленты эти часто почти аграмматичны), остальные переводы являются полноценными личными конструкциями, где дополнение превратилось в подлежащее. Такие же трансформации претерпевают при переводе на английский и русские безличные конструкции, что обусловлено типологической близостью русского и латыни.

Применение герундива (отглагольных прилагательных) в латыни также вплотную подходит к русским безличным предложениям и часто переводится таковыми: *De gustībus non est disputandum* (*О вкусах не спорят / не следует спорить*); *Pacta sunt servanda* (*Договоры нужно соблюдать*). Личные местоимения (в качестве подлежащего) в латыни обычно вообще опускаются: *Ex offensā vitābis nemīnem lacessendo* (*Никого не задевая, [ты] избежишь ненависти, возникшей от обиды*) (Нисенбаум, 1996, с. 143–144). Субъект употребляется только тогда, когда он отличается от субъекта в предыдущем предложении (Bauer, 2000, p. 107).

Как отмечает Г. Вагнер, сфера употребления безличных конструкций в латыни уже, чем в древнесеверном, из которого возник исландский (Wagner, 1959, S. 57). У. Леман полагает, что латынь, как и родственной ей вымерший умбрский язык, ещё достаточно хорошо отражают многочисленные безличные конструкции индоевропейского языка (Lehmann, 1995 b, p. 52–53; Lehmann, 2002, 32–33). Немногочисленность безличных конструкций в греческом и индоиранских (индоарийских) языках он считает доказательством их сравнительно раннего отхода от исконного индоевропейского строя. В доказательство своих слов он приводит некоторые примеры

из хеттского, самого древнего исследованного индоевропейского языка¹. Относительно архаичными по своему строю он считает также германские, славянские и балтийские языки. Б. Бауэр, комментируя Лемана, приходит к выводу о том, что многочисленность безличных глаголов в совокупности с прочими характеристиками, которые восстанавливаются для индоевропейского, свидетельствуют об архаичности латыни (Bauer, 1999, p. 592).

Примечательно также, что в латыни, как и в английском, уже в период анализации под давлением семантики появлялись новые безличные глаголы из первоначально личных: *debere* (*быть должным*), *posse* (*мочь*), *valere* + инфинитив (*возможно*) (Bauer, 1999, p. 594). Аналогичное явление мы описали ранее для английского.

10.2. Аналитические языки индоевропейского происхождения

Нельзя назвать совпадением тот факт, что в **пиджинах и креольских языках**, где аналитизм обычно выражен особенно ярко (Mühlhäusler, 1986, p. 272; Hinrichs, 2004 b, S. 28; Bartens, 2004, S. 454), безличные конструкции отсутствуют практически полностью. С другой стороны, в них можно найти следующие типичные характеристики аналитических языков:

1. В таких языках широко развита конверсия (как и в английском), то есть использование одного слова в качестве разных частей речи без изменения его формы: кам. п. *sohm trohng pikin* – *крепкий ребёнок* (атрибутивное прилагательное *trohng*), *di pikin trohng* – *ребёнок крепкий* (предикативное прилагательное *trohng*), *pulam trohng-trohng* – *тянуть сильно-сильно* (наречие *trohng*), *trohng go du yu* – *сила приведёт тебя к падению* (существительное *trohng*) (Hellinger, 1985, S. 116–117; ср. “Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8978; Mühlhäusler, 1986, p. 153; Дьячков, 1987, с. 49); ср. англ. *down* – *внизу* (наречие), *вниз* (предлог), *спуск* (существительное), *направленный книзу* (прилагательное), *опускать* (глагол). М.А. Аполлова объясняет лёгкость конверсии в английском следующей

¹ Хеттский также изобилует безличными конструкциями, что позволяет убедиться в их древности: *Lu-uk-kat-ta* (*Рассвело*); *Harsi-harsi ú-da-as* (*Защитормило*); *Hewanīyaneskīt* (*Дождило*) (Lehmann, 1995 b, p. 53). Во всех трёх случаях глаголы стоят в традиционной форме 3 л. ед. ч. Ещё несколько подобных примеров (имперсонал природных явлений и времени) можно найти у А. Гётце и Х. Педерсена (Götze, Pedersen, 1934, S. 17), ср. *Nu-wa PAN ABI-YA PAN SEŠ-YA akkisketat* – дословно: *При моём отце и моих братьях (= при их правлении) постоянно было умираемо (= люди постоянно умирали от эпидемий)*, *Tethāi* (*Гремит*); *Duggari* (*Кажется*); *Mān LUGAL-i assu* (*Если это хорошо королю = Если это кажется хорошим королю*); *EĜIR-ta-as irmaliyattat* (*Но он заболел*, дословно: *Но его заболело* – с аккузативным субъектом); *ANA ŠEŠ-YA NU.ĜĀL kuitki* (*Ничего моему брату, то есть У моего брата ничего нет* – с дативным субъектом) (Lauffenburger, 2006; ср. Friedrich, 1974, S. 120–121, 131). Если в древнегреческом от общего словарного запаса всего 40–50 % слов были индоевропейского происхождения (Shea, 1997; Bernal, 2001, p. 123), то в хеттском – 80 % (“Encyclopædia Britannica”, 2007), что говорит о большей близости хеттского к языку-основе.

особенностью аналитических языков: «...реакцией на синтаксическую скованность и постоянство структуры в английском языке является, в частности, конверсия. Она даёт прежде всего определённую морфологическую свободу, выражающуюся в том, что одно и то же слово может быть употреблено в качестве различных частей речи, а следовательно, и выступать в функции различных членов предложения» (Аполлова, 1977, с. 110, ср. Зеленецкий, 2004, с. 90, 188; Gramley, Pätzold, 1995, p. 24; Meiklejohn, 1891, p. 326–327; Jespersen, 1894, p. 2–3; Кацнельсон, 1949, с. 46; Швачко и др., 1977, с. 23–24). Аналогичным образом А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов объясняют бóльшую размытость границ между частями речи в немецком по сравнению с русским: «Это связано прежде всего с относительно меньшим развитием немецкой аффиксации, ведущим к меньшей формальной противопоставленности частей речи, и с бóльшим распространением в немецком аналитических средств передачи языковых значений» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 79). Очень широко конверсия представлена в изолирующем китайском (Yinghong, 1993, S. 40) и сверханалитичном африкаанс (также язык с некоторыми элементами креолизации, см. ниже), где один и тот же корень превращается в определённую часть речи только в зависимости от контекста: *die lag* (смех); *ek lag / ons lag* (я смеюсь / мы смеёмся) (Зеленецкий, 2004, 189–190).

2. Благодаря конверсии транзитивные глаголы образуются с лёгкостью без каких-либо изменений или с минимальными изменениями формы. То же касается и пассива, который вообще не выражается в специальных грамматических формах, что значительно облегчает его употребление: ям. к. *Dem plaan di tri* (Они посадили дерево) > *Di tri plaan* (Дерево было посажено, дословно: Дерево сажать) (McArthur, 1998, p. 156), т.-п. *Masta raus mi* (Европеец вышвырнул меня) > *Mi raus* (Я был вышвырнут, дословно: Я / меня вышвырнуть) (Mühlhäusler, 1986, p. 126); крио *Pipul na makit bin sɛl rɛs* (Люди на рынке продавали рис) > *Rɛs bin sɛl bai pipul na makit* (Рис продавался людьми на рынке); вес-кос *Dat masa dɛm dɔn bring yu na mi sɔm fanfan kago* (Эти люди принесли тебе и мне какие-то красивые вещи) > *Sɔm fanfan kago dɛn bring ba dat masa dɛn* (Какие-то красивые вещи были принесены этими людьми) (Дьячков, 1987, с. 64). Заметим, что обычно в описаниях пиджинов и креольских языков говорится, что пассив в таких языках отсутствует (Bartens, 1996, S. 118; Mühlhäusler, 1986, p. 62; Дьячков, 1987, с. 64), поскольку по международным стандартам, отражённым в “World Atlas of Language Structures”, неотъемлемой характеристикой пассива является особая морфологическая маркировка глагола, будь то флексия или вспомогательный глагол (“World Atlas of Language Structures”, 2005; “Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 899). Такой маркировки в наших примерах нет, но значения приведенных конструкций соответствуют значениям типичных пассивных

конструкций. П. Мюльхойзлер говорит, что эквиваленты пассива существуют во всех креольских языках (Mühlhäusler, 1986, p. 264).

3. Деривация в креольских языках практически не встречается (в качестве единичных примеров можно привести ям. к. *bad* > *badnis* (зло) и *proud* > *proudnis* (гордость)); вместо неё применяется аналитическое словосложение: ям. к. *iman-pikni* (дочь = женщина-ребёнок), *tan-pikni* (сын = мужчина-ребёнок) (Hellinger, 1985, S. 121, 119), т.-п. *tok ples bilong Sidni* (английский язык, дословно: язык, на котором говорят в Сиднее) (Леонтьев, 1978); *taus gras* (борода (трава рта)), *stil tan* (вор (воровать-человек)), *sut tan* (охотник (стрелять-человек)), *pikinini-pik* (поросёнок (свинья-ребёнок)), кам. п. *totu fut* (шина (нога машины)), *tan han* (справа (мужская рука)), *witan han* (слева (женская рука)), *witan brik* (кирпич с двумя отверстиями (женский кирпич)), *bush pig* (дикая свинья (свинья из кустов)), пэс *witan* (медсестра (женщина-санитар)) (Todd, 1985, p. 121, 125, 128; ср. Bartens, 2004, S. 462). Аналитические композиты, особенно в неизменяемой форме, являются одним из самых известных и легко узнаваемых признаков аналитического строя (ср. Hinrichs, 2004 b, S. 22).

4. Категория рода в пиджинах и креольских языках отсутствует, поэтому при необходимости различить самку и самца, мужчину и женщину используется аналитическое словосложение типа приведённого в предыдущем пункте примера «мужчина-ребёнок» вместо «сын». Похожие приёмы можно встретить и в английском: *he-goat* (козёл), *she-goat* (коза) (Bartens, 1996, S. 119; Bartens, 2004, S. 458–459).

5. Широко распространены вспомогательные глаголы и прочие служебные части речи: артикли, частицы, предлоги (Gramley, Pätzold, 1995, p. 459; Bartens, 2004, S. 457–458).

6. Падежная система обычно ещё проще английской (Gramley, Pätzold, 1995, p. 458), поскольку даже генитив выражается не грамматически, а лексически, то есть предлогами, ср. бичламар *rappa belong me* (мой отец), где “belong” стал предлогом типа англ. “of” (Зеленецкий, 2004, с. 21); т.-п. *gras bilong ai* (бровь (трава глаза)), *ai bilong botol* (крышка (глаз бутылки)), *han bilong diwai* (ветка (рука дерева)), *gras bilong pisin* (перья (трава птицы)) (Todd, 1985, p. 121, 125–126), *skin bilong diwai* (кора (кожа дерева)), *gras bilong het* (волосы (трава головы)) (Дьячков, 1987, с. 42). По сути, падежной системы в таких языках нет.

7. Из-за отсутствия флексий и слабости деривации средняя длина слов в пиджинах и креольских языках незначительна. Например, в африканском языке зулу она составляет 3,09 слога, а в основанном на нём пиджине фанага-ло – 2,01; в африканском языке суахили – 3,01, а в основанном на нём кенийском пиджине – 2,32; в среднем по африканским пиджинам – 2 слога (Mühlhäusler, 1986, p. 150, 152). Мы уже отмечали, что английские слова в среднем значительно короче русских.

8. Порядок слов жёсткий, иначе отличить субъект от объекта было бы невозможно (Todd, 1990, p. 17), основной порядок слов – SVO (Mühlhäusler, 1986,

р. 155; Дьячков, 1987, с. 82; «Атлас языков мира», 1998, с. 153), реже – SOV (Перехвальская, 2006, с. 26). В. Фоли считает порядок SVO запрограммированным генетически (Mühlhäusler, 1986, p. 225). Топикализация объекта в креольских языках встречается редко. Исключение представляет собой гавайский креольский язык: *Eni kain lanwij ai no kaen spik gud* (Ни на одном языке я не могу говорить хорошо); *O, daet wan ai si* (О, этого я видел); в английском такие перестановки членов предложения также практически невозможны (Hellinger, 1985, S. 124). Ещё раз подчеркнём, что причиной этого является аналитичность, выраженная в бедности морфологического инвентаря английского языка: «В языках с ярко развитой флективностью – санскрите, латыни – порядок слов относительно свободный, поскольку отношения между словами сигнализируются флексиями; в английском же для него характерна относительная жёсткость...» (McArthur, 1998, p. 660; ср. Мельникова, 2003, с. 115); “Lack of inflectional morphology implies fixed word order of direct nominal arguments” (“The Universals Archive”, 2007). Порядок слов в пиджинах и креольских языках не меняется ни в вопросах, ни в директивных высказываниях (Mühlhäusler, 1986, p. 156), что относится и к английскому, если не считать добавления вспомогательных глаголов: *You do it. – Do you do it? – [You] do it!*

9. Субъектные и объектные формы местоимений часто идентичны, что делает невозможным существование большинства безличных конструкций (Bartens, 1996, S. 123): т.-п. *mi* (я, меня), *yu* (ты, тебя), *em* (он, его); ср. *Mi kol tumas* (Мне очень холодно = Я очень холоден); камток *mi* (я, меня), *yu* (ты, тебя), *i* (он, его); ср. *Mi, a kol tumas* (Мне очень холодно) (Todd, 1990, p. 14–15, 30), ям. к. *im* (он, она, оно, его, её); *Im de a yaad* (Она дома); *Main yu tel im wa mi se* (Не вздумай сказать ей, что я сказал) (Hellinger, 1985, S. 168), сиб. п. *jevó* (он, его, ему); ср. *Jevó dúmaj tajá jevó čéna daváj* – Он думает, что я дам ему денег) (Перехвальская, 2006, с. 38); ср. англ. *you* (ты, Вы, тебя, Вас).

10. Безличные конструкции, как и в английском, практически не встречаются. Разрушение русских безличных конструкций при пиджинизации хорошо видно в следующем примере из сибирского пиджина: *Моя тайга ходи нада ла* (Мне пришлось идти в тайгу), где *моя* = я, а *ла* – показатель прошедшего времени (Перехвальская, 2006, с. 34). Безличный модальный предикатив стал здесь личным глаголом. Х. Шухардт отмечает, что в сарамакке английское выражение *Я имею голод* переделали в *Голод имеет меня* (*Hangri kisi mi*), что, по его мнению, значительно более точно выражает истинное положение вещей (Schuhardt, 1914, S. 5); ср. *Këë kisi mi* (Плач имеет меня, то есть Мне хочется плакать); *Hangi ta kii mi* (Голод убивает меня, то есть Я очень хочу есть); *Fëbë kisi ën* (Лихорадка имеет его, то есть Его лихорадит) (взято с <http://www.sil.org> – Интернет-страницы Summer Institute of Linguistics); *Kohokohõ kisi hem* (Кашель имеет его, то есть Он кашляет); *Sara kisi mi* (Печаль имеет меня, то есть Я опечален); *Banga kisi mi* (Страх имеет меня, то есть Мне страшно); *Hatti-bron kisi mi* (Гнев имеет меня, то есть Я разгневался); *Hekeku kisi mi* (Икота имеет меня, то есть Я икаю); *Hangri holi mi* (Голод держит меня, то есть Я хочу есть); *Heddi tann jam mi* (Голова колет меня, то есть У меня болит голова); *tann* – маркер настоящего времени, употребляется

не всегда; *Banja tann jam het* (Бок колет его, то есть У него колет в боку) (Schuhardt, 1914, S. 78, 100, 51, 57, 69–70, 72). Рассмотрим ещё несколько примеров из пиджинов и креольских языков¹:

- сар. *Liba grità* (Небо зашумело, то есть (Где-то далеко) ударил гром); *Liba kotti faija* (Небо швыряет огонь, то есть Сверкает молния); *Liba bari* (Небо гремит, то есть Гремит гром); *Tchuba tann kai* (Небо падает, то есть Идёт дождь) (Schuhardt, 1914, S. 68, 79, 83, 106); *Tjuba limbo kaa* (Дождь уже очистился, то есть Перестало дождить); *Tjuba ta taani* (Дождь сеет, то есть Моросит); *Di kamian dē bundjii* (Воздух есть туман) или *Di kamian tara bundji* (Воздух вмещает туман, то есть Туманно); *Ndeti tara* (Ночь накрыла, то есть Потемнело) (взято с <http://www.sil.org>);

- т.-п. *Ren i kamdaun / pundaun* (Дождь падает, то есть Идёт дождь) (взято с <http://www.tok-pisin.com>); *Klaut i bruk* (Облако ломается, то есть Гремит гром); *Klaut i lait* (Облако сверкает, то есть Сверкает молния); *Si i bruk* (Море ломается, то есть Штормит); *Ais pundaun* (Град упал, то есть Прошёл град); *Tudak i katar pinis* (Темнота пришла, то есть Потемнело) (взято с <http://www.mihalicdictionary.org> – Интернет-страницы Australian National University); *Mi bin lukim Mary long maket* (Я увидел Марию на базаре); *Mangi i angre o em i laik tasol long slip* (Ребёнок голоден или хочет спать); *Edith laik long kaikai banana* (Эдит хочет съесть банан) (Elpie, Dicks, 1991, p. 41, 83);

- сранан *Arèen de fadóm* (Дождь падает); *Te a alen kon hebi, dan ala den gotro e furu* (Когда дождь идёт сильно, все сточные каналы наполняются); *Hangri de kili mi* (Голод убивает меня = Мне очень хочется есть); *A gi mi ruy* (Это даёт мне боль = Мне больно); *A hati mi* (Это причиняет мне боль); *Mi hede de drai* (Моя голова кружится = У меня кружится голова); *Mi de nanga djompro-hatti* (Я есть с прыгающим сердцем) или *Mi habi djompro-hatti* (Я имею прыгающее сердце, то есть Мне страшно); *Mi hatti de na taro-taro* (Моё сердце есть со стуком = Мне страшно); *Mi banga* (Я боюсь); *Frede-skreki kisi het* (Ужас имеет его); *Mi habi toni vanoodoe* (Я имею потребность в деньгах = Мне нужны деньги); *Dondro bari* (Гром гремит); *Joe no tag doe dati* (Ты не можешь это делать = Тебе нельзя это делать); *Mi мое go* (Я должен идти); *Betre yu kon tamara baka* (Лучше бы ты пришёл завтра = Лучше тебе...); *Dreiwatra e kiri mi* (Жажда убивает меня); *Dalek dungru o fadon* (Скоро упадёт темнота = Скоро потемнеет); *A faya tide!* ((Это) жарко сегодня!); *Faya no de* (Пламя не есть = Пламени

¹ Поскольку достать словари пиджинов и креольских языков практически невозможно, были использованы некоторые Интернет-словари. Написание одних и тех же слов может различаться, так как у языков данного типа обычно нет стандартизированной орфографии, то есть каждый лингвист записывает слова на слух, как считает правильным. В качестве потенциальных безличных конструкций выбирались конструкции с той семантикой, которая была оговорена в первой главе: неволевитивность действия, симпатия, болезни и болезненные состояния, случайные действия / события, мысленная и эмоциональная активность, природные явления, необходимость, долженствование, судьба, удача и т.д.

нет); *Faya e koti* (Резанул огонь = Сверкнула молния); *Mi firi so ferleigi fa mi no kon na yu trow* (Я чувствовал так стыдно = Мне было так стыдно, что я не пришёл на вашу свадьбу); *A e ferwondru mi fa Carlo no kon ete* ((Это) удивило меня, что Карло ещё не пришёл); *Mi no firi switi tide* (Я не чувствую приятно сегодня = Мне сегодня нехорошо); *Mi abi wan firi taki wan sma o kon luku mi tide* (Я имею предчувствие, что кто-то сегодня придёт); *Mi skreki di mi si someni sma na a friyari-oso* (Я удивился, что увидел так много людей на дне рождения); *A fadon flaw* (Он упал без сознания); *Efu yu fre-defrede, yu no abi fu kon nanga unu* (Если ты боишься (= полон страха), не иди с нами); *Mi ati e kreï* (Моё сердце плачет = Мне грустно); *Dei kon krin kba* (День стал уже видным = Уже рассвело); *Di a kon ferstan sortu ogri a du a trawan, a sani masi en ati remorse* (Когда он осознал то зло, которое причинил другим, это разбило его сердце = наполнило его сожалением); *Mi no tan tetre togo san yu ben taigi mi* (Я не могу больше вспомнить, что ты мне рассказывал); *Alen nati mi te mi krosi dropu* (Дождь промочил меня насквозь); *Mi e owru kba* (Я уже старею); *Mi ben kisi a prakseri kba tak' den bo seni un gwe* (Я уже поймал мысль = Мне уже пришло на ум, что они нас отошлют); *A kamra e spuku* (Комната «привиденит» = В комнате живут привидения); *Tikotiko hori en wan langa pisten kba* (Икота держит его уже долго = Он уже долго икает); *Vaka tu dei a korsu wai* (Через два дня лихорадка спала); *Fa mi tnapu tumsi langa ini a son, dan ala mi ede waiwai now* (Поскольку я оставался слишком долго на солнце, моя голова кружится = у меня кружится голова); *A pori bami di mi nuan gi mi wán wrokobere* (Испорченный бами [блюдо], который я ел, дал мне понос = Меня пронесло от...) (взято с <http://www.sil.org>);

- вес-кос *Yu no di sem fo waka lak buspikin?* (Ты не стыдишься ходить, как лесной зверь?) (Дьячков, 1987, с. 57);
- крио *Angri don kes am* (Голод овладел им) (Дьячков, 1987, с. 65);
- гав. п. *You stay hungry or wot?* (Ты ещё голоден или как?); *You like come ova tonight or wot?* (Ты бы хотел прийти сегодня вечером или нет?); *You bettah wash yo hair junior boy befo you get ukus* (Ты был лучше мыл = Тебе бы лучше мыть волосы, сынок, пока не завелись блохи (...пока ты не заимел блох)) (взято с <http://www.e-hawaii.com>);
- ниг. п. *Afraid catch me* (Страх охватил меня) (“Babawilly’s Dictionary of Pidgin English Words and Phrases” // <http://www.ngex.com>);
- бел. кр. *Ah poh lov ahn agen* (Я его больше не люблю); *Ah mi si dehn* (Я их увидел); *Ah yer so* (Я слышу это) (взято с <http://www.kriol.org.bz>);
- раста *It oht fi rain* ([Это] скоро задождит, то есть Вот-вот пойдет дождь): *it oht* – почти, на грани (М. Равка. Rasta/Patois Dictionary // <http://niceup.com/patois.txt>);
- тай-бой (вьетнамский пиджин на французской основе) *Moi faim* (Я голоден); *Moi compris tu parler* (Я понимаю твою речь): *moi* – я, меня, мне.

Поскольку в креольских языках обычно нет косвенных падежей, то выражения, имеющие отношение к удаче, успеху и везению, оформляются (псевдо)агентивно: сар. *Ju ha bunne heddi* (Ты имеешь хорошую удачу, то есть Тебе везёт); *Mi ha angri heddi* (Я имею злую удачу, то есть Мне не везёт) (Schuhardt, 1914, S. 69–70); сранан *Mi habi da boen-hede* (Я имею удачу); *Yu abi koloku taki alen kon tide* (Ты имеешь удачу, что сегодня прошёл дождь) (взято с <http://www.sil.org>); ниг. п. *How you take build house on yua salary?* (Как ты смог (тебе удалось) построить дом на твою зарплату?) (взято с <http://www.ngex.com>). Мы специально переводили примеры по возможности близко к оригиналу, чтобы продемонстрировать, что вместо потенциальных безличных конструкций носители пиджинов и креольских языков неизменно прибегают к личным (правда, изредка встречаются погодные конструкции, подобные английским). Если следовать логике этнолингвистов, такая приверженность номинативному стилю должна свидетельствовать о невероятной агентивности. Единственным заметным отклонением от английского языка является склонность некоторых креольских языков использовать конструкции типа *Головная боль имеет его* вместо *Он имеет головную боль*. Это, однако, не добавляет английскому агентивности, потому что, как было показано выше, номинатив в английском в таких случаях несёт роль экспериенцера, а глагол «иметь» является вспомогательным, то есть непереводимым. Соответственно, английское *Я имею боль* более точно переводится, как *Мне – боль*. Все креольские языки избегают потенциально возможных конструкций с предложными субъектами типа **To you cold* (Тебе холодно), поскольку они не вписываются в рамки номинативного строя.

11. Модальные значения неизменно выражаются личными (псевдо)агентивными конструкциями: кам. п. *I no tɔs kam* (Он не должен (Ему не надо) приходиться) (Todd, 1985, p. 119), т.-п. *Yumi mas ruru God* (Мы должны молиться Богу); *Em i mas i stap long haus long kisim gut res* (Он должен (Ему надо) остаться дома и хорошо отдохнуть); *Dispela kantri i nitim moa moa wok uet long groap* (Эта страна должна (Этой стране нужно) много работать, чтобы вырасти); *Ol ausait bisnisan i no ken bosim moa ol kain bisnis* (Иностранцы бизнесмены больше не могут контролировать различные виды бизнеса); *Ol studen i no ken greduet* (Студенты не могут окончить учёбу) (Mühlhäusler, 1985, p. 140, 142, 144–145); крио *Yu nɔ fɔ laf we yu de pre* (Ты не должен смеяться во время молитвы) (Bartens, 1996, S. 125); *In padi nɔ tɔ, tɔs tɔl am bɔt di trɔbul* (Только его друг должен сообщить ему об этой неприятности); *Wi ɔl fɔ go de* (Мы все должны будем (Нам всем придётся) пойти туда) (Дьячков, 1987, с. 61); гав. п. *Ho, I gotta go benjo fas kine* (Мда, я должен (мне надо) немного искупаться); *You can o wot?* (Ты можешь [сделать это] или нет?); *You no can do 'em yourself?* (А сам ты не можешь этим заняться?); *She muss be hara haole* (Она наверняка хана хаоле (наполовину белая, смешанной крови)); *You shoulda seen dat wave cuz* (Ты наверняка видел эту волну) (взято с <http://www.e-hawaii.com>); ниг. п. *How I go come do?* (Что я буду делать?, то есть *Что мне (надо) делать?*), *Wetin make I do?* (Что я должен делать?) (взято с <http://www.ngex.com>); бел. кр. *Ah noh need taxi tideh* (Я не нуждаюсь

сегодня в такси) (взято с <http://www.kriol.org.bz>), сар. *Mi abi u go* (Я должен идти): *abi u* – типа англ. *have to* (<http://www.sil.org>); сранан *A pikin abi rostu fanowdu* (Ребёнок имеет нужным отдых); *Yu tu taru a fensre noso a alen o wai kop inisei* (Ты должен (Тебе надо) закрыть окно, иначе зальёт дождём); *Ala pikin fu fo yari abi fu go na skoro* (Все дети в возрасте четырёх лет и старше должны ходить в школу): *abi fu* – типа англ. *have to*; *Mi no o rei so fara, ta mi kan poti yu af'rasu* (Так далеко я не еду, но могу взять тебя на часть пути); *Mi no man panga a kowru moro* (Я не могу больше с холодом (терпеть холод)) (взято с <http://www.sil.org>); криоль (Австралия) *Olabat gan sabi bla wanim olabat toktok* (Они все могут (*gan* < англ. *can*) понять, что они должны (= им нужно) обсудить) («Атлас языков мира», 1998, с. 117). Таким образом, в креольских языках субъекты при модальных глаголах оформляются «номинативом» (общим падежом) независимо от степени их агентивности и волиитивности, что относится и к английскому. Для выражения модальности используются обычно модальные глаголы, а не инфинитивные конструкции с глаголом «быть» и неканоническим субъектом (как в древних индоевропейских языках).

12. Как и в английском, широко распространена грамматическая персонификация: гав. к. я. *One day had pleny of dis mountain fish come down* (Однажды с гор спустилось много рыб [по реке], дословно: Один день имел много этих горных рыб спуститься) (Пинкер, 1999 а); сар. *Feifi juru nakki kaba* (Пять часов бить закончили, то есть Пробило пять часов) (Schuhardt, 1914, S. 74); сранан *Mofokoranti taki na den skowtu srefi kiri a man* (Слух говорит, что этого человека убила полиция), *Mi noso e lon* (Мой нос течёт (вместо У меня течёт из носа) (взято с <http://www.sil.org>).

13. Встречаются формальные подлежащие: мискито (креольский язык Южной Америки) *Wans der waz a liedu had trii son* (Жила-была леди, у которой было три сына): *der waz* = англ. *there was*; этот же пример иллюстрирует склонность креольских языков к употреблению глагола «иметь» для выражения принадлежности (Hellinger, 1985, S. 136); т.-п. *I gat mani* (Есть деньги, дословно: Оно имеет деньги), ср. нем. диалект. *Es hat Geld* (Mühlhäusler, 1986, p. 223), т.-п. *He finish hot* (Уже жарко): формальное подлежащее *he/i/em* (оно); *Some egg he stop?* (Есть ли яйца?) = *Are there any eggs?* (Schuhardt, 1889, S. 159); *Em i bin stap ren yet* (Ещё шёл дождь); *Em i po kilok* (Четыре часа) (Elpie, Dicks, 1991, p. 89, 116), ниг. п. *E don do* (Это сделало, то есть (Уже) достаточно) (взято с <http://www.ngex.com>).

14. Для выражения принадлежности всегда используются переходные глаголы (см. также предыдущий пункт): к.-р. к. *Mi did have a kosin im was a boxer, kom from Rapata* (Я имел двоюродного брата из Панамы, он был боксёром) («Атлас языков мира», 1998, с. 153); сранан *Yongu, yu no abi ai fu si?* (Мальчик, разве ты не имеешь глаз?) (взято с <http://www.sil.org>); бел. кр. *Ah poh gat no food* (Я не имею никакой еды) (взято с <http://www.kriol.org.bz>); ниг. п. *I get shirt like dat* (Я имею такую рубашку); *I no get yua time* (Я не имею времени для тебя) (взято с <http://www.ngex.com>); гав. п. *Yeah, I get some* (Да, я имею несколько штук) (взято с <http://www.e-hawaii.com>); кам. п. *A no get folo bak, a bi was bele* (Я не имею младшего брата или сестры, я – последний ребёнок); *Di*

man get bon (Мужчина богат, дословно: Мужчина имеет кость); *Fawu no get tit bɔ̃ i sabi chɔ̃* (Птица не имеет зубов, но может есть, то есть Было бы желание, а способ найдётся); т.-п. *Mi no gat bun* (Я – слабак, дословно: Я не имею костей) (Todd, 1985, p. 121, 123–124, 129); во всех случаях глагол «иметь» происходит от английских глаголов “to get” или “to have”. Конструкции типа *У меня есть, Моё есть* или *Мне есть* отсутствуют полностью.

15. Рема следует за темой (Перехвальская, 2006, с. 12). Это, впрочем, касается и всех остальных типов языков.

16. Известно также, что креольские языки особенно активно прибегают к редупликации и звукоподражаниям (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8977; Todd, 1990, p. 17; Bartens, 1996, S. 132; Беликов, 2005). Приведём здесь некоторые примеры редупликаций (в источнике отмечается, что этот способ словотворчества употребляется столь активно из-за его чрезвычайной простоты; ею же объясняется и широкое распространение редупликации в детской речи): ям. к. *fine* > *fainfain* (очень хорошо), *to curse* > *koskos* ((долго) ругаться), *to bend* > *benben* (кривой), *rubbish* > *robish-robish* (мусор), *hole* > *huol-huol* (дырявый, имеющий множество дырок); мискито *big* > *big-big* (очень большой), *pretty* > *prity-prity* (очень красивый), *dew* > *ju-ju* (дождик), *fire* > *faya-faya* (вспыльчивый); т.-п. *big* > *bikbik* (огромный), *dirty* > *dotidoti* (грязный), *to cry* > *kraikrai* (опать), *to tie* > *taitai* (хижина из бамбука). Обычно редупликация используется для усиления или ослабления значения, для перевода каких-то слов родного языка, создания слов для абстрактных понятий, чтобы избежать омонимов (т.-п. *ship* > *sip* (корабль) vs. *sheep* > *sipsip* (овца)), чтобы подчеркнуть продолжительность действия и т.д. (Hellinger, 1985, S. 117–118).

Распространённость редупликаций и звукоподражаний Л. Блумфилд отмечает и в английском¹. То различие, которое он делает между символическими и звукоподражательными способами словотворчества в следующей цитате, недостаточно обосновано, поскольку все приведенные им примеры символических лексем, кроме относящихся к свету, вполне можно назвать звукоподражаниями: «Английский язык особенно богат другим типом усилитель-

¹ Приведём здесь некоторые примеры (не из книги Л. Блумфилда): 1) рифмованная редупликация: *argy-bargy*, *arty-farty*, *boogie-woogie*, *bow-wow*, *chock-a-block*, *claptrap*, *easy-peasy*, *eency-weency*, *fuddy-duddy*, *fuzzy-wuzzy*, *gang-bang*, *hanky-panky*, *harum-scarum*, *heebie-jeebies*, *helter-skelter*, *herky-jerky*, *higgledy-piggledy*, *hobnob*, *Hobson-Jobson*, *hocus-pocus*, *hoity-toity*, *hokey-pokey*, *honey-bunny*, *hot-pot*, *hotch-potch*, *hubble-bubble*, *Humpty-Dumpty*, *hurdy-gurdy*, *hurly-burly*, *hurry-scurry*, *itsy-bitsy*, *itty-bitty*, *loosey-goosey*, *lovey-dovey*, *numbo-jumbo*, *namby-pamby*, *nimbly-bimbly*, *nitty-gritty*, *nitwit*, *okey-dokey*, *pall-mall*, *palsy-walsy*, *pee-wee*, *pell-mell*, *picnic*, *razzle-dazzle*, *righty-tighty*, *roly-poly*, *rumpy-pumpy*, *super-duper*, *teenie-weenie*, *teeny-weeny*, *tidbit*, *tighty-whitey*, *willy-nilly*, *wingding*; 2) точная редупликация: *bonbon*, *bye-bye*, *choo-choo*, *chop-chop*, *chow-chow*, *dum-dum*, *fifty-fifty*, *gee-gee*, *go-go*, *goody-goody*, *knock-knock*, *night-night*, *no-no*, *pee-pee*, *poo-poo*, *pooh-pooh*, *rah-rah*, *so-so*, *tsk-tsk*, *tuk-tuk*, *tut-tut*, *wakey wakey*; 3) редупликация со сменой гласного: *bric-a-brac*, *chit-chat*, *criss-cross*, *dilly-dally*, *ding-dong*, *flimflam*, *flip-flop*, *hip-pety-hoppety*, *kitcat*, *kitty-cat*, *knick-knack*, *mish-mash*, *ping-pong*, *pitter-patter*, *rickrack*, *riprap*, *see-saw*, *shilly-shally*, *sing-song*, *snicker-snack*, *splish-splash*, *teeter-totter*, *tic-tac-toe*, *tick-tock*, *ticky-tacky*, *tip-top*, *tittle-tattle*, *wish-wash*, *wishy-washy*.

ных форм – формами символическими. Коннотация символических форм состоит в том, что они более непосредственно иллюстрируют то или иное значение, чем обычные языковые формы. Объяснение этого явления надо искать в грамматической структуре языка, и мы займёмся этим позднее. Говорящему кажется, что звуки здесь особенно соответствуют содержанию. Примерами таких форм являются flip (*щёлкнуть*), flap (*хлопать*), flop (*шлёпать*), flitter (*порхать*), flimmer (*трепетать*), flicker (*мерцать*), flutter (*развеваться*), flash (*сверкать*), flush (*вспыхивать*), flare (*ярко вспыхивать*), glare (*сиять*), glitter (*блестеть*), glow (*светиться*), gloat (*пожирать глазами*), glimmer (*тускло светить*), bang (*хлопнуть*), bump (*ударять*), lump (*тяжело ступать*), thump (*наносить тяжёлый удар*), thwack (*бить*), whack (*колотить*), sniff (*сопеть*), snuffle (*фыркать*), snuff (*задуть свечу*), sizzle (*шипеть*), wheeze (*хрипеть*). [...] Особым, чрезвычайно широко распространённым [в английском – Е.З.] типом символических форм являются повторы форм с известным фонетическим видоизменением, например: *snip-snap, zig-zag, ruff-raff, jim-jams, fiddle-faddle, teeny-tiny, ship-shape, hodge-podge, hugger-mugger, honky-tonk*.

Очень близки к ним звукоподражательные, или ономатопоэтические, усилительные формы, которые обозначают звуки или предмет, издающий тот или иной звук; звукоподражательная речевая форма и воспроизводит тот или иной звук: *sock-a-doodle-doo, meeow, moo, baa*» (Блумфилд, 2002, p. 162–163).

По данным К.К. Швачко, в английских художественных текстах на 3 000 слов с прозрачной мотивацией построения (то есть дериватов от других слов и т.п.) приходится 41 слово-звукоподражание, в русском этот показатель составляет 10, в украинском – 24 (Швачко и др., 1977, с. 48); то есть склонность к редупликации коррелирует со склонностью английского к звукоподражаниям.

17. Некоторые характерные черты английского выражены в креольских языках ещё ярче из-за их большей аналитичности: например, в директивных высказываниях на ток-писине местоимение-подлежащее опускать нельзя, в то время как в английском это допускается, ср. *Yu stap hea! vs. Stay here! – Оставайся здесь!* (Hellinger, 1985, S. 134; Mühlhäusler, 1986, p. 161).

Таким образом, пиджины и особенно креольские языки, будучи по структуре своей аналитическими, разделяют с английским многие его особенности, включая те, которые интерпретируются некоторыми этнолингвистами в качестве выражения английского активизма, рационализма, прагматизма и т.д. Такая близость форм **английского языка** с креольскими заставляет задуматься, почему именно английский по степени аналитичности вырвался далеко вперёд по сравнению с другими индоевропейскими языками. Можно предположить, что аналитизация в нём была радикально ускорена не внутренними факторами языковой эволюции (иначе ту же картину мы могли бы наблюдать и на примере остальных германских языков), а соответствующими социокультурными условиями, традиционно приводящими к возникновению аналитических форм. Таким условием обычно является порабощение

носителей языка другим народом, чей язык из-за своей престижности превращается в суперстрат и постепенно вливается в язык покорённого народа, причём столь сильно, что это ведёт к разрушению грамматических структур и замене даже повседневных, наиболее употребительных слов на новые (ср. Ярцева, 1985, с. 113). Например, М.В. Дьячков писал, что пиджины, то есть самые аналитические из всех языков, обычно появляются на историческом фоне неравноправных отношений между различными этносами и насильственного порабощения одних народов другими с последующим доминированием одного языкового коллектива над другим / другими (Дьячков, 1987, с. 10). В случае английского речь идёт о порабощении англичан норманнами с IX по XI в. включительно (ср. Mitchell, Robinson, 2003, p. 132–134; Себе-ренников, 1970, с. 264; Wagner, 1959, S. 151; Eckersley, 1970, p. 421; Emerson, 1906, p. 23; Kington Oliphant, 1878, p. 105–106; Krapp, 1909, p. 34, 74–75; Meiklejohn, 1891, p. 277; Morris, 1872, p. 49; Bradley, 1919, p. 25–34; Williams, 1911, p. 9; Champneys, 1893, p. 17–175; Гухман, 1973, с. 358; Tristram, 2004; McWhorter, 2004, p. 47; Dawson, 2003, p. 45)¹. Под норманнами мы здесь понимаем и датчан, осевших в Данелаге, и франкоязычную армию Вильгельма Завоевателя, поскольку речь идёт об одной и той же группе племён.

Например, из скандинавского в английский перешли такие повседневные слова, как *sister, leg, neck, fellow, skin, sky, window, low, husband, wrong, same, both, to call, to get, to give, to smile, to take, to want*; даже форма вспомогательного глагола «быть» *are* (вместо *sindon*), союзы *though, till, until* и местоимения *they, they, their* (Barber, 2003, p. 133; Eckersley, Eckersley, 1970, p. 421; Crystal, 1995, p. 25; Аракин, 2003, с. 169–173; Dawson, 2003, p. 43–45; Poussa, 1982, p. 72–73). Близкое родство английского и скандинавского, возможно, дополнительно ускорило процесс аналитизации: поскольку многие слова в обоих языках были очень похожи, но падежные окончания различались, носители языков при общении друг с другом отказывались от окончаний (Barber, 2003, p. 157; Блумфилд, 2002, с. 515; Ярцева, 1985, с. 105; Janson, 2002, p. 157; Eckersley, 1970, p. 421; Jespersen, 1918, p. 31; Jespersen, 1894, p. 173; Meiklejohn, 1891, p. 318; Champneys, 1893, p. 126–127; “The Oxford History of English”, 2006, p. 82). В. О’Нейл называет этот процесс нейтрализацией, под которой он понимает стремительное упрощение языка (или диалекта) при контакте с близкородственным ему языком (или диалектом) (Dawson, 2003, p. 53–54). Связывать влияние скандинавского с аналитизацией позволяет и тот факт, что отмирание па-

¹ Изредка в качестве альтернативы упоминается смесь английского с кельтскими языками (Niehues, 2006, p. 30). Отмечается, например, что английский и кимрский являются самыми аналитизированными индоевропейскими языками Западной Европы. Аналитизация британской ветви индоевропейских языков, к которой принадлежит и кимрский, началась на 300–400 лет раньше аналитизации английского. Вообще к британской группе принадлежат кимрский, бретонский, корнский, мёртвый кумбрийский и, может быть, пиктский язык в Шотландии. Бриттскую группу не следует путать с гойдельской группой языков, к которой принадлежат шотландский (гэльский), мэнский и ирландский. Обе группы принадлежат к кельтской ветви индоевропейских языков.

дежей началось в X в. в северной Англии (то есть ещё до Норманнского завоевания на территориях, занимаемых датчанами), и только в XI в. этот процесс перешёл в среднюю и южную Англию (von See Franz-Montag, 1983, S. 87; Ярцева, 1985, с. 105; Crystal, 1995, p. 32; Jespersen, 1918, p. 37; Williams, 1911, p. 28; Tristram, 2004; Аракин, 2003, с. 133; “The Oxford History of English”, 2006, p. 83; Danchev, 1997, p. 87–88; McWhorter, 2004, p. 48).

О влиянии французского языка, также принесённого норманнами, говорят следующие цифры: среди наиболее часто употребляемых 4 000 слов английского языка (собраны в “General Service List”) 38 % являются галлицизмами (плюс ещё 10 % из латыни), а в “Shorter Oxford English Dictionary” (80 100 статей) 28 % всех лексем являются галлицизмами и столько же латинизмами (Bailey, Maroldt, 1977, p. 31). Уже к началу XIII в. в английском появилось 10 000 заимствований из французского (Crystal, 1995, p. 46), к 1460 г. не менее 40 % английского лексикона составляли галлицизмы, а многие сохранившиеся английские слова использовались для выражения заимствованных из французского значений (Bailey, Maroldt, 1977, p. 32). Как отмечается в «Лингвистическом энциклопедическом словаре», всего в английском заимствовано до 70 % словарного запаса («Лингвистический энциклопедический словарь», 1990, с. 33). По данным Т. Янсона, 90 % английской лексики имеют французские, латинские или греческие корни (Janson, 2002, p. 157–158); по данным “A Comprehensive English Grammar”, 50 % английского словарного запаса, оцениваемого авторами в полмиллиона единиц, имеют французское или латинское происхождение (Eckersley, 1970, p. 425, 432); по данным В.Д. Аракина, этот показатель составляет 57 % (Аракин, 2003, с. 174); по данным А.А. Леонтьева, 50–66 % английской лексики имеет французские корни (Леонтьев, 1978). М. Бернал доводит эту цифру для среднеанглийского до 75 % (подразумевая, очевидно, и производные), хотя отмечает, что в так называемом «списке Сводеша»¹ французской лексики менее 10 % (Bernal, 2001, p. 123).

В связи с этим можно задать вопрос, относится ли английский язык в его современной форме больше к германской или романской группе (ср. Ярцева, 1985, с. 87; Бодуэн де Куртенэ, 1963. Т. 2, с. 89). В “The Cambridge Encyclopedia of the English Language” отмечается, что в плане склонности к заимствованиям английский «ненасытен» более, чем любой другой язык (Crystal, 1995, p. 126); в книге “A Survey of Modern English” английский назы-

¹ Список Сводеша (или Свадеша) – это инструмент для оценки степени родства между различными языками по схожести наиболее устойчивого словаря. В список входят базовые лексемы языка, упорядоченные по убыванию их важности. Минимальный набор «ядерной» лексики содержится в 100-словном списке Сводеша; используются также 200- и 207-словные списки. М. Бернал подразумевает, очевидно, список из 100 слов. С помощью списка Сводеша было установлено, среди прочего, что английский за последнюю тысячу лет сохранил 68 % основной лексики, а исландский – 97 % (Mallory, Adams, 2006, p. 95). В среднем за 1000 лет из проверенных языков исчезало 15 слов из 100 (Мельникова, 2003, с. 24). Принципы проведения подсчётов неоднократно подвергались критике.

вают «отличным примером лексически смешанного языка» (Gramley, Pätzold, 1995, p. 17); Дж. Миклджон ещё в XIX в. писал, что в английском больше иностранных слов, чем английских, что особенно относится к латинизмам и галлицизмам (Meiklejohn, 1891, p. 281–282; ср. Bradley, 1919, p. 6). Давно подмечено, что в английском исключительно много синонимов, бывших поначалу абсолютными или по сей день оставшихся таковыми (заимствования из французского или пришедшие через французский): *nude – naked, pedagogue – schoolmaster, poignant – sharp, peccant – sinning, sign – token* (Strong, 1891, p. 227). Следует добавить, что в самом начале истории английского, то есть где-то в V в., иностранных слов в нём практически не было (Emerson, 1906, p. 13; Meiklejohn, 1891, p. 277; Morris, 1872, p. 48; Bradley, 1919, p. 10). По данным «Оксфордской истории английского языка», в древнеанглийском заимствования составляли 5 % словарного запаса, в современном английском – 70 % (“The Oxford History of English”, 2006, p. 73). По данным Р. Стоквелла и Д. Минковой, в древнеанглийском только 3 % слов были заимствованиями, а на 10 000 самых употребительных слов современного английского приходится 32 % германизмов, 45 % галлицизмов, 17 % латинизмов, 4 % заимствований из других германских языков и 2 % заимствований из прочих языков (Stokwell, Minkova, 2001, p. 49–51). Т. Кингтон Олифант писал о трансформации английского под влиянием норманнов следующее: «Я сомневаюсь, что какой-то другой язык когда-либо был подвержен таким изменениям, каким был подвержен наш; по крайней мере, в обозримом прошлом» (Kington Oliphant, 1878, p. 136). Чрезвычайная насыщенность английского заимствованиями из других языков отмечалась даже в русской классике¹.

В славянских языках, в том числе в русском, наблюдается относительная сохранность древней индоевропейской лексики, обусловленная слабостью иноязычных влияний (Винокур, 1959, с. 15). Если сравнить русский, украинский и английский по степени мотивированности словарного состава, получаются следующие цифры: в английском на каждое морфологически, семантически или фонетически мотивированное слово приходится 14 немотивированных; в русском это соотношение составляет 1 : 6,6, в украинском – 1 : 5,7 (Швачко и др., 1977, с. 47). Под мотивированностью подразумеваются три явления: звукоподражания (слова типа «мяу», «шипеть»), аффиксация или какой-то другой тип построения слова с морфологически

¹ Ср. «Вообще английский язык груб, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма – богат краденым или (чтоб не оскорбить британской гордости) отнятым у других. Все учёные и по большей части нравственные слова взяты из французского или из латинского, а коренные глаголы из немецкого. [...] Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса, течёт, как гордая, величественная река – шумит, гремит, – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!» (Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 809. Русская литература: от Нестора до Булгакова. С. 40707).

прозрачной структурой («ум» > «умный»), расширение значений («ножка стола», «ручка чемодана»). Разница в цифрах обусловлена, среди прочего, склонностью английского к заимствованиям. О немотивированности английской лексики по сравнению с русской говорят также А.Л. Зеленецкий и П.Ф. Монахов: во-первых, в английском относительно слабо развито словообразование, во-вторых, очень велик процент заимствований (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 190). О. Есперсен сетовал на «недемократичность» словарного запаса английского языка, обусловленную огромным числом заимствований, приведшим к морфологической непрозрачности лексики и ослаблению деривации (Mühlhäusler, 1985, p. 149–150). Исключение составляет, однако, самая основная повседневная лексика. По мнению Есперсена, ни один «арийский» язык не изменился так сильно, как английский (Jespersen, 1894, p. 2), чему способствовали постоянные контакты с викингами и уничтожение элиты – носителей образцового консервативного социолекта – франкоязычными норманнами (Jespersen, 1894, p. 169, 172–173).

Смешанный характер языка проявляется не только в количестве заимствований, но и в словообразовании. Смешанные языки чаще комбинируют заимствованный и родной языковой материал. Так, А. Лутц показала в своём исследовании, что англичане чаще, чем немцы, сочетают заимствованные приставки и суффиксы с германскими корнями (Lutz, 2002, S. 423–430). В случае суффикса *-able* (нем. *-abel*) в немецком вообще нельзя найти гибридных словообразований, хотя в английском они встречаются довольно часто: *clubbable*, *teachable*, *unavoidable*, *readable*, *understandable* и т.д. В обратном словаре русского языка (<http://dictionnaire.narod.ru/reverse.zip>), созданном на основе «Грамматического словаря русского языка» А.А. Зализняка и «Орфографического словаря» (106 000 слов, 28-е издание, 1990 г.), суффикс *-абельный / -ибельный* встречается только в трёх-четырёх гибридах: *(не)читабельный*, *малорентабельный*, *нерентабельный* (причём русский корень прослеживается только в слове *(не)читабельный*). Заимствованный суффикс *-ment* не встречается в гибридах в немецком, но активно используется в английском словообразовании. В русском мы также не нашли гибридов с этим суффиксом, хотя заимствований с ним много: *фундамент*, *медикамент*, *регламент*, *парламент*, *орнамент*, *темперамент*, *индоссамент*, *апартамент*, *департамент*, *тестамент*, *постамент*, *фрагмент*, *сегмент*, *ангажемент* и т.д.

Далее, по данным А. Лутц, если в английском заимствованный суффикс *-ity* используется для построения новых слов (существительных), то в немецком он встречается только в заимствованиях (*-ität*). В русском оба варианта этого суффикса тоже непродуктивны, то есть встречаются только в заимствованиях типа *публицити*, *секьюрити*, *суверенитет*. Если германский суффикс *-nis/-ness* в немецком для построения гибридов не используется, то в английском такие гибриды существуют: *fierceness*, *gentleness*, *unpleasantness* и т.д. То же касается и следующих общих для немецкого и

английского германских префиксов: *be-*, *miß-/mis-*, *unter-/under-*, а также заимствованных в английский и немецкий префиксов *re-*, *dis-*, *inter-* (проверялись только глаголы), то есть в английском можно найти гибриды-глаголы с этими элементами, а в немецком – нет. Для сравнения: согласно «Словарю русского языка в 4-х томах» (Евгеньева, 1999), *re-*, *dis-* и *inter-* с русскими корнями не сочетаются. Проверялись только глаголы, чтобы можно было сопоставить результаты по русскому с результатами по английскому и немецкому, полученными А. Лутц. Если в немецком суффикс *-ieren* в словообразовании практически не используется, то эквивалентные английские суффиксы *-ify*, *-ize*, *-ate* очень продуктивны. Для сравнения: среди многочисленных лексем с суффиксом *-(из)ировать* можно найти всего шесть гибридов: *военизировать*, *русифицировать*, *складировать*, *славянизировать*, *украинизировать*, *яровизировать* (Ефремова, 2000). Таким образом, английский язык интенсивно использует заимствованные аффиксы в словообразовании, а свои префиксы сочетает с заимствованными словами. В немецком и русском гибриды с проверенными аффиксами почти не встречаются, что свидетельствует о меньшей степени языкового смешения.

Таким образом, первоначальный вариант английского языка был буквально смят норманнами сначала скандинавским, а затем французским языком, из-за чего парадигма флексий разрушилась, а словарный запас сменил большую часть своего состава. В результате 80 % (Stockwell, Minkova, 2001, p. 46) или даже 85 % древнеанглийских лексем исчезли (цифра требует, по мнению приводящих её авторов, дополнительного подтверждения) (Bailey, Maroldt, 1977, p. 34), и уже среднеанглийский обогнал все германские языки по степени аналитичности (Tristram, 2004). Именно эта невольная реструктуризация английского языка сделала невозможным существование безличных конструкций, среднего залога и многих других типичных характеристик языков синтетического строя. В большинстве славянских языков подобной радикальной реструктуризации не наблюдалось, благодаря чему они остались довольно архаичны по своему строю. В приложении 4 мы продемонстрировали это на примере русского. Если на 500 наиболее употребительных существительных английского языка приходится 73 % заимствованных (даже если включить в список исконных все слова с неизвестной этимологией, а также слова, которые могут быть заимствованиями из скандинавского), то для русского этот показатель составляет всего 37 %. В немецком заимствованная лексика встречается чаще, чем в русском, но реже, чем в английском.

Следует также перечислить некоторые дополнительные факторы, способствовавшие аналитизации в английском. Нельзя забывать, что английский с самого начала был диалектально раздроблен (Janson, 2002, p. 135–136, 155–156; Eckersley, 1970, p. 419; Freeborn, 1992, p. 15–16, 20; Crystal, 1995, p. 28–29; Emerson, 1906, p. 13), а раздробленные языки более склонны к аналитизации, чем целостные в диалектальном отношении (см. выше об исландском). Так, М. Гёрлах считает, что первоначальное упрощение древнеанглийского ещё до контактов с

норманнами объясняется постоянным трением нескольких похожих германских диалектов (Niehues, 2006, p. 32). Позже к этому добавились упрощённые формы древнеанглийского, которыми пользовались кельты, сами бывшие носителями довольно анализированных языков и потому склонные отбрасывать окончания. О. Есперсен отмечает также уже упомянутое выше ослабление окончаний из-за особенностей германского ударения и действие принципа аналогии при унификации флексий (табл. 16), например, при слиянии форм номинатива и множественного числа датива (Jespersen, 1918, p. 38–39; ср. Jespersen, 1894, p. 174; Emerson, 1906, p. 80, 87–88, 162; Krapp, 1909, p. 74, 80; Meiklejohn, 1891, p. 318; Moore, 1919, p. 49–50; Bradley, 1919, p. 23–25; Tristram, 2004; McWhorter, 2004, p. 29). В частности, буква *m* (а перед этим звук [m]) в безударном слове в конце слова обычно превращалась в *n*; *a*, *o* и *u* – в *e*; затем исчезали и эти буквы, а вместе с ними – и соответствующие окончания (Emerson, 1906, p. 162; Jespersen, 1894, p. 174; Dixon, 1994, p. 183). В английском и сейчас ударение падает на первый слог чаще, чем в русском и украинском (Швачко и др., 1977, с. 16; ср. Зеленецкий, 2004, с. 65; Danchev, 1997, p. 87). Более частые формы вытесняли более редкие: номинатив вытеснил вокатив, аккузатив зачастую вытеснял формы номинатива у существительных, датив вытеснил некоторые аккузативные формы личных местоимений (Emerson, 1906, p. 163). По принципу аналогии неправильные глаголы постепенно превращались в правильные, так что в современном английском неправильных глаголов осталась только одна треть от первоначальных трёхсот (Emerson, 1906, p. 192; ср. Krapp, 1909, p. 82; Meiklejohn, 1891, p. 278). Кроме того, Есперсен полагает, что “the cause of the decay of the Old English apparatus of declensions lay in its manifold incongruities”: некоторые глаголы и предлоги могли употребляться с дативом или аккузативом без каких-либо последствий для их значения, система падежных окончаний была запутанной и нестройной, отношения между членами предложения не могли передаваться адекватно и зачастую угадывались только по контексту (Jespersen, 1918, p. 40–41; ср. Champneys, 1893, p. 82; Tristram, 2004; Jespersen, 1894, p. 105–106, 157–159, 176–177).

Таблица 16

**«Декоративная» функция флексий в древнеанглийском
(Tristram, 2004)**

	М. р.	Ж. р.	Ср. р.
Ном. ед. ч.	-a		-e
Акк. ед. ч.			
Ген. ед. ч.			
Дат. ед. ч.		-an	
Ном./акк. мн. ч.			
Ген. мн. ч.		-en-a	
Дат. мн. ч.		-um	

Всё это привело к тому, что носители древнеанглийского начали всё чаще путать окончания, а затем опускать их совсем. Особенно это касалось слов, оканчивавшихся на гласные. Дж. Крапп видит одну из причин аналитизации во всеобщей неграмотности времён Норманнского завоевания, в отсутствии системы образования и каких-то других механизмов сдерживания спонтанного языкового развития (Krapp, 1909, p. 75; ср. Meiklejohn, 1891, p. 277; Champneys, 1893, p. 83, 251); вспомним, что исландцы считают одной из причин сохранения синтетического строя как раз высокую грамотность населения¹. В этой связи можно упомянуть также теорию Д. Бикертон, полагавшего, что грамматика креольских языков есть по большей части продукт работы разума детей, лишённых возможности в должной мере усвоить язык родителей (нет чёткой нормы) и потому прибегающих к универсальным механизмам простейшего речетворчества, к некоей врождённой базисной грамматике, наблюдаемой также в ошибках детей при усвоении языка в обычных условиях (Пинкер, 1999 а; Перехвальская, 2006, с. 14–15; Bartens, 1996, S. 74–80; Bickerton, 1986; Mühlhäusler, 1986, p. 113–118, 251–252; Dessalles, 2007, p. 165–172). Например, в речи детей, как и в креольских языках, часто встречаются серийные глаголы (*уйти-взять-прийти* = *принести*), биморфемные вопросительные слова (*какая вещь?* = *что?*, *какой человек?* = *кто?*) и «естественный» пассив (то есть без специальных морфологических форм) (Bartens, 1996, S. 76); дети также стараются заменить синтетические формы аналитическими (Hinrichs, 2004 b, S. 28). С.Д. Кацнельсон видел причины аналитизации не только в смешении языков, но и в отсутствии твёрдо фиксированной письменной формы языка (Кацнельсон, 1940, с. 68–69). Кацнельсон особенно подчёркивал, что «как возникновение, так и отмирание флексии не стоит ни в какой связи с развитием категорий мышления» (Кацнельсон, 1940, с. 69).

Несколько необычны взгляды на распад падежной системы в работе Й. Барддал “The development of case in Germanic” (Barðdal, 2007). Она отрицает решающую роль размывания и исчезновения безударных слогов в этом процессе, поскольку безударные окончания глаголов в некоторых германских языках (в частности, в шведском) сохранились. Она отрицает и связь между распадом падежной системы и становлением жёсткого порядка слов: в исландском, пишет она, порядок слов постепенно становится всё более жёстким, хотя падежная система не распадается. Это не совсем так. Как было показано выше, падежная система распадается и в исландском, но значительно медленнее, чем в других германских языках (в частности, по данным самой же Барддал, отмирает генитив). То же замечание можно отнести и к аргументу Барддал, что связь между распадом падежной сис-

¹ Ср. “If there are high and low social varieties of a language and only one of them has an article, it will usually be the low variety” (“The Universals Archive”, 2007). Артикль – аналитическое средство – встречается чаще в языках низших (относительно необразованных) классов.

темы и появлением артиклей сомнительна, так как в исландском и фарерском падежная система сохранилась, но появились артикли. По нашему мнению, артикли не появились бы, если бы падежная система действительно сохранилась, но в обоих случаях речь идёт лишь о частичной сохранности. Барддал полагает, что в наибольшей мере со скоростью распада падежной системы коррелирует скорость обновления словарного запаса: в английском этот процесс выражен наиболее ярко (из-за описанных выше событий XI в.), благодаря чему процесс распада падежной системы зашёл особенно далеко; в шведском – менее ярко (тоже как результат сильного смешения языков: в данном случае речь идёт о сильном влиянии нижненемецкого в XIII в.), в немецком никаких радикальных изменений лексического состава не было, поэтому флексии сохранились лучше, чем в шведском; в исландском какие-либо изменения практически незаметны, поэтому падежная система сохранилась лучше, чем во всех других германских языках. Барддал предполагает, что многочисленность заимствований повлияла на распад падежных систем германских языков благодаря принципу аналогии: во-первых, многочисленность заимствований не позволяет быстро интегрировать их в систему флексий; во-вторых, более часто употребляющийся тип конструкций (личный, подлежащее в номинативе, дополнение в аккузативе) привлекает к себе даже те заимствованные глаголы, которые иначе стали бы употребляться с другими падежами, то есть с дативными, генитивными и аккузативными субъектами или объектами. Соответственно, окончания датива, генитива и аккузатива теряют значимость, употребляются всё реже. Происходит слияние или отмирание относительно редких падежей. В данном случае у нас нет никаких оснований не согласиться с доводом Барддал – интенсивность языковых контактов, очевидно, действительно играет решающую роль при анализации. Барддал также обращает внимание на тот факт, что в английском и некоторых других аналитических языках иногда безличные конструкции возникали вопреки языковой типологии. Так, в средневековом шведском, когда в нём осталось всего два падежа (общий и косвенный), возникают конструкции с глаголами “tænka” («думать») и “iäfwä” («сомневаться») с дативными субъектами. Барддал объясняет это давлением семантики глагола на языковую систему: хотя аналитический строй принуждает ставить подлежащее в номинативе, носители языка по-прежнему воспринимают некоторые процессы / состояния как воздействие из вне, а в этом случае более уместен косвенный падеж. Если в каком-то языке выживают безличные конструкции вопреки анализации, то это обусловлено их высокой частотностью, ослабляющей действие принципа аналогии. В другой статье, опубликованной в том же году, Барддал признаёт влияние фонетических факторов на распад падежной системы (Barðdal, Kulikov, 2007).

Учитывая приведённые параллели между английским и креольскими языками, некоторые учёные склонны видеть в среднеанглийском креоли-

зированной или пиджинизированный вариант древнеанглийского (ср. McArthur, 1998, p. 156; Ярцева, 1985, p. 90–93; Crystal, 1995, p. 32; Todd, 1990, p. 86; Danchev, 1997, p. 80). Б. Райан приводит, например, следующие стандартные аргументы в пользу этого предположения:

- среднеанглийский слишком отличается от древнеанглийского, является новой системой, имеющей мало общего с предыдущей и в лексике, и в грамматике (радикальная перестройка системы обычно наблюдается и при креолизации / пиджинизации);

- 40 % английской лексики, семантики, фонетики и морфологии имеет смешанный характер, из-за чего одни учёные видят в среднеанглийском продолжение не древнеанглийского, а древнефранцузского, другие – продолжение латыни, третьи – продолжение скандинавского (к подобным обобщающим подсчётам следует относиться с осторожностью);

- потеря категории рода, исчезновение флексий, массовые заимствования в самый центр лексикона есть признаки креолизации или гибридизации (Ryan, 2005).

За теорию креолизации выступают Ч.-Дж. Бейли, К. Маролдт, П. Поусса и Э. Ворнер.

Одной из самых известных статей, доказывающих креолизацию английского, является “The French lineage of English” Ч.-Дж. Бейли и К. Маролдта (Bailey, Maroldt, 1977). Авторы исходят из следующего определения креольского языка: «результат достаточно сильного смешения [языков – Е.З.], создающего новую систему, отдельную от системы языков-родителей», причём эта новая система отличается аналитическим строем и значительным упрощением, по сравнению со старой (Bailey, Maroldt, 1977, p. 21). Стадия пиджина ими не предполагается. Заметим, что, например, Д. Бикертон не считает языки, возникшие без стадии пиджина, причём существовавшего только одно поколение, «настоящими» креольскими языками, так как в этом случае якобы не включается заложенная в детях «биопрограмма» создания языка (Mühlhäusler, 1986, p. 10). Теоретически вторым родителем среднеанглийского могли быть французский, древнесеверный, латынь и кельтские языки, но наибольшее влияние оказал французский, поэтому именно он является «отцом» новой системы. Носители кельтских языков были слишком быстро вытеснены на окраины или уничтожены, поэтому вопрос об их влиянии не стоит, кроме как в случае отдельных языковых феноменов типа *ing*-форм. Древнесеверный дестабилизировал древнеанглийский язык и таким образом подготовил его к коренной перестройке. Сам он, однако, был не настолько аналитичным, чтобы в результате контактов с ним английский синтетический строй распался столь основательно. Кроме того, авторы считают количество лексических заимствований из древнесеверного небольшим по сравнению с французским. Период влияния французского делится на две части: до 1200 г. (основной) и XIII–XIV вв. (дополнительный, выражающийся не в массивной перестройке системы, а только в много-

численных заимствованиях). Французский язык был в течение нескольких веков суперстратом, затем – просто одним из самых влиятельных языков. Вся элита страны при Норманнском завоевании была уничтожена, на её место пришли французы, хорошим тоном считалось если не использование самого французского, то, по крайней мере, употребление многочисленных галлицизмов (например, у Чосера уже в XIV в. почти половина употреблённых слов – галлицизмы; так он пытался понравиться читателям из элиты). После возвращения английского языка в политику французский практически не утратил своих позиций среди просвещённой части общества и самых богатых и влиятельных слоёв населения. Авторы приводят различные свидетельства глубокого влияния французского на английский: калькированные предлоги (*outside of, inside of, instead of, in front of*), замена повседневных слов галлицизмами вместо заполнения лакун (*uncle, niece, nephew, aunt, grand-, very, nice, fine, round, strange, to dress, to order, to join, to close, afraid, cover, to catch, judge, to please, able, doubt*), заимствование аффиксов, которые с XIV в. начали сочетаться и с германскими корнями (*-ment, -able, -ity, -less, -ful, -ness, un-*), исчезновение сильных глаголов под давлением многочисленных слабых, заимствованных из французского; исчезновение категории рода (она и так была расшатана из-за контактов с древнесеверным, а при контактах с французским окончательно распалась, так как часто род одного и того же существительного в английском и французском не совпадал), становление порядка слов SVO, усиление путаницы с местоимениями из-за калек с французского типа *It's me; Him and me did that; Poor me; Me too; Him, he is nuts*; различие форм *ты/Вы (thou/you)* и т.д.

П. Поусса комментирует работу предыдущих двух авторов и приходит к другому выводу (Poussa, 1982). По её мнению, носителей французского в Англии было после Норманнского завоевания слишком мало, чтобы столь сильно реструктуризировать язык-субстрат, тем более что франкоязычные норманны сами охотно учили английский. Количество двуязычных жителей Англии она оценивает в 10 % от общего населения, преимущественно это были священники, купцы, знать и прочие приближённые ко двору. Значительно более вероятной кажется ей решающая роль скандинавского (древнесеверного) языка с XI по XIII в.

Если влияние французского ограничено несколькими группами слов определённой более или менее возвышенной тематики (закон, литература, хорошие манеры), то заимствования из скандинавского не собраны в определённые группы – это просто высокочастотные слова, вошедшие в повседневную народную речь. Поусса полагает, что это свидетельствует о значительном влиянии скандинавов на англосаксов, о сильной степени их смешения в противовес отграниченности норманнов из Франции. Креольский язык образовался, по её мнению, первоначально в Данелаге («область датского права»), то есть на территории в северо-восточной части Англии,

отличавшейся особой правовой и социальной системой, которая была унаследована от датских викингов, завоевавших эти земли в IX в. Поскольку мужское население при завоевании было в значительной мере уничтожено, в Данелаге быстро и в массовом порядке стали появляться смешанные семьи, в которых наверняка использовалась некая смешанная форма английского и древнесеверного (древнеанглийский и древнесеверный были, очевидно, достаточно близки, чтобы обе стороны могли понимать друг друга) (“The Oxford History of English”, 2006, p. 69–70). Со временем креольский язык Данелага стал межрегиональным койне, а после массовой эмиграции из Данелага на юг Англии, в том числе в Лондон, в XIV в. постепенно превратился в доминирующий диалект английского. Кажущийся резким переход к анализированным формам в XI в. был на самом деле более плавным, так как письменные документы наверняка содержат консервативные формы, искусственно сохранявшиеся в среде церковников и элиты. Когда после Норманнского завоевания старая элита была уничтожена, в документах стали появляться разговорные формы, отличающиеся значительно большей степенью анализизма. Важно замечание Поуссы, что предположение о возникновении среднеанглийского языка из креольского не должно расцениваться как доказательство его неполноценности в каком бы то ни было отношении.

Противники теории креолизации (например, М. Гёрлах) указывают на тот факт, что все языки являются в какой-то мере результатом смешения, и потому при желании можно почти всегда объявить тот или иной язык креолизированным (особенно если учитывать расплывчатость данного термина). С. Томасон и Т. Кауфман полагали, что английский просто заимствовал много слов из других языков, но не стал ни креольским, ни смешанным языком (Dawson, 2003, p. 50). Они не считали анализизацию доказательством креолизации на том основании, что анализизация началась до контактов с норманнами. Авторы «Оксфордской истории английского языка» указывают на то обстоятельство, что креолизация обычно является следствием контактов неродственных языков (или, по крайней мере, языков, носители которых не могут понимать друг друга), что к древнесеверному и древнеанглийскому не относится; кроме того, анализизация началась ещё до контактов с носителями древнесеверного и французского (“The Oxford History of English”, 2006, p. 83; ср. “Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8204; Hellinger, 1985, S. 41, 93). «Атлас языков мира» комментирует теорию креолизации следующим образом: «Однако несмотря на то, что некоторое упрощение форм в среднеанглийском языке по сравнению со староанглийским можно объяснить языковым смешением, в английском языке сохранилась основная германская грамматическая структура, поэтому определение английского даже как полукреольского языка является более чем натянутым» («Атлас языков мира», 1998, с. 161). А. Бартенс утверждает, что от теории креолизации английского языка учёные уже отказались, так как в данном случае не наблюдается типичного для креолизации условия – контакта более двух языков; Бартенс по-

чему-то не упоминает, что контактировали не только английский и французский, но и древнесеверный (Bartens, 1996, S. 144; ср. Danchev, 1997, p. 79). Бартенс признаёт, однако, что аналитическая структура английского обладает многими креолоидными чертами.

Х. Доусон после рассмотрения теории креолизации приходит к выводу, что результатом языковых контактов древнеанглийского стало койне (Dawson, 2003, p. 40). Под койне автор понимает стабилизировавшийся новый диалект – результат смешения и упрощения лингвистических субсистем типа региональных или литературных диалектов (Dawson, 2003, p. 46). Койне является лингва франка для носителей данных диалектов. Диалекты должны быть взаимно понятны и родственно связаны (как древнеанглийский и датский). Доусон приводит свидетельства, что англичане могли общаться со скандинавами, не обучаясь их языку, то есть это условие койнизации выполнено. Об использовании некоего койне в качестве лингва франка, правда, никаких свидетельств нет, но, по мнению автора, оно не могло не образоваться при столь подходящих условиях. Койне должно было возникнуть в общении с датчанами за период с 865 по 1066 г., то есть до Норманнского завоевания, после которого датчане больше не пытались овладеть территорией Англии. Как и в случае с креолизацией, особое внимание уделяется роли детей в создании новых языковых структур на основе контактирующих языков. Доусон полагает, что при переходе завоёванных датчанами территорий обратно в руки англичан чёткое разграничение между этими двумя нациями потерялось, датчане в течение двух-трёх поколений забыли свой язык, а их дети перешли на некую общую форму, которую сами же и создали. Анализацию автор считает следствием койнизации. Доусон полагает, что три основных признака креола, по Дж. МакХортеру, – полное или почти полное отсутствие флексий, полное или почти полное отсутствие тонов для различения односложных слов или каких-то синтаксических характеристик, прозрачность деривационной аффиксации – не вполне подходят к английскому. Например, в английском сохранилось восемь флексий.

А. Данчев считает, что потеря флексий, категории рода у прилагательных и существительных, потеря умлаутов, значительная релексификация и яркая аналитичность в некоторой мере могут свидетельствовать о креолизации, но других её типичных признаков в среднеанглийском нет. К таким признакам он причисляет доминирование открытых слогов (английский предпочитает структуру не CVCV, а CVCVC или SVC, где С – согласный, а V – гласный), наличие не маркированного морфосинтаксически пассива, наличие довербальных маркеров времени, вида и способа действия, опускание вспомогательного глагола «быть», использование одного и того же глагола для выражения обладания и существования, склонность к использованию многословных лексем (композигов, состоящих из целых фраз, примеры приводились выше), малочисленность предлогов, использование серийных глаголов, отсутствие нефинитных форм глагола и т.д. (Danchev, 1997, p. 86–95; Dawson, 2003, p. 51–52). Не со всеми его выводами можно согласиться, поскольку, например, лексем, состоящие из целых групп слов, в английском присутству-

ют в изобилии: *hair and skin care agent, hair and skin care product, hair and skin care professional, hair and skin care salon, hair and skin care online shopping site, hair and skin care formulation and technology expert*. Как показывает Данчев, во многих случаях по сей день остаётся открытым вопрос о решающем влиянии внутренних или внешних факторов на тот или иной процесс. Например, одни учёные видят в упрощении английской морфологии влияние скандинавов, другие – кельтов, третьи считают, что речь идёт о продолжении общегерманских тенденций, четвёртые объединяют все версии (Danchev, 1997, p. 87–88). Данчев цитирует П. Мюльхойзлера, который утверждает, что «флексионная и словообразовательная морфология является... первой жертвой языкового контакта» (цит. по: Danchev, 1997, p. 89), то есть в случае упрощения английской системы флексий речь может идти не о влиянии непосредственно кельтов или кого-то ещё в отдельности, а о контактировании языков вообще. В случае становления жёсткого порядка слов SVO можно предположить и влияние французского, и универсалии обучения чужому языку, и действие биопрограммы (по Д. Бикертону), и действие универсалий Н. Чомского (Danchev, 1997, p. 91). В других случаях ситуация проявилась в большей мере: считается, что процесс распада категории рода наверняка обусловлен контактами с французами, а не со скандинавами, так как у скандинавов система родовых различий слишком похожа на древнеанглийскую, чтобы ей навредить (Danchev, 1997, p. 90). Как бы то ни было, из 17 отобранных Данчевым параметров креолизации в среднеанглийском можно найти 6; для сравнения: с универсалиями обучения чужому языку совпадают 8 универсалий креолизации, плюс три случая, в которых автор не совсем уверен, то есть всего максимум 11 из 17 (Danchev, 1997, p. 96–98). Данчев считает невозможным употребление по отношению к переходу от древне-к среднеанглийскому терминов «креолизация», «пиджинизация» или «возникновение креолоида», предпочитая обозначение “creolization-like process”, то есть «процесс, подобный креолизации». Соответственно, английский – это не бывший пиджин, креол или креолоид, а обычный язык, но с ускорившимся от множества языковых контактов развитием и сильной степенью смешения: английский более смешан, чем все генетически родственные и соседние ему языки (Danchev, 1997, p. 100). Заметим, что Данчев не согласен с выдвинутым нами предположением, согласно которому редупликация как способ словообразования встречается в английском особенно часто (Danchev, 1997, p. 95). Впрочем, никаких конкретных данных по этому поводу он не приводит и непосредственно с русским английский не сравнивает.

Таким образом, хотя утверждения некоторых авторов, будто современный английский развился из креольского языка на основе скандинавского и/или французского, являются, с нашей точки зрения, недостаточно обоснованными, нам представляется вполне приемлемой точка зрения, согласно которой древнеанглийский превратился в язык смешанного типа (под смешанным языком мы понимаем языковую форму, которая усвоила столько инородных элементов, что в значительной мере потеряла первоначальный вид на всех языковых

уровнях)¹. Видеть в этой трансформации признак прогресса, как это делал О. Есперсен, едва ли возможно (сам Есперсен отмечал, что «некоторые [языковые – Е.З.] изменения происходили с наибольшей быстротой в те века, когда культура была в упадке» (цит. по: Иванов, 1976)); поэтому мы рассматриваем анализацию английского, в первую очередь, как следствие нарушившейся преемственности поколений при передаче синтетических форм².

Следует подчеркнуть, что процесс анализации древнеанглийского прослеживается ещё со времён его образования, то есть с англо-саксонского, поэтому нашествие скандинавов послужило только катализатором (ср. Krapp, 1909, p. 59; Meiklejohn, 1891, p. 318; Morris, 1872, p. 49; Williams, 1911, p. 15; Niehues, 2006, p. 25; Bailey, Maroldt, 1977, p. 41; McWhorter, 2004, p. 19). Например, если сравнить древнеанглийский VII в. с готским IV в., то можно заметить, что готский имеет значительно больше характеристик синтетического строя. Если в готском глагол выражал каждое лицо отдельным окончанием, то в древнеанглийском такие различия для множественного числа не сохранились (Iyish, 1972, p. 106). В “A Comprehensive English Grammar” отмечается, что «древнеанглийский был флективным языком, но далеко не таким флективным, как греческий, латынь и готский» (Eckersley, 1970, p. 421).

В. ван дер Гааф насчитал в древнеанглийском 40 безличных глаголов типа “methinks” (не включая, однако, производные и составные), но М. Огура отмечает, что почти все они могли употребляться и в личных конструкциях (Ogura, 1986, p. 7, 203; ср. Elmer, 1981, p. 5; Bauer, 2000, p. 132), то есть распад системы имперсонала начался уже тогда (если, конечно, они не употреблялись в обеих конструкциях изначально для маркировки волитивности-неволитивности, как полагала Н. МакКоли, см. выше). Завершился он, в основных чертах, в XV в. (Elmer, 1981, p. 4; Pocheptsov, 1997, p. 481). Уже в древнеанглийском достаточно широко использовались

¹ Ср. «На среднестатистической странице немецкого текста можно найти не так много слов, являющихся производными от заимствованных корней. Немецкий, строго говоря, является сравнительно несмешанным языком. Английский же, по крайней мере в плане лексического состава, является смешанным, поскольку слова с германскими корнями были в нём вытеснены производными от иноязычных корней» (Bradley, 1919, p. 6–7).

² Ср. «...в языке тогда начинают усиливаться аналитические черты, когда по тем или иным причинам падает уровень преемственности при передаче языкового опыта от поколения к поколению. В наибольшей мере преемственность страдает вследствие бурного смешения народов и культур, требующего выработки общего для всех языка, предельно простого для его освоения. Формирующийся в таких условиях аналитический строй, в предельном своём проявлении, приближается к корнеизоляции. Подобное объяснение причин развития предельного аналитизма признавал В. Гумбольдт и многие последующие языковеды, в том числе и И.И. Срезневский, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ» (Мельников, 2000). О. Есперсен о древнеанглийском: «В данном случае каждое следующее поколение, усваивающее язык, не получало достаточно информации [от предыдущих поколений – Е.З.] и делало всё больше ошибок. Потому неудивительно, что окончания путали, сглаживали, а затем и вовсе опускали...» (Jespersen, 1918, p. 42–43). Те же мысли можно найти у В. Хаферса, который сравнивал греческий и славянские языки (Havers, 1931, S. 96–97).

вспомогательные глаголы для образования аналитических форм, из которых затем развились новые временные конструкции: *habban* + партицип II: *Hīe hæfdon hiera cyninȝ āworpenne* (дословно: *They had their king as disposed*); *wesan* / *bēon* + партицип II и *weorþan* + партицип II: *ƿæ̅r wæs sē zupfana zenumen* (дословно: *There was a war banner seized*); *Hē wearþ ofslæzen* (дословно: *He became (a) killed (one)*). Обзор таких конструкций можно найти у Б.А. Ильиша (Ilyish, 1972, p. 108–110; ср. Аракин, 2003, с. 93–94).

Формальный субъект “it”, распространённый в современных безличных конструкциях и являющийся признаком аналитического строя, в древнеанглийском уже появился, но регулярно ещё не использовался. Широко распространены были бесподлежащие конструкции. Отсутствие подлежащего в тех случаях, когда его форма понятна из формы глагола, является наследием индоевропейского языка, ср. и.-е. [*gewso:*] – [*Я*] *пробую (на вкус)*; ст.-слав. [*staxU*] – [*Я*] *встал* (Блумфилд, 2002, с. 396; ср. Meillet, 1909, p. 219)¹; д.-англ. *Irneþ wiþ his eardes* ([*He*] *runs towards his dwelling*); *Syððan æ̅rest wearð fēasceaft funden, hē þæs frōfre zebād* (*Since [he] was first found helpless, he lived to see consolation in this*); *Ālēdon þā lēofne þēoden on bearm scipes* ([*They*] *laid then their beloved leader on the ship’s bosom*); *Him bebeorzan ne con* ([*I*] *cannot defend him*); *Fand þā þæ̅r-inne æpelinȝa zedriht swefan æfter symble; sorze ne cūþon, wonsceaft wera* ([*He*] *found in there a troop of warriors sleeping after the feast; [they] did not know any trouble, misery of men*) (Ilyish, 1972, p. 85, 124, 126); *And begunnon ða to wyrçenne* (*And then [they] began to work*) (Mitchell, Robinson, 2003, p. 112).

Более подробно это явление описано в «Грамматике древнеанглийского», где, среди прочего, отмечается, что «больше всего поражает их [местоимений-подлежащих в древнеанглийском – Е.З.] отсутствие» (Quirk, Wrenn, 1994, p. 73). Ф.Т. Виссер, напротив, полагает, что древнеанглийский был слишком аналитичен, чтобы часто опускать подлежащее (Visser, 1969. Vol. 1, p. 4). Безличные предложения могли совпадать (*æ̅lcum menn þūhte* – *каждому показалось*) или не совпадать с бесподлежащими (*swā hit þincan tæg* – *как может показаться*) (Quirk, Wrenn, 1994, p. 73). А. фон Зеефранц-Монтаг отмечает, что подлежащее, выраженное местоимением, часто опускалось во многих древних индоевропейских языках, особенно если говорящий исходил из того, что и так ясно, о ком идёт речь, или если это не столь важно (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 52). Выше мы продемонстрировали это на примере древнеисландского.

Несколько слов следует сказать о размерах сферы употребления имперсонала в английском на нынешней стадии его развития по сравнению с более ранними. В “Oxford English Dictionary” (самом большом словаре английского языка) нами было найдено около двухсот значений глаголов, требующих употребления безличных конструкций (“Oxford English

¹ В языках активного строя по глагольной форме обычно можно восстановить подлежащее (Климов, 1977, с. 138).

Dictionary”, 1989). К сожалению, авторы словаря не отличались последовательностью при их обозначении (одни были помечены *impers.*, другие можно было найти по словам *impersonally* и *impersonal*, третьи по сочетаниям *it * me, with * dative, dative * person*, четвёртые не были обозначены вообще), поэтому не исключено, что незамеченными остались ещё несколько (или несколько десятков) значений. Проверка вручную по печатной версии словаря не представляется возможной из-за его объёма (20 томов). Практически во всех случаях построение безличных конструкций требовало употребления форм датива или аккузатива, которые постепенно исчезали в процессе анализации. Среди найденных нами глаголов были “to accord” («быть подходящим»), “advantage” («быть выгодным»), “adventure” («случиться»), “affeir” («стать», «быть подходящим», «принадлежать»), “agrise” и “agruw” («быть отвратительным»), “ail” («беспокоить», «причинять»), “awe” («пугать»), “awonder” («удивлять»), “become” («быть подходящим»), “beleyn” («быть уместным»), “belike” («быть приятным»), “belimp” («принадлежать», «быть уместным»), “beseem” («казаться»), “betide” («случаться»), “bithynch” («казаться правильным или хорошим»), “bus” («быть необходимым», «долженствовать»), “cord” («быть подходящим»), “(de)deign” («считать что-то подходящим, достойным себя, удостоивать»), “doubt” («вызывать страх или сомнения»), “dow” («быть выгодным или полезным»), “dry” («испытывать жажду»), “fall” («выпадать на чью-то долю»), “fare” («случиться», «получиться»), “fault” («быть необходимым»), “ferly” («удивлять»), “force” («быть важным», «иметь значение»), “irew” («раскаиваться»), “iwurden” («случаться»), “limp” («случаться», «происходить»), “misbefall” и “misbetide” («случаться (о плохом)»), “miss” («совершить ошибку»), “mister” («быть необходимым, нужным») и т.д. Практически все глаголы устарели и либо сохранились лишь в диалектах, либо не употребляются больше вообще.

Авторы «Оксфордского словаря английского» не считают безличными конструкции типа *Me stoned rare* (Мне надо спешить); *Me stands awe* (Мне страшно); *Me stands need* (Мне надо). Относительная немногочисленность английских глаголов, употребляющихся в безличных конструкциях, не может рассматриваться в качестве абсолютного показателя размеров сферы безличности: по данным Б.В. Павлий, из общего количества безличных предложений глагольные предложения составляют всего 7,6 %, остальные 92,4 % приходятся на безличные именные предложения типа *It's hot* (Жарко); *It's nearly ten* (Почти десять); *It's only a hundred miles to Philadelphia* (До Филадельфии всего 100 миль) (Павлий, 2002).

Чрезвычайная аналитичность **африкаанс** также является результатом смешения языков (в данном случае – нидерландского и языков ЮАР, особенно банту), потому, как отмечает Л. Блумфилд, в нём «наблюдаются явления, которые напоминают сходные черты в креолизированных языках, например, крайнее упрощение словоизменения» (Блумфилд, 2002, с. 521). В некоторых пособиях по пиджинам и креольским языкам среди прочих

языков этих двух групп упоминается и африкаанс (Todd, 1990, p. 17; Helinger, 1985, S. 5, 8; Mühlhäusler, 1986, p. 7). Д. Хесселинг пишет, что африкаанс остановился на полпути при превращении в креольский язык (Bartens, 1996, S. 68); Т. Марки называет африкаанс креолоидом, то есть языком, схожим с креольскими, но не являющимся таковым (Mühlhäusler, 1986, p. 10; ср. «Атлас языков мира», 1998, с. 161). Безличные конструкции в африкаанс практически не встречаются: в грамматике Э. Райдт они не упоминаются вообще (Raidt, 1983), а в обширном труде Ф. Понелиса «Развитие африкаанс» приведено всего несколько примеров со всех исторических периодов: *Daar word gereedeener (It is argued; There are arguments); Daar is gelag (There was laughing); Daar het verlede nag 'n paar honde geblaf (Some dogs barked last night) (безличный пассив); Daar is leeus in Afrika (There are lions in Africa); ...datter in haer presentie Van dn Coop gesproken is (...that the sale was discussed in her presence); Een ommesien daar naa wiert daar geroepen (A moment after that, someone called) (Ponelis, 1993, p. 256, 281). Бесподлежащие предложения крайне редки, субъект может быть чисто формальным: *Dit kapok (It is snowing); Dit is tienuur / donker (It is ten o'clock / dark); Dit zoem in my kop (My head is buzzing); Dit reën (It is raining); Dit was koud (It was cold) (Ponelis, 1993, p. 257, 259–260, 255, 437). В императивах субъект выражается лексически: *Drinck gij u wijn!* (дословно: *Ты пей своё вино!*) (Ponelis, 1993, p. 396), что свидетельствует о ещё более жёстком порядке слов SVO, чем в английском. Для сравнения: в русской разговорной речи на один императив с подлежащим приходится 14 бесподлежащих (Honselaar, 1984, p. 177). Иногда встречаются конструкции, похожие на русские с дативом, но таковыми не являющиеся из-за отсутствия датива (в африкаанс у местоимений есть только общий падеж, называемый также номинативом, и косвенный): *Dit spyt mi (Мне жаль); Dit gaan goed met my (У меня всё хорошо) (Carcas, 2000, p. 21). В одной из грамматик к безличным причисляются предложения, в русской традиции называемые обычно неопределённо-личными: 'N Mens sê dat dit koud is (Говорят, [здесь] холодно; “n mens” является местоимением со значением «некто, человек / люди», ср. нем. “man”, англ. “one” (Carcas, 2000, p. 21). В африкаанс широко используются служебные части речи (например, многочисленные глаголы-связки: “bly”, “gaan”, “heet”, “klink”, “kom”, “lyk”, “raak”, “smaak”, “voel”, “voorkom”, “wees”, “word”), возвратные глаголы встречаются реже, чем в более синтетичном нидерландском, из которого он произошёл (Raidt, 1983, S. 111); упростилась система флексий (а у существительных флексий не осталось вообще), сильные глаголы превратились в слабые (Raidt, 1983, S. 127), переход из одной части речи в другую осуществляется легче, чем во всех остальных германских языках; чрезвычайно широко распространена редупликация (Raidt, 1983, S. 168–169). Хотя Э. Райдт, которая приводит все эти данные, не считает африкаанс креольским языком, она признаёт, что характеристики креольских языков и***

африкаанс «поразительно схожи» (Raidt, 1983, S. 28). Как было отмечено выше, то же можно сказать и об английском. Л. Тодд перечисляет некоторые характеристики африкаанс, встречающиеся у креольских языков: серийные глаголы (использование двух-трёх полнозначных глаголов подряд без связующих элементов типа союзов), высокая частотность редупликации, наибольшая степень аналитичности среди германских языков (Todd, 1990, p. 84–85). Креолизация, возможно, имела место во второй половине XVII в. Определённую роль могли сыграть контакты с пиджином на основе португальского (Hellinger, 1985, S. 39).

Иногда в языках аналитического строя остаётся достаточно флексий, чтобы определить форму опущенного подлежащего по форме глагола, ср. итал. *parlo* (я говорю), *parli* (ты говоришь), *parla* (он / она / оно говорит), *parliamo* (мы говорим), *parlate* (вы говорите), *parlano* (они говорят / Вы говорите). Даже в синтетическом древнеанглийском глагольных форм было меньше, ср. *helpe* (я помогаю), *hilpst* (ты помогаешь), *hilpþ* (он / она / оно помогает), *helpraþ* (мы / вы / они помогают) (Barber, 2003, p. 117). В таких языках субъект может опускаться: “IF null subjects is permissible (aka subject pro-drop), THEN the inflectional paradigms of verbs are morphologically uniform, and vice versa” (“The Universals Archive”, 2007; ср. Зеленецкий, 2004, с. 174; Fisher et al., 2000, p. 38): итал. *Vado a lezione* ([Я] иду на лекцию); *Dove stai?* (Где [ты] находишься?); *Sei un bravo studente* ([Ты] способный студент); в данном случае форма подлежащего определяется по глаголу «быть», отсутствующему в русском переводе. Обычно опускается и формальное подлежащее в безличных конструкциях: итал. *Piove*, *Bisogna*, *Viene annunciato*, *Si va* и т.д.; то же касается испанского и португальского (Gorzond, 1984, S. 2, 66). Относительно развитая система флексий в итальянском, по сравнению с английским, коррелирует и с другими параметрами большей синтетичности. Так, в итальянско-английском словаре “Oxford-Paravia Italian Dictionary” (Bareggi, 2002), состоящем из двух примерно равных по размеру частей с итальянско-английским и англо-итальянским словарями, английская половина содержит 18 значений безличных глаголов, 14 модальных глаголов, 6 918 значений переходных и 3 529 значений непереходных глаголов (непереходных в 1,96 раза меньше), 357 возвратных глаголов (типа *to dress oneself* (одеться)); в итальянской половине содержится 49 значений безличных глаголов, 4 модальных глагола, 5 098 значений переходных глаголов, 1 667 значений непереходных глаголов (в 3,06 раза меньше) и 2 238 возвратных глаголов (типа *abbigliarsi* (одеться)). Таким образом, по всем параметрам, кроме общего количества значений переходных глаголов, черты аналитичности более ярко выражены в английском языке. Особенно обращает на себя внимание многочисленность возвратных глаголов в итальянском.

Что касается данных по переходности, то они сильно колеблются по разным словарям (возможно, отчасти из-за ошибок при дигитализации печатных версий, а также из-за разного понимания переходности). Так, в “Webster’s Unabridged Dictionary” (Webster, 1913) содержится, по нашим подсчётам,

11 669 значений глаголов с пометой «переходный» и 5 070 – с пометой «непереходный» (переходных в 2,3 раза больше); в “Oxford English Dictionary” (“Oxford English Dictionary”, 1989) их соотношение составляет 28 643 к 17 638 (переходных в 1,6 раз больше); в “American Dictionary of the English Language” (Webster, 1828) – 7 044 к 2 917 (переходных в 2,4 раза больше); в “Collins English Dictionary” (1995) – 4 950 к 2 880 (переходных в 1,7 раза больше); в “Macmillan English Dictionary – American” (“Oxford-Paravia Italian Dictionary”, 2003) – 3 108 к 1 379 (переходных в 2,3 раза больше); в “The American Heritage Dictionary of the English Language” (1992) – 7 998 к 4 793 (переходных в 1,7 раз больше). Использовались электронные версии словарей.

В любом случае складывается впечатление, что в итальянском переходных глаголов значительно больше, чем в английском, что на первый взгляд противоречит данным языковой типологии (в аналитических языках транзитивных глаголов больше, чем в синтетических; например, в грамматиках английского языка русских авторов нередко можно найти подтверждение тому, что «в английском [по сравнению с русским – Е.З.] чрезвычайно мало непереходных глаголов, не способных к функционированию с дополнением» (Иванова и др., 1981)). Поскольку итальянский сохранил больше характеристик синтетизма, он должен быть значительно ближе к русскому в этом отношении, чем английский. На самом деле этот разрыв в цифрах объясняется многочисленностью в итальянском возвратных глаголов, которые в английском встречаются довольно редко. Возвратные глаголы также не требуют дополнений (ср. *Я умываюсь*) и потому являются непереходными¹, но в качестве таковых в словарях обычно не маркируются. Если сложить итальянские возвратные глаголы с непереходными, то окажется, что в проверенном нами словаре “Oxford-Paravia Italian Dictionary” переходных всего в 1,3 раза больше, чем суммированное число возвратных и непереходных (3 905). Это полностью соответствует данным языковой типологии.

То же соотношение получается в немецком, по данным словаря “Eurowörterbuch Deutsch-Englisch”: $v/t[\text{ransitiv}] 2\ 108 / (v/i[\text{ntransitiv}] 1\ 172 + v/\text{refl}[\text{exiv}] 424) = 1,3$, то есть переходные в немецком встречаются в 1,3 раза чаще непереходных. По данным значительно более крупного немецко-английского словаря “Muret-Sanders e-Großwörterbuch Englisch”, количество переходных значений глаголов в немецком примерно равно количеству непереходных / возвратных: $v/t 7\ 343 / (v/i 5\ 415 + v/\text{refl} 1\ 716) = 1,03$. В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой (Ефремова, 2000) количество пере-

¹ Ср. «В современном [русском – Е.З.] языке единственным морфологическим средством выражения залоговых значений, если оставить в стороне причастия, является возвратная частица *-ся*, являющаяся формальным средством выражения непереходности глагола (переходными называются такие глаголы, которые могут иметь при себе винительный падеж прямого дополнения, непереходными – такие, которые не могут)» (Борковский, Кузнецов, 2006, с. 273; ср. 293). «Непереходные глаголы, как сказано, оканчиваются и на *-ть*, и на *-ться*. В раннюю пору соответственные глаголы на *-ть* вызвали появление дублетов на *-ться*. Подоплека этого явления была чисто аналогическая. Глаголы переходные все оканчиваются на *-ть*, глаголы на *-ся* – все непереходные. Отсюда неизбежное стремление языка – непереходные глаголы на *-ть* снабжать приметой, своего рода морфологической чертой, – частицей *-ся*» (Обнорский, 1960, с. 19).

ходных глаголов превышает количество непереходных в 1,97 раз (18 391 : 9 355), то есть разрыв этот больше, чем в четырёх словарях английского, данные по которым приведены выше. Если добавить к числу непереходных глаголов все возвратные (а таких мы нашли по формуле «ТЬСЯ_» 13 042), то окажется, что в русском непереходные / возвратные глаголы встречаются в 1,2 раза чаще, чем переходные, что полностью соответствует данным языковой типологии. Следует подчеркнуть, что во всех случаях речь идёт о значениях глаголов, а не о самих глаголах. Если же подсчитывать не значения, а сами глаголы, то, по данным Е.И. Листуновой, в русском словарном запасе можно найти 8 000 единиц с формантом *-ся* (Листунова, 1998).

Таким образом, общее количество переходных глаголов в синтетических языках уступает тому же показателю в аналитических языках. В древнерусском категория переходности была ещё менее выразительной, это же касается и зависящей от неё категории залога (Букатевич и др., 1974, с. 188). Итальянский в данном случае оказался на стороне русского из-за многочисленности возвратных глаголов, также являющихся непереходными. Объясняется это относительной сохранностью флексий у итальянских глаголов вопреки аналитизации. Ещё ближе к русскому оказался немецкий. Причина склонности синтетических языков к непереходным глаголам заключается в их консервативности: вспомним, что для активных языков «семантической детерминантой является не столько противопоставление субъектного и объектного начал, как это в какой-то мере имеет место в представителях эргативного [строения – Е.З.], и в ещё большей мере – номинативного, сколько противопоставление активного и инактивного» (Климов, 1977, с. 78).

История **французского** во многом дублирует уже сказанное об английском языке: в древнефранцузском обилие флексий позволяло опускать подлежащее (включая формальное подлежащее “*il*” в безличных предложениях) и более свободно переставлять члены предложения; в процессе аналитизации эти свойства были утрачены, а местоимение “*il*” превратилось, как отмечает И. Горцонд, в подобие морфемы, дополнительно маркирующей 3 л. ед. ч., так как форма глагола этого делать больше не в состоянии (Gorzond, 1984, S. 2, 68–69). Множество примеров безличных конструкций в романских языках можно найти в книге И. Горцонд «Лингвистика безличных выражений», там же приведен полный список таких конструкций во французском языке (Gorzond, 1984, S. 125–130). Краткий обзор имперсонала в древнефранцузском приводится у М. Огуры (Ogura, 1986, p. 33–34). Следует отметить, что разница между современными романскими языками частично обусловлена влиянием иберийского и кельтского субстратов (Veenker, 1967, S. 5). Аналитизацию французского Л. Тодд объясняет его креолизацией (Todd, 1990, p. 86; ср. Mühlhäusler, 1986, p. 34; Hinrichs, 2004 a, S. 240).

В.Н. Мильцин считает выражением «активизма» французов многочисленность устойчивых выражений с глаголом «делать»: «Во французском языке чрезвычайно употребительны выражения/словосочетания с глаголом *faire*/делать. Это наиболее "деятельностный" глагол французского языка, ко-

торый репрезентирует также "деятельностный" французский менталитет. [...] И так, с одним только глаголом "faire" французы совершают не менее 80 дел, начиная от кухни и кончая... тротуаром» (Мильцин, 2002, с. 47). При этом не упоминается, что французский, будучи аналитическим языком, менее склонен к аффиксации, чем языки синтетические, и потому вынужден компенсировать этот «недостаток» (точнее, эту особенность) другими средствами, в том числе многозначностью уже имеющегося в наличии языкового материала¹.

По той же причине множеством значений и сочетаний обросли и некоторые английские глаголы, входящие в состав аналитических лексем, то есть устойчивых сочетаний с малой степенью идиоматичности: *to keep silent, to get rich, to take a look, to do carpentry, to come down, to turn up*, ср. рус. *иметь место, находить применение* (Зеленецкий, 2004, с. 183; ср. Hinrichs, 2004 b, S. 22). Данная особенность аналитического строя отражена в следующей универсалии: "Other things being equal, the more analytic a language is, the more regular is its phraseological system" ("The Universals Archive", 2007), то есть постоянно используются одни и те же глаголы. П. Зимунд напрямую связывает активное использование глагола "to make" («делать») в английском для образования устойчивых выражений типа *to make a guess* (дословно: *делать догадку*) с аналитической структурой данного языка (Siemund, 2004, S. 171), И. Мельчук аналогичным образом объясняет распространённость "faire" («делать») во французском, сравнивая соответствующие выражения с относительно редкими в русском выражениями типа *принимать решение* вместо *решать* (Weiss, 2004, S. 263). С помощью глагола «делать» во французском строятся и некоторые безличные конструкции: *faire bien, faire bon, faire douleur, faire dommage, faire beau, faire chaud, faire froid, faire vent* (Gorzond, 1984, S. 126, 130).

Б. Бауэр объясняет распространение безличных конструкций с глаголами «делать», «иметь» и «давать» в некоторых индоевропейских языках (латыни, португальском, испанском, итальянском, французском) переходом от активного строя к номинативному и, соответственно, появлением транзитивных

¹ То же касается английского, в котором слабая развитость словообразования привела к многочисленности омонимов: «Английский, наряду с другими аналитическими языками (китайский, японский и др.), конечно, держит рекорд неоднозначности...» (Мирам, 1999, с. 23). «С. Ульман ставит слабое развитие словообразования по сравнению с развитием многозначности в зависимость от строя языка: аналитические языки (например, английский) компенсируют сравнительно слабое развитие системы словообразовательных средств более развитой многозначностью и омонимией» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 173, ср. 193–194). «Тезис о большем по сравнению с русским языком развитии полисемии в западных языках обусловлен большим аналитизмом последних. То же относится и к развитию омонимии» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 197; ср. Швачко и др., 1977, с. 61; Strong, 1891, p. 48). «Многозначность – свойство большинства слов самых разнообразных языков – получила в английской лексике даже большее развитие, чем в русской, вследствие обилия в ней односложных корневых слов. [...] Подсчитано, что общее число значений, зафиксированных "Большим Оксфордским словарём" для тысячи наиболее употребительных английских слов, достигает почти 25 000» (И.В. Арнольд, цит. по: Швачко и др., 1977, с. 50).

глаголов (Bauer, 1999, p. 595). Глагол «делать» во французских безличных конструкциях она считает вспомогательным (Bauer, 2000, p. 126, 148).

П. Мюльхойзлер пишет, что использование схемы «*делать* + существительное» является типичным для пиджинов, что компенсирует недостаток глаголов с помощью аналитических средств: т.-п. *tekim hos* (*делать лошадь* = *седлать лошадь*), *tekim krismas* (*делать Рождество* = *праздновать*), *tekim rera* (*делать бумагу* = *писать, подписывать*), *tekim tap* (*делать мужчину* = *выходить замуж*), *tekim siga* (*делать сигару* = *курить*) и т.д.; хири моту *lau-lau karaia* (*делать фото* = *фотографировать*), *dirua karaia* (*делать помощь* = *помогать*), *hera karaia* (*делать украшение* = *украшать*) и т.д. (Mühlhäusler, 1986, p. 173).

Г. Юнграйтмайр при описании аналитического строя африканских языков сообщает о распространённости в них устойчивых выражений с глаголом «делать», например, хауса *yí bárcíi* (*делать сон* = *спать*), *yí daa-ríyáa* (*делать смех* = *смеяться*), *yí tsamánii* (*делать мысль* = *думать*) (Jungraithmayr, 2004, S. 476).

Таким образом, интенсивное употребление глагола «делать» во французском является типичным следствием аналитизма и номинативизации, наблюдаемым и в других языках того же строя; никакого отношения к «активизму» оно не имеет. Похожим образом можно объяснить, например, склонность носителей аналитических языков к употреблению очень общих в своём значении существительных типа «вещь», входящих в состав аналитических композитов и употребляющихся отдельно для заполнения пустот при жёстком порядке слов. Так, в наших корпусах русской художественной литературы слово «вещь» во всех формах встретилось в среднем 3 824 раза, в переводах с английского – 4 071 раз (данные по мегакорпусу: в русских корпусах в среднем – 15 563, в переводах с английского – 20 414). Если среди наиболее употребительных лексем английского языка слово “thing” («вещь») занимает 115-е место, то в аналогичном списке русских лексем слово «вещь» занимает 515-е (см. приложение 4). Никакой особой любви к объектам, никакого «вещизма» англичан данная особенность аналитического строя не выражает.

А. фон Зеефранц-Монтаг отмечает, что безличные конструкции встречаются во всех языках индоевропейского происхождения (von See Franz-Montag, 1983, S. 42; ср. Hirt, 1937. Bd. 7, S. 9), в её книге «Синтаксические функции и изменение порядка слов» приводится множество примеров таких конструкций. Ещё один список безличных конструкций можно найти в книге «Синтаксис простого предложения в индоевропейском» К. Бругмана (Brugmann, 1925, S. 26–41).

10.3. Неиндоевропейские языки

Рассмотрим несколько примеров из языков совершенно других типов и другого происхождения.

Особенно ярко выражена безличность в японском. П. Хартман пишет по этому поводу: «В то время как индоевропейское глагольное выражение не может обойтись без того, чтобы соединить само действие с субъектом (даже на мысленном уровне), в японском языке действия рассматриваются и выражаются как происходящие "сами по себе"... Поэтому субъект в японском может не выражаться вообще, что обычно и происходит, а понимание "объекта" в значительной мере отличается от того, как его интерпретируют в индоевропейских языках» (цит. по: Weisgerber, 1954, S. 139).

Автор приводит следующий пример: *Wa ga sakura wo miru* (Я вижу цветы вишни; дословно: *Моё цветы-вишни-видение*). Обращает на себя внимание употребление личных местоимений в форме генитива и значительная степень номинализации японских глаголов (сам Хартман сомневается, можно ли считать японские глаголы таковыми). Как и все глаголы, относящиеся к зрению, глагол «видеть» является в японском непереходным. На примере *Chiisai inu ga naku* (Маленькая собака лает; дословно: *Лай маленькой собаки*) Хартман демонстрирует, что в японском языке в центре высказывания стоит не агенс, не исполнитель действия, а сам процесс, акт или его результат, поэтому предикат «главенствует в предложении», где все остальные члены предложения лишь дополняют и описывают его (Weisgerber, 1954, S. 165). Э. Кассирер писал по этому поводу: «Японский глагол часто образует чисто экзистенциальное высказывание там, где мы в соответствии с нашим образом мысли ожидали бы предикативного высказывания. Вместо того чтобы выражать связь субъекта и предиката, подчеркивается наличие или отсутствие субъекта или предиката, его действительность или недействительность. Эта первая констатация бытия или не-бытия служит отправной точкой всех дальнейших характеристик предмета высказывания, активного или пассивного участия в действии и т.п. Наиболее четко это проявляется в выражении отрицания, где даже небытие понимается как некая субстанция» (Кассирер, 2001, с. 195).

Заметим, что столь «пассивный» языковой строй не помешал японцам сделать свою страну одной из ведущих держав мира, хотя каузальность в нём выражена ещё слабее, чем в русском, а «феноменологичность» (по терминологии А. Вежбицкой) – ещё сильнее.

Есть в японском и безличные конструкции с дативом: *Watasi ni (DAT) wa soo omow-are-ru* (Мне так кажется); *Eigo (DAT) ga wakaru* (Учителю понятен английский) и т.д. (von See Franz-Montag, 1983, S. 42, 46); *Fune-wa o:-kaze-ni (DAT) shiranai kuni-ni (DAT) fukiyoserareta* (Корабль прибило сильным штормом к неизвестной стране) (Green, 1980, p. 193); *Watashi wa samui / atsui / sabishii / ureshii* (Мне [*wa* – датив или же тема предложения] холодно

/ жарко / одиноко / приятно) (Wierzbicka, 1981, p. 48). Хотя японский является изолирующим языком, то есть не склонен применять флексии, в нём выделяют четыре падежа (номинатив, датив, генитив, аккумулятив), маркирующихся частицами (послелогоми). Приведём ещё несколько примеров конструкций, примерно соответствующих рус. *Даже если помирать, всё равно врать нельзя*: *Mi vo fatasu tomo itçivari vo ivanu mono gia* = *Even if one were to die, one should not tell a lie*; *Mono mo tabezu saqe mo nomaide ichinichi fataraqu mono ca?* = *Is it possible to work all day without eating anything or drinking any wine?*; *Xujin no maie de sono ióna coto vo iú mono ca?* = *Is it possible to speak this way in front of one's lord?* (Collado, 1975, p. 144–145). М. Шибатани классифицирует японские безличные конструкции следующим образом (Shibatani, 2001, p. 312–314):

- принадлежность: *Ken ni kodogoto ga san-nin iru* (*У Кена есть три ребёнка*, дословно: *Кену ребёнка три есть*); *Ken ni syakkin ga ooi* (*У Кена большой долг*, дословно: *Кену долг большой* (без глагола «быть»)); заметим, что таким же образом оформляются и экзистенциальные конструкции: *Kono kyoohitsu-ni denki dokei-ga arimasu* (*В классе есть электрические часы*, дословно: *Классу есть электрические часы*) (“Language Typology and Language Universals”, 2001, p. 941); одинаковое оформление конструкций существования и принадлежности является, как мы показали выше, одной из лингвистических универсалий;

- психологические состояния: *Mami ni Hatasensei ga osorosii* (*Мама боится профессора Хаты* (субъект в дативе)); *Mami ga Ken ga suki da* (*Мама нравится Кен* (двойной номинатив, также причисляющийся к нетипичным маркировкам субъекта));

- физические состояния: *Taroo ga atama ga itai* (*У Тароо болит голова*, дословно: *Тароо голова больно* (двойной номинатив)); *Mami ga asi ga tumetai* (*У Мама холодные ноги*, дословно: *Мама ноги холодные* (двойной номинатив));

- восприятие: *Ken ni Huzisan ga yoku mieri* (*Кену хорошо виден мистер Фуджи* (дативный субъект)); *Mami ni sono oto ga kikoena-katta* (*Мама не был слышен этот звук*);

- необходимость, желательность: *Vo-ki ni okane ga hituyoo da* (*Мне нужны деньги*, дословно: *Мне деньги необходимость есть* (дативный субъект)); *Vo-ki ni Ken ni ai hituyoo ga aru* (*Мне надо встретить Кена*, дословно: *Мне Кена встретить необходимость есть* (дативный субъект)); *Vo-ki ga kono hon ga hosii* (*Я хочу эту книгу* (двойной номинатив + прилагательное «желательный»)); *Vo-ki ga mizu ga nomitai* (*Я хочу пить воду* (двойной номинатив + прилагательное «жаждущий»));

- возможность, способность: *Ken ni eigo ga hanaseru* (дословно: *Кену может говорить на английском* (дативный субъект)); *Ken ni eigo ga wakaru* (*Кен понимает английский*, или *Кену понятен английский* (дативный субъект));

субъект)); *Ken ni eigo o hanasu koto ga kanoo da* (Кен может говорить на английском, или Кену возможно... (дательный субъект)).

Автор пишет, что конструкции таких типов чрезвычайно продуктивны (Shibatani, 2001, p. 314). Все приведённые случаи описывают скорее состояния, чем действия. Все типы конструкций соответствуют приведённому в первой главе списку универсальных категорий имперсонала. Заметим, что А.А. Холодович в докладе 1947 г. «К итогам обсуждения проблемы стадильности» отметил существование в японском пережитков эргативности, не вдаваясь, однако, в детали («Обсуждение проблемы стадильности в языкознании», 1947, с. 260). Другие авторы отмечали особую консервативность японского синтаксиса среди ностратических языков, не делая выводов об эргативности ностратического (Bomhard, Kerns, 1994, p. 176). Эта консервативность выражается, например, в многочисленности послелогов.

Б. Бауэр отмечает, что в японском «метеорологические» конструкции, имеющие безличные эквиваленты в индоевропейских языках, употребляются лично: *Yuki-ga futte imasu* (Снег падает, дословно: Снег [субъект] падать [наст. время]), ср. англ. *It's snowing* (Bauer, 2000, p. 94). По данным Й. Кашимы, субъект в японском опускается чаще, чем в английском, хотя на глаголе лицо не маркируется; автор видит в этом признак коллективизма японцев (Kashima, 2003, p. 126). Н. МакКоли обращает внимание на тот факт, что в японском, как в русском и древнеанглийском, безличные конструкции употребляются для маркировки субъектов с низкой степенью волитивности. Если в русском для этой цели используются «псевдовозвратные» глаголы типа «думаться», то в японском – «псевдопассивные» типа “omoidasu” («вспоминать»), “kookaisuru” («сожалеть»), “omou” («думать»), “utagau” («сомневаться»), “суиусуоугу” («колебаться», «сомневаться») (McCawley, 1976, p. 196). Обычно неволитивные субъекты опускаются, но глагол «казаться» является исключением: *Watasi wa soo omou* (Я (ном.) так думаю) – *Watasi ni wa soo omow-are-ru* (Мне (дат.) так думается / кажется); частица “wa” обозначает датив / локатив. В другой работе Н. МакКоли приводит ещё несколько примеров с дательными субъектами-экспериенцерами: *Anokoro ga boku ni-wa natukasii* (Я тоскую по тем дням, дословно: Мне тоскуются те дни); *Kimi niwa okusan ga hituyoо da* (Тебе нужна жена, дословно: Тебе жена нужна есть); *Sono ongaku ga boku ni-wa kokoroуokatta* (Музыка была мне приятна, дословно: Музыка мне приятна была) (McCawley, 1975, p. 323). В этих трёх примерах слова «дни», «жена» и «музыка» стоят в номинативе, что видно по частице “ga”.

Заметим, что обозначения «номинатив» и «датель» в случае японского довольно условны. Например, в приведённых выше примерах Хартмана также содержится обозначающая номинатив частица “ga”, но Хартман утверждает, что субъект следует переводить генитивно: не «Маленькая собака лает», а «Лай маленькой собаки». Объясняется это, очевидно, тем, что “ga” является маркером не номинатива, а субъекта (ср. Bauer, 2000, p. 94), и при

этом исторически является маркером посессивности, используемым по сей день для соединения существительных. “Wa” – это скорее маркер топика, а не датива, используемый в случаях, когда надо акцентировать не субъект, а действие или состояние. Есть, конечно, и другие точки зрения. Например, А. Бомхард и Дж. Кернс считают “-ga” и “-wa” частицами, выражающими номинатив (Bomhard, Kerns, 1994, p. 176). Примечательно, что некоторые учёные считают маркер агентивности доиндоевропейского языка -s (ставший со временем номинативом) производным от генитива (ср. Kortlandt, 1983, p. 308), то есть и здесь прослеживаются параллели.

В языке кламат (на нём говорит племя, живущее в Орегоне, в долине реки Кламат и в районе озера Кламат) глагол всегда выражается лишь в безличной или неопределённой форме типа русского инфинитива. Например, в высказывании «ты-ломать-палку» глагольное выражение означает ломку как таковую безотносительно к ее субъекту. Точно так же языки майя не знают переходных глаголов в нашем смысле: им известны лишь имена и абсолютные глаголы, обозначающие состояние бытия, свойство или деятельность, которые построены как сказуемые при личном местоимении или третьем лице как субъекте, но не могут принимать прямое дополнение. Слова, используемые для обозначения переходного действия, являются первичными или производными именами, соединяемыми с притяжательными суффиксами. Фраза *Твой убитый – мой отец* означает *Ты убил моего отца*, фраза *Твоё написанное – книга* означает *Ты написал книгу*. Глагольные выражения малайских языков также часто представляют собой подобные номинальные структуры; на этих языках говорят: *Мое зрение (было) звезда = Я видел звезду* и т.д., что примерно соответствует приведённым выше примерам из индоевропейского праязыка (Кассирер, 2001, с. 213).

Краткий обзор безличных конструкций в некоторых дравидийских, кавказских и семитских языках, суахили, японском, турецком и активных индейских языках можно найти у Б. Бауэр (Bauer, 2000, p. 135–145). Подробных обзоров по языкам мира, как уже отмечалось выше, не существует. Особенно похожими на индоевропейские Б. Бауэр считает безличные конструкции в кавказских и семитских языках, то есть в языках, бывших или и сейчас являющихся деноминативными (Bauer, 2000, p. 149). В «Архиве универсалий» университета Констанц приводятся некоторые данные по распространённости имперсонала, но, к сожалению, авторы не разграничивают альтернативное оформление субъекта от альтернативного оформления объекта и нестандартного использования залога: “Hierarchy of verb classes often using subject or object displacement*:

general psych-verbs > general emotion verbs > evaluation, WANT > verbs of authority, ruling. To the left are the more general and widely attested groups; those to the right are more specific and less frequently found. [...]

*1. DISPLACEMENT – distinctive treatment of a salient class, with departure from the dominant scheme. Distinctive treatment of verbal classes produces the three displacement patterns: subject displacement, object displacement, and voice displacement. For example, Slavic languages display a sizable set of psych-verbs with dative experiencers, e.g. Russian: *mne nraivitsja* (I like), *mne izvestno* (I know), *mne xolodno* (I am cold) (*mne* – 1Sg Dat). Finish shows the genitive in the analogous constructions. In Latin psych-verbs are set apart by voice displacement, i.e. there is a set of formally passive but active in meaning verbs, e.g. *fruor* (enjoy), *vereor* (fear), etc.

2. Some languages are more prone to use displacement than are others. Thus Uralic, Indo-European, and East Caucasian tolerate much more displacement than do West Caucasian, Basque, Paleosiberian, and apparently Turkic” (“The Universals Archive”, 2007).

Из этой универсалии следует, что русский окружён языками с наибольшими отклонениями в оформлении субъектов и объектов среди языков мира: кавказскими, тюркскими, уральскими. Это не могло не способствовать сохранению и развитию имперсонала.

Безличные конструкции широко распространены во многих языках мира, в том числе не имеющих с индоевропейскими практически ничего общего, потому приписывать некие культурологические характеристики выражению категории безличности именно в русском языке, игнорируя при этом остальные, некорректно. К сожалению, критика подобных этнолингвистических изысканий встречается слишком редко и остаётся незамеченной, но она существует, о чём свидетельствует следующая цитата: «...А. Вежбицкая видит в категории безличности некую "неконтролируемость" и "иррациональность" русского менталитета, которая, являясь следствием взгляда на мир как на совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому разумению, определяет "общую пациентивную ориентацию" русского синтаксиса.

Однако подобные умозаключения не представляются достаточно обоснованными лингвистически. Исследователи истории славянских, германских, угро-финских и других языков находят безличные конструкции и в этих языках в разные периоды их существования, что свидетельствует об общечеловеческих условиях и причинах возникновения данных конструкций» (Копров, 2002 б).

Как показывает следующая глава, профессор В.Ю. Копров не одинок в своём мнении.

Глава 11

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИМПЕРСОНАЛА И НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: ОПРОС ЛИНГВИСТОВ И КУЛЬТУРОЛОГОВ

В 2007–2008 гг. мы разослали несколько писем отечественным и зарубежным лингвистам и культурологам с просьбой высказать своё мнение о связи имперсонала (как и языка вообще) с категориями менталитета и особенностями национального характера. Ниже приводятся их ответы.

Культуролог из университета Бремен Г.Ч. Гусейнов ответил на наш запрос о связи языкового строя и культурного типа (или же особенностей национального характера) следующим образом: «Мне кажется, метод определения зависимости "национального характера" от "языкового строя" в том виде, в каком он предложен Анной Вежбицкой, не работает. [...] Поэтому короткий ответ на Ваш вопрос такой: связь между безличными конструкциями и нац. характером – это идеологическая конструкция в голове лингвиста» (получено по электронной почте в августе 2007 г.).

Кандидат филологических наук О.А. Мазнева (Высшая школа культурологии Московского государственного университета культуры и искусств) написала нам следующее: «Количество безличных конструкций в русском языке неуклонно растёт, что отмечают многие лингвисты. И здесь, мне думается, надо говорить о том, что эти конструкции дают возможность передавать в речи состояние человека, акцентировать внимание на том или ином состоянии (ср. *Мне весело / Я веселюсь*), с одной стороны. С другой стороны, конструкции *Ветром сорвало шляпу, Песком засыпало глаза* также смещают акцент с деятеля на действие и его результат. Всё это даёт языку неограниченные возможности в выражении чувств, результата, действия, но не имеет отношения к русскому менталитету» (получено по электронной почте в августе 2007 г.).

Польский лингвист А. Киклевич (The University of Warmia and Mazury) написал нам, что, по его мнению, «русские принципиально лишены фатализма» (получено по электронной почте в мае 2007 г.).

От кандидата культурологии Л.Е. Добрейциной (Уральский государственный университет) мы получили следующий комментарий (с оговоркой, что она не является специалистом по языкознанию): «Мне кажется, что связи здесь [между имперсоналом и национальным характером – Е.З.] нет и что распространенность в языке безличных конструкций связана скорее с историей языка, чем с мировоззренческими проблемами. И вообще, я немного боюсь делать обобщения по поводу менталитета, национальных предпочтений и тому подобного, это может увести очень далеко от историко-культурных реалий. Что касается фатализма, то его я бы ско-

рее увязывала с религиозной культурой нации, чем с языковой» (ответ был получен в августе 2007 г.).

Лингвист Й. Барддал из University of Bergen, на исследования которой мы неоднократно ссылались, написала нам, что сомневается в связи между языком (в том числе имперсоналом) и культурой; если же такая связь существует, то она скорее ретроспективного характера, то есть язык отражает какие-то давние тенденции развития национального менталитета, не обязательно имеющие параллели в современном менталитете его носителей. Одновременно она обращает внимание на активный строй индоевропейского праязыка: “I sincerely doubt that there can be such a direct link between language and culture... [...] I believe, however, that the impersonal construction reflects a construal of reality which may be more typical of earlier culture, and that such a construal is less agentive and more passive-like in the sense that the speaker/subject is construed as being more of an observer to which things happen, rather than being an agentive force him/herself. I know very little about the Russian national character, and it may very well be the case that the construal we are talking about may coincide better with the Russian national character than the Icelandic national character. In that case, and if the construal we are talking about is a layer from earlier culture, and I say if as it is not a given that it is, I guess that means that the Icelandic national character must have changed faster than the Russian national character. The other alternative is that the impersonal construal is and was an alternative construal found at least in West-Indo-European, without that particularly having reflected a specific less active culture. At the same time I believe, and I am working on a project with Thórhallur Eythórsson in Iceland on this, that Proto-Indo-European must have been some sort of a stative-active language, in particular because of the impersonal construction where the subject-like argument is not in the nominative case. Whether stative-active languages presuppose less active cultures is yet another question, which we have not considered so far” (ответ получен в сентябре 2007 г.).

Филолог, кандидат исторических наук Ф.В. Шелов-Коведяев прокомментировал тот же вопрос следующим образом: «1. Современная социология показывает, что западноевропейцы – бóльшие коллективисты, чем русские (в широком понимании этого слова).

2. Если у немцев есть старая поговорка (а поговорки – концентрат векового опыта народа), которая в переводе на русский звучит как “Иногда для того, чтобы сделать шаг вперёд, достаточно пинка в зад”, то она что, тоже говорит о генетическом безволии и пассивности немцев?!

3. Иррациональность и фатализм есть неизбежное следствие характера человеческой психики в целом, вытекающее из распределения ответственности между двумя полушариями мозга вида homo sapiens как такового, поэтому легковесные спекуляции на данную тему, касаются ли они русских или кого ещё, не имеют под собой никаких оснований.

4. Из сказанного выше ясно, что рассуждения постсоветских учёных [о связи имперсонала и особенностей менталитета – Е.З.] нельзя квалифицировать выше, чем салонное bla-bla-bla, не имеющее никакого касательства до научного знания.

5. Безличные конструкции действительно относятся к очень старому языковому пласту. Они широко представлены во всех древних языках, с которыми я имел дело... Между тем, духу активной состязательности (агона), пронизывающему всю греческую культуру, мир обязан и театром, и политикой, и спортом, и риторикой, и философией, и конкуренцией, и т.п. Об административной и юридической активности римлян, экономической и религиозной евреев и говорить не приходится. Кстати, если сравниваешь публицистику сорокалетней давности и современную, то легко убеждаешься, что экономическая отсталость Китая периода Мао и его бурный экономический рост теперь объясняются конъюнктурными авторами ровно одними и теми же чертами национального китайского характера!

6. Если говорить о безличных конструкциях в современных языках, то проблема заключается не в чьём-либо "фатализме" и прочей звонко обсуждаемой шелухе, а в различиях между, говоря языком лингвистики, синтетическими (такowymi изначально были все индоевропейские языки) и аналитическими (более молодыми) языками. Безличные конструкции трудно выразить в аналитических (французском, испанском, итальянском...) и очень просто – в синтетических, сохранивших свою древнюю структуру, языках (немецком – ср. *Es klingelt* и т.п., – славянских и т.д.). Поскольку доминирующий в современном мире английский язык имеет ярко выраженную аналитическую структуру, это и даёт пищу для поверхностных суждений разного рода верхоглядов.

7. Когда безличными конструкциями описываются природные явления, то это просто-напросто указывает на непреодолимую силу стихийных обстоятельств: по этому поводу есть огромная профессиональная языковедческая литература. А выражения вроде "мне думается" вообще являются не более чем модальными конструкциями: при их использовании человек оставляет за собой право изменить точку зрения, в правильности которой он не до конца уверен. Эта категория материала также хорошо и давно отработана в лингвистике. Валить в одну кучу разные по происхождению и содержанию языковые феномены по сугубо формальному признаку недопустимо. Это смехотворный дилетантизм.

8. Вопрос о соотношении языкового строя и культурного типа очень сложен и тонок, он обсуждается филологами и антропологами высокого класса уже более полутора столетия. Там, где мы можем констатировать взаимосвязи между ними, они не относятся к тем сюжетам, которые вызывают Ваше несогласие. Категорические же суждения на данную тему вовсе не оправдали себя и давно отринуты серьёзной наукой. Ваши оппоненты явно "слышали звон, да не знают, где он". По сути, они ориентируются на

шовинистические воззрения, которые были присущи некоторой части немецких лингвистов, историков и обществоведов сто и более лет тому назад в отношении, кстати, не русских, и вообще не восточных, но южных и западных славян: сербов, чехов и поляков, прежде всего.

9. Доминирование в русском характере таких черт, как иррациональность, фатализм, безволие и пассивный коллективизм само по себе ещё требует глубоких системных доказательств (хотя бы потому, что следовало бы объяснить, как при совокупности подобных качеств, которые должны были бы парализовать любое развитие, состоялась русская культура и имперская государственность, да и общественный и экономический ренессанс современной России после семи десятилетий тоталитаризма), которых я пока ни у кого не встречал. В отличие от ритуальных заклинаний (когда одно неизвестное, вопреки законам логики, доказывается через другое неизвестное: подобно нашумевшей в своё время фразе Ленина "учение Маркса всесильно, потому что оно верно") на данную тему, от которых самих веет обскурантизмом и верой в абсолютное предопределение, от которой уже давным-давно отказались даже богословы» (получено по электронной почте в сентябре 2007 г.).

Хотя мы не полностью разделяем приведённое мнение, более подробное его обсуждение здесь проводиться не будет.

Лингвист-типолог А.Л. Мальчуков (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) написал нам в феврале 2008 г., что «объяснение безличных конструкций культурными факторами напоминает принятое в XIX в. объяснение эргативности "пассивным характером" этноса; в современной лингвистике мало кто к этому относится всерьёз».

Один из известнейших индоевропеистов нашего времени Т.В. Гамкрелидзе прислал нам следующее сообщение (к сожалению, без каких-либо пояснений): «Хочу Вам сообщить, что я, разумеется, не согласен с точкой зрения некоторых российских ученых о связи безличных конструкций с "русским менталитетом" (со всеми вытекающими из этого последствиями)» (февраль 2008 г.).

Ответ доцента А.А. Градинаровой (Софийский университет) выглядит следующим образом: «Данные грамматической типологии, сравнительно-исторических, а также социологических исследований свидетельствуют о неправомерности интерпретации языковых форм исключительно посредством культурологических объяснений. Подобные толкования часто оказываются субъективными и бездоказательными.

Так, среди личных конструкций актива, доминирование которых в языке обычно служит свидетельством свободной воли, активности, рационализма носителей этого языка, немало таких построений, которые очень трудно отнести к доказательствам "выделенности индивида" (А. Вежбицкая), контролирующего события и мыслящего логично и рационально. В одном ряду с распространенными в литературе лингвокультурологически-

ми комментариями могло бы оказаться, например, утверждение, что надделение природных сил свойствами агенса представляет собой следы древних языческих верований, персонифицирующего природные стихии мифологического мышления. См. англ. *The wind shattered the window* (Ветер разбил окно); *The fire melted the metal* (Огонь расплавил металл); *In China, hail killed several people* (В Китае град погубил несколько человек) и т.п.

В том же духе использование безличных конструкций с нулевым "стихийным" подлежащим (Ø_{стихий} *Ветром разбило окно*) можно было бы объяснять философским осмыслением природных сил как элементов Космоса, управляемых чем-то вроде индийского Брахмана или шопенгауэровской Воли. Почему бы также не предположить, что за синтаксическим нулем скрывается не таинственная неизведанная сила, а Природа со своими вселенскими физическими законами?

Безусловная связь структурных форм языка с определенным способом концептуализации внешнего и внутреннего мира кажется мне менее прямолинейной и более сложной, чем она предстает в некоторых лингвокультурологических изысканиях. Кроме того, этимологически реальная, такая связь на протяжении веков может быть полностью утрачена. Беспристрастный исследователь не станет серьезно утверждать, что усвоение ребенком конструкций типа *Здесь хорошо работается; Нельзя курить на голодный желудок; В комнате убрано; Ни пройти ни проехать; Закусить бы; Обедать, пожалуйста* и т.п. делает из него пассивного, смиренного перед судьбой индивида с иррациональным мировосприятием, а не просто позволяет ему экономным способом выражать референциальный статус субъекта и модальные или экспрессивные смыслы.

Русский язык со своим синтетическим строем и свободным порядком слов обладает огромными возможностями передачи многообразия и сложности мира, выражения многочисленных нюансов модальных и оценочных значений. Безличные структуры являются значимой частью богатого русского языкового инструментария» (получено по электронной почте в феврале 2008 г.).

Ведущий мировой специалист по пассивным конструкциям А. Siewierska написала нам по поводу взаимосвязи языка (особенно имперсонала) и культуры следующее: "In relation to your question whether the use of impersonals has something to do with the "passivity" of the culture, I would think not. It is tempting to make generalizations about culture, as Wierzbicka does, but these generalizations seem to me to be very Eurocentric. First of all one would have to define "passivity" and then try and examine it globally. But to give just one example, among the languages of Australia there do not appear to be terribly many either passive or impersonal constructions, at least in comparison to Slavic. Yet the people have also been characterized as passive as animistic etc. So...

The relation between language and culture is of course an interesting question and one which we constantly return to. It is definitely worth examining but difficult to do so in a scientific way”.

Относительно взаимосвязи пассива и имперсонала она сообщает, что какие-либо обобщения делать рано, так как имперсонал ещё слишком мало исследован. Уже установлено, что пассив встречается примерно в 40 % языков мира; уже ясно, что существует взаимосвязь между пассивом, имперсоналом и другими видами конструкций (поэтому в английском из-за малочисленности безличных конструкций часто используют неопределённо-личные с местоимениями “they” и “one”), но дальнейшие взаимосвязи ещё требуют более подробных исследований: “Whether all the languages that don’t have passives use impersonal constructions often is far from clear. Impersonal constructions have not yet been investigated thoroughly on a cross-linguistic basis. I am trying to do so now. However, the literature is very incomplete and most of our data on these constructions come from European languages” (получено по электронной почте в январе 2008 г.).

Один из самых известных типологов мира М. Хаспельмат, чьи работы уже многократно цитировались в этой книге, написал нам следующее: “Es mag sein, dass es neuerdings einige Leute gibt, die sich wieder für Völkerpsychologie interessieren, und z.B. Anna Wierzbicka hat auf diesem Gebiet einiges Interessantes geschrieben, aber nach meiner Wahrnehmung ist die Auffassung, dass solche grammatischen Unterschiede zwischen den Sprachen nichts mit kulturellen Unterschieden zu tun haben, in der Linguistik klar überwiegend. Ich glaube prinzipiell, dass es möglich ist, dass kulturelle Unterschiede sich in der Grammatik widerspiegeln, aber im Fall der unpersönlichen Konstruktionen halte ich das für äußerst unwahrscheinlich” (получено по электронной почте в феврале 2007 г.).

Перевод: «Может быть, вновь появились люди, интересующиеся психологией народов (например, Анна Вежбицкая написала кое-что интересное по этому поводу), но, как мне кажется, точка зрения, согласно которой подобные грамматические различия между языками [отсутствие или наличие имперсонала – Е.З.] не имеют ничего общего с культурными различиями, явно доминирует в лингвистике. И хотя я в принципе считаю возможным отражение культурных различий в грамматике, в случае безличных конструкций оно представляется мне чрезвычайно маловероятным».

Ниже он добавляет, однако, что корреляция между синтетизмом и безличными конструкциями также требует подтверждения.

Индоевропеист профессор Н. Еттингер (университет Эрланген-Нюрнберг) посвятил много времени обсуждению с автором этой книги основных её положений, касающихся типологии индоевропейского языка (февраль 2008 г.). Специалистов, посвятивших несколько десятков лет жизни изучению праязыка и достигших в этом мировой известности, сей-

час очень мало, поэтому мнение профессора Н. Еттингера особенно важно для нашей работы.

Безличные конструкции в форме 3 л. ед. ч. ср. р. он считает реликтами стативных глаголов, хотя указывает на то, что из-за огромного временного разрыва между современными языками и реконструируемой стадией их общего предка не имеет смысла искать точных соответствий в морфологии. Он не разделяет упоминавшуюся выше точку зрения, что датив и аккузатив могли произойти из одного падежа. По его мнению, более вероятно происхождение датива из общей стадии с локативом или каким-то падежом направления. Еттингер подтвердил нам, что в индоевропейском восстанавливаются некоторые характеристики деноминативного строя, а в хеттском языке есть достаточно чёткие признаки эргативности, но однозначных выводов о деноминативности праязыка из этого он не делает, так как пока остаётся слишком много открытых вопросов (например, о происхождении флексии «активного» падежа *-s*, эргативности контактировавших с хеттским языков). Тем не менее, в индоевропейском языке субстантивы действительно делились на одушевлённые / неодушевлённые или активные / инактивные (это хорошо отразилось в хеттском, где вместо мужского и женского рода есть только общий), принадлежность действительно выражалась глаголом «быть», сам этот глагол, будучи связкой, мог опускаться; формы местоимений 3 л. действительно возникли позже остальных, доминирующим порядком слов был SOV, вместо пассива использовался медий, глаголы стативного спряжения могли частично сохраниться в современном пассиве, вместо времён использовалась категория вида, безличные конструкции употреблялись значительно чаще, субъекты с неодушевлёнными денотатами в роли подлежащего получали специальные маркеры (выше мы уже говорили об этом на примере хетт. «вода»), причём по одной из теорий в самом раннем задокументированном языке – хеттском – такой маркер мог быть обозначением творительного падежа (хотя есть и другие объяснения), ср. рус. *Жука смыло водой*; в индоевропейском действительно присутствовали «аффективные конструкции» типа рус. *Ему страшно*, прилагательных было относительно мало, причём они произошли преимущественно от существительных; инфинитивов ещё не было, ранний предок индоевропейского наверняка обладал высокой степенью глагольности (как это и должно быть в активных языках), а не номинальности. Все эти характеристики уже перечислялись выше.

Конструкции типа *Жука смыло водой* были широко распространены в древних индоевропейских языках, хотя в одних вместо инструменталиса мог использоваться датив (греч.), в других – аблатив (лат.), но в любом случае речь идёт о «наследниках» творительного падежа в тех языках, где он исчез или сменил свои функции. Еттингер также обратил внимание на то, что индоевропейский язык контактировал с эргативным субстратом,

родственным баскскому¹. Особенно это касается кельтских языков (возможно, именно здесь следует искать объяснение чертам деноминативности в среднеуэльском, о которых говорилось выше). Эргативность индоиранских языков представляется ему не первичной, а развившейся уже после распада индоевропейского под влиянием соседних языков. На ранней стадии развития индоевропейский был языком аналитического строя, флексии развились из-за слияния существительных и глаголов с постпозициями и частицами. Таким образом, хотя Н. Еттингер и не подтвердил однозначно деноминативность индоевропейского, он согласился с тем, что данный язык обладает практически всеми основными характеристиками, приписываемыми обычно активному строю. Причиной аналитизации индоевропейских языков он считает языковое смешение. Наличие некоторых черт активного строя в русском заключается в постоянных контактах с языками русского севера и «консервации» особенностей индоевропейского праязыка благодаря относительной изоляции от Западной Европы. Определённую роль в сохранении синтетического строя могло сыграть то обстоятельство, что в русском относительно слабо выражены диалекты, то есть нет постоянного трения похожих, но не совсем понятных вариантов одного языка с разными системами флексий. Расширение сферы употребления безличных конструкций в украинском он считает следствием влияния русского языка, так как никаких явных контактов с носителями деноминативных языков в данном случае не прослеживается. Тот факт, что Западная Украина, в которой проживает большинство носителей украинского, веками входила в состав Польши и других государств, но не России, он не считает существенным препятствием, поскольку в случае языкового влияния решающую роль раньше играли не политические, а географические факторы (например, разделённость народов горами).

Не должно складываться впечатления, будто все ответившие нам учёные поддержали наше мнение об отсутствии связи между национальным характером (менталитетом) и безличными конструкциями. Противоположные мнения (их было всего два) мы поместили в самом начале предисловия среди соответствующих отрывков из работ приверженцев теории А. Вежбицкой.

¹ Другой индоевропеист, Ф. Кортландт, обратил наше внимание на тот факт, что известный лингвист начала XX в. К.К. Уленбек считал баскский родственным эргативным языкам Кавказа (получено по электронной почте в феврале 2008 г.).

Глава 12

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ БЕЗЛИЧНОСТИ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Рассмотрим некоторые примеры культурологического анализа безличных конструкций в других языках. Как и следовало ожидать, обычно западные авторы не склонны видеть в родных языках отражение каких-то негативных характеристик менталитета своего народа. Например, один из выдающихся этнолингвистов XX в. Л. Вайсгербер на примерах *Es hat geschneit* (Шёл снег, дословно: Снежило); *Es hat sich ausgeschneit* (Выпал снег, дословно: Наснежило); *Es hat durch die Fenster hereingeschneit* (Через окна намело снега); *Es wird Abend* (Вечереет); *Es dämmt* (Смеркается); *Es ist so still* (Так тихо); *Es rauscht im Keller* ([Что-то] шумит в подвале); *Es klingelt* (Звенит); *Da draußen singt es* (Там снаружи поёт); *Es ist mir warm* (Мне тепло) и других (то есть на безличных конструкциях) показывает динамизм немецкого языка. Под динамизмом он понимает мировосприятие, концентрирующееся не на состояниях, а на процессах, что ведёт к особенно активному употреблению глаголов там, где в других языках достаточно существительного (Weisgerber, 1954, S. 221–225). Вспомним в связи с этим разделение типов мышления на предметное и обстоятельственное, по М. Дейчбейну (см. выше): английский Дейчбейн считал выражением предметного мышления, в чём видел преимущество английского народа, Вайсгербер же видит в немецком выражение обстоятельственного мышления, в чём видит преимущество немецкого народа.

Словенский языковед Ф. Миклошич считал замену личных предложений безличными достоинством языка (Галкина-Федорук, 1958, с. 57). Распространённость безличных и неопределённо-личных конструкций во французском по сравнению с некоторыми другими западными языками, не вызывает у европейских учёных ассоциаций с мифологичностью сознания, иррациональностью и фатализмом. Авторы, затрагивающие данную тему, ищут объяснение этому феномену в сфере социальной, а именно – в скромности и вежливости французов: «Неопределённость [имперсонала – Е.З.] выражает скромность, прямота – невежливость» (Havers, 1931, S. 186–187).

В Исландии популярна точка зрения, согласно которой широкое употребление датива и аккузатива в качестве падежа «реального субъекта» (то есть дополнения безличных предложений в русской терминологии; ср. *Мне кажется*) объясняется чисто декоративной функцией падежной системы (Thorbjörg Hróarsdóttir: “...the case-system has lost most of its real function; it might even be in the present day language for a decorative purpose only”) (Barðdal, 2001, p. 16). Дативные и аккузативные субъекты являются такими же подлежащими, как и номинативные, или, по крайней мере, близки к ним (Dixon, 1994, p. 121–122; Andrews, 2001, p. 93). Такой подход позволя-

ет избежать культурологических спекуляций на тему иррациональности и фатализма исландского менталитета. Склонность других германских языков к употреблению номинатива в тех случаях, когда в исландском используется датив, генитив или аккузатив, исландские авторы называют «номинативной болезнью» (Barðdal, Eythórsson, 2003, p. 440), например: “...nominative sickness (NS) involves the replacement of accusative and dative themes by nominatives and is a morphosyntactic levelling of the case which marks the structural subject” (Vincent, Eythórsson, 2003). Исчезновение среднего залога (передаваемого в русском возвратными глаголами) Я. Grimm считал признаком «одичания языка», а его отсутствие – признаком языковой грубости (Grimm, 1898, S. 29). Таким образом, западные учёные не склонны искать в своих языках признаки каких-то негативных характеристик национального менталитета, которые находят в русском.

Общее впечатление от просмотра западной литературы по этнолингвистике заставляет задуматься над тем, где больше отражается менталитет русского народа – в самих безличных предложениях или в постсоветских работах с их описанием. Если западные авторы ищут повод похвалить свой народ, возвысить его над остальными и зачастую за счёт остальных, даже если их доводы будут околонучными и спекулятивными, то многие русские учёные ищут, скорее, повода для самобичевания. Определённая параллель усматривается только с немцами, которые после 1945 г. тоже часто прибегали, а отчасти и до сих пор прибегают к довольно жёсткой самокритике, охотно ссылаясь при этом на англо-американские источники¹.

Особенно сомнительны утверждения некоторых постсоветских авторов, будто «фаталистичный» и «иррациональный» русский язык оказывает негативное воздействие на русский менталитет, формирует его и воспроизводит вредные для цивилизационного развития структуры мировосприятия (см. цитату М.В. Захаровой в начале этой работы). Так, Н.Э. Гаджихмедов пишет, что «нельзя отрицать и того, что грамматический строй языка способен оказывать определённое влияние на наш менталитет и нашу языковую культуру. На это свойство языка указывал Ж. Вандриес, отмечая, что язык может даже изменять склад ума и направлять его. Особенно отчётливо это влияние прослеживается в процессе обучения русскому языку, когда имеешь возможность наблюдать, как, постигая через лексические и строевые особенности языка менталитет и культуру другого народа, ученики обретают дар смотреть на мир глазами русского, что не может не сказаться на их менталитете и социокультурных идеалах» (Гаджихмедов, 2004). При этом среди особенностей русского языка, влияющих на человека, автор указывает безличные конструкции: «Стремление не выразить субъект действия

¹ Ср. «Склонность к самокритике, идущей вплоть до самоотвращения и самопроклятий, является одним из основных немецких качеств. Ту непреклонность, с которой великие немцы (Гельдерин, Гёте, Ницше) выражали своё мнение о Германии, никак не сравнить с тем, что открыто говорят о своих странах французы, англичане и американцы» (Т. Манн, цит. по: Pfeiffer, 1993, S. 37).

формой именительного падежа в активной конструкции, не выразить субъект действия вообще, бессубъектные безличные односоставные предложения не просто составляют особую трудность при изучении русского языка в дагестанской аудитории – это черта менталитета русского человека, черта русского национального характера» (Гаджихмедов, 2004).

А.А. Мельникова выражает уверенность, что «в грамматических категориях может быть заложен определённый способ восприятия мира» (Мельникова, 2003, с. 111). Например, в свободном порядке слов русского языка она видит «укоренённое в бессознательном слое ощущение мира как образования без чётко проработанной и всеобъемлющей структуры» (Мельникова, 2003, с. 117). Автор считает, что в синтаксисе отразилось русское видение иррационального и непредсказуемого мира, в котором с человеком может случиться всё. В различном оформлении множественного числа она видит признак нелогичности русской грамматики (Мельникова, 2003, с. 125–126), игнорируя при этом не только сохранность флексий, но и остатки двойственного числа в русском языке; раньше оно существовало и в английском. Отсутствие артиклей она считает недостатком языка, усиливающим неопределённость картины мира (Мельникова, 2003, с. 127), хотя вместо артиклей в русском используются порядок слов и падежное оформление, о чём она не упоминает. Мельникова вообще приписывает русскому языку особенно обширную категорию неопределённости, выражающую феноменологическое мировоззрение (Мельникова, 2003, с. 130); этот аргумент мы рассмотрим в следующей главе. Наконец, Мельникова цитирует мысли А. Вежбицкой о русском имперсонале (Мельникова, 2003, с. 128–129). Приобретая русский язык в детстве, русский начинает видеть мир через систему координат своего языка, что склоняет его к нелогичным и неконструктивным действиям (Мельникова, 2003, с. 134). В частности, свободный порядок слов, по мнению А.А. Мельниковой, порождает пренебрежение к закону («русский правовой нигилизм»), а также способствует развитию пассивного отношения к жизни, лени, нелогичного мышления и эмоциональности (Мельникова, 2003, с. 135, 149, 152–153, 174).

В утверждениях такого рода угадывается идейное наследие Э. Сэпира и Б. Уорфа (теория «лингвистической относительности»), видевших взаимосвязь между мышлением человека, его представлениями о мире и его родным языком. Эта теория неоднократно проверялась во второй половине XX в., и результаты таких опытов обычно её не подтверждали: «В целом эксперименты не обнаружили зависимости результатов познавательных процессов от лексической и грамматической структуры языка. В лучшем случае в таких опытах можно было видеть подтверждение "слабого варианта" гипотезы Сэпира – Уорфа: "носителям одних языков легче говорить и думать об определённых вещах потому, что сам язык облегчает им эту задачу" [Д. Слобин, Дж. Грин – Е.З.]. Однако в других экспериментах даже такие зависимости не подтверждались» (Мечковская, 1998, с. 38). Современ-

менный американский исследователь С. Пинкер комментирует гипотезу Сэпира – Уорфа следующим образом: «Идея о том, что мышление есть то же самое, что язык, являет собой пример того, что может быть названо общепринятой нелепостью: утверждение, которое идёт вразрез со всяким здравым смыслом, но в истинность которого все верят, потому что где-то слышали что-то подобное и потому что оно выглядит исполненным глубокого смысла. [...] Нам всем знакомо чувство, когда в процессе произнесения или написания предложения мы останавливаемся и понимаем, что это не совсем то, что мы имели в виду. Чтобы это чувство возникло, должно существовать "то, что мы имели в виду", отличное от того, что мы говорили. Иногда бывает трудно вообще подобрать слова, чтобы выразить мысль. Когда мы слушаем или читаем, мы обычно помним суть, а не конкретные слова, так что должна существовать суть, которая не есть то же самое, что и набор слов. И если мысль зависит от слов, как могло бы появиться новое слово? Как мог бы выучить самое первое слово ребенок? Как мог бы быть возможен перевод с одного языка на другой? [...] ...научных доказательств того, что язык всецело властвует над образом мысли его носителей, не существует. [...] Никто не знает, как Уорф пришёл к своим странным выводам, но этому наверняка способствовали ограниченность и плохой анализ образцов речи хопи [индейский язык, на основе которого Уорф делал выводы о взаимосвязи языка и мышления – Е.З.] и его постоянная склонность к мистицизму» (Пинкер, 1999 б).

После описания некоторых опытов Пинкер приходит к выводу: «Как специалист по когнитивной науке, я могу утверждать, что... мысль не тождественна языку, а лингвистический детерминизм – всеобщее заблуждение» (там же). Пинкер приводит свидетельства, что больные моторной афазией вполне могут мыслить, подобно здоровым людям, вопреки деградации речи, и что глухонемые мыслят без знания какого-либо языка символов (жестов, например). Примечательно, что А.А. Мельникова, не соглашаясь с точкой зрения Пинкера на теорию Сэпира – Уорфа, всё же признаёт её доминирующей в современной лингвистике (Мельникова, 2003, с. 109–110). Интересное высказывание по поводу взаимосвязи языка и мышления можно найти у Г.А. Климова: «Некорректность гипотезы о логическом характере мышления носителей языков активной типологии не позволяет, в частности, присоединиться к мысли Ф. Маутнера, заметившего в своё время, что логика Аристотеля выглядела бы по-иному, если бы Аристотель говорил не на греческом, а на языке индейцев дакота. Это замечание, по существу предвосхищающее позднее сформулированную гипотезу Сэпира – Уорфа об интенсивнейшем воздействии языка на мышление, в настоящее время теряет под собой всякую почву. Напротив, имеются основания полагать, что в последнем случае Аристотелю было бы в некотором смысле легче прийти к построению своей логической системы, в виду того, что в языках активной типологии отсутствует связочный глагол,

с одной стороны, и морфологически маркированное дополнение, с другой» (Климов, 1977, с. 300).

Как полагает Климов, «мышление не может быть сковано спецификой языковой структуры» (Климов, 1977, с. 301). Он ссылается также на слова самого Сэпира, который в своё время категорично заявил, что историческое движение языка связано не с изменениями в передаваемом содержании, а лишь с изменением средств формального выражения (Климов, 1983, с. 151). Взгляды продолжателя дела Э. Сэпира и Б. Уорфа Л. Вайсгербера, по утверждению О.А. Радченко, и так критиковались в отечественной лингвистике чаще, чем работы какого-либо другого автора, а в конце 1970-х пережили «кризис доверия» и в ФРГ, то есть на родине этого учёного (Радченко, 1990, с. 444–445). Разбирая высказывания преимущественно западных авторов о неполноценности или отсталости народов, выразившейся на языковом уровне, Г.А. Климов даёт следующий комментарий: «Признавая существование в речевом мышлении говорящих определённого семантического стимула языкового типа, невозможно разделить восходящего ещё к концепции В. Вундта мнения современных представителей неогумбольдтианства, согласно которому за структурным своеобразием каждого типа стоит некоторый специфический способ мышления их носителей, и несостоятельность которого была очевидна уже для некоторых отечественных типологов 20–40-х годов...» (Климов, 1983, с. 114).

Об отсутствии жёсткой связи между языком и мышлением говорят и данные афазиологии. В 2005 г. в прессе появилось сообщение, согласно которому британским учёным удалось доказать, что афазия не мешает процессам мышления: («Афазия, нарушение работы мозга, приводящее к неспособности воспринимать устную и письменную речь, не мешает процессам мышления», 2005). Ещё в 1978 г. Г. Пойзер в работе об афазии “*Aphasie. Eine Einführung in die Patholinguistik*” говорил, что отсутствие связи между когнитивными процессами и речью предполагается многими афазиологами (Peuser, 1978, S. 111). Ф. Бенсон и А. Ардила отмечают в книге “*Aphasia. A Clinical Perspective*”, что предполагавшаяся многими филологами прямая связь между языком и мышлением не подтверждается клиническими опытами (Benson, Ardila, 1996, p. 8). В книге описываются случаи сохранения речи при отсутствии мышления (sic) и наоборот. Более того, при обсуждении вопроса умственных способностей больных афазией авторы отмечают, что с помощью специальных невербальных тестов по проверке интеллекта у некоторых афатиков было подтверждено совершенно нормальное мышление (Benson, Ardila, 1996, p. 338). Соответственно, больные афазией могут адекватно воспринимать внешний мир при разрушенной речи. Поэтому едва ли русский язык столь опасен для мышления его носителей, даже если мы предположим, что язык является «самым важным средством социализации и передачи культуры» (Bartens, 1996, S. 146). Основа человеческого мышления (или же его глубинная структура)

невербальна, а потому многочисленность или отсутствие безличных конструкций никак не влияет на отношение человека к жизни, его систему ценностей и/или его поведение.

К сожалению, типология языков уже не первый век является предметом околонучных спекуляций, заключающихся главным образом в возвеличивании собственной культуры и принижении остальных. В работах такого рода трудно найти какие-либо конкретные аргументы, факты, цифры и результаты эмпирических исследований; всё это подменяется демагогией и поверхностными аналогиями. Например, А. Фуллье приписывал французскому языку особую склонность к восприятию и передаче демократических, либеральных и республиканских идей, якобы выраженную в аналитическом строе (и это при том, что древнейшая из сохранившихся в мире демократий – исландская, чему ярко синтетический исландский язык, очевидно, не помешал). Крайне оригинальны и его взгляды на природу аналитичности: «Потребность в наречии, наиболее пригодном для общественных сношений, была одной из причин, сделавшей французский язык до такой степени аналитическим, а вследствие этого точным, что всякая фальшь слышна в нём, как на хорошо настроенном инструменте. Это – язык, на котором всего труднее плохо мыслить и хорошо писать. Француз выражает отдельными словами не только главные мысли, но и все второстепенные идеи, часто даже простые указания соотношений. Таким образом мысль развивается скорее в её логическом порядке, нежели следует настроению говорящего. Расположение слов определяется не личным чувством и не капризом воли, под влиянием которых могли бы выдвигаться вперед то одни, то другие слова, изменяя непрерывно перспективу картины: логика предписывает свои законы, запрещает обратную перестановку, отвергает даже составные слова и неологизмы, позволяющие писателю создавать свой собственный язык. В силу исключительной привилегии, французский язык один остался верен прямому логическому порядку, чужд смелых нововведений, вызываемых капризом чувства и страсти; он позволяет без сомнения маскировать это рациональное строение речи путём самых разнообразных оборотов и всех ресурсов стилистики, но он всегда требует, чтобы оно существовало: "Тщетно страсти волнуют нас и понуждают сообразоваться с ходом ощущений; французский синтаксис непоколебим". Можно было бы сказать, что французский язык образовался по законам элементарной геометрии, построенной на прямой линии, между тем как остальные языки складывались по формулам кривых и их бесконечных видоизменений» (Фуллье, 1899).

Ф. Кайнц считал аналитический строй признаком склонности к экономности, целеустремлённости и практичности соответствующего народа (Langenmayr, 1997, S. 325). Г.Д. Гачёв видел в строгом порядке слов языков аналитического строя выражение дисциплины в гражданском обществе и разделения труда между индивидами (Мильцин, 2002, с. 64). Совре-

менный немецкий лингвист Г. Юнграйтмайр склонен согласиться со следующим высказыванием английского лингвиста Е. Стетивэнта, сделанным ещё в 1917 г.: «Чёткому мышлению способствует относительно полный анализ мысли, и чем более аналитичен язык, тем полнее сможет носитель языка анализировать свои мысли» (Е.Н. Sturtevant, цит. по: Jungraitmayr, 2004, S. 483). В. Хаферс описывал системы флексий синтетических языков как «тормозящий балласт», характерный для диких народов. В «культурных языках» такие системы заменяют на более удобные, простые и унифицированные, поэтому малочисленность флексий, как он полагал, следует расценивать как символ прогресса (Havers, 1931, S. 170, 192; ср. Jespersen, 1894, p. 347–349). Заметим, что обычно на Западе тот или иной язык объявляли примитивным из-за его простоты¹ (отсюда общее название *kindergarten languages* (*детсадовские языки*) для креольских языков), в этом же случае Хаферс усмотрел признак примитивности в сложности (!) языков типа русского, то есть язык может быть проще английского или сложнее, но в любом случае его записывают в примитивные.

Датский англист О. Есперсен, как и многие другие, видел прогресс языка в его движении к аналитическим формам (Jespersen, 1894, p. 14; Гак, 2003), что, возможно, обусловлено чрезвычайной аналитичностью датского (ср. Гухман, 1973, с. 358). Развитость флективных форм он называл «не красотой, а уродством» языка (Jespersen, 1894, p. 14), так как флексии неэкономичны, нерегулярны (имеют множество исключений), трудно запоминаются взрослыми и детьми, требуют чрезмерных затрат энергии на кодирование грамматических категорий, мешают акцентированию отдельных элементов высказывания (*sic*), обладают чрезмерной конкретностью, могут мешать свободе и точности мысли, перегружают память (Jespersen, 1894, p. 18–26). Наконец, флексии мешают использованию пассива от глаголов с дативными и предложными дополнениями (Jespersen, 1894, p. 31), причём о компенсирующем этот «недостаток» имперсонале он ничего не говорит. Упрекая лингвиста Ф. Мюллера в том, что тот возвеличивает свой родной язык – относительно синтетический немецкий – за счёт контраста с «примитивным» аналитическим языком готтентотов (этническая общность на

¹ В «Энциклопедия языка и лингвистики» находим, например, следующее по поводу простоты пиджинов и креольских языков в западной лингвистике начала XX в.: «Обычным европейским объяснением простоты и особенно отсутствия широко развитой системы флексий были отражённая [в этих языках – Е.З.] примитивность, прирождённая умственная неполноценность и когнитивная неспособность местных жителей усвоить более сложные европейские языки» (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8203). Французский лингвист Л. Адам писал в 1883 г., что «креольские языки – это адаптация французского и английского к фонетической и грамматической ментальности... лингвистически низшей расы» (цит. по: Mühlhäusler, 1986, p. 26). Французский географ М. Бертран-Боканде писал в 1849 г. о гвинейском языке: «Ясно, что люди, выражающие свои мысли столь просто, не могут возвысить свой интеллект до гения европейского языка. При необходимости установления контакта с португальцами... они неизбежно лишали совершенства различные выражения..., приспособливая их к варварским формам языка полудиких народов» (цит. по: Дьячков, 1987, с. 19).

юге Африки), Есперсен по сути поступает так же, возвеличивая английский и прочие анализированные языки за счёт синтетических (Jespersen, 1894, p. 20–21). Есперсен критиковал также языки классного строя, обращая внимание на непрозрачность классов и «ненужные» повторения приставок, маркирующих классы (Jespersen, 1894, p. 40–53). На это можно возразить, что постоянные повторения артиклей и вспомогательных глаголов в английском кажутся представителям языков других типов не менее излишними. Многие западные учёные приписывали аналитическому строю особую логичность и эффективность использования языковых средств, от чего, однако, уже начали отказываться в последние десятилетия¹.

Примечательно, что авторы из среды этнолингвистов, воспевающие английский, французский и прочие анализированные европейские языки как воплощение различных достоинств их носителей (логичности, рационализма и т.д.), не переносят те же характеристики на китайский, хотя в среде лингвистов-типологов уже давно было подмечено, что процесс аналитизации наверняка типологически максимально приблизит современные европейские языки к языкам изолирующего строя типа китайского (ср. Тромбетти, 1950, с. 164; Иванов, 2004, с. 45; Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 8; Климов, 1983, с. 139–140; Hinrichs, 2004 b, S. 19; Naarmann, 2004, S. 71; Jespersen, 1894, p. 79). Сверханалитичный африкаанс уже сейчас начали относить к изолирующим языкам, как и некоторые креольские языки на индоевропейской основе, а сам английский – к переходной стадии основоизолирующе-агглютинативных языков (Панфилов, 2002; ср. Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 6; “Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8206). Именно в китайском все те мнимые достоинства, которые якобы отразились в английском, уже сейчас выражены в значительно большей мере, в том числе слабая развитость имперсонала. Более того, они же отразились и в самых «примитивных» из существующих языков, на которых говорят дикие племена Африки (бантоидные языки): в них также широко развита конверсия, преобладает изоляция, часто употребляется редупликация, слабо развита морфология и, соответственно, ярко выражены черты аналитизма. Речь идёт о языках нейтрального типа, то есть типа ещё более древнего, чем описанный выше активный (ср. Панфилов, 2002). Похожие характеристики можно встретить и в языках других африканских племён: так, в языках семьи ква слова часто односложны, глаголы формально редко отличаются от существительных, встречается множество омофонов, построение новых слов осуществляется чаще посредством словосложения, чем деривации (Hellinger, 1985, S. 145).

¹ Ср.: «Долго обсуждался вопрос, почему английский так сильно изменился, в то время как прочие германские языки, в том числе немецкий, до сих пор сохранили свои флексии, унаследованные ещё от общего протоязыка. Некоторые учёные утверждали, что этот процесс сделал [английский – Е.З.] язык более простым и эффективным и/или логичным, намекая, что языки типа немецкого сложны и неэффективны. Современные лингвисты преимущественно отрицают возможность классификации языков по признаку их эффективности, и у них на это имеются серьёзные основания. Каждый язык настолько сложен, что принимать во внимание только один параметр было бы упрощением» (Janson, 2002, p. 157).

Соответственно, для английского и подобных ему языков некоторыми типологами был введён термин «регрессивное развитие», обозначающий возвращение к первоначальной стадии путём анализации, ср. «Возможность регрессивного развития (в обратной последовательности типов) выражается в анализации и движении к нейтральному строю. По такому пути пошли профлективные ныне романские, голландский и некоторые другие германские, болгарский и македонский, иврит (все номинативные), агглютинативные армянские, новые индоиранские (номинативные и с чертами эргативности) и нейтральные изолирующие креольские, а также типологически сходные с ква языками датский, шведский, норвежский, английский и африкаанс» (Панфилов, 2002).

Носители синтетических языков также не всегда остаются объективными при описании языков аналитического строя. Например, И.И. Давыдов, автор «Опыта общесравнительной грамматики русского языка» (1854), охарактеризовал различия между аналитическими западными языками и синтетическим русским следующим образом: «Мы не имеем надобности в членах [= артиклях – Е.З.] при именах, иногда в местоимениях при глаголах, в предлогах в замену падежей, в глаголах вспомогательных, между тем как новые европейские языки слабы, вялы, растянуты оттого, что исполнены длинными вспомогательными предложениями, членами, подвержены необходимости употребления местоимений при глаголах. Сверх того, язык наш любит причастия, подобно греческому, и пользуется свободным словорасположением... Связь предложений, в других языках у глагола "есмь" состоящая, у нас по большей части опускается...» (Давыдов, 1854, с. 466).

Таким образом, автор перечислил практически все основные отличительные черты синтетических и аналитических языков, при этом зачислив признаки синтетизма в достоинства русского языка. В той же книге он доказывает, что русский благозвучнее английского и французского (Давыдов, 1854, с. 470), что иностранные слова «феномен», «факт», «цивилизация», «прогресс», «мораль», «кризис», «эффект», «концентрировать» и «концепция» «должны быть изгоняемы», так как введены без всякой надобности (Давыдов, 1854, с. 474), что синтетические языки (славянские, греческий, некоторые германские, латынь) совершеннее языков, где мало или нет окончаний (типа китайского) (Давыдов, 1854, с. 12), что «склонения, сходные с греческими и латинскими, придают языку гладкость и связность, такие достоинства, которые не могут быть там, где члены и предлоги, употребляемые в замену падежей, разрывают речь и вредят текучести слова» (Давыдов, 1854, с. 463) и т.д.

Когда в языкознании практически безраздельно доминировали немцы, вершиной развития провозглашались флективные языки типа немецкого, латыни и санскрита. Об этом, в частности, писал в начале XX в. Э. Сэпир: «В своём огромном большинстве лингвисты-теоретики говорили на языках одного и того же определённого типа, наиболее развитыми представителями которого были латинский и греческий, изучавшиеся ими в отроческие годы. Им ничего не стоило поддаться убеждению, что эти привычные им языки представляют собою "наивысшее" достижение в развитии человеческой речи и что

все прочие языковые типы не более, чем ступени на пути восхождения к этому избранному "флективному" типу. Всё, что согласовывалось с формальной моделью санскрита, греческого языка, латыни и немецкого, принималось как выражение "наивысшего" типа; всё же, что от неё отклонялось, встречалось неодобрительно, как тяжкое прегрешение или, в лучшем случае, рассматривалось как интересное отступление от формы» (цит. по: Кацнельсон, 1940, с. 64).

Соответственно, языки типа китайского объявлялись примитивными, а переход от синтетического строя к аналитическому приравнивался к деградации (Кацнельсон, 1940, с. 64–66). Так, А. Шлейхер, немецкий лингвист XIX в., считал аморфность, агглютинативность и флективность последовательными этапами развития языка, как можно видеть из его основного труда "Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen" (Рифтин, 1946, с. 19; Jespersen, 1894, р. 6–7, 115–121). Постепенно с развитием европейского национализма центр тяжести перемещался с древних языков на современные, причём на языки только тех держав, которые оказывали наибольшее влияние на мир: Англия, Франция, США, Германия (Mühlhäusler, 1986, р. 22). Теперь уже их языки объявлялись образцовыми, а все отклонения от них – неестественными и тормозящими развитие. Немецкий язык благодаря своему промежуточному статусу между синтетическими и аналитическими языками в XIX в. хвалили за синтетичность, а в XX в. – за аналитичность, противопоставляя его «примитивным» языкам противоположных типов.

Советский исследователь С.Д. Кацнельсон следующим образом критиковал языки аналитического строя: «С другой стороны, ошибочно мнение, будто нефлективная морфология отличается особой простотой и удобствами и будто она возвышается над морфологией флективного типа. Этот взгляд, распространённый в современной буржуазной лингвистике (последователи Есперсена), лишён всякого фактического основания и имеет своим единственным источником стремление лакейски угодливых буржуазных лингвистов "обосновать" империалистический тезис об "особых правах" малофлективного английского языка, как наиболее, мол, "технизированного" и "удобного" языка, на мировое распространение. Сторонники этой антинаучной, насквозь фальшивой точки зрения сознательно игнорируют или слепо не видят того, что строй языка с преобладанием в нём элементов нефлективной морфологии, основанной на использовании словопорядка, служебных слов и т.д., отнюдь не отличается простотой и последовательностью выражения грамматических значений. Строй языка с преобладанием в нём нефлективной морфологии распадается на многие частные морфологические области, – морфологию словопорядка, морфологию служебных слов, морфологию словосложения, морфологию интонации и ударения и т.д., пёстро переплетающихся между собой и представляющих весьма запутанное сочетание форм. Исследование синтаксиса в собственном смысле этого слова, рассмотрение грамматических категорий в их органической увязке с категориями мышления, является в таком языке часто более сложным делом, чем в языке с преобладанием флексии. Здесь обнаруживаются свои специфические трудности при переходе от морфологии к синтаксису. Не случайно грамматики языков с преобладани-

ем нефлективной техники (как, например, китайского или английского) разработаны в недостаточной степени» (Кацнельсон, 1949, с. 44–45).

Аргументы Кацнельсона, возможно, вполне отражают действительность, но способ аргументации, тон, которым преподносятся факты, едва ли вызовет доверие к автору у современного читателя. В заслугу русским авторам, в том числе Кацнельсону, можно, по крайней мере, поставить то, что они не пытались доказать неполноценность носителей аналитического строя. Более того, Кацнельсон критикует и авторов, возносящих синтетический строй (Кацнельсон, 1949, с. 43–44). После подробного рассмотрения данной темы он приходит к выводу, что «рассуждения буржуазных лингвистов о превосходстве одного морфологического строя над другим и их стремление по чисто формальным основаниям возвеличить один язык за счёт других смехотворны и вздорны...» (Кацнельсон, 1949, с. 46).

Г.А. Климов в книге по истории типологических исследований пишет о преемственности между русскими учёными XIX в. и советскими учёными в плане весьма сдержанного отношения к представлению о якобы отражённом в морфологическом развитии языков прогрессе человеческого общества. Климов, например, приводит слова Н.Г. Чернышевского, который полагал, что морфологическая классификация языков, будучи основана на чисто формальных критериях, «имеет только техническое специальное значение» и «для истории народов... не представляет никакой действительной важности» (Климов, 1981, с. 16). Климов отмечает резко отрицательное отношение советских учёных к теории Есперсена о прогрессе языка, измеряющегося по элементам языковой техники (Климов, 1981, с. 29). Основной причиной аналитизации советские учёные считали интенсивность языковых контактов. Климов приводит, например, следующую цитату того же Кацнельсона: «...для победы аналитического строя необходимо стечение обстоятельств более или менее случайное для истории языка в целом. Если в силу определённых конкретно-исторических причин обстоятельства этого рода в большей мере сопутствовали, скажем, истории английского и персидского языков и в меньшей мере – русского и немецкого, то можно ли видеть в этом проявление внутренних закономерностей развития языка и превращать результат воздействия таких причин на формальный строй в общее мерило прогресса?» (цит. по: Климов, 1981, с. 31). По мнению А.В. Десницкой, «индоевропейский флективный строй... представляет собой вовсе не закономерный этап по пути морфологического "прогресса", а результат конкретно-исторических условий языковых смещений, обусловивших пестроту грамматических показателей, а также их фонетическую редуцированность, соединяющуюся с утратой, затемнением их некогда самостоятельного лексико-грамматического значения» (цит. по: Климов, 1981, с. 31).

Климов обращает внимание на одно обстоятельство, заслуживающее особого внимания в рамках этой книги. Он отмечает, что решающую роль в развитии теории эргативного и активного строя, как и в преодолении теории о пассивности эргативного строя, сыграл отказ от европоцентризма в 1920-е гг. Благодаря тому, что советские учёные перестали описывать эргативные языки по

лекалам своих западных коллег, именно в СССР теория эргативности продвинулась значительно дальше, чем на Западе (Климов, 1981, с. 25–26, 47–48). Если в работах по другим направлениям лингвистики опыт российских и советских учёных обычно игнорируется, то именно в трудах по деноминативному строю, изданных в последние десятилетия за рубежом, нередко можно найти ссылки на Климова и других советских типологов.

Аналогично складывалась ситуация с изучением ностратических языков. Под давлением американских лингвистов на Западе вплоть до 1990-х гг. данная тема считалась антинаучной, ею занимались только советские учёные (Bomhard, Kerns, 1994, p. 1). Сейчас же не выходит ни одного издания по ностратическим языкам, не цитирующего труды А.Б. Долгопольского и В.М. Иллич-Свитыча. К. Ренфрю, например, сетует в предисловии к одной из книг Долгопольского, что значительная часть работ по ностратическим языкам доступна только на русском языке (Dolgopolsky, 1998, p. VII). 1990-е гг. в России, напротив, ознаменовались возвращением к самому радикальному европоцентризму (помноженному на «америкоцентризм») и забвением трудов советских учёных. Иначе нельзя объяснить, почему в многочисленных работах по связи имперсонала с категориями национального менталитета обычно ни слова не говорится о языковой типологии и деноминативном строе индоевропейского праязыка, почему серьёзное исследование исторических и типологических факторов подменяется поверхностными сравнениями и неизменными ссылками на один и тот же источник (работы А. Вежбицкой). Характерно, что ни один другой западный учёный не разделил, насколько нам известно, её мнения, так что её работы уже не одно десятилетие стоят особняком и не вписываются в общий контекст научных исследований по данному вопросу.

Склонность русских учёных именно к работам Вежбицкой и полное игнорирование работ, скажем, У. Лемана можно в какой-то мере объяснить тем, что несколько книг Вежбицкой вышло на русском языке. Нельзя, однако, объяснить, почему были проигнорированы все остальные книги на ту же тему, в том числе таких знаменитых учёных, как Г.А. Климов, М.М. Гухман, С.Д. Кацнельсон, И.И. Мещанинов, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов. Более того, ни один из десятков авторов, пишущих о русской пациентивности и иррациональности, очевидно, не консультировался с сопоставительными грамматиками (по крайней мере, на них никто не ссылается), из которых можно было бы выяснить, например, что «пациентивность» русского имперсонала компенсируется «пациентивностью» английского и немецкого пассива. Никто не обратил внимание, что А. Вежбицкая для подтверждения своих тезисов о русском национальном характере зачастую ссылается на откровенно конъюнктурных авторов, писавших работы для американцев времён «холодной войны». Например, минимум в трёх книгах (“Understanding Cultures through their Key Words”, “Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction” и “Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture”) она приводит в библиографии путевые заметки Х. Смита “The Russians” (Smith, 1976), в которых картина жизни русских в СССР и русский национальный характер искажены прямо-таки гротескно. Минимум в двух

книгах (“Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture” и “Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals”) Вежбицкая ссылается на американского исследователя русского национального характера Дж. Горера, известного вульгаризаторским подходом в этнопсихологии. Например, ему принадлежит известная «теория», что русская покорность и склонность к авторитарности связаны с тем, что русских сильно пеленают в детстве, а краткие периоды активности русского народа объясняются тем, что младенцам позволяют лишь изредка двигаться (ср. Мельникова, 2003, с. 11–12).

Таким образом, уже третий век различия между аналитическими и синтетическими языками инструментализируются в некоторых околонучных теориях, доказывающих неполноценность того языкового типа, который противостоит типу родного языка их авторов. Если автор такой теории говорит на синтетическом языке, то неполноценным объявляется аналитический строй, если на аналитическом – то синтетический. 1991 г. в данном отношении является своеобразным Рубиконом для русской лингвистики, после перехода которого отечественные авторы вместо нейтрального рассмотрения фактов начали охотно перенимать аргументацию иностранных учёных, выискивая в русском исключительно негативные стороны, а в западных языках, соответственно, – исключительно позитивные. Это явление имеет параллели и в других науках, особенно в истории, культурологии и социологии. Вместе с западничеством политическим вернулось и западничество научной мысли, на которое сетовали и отечественные учёные дореволюционного периода¹, а отсюда – и некритическое восприятие импортируемых идей без серьёзной проверки их научной ценности.

¹ Ср. И.А. Бодуэн де Куртенэ, «О смешанном характере всех языков» (1900): «Известно, каким тормозом для развития самостоятельных и согласных с истиною взглядов на природу отдельных языков являлись и являются до сих пор почерпаемые из иностранных грамматик учения, даже на собственной почве уже устарелые и основанные на неточных наблюдениях и на смешении понятий. Как иногда "общественное мнение" данной науки в известной стране оскорбляется поведением людей, решающихся отделаться от ходячих мнений и взглянуть на предмет без предубеждений и предвзятых идей, доказывает пример, почерпнутый из истории русской грамматики. Тридцать пять лет тому назад Н.П. Некрасов в своем сочинении "О значении форм русского глагола" (СПб., 1865) сделал попытку отнестись самостоятельно к русскому глаголу; но его перекричали и накинулись на него с ожесточением. Как-де посмел он, будучи только русским, взглянуть собственными глазами на факты русского языка и видеть в нем то, что в нем действительно есть, а не то, что ему навязывается по шаблону средневековых латинских грамматик. Своеобразное "западничество", вызванное, конечно, опасением, что в случае принятия учения Некрасова придется пошевелить мозгами, а ведь "Denken ist schwer und gefährlich!" [нем. "Думать тяжело и опасно!" – Е.З.] Лучше убаюкивать себя повторением чужих мыслей, – лишь бы только не тревожить, лишь бы только не тревожить! [...] И именно поэтому я полагаю, что право научных открытий и обобщений не взято в аренду западноевропейскими учеными...» (Бодуэн де Куртенэ, 1963. Т. 1, с. 363).

Глава 13

РАЗБОР ДРУГИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ РУССКОЙ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ И ПАССИВНОСТИ

13.1. Пословицы и высокочастотная лексика

Одним из основных аргументов, которые обычно приводятся в совокупности с анализом безличных предложений, является активное употребление (и вообще существование) в русском языке слова «авось».

«Надо признать, что чуть ли не самой благодатной почвой для такого рода исследований оказались и русский язык, и русский дух (он же "загадочная русская душа"). В качестве объекта изучения просто напрашиваются русские словечки типа "авось" или "тоска" и "душа". А безличные конструкции вроде "убило молнией" или "задавило трамваем" – разве не пример фатализма русского народа?» (Бурас, 2003).

«Таким образом, русская частица *авось* подводит краткий итог теме, пронизывающей насквозь русский язык и русскую культуру, – теме судьбы, неконтролируемости событий, существованию в непознаваемом и не контролируемом рациональным сознанием мире. Если у нас всё хорошо, то это лишь потому, что нам просто повезло, а вовсе не потому, что мы овладели какими-то знаниями или умениями и подчинили себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема и неуправляема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на свои рациональные действия» (Вежбицкая, 1996; ср. Gladkova, 2005; Мельникова, 2003, с. 118).

Важность данного концепта А. Вежбицкая иллюстрирует пословицами *Авось, небось, да третий как-нибудь; Держись за авось, поколь не сорвалось; Авосьевы города не горожены, авоськины дети не рожены; Кто авосьничает, тот и постничает*. Уже по ним видно, что отношение к концепту *авось* в русской культуре отчасти отрицательное. Действительно, ряд пословиц, выражающих активное отношение к жизни и тщетность надежд на помощь Бога, судьбы и прочих высших сил, в русском языке достаточно велик: *Кто на авось сеет, тот редко веет; Бог-то Бог, да не будь и сам плох; Святой боже пахать не поможет; Надежда на Бога и в болезни не подмога; На Бога надейся, а сам не плошай; В судьбе, как и в борьбе, выигрывает смелый; Молилась Фёкла, да Бог не вставил стёкла; По теченью только дохлая рыба плывёт; Наудачу только яйца кладут (под наседку); Человек – не лошадь: не сдохнет, всё одолеет; Настоящий человек добудет хлеб из камня; В миру, что на ряду, – не говори, что не могу; Дела сами не ходят – водить их надо; Счастье не ищут, а делают; Смелым счастье помогает; На авось казак на коня садится, на авось его и конь бьет; Положил денежки на пенёк, авось целы будут; Авоська верёвку вьёт, небоська петлю накидывает; Держался авоська за небоську, да оба в яму упали; Тянул, тянул авоська, да и надорвался (или: да и животы порвал); Вывезет и авоська – да не знать куда; На ветер надеяться – без помолу быть; Аминем квашни не замесишь; Молитву*

твори, да муку клади!; Богу молись, а в делах не плошись!; Богу молись, а добра-ума держись!; Богу молись, а к берегу гребись!; Боже, поможи, а ты на боку не лежи!; Богу молись, а сам трудись!; С Богом начинай, а руками кончай!; На Бога уповай, а без дела не бывай!; Счастью не вовсе верь; На счастье не надейся!; Кто за счастье борется, к тому оно и клонится; Счастье не в воздухе вьётся, а руками берётся; Авось да небось до добра не доведут; От авось добра не жди; Авось да небось – плохая помога, хоть брось; На авось врага не одолеешь; Авось да небось на фронте брось; Авось – плут, обманет («Русские пословицы и поговорки», 1956; Даль, 2004; Попова, 2001).

Есть, конечно, и пословицы (или же присказки) с одобрительным отношением к надежде на случай или подчёркивающие склонность русских к вере в судьбу и случай, но их совсем мало: *На авось мужик и пашню пашет (и хлеб сеет); Русский на авось и взрос; Русский человек любит авось, небось да как-нибудь; Русский крепок на трёх сваях: авось, небось да как-нибудь; Авось не Бог, а полбога есть; Не во всякой туче гром; а и гром, да не грянет; а и грянет, да не по нас; а и по нас – авось опалит, не убьёт* (Даль, 2004).

После рассмотрения всех паремий, тематизирующих концепт *авось*, складывается впечатление, что отношение к нему преимущественно негативное, что отражено, прежде всего, в многочисленности предостережений от надежды на случай и порицании бездеятельности.

Вообще приведение пословиц на ту или иную тему представляется нам очень сомнительным способом доказательства особенностей национального менталитета. Например, не составляет труда найти множество английских пословиц, тематизирующих зависимость человека от судьбы или обстоятельств, чего, однако, не сделал ни один известный нам автор, сравнивавший «пассивных» русских и «активных» англичан. Некоторой убедительностью обладало бы исследование, показавшее бы, например, что у русских соотношение «фаталистичных» пословиц и пословиц, акцентирующих активное отношение к жизни, резко отличается от такого же соотношения у британцев и американцев, но подобные сравнения едва ли возможны, если учитывать, сколь редко представители этих двух наций прибегают к паремиям по сравнению с русскими (возможно, из-за нелюбви к авторитетам).

Мы приведём здесь несколько английских пословиц, в большей или меньшей степени отразивших «фаталистическое» мировоззрение, подчёркивая, однако, что столь же легко можно было бы найти и пословицы, тематизирующие необходимость противиться обстоятельствам и судьбе: *Better be born lucky than rich* (Лучше родиться удачливым, нежели богатым); *Circumstances alter cases* (Всё зависит от обстоятельств) (ср. *Наперёд не загадывай*); *Every bullet has its billet* (У каждой пули своё назначение) (ср. *У всякого своя планида; Чему быть, того не миновать*); *He dances well to whom fortune pipes* (Хорошо пляшет тот, кому судьба подыгрывает) (ср. *Кому счастье служит, тот ни о чём не тужит*); *He that is born to be hanged shall never be drowned* (Тот, кто родился, чтобы быть повешенным, никогда не утонет) (ср. *Чему быть, того не миновать*); *No flying from fate* (От судьбы не уйдёшь); *Nothing succeeds like success* (Ничто так не преуспевает, как сам

успех) (ср. *Кому поведётся, у того и петух несётся*); *Unfortunate man would be drowned in a teacup* (Неудачника можно утопить и в чашке) (ср. *На бедного Макара все шишки валяются*); *The leopard cannot change its spots* (Леопард не может перекраситься, то есть не может изменить свою натуру) (ср. *Горбатого могила исправит*); *It is the unexpected that always happens* (Всегда случается то, чего не ждешь); *Fortune is fickle* (Судьба переменчива); *Luck goes in cycles* (Удача время от времени повторяется); *If God had meant us to fly he'd have given us wings* (Если бы Бог хотел, чтобы мы летали, он бы дал нам крылья) (ср. *Рождённый ползать летать не сможет*); *What will be will be / What will be shall be / That shall be shall be / What must be, must be* (Что будет, то будет); *If a man is destined to drown, he will drown even in a spoonful of water* (Если человеку суждено утонуть, он утонет даже в столовой ложке воды); *Marriages are made in heaven* (Браки заключаются на небесах, то есть от человека не зависит, на ком он женится, это решает Бог); *Man proposes, God disposes* (Человек предполагает, а Бог располагает); *A man can do no more than he can* (Больше того, что можешь, не сделаешь) (ср. *Выше головы не прыгнешь*); *All men can't be first* (Не всем дано быть первыми); *All men can't be masters* (Не всем дано быть руководителями / стоять во главе); *As when a thing is shapen it shall be* (первоначально цитата из Чосера: *Как предначертано, так и будет*); *Fools have fortune / Fortune favors fools* (Дуракам везёт, то есть одним Бог даёт способности, чтобы справиться с жизненными обстоятельствами, а другим – удачу); *In vain it is to strive against the stream* (Бесполезно бороться с течением); *All will be as God wills* (Всё будет так, как хочет Бог).

Б. Витинг приводит устаревшие к XV в. английские пословицы в следующих разделах (причём каждое название раздела представляет собой перевод на современный английский древней пословицы): *Fortune / luck gives victory more often than does force* (Фортуна / удача даёт победу чаще, чем сила); *One's destiny was shaped before his shirt* (Судьба человека была предопределена до того, как он получил первую рубашку); *God may send a fortune to a poor squire as well as to a great lord* (Бог может послать удачу как великому лорду, так и бедному сквайру); *Hap what hap may* (Будь что будет, Чему быть, того не миновать); *Without good hap there may no wit suffice* (Без удачи может не хватить никакого ума); *Men work and Fortune judges* (Люди работают, а судьба судит); *They lack wisdom that do not dread Fortune* (Тем не хватает мудрости, кто не боится судьбы); *Happen what may, God's will be done* (Что бы ни случилось, всё по воле божьей); *One may not die but such death as God has ordained* (Нельзя умереть не той смертью, которую бы не предопределил Бог); *No man may refuse his fatal chance* (От судьбы не убежишь); *No man can know his fate* (Своей судьбы заранее не узнаешь); *Weird goes as it must* (Судьба такова, какой должна быть); *Weird is strongest* (Судьба сильнее всего); *Wedding and hanging are destiny* (Свадьба и повешение – это судьба); *He is rich to whom God will send weal* (Богат тот, кому Бог посылает богатство); *God sends fortune to fools* (Бог посылает удачу дуракам);

He thrives well that God loves (*Больше всего процветает тот, кого любит Бог*) (Whiting, 1968, p. 5, 124, 235–237, 264, 318, 381, 383, 635–636, 650).

Важность концепта «авось», на наш взгляд, значительно переоценивается культурологами. Об этом говорят следующие статистические данные. В наиболее современном частотном словаре С.А. Шарова частица «авось» занимает 9202-е место, то есть далеко за пределами ежедневного употребления (Шаров, 2001 б), в «Частотном словаре русского языка» Э. Штайнфельдт «авось» отсутствует (всего 2 500 лексем, причём автор упоминает, что первые 2 000 составляют до 80 % слов в среднем тексте) (Steinfeldt, 1969, S. 7). В нашем корпусе классической художественной литературы «авось» встречается 363 раза, в корпусе советской литературы – 148 раз, в корпусе постсоветской литературы – 140 раз (данные по мегакорпусу: русская классика – 1 521, советская литература – 723, постсоветская – 536).

Следует отметить, что отсутствие слова «авось» английские и американские авторы компенсируют более частым употреблением «иррациональных» лексем типа «повезло». Например, если ввести в поиск наиболее употребительные существительные, имеющие отношение к везению, то окажется, что они употребляются чаще в переводах с английского: слова «везение», «невезение», «удача», «неудача», «фортуна», «фарт», «случай» во всех формах встречаются в общей сложности 4 067 раз в русской классике, 3 527 – в советской литературе, 4 171 – в постсоветской, 4 324 – в первом корпусе переводов с английского и 4 657 – во втором (данные по мегакорпусу: по русским корпусам в среднем – 18 544, по переводам – 18 909). Следует добавить, что в русской классике слово «фортуна» изредка употреблялось в значении «капитал, благосостояние» (калька с западных языков). «Фаталистичная» фраза «будь что будет» встречается в среднем по русским корпусам (в мегакорпусе) 148 раз, в переводах с английского – 225 раз.

В.В. Колесов напрямую критикует интерпретацию А. Вежбицкой значения концепта *авось* в русской культуре: «Много спорят о русском междометии *авось*. Анна Вежбицка ссылкой на него пытается доказать "антирациональность" русского характера и его фатализм. На самом деле сложная форма *а-во-се* в толковании Владимира Даля ("может быть сбудется!") – всего лишь современное осознание старого слова. Исходя из смысла составных элементов предложения, можно думать, что исконный смысл его "а вот поглядим!", "пусть хоть так!" – словом, "авось хоть брось!", в современном изложении упрямое "а вот и сделаю!" – наперекор судьбе. [...] Не фатализм, а готовность мужественно идти на риск, а вместе с тем и осуждение тех, кто надеется на *у-дач-у*, не доверяя собственной *суд-ьбе*. То, что *случится*, не обязательно *случай-случайность*, которую получают как награду; "хорошо" или "плохо" зависит как раз от удачи. Сегодня словечко *авось* не часто используют, может быть, потому, что бесшабашная удаля поступков уже не в чести. [...] Предопределение – католическая и особенно протестантская проблема, говорит Бердяев, отказывая ей в существовании у русских...» (Колесов, 2004, с. 130).

Бесшабашная удаль, о которой говорит Колесов, возможно, отразилась и в выражении «была не была»: в русской классике оно встречается 18 раз, в советской литературе – 17, в постсоветской – 23, в первом и втором корпусе переводов – по 7 раз, то есть значительно реже (данные по мегакорпусу: досоветская литература – 79, советская – 141, постсоветская – 68, переводы с английского – 33). Слова «удаль» и «удалой», «бесшабашный» и «бесшабашность» во всех формах встретились в русской классике 523 раза, в советской литературе – 317 раз, в постсоветской – 116, в первом корпусе переводов – 89, во втором – 108 (данные по мегакорпусу: досоветская литература – 1 890, советская – 1 220, постсоветская – 624, переводы с английского – 365); то есть русский приближается по частоте данных лексических единиц к английскому.

Что бы ни значил раньше концепт «авось», как бы его не интерпретировали культурологи, едва ли имеет смысл искать в нём отражение современного менталитета россиян, поскольку, как отметил выше Колесов, само слово это исчезает из употребления. То же касается и прочих «фаталистичных» и «иррациональных» лексем, что станет темой второй части этого раздела.

Ниже мы рассмотрим статистические данные по частотности прочей фаталистической лексики в русской и переводной художественной литературе. 5 корпусов объёмом 16 140 000 словоформ, по которым мы производили свои подсчёты, были описаны выше, к ним мы добавили два корпуса переводов с английского, распределённых по векам, а именно произведения XIX и XX вв. Выборка произведений XIX в. состоит из произведений следующих авторов: Вашингтон Ирвинг, Гарриет Бичер-Стоу, Генри Дэвид Торо, Герман Мелвилл, Джордж Элиот, Льюис Кэрролл, Мэри Шелли, Натаниель Готорн, Оскар Уайлд, Роберт Луис Стивенсон, Уильям Мейкпис Теккерей, Чарльз Диккенс, Эмилия Бронте, Джордж Гордон Байрон, Эдгар Алан По, Эдвард Джордж Бульвер Литтон, Генри Лонгфелло, Герберт Уэллс, Майн Рид, Перси Биши Шелли, Сэмюэл Тейлор Кольридж, Шарлотта Бронте, Уолт Уитмен, Вальтер Скотт, Генри Джеймс, Марк Твен, Редьярд Киплинг, Томас Гарди. Во всех произведениях были удалены предисловия и комментарии, если они не принадлежали руке автора (то есть были написаны дореволюционными и советскими учёными и переводчиками). В корпус XX в. вошли произведения следующих англоязычных авторов: Абрахам Меррит, Джон Рональд Руэл Толкиен, Ивлин Во, Ларри Нивен, Питер Бигль, Ричард Бах, Роберт Джордан, Сомерсет Моэм, Сью Таунсенд, Сэмюэл Беккет, Теодор Драйзер, Теренс Хэнбери Уайт, Терри Гудкайнд, Томас Вулф, Уильям Фолкнер, Фрэнк Херберт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Хелен Филдинг, Чак Паланик, Чарльз Буковски, Шервуд Андерсон, Эдгар Л. Доктороу, Эллис Питерс, Энтони Берджесс, Эптон Синклер, Эрнест Хемингуэй. Здесь ни предисловий, ни коммента-

риев практически не было. Все тексты были взяты с Интернет-страницы <http://www.lib.ru> (Библиотека Максима Мошкова), каждый файл был тщательно проверен на предмет «кодировочных дыр», то есть отрезков текста, которые может видеть человек, но которые остаются невидимыми для поисковых программ из-за проблем с кодировкой. Объём корпусов также составил 16 140 000 словоформ каждый. Забегая вперёд, отметим, что мы не считаем частотность лексики серьёзным доказательством особенностей менталитета и приводим соответствующие данные только в качестве противовеса данным этнолингвистов-последователей А. Вежбицкой.

Как упоминалось выше, многие современные этнолингвисты видят в русских конструкциях с дативом выражение иррационального и пассивного отношения к жизни, когда человек является объектом судьбы, а не делает её. Английские номинативоподобные конструкции, напротив, расцениваются в качестве выражения рационализма и активного отношения к жизни. С этим, однако, трудно согласуется тот факт, что в английском глагол «случаться» употребляется чаще, чем в русском. Хотя англичанин больше не может сказать «Мне случилось» и, соответственно, пользуется номинативоподобной конструкцией «Я случился», это, очевидно, не отразилось на частоте употребления данного глагола. Так, лексема “to happen” занимает по частоте употребления в Британском Национальном Корпусе 295-е место (Kilgarriff, 1995), лексема «случаться» занимает в частотном словаре Шарова 1994-е место (Шаров, 2001 а), а в словаре Штайнфельдт – 2229-е место (Šteinfeldt, 1969); лексема «случиться» занимает у Шарова 487-е место, у Штайнфельдт – 583-е. Кроме того, наши корпусные исследования показывают, что в переводах с английского слова типа «повезло», «посчастливилось», то есть имеющие непосредственное отношение к иррациональному восприятию мира, встречаются чаще, чем в текстах русских авторов. Две глагольные формы («повезло» и «произошло») проверялись только в этом виде (чтобы отфильтровать предложения типа «Он происходил из бедной семьи» и «Его повезли машиной»), в остальных случаях был задействован морфологический поиск (табл. 17).

Таким образом, все проверенные нами глаголы, кроме «сделаться», встречаются в переводах с английского (в среднем) чаще, чем в текстах русских авторов. Не исключено, что расширение списка за счёт других лексем принесло бы другое соотношение результатов. Данные предыдущей таблицы полностью подтверждаются и данными по мегакорпусу (табл. 18).

Таблица 17

**Глаголы, имеющие отношение к иррациональному мировосприятию,
в русской и переводной художественной литературе: малый корпус
(программа “SearchInform Desktop”)**

Лексема	Дореволюционная литература	Советская литература	Постсоветская литература	В среднем	Переводы с английского (1)	Переводы с английского (2)	В среднем
Случиться	2 942	2 796	2 978	2 905,3	4 231	3 859	4 045
Случаться	1 251	718	956	975	1 255	1 523	1 389
Произошло	785	991	1 391	1 055,7	2 158	1 488	1 823
Статься	287	108	113	169,3	260	313	286,5
Сделаться	3 446	1 388	699	1 844,3	869	919	894
Приключиться	67	42	115	74,7	158	123	140,5
Стрястись	31	47	139	72,3	177	166	171,5
Посчастливиться	40	68	65	57,7	126	196	161
Повезло	23	262	745	343,3	479	470	474,5

Таблица 18

**Глаголы, имеющие отношение к иррациональному мировосприятию,
в русской и переводной художественной литературе: мегакорпус
(программа “SearchInform Desktop”)**

Лексема	Дореволюционная литература	Советская литература	Постсоветская литература	В среднем	Переводы с английского
Случиться	11 103	12 684	14 440	12 742,3	18 890
Случаться	4 977	3 826	3 866	4 223	5 424
Произошло	3 146	6 190	8 310	5 882	9 401
Статься	1 466	471	476	804,3	947
Сделаться	15 242	4 890	3 088	7 740	3 587
Приключиться	380	339	468	395,7	465
Стрястись	128	571	498	399	673
Посчастливиться	678	1 140	792	870	1 518
Повезло	144	1 716	4 104	1 988	2 849

Ниже будут приведены результаты более крупного исследования, включающего результаты предыдущих (по «авось» и «иррациональным» глаголам). Наше предположение заключается в том, что в процессе секуляризации удельный вес лексики, имеющей отношение к фатализму, должен уменьшаться, но, возможно, вместо неё учащается «иррациональная» лексика, то есть чем меньше человек перекладывает с себя ответственность за неудачу на Бога и судьбу, тем чаще он обвиняет случай. Чтобы проверить это предположение, мы составили два списка лексем, которые, по нашему мнению, должны отражать фатализм и иррациональность. Нам ясно, что чётко разграничить эти две группы невозможно, что «членство» некоторых лексем в той или иной группе может быть сомнительно, что при желании можно было бы значительно расширить оба списка. Подсчёты проводились программами “SearchInform Desktop” (учитывающей все формы слов) и “Wordsmith Tools” (более эффективно находящей фразы). Данные по каждому отдельному слову заняли бы слишком много места, поэтому мы разделили обе группы лексем на более мелкие подгруппы по принадлежности к частям речи. Указанные в графе «Всего» проценты относятся к соотношению иррациональной и фаталистичной лексики в рамках отдельно взятого периода. Например, в первом столбце («Дореволюционная литература») от общего числа употреблений лексем и фраз обеих групп 75,7 % приходится на иррациональную и 24,3 % на фаталистичную лексику (табл. 19).

Таблица 20 дополнительно проясняет описанные тенденции. На этот раз было подсчитано не процентное соотношение иррациональной лексики с фаталистичной, как в предыдущей таблице, а распределение каждой группы лексем по трём группам выборки. К примеру, 34,6 % (русская классика) + 32,8 % (советская литература) + 32,6 % (постсоветская литература) = 100 %.

Таким образом, в советские времена общее число «иррациональных» и «фаталистичных» лексем резко упало, этот процесс не остановился и после 1991 г. (заметим, что это противоречит связи имперсонала с иррационализмом, поскольку в XX в. количество безличных конструкций росло вопреки снижению показателя иррационализма (ср. Гиро-Вебер, 2001, с. 67)). В английском в XX в. сократилось число фаталистичных лексем, но возросло число иррациональных. Следует признать, что в XX в. англичане и американцы употребляли меньше лексем такого рода, чем русские. Разница эта, однако, не столь велика и может исчезнуть полностью в ближайшие десятилетия. По некоторым параметрам этот процесс уже явно заметно: например, в мегакорпусе выражения «судьбе угодно / судьбе было угодно / судьбе будет угодно» встречаются в классике 68 раз, в советской литературе – 54, в постсоветской – 36, в переводах – 40. После революции в русском языке уменьшился удельный вес «фаталистичных» лексем в соотношении с «иррациональными»; после 1991 г. этот процесс продолжился. В смешанных корпусах переводов с английского наблюдается следующая тенденция: в первом корпусе относительно много «иррациональных»

лексем и мало «фаталистичных», во втором – наоборот. Очевидно, высокая частотность одной группы обуславливает низкую частотность второй. В переводах XIX в. относительно много «фаталистичных» лексем и мало «иррациональных», в переводах XX в. – наоборот. Таким образом, в английских текстах снижение числа лексем одного типа ведёт за собой повышение числа лексем второго типа (в абсолютных числах и в процентах), чего в текстах отечественных авторов не наблюдается – в советские времена в абсолютных числах стали реже употребляться оба типа, то есть русские перестали при неудачах ссылаться и на судьбу, и на случай, в то время как англичане избавились от веры в судьбу, но при этом заменили её на веру в силу обстоятельств.

Таблица 19

**Соотношение «иррациональной» и «фаталистичной» лексики
в художественной литературе**

Лексема	Дореволюционная литература	Советская литература	Постсоветская литература	Переводы с английского (1)	Переводы с английского (2)	Переводы с английского (XIX в.)	Переводы с английского (XX в.)
«Иррациональная» лексика							
Авось	363	148	140	50	60	78	91
Как-нибудь	1 183	772	467	472	837	637	678
Случиться, случаться, статья, сделаться и т.д. ¹	8 872	6 420	7 201	9 713	9 057	9 001	9 727
Вдруг, неожиданно, внезапно, внезапу, случайно и т.д. ²	18 574	19 835	17 808	14 518	12 007	10 964	14 464
Везение, невезение, удача, неудача, фортуна, фарт, случай, случайный, случайность	5 448	5 441	6 813	6 350	6 623	7 277	5 854
Всего	34 440 (75,9 %)	32 616 (83,4 %)	32 429 (85,2 %)	31 103 (83,6 %)	28 584 (78,8 %)	27 957 (75,1 %)	30 814 (85,8 %)

¹ Далее: *приключиться, стрястись, пощастливиться* (во всех формах) + *повезло, произошло* (только в этих формах).

² Далее: *нежданно, ненароком, невзначай, ненарочно, наудачу, наобум*. О русской иррациональной картине мира, отражённой в словах *внезапно, неожиданно, вдруг*, пишет А.А. Мельникова (Мельникова, 2003, с. 122).

«Фаталистичная» лексика							
Фатальный, фаталистичный, роковой и т.д. ¹	785	523	292	467	578	1 026	364
Фатализм, фатальность, фатум, судьба и т.д. ²	2 983	1 461	1 701	1 709	1 891	3 041	1 731
На роду написано, выпал* на долю и т.д. ³	345	220	345	581	694	907	455
Господи, боже, Иисусе и т.д. ⁴	6 811	4 270	3 280	3 361	4 537	4 290	2 559
Всего	10 924 (24,1 %)	6 474 (16,6 %)	5 618 (14,8 %)	6 118 (16,4 %)	7 700 (21,2 %)	9 264 (24,9 %)	5 109 (14,2 %)

Таблица 20

Процентное соотношение «иррациональной» и «фаталистичной» лексики от общего числа употреблений в:

- а) русских корпусах; б) смешанных переводных корпусах;
в) переводных корпусах XIX и XX вв.**

	Дореволюционная литература	Советская литература	Постсоветская литература	Переводы (1)	Переводы (2)	Переводы XIX в.	Переводы XX в.
«Иррациональная» лексика	34 440 (34,6 %)	32 616 (32,8 %)	32 429 (32,6 %)	31 103 (52,1 %)	28 584 (47,9 %)	27 957 (47,6 %)	30 814 (52,4 %)
«Фаталистичная» лексика	10 924 (47,5 %)	6 474 (28,1 %)	5 618 (24,4 %)	6 118 (44,3 %)	7 700 (55,7 %)	9 264 (64,5 %)	5 109 (35,5 %)

¹ Далее: *предреши́нный, судьбоносный, предначертанный, предопределённый.*

² Далее: *удел, жребий, участь, предопределение, провидение, предначертание, предреши́нность.* Заметим, что, по данным А. Вежибицкой, слово *судьба* встречается в русских текстах чаще, чем *destiny* в английских; зато *рок* – реже, чем *fate* (Wierzbicka, 1992, p. 67). Проверить слово *рок* по всем корпусам мы не могли, так как в XX в. оно стало обозначать музыкальное направление, но можно привести данные по XIX в.: русская классика – 232, английская литература XIX в. – 351.

³ Далее: *злой рок, по воле рока, промысел божий, суждено, божий промысел, по божьей воле, по воле божьей, жесток* рок*, неумолим* рок*, такова * доля, не судилось.* Здесь собраны фразы + причастие *суждено*.

⁴ Далее: *слава Богу, слава тебе господи.* Эта категория кажется нам несколько сомнительной, так как многие употребляют соответствующие выражения, не веря при этом в высшие силы.

Проверка по мегакорпусу представляется нам в данном случае нерепрезентативной, так как в корпус русской классики вошло несколько произведений религиозной направленности (отсюда высокая частотность слов типа «господи», «боже», «Иисусе»), а в советские и постсоветские корпуса – множество приключенческих романов и повестей (отсюда высокая частотность слов типа «вдруг», «неожиданно», «внезапно»). Дореволюционных приключенческих произведений оцифровано пока сравнительно немного, и по мере их появления мы планируем достичь большей жанровой сбалансированности мегакорпуса. Заметим только, что, по предварительным данным:

а) частотность «фаталистичной» лексики (*фатальный, фаталистичный, роковой, предрешённый, судьбоносный, предначертанный, предопределённый, фатализм, фатальность, фатум, судьба, удел, жребий, участь, предопределение, провидение, предначертание, предрешённость, на роду написано, выпал* на долю, злой рок, по воле рока, промысел божий, суждено, божий промысел, по божьей воле, по воле божьей, жесток* рок*, неумолим* рок*, такова * доля, не судилось*) в русской литературе действительно снижается (в общей сложности 17 811 мет > 12 569 > 11 984);

б) в среднем по трём русским корпусам «фаталистичная» лексика встречается чаще, чем в единственном английском (14 121 против 11 748);

в) «иррациональная» лексика, представленная рядом *везение, невезение, удача, неудача, фортуна, фарт, случай, случайный, случайность* (то есть только существительные), встречается в русской художественной литературе несколько реже, чем в переводах с английского (в среднем 18 544 против 18 909);

г) та же «иррациональная» лексика встречается всё чаще в русских корпусах (18 151 > 18 525 > 18 955, только существительные; вопреки общей тенденции к понижению частотности иррациональной лексики их частотность повышалась и в предыдущих корпусах). То есть основные тенденции те же.

По мегакорпусу мы также проверили «антифаталистичные» фразы, которые встречаются слишком редко, чтобы искать их в малых корпусах: формула «наперекор судьбе / наперекор * судьбе / судьбе * наперекор / судьбе наперекор / наперекор * року / наперекор року / року * наперекор / року наперекор» находит в среднем 10 фраз в русской литературе и 4 – в переводах.

Приведём также аналогичные данные по корпусам переводов с французского и немецкого (табл. 21). «Иррациональная» лексика встретила в французском корпусе в общей сложности 29 134 раза, «фаталистичная» – 9 172 раза (всего 38 306), соотношение составило 76 % к 24 %, то есть примерно такое же, как в русской и английской художественной литературе XIX в. В корпус вошли произведения следующих авторов: Агота Криштоф, Андре Шенье, Александр Дюма, Ален Рене Лесаж, Альбер Камю, Альфонс Доде, Альфред де Мюссе, Амели Нотомб, Анатолий Франс, Андре Жид,

Андрэ Моруа, Анри Барбюс, Анри де Ренье, Антуан де Сент-Экзюпери, Антуан Франсуа Прево, Артюр Рембо, Бенжамен Констан, Буало Нарсежак, Виктор Гюго, Вольтер, Ги де Мопассан, Гийом Аполлинер, Гюстав Флобер, Дени Дидро, Дю Белле, Жак Казот, Жан Жене, Жан Жироду, Жан Кокто, Жан Расин, Жан-Батист Мольер, Жорж Перек, Жорж Санд, Жорж Сименон, Жорис-Карл (Шарль Мари Жорж) Гюисманс, Жюль Сюпервьель, Кретьен де Труа, Лотреамон, Маргерит Юрсенар, Маркиз Де Сад, Марсель Пруст, Марсель Эме, Морис Бланшо, Огюст Вилье де Лиль-адан, Оноре де Бальзак, Поль Верлен, Проспер Мериме, Пьер-Жан Беранже, Пьер Корнель, Пьер Огюстен Карон де Бомарше, Рене Домаль, Роже Мартен Дю Гар, Ромен Роллан, Стендаль, Теофиль Готье, Тонино Бенаквиста, Франсуа де Ларошфуко, Франсуа Мориак, Франсуа Рабле, Франсуаза Саган, Фредерик Бегбедер, Шарль Бодлер, Шарль Луи Монтескье, Шатобриан, Шодерло де Лакло, Эдмонд Ростан, Эжен Гильвик, Эжен Сю, Эмиль Верхарн, Эмиль Золя, Эрве Базен.

В корпусе переводов с немецкого «иррациональная» лексика встретилась 32 888 раз, «фаталистичная» – 6 603, то есть всего 39 491 – больше, чем во французской, английской (все выборки), советской и постсоветской. Соотношение «иррациональной» и «фаталистичной» лексики составило 83 % к 17 %. В корпус вошли произведения следующих авторов: Альберт Швейцер, Анна Франк, Артур Шницлер, Бернард Шлинк, Бертольт Брехт, Биргит Вандербеке, Вольфганг Борхерт, Вольфрам фон Эшенбах, Вольфдитрих Шнурре, Ганс Эрих Носсак, Генрих Белль, Генрих Гейне, Генрих Манн, Генрих фон Клейст, Георг Эберс, Герберт Розендорфер, Герман Гессе, Герман Кестен, Гертруд фон Лефорт, Герхард Гауптман, Готхольд-Эфраим Лессинг, Густав Майринк, Гюнтер Грасс, Иоганн Гёте, Йозеф Эйхендорф, Карл Шпиндлер, Клаус Фритцше, Курт Кламан, Леопольд фон Захер-Мазох, Лион Фейхтвангер, Лотар Гюнтер Буххайм, Макс Фриш, Михаэль Энде, Новалис, Патрик Зюскинд, Пауль Маар, Райнер Мария Рильке, Роберт Музиль, Стефан Цвейг, Теодор Крамер, Теодор Фонтане, Томас Манн, Урс Видмер, Фердинанд Эртель, Франк Ведекинд, Франц Грильпарцер, Франц Кафка, Фридрих Дюрренматт, Фридрих Шиллер, Хаймито фон Додерер, Ханс Фаллада, Эрих Кестнер, Эрих Мария Ремарк, Эрнст Вайс, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Якоб Беме.

**Соотношение «иррациональной» и «фаталистичной» лексики
в художественной литературе (переводах с немецкого и французского)**

Лексема	Переводы с французского	Переводы с немецкого
«Иррациональная» лексика		
Авось	29	24
Как-нибудь	455	526
Случиться, случаться, статья, сделаться и т.д. ¹	7 995	9 069
Вдруг, неожиданно, внезапно, внезапно, случайно и т.д. ²	14 357	16 820
Везение, невезение, удача, неудача, фортуна, фарт, случай, случайный, случайность	6 298	6 449
Всего	29 134 (76,1 %)	32 888 (83,3 %)
«Фаталистичная» лексика		
Фатальный, фаталистичный, роковой и т.д. ³	1 118	675
Фатализм, фатальность, фатум, судьба и т.д. ⁴	2 898	2 232
На роду написано, выпал* на долю и т.д. ⁵	671	709
Господи, боже, Иисусе и т.д. ⁶	4 485	2 987
Всего	9 172 (23,9 %)	6 603 (16,7 %)

По трём русским выборкам общее число найденных лексем составило в среднем 40 834 единицы, по четырём английским – 36 662, по единственной французской – 38 306, по единственной немецкой – 39 491, то есть по совокупной частотности групп лидирует русский, за ним следует немецкий, затем – французский и английский. Доминирование русской художественной литературы обусловлено преимущественно высокой частотностью данной лексики до революции. По частотности «иррациональной» лексики ранг частотности распределился следующим образом: русский (в среднем 33 162) > немецкий > английский (в среднем 29 615) > французский. По частотности «фаталистичной»: французский > русский (в среднем 7 672) > английский (в среднем 7 048) > немецкий.

Даже если предположить, что русские больше верят в судьбу, чем англичане и американцы (хотя результаты опросов свидетельствуют об об-

¹ Далее: *приключиться, стрястись, пощастливиться* (во всех формах) + *повезло, произошло* (только в этих формах).

² Далее: *нежданно, ненароком, невзначай, ненарочно, наудачу, наобум*.

³ Далее: *предреши́нный, судьбоносный, предначертанный, предопределённый*.

⁴ Далее: *удел, жребий, участь, предопределение, провидение, предначертание, предреши́нность*.

⁵ Далее: *злой рок, по воле рока, промысел божий, суждено, божий промысел, по божьей воле, по воле божьей, жесток* рок*, немоллим* рок*, такова * доля, не судилось*.

⁶ Далее: *слава Богу, слава тебе господи*.

ратном, см. выше), это не должно означать, что они ей чаще покоряются. Так, формула «покор* судьбе / покор* * судьбе / покор* року / покор* * року / покор* доле / покор* * доле» (= *покорившись своей судьбе, покорная судьбе, покориться нашей доле* и т.д.) находит в среднем 100 фраз в русских корпусах и 164 – в переводах с английского (мегакорпус). Фразы, выражающие нежелание покориться судьбе, были отсортированы, то есть в литературе англичан и американцев персонажи значительно чаще покоряются судьбе.

Отдельно мы рассмотрели группу слов, которую можно назвать нерелигиозной фаталистичной лексикой: *безвыходный, безвыходность, безысходный, безысходность, обречён, обречённый, обречённость, безнадёжно, безнадёжный, безнадёжность* (включая соответствующие наречия). По трём корпусам русской художественной литературы мы получили среднее число – 1 786 употреблений, по четырём английским – 1 999, по французскому – 2 056, по немецкому – 2 223 (данные по мегакорпусу: в среднем по русским корпусам – 7 295, переводы с английского – 8 386). Если добавить к этой группе менее явные её члены *пропащий, неисправимый* и *неоправимый*, соотношение останется прежним: русская литература – 1 960 (в среднем), английская – 2 212 (в среднем), французская – 2 380, немецкая – 2 443 (данные по мегакорпусу: в среднем по русским корпусам – 8 110, переводы с английского – 9 189). Возможно, нерелигиозный фатализм менее типичен для русских потому, что русские ещё надеются на авось, когда представители западных наций уже не надеются ни на что.

В отдельную группу можно выделить «неволевые» лексемы, а именно наречия *поневоле, невольно, нехотя, непроизвольно, вынужденно, волей-неволей, воленс-ноленс* (устаревший эквивалент), *непреднамеренно* и *нечаянно*. Поиск точных форм с помощью программы “SearchInform Desktop” принёс следующие результаты: классика – 3 265 единиц, советская литература – 2 301, постсоветская литература – 1 824, первый смешанный корпус английских переводов – 1 456, второй – 1 696, переводы английских произведений XIX в. – 1 983, переводы произведений XX в. – 1 393, переводы с французского – 2 192, переводы с немецкого – 2 022 (данные по мегакорпусу: досоветская литература – 11 334, советская – 7 542, постсоветская – 6 943, переводы с английского – 5 654). Формула «как-то сам* собой» (= *как-то сами / сама / само / сам собой*) обнаруживает в русской художественной литературе в среднем 30 фраз, в переводах с английского – 12 (мегакорпус: русская литература – в среднем 130 фраз, переводы с английского – 59), то есть англичане реже употребляют лексику данного типа, что, возможно, компенсируется более активным употреблением лексем какой-то другой группы (например, в мегакорпусе фразы «помимо (чьей-то) воли» и «вопреки (чьей-то) воле» встречаются в русских корпусах в среднем 158 раз, в переводах с английского – 271). Кроме того, в русском чаще употребляются слова «самоволие», «самовольство», «самовольный», «самовольствовать», «самовольничать»,

«своеволие», «своевольный», «своевольничать», «вольничать», то есть с отрицательными коннотациями волитивных актов: классика – 226, советская литература – 166, постсоветская литература – 99 (в среднем 164); переводы с английского (1) – 74, переводы с английского (2) – 95, английская литература XIX в. – 146, английская литература XX в. – 70 (в среднем 96). В обоих языках такие лексемы употребляются всё реже. В переводах с немецкого эти слова встречаются 187 раз (то есть больше, чем в русских текстах), в переводах с французского – 80. Данные по мегакорпусу: досоветская литература – 1142, советская – 863, постсоветская – 444, переводы с английского – 338.

Ещё одно слово, которое, по мнению Вежбицкой, выражает русское пассивное отношение к жизни, – это «смирение»: “the word *smirenje* denotes a religious attitude of serene acceptance of one’s fate, achieved through moral effort, through suffering, and through realisation of one’s total dependence on God, an acceptance resulting not only in an attitude of non-resistance to evil but also in profound peace and a loving attitude toward one’s fellow human beings” (Wierzbicka, 1992, p. 189). Если это так, то, по крайней мере, на частотности этого слова его важность для русского мировоззрения не отразилась: «смирение», «смириться», «смиряться», «смиранный» встречаются в русской литературе в среднем 519 раз, в английской литературе в среднем – 552, в немецкой – 664, во французской – 752 (проверка по мегакорпусу невозможна, так как в выборку классики вошло философско-религиозное произведение, посвящённое непосредственно смирению). То же касается слов, имеющих отношение к терпению, терпеливости, также якобы отразивших русскую пассивность: “Like *smirenje*, *terpet*’ is about accepting the existing situation, not having bad feelings towards other people and not wanting to do bad things to other people” (Gladkova, 2005). В русской классике слова «терпеть», «терпение», «терпеливый» встречаются 2 249 раз, в советской литературе – 1 907, в постсоветской – 1 989 (в среднем – 2 048), в английской литературе – 2 429, в немецкой – 2 816, во французской – 2 552 (данные по мегакорпусу: в среднем по русским корпусам – 8 611, переводы с английского – 9 076; если заменить формулу на «терпеть, терпение, терпелив*, притерпеться, стерпеть, вытерпеть, потерпеть, дотерпеть, перетерпеть»: в среднем по русским корпусам – 9 239, переводы с английского – 9 795).

Так же, как этнолингвисты ссылаются на русских классиков в подтверждение покорной терпеливости русских, можно было бы сослаться на западных классиков в подтверждение покорной терпеливости англичан. Так, Дж. Лондон в книге очерков (документальной, а не художественной) «Люди бездны» отмечал у англичан начала XX в. «огромное, непостижимое терпение, которое помогло населению Британских островов вынести весь этот тяжёлый груз [империализма – Е.З.], безропотно работать долгие, унылые годы и покорно отдавать своих лучших сынов для войн и колонизаций на всех концах Земного шара». Существительное «притерпелость»,

которое А. Вежбицкая считает важным проявлением русского национального фатализма (Wierzbicka, 1992, p. 396), ни в одном из наших корпусов не встречается. Таким образом, предположение А. Вежбицкой о выраженности русского фатализма в лексемах, имеющих отношение к терпению, при нашей формулировке поисковых запросов не подтверждается.

Сами по себе показатели частотности того или иного слова или же их групп вне связи с дополнительными лингвистическими и экстралингвистическими свидетельствами мы не считаем особо репрезентативными, так как бóльшая или меньшая употребительность является следствием огромного числа факторов, все из которых учесть невозможно. К ним относятся дополнительные значения лексемы, время возникновения, стилистическая нагрузка, этимология (включая народную) и связанные с ней коннотации и т.д. Например, слова типа *самовольничать*, *своевольство*, *своевольный* и многие другие из приведённых выше имеют явные эмоциональные коннотации, что может в некоторой мере исказить результаты. Известно, что в русском языке экспрессивная лексика употребляется чаще, чем в других европейских языках (Мильцин, 2002, с. 39). Поэтому автор, пожелавший бы доказать, что среди русских особенно часто встречаются лентяи или гуляки, мог бы аргументировать свою мысль более высокой частотностью данных лексем в корпусе русской художественной или публицистической литературы по сравнению с английской.

Например, А.А. Мельникова обращает внимание на многочисленность в русском слов типа «лентяй», «лодырь», «лоботряс» в качестве доказательства того, что русские особенно ленивы (Мельникова, 2003, с. 143–144). На самом деле в русском будет чаще встречаться практически любое слово с яркой эмоциональной окраской. Так, в наших корпусах слова *урод*, *дурак*, *негодяй*, *идиот*, *предатель*, *лентяй*, *болтун*, *пустозвон*, *пустослов*, *ханжа*, *бездельник*, *неумёха*, *развратник*, *умник*, *людишки*, *чернь*, *человечишка*, *стихоплёт*, *жадина*, *жулик*, *обжора*, *невежа*, *каналья*, *мерзавец*, *плут*, *распутник*, *сластолюбец*, *повеса*, *волокита*, *ловелас*, *грешник*, *гуляка*, *безбожник*, *беззаконник*, *нечестивец*, *греховодник* встречаются в русской классике 5 519 раз, в советской литературе – 6 434, в постсоветской – 5 521, в первом корпусе переводов с английского – 4 502, во втором – 5 143 (данные по мегакорпусу: в среднем по русским корпусам – 20 021, переводы с английского – 18 422). То есть в английских корпусах эти слова в совокупности встречаются реже (учитывались все формы). То же касается и лексем с положительными коннотациями (*чистюля*, *трудолюбивый*, *герой*, *красавец*, *красавица*, *красотка*, *раскрасавица*, *раскрасавец*, *храбрец*, *умница*): в русской классике – 4 531 раз, в советской литературе – 4 146, в постсоветской – 4 416, в первом сборнике английской литературы – 2 671, во втором – 3 336 (данные по мегакорпусу: в среднем по русским корпусам – 16 924, переводы с английского – 9 670).

Иногда частотность лексем противоречит широко распространённым утверждениям культурологов. Например, известно, сколь часто русским приписываются особое раболепие, покорность, отсутствие всякого свободолюбия. Но, тем не менее, как видно по приложению 4, на 500 самых частых лексем-существительных английского, немецкого и русского языков не приходится ни англ. “freedom”, ни англ. “liberty”, ни нем. “Freiheit”, зато в том же списке встречаются и «воля», и «свобода» (данные по мегакорпусу: «свобода + воля» во всех формах: в среднем по русским корпусам – 26 842, переводы с английского – 17 331). Из этого российские культурологи могли бы сделать соответствующие выводы о раболепии и нелюбви к свободе немцев и англичан (хотя здесь могли отразиться и какие-то другие неучтённые факторы).

Таким образом, мы исходим из того, что частотность отдельных лексем может свидетельствовать о популярности или важности того или иного понятия для данной культуры только в отдельных случаях и с некоторыми существенными ограничениями и оговорками. В первую очередь, следует относиться с осторожностью к частотности экспрессивных лексем, иначе можно прийти к абсурдному выводу, что в России чаще встречаются и лентяи, и трудяги, и уроды, и красавцы. Кроме того, необходимо по возможности полностью охватывать синонимические ряды и учитывать при этом устаревшие лексемы, которые могли активно употребляться в классике. Наконец, едва ли можно ожидать в переводах с английского высокой частотности слов с увеличительными или уменьшительными суффиксами, так как на переводе всегда лежит отпечаток оригинала, в том числе некоторых его формальных характеристик, а для английского использование экспрессивных суффиксов нехарактерно.

В предыдущей главе сообщалось, что А.А. Мельникова усматривает в русском обширную категорию неопределённости, являющуюся проявлением русского феноменологического мировоззрения. К сожалению, она не даёт чёткого определения, из каких членов состоит данная категория, ограничиваясь отдельными примерами. Мы добавили к её примерам синонимы и получили следующую картину (мегакорпус): «как*-то, кем-то, чем-то, ком-то, чём-то, кто-то, что-то, кому-то, чему-то, где-то, когда-то, почему-то, зачем-то, отчего-то, чей-то, чья-то, чьё-то, чьей-то, чьему-то, чьём-то, чьи-то, чьим-то, чьими-то, чьего-то, чьему-то, чьих-то, сколько-то, куда-то, откуда-то» (все формы): в среднем по русским корпусам – 150 660, в переводах с английского – 150 111; «некто, нечто, некий, некоторый, несколько»: в среднем по русским корпусам – 83 134, в переводах с английского – 102 750; «кое-где, кое-какой, кое-что, кое-кто, кое-куда, кое-откуда, кое-зачем, кое-отчего, кое-когда, кое-чей, кое * кого, кое * чём, кое * чем, кое * что, кое * чего, кое * кем, кое * ком, кое * кому, кое * чему, кой-где, кой-какой, кой-что, кой-кто, кой-куда, кой-откуда, кой-зачем, кой-отчего, кой-когда, кой-чей, кой * кого, кой * ком, кой * чём, кой * чем, кой * что,

кой * чего, кой * кем, кой * кому, кой * чему»: 7 596 (рус.) – 14 445 (англ.); «*-нибудь» (то есть *какой-нибудь, кем-нибудь, каким-нибудь* и т.д.): 49 000,3 (рус.) – 69 007 (англ.); «*-либо» (то есть *какие-либо, чем-либо, кому-либо* и т.д.): 6 971,7 (рус.) – 12 651 (англ.). Всего в русских корпусах употребляется в среднем 297 362 члена категории неопределённости, в английских – 348 964. Если исходить из логики А.А. Мельниковой, это должно свидетельствовать о большей феноменологичности мировоззрения англичан и американцев. Можно предположить, что на самом деле речь здесь идёт о передаче в русском неопределённого артикля (по крайней мере, во многих случаях). Конечно, это не значит, что другие выводы Мельниковой о русском менталитете так же неверны, как вывод о категории неопределённости. В частности, мы подтверждаем, что для русского характерно высокочастотное употребление слов «суженый», «судьба» и «тоска» (ср. Мельникова, 2003, с. 131). А.А. Мельникова делает важную оговорку, что высокая частотность слова *судьба* объясняется отчасти тем, что оно использовалось раньше в значениях «суд», «судилище», «расправа», а сейчас – в значениях «история существования, развития (кого-) чего-нибудь», «будущее, то, что случится, произойдёт», «жизненный путь» и т.д. (Мельникова, 2003, с. 131–133).

Если предположить, что феноменологичность картины мира выражается в словах «странный», «чуждой», «невероятный», «необъяснимый», «загадочный», «непонятный», «непостижимый», «таинственный», «дикий», «удивительный», «невразумительный», «маловразумительный», «неясный», «малопонятный», «невнятный», то и они в общей сложности встречаются в английском чаще: русская классика – 48 684, советская литература – 45 561, постсоветская – 56 694, переводы с английского – 57 419 (мегакорпус). Сокращённый список тех же слов без нескольких сомнительных членов (удалены «невразумительный», «маловразумительный», «неясный», «малопонятный», «невнятный») даёт то же соотношение результатов: 46 012 : 42 292 : 53 705 : 54 373. В советские времена стало распространяться рациональное мировосприятие, в постсоветское время феноменологичность картины мира приближается к английской. Нельзя, однако, отрицать, что в английской художественной литературе чаще тематизируется «здоровый смысл»: в русских корпусах эта фраза во всех падежах встречается в среднем 807 раз, а в переводах с английского – 1 401 (мегакорпус).

Один из наиболее популярных методов этнолингвистики заключается в измерении длины синонимического ряда для определённого понятия. Чем длиннее ряд и чем чаще употребляются его элементы, тем важнее данное понятие для соответствующей культуры. Например, в фиджийском языке (островная Республика Фиджи рядом с Австралией) активно используются 80 глаголов в значении «рубить, резать», так как там развита лесная промышленность (Mühlhäusler, 1986, p. 165), в языке нуучахнальт (Ванкувер)

используется 16 слов в значении «лосось», поскольку лососи являются в данном племени основным продуктом питания («Атлас языков мира», 1998, с. 141), в арабском языке существует более шести тысяч слов для обозначения верблюда, частей его тела и снаряжения. А. Вежбицкая обращает внимание на многочисленность в русском синонимов слова «друг» по сравнению с английским, в чём усматривает особенности русского мировоззрения (Мельникова, 2003, с. 109–110). У эскимосов более тридцати названий снега: в частности, для обозначения рыхлого снега употребляется иное слово, чем для обозначения снега липкого и т.д. Если предположить, что русским присуща вера в судьбу, если это понятие играет большую роль в русской культуре, чем в английской, то и синонимический ряд для него должен включать в себя больше единиц. Однако это не так.

В русском более или менее употребительны слова *фатум, судьба, удел, жребий, участь, доля, рок*; в английском – *destiny, fate, kismet* (ср. “It is here that the seed of good teaching supports a soul; for the condition might be mapped, and where kismet whispers us to shut eyes, and instruction bids us look up, is at a well-marked cross-road of the contest” [G. Meredith. *The Egoist. A Comedy in Narrative. English and American Literature*, S. 109181]), *lot, allotment, portion* (ср. “Our portion is to die, / And yours to live for ever...” [G.G. Lord Byron. *Heaven and Earth. English and American Literature*, S. 19204]), *certain* (существительное, синоним “fate” согласно Roget’s II: *The New Thesaurus*, 1995). Таким образом, длина данного синонимического ряда составляет в обоих языках семь единиц.

13.2. Цитаты из классической литературы

Одним из наиболее частых аргументов в пользу русской пассивности являются цитаты из художественной литературы.

Да они [русские – Е.З.] славные. Но всё лежат (В.В. Розанов. Опавшие листья).

Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы все ждём: вот, мол, придет кто-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!!! Это все – лень, вялость, недомыслие! (И.С. Тургенев. Новь).

– Да-с, непременно, – самодовольно заговорил Мотовилов. – Дело надо держать в руках. Без хозяина нельзя. Мы, русские, не можем жить без руководства (Ф.К. Сологуб. Тяжёлые сны).

– И русские правы, что хандрят, – сказала Катерина Васильевна, – какое ж у них дело? Им нечего делать; они должны сидеть сложа руки (Н.Г. Чернышевский. Что делать?).

Мы многим обязаны Востоку: он передал нам чувство глубокого верования в судьбу провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархаль-

ность нашего народного быта. Но – увы! – он передал нам также свою лень, своё отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения (В.А. Соллогуб. Тарантас).

Восприимчивый характер славян, их женственность, недостаток самостоятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне доверяют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют».

Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усвоивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непониманья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством – монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую (А.И. Герцен. Былое и думы).

«Ах, молодой человек, молодой человек! Как мало в Вас предприимчивости! Впрочем, все мы русские таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернётся назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приёма» (А.И. Куприн. Звезда Соломона).

Но снова я увидела колебания с его стороны, о которых уже говорила выше, его нерешительность вовремя вмешиваться в ход событий, чтобы избежать грядущих неприятностей. Это была одна из его ярких национальных особенностей, виденных мною у многих русских. Она делает их жизни чем-то зыбким, предоставленным случаю, что составляет одно из наиболее важных отличий их природы от природы западных европейцев (М.Ф. von Meysenbug. Memoiren einer Idealistin).

Высокий и сильный, он принадлежал к тому типу солдат, которые привыкли быть столь же пассивно и абсолютно послушными, как русские (О. де Бальзак. Крестьяне).

Подрыв мин был единственным занятием, которого избегали турецкие солдаты, отчасти из-за их вполне осознаваемой неловкости, в то время как русские с их пассивным послушанием таких проблем, как известно, не имели [при поиске добровольцев для подрыва мин – Е.З.]... (Н. Goedsche. Sebastopol).

Христиане-русские были склонны к выпивке и лени, у них не было чувства собственности, и если бы не было соответствующих несправедливых законов, землёй на юге России до сих пор владели бы евреи (Г. Уэллс. Взыскуемое великолетие).

Следует принимать во внимание, что при наличии достаточно большого корпуса литературы не составляет труда найти в ней достаточно цитат, доказывающих или опровергающих практически любую точку зрения. Есть среди них и немало таких, где автор или персонаж доказывает актив-

ное отношение русских к жизни, их умение справиться с любыми задачами и трудностями. Соответствующие цитаты приводятся ниже.

Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только тёплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошёл рубить себе новую избу (Н.В. Гоголь. Мертвые души).

Русский народ – страстный, талантливый, сильный народ. Недаром русский мужик допер в лаптях до Тихого океана. Немец будет на месте сидеть, сто лет своего добиваться, терпеть. А этот – нетерпеливый. Этого можно мечтой увлечь вселенную завоевать. И пойдёт, – в посконных портках, в лаптях, с топориком за поясом... (А.Н. Толстой. Хождение по мукам).

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину ни забросит, всюду она извернётся, силу в себе такую найдёт, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала (С. Чёрный. Пасхальный визит).

Лицо гидрографа скривилось, как от боли.

– Извините покорнейше, – сказал он. – Но я терпеть не могу Достоевского! Где он умудрился видеть таких русских людей, какими он их описывает? В каком сословии? [...] Русские люди – не нытики, они ведь не ковыряются один у другого в потёмках души и разума. Слава Богу, мы, русский народ, уже не раз доказывали миру, что являемся народом самого активного настроения (В.С. Пикуль. Богатство).

Какой поразительный народ! Не ошибусь, если скажу, что по своим характеристикам их [русских – Е.З.] существо есть слияние азиатского и европейского, но помимо этого нельзя не заметить и некоторые другие необъяснимые сходства; смесь со скандинавами, татарами и финнами кажется неоспоримой. Их язык похож на польский, но сами люди, очевидно, совсем другие! Лёгкость и весёлость та же, что и у всего славянского племени, но присутствует значительно больше таланта осознанной игры по сравнению с поляками, значительно больше изворотливости, упорной воли... Когда дело доходит до серьёзного, какую они выражают настойчивость и упорство, какое терпение, как они работают, сколько в них выдержки, очевидно, азиатской! [...] Мужчины выглядят несокрушимыми и непоколебимыми, будто неумолимый рок (Е.М. Arndt. Erinnerungen aus dem äußeren Leben).

«Европа, дескать, деятельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет». Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность. Они создавали царство и сознательно создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринутись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собой свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а, напротив, пожалуй, ещё их расшатываем. К концу концов, после тысячи лет у нас явилось царство и политическое единство беспримерное ещё в мире (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя за 1876 г.).

Особенно часто такие высказывания встречаются в литературе советского периода. Тот факт, что с 1991 г. (или даже с начала перестройки) в общественном дискурсе фигурируют преимущественно цитаты первого типа (то есть о пассивности), объясняется особенностями самого постсо-

ветского дискурса, а именно склонностью значительной части интеллигенции к выискиванию отрицательных сторон своего народа.

В советской литературе можно без труда найти и высказывания о пассивности американцев. Например, И. Ильф и Е. Петров пишут в «Одноэтажной Америке»: «"Средний американец", невзирая на его внешнюю активность, на самом деле натура очень пассивная. Ему надо подавать всё готовым, как избалованному мужу. Скажите ему, какой напиток лучше, – и он будет его пить. Сообщите ему, какая политическая партия выгоднее, – и он будет за неё голосовать. Скажите ему, какой Бог "настоящее" – и он будет в него верить. Только не делайте одного – не заставляйте его думать в неслужебные часы. Этого он не любит, и к этому он не привык. А для того чтобы он поверил вашим словам, надо повторять их как можно чаще. На этом до сих пор построена значительная часть американской рекламы – и торговой, и политической, всякой». Книга была написана в 1936 г., то есть за 10 лет до начала «холодной войны».

В этом контексте можно также вспомнить рассказ А.П. Чехова «Обыватели». Сюжет заключается в том, что немец Франц Степанович Финкс и поляк Иван Казимирович Ляшкевский целый день критикуют бездельничающего русского. Их аргументы очень напоминают доводы современных этнолингвистов, критикующих русский язык и якобы отразившийся в нём русский менталитет: «Русская инертность – единственная на всём земном шаре»; «У русского кровь такая... Очень, очень ленивые люди. Если б всё это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города» и т.д. День, однако, проходит, а немец и поляк всё так же сидят за чаем, играют в карты, едят и критикуют. Немец уже и думать забыл, что собирался на работу, а поляк и так нигде не работает.

Ещё одну замечательную цитату можно найти в романе «Ягодные места» советского поэта и писателя Е.А. Евтушенко. Автор очень точно подмечает одну особенность русского языка, возможно, отразившую некоторые особенности русского менталитета (коллективизм?): «А ведь по-русски нельзя сказать от первого лица единственного числа: "Я побегу..." или "Я победю..."», – подумал Серёжа. – Грамматика сопротивляется. Может быть, одному вообще победить невозможно? Только вместе». Ниже автор добавляет об успехе в западном понимании: «Карьеризм там не считается постыдным. Наоборот, карьеризм поощряется, рекламируется, возводится в добродетель. Я читал книгу Форда *Моя жизнь*. Главная идея его карьеры – сама карьера и больше ничего. Но ведь мы живём в социализме. Социализм как идея ставит нравственность выше карьеры. [...] Карьерист – это самый антинародный класс». Таким образом, автор противопоставляет исконно русское понимание преуспеяния, отразившееся также в идеологии социалистического строя, когда человек не должен ставить себя над другими и строить свой успех один и вопреки другим, на нищете и костях «неудачников». Западная же идеология, пропагандирующая индивидуаль-

ный успех (и пусть проигравший плачет), подразумевающая, «что надо жить в войне со всеми или, по крайней мере, хранить вооруженный мир» (Ги де Мопассан, рассказ «Прощение»), осуждается автором как противоречащая принципам нравственности.

Тот факт, что русские до последнего времени понимали успех иначе, чем на Западе, без конкретного результата в долларовом или рублёвом эквиваленте для конкретной личности, ещё не подразумевает маргинальности данного понятия или его отрыв от активного отношения к жизни. Успех в русском общинном понимании всегда подразумевал совместную борьбу за какие-то блага и справедливое разделение результатов между всеми членами мира (деревенской общины), а не обогащение одного-двух членов общины за счёт остальных. Уважением в дореволюционной общине пользовались не только и не столько зажиточные крестьяне, сколько те, которые регулярно оказывали помощь слабым членам общества, проявляли готовность пожертвовать собой за свой мир, то есть жили в соответствии с христианскими идеалами, как их понимало крестьянство («Русские», 1997, с. 675–677). Если это было возможно, мир обычно брал на себя расходы по содержанию погорельцев, больных и сирот. Современный немецкий исследователь В. Оксень пишет следующее: «Именно "соборность" как один из наиболее важных признаков менталитета русских определяла традиционную русскую модель хозяйственного развития общинного типа, в которой "хозяйство" выступало как духовно-нравственная категория, обеспечивающая потребности людей, но не мыслимая как средство погони за прибылью. В прошлом в России не существовало культа денег и так называемого "денежного мышления", понимаемого как восхваление и прославление богатства. [...]

Отношение русских к труду как к добродетели и нравственному деянию возникло и развилось на основе традиционных духовных ценностей крестьянской общины, артели и коллективизма, тогда как "дух" капитализма того типа, который представлен в странах Западной Европы и США, носит строго индивидуалистический характер и базируется на ценностях западного рационализма и приобретательства. [...]

Немецкие психологи пытались проследить исторические корни отношения русских к собственности, которая традиционно выступала для русского человека не самоцелью, а средством к достижению цели. Исследования показывают, что традиционные идеалы общинного труда проповедовались в русском обществе со времён Древней Руси, Владимира Мономаха, экономических статей в "Русской правде" XI–XII веков. Появившийся в XVI веке "Домострой", прославлявший угодный Всевышнему добросовестный труд и такие качества, как "безленность", "несреблолюбие" и "нестяжание", на столетия определил этику развития торгового дела и хозяйствования в России.

Этот традиционный подход прослеживается в идеях, высказываемых известными русскими учёными-экономистами (Посошков, Татищев, А.И. Сумароков). Только труд может быть источником богатства, которое трактуется не в виде средства для роскошной жизни, а имеет целью обеспечить достаток для прокормления семьи.

Эти установки составляли и основную предпосылку претворения в жизнь идеи социального равенства. [...]

В советскую эпоху в России, несмотря на все новые политические веяния (изменения), критерии построения экономики "нового" общества оставались по сути своей теми же, что и раньше: они были определены как «благоденствие семьи и хозяйства» (Оксень, 2002, с. 117, 119–120).

Таким образом, в русском обществе традиционно подчёркивается важность не карьеризма, неограниченного накопительства и самообогащения, а благоденствия всего коллектива (хозяйства, семьи, народа). Разумеется, после 1991 г. понятие «карьера» «реабилитировали» (Брендакова, Колесников, 1996), не наполнив его, однако, новым смыслом. Ориентация на коллективный успех после 1991 г. перешла в ориентацию на личный успех за счёт коллектива, в результате чего общество тут же разделилось на очень богатых и очень бедных, причём у второй группы есть все основания обвинять первую в своих бедах (ваучерная афера и т.п.). В романе «Ягодные места» Е. Евтушенко показывает мировоззренческий отрыв первой группы, носителей «бизнес-ментальности», от русского народа. В уста одного из своих героев, простого и скромного в своих запросах советского человека, он вкладывает следующие слова по отношению к своему сыну, в котором угадываются склонности к карьеризму, западничеству (увлечению всем западным) и оборотистости за счёт окружающих: «"А что тебя связывает с Пушкиным? С Львом Толстым?" – "Опять Лев Толстой!" – "Да! Опять Лев Толстой! Всегда Лев Толстой. А что тебя связывает с теми солдатами, которые гибли за тебя в Великую Отечественную? Кто ты? Ты догадываешься, в какой стране ты родился? Что ты знаешь о ней? Почему тебе наплевать на неё?"»

Приведём также цитаты об англичанах и американцах, демонстрирующие, что и они сомневаются в своей «агентивности».

Англия с серебряной ложкой во рту! Зубов у неё уже не осталось, чтобы эту ложку удерживать, но духу не хватает расстаться с ложкой! А наши национальные добродетели – выносливость, умение всё принимать с улыбкой, крепкие нервы и отсутствие фантазии? Сейчас эти добродетели граничат с пороками, ибо приводят к легкомысленной уверенности в том, что Англия сумеет как-нибудь выпутаться, не прилагая особых усилий. Но с каждым годом остаётся всё меньше шансов оправиться от потрясения, меньше времени для упражнения в британских «добродетелях». «Тяжелы мы на подъем», – думал Майкл (Дж. Голсуорси. Сага о Форсайтах: Серебряная ложка).

Французы владеют искусством жить. Мы, англичане, либо надеемся на будущее, либо скорбим о прошлом, упуская драгоценное настоящее (Дж. Голсуорси. Конец главы: Через реку).

...что бы им [преуспевающим американским бизнесменам – Е.З.] ни захотелось сделать, санкция всегда оказывается под рукой. Это настоящие иезуиты. Одна из их самых потешных аксиом, для них неоспоримых, заключается в том, будто бы они благодаря своей энергии, работоспособности и своему пониманию вещей значительно выше всего остального человечества. Они, кажется, даже воскресили теорию божественного права королей, промышленных королей, конечно. [Примечание: В газетах 1902 года христианской эры мы находим следующие выражения, приписываемые представителю каменноугольного треста Джорджу Бэру: «Права и интересы трудящихся находятся под защитой хороших христиан, которым Господь, по безмерной мудрости своей, поручил хозяйственные интересы страны» – Е.З.]. [...] Все они вне области своего дела невероятно тупы. Они не представляют себе ни человечества, ни общества, и, однако, разыгрывают роль вершителей судеб голодных миллионов и всех других миллионов, которые с ними связаны. История когда-нибудь жестоко насмеётся над ними (Дж. Лондон. Железная пята).

В наших школах вы найдёте миллион мальчиков, набивших себе голову вздорными сказками о карьере от мальчишки-рассыльного в президенты... (Дж. Лондон. Лунная долина).

– А почему американцы не могут добиться того же [успеха в сельском хозяйстве и, соответственно, материального благосостояния по сравнению с китайцами – Е.З.]? – спросила Саксон.

– Видимо, не хотят... Ничто им не мешает, кроме самих себя. Скажу вам одно: я лично предпочитаю иметь дело с китайцами. Китаец честен, его слово – всё равно что подпись на векселе, – как он скажет, так и сделает. И потом – белый человек не умеет хозяйничать на земле. [...] Китаец работает без передышки и заставляет работать землю. У него всё организовано, у него есть система. Слышали вы, чтобы белый хозяин вёл книги? А китаец ведёт. Он ничего не делает наудачу... (Дж. Лондон. Лунная долина).

...русские если что задумали, так они делают. Мы же [американцы – Е.З.] только пытаемся что-то сделать, а потом увязаем в политических передрыгах. Ни на что мы больше не способны (Дж. Андайк. Кролик разбогател).

– Таковы уж мы, англичане, – вздохнул Уильям. – При первой возможности мы бросаем работу. Считается, что настоящий джентльмен должен безбедно существовать на те доходы, что приносят ему его собственные земли и недвижимость (Э. Берджес. Влюбленный Шекспир).

Праздный образ жизни, описанный в последней цитате и характерный также для русской дореволюционной аристократии, неоднократно подвергался критике в русской классике. Например, в рассказе «Невеста» А.П. Чехова один из главных героев, служащий литографии Саша, говорит дочке рантье: «И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь, – продолжал Саша. – Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша ба-

булька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то жизнь, а разве это чисто, не грязно?»

В английской и американской художественной литературе критику подобного рода мы не обнаружили (если не считать нескольких авторов просоветской и социалистической направленности типа Дж. Лондона¹). На примере художественной литературы можно было бы продемонстрировать и различия в самом понимании «правильного», «настоящего» труда. В до-революционной России истинным трудом считался труд продуктивный, в то время как люди, занимавшиеся перепродажей произведённого другими (нынешние бизнесмены), особым уважением не пользовались: «– Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после, значит, разговору, я и думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки! [...] Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше» (А.П. Чехов. В овраге).

В данном случае материалы художественной литературы подкрепляются и паремиологическим фондом, и экстралингвистическими данными (Бабаева, 1997). Цитату из Чехова можно было бы противопоставить цитате из автобиографического трактата Дж. Лондона «Джон Ячменное Зерно», в котором он затрагивает низкий статус людей труда в США: «Мои скитания по Соединённым Штатам изменили во мне ряд былых представлений. Я был бродягой и, находясь за сценой или, вернее, под сценой, не играл никакой роли в жизни американского общества. Зато снизу было виднее, как действуют механизмы, приводящие в движение колеса общественной машины. В частности, я узнал, что физический труд вовсе не пользуется тем почётом, о котором разглагольствуют учителя, проповедники и политиканы».

А вот какие слова вложил Дж. Лондон в уста крупного американского бизнесмена Пламенного, относительно честного и высокоморального по сравнению с остальными: «Жизнь – крупная азартная игра. Одни рождаются счастливыми, а другие неудачниками. Каждый садится за стол, и каждый старается кого-нибудь ограбить. Большею частью их самих грабят, они по натуре своей – сосунцы. Какой-нибудь парень вроде меня приходит и сразу раскусывает, в чём тут дело. Мне предоставлялся выбор: я мог пойти в стадо сосунцов или в стадо грабителей. Как сосунец я не выигрываю. Даже крошки хлеба выхватываются из моего рта грабителями. Я работаю всю свою жизнь и умираю за работой. И никогда мне не представится случая выдвинуться. Всегда будет только работа, работа и работа.

¹ Ср. Дж. Лондон, «Железная пята»: «Выражение "общество" имеет здесь [в употреблении американцев начала XX века – Е.З.] узкое значение. В те времена оно обычно определяло раззолочённых общественных трутней, которые не работали, а только поглощали мёд, добываемый другими. [...] Это было создание ленивых и богатых, которые не работали и забавляли себя игрой в общественность».

Говорят, что труд почётен, а я вам говорю, что в таком труде ничего почётного нет. Но у меня был выбор: я мог пойти в стадо грабителей, и я пошёл к ним. [...] Делать добро с моими деньгами?! Да это всё равно, что дать по физиономии Господу Богу, сказать Ему, что Он не знает, как управлять миром...» (Дж. Лондон. День пламенеет).

Примечательно, что герой Дж. Лондона считает положение вещей, сложившееся в современной западной цивилизации, естественным и богоугодным (вспомним об описанной выше доктрине предопределения у протестантов, согласно которой Бог сам разделил людей на преуспевающих и бедных, чтобы продемонстрировать, кто спасён, а кто обречён на вечные муки).

Вполне логично, что после «западнизации» менталитета россиян в постсоветский период их трудовая мораль оказалась на столь низком уровне, что тревогу забили даже представители власти: «Недавно меня познакомили с результатами опроса школьников одной из московских школ. Среди многих вопросов был и такой: "Что является главным для достижения успеха в жизни?" Ответы говорят о многом. На первые места школьники выбрали и поставили "деньги" и "знакомства". "Труд" оказался на последнем месте.

И дело не только в том, что в их сознании после двадцати лет "перестроек" и "реформ" теперь предельно разведены труд и – успех, заработок, карьера, и, более того, успех поставлен в прямую связь с нетрудом и антитрудом: удачей, везением, "талантом", связями ("блатом"), собственным унижением, вплоть до прямого мошенничества или легальной кражи (захваты предприятий, искусственные банкротства и т.п.). Эта нравственная катастрофа унижения труда ("работа дураков любит", "работа не волк, в лес не убежит"...) является одним из следствий утери в нашей стране и в мире в целом смысла и природы современного труда¹.

Труд перестал быть ключевой категорией общественной жизни. [...] Я был уверен, что наши советско-российские беды с трудовой мотивацией молодёжи были обусловлены исключительно местными причинами... Оказалось же, что совсем в другой стране – благополучной Западной Германии точно такие же трудности. [...]

Опыт последних тридцати лет показывает, что идеология постиндустриализма и верховенства "чистой бумажной работы" на деле прикрывает разрушительные для самого развитого мира процессы деградации и исчезновения труда. Выражается это в том, что осуществить уход от привычного труда (со значительной долей физического) нетрудно – отсюда резкий рост доли услуг (в США до 80 процентов), вынос промышленности и агроиндустрий в страны непервого мира, но крайне трудно и почти невозмож-

¹ Заметим, что пословицы с положительной оценкой лени (или же негативной оценкой труда), о которых говорит данный автор, употребляются после 1991 г. всё чаще: формула «работа дураков любит / работа не волк / от работы кони дохнут» находит в русской классике только одну фразу, в советской литературе – 3, в постсоветской – 11 (мегакорпус).

но в массовом порядке прийти к какому-то новому социально масштабному труду.

В массе своей происходит не принципиальное усложнение и развитие труда, а фактический отказ от труда вообще и постановка в центр даже "трудовых процессов" развлечения и попыток получать вознаграждение без труда и даже за счёт отказа от труда. Выражается это в знакомых всем вещах: резко растёт количество и уровень доходов представителей так называемых "творческих" профессий, в то время как стоимость труда тех же педагогов (поскольку их профессия, вероятно, не является "творческой") неуклонно снижается по сравнению с экономической значимостью труда поппсы. Все начинают играть на бирже, пытаться срывать куш разом, стремиться к разовым выигрышным решениям любой ценой, когда "после нас хоть потоп".

Одновременно с этим отказом от труда происходит резкое упрощение труда и рост эксплуатации ("выжимания пота") внутри развитых стран (появляются своего рода анклав "третьего мира" в странах Запада).

Но самое важное состоит в том, что пропадают ясные критерии труда, меняется и исчезает само понятие труда.

Трудом начинают считать всё подряд. Если раньше труд рассматривался как систематическая деятельность, творящая в конечном счёте безусловное общественное благо, то теперь трудом начинают называть что угодно. [...]

Сегодня необходимо восстанавливать традиционное отношение к труду как нравственному делу по преобразованию мира и самого себя, сознательное и целевое участие во всеобщей организации мирового развития» (Крупнов, 2005).

Сами слова «труд», «трудиться», «трудовой» встречаются относительно редко в английском языке, что отразилось и на их частотности в переводах. Так, в нашем мегакорпусе в выборках русской литературы они встречаются в среднем 22 777 раз (с максимумом в классике), а в выборке переводов – 17 988. В списке наиболее высокочастотных лексем английского языка конца XX в. (Kilgarriff, 1995) слово "labour" занимает 657-е место, а в составленном по тем же принципам списке наиболее высокочастотных лексем русского языка слово *труд* занимает 416-е место (Шаров, 2001 а). Слова «деловой», «деловитость», «деловитый», «дельный» во всех формах и слово «дело» в формах «дело», «делу», «делом», «деле», «делаю», «делаю», «делаю», «делаю» (но не «дела» из-за совпадения этой формы с формой глагола: «Куда ты дела?») встречаются в русской художественной литературе в среднем 81 801 раз, в переводах с английского – 74 131 (мегакорпус). В списке наиболее частотных существительных русского языка (см. приложение 4) слово «дело» занимает пятое место, а в аналогичном списке английских слов – 48-е ("business"). Зато в английском чаще употребляются слова «успех» и «карьера»: лексема "success" – 721-е место в "British

National Corpus” (Kilgarriff, 1995), «успех» – 1150-е место в русском корпусе С. Шарова (Шаров, 2001 б); “career” – 1065-е место в “British National Corpus”, «карьер» – 2472-е место в корпусе Шарова.

Фундаментальное исследование Института этнологии и антропологии РАН «Русские» пишет об отношении среднестатистического дореволюционного русского (то есть православного крестьянина) к труду следующее: «Труд как таковой в глазах верующего, каковым являлся русский крестьянин, выступает одним из главных средств к спасению души и обретению Царства Божия, а христианская мораль, без сомнения, носит трудовой характер. [...] Христианство способствовало выработке добросовестного отношения к труду, строгой дисциплины на основе представления о том, что труд благословен Богом» («Русские», 1997, с. 189); «Разнообразные источники XIX в. свидетельствуют о том, что у русского крестьянства всех районов резкому осуждению подвергались лень, неумелое или недобросовестное отношение к труду» («Русские», 1997, с. 684). В западном же понимании, основанном на протестантизме, благословен не сам труд, а обогащение, так как богатство есть знак избранности Богом. Грехи, совершённые при самообогащении, были прощены Богом ещё до сотворения мира. Отсюда соответствующее отношение к жизни – *Get rich or die trying* (*Стань богатым или умри в попытках [стать богатым]*). Если в русской культурной традиции самоценностью был труд, то в западной – деньги, богатство.

О пассивности и инертности русских крестьян, столь часто тематизирующихся западными и прозападными культурологами, исследование «Русские» говорит: «Упование русского крестьянина на волю Божию породило у части наблюдателей ошибочное мнение о беспечности крестьян, их инертности в деле всевозможных улучшений в хозяйстве. [...] "Нерадение" крестьян в действительности было смирением человека, сделавшего всё, что от него зависит, и потому положившегося на волю Божию.

Многочисленные наблюдения, зафиксированные в фондах научных обществ (Вольного Экономического общества, Русского Географического общества, Этнографического бюро В.Н. Тенишева), отмечают трудолюбие русского крестьянина, питающееся не жадной обогащения любой ценой, а нравственным долгом и потребностью души, своего рода эстетической, ибо в труде крестьянин видел не только страду, но красоту и радость. При этом, надо сказать, для русского крестьянина не характерна привычка жаловаться на жизнь, какой бы она ни была, и он не испытывал чувства зависти к более богатым, живущим лучше других» («Русские», 1997, с. 190–191).

Насколько нам известно, ни в одной работе, доказывающей русскую лень и пассивность, данная тема не затрагивается.

Подборку цитат о пассивности и созерцательности немцев мы уже опубликовали отдельно (Зарецкий, 2007 в, с. 245–247). Здесь приведём только одну, из романа «Кто виноват» А.И. Герцена: «Посмотрите на бледных, белокурых немцев, отчего они мечтатели, отчего они держат го-

лову на сторону, часто плачут? От золотухи и от климата; от этого они готовы целые века бредить о мистических контроверзах, а дела никакого не делают». В другом произведении того же автора один из героев акцентирует немецкую непрактичность: «Сверх того, не увлекаясь авторитетами, мы должны будем сознаться, что жизнь германских поэтов и мыслителей чрезвычайно односторонняя; я не знаю ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана филистерством. В них, при всей космополитической всеобщности, недостает целого элемента человечности, именно практической жизни; и хоть они очень много пишут, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что они пишут о ней, а не живут ею, доказывает их абстрактность» (А.И. Герцен. Записки одного молодого человека). Т. Манн отмечал в своём знаменитом романе «Доктор Фаустус» немецкую склонность к вере в судьбу: «Срочно понадобился новый прорыв, на сей раз к мировому господству, которого, конечно, нельзя было достигнуть никакой высокоморальной деятельностью на родной ниве. Стало быть – война [подразумевается Вторая мировая война – Е.З.], и если придется – война против всех, чтобы всех убедить и всех покорить, – вот что решила "судьба" (какое "немецкое" слово, какое в нем первобытное, дохристианское звучание, какой трагимифологический, музыкальный драматизм!), и вот куда мы вдохновенно ринулись (вдохновение было только у нас) в уверенности, что великий час Германии наконец пробил; что нас благословляет сама история; что после Испании, Франции, Англии пришла наша очередь отметить своей печатью и повести за собой мир...».

Если следовать логике тех лингвистов, которые считают цитаты из классических произведений (не подкреплённые историческими и социологическими фактами) полноценным доказательством той или иной теории, многочисленность цитат о созерцательности, фатализме и пассивности немцев должна бы являться достаточным основанием, чтобы поверить в эти их качества. Никто из них, однако, немцам пассивности и т.п. не приписывает.

На основе «данных» художественной литературы можно было бы сделать и множество других обобщений, от вполне обоснованных до абсурдных. Можно было бы поставить под вопрос взаимосвязь активного отношения к жизни и антифатализма, вспомнив отрывок из «Блеска и нищеты куртизанок» О. де Бальзака, где говорится, что «почти все люди действия склонны к фатализму, так же как большинство мыслителей склонно верить в провидение». Можно было бы аргументировать, что фатализм есть источник активного отношения к жизни, ссылаясь на слова «во всякой службе не фаталист не может сделать карьеры...» из «Детства Тёмы» Н.Г. Гарина-Михайловского. Можно было бы приписать русским особую склонность руководствоваться здравым смыслом, ссылаясь на следующие слова И.С. Тургенева: «Философические хитросплетения и бредни никогда не привьются к русскому: на это у него слишком много здравого смысла»

(роман «Рудин»). В противовес утверждениям этнолингвистов о беспечности русских можно было бы напомнить, что Дж. Лондон в книге очерков «Люди бездны» приписывает англичанам «колоссальную беспечность». Отметим ещё раз, что цитаты из художественной литературы научным аргументом считаться не могут, даже если речь идёт об отрывках из произведений самых выдающихся и заслуженных классиков. Кроме того, нельзя забывать, что западная литературная традиция уже несколько столетий подпитывает негативный собирательный образ русского народа, практически полностью избегая тематизации русских (отдельных представителей, России в целом, русского народа, русской культуры) в положительном контексте. Если в том или ином произведении встречается русский персонаж, чрезвычайно велика вероятность того, что он будет представлен в негативном свете, что ему будут приписаны отрицательные качества и поступки. Например, как показало наше исследование, на 600 000 страниц электронной антологии немецкой художественной и публицистической литературы “Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky” приходится 1 429 упоминаний русских, из них в положительном контексте – не более десятка, причём пять из них относятся к русской храбрости, отмеченной немецкими наблюдателями во время различных военных кампаний против России. В остальном же немецкие авторы выражают страх перед русскими, неприязнь, отвращение, ненависть, причём неоднократно приписывают такую же ненависть ко всему немецкому со стороны русского народа. Особенно часто подчёркивается культурная и расовая неполноценность русского народа по сравнению с европейскими, рабская покорность русских, дикость, варварство.

Тон повествования становится зачастую агрессивным и презрительным, когда речь заходит о русских; русофобия не осуждается и даже оценивается положительно (ср. отрывок из эссе Г. Гейне: «Когда-нибудь Германии придётся сразиться с этим гигантом [Россией – Е.З.], и потому хорошо, что мы так рано научились ненавидеть русских, что эта ненависть воспитывалась в нас, что и другие народы учились тому же... Это заслуга поляков, которые пропагандируют сейчас ненависть к русским по всему миру» [H. Heine. Ludwig Börne. Eine Denkschrift. Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, S. 246874]). Русским отказывается даже в наличии таких характеристик, которые обычно упоминаются культурологами среди наиболее типичных для русского менталитета: так, один из героев романа Т. Фонтане «Перед бурей» утверждает, что для русских типично отсутствие сострадания: «Они [русские – Е.З.] обещают всё подряд и знают наперёд, что не исполнят обещаний, они не чувствуют себя обязанными перед своей совестью. Им не хватает двух вещей: чувства чести и сострадания» [Th. Fontane. Vor dem Sturm. Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, S. 124121]. Антология всемирной литературы “Die Bibliothek der Weltliteratur” объёмом около 86 000 страниц содержит 113 упоминаний русских (если не считать упоми-

наний в произведениях русских классиков), из них только одно в положительном контексте, если можно назвать положительным контекстом утверждение, что русские войска грабят, насилюют и убивают мирное население реже, чем французы (Байрон. Дон Жуан). В остальных случаях контекст был нейтральным или ещё более негативным. Тематизируются преимущественно русская жестокость и отсталость, особенно много таких высказываний встречается у польского классика А. Мицкевича. Заметим, однако, что объём сборника относительно невелик. Поиск во всех случаях производился по ключевым словам «русск* народ*», «русский», «русские». В сборнике “English and American literature from Shakespeare to Mark Twain” объёмом 172 000 страниц мы нашли на 444 упоминания русских около дюжины положительных контекстов. Примечательно, что и здесь основная масса негативных контекстов сконцентрирована в произведениях одного автора – иммигранта из Польши Дж. Конрада. Типичные цитаты о русских и России выглядят следующим образом.

Both the German submissiveness (idealistic as it may be) and the Russian lawlessness (fed on the corruption of all the virtues) are utterly foreign to the Polish nation, whose qualities and defects are altogether of another kind, tending to a certain exaggeration of individualism and, perhaps, to an extreme belief in the Governing Power of Free Assent: the one invariably vital principle in the internal government of the Old Republic [J. Conrad. Notes on Life and Letters. English and American Literature, S. 27878].

Over all this hung the oppressive shadow of the great Russian Empire – the shadow lowering with the darkness of a new-born national hatred fostered by the Moscow school of journalists against the Poles after the ill-omened rising of 1863 [J. Conrad. A Personal Record. Some Reminiscences. English and American Literature, S. 28396].

I cannot avoid beholding the Russian empire as the natural enemy of the more western parts of Europe, as an enemy already possessed of great strength, and, from the nature of the government, every day threatening to become more powerful [O. Goldsmith. The Citizen of the World, or Letters from a Chinese Philosopher. English and American Literature, S. 74279].

RUSSIAN, *n.* A person with a Caucasian body and a Mongolian soul. A Tartar Emetic [A.G. Bierce. The Cynic's Word Book. English and American Literature, S. 5169].

В этом кратком обзоре мы постарались показать, что найти в западной художественной литературе что-либо положительное о России довольно проблематично. В некоторых случаях можно говорить о сознательной демонизации, ненужном сгущении красок, явном гипертрофировании негатива и неспособности авторов отойти от многовековых клише. При таком положении вещей едва ли можно ожидать, что в произведениях западных классиков найдётся много цитат, подчёркивающих какие бы то ни было позитивные качества русских, будь то активное отношение к жизни или гостеприимство. С ещё большей осторожностью следует относиться к исследованиям некоторых западных аналитических центров и институтов, периодически публикующих работы о русской ментальности. Исследова-

ния такого рода, более или менее научнообразные, являлись и по сей день являются эффективным средством информационной войны, направленным на подрыв авторитета СССР и постсоветской России в условиях жёсткой международной конкуренции.

Отношение к русским со стороны западных классиков отражает соответствующие настроения в данных обществах, о чём свидетельствуют результаты опросов. По данным BBC World Service Poll, в 2007 г. влияние России в мире считали позитивным 32 % американцев, 31 % канадцев, 28 % британцев, 14 % французов, 21 % немцев, 26 % итальянцев, всего в среднем 28 % по 26 странам мира; негативным считали влияние России 46 % американцев, 45 % канадцев, 53 % британцев, 77 % французов, 54 % немцев, 56 % итальянцев, всего в среднем 40 % по 26 странам мира (“Israel and Iran share most negative ratings in global poll”, 2007). Негативней, чем Россия, были оценены Северная Корея, Иран, Израиль и Венесуэла, позитивней – Канада, Япония, Европейский Союз, Франция, Великобритания, США, Китай, Индия.

Глава 14

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ БЕЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

14.1. Принцип скромности

Сравнительно редко в работах отечественных и зарубежных культурологов можно встретить мысль, что широкое употребление безличных конструкций связано с конвенционализированным проявлением скромности у русских, хотя связь со скромностью вообще не отрицается (ср. Leinonen, 1985, p. 119). М. Ониши отмечает, например, что при возможности маркировки субъекта стандартно и нестандартно в том или ином языке мира нестандартное оформление обычно употребляется для того, чтобы сделать высказывания менее прямыми и более вежливыми (Onishi, 2001 a, p. 38). Непрямым высказывание становится из-за того, что альтернативные способы оформления субъекта обычно подчёркивают его неволевитивность, зависимость от каких-то внешних обстоятельств. По мнению А. Израэли, особенно ярко различные способы выражения скромности на языковом уровне проявляются в русском: «Если мы обратимся к данным по русскому языку, можно заметить, что Принцип скромности проник в русский язык и русскую культуру на всех уровнях. Его можно наблюдать в *langue*, *parole*, дискурсе, стилистических и культурных конвенциях, особенно по сравнению с английским языком» (Israeli, 1997, p. 31). Далее автор описывает некоторые виды безличных конструкций, которые, как она полагает, являются выражением этого принципа:

1) на уровне *langue* (в данном случае у говорящего нет выбора, так как сам язык предписывает употребление определённых конструкций): *Мне нужен карандаш* (= *I need a pencil*); *У меня болит голова* (= *I have a headache*); *У меня идея* (= *I've got an idea*); *У него вышла книга* (= *He has a book published*); *У нас сегодня свадьба* (= *We are getting married today*);

2) на уровне *parole* (язык предоставляет выбор между личными и безличными формами): *Мне должны позвонить / Я жду звонка* (= *I am expecting a call*); *Ко мне должны прийти / Я жду гостей* (= *I am expecting guests*).

На уровне дискурса автор видит следующие проявления Принципа скромности:

- если в английском на вопрос «Как дела?» неизменно отвечают «хорошо», то в русском, независимо от истинного положения вещей, можно ответить, что дела не хуже, но и не лучше, чем раньше (*Как дела? – Спасибо, хорошо / ничего* vs. *How are you? – Fine, thank you*);

- в русском требования и просьбы зачастую принимают не столь категоричные формы, так как говорящий заменяет конструкции с местоиме-

нием «я» на более мягкие: *Можно Машу к телефону? / Позовите, пожалуйста, Машу vs. I would like to speak to Mary / May I speak to Mary (please)?*;

- применение безличного пассива распространено в русском несоизмеримо больше, чем в английском: *That's what they get for trying to force their way where they're not wanted. В предыдущем изложении внимание было сосредоточено на проблеме... Когда пишутся эти строки...* (заметим, что понятие безличного пассива трактуется по-разному, многие учёные не признают его существования в русском языке);

- местоимение «мы» употребляется вместо «я», а «наш» – вместо «мой»: *Мы с отцом ходили на рыбалку* вместо *Я с отцом ходил на рыбалку*; *У нас в городе / В нашем городе* вместо *У меня в городе / В моём городе*; Т.В. Ларина усматривает в этой же характеристике признак русского коллективизма (Ларина, 2004);

- в научной литературе используются различные приёмы, позволяющие избежать местоимения «я»: *В заключение укажем ещё раз, что...; Здесь следует признать допущенную автором в первоначальной публикации ошибку...* и т.п.

Мы не видим причин не согласиться с отдельными доводами А. Израэли. Действительно, вполне может быть, что русские в тех случаях, где возможен выбор между равноценными личными и безличными конструкциями, иногда предпочитают безличные из-за того, что считают личные слишком прямыми, категоричными, грубыми и неэтичными (ср. «Феномен вежливости, свойственный русскому этикету, является составной частью более универсальной психологической характеристики русского человека, которую определяют как "некатегоричность", "уклончивость". Эта черта находит разнообразные формы грамматического выражения в языке» (Гаджихмедов, 2004)). В первую очередь это касается русской научной литературы, где личных конструкций избегают особенно часто (ср. Колесов, 2004, с. 228), в то время как в англоязычном мире такая замена практикуется всё реже. Например, на Интернет-странице журнала “Physical Review” в замечаниях для будущих авторов отмечается, что «старое табу [на употребление личного местоимения "я" – Е.З.] уже давно порицается в самых авторитетных источниках и игнорируется лучшими авторами», поэтому учёный, желающий опубликовать свой материал в этом журнале, «не должен использовать *мы* в качестве простой замены для *я*, если он имеет в виду только себя» (“I”, “we” and impersonal constructions”, 1994). Кроме того, редакторы обращают внимание на то, что «выражение *по нашему мнению*, если оно относится к одному лицу, является неудачной попыткой проявить свою скромность, поэтому следует писать *по моему мнению* или перейти на безличные конструкции». На этом же примере можно проиллюстрировать ещё один аспект вежливой скромности, выражаемой русскими безличными конструкциями: если в русском переводе была ис-

пользована осторожная формулировка *следует писать*, то в английском оригинале – довольно грубый, с нашей точки зрения, императив: “either write *my* or resort to a genuinely impersonal construction” – дословно: «пишите *мой* или переходите на безличные конструкции».

У нас нет возможности описать здесь все проявления Принципа скромности в русском языке. Не вызывает, однако, сомнений тот факт, что он (несмотря на западнизацию русского коммуникативного поведения после 1991 г.) действительно до сих пор охватывает все языковые системы и уровни, будь то научный стиль или повседневная речь. Например, авторы сборника «Гендер в разных языках» отмечают, что табуизированность русской обценной лексики по сей день выражена сильнее, чем в любом другом европейском языке, что значительно затрудняет её исследование с гендерных (как и с любых других) позиций (Hellinger, Bussmann, 2001, p. 274). Действительно, не будет преувеличением сказать, что многие авторы не решаются приводить соответствующие примеры в своих работах. В английском же мат и вульгаризмы от постоянного употребления всеми слоями населения так стёрлись, что их перечисление в научных работах не считается чем-то из ряда вон выходящим (заметим, что в переводах английской художественной литературы на русский приходится заменять пейоративную лексику на более нейтральные русские выражения, о чём часто говорится в справочниках по переводоведению¹).

Принципом скромности объясняется и распространённая в русском коммуникативном пространстве традиция всячески избегать самохвальства², приуменьшать свои успехи, отрицать личные достоинства и отказы-

¹ Ср. «Следует также учитывать, что восприятие аналогичных слов и выражений зависит от частоты и степени привычности их употребления. Воспитанные английские леди и джентльмены, как и бродяги и уголовники, нередко выражают неудовольствие восклицанием “O shit”, которое в силу частого употребления не воспринимается как недопустимый вульгаризм. В русском переводе элегантная дама, восклицающая “Ах, дерьмо!” (или еще более близкое к английскому крепкое словцо), выглядит очень странно, и переводчики заставляют ее произносить “Ах, черт!”, а то и “О, господи!”» (Комиссаров, 2000, с. 144). Упомянутое данным автором слово «дерьмо» вопреки стараниям переводчиков употребляется в переводах с английского чаще, чем в русских корпусах: русская классика – 17, советская литература – 546 (в данном корпусе ругательства встречаются преимущественно в произведениях эмигрантов), постсоветская литература – 1 792, переводы с английского – 2 364 (мегакорпус). К сожалению, многие постсоветские лингвисты применяют двойные стандарты при описании данного феномена: если многочисленность ругательств в русской речи – это для них признак некультурности, то многочисленность ругательств в речи англичан и американцев – это признак демократизма.

² Ср. «Что может принести обществу тотальный принцип личного успеха., когда этому противится сам русский язык, в котором такие понятия, как *самоотверженность*, *самозабвенность*, *самоограничение*, *жертвенность* – высшие качества поведения в любви и в семье? А слова *самовлюбленный*, *самовластный*, *самовольный*, *самодовольный*, *самолюбие*, *САМОХВАЛЬСТВО* – качества низкие и недостойные?» (Сараскина, 2000, с. 12; выделено нами). Заметим, что почти все упомянутые автором слова употребляются в русской художественной литературе чаще, чем в английской; особенно это касается слова «самоотверженность» с его производными: формула «самоотверж*» выдаёт в мегакорпусе в среднем 849 мет по русским корпусам, а в переводах с английского – 349 мет.

ваться от комплиментов: если американец только благодарит за комплимент, то русский зачастую прибегает к фразам типа «Ну что Вы...», «Да оно как-то само получилось», «Да я и не думал...», «Вовсе нет, никакой я не...», «Вы преувеличиваете», «Просто Вы не знаете, какой я... [+ описание отрицательных качеств]», «Неправда, он совсем дешёвый...» и т.д. Вот что пишет по поводу употребления комплиментов в русском и английском языках Р.В. Серебрякова, занимавшаяся статистическими исследованиями на эту тему: «При проведении исследования было установлено, что в русском общении частотна негативная реакция на комплимент. Негативная реакция может возникнуть у адресата как по вине говорящего, так и из-за некоторых особенностей собственного характера, например скромности, застенчивости. [...] Негативная реакция на комплимент в английском общении встречается гораздо реже, чем в русском» (Серебрякова, 2001).

Соответственно, русский, прибегающий к безличным конструкциям для описания своих достижений («случилось», «получилось», «повезло», «удалось», «так вышло» и т.п.), вовсе не считает их результатом действия внешних сил, судьбы, провидения, как и китаец, традиционно называющий в ответ на похвалы своего сына «собачим», а жену «ничтожной», не пытается их унижить, а проявляет должную скромность в той мере, какая принята в данном обществе (ср. Чернявская, 2000). В культурологии широко распространено деление культур на высококонтекстные (преимущественно коллективистские: Япония, Китай, Южная Корея, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия и т.д.) и низкоконтекстные (преимущественно индивидуалистические: США, Англия, Канада, Германия, Швеция и т.д.), причём первой группе приписывается, среди прочих характеристик, самоуничижительный стиль общения, а второй – самовозвеличивающий (Стеблецова, 2004, с. 92). Русский язык занимает в этом отношении промежуточную позицию между двумя крайностями – ярко выраженным самоуничижением в азиатских культурах и откровенным эгоцентризмом английского языка, где, например, личное местоимение «я» пишется с большой буквы («символ национального эгоизма», по В. Хафсеру (Havers, 1931, S. 185)). Вот что пишут К. Шинобу и Х. Маркус в сравнительном анализе индивидуалистической американской культуры, где широко распространено «самовозвышение», и коллективистской японской, где принято заниматься «самоуничижением»: «Мы остановимся на одном частном явлении, распространённость которого в западной литературе оказалась очень сильной, а именно на наблюдаемой тенденции ставить себе в заслугу свои успехи и обвинять других в своих неудачах. Это явление самовозвышения тем более загадочно, что оно не проявляется в других, а особенно в азиатских культурах, заменяясь явлением самоуничижения... В целом самовозвышение кажется особенно распространённым в американской, но не в японской культуре... Самоуничижение с точки зрения отдельной личности можно рассматривать как результат тактического поведения, призванного убедить окру-

жающих в собственной скромности – предпочтительная модель поведения во многих неевропейских культурах» (цит. по: Вежбицкая, 2001, с. 135).

Хотя эту цитату приводит А. Вежбицкая, она не распространяет её действие на русскую культуру. Не обращает она внимание и на тот факт, что цитируемые ею авторы подчёркивают нежелание представителей западной культуры перенимать ответственность за свои неудачи на себя, предпочитая обвинять в неудачах других (а ведь именно ростом личной ответственности она объясняет исчезновение имперсонала).

Примечательно, что реакция японцев на комплименты примерно соответствует русской: человек отрицает личную заслугу и часто списывает всё на внешние обстоятельства (Вежбицкая, 2001, с. 137–138). Если хвалят близких ему людей, то он действует по «культурному сценарию», также близкому и понятному русскому человеку: «Когда кто-то говорит мне что-то хорошее о моих детях, я не должен говорить этому человеку что-то вроде: "я тоже так думаю", я должен сказать что-то вроде: "я так не думаю". В то же время я должен сказать что-то плохое о моих детях. Хорошо, если в то же время я скажу что-то плохое и о себе» (Вежбицкая, 2001, с. 139).

Заметим, что негативное отношение русских к самохвалству отразилось и в высокой частотности данного слова: меты с составляющей «самохвал*» встретились в корпусе русской классики в общей сложности 36 раз, в корпусе литературы советского периода – 11, в корпусе постсоветской литературы – 4, в первом корпусе переводов с английского – 2, во втором – 6, в переводах с немецкого – 5 (о немецкой самокритичности мы говорили ранее), в переводах с французского – 1 (данные по мегакорпусу: досоветская литература – 194, советская – 60, постсоветская – 125, переводы с английского – 10). Поисковая формула «бахвал*, хваст*, похвалиться, похвальба, хвалиться, самовосхваление, фанфарон*» выдаёт в мегакорпусе 2 773 меты по классике, 2 203 – по советской литературе, 1 374 – по постсоветской (возможно, это свидетельствует о постепенном отходе от данной культуремы), 2 246 – по переводам с английского. Учитывались все формы всех слов.

Примечательно также, что русские, судя по частотности некоторых выражений в художественной литературе, более склонны принимать вину на себя, обвинять себя и каяться, чем англичане: формула «я виноват* / я сам* виноват* / я был* сам* виноват* / моя вина / мы виноваты / мы виновны / несую вину / несём вину / наша вина / мы сами виноваты / мы были сами виноваты / каюсь / каемся» выдаёт в мегакорпусе в среднем 934 результата по русским корпусам и 721 – по английскому, причём от добавления или удаления отдельных фраз из формулы соотношение не меняется. Отрицания вины («не моя вина» и т.п.) мы отфильтровали.

Вот что пишет о традиционной склонности русских к самокритике упоминавшееся выше фундаментальное исследование русской культуры «Русские» (особое внимание следует обратить на замечание автора о критической направленности русской художественной литературы, дающее

ещё один повод с большой долей сомнения относиться к тем высказываниям классиков о русских, которые обычно приводят приверженцы теории пассивности и фаталистичности русского народа): «Похвала самому себе, бахвальство обычно встречали ироническое, осуждающее отношение односельчан. "В хвасте нет сласти" – гласит пословица. "Сласть" ощущали в самоосуждении – эта глубоко христианская норма органично вошла в русский национальный характер (отсюда, по-видимому, и доверчивое принятие всякого рода очернений своего народа от внешних сил). Ценилась не только правдивость, но подчёркнутая критика своих недостатков. Эта черта народной нравственности укреплялась в каждом за счёт обязательной исповеди перед причастием. Заметим попутно, что личное самоосуждение, как распространённая черта национального характера, в общественном плане вылилась в критическое направление русской художественной и социальной литературы. Но, как только это направление оторвалось от глубинной религиозной основы, оно превратилось в негативную силу, разрушающую общество» («Русские», 1997, с. 668).

Из-за чрезмерно критического отношения русских авторов к своему народу любой социолог или культуролог, пожелавший бы подкрепить своё мнение о негативных чертах русских, будет иметь в своём распоряжении обширный корпус цитат из художественной и публицистической литературы. Описание же позитивных характеристик будет неизменно сталкиваться с трудностями, неизвестными авторам, воспевающим западные культуры.

Возможно, именно в контексте проявления культураности, названной «Принцип скромности», в сочетании с ярко выраженной склонностью русских к самокритике, доходящей иногда до самоуничтожения, следует рассматривать слова профессора МГИМО МИД РФ Владимира Мединского о стереотипах, сложившихся на Западе о русском народе, в том числе о русской лени: «Люди склонны думать о себе хорошо, и, как правило, даже лучше, чем они есть на самом деле. Однако, исторически сложилось, что, в отличие от многих народов, которые пытаются представить себя в глазах других с более выгодной стороны, жители России культивируют о себе негативное представление. [...] Также неверен и миф о русской лени, отраженный в сказках о Емеле на печи...» («Депутат Госдумы Мединский опровергает мифы о пьянстве и лени русских», 2007). Более подробная аргументация представлена им в книге «Мифы о России. О русском пьянстве, лени и жестокости», вышедшей в 2007 г. в издательстве «ОЛМА Медиа Групп» (впрочем, судя по рекламной кампании, в данном случае речь может идти о конъюнктурном авторе; нам эта работа была недоступна).

Если учитывать, что многочисленность русских безличных конструкций компенсируется многочисленностью английских пассивных, можно предположить, что Принцип скромности будет выражаться в английском страдательном залоге. Действительно, существует такое понятие, как «пассив скромности» (Passive of Modesty) (Schneider, 1959, S. 133), под ко-

торым подразумевается употребление пассивной конструкции для описания собственных действий без указания агенса. «Пассив скромности» особенно распространён в научном и деловом стиле. По мнению английских и американских стилистов, «пассива скромности» необходимо избегать, как и любого другого вида пассива: «Активный залог является естественным, именно им обычно пользуются в речи и на письме, его употребление реже приводит к многословности и неясности. Пассива скромности, используемого писателями для удаления 1 л. ед. ч., следует избегать. [Фраза – Е.З.] "Я открыл" короче и понятней, чем "Было открыто"» (Huth, 1994, p. 38).

Действительно, личный стиль, избегающий удаления первого лица, встречается в английской и американской научной литературе всё чаще.

По нашему мнению, определённую роль в недооценивании Принципа скромности при рассмотрении проблемы имперсонала сыграло то обстоятельство, что в России широко распространено мнение о невежливости русских по сравнению с англичанами, причём эта невежливость якобы отражается и в языке: «В результате постоянного интереса к человеческой личности как центру западной идеологии, на который направлены усилия и политики, и экономики, и культуры, английский язык и добрее, и гуманнее, и вежливее к человеку, чем – увы! – русский язык» (Тер-Минасова, 2000, с. 223). Никаких результатов количественных исследований не приводится. Заметим также, что некоторые последователи А. Вежбицкой в России даже в скромной вежливости русских видят проявление пассивного отношения к жизни. Так, Е.И. Ким утверждает, что русское выражение «Не стоит благодарности» есть, по сути, не проявление скромности, а специфическая форма отказа от ответственности за последствия своего действия (Треблер, 2004, с. 148); и это при том, что эквивалент данного выражения можно без труда найти в любом европейском языке, напр. нем. “Nichts zu danken”. По частотности данного выражения русский тоже ничем не выделяется: в корпусах русской литературы оно встречается в среднем 6 раз, в английских – 8, в немецком – 13, во французском – 2 (по данным мегакорпуса: в среднем по русским корпусам – 28, в английском – 78). Таким образом, выделяется скорее французский, причём невежливостью его носителей. Если считать выражение «Не стоит благодарности» действительно специфической формой отказа от ответственности за последствия своего действия, то, исходя из данных мегакорпуса, следовало бы признать данную характеристику менталитета за англичанами и американцами. Впрочем, едва ли можно считать частотность подобных выражений надёжным критерием, так как она зависит и от множества других факторов, от удельного веса диалогов в текстах до правил этикета в том или ином обществе того или иного периода истории.

14.2. Коллективизм

Довольно часто можно встретить утверждение, что многочисленность безличных конструкций в русском языке обусловлена коллективизмом его носителей: «О пристрастии русского синтаксиса к безличным оборотам написано много. В этой особенности грамматики русского языка видят и фатализм, и иррациональность, и алогичность, и страх перед неопознанным, и агностицизм русского народа. Возможно, в этом и есть что-то правильное. [...] Думается, что одним из объяснений этого синтаксического пристрастия русского языка может быть все тот же КОЛЛЕКТИВИЗМ менталитета, стремление не представлять себя в качестве активного действующего индивидуума (это, кстати, и снимает ответственность за происходящее)» (Тер-Минасова, 2000, с. 214).

«На уровне высказывания сигналы индивидуализма и коллективизма проявляются, соответственно, в предпочтении носителями английского языка личных конструкций типа *I got it, I see, I wonder, I wish, I'd like* и т. д., в то время как носители русского языка используют безличные конструкции *понятно, ясно, интересно, жаль, хотелось бы* и т. д.» (Рудакова, 1997).

С.Д. Кацнельсон объяснял развитие имперсонала слабым сознанием субъекта (индивида), а причину перехода к номинативному строю усматривал в разложении первобытно-коммунистических отношений, выделении личности из коллектива (Кацнельсон, 1986, с. 162, 166). О. Есперсен предположил в исчезновении безличных конструкций английского языка (как и в перестройке пассивных конструкций, где вместо аккузатива и датива стали употреблять номинатив) выражение растущего интереса к личности (Jespersen, 1918, p. 95–96; Jespersen, 1894, p. 217, 231–232). На это А. фон Зеефранц-Монтаг замечает, что во времена, когда процесс превращения прямых и косвенных дополнений в подлежащее подходил к концу (XIV в., по данным Б. Бауэр – XIV–XV вв. (Bauer, 2000, p. 133)), ни о каком росте интереса к личности не могло быть и речи (von Seeffranz-Montag, 1983, S. 127). Действительно, возникновение индивидуализма в Англии принято связывать с протестантизмом, возникшим только в XVI в. Правда, О. Эмерсон утверждает, что «тевтонские предки» англичан с самого начала придерживались «высоких стандартов индивидуальной свободы» (Emerson, 1906, p. 12), но в этом случае связь между индивидуализмом и имперсоналом тем более сомнительна, так как получается, что индивидуалистические ценности минимум полтысячелетия (с заселения Британских островов до активной фазы аналитизации) сочетались с использованием безличных конструкций. Н. МакКоли заметила касательно того же предположения Есперсена, что совершенно непонятно, почему носители английского заинтересовались личностью именно в районе 1300 г. (период активной замены безличных конструкций личными) (McCawley, 1976, p. 199).

Многие западные учёные не соглашались с теориями о первобытном «коммунизме» и коллективизме. Так, В. Хаферс утверждал, что уже у древнейших людей была частная собственность, причём настолько неприкосно-

венная, что её не рисковали делить между собой даже после смерти индивида, а клали к нему в могилу (Havers, 1928, S. 82). Он указывает, что у пигмеев, сохранивших первобытный уклад жизни, не всё общее, а есть и отдельные личные предметы (Havers, 1928, S. 90). Кроме того, он полагает, что все первобытные люди были уже индивидами с личным сознанием и личной волей, а не однородной стаей (первобытный индивидуализм), хотя и нельзя их назвать хищными эгоистами (Havers, 1928, S. 93). Как было показано выше, Хаферс склонен верить во вторичность безличных конструкций, то есть их полное отсутствие в древнем языке.

Хотя З.К. Тарланов слово «коллективизм» не употребляет, в его объяснении многочисленности безличных конструкций чуждостью русским эгоцентризма угадываются те же мысли: «Безличное предложение связано с особенностями выражения причинности, а русская ментальность с сомнением относится к этой идее. Если причина явления, описанного глаголом, пока неизвестна, честнее это и указать. Также следует указать опущенный в высказывании предмет, который не действует, но в котором действие проявляется. *Светаёт. Хочется. Смеркалось... И верится, и плачется, и так легко, легко...* Кому? Кто верит и плачет? Не *он*, хотя в *нём* всё это и происходит. Актуализован признак, отвлечённый от вещи-лица, и с косвенной его оценкой, данной лексически. По справедливому суждению [проф. З.К. – Е.З.] Тарланова, всё это – отражение национальной специфики русского мышления: тенденция к абсолютизации предикативного члена и развитие безличных конструкций, а тем самым, конечно, перенесение акцента со **слова = идеи** (как у номиналистов) на **вещь = идею** (основная установка реалистов). А это свидетельствует (вернёмся к мнению профессора Тарланова) о многомерности и потому открытости русской ментальности, чуждости для неё эгоцентризма, огромном запасе потенциальной терпимости к другим культурам, и вообще – о силе творческой энергии» (Колесов, 2004, с. 225).

Хотя сам коллективизм на более ранних стадиях развития русского общества (дореволюционной, советской) отрицать невозможно¹, связывать его с безличными конструкциями представляется нам преждевременным, так как синтетические языки, где обычно встречаются конструкции такого рода, в равной мере распределены от диких племён Австралии до Западной Европы, как среди индивидуалистических, так и среди коллективистских народов. Кроме того, нет никаких оснований ассоциировать коллективизм с фатализ-

¹ Ср. «...новая мораль, ставшая тем, что называется советской ментальностью, в неявном, скрытом виде все же сохраняла основополагающие элементы и многие ценности традиционного старого воспитания. Главнейшая из них – коллективизм. Не признаваясь в происхождении, советский менталитет впитал и усвоил то главное, что присуще православию – религии, которая, в отличие от католицизма и протестантизма, не настаивает на необходимости личных, индивидуальных достижений. Соборность – это не пустой звук; советская ментальность на свой лад переиначила идею соборности как идею коллективизма: важно не то, что сделал ты сам; важно то, что ты находишься в коллективе и что твой труд поэтому – достижение всего коллектива. В советское время стандартным обвинением было обвинение в индивидуализме; слово "индивидуализм" являлось ругательным; "отрыв от коллектива" даже "во имя личных достижений" считался безусловно отрицательным поступком» (Сараскина, 2000, с. 8).

мом, иррациональностью, алогичностью, стремлением не представлять себя в качестве активного деятеля и страхом перед непознанным (то есть всем тем, что видят этнолингвисты в русских безличных конструкциях). К сожалению, западная культурология в силу исторических причин (холодная война, страх перед революциями) уже много десятилетий занимается демонизацией коллективистских обществ и всего, что с ними связано. После 1991 г. накопленный пласт околонучной пропаганды о вреде коллективизма и его несовместимости с прогрессом распространился через реэмигрантов, диссидентские издания, переводы ранее запрещённых западных работ и т.д. и в России.

Вместо того чтобы подвергать критике какую-то из этих работ или все сразу, рассмотрим, как легко западные культурологи меняют своё мнение о коллективизме, когда видят несоответствие своих заидеологизированных изысканий реальности. Например, ещё со времён М. Вебера считалось, что конфуцианство блокирует экономическое развитие тех стран, где оно является доминирующей или влиятельной религией, поскольку конфуцианская этика якобы пропагандирует созерцательность (пассивное отношение к жизни), иррациональность, мистицизм, традиционализм, приспособление к миру вместо его изменения и крепкие социальные связи (протестантизм, напротив, пропагандирует только крепкую связь с Богом, а в остальном не настаивает на поддержании стабильных отношений с окружающими); то же касается религий других коллективистских стран типа индуизма и буддизма (Wienges, 2003, S. 31–32), то есть «коллективистским» религиям Азии приписывалось то же негативное влияние на умы и мировоззрение, которое современные русские западники приписывают православию. Когда же во второй половине двадцатого века целый ряд азиатских стран – Япония, Китай, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Сингапур, Южная Корея, Индия, Малайзия, Гонконг – неожиданно стали активно развиваться и во многом нагнали Запад, культурологическая теория была подправлена, так что теперь даже в работах самых известных и влиятельных авторов, включая Г. Хофстеде (Hofstede, 2002, p. 437–438), можно прочесть, что восточноазиатские страны добились успеха именно благодаря коллективизму, что «феноменальный экономический прогресс Японии был достигнут благодаря поддержке связей между людьми (human-relatedness), а не вопреки ей» (Kim, 1995, p. 25), что конфуцианская этика пропагандирует не отрешение от мира, а трудолюбие (Wienges, 2003, S. 32), что сильное вмешательство государства в экономику способствует экономическому развитию стран с коллективистской идеологией, тем более что «свободный рыночный капитализм подходит странам, которые уже достигли богатства, и едва ли способен обогатить бедные страны» (Hofstede, 2002, p. 432). Даже в работе брата А. Чубайса можно найти следующие строки: «Так вот, в Японии фиксируемый в последние годы рост индивидуализма ведёт к снижению темпов экономического роста. Таким образом, распространённое у нас в результате некорректной экстраполяции идей М. Вебера мнение о том, что коллективизм и рынок несовместимы, ошибочно. Жёсткой, прямой корреляции между ними не существует» (Чубайс, 2000). Есть, конечно, и противники этого мнения, но сам факт, что многие культурологи с такой

лёгкостью сменили отношение к целым культурам с минуса на плюс, показывает, что в случае культурологии теория, ещё слабо разработанная и во многом требующая эмпирического подтверждения, следует за практикой, будучи не в состоянии предсказать её.

Неверно и предположение, что коллективисты удаляют личность из высказываний, а индивидуалисты – нет. В качестве примера, иллюстрирующего ошибочность атрибуции коллективистской системы ценностей носителям языков, склонных к опусканию подлежащего (то есть удаляющих индивида из высказываний), рассмотрим итальянский язык. Как упоминалось выше, в итальянском языке подлежащее, выраженное местоимением, обычно опускается, так как слушателю не составляет труда восстановить его по форме глагола. При этом итальянская культура является одной из самых индивидуалистичных в мире: согласно международным опросам Г. Хофстеде (более 50 стран-участниц)¹, по уровню индивидуалистичности Италию превзошли только Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Австралия и США (Wienges, 2003, S. 144). Соответственно, значение личности в итальянской культуре чрезвычайно высоко, что, однако, не мешает носителям итальянского удалять её из своих высказываний. По сравнению с английским в итальянском достаточно широко распространены и безличные конструкции, также употребляющиеся без подлежащих (статистика была приведена выше): кроме традиционной сферы природных феноменов (*piovere* (идти (о дожде)), *nevicare* (идти (о снеге)), *tuonare* (гремять), *lampeggiare* (сверкать (о молнии)), *grandiare* (идти (о граде)), *diluviare* (лить (о дожде)), *albeggiare* (рассветать), *annottare* (смеркаться), *gelare* (морозить) и т.д.) к ним относятся и многие другие случаи: *È meglio* (Лучше); *Sta bene* (Идём / Хорошо); *Va male* (Не везёт); *È necessario* (Нужно. Необходимо); *Mi piace* (Мне нравится) и т.д.

Справедливости ради надо отметить, что работ, где доказывалась бы связь между частотностью бесподлежащих конструкций и коллективизмом, не так много. В частности, Т.В. Ларина видит в отсутствии субъектов в японских предложениях признак коллективизма; по её данным, в 75 % высказываний на японском отсутствует субъект (Ларина, 2004). Этот же автор видит признак ориентации на индивидуализм в многочисленности английских личных конструкций в противовес русским безличным. Э. и Й. Кашима утверждают, что, по данным проверенных ими 39 языков, коллективистские культуры более склонны к опусканию личных местоимений-подлежащих (Kashima, 1998, p. 461–486; ср. Kashima, 2003, p. 126). При подробном рассмотрении их

¹ Ср. определение коллективизма / индивидуализма, взятое с Интернет-страницы Г. Хофстеде: «Понятие "индивидуализм", противопоставляемое "коллективизму", относится к степени интеграции индивидов в группы. В индивидуалистических обществах связи между индивидами слабые; предполагается, что каждый должен заботиться о себе и своей семье сам. В коллективистских обществах люди интегрированы в сильные, устойчивые группы, в том числе большие семьи (включающие дедушек, бабушек, дядь и тётъ), которые защищают их в обмен на полную преданность группе. Слово "коллективизм" не имеет здесь никаких политических коннотаций, оно относится к группе, а не к государству» (Hofstede, 2007 a; ср. Kashima, 2003, p. 125–126; Intercultural Communication. A Global Reader, 2007, p. 9).

результатов становится, однако, ясно, что существует и чисто лингвистическое объяснение данного феномена: в тех «коллективистских» языках, на которые они ссылаются (японский, корейский), глагол слишком походит на существительное, о чём мы уже говорили выше. Те же аналитические языки, которые попали в список «коллективистских» (например, испанский), сохранили обширную систему глагольных флексий, позволяющую восстановить подлежащее по окончанию, ср. исп. *hablo* (я говорю), *hablas* (ты говоришь), *habla* (он / она говорит), *hablamos* (мы говорим), *habláis* (вы говорите), *hablan* (они говорят). С другой стороны, те языки, в которых Э. и Й. Кашима видят отражение индивидуализма (английский, немецкий), редко отходят от порядка слов SVO из-за высокой степени аналитизации. Хотя у каждого языка есть свои особенности, данные языковой статистики достаточно однозначны: субъекты можно обычно опускать в тех языках, где глаголы отражают ту же информацию во флексиях. Так, из 104 языков, исследованных Г. Гиллэном, в 76 допускалось опускание субъектов при возможности отражения той же информации в глаголах, в 17 допускалось опускание без отражения (как в китайском, где глаголы больше походят на существительные), в 2 опускать подлежащее нельзя, хотя у глаголов есть соответствующие окончания (не отражающие, однако, всю полноту информации, как в исландском, где окончания 2 и 3 л. ед. ч. совпадают), в 9 нельзя опускать, так как нет или почти нет окончаний, как в английском (Platzack, 2003, p. 331).

Причину индивидуализации культур Й. Кашима видит в индустриализации и распространении капитализма с его акцентом на личных достижениях и разрушении или ослаблении связей между людьми (Kashima, 2003, p. 125–126). Если язык той или иной культуры по какой-то типологической причине не позволяет опускать подлежащее, это может дополнительно стимулировать индивидуализацию, то есть автор видит в данной характеристике языков не только следствие индивидуализации, но и одну из её причин (Kashima, 2003, p. 132). Важным стимулом индивидуализации автор считает всеобщее благосостояние, в чём противоречит М. Веберу, считавшему не индивидуализм следствием процветания той или иной страны, а процветание страны следствием индивидуализма.

Ещё одним примером, ставящим под сомнение корреляцию между индивидуализмом / коллективизмом и количеством безличных конструкций, является китайский язык. Если бы такая связь существовала, то особенно много безличных конструкций встречалось бы именно в нём (по данным Г. Хофстеде, уровень индивидуализма в Китае низок даже для Азии: 20 пунктов по сравнению с 24 пунктами в азиатских странах и 43 пунктами в среднем по миру (Hofstede, 2007 а)), чего, однако, не наблюдается. В частности, как пишет лингвист из КНР С.С. Бэнь, при переводе с русского на китайский безличные конструкции обычно заменяются личными, в чём он, будучи под влиянием А. Вежбицкой, усматривает особенности национального характера: «Более всего национально-специфическим явлением русского языка на синтаксическом уровне считаются безличные предложения, выражающие категорию безличности и неопределённости (Н.Д. Арутюнова). Эта категория

безличности напрямую связывается с менталитетом русского народа, а именно верой его в судьбу, фатальность и неизбежность событий, происходящих в отстранении от деятеля (Анна Вежбицкая). Категория безличности не свойственна многим языкам, в том числе и китайскому. Поэтому, встречая безличное предложение, говорящий на китайском языке не просто заменяет безличную конструкцию личной [при переводе с русского – Е.З.], но и меняет образ своих мыслей. Действие без деятеля представляется в китайском языке чаще всего невозможным. Хотя определённые эквивалентные безличным предложениям конструкции здесь встречаются» (Бэнь, 2002).

В частности, речь идёт о конструкциях состояния типа *Темнеет (Tian bian hei le)* и *Мне не спится (Wo bu neng ru shui)*, где в китайских переводах на первом месте наличествует субъект (Яньян, Заметалина, 2004). Можно, конечно, аргументировать, что коллективизм не смог выразиться в китайском имперсонале, так как в китайском нет флексий (ср. Крапп, 1909, р. 47). С этим аргументом, однако, не согласуется то обстоятельство, что бессубъектные предложения в китайском довольно распространены. Любопытно, что в китайском письменном языке насчитывается до десятка местоимений со значением «я» (Бабаев, 2007), в чём при желании можно было бы усмотреть признак яркого индивидуализма (и его наверняка усмотрели бы, если бы китайская культура считалась индивидуалистической). К.В. Бабаев объясняет данную особенность китайского тем, что языкам с отсутствующим личным глагольным словоизменением свойственно многообразие однозначных личных местоимений.

Исследователи из Болгарии под влиянием А. Вежбицкой в последнее время также начали противопоставлять «активных» болгар «пассивным» русским: «Анализ некоторых безличных конструкций в русском языке и их соответствия в болгарском позволяют выдвинуть тезис о "духе" грамматики обоих языков: болгарский язык характеризуется активностью, русский язык – бессубъектностью и неагентивностью» (Легурска, 2000). На самом деле, болгарский является наиболее аналитизированным из всех славянских языков, что обусловлено его сильным смешением с другими языками (Болгария была с XIV по конец XIX в. под игом Османской империи, причём освободили её русские). У. Хинрихс, например, пишет, что ускоренная аналитизация наблюдается обычно в условиях усиленных, продолжительных, преимущественно устных контактов нескольких или многих языков при невозможности полного овладения одним из них; в качестве примеров он приводит Англию после Норманнского завоевания, Германию нынешнего периода (из-за миллионов гастарбайтеров), Римскую Империю в 300 г. и средневековую Болгарию (Hinrichs, 2004 b, S. 28; ср. Hinrichs, 2004 a, S. 234). В другой статье этот же автор рассматривает теорию креолизации болгарского в VII или XII–XIII вв. при контактах с западнотюркским протобулгарским языком (Hinrichs, 2004 a). Ускорением аналитизации по сравнению с другими славянскими языками объясняется, среди прочего, исчезновение безличных конструкций. Так, А.А. Градинарова в статье «Замечания о болгарских функциональных соответствиях русских безличных конструкций» пишет, что в болгарском импер-

сонал представлен меньшим разнообразием форм, по сравнению с русским, но объясняется это его аналитизмом («Для языка с аналитизмом в системе именного склонения, такого, как болгарский, безличные конструкции с переходными предикатами особенно проблематичны»), неразвитость имперсонала компенсируется развитостью пассива («Как известно, в языках с аналитическим строем пассив очень распространён, и болгарский язык в этом отношении не представляет исключения»; «Болгарская конструкция пассива является одним из основных функциональных эквивалентов русских безличных предложений с транзитивными предикатами»), используются также неопределённо-личные конструкции, декаузатив и грамматическая персонификация типа *когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце > когато парата излезе от малкото прозорче* (пар представляется псевдоагенсом, самостоятельно выходящим через волоковое оконце) (Градинарова, 2007 б). Уровень индивидуализма составляет в Болгарии 49 пунктов по шкале Хофстеде, что значительно выше, чем в Китае, но в 2 раза ниже, чем в США (91 пункт) (Davidkov, 2004, p. 13), то есть она занимает промежуточную позицию между ярко индивидуалистскими и ярко коллективистскими странами. По данным, взятым с Интернет-страницы Г. Хофстеде, уровень индивидуализма в Болгарии даже ниже – 30 пунктов (Hofstede, 2007 b). Для сравнения рассмотрим данные по другим странам (источник тот же): Чехия – 58, Эстония – 60, Польша – 60, Россия – 39, Румыния – 30, Словакия – 52, Венгрия – 80, Турция – 37, Греция – 35 (по остальным близлежащим странам Восточной Европы данных нет). Таким образом, среди ближайших соседей Болгария выделяется скорее коллективизмом, чем индивидуализмом.

Предположение, что в исчезновении имперсонала могло отразиться активное, деятельное отношение к жизни, выглядит сомнительно в свете той социальной обстановки, которая была характерна для периода распада имперсонала в английском. Историки свидетельствуют, что английское общество после Норманнского завоевания было кастовым, а не классовым, и люди, родившиеся несвободными (а таковых было большинство), при всём желании и напряжении сил не могли подняться по социальной лестнице (Tristram, 2004). Сын сапожника становился сапожником, сын купца – купцом, сын кузнеца – кузнецом. Страной правили 144 прибывших из Нормандии барона (далее – их наследники), местная элита была физически уничтожена, новые люди в этот круг не допускались¹. Откуда в языке народа, который не мог сделать ничего, чтобы более или менее значительно улучшить свои жизненные обстоятельства, чтобы освободить свою страну от жестоких оккупантов, могли появиться столь наглядные признаки «активизма»? Вплоть до начала XX в. английское общество оставалось разделённым на более или менее состоятельную верхушку и малоимущих граждан, представляющих собой абсо-

¹ Кстати, именно физическим уничтожением элиты – носительницы литературного древнеанглийского языка – Х. Тристрам объясняет резкий переход к аналитическим формам после Норманнского завоевания. На самом деле, полагает она, в устной речи переход был не столь резким, но в письменных источниках стали фиксировать более анализированную разговорную речь только после смены элиты (Tristram, 2004).

лютное меньшинство. Дж. Лондон написал в 1903 г. следующее о среднестатистических английских рабочих (книга очерков «Люди бездны»): «Для молодого рабочего, или работницы, или супружеской пары не существует уверенности в счастливой и здоровой жизни, когда они достигнут средних лет, или в обеспеченной старости. Сколько бы они ни работали, они не могут обеспечить своё будущее. Всё дело случая, всё зависит от непредвиденных случайностей, в которых они не вольны. Меры предосторожности не могут отворотить их, никакие уловки от них не спасут. Если они останутся на промышленном поле сражения, им придётся встретить опасность лицом к лицу и идти на риск против неравных шансов»¹.

Он приводит также слова профессора Т.Г. Хексли, английского учёного-биолога, ближайшего соратника Ч. Дарвина: «Каждый, кто знаком с крупными промышленными центрами в Англии и за границей, знает, что большая и всё увеличивающаяся часть населения живет там в условиях, которые французы называют “la misere”. В этих условиях человек лишен самого необходимого для нормальной жизнедеятельности его организма: пищи, тепла и одежды. В этих условиях мужчины, женщины и дети вынуждены ютиться в каких-то звериных логовах, жизнь в которых несовместима с понятием о приличии; люди лишены всяких средств для поддержания здоровья, а пьянство и драка — единственно доступные для них развлечения. Голод и болезни многократно увеличивают страдания, усугубляют физическое и нравственное вырождение, и даже упорный, честный труд не помогает в борьбе с голодом, не спасает от смерти в нищете».

Жизнь деревни автор описывает в не менее мрачных тонах. Заметим, что Дж. Лондон в данном случае подтверждает свои слова и обширной статистикой, и ссылками на знаменитых учёных своего времени, и личным опытом (книга основывается на его личных впечатлениях от жизни в трудовых кварталах Лондона). Он не отрицает, что Англия является одной из самых богатых стран мира, но многократно подчёркивает, что почти всё богатство сконцентрировано в руках небольшой группы людей, преступно равнодушной к бедам большинства: «Кто посмеет возразить против того, что она [Англия — Е.З.] управляется преступно, если пять человек в состоянии напечь хлеба, чтобы накормить тысячу ртов, и тем не менее миллионы людей живут впроголодь?»

Вероятно, приписывание русским пассивного отношения к жизни — это та же стратегия, которая применялась на Западе испокон веку ко всем «внешним» народам, то есть народам, не относившимся к западному миру и не вызывавшим у него особого уважения. Например, в лингвистической и антропо-

¹ Сопоставим это высказывание со следующим отрывком из книги А.И. Герцена «Былое и думы» (написана в 1852–1868 гг.): «Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломались в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, — человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести».

логической литературе можно найти множество примеров приписывания пассивности и созерцательности жителям африканского континента. Мы приведем здесь только один пример из словаря африканского пиджина фанагало (S. Aitken-Cade. *So you Want to Learn the Language: An Amusing and Instructive Kitchen Kaffir Dictionary*. Salisbury: Centafrican Press, 1951):

«LIE [лежать], глагол... Примечательно, что [в фанагало – Е.З.] так мало слов, описывающих этот тип национального времяпрепровождения африканцев.

BEAT [бить], глагол... "Я тебя ударю" – "Mena chaiya wena". Если Вы собираетесь добиться эффекта, сначала сделайте это, а затем уже говорите» (S. Aitken-Cade, цит. по: Mühlhäusler, 1986, p. 26).

Как видно по второму слову (*beat*), отношение автора словаря к носителям языка (жителям Замбии и Зимбабве) нельзя назвать уважительным. Р. Флетчер так описывает черты национального характера британских кельтов, отразившегося в их литературе: эмоциональность, непрактичность, созерцательность и угрюмый фатализм (Fletcher, 2004). Им он противопоставляет сильных, веселых и энергичных германцев, живших преимущественно набегами и грабительскими войнами, почитавших Бога войны превыше всех остальных Богов и ставших со временем одной из главных «мировых рас» благодаря именно этим качествам. Кельты не могли долго противиться германцам из-за своей «расовой дефективности» (Флетчер писал свою книгу в начале XX в., когда в Англии и США о расовой неполноценности других народов ещё говорилось открыто). Жителям Индии, чья страна была покорена и разграблена во времена империализма, также охотно приписывают фатализм (Griffith-Dickson, 2003; Echenberg, 2002; Nirmal, 2001; Bhagwati, Panagariya, 2004), иррационализм и нелогичность мышления (Durganand, Tripathi, 1995, p. 125–126; Stewart, 1996; Siraj, 2000). Популярным стереотипом являются непредсказуемость, иррациональность (Hoxie, 1996, p. 99), пассивность и фатализм американских индейцев (ср. Martinez, 1997; Smither, 1933; Saldana-Portillo, 2003, p. 283). Австралийские народы были объявлены пассивными даже вопреки тому, что в их языках нет ни пассива, ни безличных конструкций (см. выше). Складывается впечатление, что любой незападный народ в тот или иной период истории записывался западными учёными в пассивные, фаталистичные, иррациональные и неполноценные, чем обосновывалось моральное право либо этот народ уничтожить, либо его покорить. И если о расовой неполноценности после Второй мировой войны больше не говорят из страха перед обвинениями в профашистских взглядах, то остальные ярлыки используются по-прежнему. Это, конечно, касается не всех учёных. Например, К. Клакхон утверждал, что характер советского человека, каким его формирует советская система образования, основан на «практической активности», в то время как в дореволюционные времена для русских была характерна «зависимая пассивность». Впрочем, в этом он видит драму русского народа, характер которого насильно ломают и перестраивают по лекалам меньшинства (Мельникова, 2003, с. 12).

Более чем сомнительна и постулируемая некоторыми культурологами («Intercultural Communication. A Global Reader», 2007, p. 14) связь между фа-

тализмом и низким уровнем индивидуализма. Если исходить из результатов международных опросов Г. Хофстеде, американцы являются самой индивидуалистичной нацией в мире (Hofstede, 2007 b; "Intercultural Communication. A Global Reader", 2007, p. 10). Тем не менее, в их художественной литературе фаталистичная лексика встречается чаще, чем в британской. Так, в антологии "English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain" формула поиска "destin* / fate / predestin* / providence / doom*" выдаёт в общей сложности 1 744 результата по выборке американских произведений и 1 520 – по выборке британских. Объём каждой выборки – 39 700 страниц. Слово "providence" вводилось в поиск только с маленькой буквы, чтобы отсортировать географическое название. Выборка по США состояла из произведений следующих авторов: Bellamy, Edward; Bierce, Ambrose Gwinnett; Cooper, James Fenimore; Crane, Stephen; Douglass, Frederick; Emerson, Ralph Waldo; Franklin, Benjamin; Harte, Bret; Hawthorne, Nathaniel; Henry, O.; Irving, Washington; James, Henry; London, Jack; Longfellow, Henry Wadsworth; Melville, Herman; Poe, Edgar Allan; Quincey, Thomas de; Stowe, Harriet Beecher; Twain, Mark; Washington, Booker Taliaferro; Whitman, Walt. Выборка по Англии состояла из работ следующих авторов: Austen, Jane; Boswell, James; Burns, Robert; Butler, Samuel; Byron, George Gordon Lord; Carroll, Lewis; Coleridge, Samuel Taylor; Conrad, Joseph; Dickens, Charles; Doyle, Sir Arthur Conan; Eliot, George. Объём выборки обусловлен немногочисленностью произведений американских авторов в данной антологии. В статье «Имперсонал в немецком, русском и английском: квантитативный подход» мы показали, что в произведениях американских авторов, по сравнению с британскими, также несколько чаще встречаются безличные конструкции (Зарецкий, 2007 а).

Относительно связи между коллективизмом и фатализмом мы обратились также к доктору культурологии А.В. Шипилову. Вот его ответ (получен по электронной почте в августе 2007 г.): «По Вашим вопросам: касательно первого могу заметить, что, в принципе, жёсткой связи между коллективизмом и фатализмом / пассивизмом [= пассивным отношением к жизни – Е.З.] не существует. Это евроамериканский автостереотип эпохи Нового времени и особенно Просвещения, в связи с чем конструируемый Чужой (быть собой – это не быть другим, поэтому для обретения идентичности необходим Другой, от которого можно оттолкнуться), будь то турки, китайцы или русские, коллективистичен, фаталистичен, пассивен, авторитарен, патриархален и т.д. – чего ещё можно ожидать от "восточной деспотии", в то время как "мы" обладаем прямо противоположными характеристиками. Для Ренессанса по Буркхардту это, может быть, и так, но, например, для античности – прямо наоборот: для эллинов классики был свойствен полисный коллективизм и в то же время мощный активизм, а для эпохи эллинизма с его индивидуализмом характерен стоицизм, вера в Тюхе, Рок, Фортуну, Фатум и т.п. То же самое у римлян: республиканский Рим дает нам коллективистский активизм, а имперский, особенно эпохи домината – индивидуалистский пассивизм / фатализм / иррационализм».

Особенно странными представляются высказывания о пассивном русском фатализме в свете истории Второй Мировой войны. Вспомним, что гитлеровцы оправдывали свои неудачи на восточном фронте именно активным, деятельным русским фатализмом. В частности, уже 29 июня 1941 г. рупор немецкого правительства газета “Völkischer Beobachter” писала: «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падёт мертвым в рукопашной схватке» (цит. по: Фуллер, 1956). Похожее мнение мы находим в немецкой газете “Frankfurter Allgemeine Zeitung” от 6 июля 1941 г. (цит. по тому же источнику): «Психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке, где в большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но, в свою очередь, пытается охватить германские клещи». Нам представляется довольно странным тот факт, что западный «активизм» (то есть активное отношение к жизни), о котором так часто говорят культурологи, в самый ответственный момент сменился пассивностью, в то время как «пассивные» и «фаталистичные» русские на практике выказали то качество, в котором им отказывают культурологи. Примечательно также, что тот же активный фатализм, о котором говорит “Völkischer Beobachter” в отношении русских, часто приписывают протестантам. Ограничивается он, однако, стремлением к самообогащению: «Важнейшей – и для Вебера, и для нас – оказывается такая характерная черта кальвинизма и в той или иной степени протестантизма в целом, как "деятельный фатализм", рассматривающий земное богатство как доказательство призвания, а успех как признак харизмы. Личный труд по преодолению испорченной человеческой природы практически обесмысливается, подменяется деятельным гаданием о своей загробной участи, в результате чего индивид попадает в беличье колесо фетишизации успеха. Для определения своего статуса в вечности, принадлежности к спасённым или проклятым, к избранному народу *Übermensch* или сонмищу *Untermensch* человеку требуется постоянно испытывать собственную профессиональную состоятельность, а "милость к падшим" сменяется почти ритуальным их презрением.

Учение о предопределении – квинтэссенция новой веры. Именно здесь наиболее ощутимо присутствие своеобразного дуализма, жёсткость и механистичность всей новой антропологии, формирующей в обществе собственную аристократию житейского успеха» (Неклесса, 2002).

Таким образом, можно было бы разграничить две стратегии выживания, свойственные различным культурам: русская культура (как, возможно, и другие коллективистские) подразумевает выживание всего народа при возможном пожертвовании отдельными членами (часто через добровольное самопожертвование), западная – выживание личное при возможном пожертвовании

окружающих (*Every man for himself and God for us all*¹). Если русские ради коллектива чаще готовы к отказу от личного успеха и даже от жизни, то англичане и другие представители Запада готовы скорее пожертвовать коллективом ради личного успеха. Отсюда практически полное отсутствие партизан на оккупированных территориях западных стран в период Второй мировой войны, служба в армии только по контракту; феномен ландскнехтов – наёмных солдат в Германии XV–XVI вв., воевавших против своих же граждан за любого, кто заплатит; ярко выраженный колониализм, стоивший только Африке почти 60 млн жизней во времена работорговли, то есть в XV–XIX вв. (Bartens, 1996, S. 23). В связи с этим можно вспомнить знаменитую фразу иконы американок Скарлетт О'Хары «Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать» из романа «Унесённые ветром» М. Митчелл (если бы мировоззрение главной героини не было близко, понятно и симпатично представителям западного общества, роман не разошёлся бы тиражом в 28 млн экземпляров). Этой фигуре можно противопоставить Родиона Раскольникова («Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского), также поначалу думавшего, что он «право имеет», но затем принявшего общерусскую точку зрения на данный вопрос. Речь идёт о противопоставлении двух жизненных принципов, западного («Если каждый будет думать о себе, всем будет хорошо») и русского («Если каждый будет думать не только о себе, всем будет хорошо»). Русские действительно не делают всего того, что сделали бы для личного блага представители западной цивилизации, и эту стратегию выживания действительно можно при желании назвать «пассивизмом», «фатализмом» или как-то ещё, но именно благодаря этой стратегии не были уничтожены народы русского Севера, бывшие республики СССР не были сырьевыми колониями, индейцы Аляски до её продажи имели доступ к бесплатной медицине и высшему образованию – как раз потому, что «если каждый будет думать не только о себе, всем будет хорошо». Выше мы приводили цитату немецкого философа и историка И.Г. Гердера (1744–1803), который противопоставлял пассивных славян активным германцам только на том основании, что славяне не стремились к войнам. Действительно, германцы (включая англосаксов) не заселили

¹ Выражаемый в данной английской и французской пословице принцип «каждый за себя» неизменно подвергался критике в советской литературе: «У нас теперь и дети знают, как техника работает в руках настоящих людей. Разве в Испании республиканцы били немцев и итальянцев техникой? Люди били. Люди золотые... – "Республиканцев пять, а фашистов двадцать пять. Бывало и так. Но у них каждый за себя, а у испанцев один за всех и все за одного"» (Н.Н. Шпанов. Первый удар. Повесть о будущей войне). «Велики, многообразны достижения Советской власти, успехи социалистического строя. Но самым великолепным и самым удивительным достижением является человек, новый, советский человек. В 1920 году Владимир Ильич Ленин писал: "Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило: "Каждый за себя, один Бог за всех", чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью и правомерным только оплаченный по известной норме труда"» (Ю. Рытов. Город науки). «Зоя [Космодемьянская – Е.З.] и Шура страшно увлекались этой игрой ["белой палочкой" – Е.З.] и просто уши мне прожужжали, уверяя, что она необыкновенно интересная. А Слава добавлял: "И полезная. Приучает к дружбе. Чтоб не каждый за себя, а один за всех и все за одного"» (Л.Т. Космодемьянская. Повесть о Зое и Шуре).

ни одной страны без того, чтобы не уничтожить по возможности полно коренное население. Если взять это за мерило активного отношения к жизни, то русские – к счастью для окружающих народов – действительно пассивны.

Наиболее убедительным доказательством отсутствия какой-либо связи между имперсоналом и коллективизмом является, на наш взгляд, распространение безличных конструкций в современном русском языке вопреки индивидуализации. Насколько нам известно, распад коллективистской системы ценностей после 1991 г. стал настолько очевиден, что ни социологами, ни культурологами под вопрос не ставится. В частности, Л. Бызов, член Научного совета ВЦИОМ, в.н.с. Института комплексных социальных исследований РАН пишет: «Сравнительные социологические исследования показывают, что по уровню индивидуализации мы ушли далеко вперед по сравнению с европейцами. [...] Догоняющая модернизация в качестве официальной идеологии 90-х годов сделала ситуацию ещё более драматической, так в её ходе "социально поощряемой" моделью поведения (в модернизационных сегментах общества) стала установка на крайнюю индивидуализацию жизненных алгоритмов, на "спасение с тонущего корабля" российской субъектности в одиночку» (Бызов, 2004)¹. Согласно Roper Reports Worldwide 2006 г., индивидуальность в системе ценностей русских занимает 24-е место, а в системе ценностей жителей Западной Европы – только 32-е (Kofler, Chiarelli, 2006). Опрос, проведённый в 2002 г. фондом «Общественное мнение», показал, что «главным отличием современной молодёжи участники опроса считают её индивидуализм и прагматизм, пришедшие после упразднения идеологического воспитания на смену идеалам коллективизма» (Гвоздева, 2002). Тем не менее, имперсонал распространяется в русском по-прежнему (аналогичная ситуация наблюдается и в украинском: сфера употребления имперсонала расширяется, хотя социологи говорят об индивидуализации украинцев (ср. Додонов, 1998)).

Всё чаще употребляются фразы типа «человек человеку волк», “*homo homini lupus est*”, «выживает сильнейший», «каждый за себя»: в мегакорпусе в общей сложности 20 употреблений в классике, 26 – в советской литературе, 73 – в постсоветской, 30 – в переводах. То же касается фраз «это твои проблемы», «это ваши проблемы», «это не мои проблемы»: соотношение по корпусам составило 0 : 3 : 74 : 9 (мегакорпус). Одновременно из речи исчезают коллективистские понятия, имеющие отношение к сочувствию, состраданию, сопереживанию. Так, слова «жалостливый», «жалко», «жаль», «жалость», «сжалиться» встречаются в русской классике 3 652 раза, в советской литера-

¹ Ср. «И вот Россия, где никогда не было ни практики, ни школы индивидуализма, где все основы жизни всегда противостояли бунтарскому своеволию, решила в конце XX века ввести в одночасье, декретом самый экстремальный индивидуализм. Бывшему пионеру, комсомольцу, общественнику, который, пусть со скрипом, с неприязнью, усвоил, что общественное выше личного, сказали: твоя жизнь, твоё здоровье, твоё благосостояние – это твоё личное дело; государство снимает с себя всякую ответственность за тебя. Делай что хочешь, зарабатывай, как можешь, пусть будет, что будет, и пусть неудачник плачет! [...] Правые радикалы (ничем не отличаясь по методам от радикалов левых), вводя крайний индивидуализм как общенациональную философию, провозгласили главными ценностями свой забор и личный успех, успех любой ценой, для достижения которого всё можно» (Сараскина, 2000, с. 10–11).

туре – 4 042, в постсоветской – 3 161 (в среднем – 3 618), в английской литературе в среднем – 2 475, в немецкой – 2 268, во французской – 2 695. О чуждости англичанам понятия «жалость» в русском смысле, а также о низкой частотности соответствующего слова (*pity*) говорит и А. Вежбицкая¹.

Во первой главе приводились данные М. Хаспельмата по распространённости имперсонала в различных европейских языках. Если наложить на его шкалу безличности шкалу индивидуализма Хофстеде (табл. 22), мы увидим, что никакой корреляции нет, то есть в языках стран с высоким уровнем индивидуализма вполне может быть распространён имперсонал и наоборот. Данные приводятся только по тем языкам, по которым есть показатели уровня индивидуализма Г. Хофстеде (Hofstede, 2007 b).

Таблица 22

**Корреляция между частотностью имперсонала (по М. Хаспельмату)
и уровнем индивидуализма (по Г. Хофстеде)**

Хаспельмат	англ.	фр.	швед.	норв.	порт.	венг.	греч.	исп.	тур.	итал.	болг.
	0	0,12	0,12	0,12	0,14	0,22	0,27	0,43	0,46	0,48	0,48
Хофстеде	89	71	71	69	27	80	35	51	37	76	30
Хаспельмат	голл.	маль.	нем.	чеш.	эст.	фин.	поль.	рус.	ирл.	рум.	исл.
	0,64	0,69	0,74	0,76	0,83	0,87	0,88	2,11	2,21	2,25	2,29
Хофстеде	80	59	67	58	60	63	60	39	70	30	60

Данные по уровню индивидуализма исландцев мы взяли из другого источника (Lemone, 2005), так как Хофстеде ничего об исландцах не говорит. В статье «Имперсонал в немецком, русском и английском: квантитативный подход» мы показали, что частота безличных конструкций в текстах австрийских и немецких (ФРГ) авторов одинакова, хотя австрийцы по шкале Хофстеде значительно менее индивидуалистичны (Зарецкий, 2007 а).

¹ “*Žalost’* differs from *pity*... in the presence of *loving* feelings toward the unfortunate target person (*X feels something good toward Y*) and in its absence of potentially invidious comparisons with other people: the target person is not thought of as being any *worse off* than other people. Unlike *pity*, *žalost’* is, potentially, a feeling that can embrace all living creatures, just as *love* can. [Vladimir – E.3.] Solov’ev points out that Russian peasant women simply merge *žalost’* and *ljubov’* (*love*) (using the verb *žalet’* instead of *ljubit’*)... [...] The importance of the concept *žalost’* in Russian culture was well perceived in Geoffrey Gorer’s studies of the *Russian Psychology* and of the *Russian national character*. For example, Gorer (1949), observes that of all *the tender emotions which Russians express... the most dramatic is love, but far and away more widespread is that which the Russians call žalost’, and which is inadequately translated as pity*. There is no single English word to carry all the connotations: it means a sympathetic understanding of and feeling for the moral and spiritual anguish which other people are undergoing. In contrast to *pity*, it is perhaps even more desirable to receive *žalost’* from another than to offer it. It can be, and often is, felt for all undergoing moral and spiritual anguish, whether personally known or not. [...] The great significance of the concept of *žalost’* in Russian culture is also confirmed by statistical data. Thus, in Zsorina’s (1977) megacorpus of one million running words, the noun *žalost’*, the verb *žalet’*, and the adverb *žalko* have a joined frequency of 218, whereas in Kučera and Francis (1967) data for American English *pity* has a frequency of merely 14” (Wierzbicka, 1992, p. 168–169; ср. «Русские», 1997, с. 674–675).

Подведём итоги. Хотя предположение, что безличные конструкции как-то связаны с коллективизмом русского народа, поначалу кажется вполне приемлемым, однозначных доказательств этому нет. В изолирующем китайском безличные конструкции практически не встречаются, что вполне соответствует данным языковой типологии, но никак не вяжется с высказанным выше предположением о склонности коллективистских культур к имперсоналу. В русском языке имперсонал распространяется вопреки индивидуализации. В исландском он также сильно развит, хотя уровень индивидуализации в Исландии по шкале Хофстеде составляет 60 пунктов; в греческом безличных конструкций сравнительно мало, хотя уровень индивидуализации Греции ниже – 35 пунктов. Ярлыки типа «фатализм», «пассивизм» и «иррационализм» западные учёные приписывали и отчасти до сих пор приписывают всем народам, кроме современных западных. Атрибуция русским пассивного отношения к жизни и фатализма обусловлена разницей в понимании успеха на Западе и в России (индивидуальный успех vs. коллективный успех) – разницей, которую большинство западных авторов игнорирует.

14.3. Фемининность

Е.В. Полищук полагает, что гендерная маркированность языка и культуры проявляется не только в существовании «маскулинных» и «фемининных» мировоззрений, но и на языковом уровне (Полищук, 2007, с. 499). Как видно по названию статьи «Гендерные вопросы перевода в контексте фемининного компонента русского языка и культуры», русскую культуру автор причисляет к фемининным. Э.Н. Болтенко видит в многочисленности безличных конструкций признак фемининности русского народа (Болтенко, 2002). Действительно, воспитанные на цитатах типа приведённых ниже; русские привыкли ассоциировать свою страну с женским образом.

Русь! О Русь, Русь..., многострадальная! Кормилица, поилица и воительница наша... (В. Пикуль. Битва железных канцлеров).

*О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты своё возьмёшь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживёшь? (Н. Гумилёв. Старые усадьбы).*

*Товарищи!
Жива ещё
Мать – Страсть – Русь!
Товарищи!
Цела ещё
В сердцах Русь! (М. Цветаева. Новогодняя).*

Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на

самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою **мать**. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг (Ф.М. Достоевский. Идиот).

Бабушка наша костромская, Россия наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голые доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, **мать** наша Россия! (А.М. Ремизов. Бабушка).

Старик зевнул и перекрестил рот.

– Ничего... – повторил он. – Твоё горе с полгоря. Жизнь долгая – будет ещё и хорошего, и дурного, всего будет. Велика **матушка** Россия! (А.П. Чехов. В овраге).

Результаты международных социологических исследований по методу Г. Хофстеде¹, однако, не столь однозначны. Хотя сам он Россией не занимался, его последователи, неоднократно проводившие соответствующие опросы в 1990-х гг., пришли к выводу, что Россия либо занимает промежуточное место между маскулинными и феминными культурами, либо принадлежит скорее к феминным (Hofstede et al., 1998, p. 172). Стало, однако, ясно, что к ярко выраженным феминным культурам Россия не относится (в отличие, например, от Дании, Норвегии и Швеции (Hofstede et al., 1998, p. 26), то есть стран, в языках которых безличные конструкции встречаются относительно редко). Таким образом, либо феминность никак не связана с безличными конструкциями, либо проявлению феминности на лингвистическом уровне в упомянутых западных странах мешает сильный уровень аналитизации их языков.

Поскольку Г. Хофстеде обычно приписывает представителям феминных культур те характеристики, которые на Западе принято ассоциировать с женщинами, можно было бы предположить, что безличные конструкции, если они действительно являются выражением феминности русской культуры, особенно часто встречаются в женском гендерлекте. Наши подсчёты показали, однако, что в большинстве случаев к употреблению имперсонала более склонны женщины. Поскольку все детали этого исследования уже были опубликованы отдельно (Зарецкий, 2007 б), ограничимся здесь лишь кратким перечислением основных выводов. Сопоставлялись

¹ Ср. определение маскулинности / феминности, взятое с Интернет-страницы Г. Хофстеде: «Понятие маскулинности, противопоставляемое понятию феминности, относится к распределению ролей между полами, являющемуся одним из важнейших вопросов в любом обществе... Исследование, проведённое IBM, показало, что а) женские ценности отличаются в различных обществах меньше, чем мужские, б) мужские ценности в различных обществах могут включать в себя либо напористость и агрессивность, максимальное отдаление от женских ценностей, либо скромность и заботливость, т.е. приближение к женской системе ценностей. Та система ценностей, которая содержит напористость, названа маскулинной, а та, которая содержит скромность и заботливость, названа феминной. Женщины в феминных культурах столь же скромны и заботливы, как и мужчины, в маскулинных они более склонны к агрессивности и соревновательности, но не в той же мере, как мужчины...» (Hofstede, 2007 а; ср. “Intercultural Communication. A Global Reader”, 2007, p. 9).

два корпуса одинакового размера (16 140 000 словоформ), один из которых содержал произведения, написанные мужчинами, а второй – произведения, написанные женщинами. Как выяснилось, женщины чаще употребляют конструкции типа *Мне кажется; Ему взрывом оторвало ногу; Мне не увидеть её никогда; Мне можно (+ надо, нужно, надобно, нельзя, необходимо, невозможно); У меня есть; Мне совестно; Некуда мне податься (+ некого, не на кого, нечего, не на что, негде, незачем, не о чем, не у кого, не из чего, некем, не с кем, нечем, не с чем и не о ком)*; в произведениях авторов-мужчин чаще встречаются конструкции типа *Только бы / если бы / хоть бы / как бы выйти!*; *Меня ранило* и *Покурить бы [мне]*. Конструкции типа *Жаль / пора / охота / неволя / досада / стыд / грех / позор / лень идти* употребляются примерно одинаково в обеих выборках. Подчеркнём, что проверялись не именно эти фразы, а конструкции данных типов во всех временах и с учётом возможной инверсии (*мне кажется / кажется мне*).

В этом контексте можно также упомянуть данные Е.С. Гриценко. В исследовании предвыборного дискурса на материале нижегородских печатных изданий периода выборов мэра было установлено, что в письмах женщин безличные конструкции встречаются чаще, чем в письмах мужчин (Гриценко, 2003). Профессор лингвистики Н. Еттингер (университет Эрланген-Нюрнберг) сообщил нам, что в немецком женском гендерлекте имперсонал встречается чаще, чем в мужском.

Таким образом, несомненно, что безличные конструкции чаще встречаются в женском гендерлекте. Если предположить, что особенности дискурса в фемининных культурах соотносятся с особенностями дискурса в маскулинных так же, как женский и мужской гендерлект, из этого, очевидно, должно следовать, что фемининные культуры более склонны к употреблению имперсонала, чем маскулинные. Такое предположение, однако, едва ли приемлемо, так как в наиболее фемининных культурах (Дания, Норвегия, Швеция) имперсоналом практически не пользуются. Ни малейшей корреляции с уровнем фемининности не показывает и распространённость имперсонала по шкале, приведённой у М. Хаспельмат (табл. 23).

Таблица 23

Корреляция между частотностью имперсонала (по М. Хаспельмату) и уровнем фемининности (по Г. Хофстеде)

Хаспельмат	англ. 0	фр. 0,12	швед. 0,12	норв. 0,12	порт. 0,14	венг. 0,22	греч. 0,27	исп. 0,43	тур. 0,46	итал. 0,48	болг. 0,48
Хофстеде	66	43	5	8	31	88	57	42	45	70	40
Хаспельмат	голл. 0,64	маль. 0,69	нем. 0,74	чеш. 0,76	эст. 0,83	фин. 0,87	поль. 0,88	рус. 2,11	ирл. 2,21	рум. 2,25	
Хофстеде	16	47	66	57	30	26	64	36	68	42	

Склонность женщин к имперсоналу может объясняться их более вежливым стилем речи, обусловленным относительно слабым социальным положением из-за доминирующего почти во всём мире патриархата. Никакого отношения к языковому строю в той или иной стране (или же культуре) данная особенность женского гендерлекта, очевидно, не имеет.

Различная частотность безличных конструкций в русском и английском языках может быть сопряжена и с тем качеством английского национального характера, которое в пособиях по страноведению обычно называется *reservedness*, то есть сдержанность, скрытность, нежелание выставлять свои чувства и эмоции напоказ. Оговоримся сразу, что речь идёт не об отражении менталитета в грамматике, а о нежелании говорить на определённые темы, для описания которых обычно используются «аффективные конструкции» типа *Мне страшно; Мне больно; Меня мутит; Мне ненавистен...* и т.п. Так, в одном из оксфордских пособий по истории, экономике и национальному характеру британцев говорится: «Наверное, британцы и особенно англичане действительно более сдержанны (*reserved*), чем народы большинства других стран. Им сравнительно трудно выражать дружбу открытым проявлением чувств» (O'Driscoll, 2001, p. 63). Данная поведенческая особенность англичан, конечно, не имеет никакого отношения ни к использованию других типов безличных конструкций, ни к ходу языковой эволюции. Нельзя, однако, полностью обойти её стороной, поскольку она почти никогда не упоминается в работах по имперсоналу. Её отражение в частотности лексики, относящейся к выражению эмоций, рассматривает А.А. Мельникова (Мельникова, 2003, с. 174–181).

В заключение приведём без комментариев точку зрения В.В. Колесова на культурологические механизмы расширения сферы употребления русского имперсонала: «Верно, что рост безличных конструкций в русском языке отражает некие особенности русской ментальности ("и вообще русской культуры"). Какие же?

Для ответа на этот вопрос остановимся на структуре простых предложений как типичных, а для устной речи и основных. Сложные синтаксические целые в современном языке имеют тенденцию к семантическому сжатию при формальном сокращении. Как структуры они вторичны и содержательно, и по происхождению. С XV в. русское простое предложение вырабатывало формальные средства представления законченного логического суждения, с XVII в. развиваются различные типы сложноподчинённых предложений, которые представляют собой свёрнутые логические умозаключения. Грамматическая отработка субъект-объектных отношений привела к созданию чёткой градуальной системы односоставных простых предложений – к их системе. [...] Безличное предложение реалистично представляет то, что в действительности само по себе нереально; признак отвлечён и от вещи, и от говорящего. Это характерно для русского реалиста: не в субстанции мира и не в мысли субъекта, а **в слове рождается но-**

вое знание и новые формы познания. Определённо-личное эллиптически; в неопределённо-личном лице не названо по неведению; в обобщённо-личном годится любое лицо – это обобщение, в котором оценочность факта важнее информации о нём. Структурно различные типы безличных предложений ещё полнее выражают степени оценочности во многих модальных признаках. Семантически безличные не являются односоставными, в них субъект представлен, но как объект – **объективно**, как бы со стороны, в форме дательного падежа: *Ему не спится*.

Несколько слов о **лице**. Категории лица, времени и модальности совокупно формируют предикативность высказывания; это её формы. Русская форма *холодно* соответствует английской *it's cold*, в которой местоимение всегда присутствует (как присутствует в некоторых конструкциях английское *one* или немецкое *man*). Функции русских местоимений иные, и это отражается в односоставных предложениях. "Философия эгоцентрических слов" (*я, ты, я...*), актуальная на Западе, здесь не проходит. Местоимение лица из высказывания по возможности устраняется, 2 лицо выражает отношение к слушающему, а 3-е – уже не к лицу, а к действительности в целом (по происхождению *он, она, оно, они* – указательные местоимения). По отношению к первым двум лицам лицо **объективное**. С точки зрения ментальности русские односоставные предложения выражают "фигуру умолчания", устранения из мысли несущественного, неясного или неизвестного.

Представленная система простых предложений – это разные способы выражать суждение, а совокупность всех их предстаёт семантической парадигмой, наводящей на реальность идеальных признаков мысли. Односоставное личное передаёт степень объективности познания, а безличные уточняют оценку качеств и меру истинности уже полученного знания. Предикативность и модальность разведены сознанием; говорящий может соотносить высказывание с идеей-мыслью (познание) и с предметом-вещью (знание), тем самым подводя суждение к согласованию идеи и вещи в их совместном отношении к слову. И тогда в дело вступает двусоставное предложение, в котором связь идеи и вещи выражается уже словесно. В системе высказываний постоянно воссоздаётся, непременно учитываясь, мера объективности и неизбежности действия, а нехарактерное для русской ментальности выпячивание субъекта в этом процессе замещается "субъективностью" идеи. Говоря об этом, профессор З.К. Тарланов подчеркнул, что перед нами возникает, постоянно развиваясь, "этнически детерминированный тип предложений... одно из природных свойств русского языка как важнейшей формы народного мировосприятия", согласно которому мысль "состоит в расчленённом, дифференцированном, нередко приблизительном и завуалированном представлении субъектного начала предложения". В этом ответ критикам русской ментальности – к настоящему времени русский язык "далеко ушёл вперёд по сравнению со всеми другими индоевропейскими языками"» (Колесов, 2004, с. 222–224).

Глава 15

ВЫВОДЫ

Таким образом, можно согласиться с Г.Н. Воронцовой, считавшей, что строй языка не отражает осознания явлений непосредственно, и что было бы недопустимым упрощением видеть между языковыми средствами выражения и уровнем (стадией) мышления говорящего на данном языке народа прямую связь (Серебренников, 1970, с. 303). Русский язык действительно сохранил в себе многие черты, присущие общему прародителю всех индоевропейских языков:

- мужской, женский и средний род (“Encyclopedia of Language and Linguistics”, 2006, p. 8681; “The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 47–48; Meier-Brügger, 2002, S. 279; Brugmann, 1904, p. 354–358; Ringe, 2006, p. 26; Streitberg, 1900, S. 223; Hudson-Williams, 1966, p. 47);

- категорию вида (ср. Жирмунский, 1940, с. 45; Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 284; Ringe, 2006, p. 24–25; Streitberg, 1900, S. 276; Bauer, 2000, p. 336; Климов, 1977, с. 22; Букатеви́ч и др., 1974, с. 207–210; Иванов, 1983, с. 344–345);

- свободный порядок слов (ср. von See Franz-Montag, 1983, S. 20; van Nahl, 2003, p. 3; Hirt, 1937. Bd. 7, S. 227);

- собирательное значение суффикса женского рода *-a*: *братва, господа* (Жирмунский, 1940, с. 60; ср. Ringe, 2006, p. 60; Brugmann, 1897, p. 21–22, 25; Борковский, Кузнецов, 2006, с. 324);

- нерегулярное место ударения в слове (ср. Блумфилд, 2002, с. 340; Schmidt, 2000, S. 47; Crystal, 1995, p. 32; “The Cambridge History of the English Language”, 1992. Vol. 1, p. 30; Hudson-Williams, 1966, p. 42; Krapp, 1909, p. 50; Williams, 1911, p. 2; Lehmann, 2002, p. 202–203; Аракин, 2003, с. 19; “The Oxford History of English”, 2006, p. 20);

- остатки двойственного числа: например, употребление после числительных 2, 3, 4 существительных в форме ед. ч. род. п., употребление после числительного 5 существительных в форме мн. ч. род. п. (Hudson-Williams, 1966, p. 66; Букатеви́ч и др., 1974, с. 147–148; Винокур, 1959, с. 39);

- различие одушевлённых и неодушевлённых существительных, обнаруживающееся в специфических типах синкретизма падежных форм (ср. Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 238–239; Зеленецкий, 2004, с. 205; Широкова, 2000, с. 100; Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 206–207);

- наличие супплетивных форм глагола: *говорить – сказать, ловить – поймать* (Букатеви́ч и др., 1974, с. 189);

- отчества, сохранившиеся в германских языках только в древнейших рунических надписях (Lehmann, 1972, p. 244);

- эллипсис глагола-связки *быть* (Bomhard, Kerns, 1994, p. 163; Ломтев, 1954, с. 6–8);
- отсутствие артиклей (ср. Schmidt, 2000, S. 44; Bauer, 2000, p. 191);
- безличные конструкции, распространённые и в древних индоевропейских языках, ср. д.-инд. *Kitavaṅ tatāra* (*Игроку было больно*); лат. *Pudet me* (*Мне стыдно*); нем. (устар.) *Ihn / ihm hungert* (*Ему голодно*) (Brugmann, 1904, S. 629).

Английский, напротив, относится к языкам, отошедшим от индоевропейского дальше остальных. Номинативный строй и жёсткий порядок слов принадлежат к тем нововведениям, которые английский делит с другими аналитическими языками и которые сделали невозможным употребление большинства безличных конструкций. В этом отношении английский столь же соответствует нормам аналитических языков, как русский соответствует нормам синтетических, потому рассматривать другие языки (в том числе синтетические) с точки зрения именно английского, измерять их «правильность» или «неправильность», их «прогрессивность» или «отсталость» по его грамматическим особенностям и законам – это проявление этноцентризма, а не поиск истины. Многочисленность или практически полное отсутствие безличных конструкций есть, прежде всего, факт лингвистический, не имеющий ничего общего с категориями менталитета или национального характера (хотя такую связь при зарождении соответствующих конструкций несколько тысяч лет назад нельзя исключить полностью). Об этом свидетельствует, в первую очередь, распространённость безличных конструкций на более ранних стадиях развития английского языка до окончания активной фазы анализации (табл. 24).

Таблица 24

**Эквиваленты русских безличных конструкций
в английском разных периодов**

Русский	Английский	Русский	Английский
Мне хочется	Me (ACC) langað	Поздно	It is late
Мне хорошо	Me (DAT) is well	Стучало	There was knocking
Мне надо	Me (DAT) nedeth	Морозит	(Hit) freōseð
Ему было бы лучше, если бы он...	Him (DAT) wære betere þæt he...	Чего здесь недостаёт?	What wants there?
Тебя там посещать?	Shall '[u]s (DAT) attend you there?	Нельзя [никому] служить двум господам	Ne mæg nán man (DAT) twám hláfordum þeowian
Вам бы лучше ответить честно	Answer truly, you (DAT) were best	Ему повезло	Him fortunad

Хотя нельзя полностью исключить, что в имперсонале в какой-то мере отражено мировоззрение древних людей (как в этимологии слова можно иногда различить следы древней мифологии), это ещё не должно означать, что соответствующие структуры формируют современный русский мента-

литет, а русский менталитет, в свою очередь, не даёт исчезнуть этим структурам. По той же причине сохранность в английском языческих понятий *god* (Бог), *heaven* (небо), *hell* (ад), *Easter* (Пасха) (Блумфилд, 2002, с. 499) ещё не свидетельствует о том, что британцы остались язычниками. Культурологические характеристики народов, объединённых одним языковым строем (синтетическим или аналитическим), слишком различны, чтобы приписывать тому или иному грамматическому признаку определённое культурологическое значение. Связь имперсонала с фемининностью и коллективизмом практически исключается, связь с Принципом скромности вполне возможна в определённых стилях речи.

Наличие широкой сферы употребления имперсонала в индоевропейских языках позитивно коррелирует с возможностью опускать подлежащее в личных предложениях, с отсутствием или редким употреблением формального подлежащего, с возможностью инверсии и свободным порядком слов вообще, с развитой системой флексий, полифункциональностью датива (в меньшей мере – аккузатива и генитива), сохранением возвратных глаголов, многочисленностью неправильных глаголов, относительно слабой развитостью пассива, малочисленностью транзитивных глаголов, редкостью конверсии и прочими признаками синтетического строя, а также с общей консервативностью языка. Такая консервативность может быть обусловлена географической обособленностью языка, отсутствием влияния суперстратов, адстратов и субстратов, слабой диалектальной раздробленностью, склонностью носителей языка к пуризму. Развитие имперсонала в русском языке объясняется принципом аналогии, влиянием финно-угорского субстрата, стилистической и семантической дифференциацией личных и безличных конструкций, ростом абстрактности мышления (в данном случае вопрос о взаимосвязи мышления с имперсоналом остаётся открытым, так как убедительно доказать или опровергнуть её пока невозможно), а также рядом других факторов. Исчезновение безличных конструкций в английском связано, в первую очередь, с номинативизацией, распадом системы флексий и, как следствие, с утверждением жёсткого порядка слов SVO, сделавшим невозможной топикализацию дополнения. Важную роль сыграл также принцип аналогии. Малочисленность оборотов типа *It seems to me; It pleases me* можно объяснить потребностью носителей языка выражать тему-подлежащее перед ремой. Отсутствие конструкций типа *To me seems* обусловлено семантической полифункциональностью общего падежа (нет надобности вводить столь маркированные предложные конструкции, если стандартное подлежащее в общем падеже может передавать то же значение) и жёстким порядком слов «номинативный субъект > глагол > аккузативный объект». Относительная быстрота аналитизации английского обусловлена превращением в язык смешанного типа под влиянием норманнов, склонностью германских языков к ударению на первом слоге (отсюда отмирание флексий), диалектальной раздробленностью,

унаследованным от англосаксонского частичным синкретизмом форм номинатива и аккузатива. По количеству глаголов, требующих употребления безличных конструкций, в индоевропейской семье доминирует исландский язык, в нём же наиболее активно используется датив.

Приведённые в главе «Мифологичность сознания по данным социологии» статистические данные показывают, что способ выражения грамматического значения (аналитический / синтетический) не имеет никакого отношения к рациональности мировосприятия. Англичане верят в судьбу больше, чем русские, хотя и говорят на более анализированном языке.

Что касается статистических данных, относящихся к частотности употребления лексических единиц, то мы не склонны приписывать им особую надёжность или доказательную силу, так как интенсивность использования того или иного слова зависит от огромного числа факторов, которые далеко не всегда возможно в должной мере учитывать при проведении подсчётов. Речь идёт о времени возникновения слова, его стилистической окраске в разные периоды истории, его более употребительных, но уже забытых синонимах, вышедших из употребления или появившихся дополнительных значениях (которые могли сказаться на частотности), сменившемся написании и т.д. Тем не менее, в некоторых случаях частотность лексики представляется нам достаточно наглядной и показательной, чтобы проиллюстрировать ею (исключительно в качестве дополнительного средства) те или иные тенденции в развитии русской системы ценностей, а также при сопоставлении русского и англо-американского менталитета. Исключением являются «технические» слова типа «быть» или «мочь», тесно связанные с грамматическим строем языка. Их частотность сама по себе обладает достаточной доказательной силой. Наиболее примечательным результатом наших статистических исследований русской лексики представляется следующий: хотя русские действительно чаще используют «фаталистичную» лексику типа «судьба» по сравнению с англичанами и американцами, но, с другой стороны, они реже выражают покорность судьбе и реже пользуются «нерелигиозной фаталистичной» лексикой типа «безвыходный», «безвыходность», «безысходный», «безысходность», «обречённый», «обречённость».

При сопоставлении особенностей русского языка с типичными признаками эргативного и активного строя нам значительно чаще удавалось найти параллели с последним. К реликтам активного строя в русском языке можно причислить следующие характеристики (частично уже упоминавшиеся среди сходств русского с индоевропейским языком):

- дативные и аккузативные безличные конструкции (в активном строе субъекты оформляются подобно объектам номинативных языков при глаголах состояния и неволитивного действия, в том числе в так называемых «аффективных конструкциях», описывающих чувства, ощущения, эмоции);

- бессубъектные «метеорологические» конструкции типа «Дождит» (по У. Леману, остатки неволитивных конструкций, использовавшихся для описания состояний и процессов, происходящих без участия чьей-либо воли, спонтанных и не поддающихся контролю; примечательно использование безличных глаголов в форме 3 л. ед. ч. ср. р., исключавшей одушевлённого каузатора);
- высокая частотность сериализации SOV вместо SVO (особенно в тех случаях, когда подлежащее и дополнение выражаются местоимениями: *Я её люблю*);
- категория состояния (которую некоторые учёные считают самостоятельной частью речи);
- категория одушевлённости у существительных (активные языки используют специальные флексии для существительных активного класса в объектной позиции);
 - немногочисленность переходных (аккузативных) глаголов;
 - ограниченность категории залога (отсюда слабая развитость пассива, обычно отсутствующего в активных языках);
 - возвратно-средний залог (трансформация стативного спряжения индоевропейского языка);
 - склонность к использованию глаголов вместо прилагательных (*чернеть* вместо *чёрный*);
 - низкая частотность прилагательных по сравнению с английским (в активных языках прилагательных обычно нет);
 - относительно редкое использование существительных с неодушевлёнными денотатами в субъектной позиции (это выражается, среди прочего, в редкости грамматической персонификации);
 - ограниченность категории вида от времён и её развитость;
 - категория рода (мужской и женский род являются остатками активного класса субстантивов, средний – инактивного);
 - совпадение форм номинатива и аккузатива у существительных среднего рода (так как в индоевропейском, как и в активных языках, инактивные существительные нельзя было использовать в субъектной позиции);
 - выражение принадлежности глаголом «быть» в сочетании с неканоническим падежом субъекта (*У меня есть; Будет мне слуга*);
 - эллипсис глагола-связки «быть» (*Москва – столица России*; в активных языках глагол-связка «быть» часто отсутствует или опускается);
 - возможность использовать либо номинативный, либо дативный субъект с рядом глаголов (*Я не сплю – Мне не спится*), как в типе активных языков Fluid-S;
 - позднее возникновение местоимений 3 л. (в активных языках отсутствуют);

- позднее введение местоимений-подлежащих вместо аффиксов глаголов (в активных языках обычно используются аффиксы), отсюда частое употребление бесподлежащих предложений.

Некоторые из перечисленных характеристик могут иметь и другие объяснения, что особенно относится к признакам синтетичности. Русский нельзя назвать языком активного строя, поскольку в нём имеется категория переходности (и, соответственно, категория залога), развита падежная система, глаголы не обладают признаком лабильности, субъект при глаголах со стивными значениями обычно стоит в именительном падеже (*Я сплю; Я лежу; Я отдыхаю*), вместо стивных глаголов используются прилагательные и т.д., то есть речь в случае русского может идти только о реликтах активного строя, не полностью потерявших свой первоначальный смысл и свою мотивацию.

Открытым остался вопрос о степени номинальности индоевропейского языка. С одной стороны, нередко можно встретить утверждение, что для индоевропейского характерно доминирование существительного, а безличные конструкции произошли от выражений типа *Дождь!*; *Стыд мне!* Об этом косвенно свидетельствует многочисленность номинальных частей речи в древних и консервативных языках (латыни, греческом, русском). С другой стороны, в исследованных активных языках обычно не глаголы произошли от существительных, а существительные от глаголов, а строй характеризуется высокой степенью глагольности (поэтому редко можно встретить инфинитивы, партиципы и т.п.). В русском, как мы показали, на первые несколько тысяч лексем и словоформ приходится значительно больше глаголов, чем в английском. Как бы то ни было, вероятно, нет никаких оснований искать причины зарождения имперсонала 200 000 лет назад (примерное время появления языка у предков человека, по данным А. Бромхарда и Дж. Кернса (Bomhard, Kerns, 1994, p. 167)), поскольку имперсонал требует слишком высокой степени абстракции, чтобы появиться среди наиболее ранних конструкций человеческой речи. Даже современные «примитивные» народы обычно избегают имперсонала, предпочитая выражения типа *Дождь дождит; Небо дождит; Небо падает* (мы показали это на примере креольских языков). Не играет большой роли, произошли ли существительные от глаголов или наоборот, так как, во-первых, едва ли это могло отразиться даже в ностратическом языке, а во-вторых, едва ли происхождение первичных частей речи имеет какое-то отношение к имперсоналу.

Что касается степени номинативности, то мы исходим в данной работе из предположения, что индоевропейский язык при возникновении сохранил в себе яркие черты активного строя, но уже распадающегося или распавшегося (не исключается также ареально ограниченная эргативность); при разделении на диалекты индоевропейский был уже однозначно номинативным, хотя некоторые черты активности сохранились в его потомках и поныне.

Авторы, приписывающие русскому языку особую пациентивность и феноменологичность, по сравнению с английским, исходят из нескольких ложных предпосылок:

- английский «номинатив» (общий падеж) передаёт агентивность и ничего более (на самом деле общий падеж может нести различные семантические роли: агенса, экспериенцера, пациенса, инструмента, посессора и т.д., причём как раз роль агенса встречается реже, чем в русском);

- английские волитивные «номинативные» конструкции противостоят неволитивным дативным (на самом деле неволитивные дативные конструкции исчезли несколько столетий назад; в современном английском датив если вообще присутствует, то только у местоимений);

- малочисленность безличных конструкций в английском ничем не компенсируется (на самом деле вместо имперсонала для передачи тех же значений активно используются грамматическая персонификация, модальные глаголы и пассив);

- за глагольной формой 3 л. ед. ч. ср. р. скрываются некие мистические силы, орудующие человеком или как-то воздействующие на него (на самом деле это наиболее нейтральная форма, как раз потому и используемая, что только она может передавать безличное значение, то есть действие без деятеля, ср. **Светал* [деятель явно есть]; **Светали* [деятель явно есть]; *Светало* [деятеля нет]; **Светала* [деятель явно есть]);

- форма творительного падежа в конструкции типа *Его переехало трамваем* указывает на таинственного скрытого деятеля или волю рока (хотя вопрос о происхождении данной конструкции остаётся открытым, её аналоги в других индоевропейских языках указывают на её первичность по сравнению с *Его переехал трамвай*; форма творительного падежа, очевидно, обозначала раньше нестандартность (маркированность) субъекта, так как в активных языках субъектами могут быть только одушевлённые агенты);

- причиной возникновения имперсонала были фатализм и иррациональность (на самом деле речь в данном случае идёт о большей чувствительности раннего индоевропейского языка к семантическим ролям субъекта – характеристике, свойственной деноминативным языкам);

- высокая частотность глагола «делать» в языках Западной Европы свидетельствует о деятельном менталитете (на самом деле это отчасти просто вспомогательный глагол, отчасти составная часть устойчивых выражений, характерных для аналитических языков из-за их склонности к сочетаниям существительных с высокочастотными глаголами типа «брать», «давать», «делать», «нести», «иметь»);

- отказ от безличных конструкций в английском связан с Ренессансом и протестантизмом (во-первых, никакого сознательного отказа не было – напротив, зафиксированы попытки вводить безличные конструкции вопреки аналитическому строю; во-вторых, процесс распада имперсонала шёл

ещё со времён индоевропейского и ускорился до начала Ренессанса и зарождения протестантизма при переходе к среднеанглийскому в XI в., дополнительно ускорился в начале XIV в.);

- яркая номинативность английского обусловлена особым интересом к личности в английской культуре (неверно, так как то же самое можно было бы утверждать о любом аналитическом и особенно изолирующем языке типа вьетнамского или китайского, особенно если учитывать, что в китайском, например, почти нет имперсонала);

- инфинитивные конструкции типа «Не бывать Игорю на Руси святой» являются специфической характеристикой русского языка и свидетельствуют о национальном русском фатализме (на самом деле модальность выражалась инфинитивами во всех древних языках индоевропейского происхождения, так как не было модальных глаголов; в русском их мало и сейчас, поскольку они характерны для аналитического строя, благодаря чему инфинитивные конструкции сохранились);

- яркая аналитичность английского не имеет аналогов среди родственных языков и обусловлена особенностями мировоззрения типа логичности и рациональности (в пиджинах и креольских языках аналитичность выражена в большей мере, за что западные учёные нередко провозглашали их носителей примитивными и неспособными к воспроизведению сложных синтетических форм; среди индоевропейских языков особой аналитичностью отличается африкаанс, носителям которого – жителям Южно-Африканской Республики – этнолингвисты никогда не приписывали тех же качеств, что и англичанам);

- исчезновение безличных конструкций является однонаправленным процессом, свидетельствующим о распространении рациональных взглядов во всём мире, а русский язык является единственным исключением из этого правила (в индоевропейских языках безличные конструкции в основном действительно исчезают, хотя в фарерском, исландском и украинском возникают и новые; данные по языкам других семей пока не классифицированы, потому делать какие-то выводы преждевременно);

- глагол «иметь» в конструкции *Я имею* выражает бóльшую агентивность, чем «быть» в конструкции *У меня есть / Мне есть / Моё есть*, так как глагол «иметь» транзитивный, а распространение транзитивных глаголов свидетельствует о каузативном и деятельном мышлении (на самом деле, переходные глаголы являются неизбежным следствием становления номинативного строя, называемого часто также аккузативным из-за приверженности к прямообъектным глаголам; в активных языках переходных глаголов нет, потому для выражения принадлежности используется глагол «быть»);

- существует некая универсальная и общепризнанная синтаксическая типология языков мира, подразделяющая все языки на рациональные, чьи носители мыслят логично и объективно, и иррациональные, чьи носители мыслят нелогично и субъективно (хотя такие типологии активно использо-

вались в начале XX в., после Второй мировой войны стало очевидно, что они основывались в лучшем случае на ложных научных предпосылках, а в худшем – на расистских и националистических взглядах их авторов, а также желании идеологически обосновать неполноценность покоряемых или уже покорённых Западом народов);

- русским особенно свойственны пассивное отношение к жизни, феноменологическое мышление, иррациональность и инертность, отразившиеся и в синтаксическом строе языка, а сам язык воспроизводит теперь те же качества в говорящих на нём (упомянутые стереотипы о русских остаются бездоказательными с точки зрения социологических исследований, а связь между мировоззрением и синтаксическим строем и влияние синтаксического строя на мировоззрение принадлежат к разряду псевдо- или околонучных спекуляций);

- развитие языков идёт исключительно от синтетического строя к аналитическому, от деноминативного – к номинативному, что свидетельствует об эволюционном развитии мышления (на самом деле, языки развиваются в разных направлениях).

Теория о пациентивности и иррациональности русского синтаксиса возникла в результате экстраполяции давно опровергнутых идей некоторых типологов начала XX в. о пациентивности и иррациональности языков эргативного строя (причём тогда к эргативным причисляли и языки, называемые сейчас активными). В свою очередь, типологи начала XX в. основывались на ложных представлениях антропологов и психологов своего времени о мышлении древнего и «примитивного» человека.

**Некоторые синтетические языки мира
(Мусорин, 2004)**

1 а) современные

Абазинский – один из абхазско-адыгских языков. Распространён в основном в Карачаево-Черкесии.

Абхазский – один из абхазско-адыгских языков. Распространён преимущественно в Абхазии.

Аварский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в западной части Дагестана.

Агульский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в Агульском и Курахском районах Дагестана.

Адыгейский – один из северокавказских языков. Входит в абхазско-адыгскую группу. Основной ареал распространения – Республика Адыгея.

Албанский – один из индоевропейских языков, занимающий в этой семье изолированное положение. Распространён в Албании и автономном крае Косово.

Арабский – один из семитских языков. Распространён в Саудовской Аравии, Ираке, Сирии, Ливане, Израиле (Палестинская автономия), Иордании, Кувейте, ОАЭ, Йемене, Катаре, Бахрейне, Омане, Египте, Судане, Ливии, Тунисе, Алжире, Марокко, Мавритании, Западной Сахаре, Сомали, Джибути.

Аранта – один из языков коренного населения Австралии. Входит в семью пама-нюнга.

Арчинский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в селе Арчи Чародинского района Дагестана.

Ассирийский – один из семитских языков. Распространён в отдельных регионах Ирана, Ирака, Сирии, Турции, Грузии, Армении, США.

Ахвахский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в Дагестане, в ряде сёл Ахвахского и Шамильского (бывшего Советского) районов.

Бацбийский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, нахскую подгруппу. Распространён на территории Алазанской долины (Ахметский район Грузии).

Белорусский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, восточную подгруппу.

Верхнелужицкий – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, западную подгруппу. Распространен на территории Германии в районе города Баутцен, который является культурным центром верхних лужичан.

Гинухский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. На нём говорят жители села Гинух Цунтинского района Дагестана.

Греческий – один из индоевропейских языков. Представляет собой отдельную греческую группу. Распространён в Греции и на Кипре, в Турции, на юге Албании.

Древнеегипетский – один из афразийских языков. Вместе с коптским, который является поздней его разновидностью, составляет особую египетскую группу.

Исландский – один из индоевропейских языков. Входит в германскую группу, северную (скандинавскую) подгруппу.

Кабардино-Черкесский – один из абхазско-адыгских языков. Распространён в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Каратинский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в нескольких сёлах Ахвахского района Дагестана.

Каффа – один из афразийских языков. Входит в омотскую группу. Распространён в провинции Кэфа на юго-западе Эфиопии.

Кашубский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, западную подгруппу. Распространён в Польше в районах, примыкающих к городу Гданьску.

Лазский (чанский) – один из картвельских языков. Распространён в причерноморской полосе северо-восточной Турции, частично в Западной Грузии.

Лакский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую подгруппу, дагестанскую группу. Распространён, главным образом, в горных районах Дагестана.

Латышский – один из индоевропейских языков. Входит в балтийскую группу.

Маратхи – один из индоевропейских языков. Входит в индийскую группу. Распространён в Индии, в штате Махараштра, где имеет статус официального языка.

Махри – один из афразийских языков. Входит в семитскую группу. Распространён на незначительной части территории Йемена.

Нганасанский – один из самодийских языков. Распространен на полуострове Таймыр.

Нижнелужицкий – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, западную подгруппу. Распространен в Германии в районе города Котбус (недалеко от границы с Польшей).

Нуэрский – один из нилотских языков. Распространён на юге Судана и частично в Эфиопии.

Омето – один из афразийских языков. Входит в омотскую группу. Распространён в юго-западных районах Эфиопии.

Польский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, западную подгруппу.

Русинский (карпаторусский) – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, восточную подгруппу. Распространён в Карпатах.

Саларский – один из тюркских языков. Входит в западную группу. Распространён в Китае, по преимуществу на территории Сюньхуа-Саларского автономного уезда провинции Цинхай.

Сванский – один из картвельских языков. Распространён в Местийском и Лентехском районах Грузии.

Сербскохорватский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, южную подгруппу. Государственный язык Югославии, Хорватии, Боснии.

Словацкий – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, западную подгруппу. Государственный язык Словакии.

Словенский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, южную подгруппу. Государственный язык Словении.

Сокотрийский – один из афразийских языков. Входит в семитскую группу. Распространён на острове Сокотра, принадлежащем Йемену.

Сомалийский – один из афразийских языков. Входит в кушитскую группу. Государственный язык Сомали. Распространён также в некоторых районах Эфиопии, Джибути, Кении.

Сонкорско-тюркский – один из тюркских языков. Входит в западную группу. Распространён в городе Сонкор в Иране.

Тигре – один из афразийских языков. Входит в семитскую группу. Распространён в Эритрее.

Тиндинский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу.

Убыхский – один из северокавказских языков. Входит в абхазско-адыгскую группу. Распространён в нескольких деревнях на востоке Турции на побережье Чёрного моря.

Удинский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в г. Варташен Варташенского района и в селе Нидж Куткашенского района Азербайджана, а также в селе Октомбери Кварельского района Грузии.

Украинский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, восточную подгруппу.

Хиналугский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в ауле Хиналуг на территории Кубинского района Азербайджана.

Цахурский – один из языков северокавказской семьи. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в ряде аулов Рутульского района Дагестана, а также в сопредельных с ним районах Азербайджана.

Цезский (дидойский) – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в 47 селениях Цунтинского района Дагестана.

Чамалинский – один из северокавказских языков. Входит в нахско-дагестанскую группу, дагестанскую подгруппу. Распространён в ряде сёл Цумадинского района Дагестана.

Чешский – один из индоевропейских языков. Входит в славянскую группу, западную подгруппу.

Шауйя – один из афразийских языков. Входит в берберо-ливийскую группу. Распространен на севере Алжира.

Шиллук – один из шари-нильских языков. Входит в нилотскую группу. Распространён в южных районах Судана.

Шошонский – один из языков индейцев Северной Америки, относится к числу юто-ацтекских языков. Распространён в США, в штатах Калифорния, Вайоминг, Невада, Айдахо, Орегон, Юта.

Язгулямский (язгулёмский) – один из индоевропейских языков. Входит в иранскую группу. Распространён в Горном Бадахшане долине Язгулем (Таджикистан).

1 b) вымершие

Венетский. В рамках индоевропейской семьи представляет собой особую венетскую группу. Был распространён с VI по I в. до н.э. на территории нынешней Северо-Восточной Италии и прилегающих к ней районов Словении и Австрии.

Галльский. Входит в кельтскую группу, галльскую подгруппу. Вышел из употребления в первые века нашей эры. Был распространён на территории современной Франции, Бельгии, Швейцарии.

Готский. Входит в германскую группу, восточную подгруппу. Вышел из употребления в конце XVI – начале XVII в.

Карийский. Входит в хетто-лувийскую группу. Был распространён на юго-западе Малой Азии в VII–III вв. до н.э.

Лепонтийский. Входит в кельтскую группу, галльскую подгруппу. Засвидетельствован в северной Италии (район Лугано) с VI в. до н.э. К началу н.э. вытеснен латинским.

Лидийский. Входит в хетто-лувийскую группу. Был распространён в Малой Азии в VII–V вв. до н.э.

Ликийский. Входит в хетто-лувийскую группу. Был распространён на юго-востоке Малой Азии в I тысячелетии до н.э.

Лувийский. Входит в хетто-лувийскую группу. Был распространён в Анатолии во II тысячелетии до н.э.

Оскский. Входит в италийскую группу. Был распространён в южных районах Италии до I в.

Палайский. Входит в хетто-лувийскую группу. Был распространён на севере Малой Азии в первой половине II тысячелетия до н.э.

Полабский. Входит в славянскую группу, западную подгруппу. Был распространён на территории между Одером и Эльбой. Вышел из употребления в конце XVIII в. в результате ассимиляции его носителей немецким населением.

Прусский. Входит в балтийскую группу. Был распространён в юго-восточной Прибалтике, к востоку от Вислы. Вышел из употребления в начале XVIII в.; потомки пруссов перешли на немецкий язык.

Санскрит. Входит в индийскую группу. Сложился на базе древнеиндийских диалектов и получил распространение с I тысячелетия до н.э. Язык классической литературы и религиозного культа Индии.

Словинский. Входит в славянскую группу, западную подгруппу. Был распространён на балтийском побережье Польши.

Тохарский. Входит в тохарскую группу. Был распространён на территории северо-восточного Китая (современный Уйгурстан) в V–VIII вв.

Хеттский. Входит в хетто-лувийскую группу. Был распространён на территории современной Турции в XVIII–XIII вв. до н.э. Был государственным языком могущественной Хеттской империи.

Хорезмийский. Входит в иранскую группу. Был распространён со II в. до н.э. по XIV в. в низовьях Амударьи. Позднее был вытеснен тюркскими языками.

Хотаносакский. Входит в иранскую группу. Был распространён на территории Хотанского оазиса на юге современного Уйгурского автономного района в Китае во второй половине первого тысячелетия.

Ятвяжский. Входит в балтийскую группу. До начала XVIII в. был распространён на территории нынешней Северо-Восточной Польши и прилегающих к ней районов Белоруссии.

Александр Петрович Богатырёв

Догмат о предопределении и фатализм мышления
западного человека

Та форма догмата о предестинации, которая вышла из протестантских религиозных учений, была предопределена всей предшествующей историей и опытом Западной цивилизации. Причём то, что легло далее в основу кальвинизма, получило свою исключительную популярность благодаря тому, что эти догматы, их дух и настрой очень точно соответствовали психологическому опыту людей, ставших свидетелями и жертвами одной из величайших в истории человечества катастроф – Чумы¹.

Надо отметить, что фатализм как таковой органически присущ всей Западной цивилизации, начиная с Древней Греции, откуда и пошло слово *фатум* – рок. Сам фатализм присутствовал в философии и теософии западной цивилизации и до времён Реформации, периодически усиливаясь теми или иными катастрофами, но в случае с догматом о предопределении нашёл ещё более яркое выражение вследствие многих событий как политического, так и природного характера. Если политическая составляющая описана, как правило, хорошо, то другую составляющую, а в данном случае это Чума, по моему мнению, недооценивают. Чума здесь сыграла роль катализатора и ускорителя процессов формирования именно кальвинистской версии догмата о предопределении. Возможно, не будь Чумы, этот догмат сформировался бы значительно позже или / и в значительно более мягкой форме.

Вот что пишет Алистер Макграт [1]: «Различия между богословием Лютера и Цвингли объясняются психологическими и жизненными обстоятельствами. Лютер искал внутреннего оправдания его как грешника и, тем самым, спасения от невыносимого состояния неопределённости и страха, а Цвингли попал в ситуацию, когда ничего от него не могло зависеть. Во время чумы 1519 г. в Цюрихе в его обязанности входило утешение умирающих. Он заразился и заболел чумой. Так как никакого средства лечения чумы не существовало, то ему оставалось надеяться только на Бога. Болезнь оказалась не смертельной и он выздоровел, но то психологическое состояние, в котором он находился всё время своего заболевания, наложило чёткий отпечаток на всё, что он впоследствии писал.

В то время как богословие Лютера, по крайней мере первоначально, было, в основном, сформировано его личным опытом оправдания его, грешника, богословие Цвингли было почти полностью сформировано его ощущением

¹ Например, в XIV в. по Европе прошла страшная эпидемия чумы, занесённая из Восточного Китая. Её жертвами в 1340–1350-е гг. стали 15–25 млн человек, что составляло четверть или даже треть всего населения Европы (прим. – Е.В. Зарецкий).

абсолютного Божественного суверенитета и полной зависимости человечества от Его воли».

Переживания Цвингли, как следует полагать, были далеко не единичными – таков был личный опыт большинства людей, переживших Чуму. Вполне естественно, что это нашло отражение в протестантизме. Если есть какие-то предпосылки и общие тенденции (которые и определяются условиями существования), то они рано или поздно должны были как-то и где-то быть оформлены в виде вполне конкретных норм и правил поведения. А из истории человечества известно, что такой свод норм и правил, как правило, оформлялся в виде философского или религиозного учения. Кальвин, работая в русле идей, высказанных Лютером и Цвингли, заострил и развил их в своём сочинении «Наставления в христианской вере», фактически выразив этим самым преобладающие настроения в обществе.

Для Кальвина строгая логика требует, чтобы Бог активно решал: искупать или осуждать. По его мысли, нельзя считать, будто Бог делает что-то по умолчанию: Он активен и суверенен в своих действиях. Поэтому Бог активно желает спасения тех, кто будет спасён, и проклятия тех, кто спасён не будет. Предопределение поэтому является «вечным повелением Божиим, которым Он определяет то, что Он желает для каждого отдельного человека. Он не создаёт всем равных условий, но готовит вечную жизнь одним и вечное проклятие для других» (Кальвин. Наставления в христианской вере; цит. по [1]).

Для Лютера милость Божия проявляется в том, что Бог оправдывает грешников – людей, которые недостойны такой привилегии. Для Кальвина милость Божия проявляется в Его решении искупить грехи отдельных людей независимо от их заслуг: решение об искуплении человека принимается независимо от того, насколько данный человек достоин этого. Для Лютера Божественная милость проявляется в том, что он спасает грешников, несмотря на их пороки; для Кальвина – в том, что Бог спасает отдельных людей, несмотря на их заслуги.

Всё это означало, что изначально, ещё до рождения человека, Бог определяет его дальнейшую судьбу – будет он спасён или нет.

Также возникал вопрос о том, *каким образом можно определить при жизни человека, будет ли он Спасён*. Это нашло отражение в положении о Благодати: каждому ещё до рождения даётся Знак того, что он будет спасён – Благодать.

Она проявляется в том, что, во-первых, Евангелие находит отклик у людей, наделённых Благодатью Божией, в то время как у ненаделённых этой благодатью оно отклика не находит; во-вторых, зримым проявлением этой Благодати (зримым знаком Спасения) является то, что человеку, наделённому Благодатью, всю его жизнь сопутствует успех – Бог помогает праведникам, которые будут спасены.

Предопределение определяется как «вечное повеление Божие, которым Он определяет то, что Он хочет сделать с каждым человеком. Ибо Он не создаёт всех в одинаковых условиях, но предписывает одним вечную жизнь, а другим – вечное проклятие» (там же).

Это означает не только предопределение спасения отдельных людей, наделённых изначально Благодатью, но и то, что никакими действиями индивида, которому не предназначено спасение, нельзя изменить судьбу.

Данное положение явилось прямым следствием доминировавших в обществе после Чумы настроений, именно оно закрепило эти настроения в соответствующем *фаталистическом отношении к жизни*.

Следствием этого догмата оказался не только фатализм, но и **страх**. Страх рождался тем, что, как показывал человеческий опыт, любой богатый и удачливый человек мог в одночасье потерять всё, что имел, под конец жизни. Это означало, что определить, будет человек спасён или нет, можно было только по результатам всей его жизни. Это же находило подкрепление в текстах Писаний.

Как показал М. Вебер [2], на ранних стадиях развития капитализма неустанная работа, работа на износ призвана была глушить в человеке дикий страх от осознания того факта, что никакой уверенности в своём спасении у него нет.

Психологически постоянный страх и невозможность достижения зримого большого успеха в жизни для абсолютного большинства людей не только поддерживали среди них мрачные настроения относительно своего будущего, но и закрепляли житейскую психологию фатализма.

Фактически догмат Кальвина о предопределении отразил и закрепил ещё одно свойство Западной культуры, которое оказалось тесно связанным с догматом о предопределении, – **индивидуализм**. Так как по догмату изначально всё расписано, то спасти кого-либо из тех, кому спасение не предназначено самим Богом, не только бесполезно, но и греховно (выступаешь против Воли Бога). Отсюда же упор не на оценку коллективных заслуг группы людей, а на индивидуальный вклад в общее дело и учёт именно индивидуальных заслуг как прямое указание на присутствие Благодати у данного индивида.

Следующее следствие – **тема «избранности»** в реформатском богословии. Тема «избранности» стала доминировать в нём примерно с 1570 г. и позволила отождествлять реформатские общины с народом Израиля. Точно так, как Бог когда-то избрал Израиль, теперь Он избрал реформатские общины, чтобы они были Его народом. С этого момента доктрина предопределения начинает выполнять ведущую социальную и политическую функцию, которой она не обладала при Кальвине.

Немалую роль в закреплении в сознании протестантов ощущения «избранности» сыграла массовая иммиграция в Америку, вызванная массовыми гонениями на протестантов в Европе. Прибыв на место, первопоселенцы были поражены благодатным климатом земель Северной Америки. Первоначально дружелюбное отношение индейцев лишь закрепило это ощущение. В полном соответствии с библейскими текстами, богословы протестантов смогли утверждать, что Бог передал им (протестантам) земли Америки, так же, как в своё время Он передал земли Палестины народу Израиля после его исхода из Египта. А это впоследствии сыграло важную роль в появлении раси-

стских теорий в обоснование массового геноцида коренного населения и освоения «пустующих» территорий.

Общая фаталистичность мышления человека Запада породила и такое явление, как **линейность и одновариантность мышления**. Жёсткая заданность упрощённого понимания причинно-следственных связей приводила к построению таких же фаталистических, исключающих многовариантность моделей мира.

Ещё М. Элиаде показал в серии работ, что психологические модели Времени существенно отличаются у западных народов от того, что является общепринятым в Западном мире (см. напр. [3]). Общая линейность восприятия времени не предполагала также и вариантов будущего – время не ветвится!

Безальтернативность будущего также неявно присутствует практически во всех моделях, относящихся как к естественным, так и к гуманитарным наукам. Линейность и конкретность мышления западного индивида, безальтернативность будущего, выраженная в Декартовой логике, наложила отпечаток и на социальные науки. Это очень хорошо видно по общему пафосу многих крупнейших социальных учений последних веков, в частности, марксизма. В марксизме, как известно, имеется чёткая цепь формаций, которые сменяют одна другую, причём наступление конкретного будущего является также строго предопределённым и независимым от усилий отдельных людей, то есть по теории пришествие Светлого Будущего можно ускорить, затормозить, но не отменить; полностью отсутствуют какие-либо альтернативные ветви развития (см. [4]).

Все эти свойства мышления западного индивида, по моему мнению, должны были проявиться в соответствующих семантических конструкциях западноевропейских языков, но для их выявления необходимо провести соответствующие семантические и психосемантические транскультурные межъязыковые исследования. Вполне возможно отражение «кальвинистского мировоззрения» на языковом уровне в виде высокой частотности «фаталистичной» лексики.

Литература

1. Макграт, А. Богословская мысль реформации [Текст] / А. Макграт ; пер. с англ. – Одесса : ОБШ «Богомыслие», 1994.
2. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма, Протестантские секты и дух капитализма [Текст] / М. Вебер // Избранные произведения / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. – М. : Прогресс, 1990.
3. Элиаде, М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость [Текст] / М. Элиаде ; пер. с фр. – СПб. : Алетейя, 1998.
4. Кара-Мурза, С. Г. Истмат и проблема Восток-Запад [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002.

Модальные глаголы в синтетических и аналитических языках

Поскольку для аналитических языков характерно активное применение различных вспомогательных частей речи, исчезновение падежной системы в английском было компенсировано именно ими. Вспомогательные глаголы употребляются в английском (как и в других аналитических языках) чаще, чем в русском. Это относится и к модальным глаголам, являющимся подклассом вспомогательных (modal auxiliaries) (McArthur, 1998, p. 57; Crystal, 1995, p. 212; Gramley, Pätzold, 1995, p. 125; Fisher et al., 2000, p. 6). В русском, как известно, единственным полноценным модальным глаголом является «мочь» (Janda, 2005), по другим данным, – «мочь», «хотеть» и «долженствовать» (Зеленецкий, Монахов, 1983, с. 152). По нашим подсчётам, в сборнике «Антология русской литературы от Нестора до Булгакова» (80 000 страниц) выражения «я могу» + «я не могу» встречаются $793 + 1159 = 1952$ раза, «ты можешь» + «ты не можешь»: $265 + 110 = 375$ раз, «мы можем» + «мы не можем»: $162 + 76 = 238$ раз, «Вы / вы можете» + «Вы / вы не можете»: $316 + 101 = 417$; а в сборнике «Английская и американская литература» на последние 80 000 страниц текста (из 172 000, начиная с “Digitale Bibliothek Band 59: English and American Literature”, p. 92003; D. Lawrence, *Women in Love*, Chapter XVIII, p. 226), “I can(’t)” встречается 4469 раз, “you can(’t)” – 2158, “we can(’t)” – 1043. Во всех трёх выражениях глагол “can” употребляется в английском тексте чаще, чем в русском. Этот разрыв увеличится ещё больше, если добавить к английским вариантам полные формы “I cannot” – 2091 раз, “you cannot” – 437, “we cannot” – 299. Если суммировать все русские и английские формы, получаем соотношение $2982 : 10\,497$, то есть в английской художественной литературе проверенные выражения с глаголом «мочь» встречаются в 3,5 раза чаще, чем в русской.

Чтобы убедиться, что эти результаты не случайны, мы сравнили несколько произведений русских классиков с их немецкими и английскими переводами, а также произведения англо-американских классиков с их русскими и немецкими переводами. Наше предположение заключается в том, что в немецких текстах глагол «мочь» будет употребляться чаще, чем в русских, но реже, чем в английских текстах, из-за своего промежуточного положения по степени аналитичности. При подборе художественных произведений мы руководствовались исключительно принципом доступности электронных версий. Результаты представлены в приведённых ниже таблицах.

И.С. Тургенев. Отцы и дети					
«Отцы и дети»		“Väter und Söhne”		“Fathers and sons”	
я (не) могу	11	ich kann (nicht)	22	I can(’t/not)	36
мы (не) можем	1	wir können (nicht)	5	we can(’t/not)	12
Л.Н. Толстой. Анна Каренина					
«Анна Каренина»		“Anna Karenina”		“Anna Karenin”	
я (не) могу	142	ich kann (nicht)	177	I can(’t/not)	257
мы (не) можем	6	wir können (nicht)	30	we can(’t/not)	23
Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание					
«Преступление и наказание»		“Schuld und Sühne”		“Crime and punishment”	
я (не) могу	19	ich kann (nicht)	80	I can(’t/not)	126
мы (не) можем	1	wir können (nicht)	2	we can(’t/not)	11
Д. Дефо. Робинзон Крузо					
«Робинзон Крузо»		“Robinson Crusoe”		“Robinson Crusoe”	
я (не) могу	22	ich kann (nicht)	18	I can(’t/not)	26
мы (не) можем	1	wir können (nicht)	2	we can(’t/not)	4

Л.Н. Толстой. Война и мир			
«Война и мир»		“Krieg und Frieden”	
я (не) могу	30	ich kann (nicht)	146
мы (не) можем	30	wir können (nicht)	29

Ф.М. Достоевский. Бесы			
«Бесы»		“Die Dämonen”	
я (не) могу	37	ich kann (nicht)	127
мы (не) можем	1	wir können (nicht)	10

Н.В. Гоголь. Мёртвые души			
«Мёртвые души»		“Die toten Seelen”	
я (не) могу	10	ich kann (nicht)	60
мы (не) можем	–	wir können (nicht)	4

Ф.М. Достоевский. Идиот			
«Идиот»		“Der Idiot”	
я (не) могу	15	ich kann (nicht)	90
мы (не) можем	3	wir können (nicht)	12

М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени			
«Герой нашего времени»		“Ein Held unserer Zeit”	
я (не) могу	10	ich kann (nicht)	21
мы (не) можем	–	wir können (nicht)	2

О. Голдсмит. Векфильдский Священник			
«Векфильдский Священник»		“The Vicar of Wakefield”	
я (не) могу	6	I can(’t/not)	29
мы (не) можем	5	we can(’t/not)	8

Ш. Бронте. Джен Эйр			
«Джен Эйр»		“Jane Eyre”	
я (не) могу	54	I can(’t/not)	151
мы (не) можем	2	we can(’t/not)	7

Т. Драйзер. Сестра Керри			
«Сестра Керри»		“Sister Carrie”	
я (не) могу	29	I can(’t/not)	94
мы (не) можем	3	we can(’t/not)	16

О. Уайльд. Как важно быть серьезным			
«Как важно быть серьезным»		“The Importance of Being Earnest”	
я (не) могу	6	I can(’t/not)	20
мы (не) можем	2	we can(’t/not)	2

Л. Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена			
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»		“The Life and Opinions of Tristram Shandy”	
я (не) могу	20	I can(’t/not)	68
мы (не) можем	9	we can(’t/not)	14

Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес					
«Алиса в Стране Чудес»		“Alice im Wunderland”		“Alice’s adventures in Wonderland”	
я (не) могу	2	ich kann (nicht)	25	I can(’t/not)	24
мы (не) можем	–	wir können (nicht)	1	we can(’t/not)	1
Дж. Мильтон. Потерянный рай					
«Потерянный рай»		“Das verlorene Paradies”		“Paradise lost”	
я (не) могу	2	ich kann (nicht)	–	I can(’t/not)	6
мы (не) можем	1	wir können (nicht)	4	we can(’t/not)	4
Г. Фильдинг. История Тома Джонса, найденыша					
«История Тома Джонса, найденыша»		“Tom Jones”		“The history of Tom Jones, a Foundling”	
я (не) могу	57	ich kann (nicht)	198	I can(’t/not)	181
мы (не) можем	9	wir können (nicht)	27	we can(’t/not)	35
Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста					
«Приключения Оливера Твиста»		“Oliver Twist”		“Oliver Twist”	
я (не) могу	25	ich kann (nicht)	40	I can(’t/not)	55
мы (не) можем	3	wir können (nicht)	8	we can(’t/not)	9
Ч. Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим					
«Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим»		“Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields des Jüngeren”		“The Personal History and Experience of David Copperfield the Younger”	
я (не) могу	92	ich kann (nicht)	195	I can(’t/not)	230
мы (не) можем	12	wir können (nicht)	19	we can(’t/not)	18
Дж. Свифт. Путешествия Гулливера					
«Путешествия Гулливера»		“Gullivers Reisen”		“Gulliver’s Travels”	
я (не) могу	13	ich kann (nicht)	21	I can(’t/not)	27
мы (не) можем	–	wir können (nicht)	1	we can(’t/not)	2
В. Теккерей. Ярмарка тщеславия					
«Ярмарка тщеславия»		“Jahrmakrt der Eitelkeit”		“Vanity fair”	
я (не) могу	34	ich kann (nicht)	70	I can(’t/not)	72
мы (не) можем	7	wir können (nicht)	23	we can(’t/not)	9
О. Уайлд. Портрет Дориана Грея					
«Портрет Дориана Грея»		“Das Bildnis des Dorian Gray”		“The picture of Dorian Gray”	
я (не) могу	13	ich kann (nicht)	60	I can(’t/not)	49
мы (не) можем	–	wir können (nicht)	4	we can(’t/not)	7
М. Твен. Приключения Гекльберри Финна					
«Приключения Гекльберри Финна»		“Abenteuer und Fahrten des Huckleberry Finn”		“The adventures of Huckleberry Finn”	
я (не) могу	6	ich kann (nicht)	28	I can(’t/not)	45
мы (не) можем	7	wir können (nicht)	17	we can(’t/not)	32
В. Скотт. Айвенго					
«Айвенго»		“Ivanhoe”		“Ivanhoe”	
я (не) могу	24	ich kann (nicht)	54	I can(’t/not)	59
мы (не) можем	7	wir können (nicht)	9	we can(’t/not)	14

Ch. Marlowe. Dr. Faustus			
“Doktor Faustus”		“Dr. Faustus”	
ich kann (nicht)	10	I can(’t/not)	13
wir können (nicht)	2	we can(’t/not)	2

Электронные версии книг взяты из сборников «Англоязычная библиотека» («Мультитрейд», 2001), «Антология русской литературы от Нестора до Булгакова» (“Directmedia”), “Digitale Bibliothek Band 89: Die Bibliothek der Weltliteratur” (“Directmedia”), из электронной библиотеки www.lib.ru и со страницы www.bartleby.com, где полностью опубликована многотомная серия “The Harvard Classics Shelf of Fiction” (1917). Список суммированных форм: *я могу, я не могу; ich kann, ich kann nicht, kann ich, kann ich nicht; I can, I can't, I cannot, I can not*. Каждый случай применения инверсии в немецком был проверен отдельно, чтобы отсеять вопросы.

Результаты: глагол «мочь» употребляется в русском чаще, чем в немецком, в 3 случаях, наоборот – в 35, поровну – 0; в немецком чаще, чем в английском, – в 6 случаях, наоборот – в 20; поровну в английском и немецком – в 2; в английском чаще, чем в русском, – в 37 случаях, наоборот – 0, поровну – в 1. Таким образом, немецкий действительно занимает промежуточную позицию между английским и русским по количеству употреблённых модальных глаголов, что обусловлено его большей анализированностью по сравнению с русским и меньшей – по сравнению с английским. Как отмечалось выше, промежуточную позицию немецкий занимает и по количеству безличных предложений.

Разница в частотности модальных глаголов объясняется тем, что в русском, в отличие от английского, до сих пор применяются дативные конструкции в том же значении необходимости, долженствования, обязанности, которые в английском передаются модальными глаголами, ср. *Мне надо (I must / should / need)*. В немецком также можно сказать *Mir (DAT) ist nötig* или *Mir (DAT) ist vonnöten (Мне надо)*, чем объясняется его промежуточная позиция. Кроме того, в русском распространены инфинитивные конструкции с модальными значениями: «Инфинитивные предложения имеют различные модальные значения: долженствование, необходимость, возможность и невозможность, неизбежность действия и др.: *Лицом к лицу лица не увидать (Ес.); Друзей не счесть у нас (Щип.); ...И до рассвета бушевать огню (Щип.); Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной (Твард.); Откуда ж знать тебе о нём, что он мой лучший друг? (Сим.)*» (Валгина, 2000).

«Так, например, значение долженствования создаётся взаимодействием субъекта в дательном падеже с инфинитивом несовершенного вида, которые в результате составляют функциональный комплекс: *Тебе сегодня идти; Нам завтра дежурить; Им это внедрять, оформлять*» (Кюльмоя, 2001, с. 58).

Модальные значения у инфинитивов в безличных конструкциях были широко распространены и в древнеанглийском (ср. *Is eac to witanne (Следует заметить)*), когда модальные вспомогательные глаголы ещё только зарождались из обычных: *cunpan (знать (как делать что-то)) > can, mōtan (разрешаться) > must* и т.д. (Mitchell, Robinson, 2003, p. 112–114). Можно

предположить, что современный английский был бы так же полон дативных инфинитивных конструкций, как и русский, если бы не анализация.

Оформление в английском подлежащего при модальных глаголах именительным падежом нисколько не отражается на степени «агентивности» английского языка, поскольку альтернативы именительному (общему) падежу нет. Именно поэтому в русских учебниках среди эквивалентов английских конструкций с модальными глаголами неизменно приводят и дативные конструкции, подразумевая, что исчезнувший датив передал свои значения номинативу: *I have to do it now* (Мне нужно (приходится) делать это сейчас); *I had to go there* (Я должен был (мне пришлось) пойти туда); *We ought to help her* (Мы должны (нам следует) ей помочь); *You should not go there* (Вы не должны (вам не следует) идти туда); *I am to go there* (Мне предстоит поехать туда) (Мураткина, 2001, с. 34).

Этимология 500 наиболее высокочастотных существительных русского, немецкого и английского языков

Слав. = исконно русские и общеславянские слова, отчасти индоевропейского происхождения. Герм. = унаследованная английским из англосаксонского исконно германская лексика, отчасти индоевропейского происхождения. Старославянские слова и кальки причислены к заимствованиям. В разных этимологических словарях (“The Concise Oxford Dictionary of English Etymology”; Kluge, Seebold, 2002; Фасмер, 2003; Шанский, 2001; Крылов, 2005) данные по происхождению слов могут различаться. Корпусы русского и английского охватывают лексику разных стилей конца XX в., автор русского корпуса ориентировался при составлении списков частотности на английский (“British National Corpus”)¹. Личные имена отсортированы. Для сравнения приводим данные по немецкому (корпус СМИ конца XX в.); этот список частотности построен по несколько иным принципам, поэтому место существительных в списке не указывается. Прямое сопоставление с русским и английским списками частотности кажется нам несколько проблематичным, так как в них входит не только язык СМИ, но иного списка частотности немецкого языка конца XX в. нет.

Наиболее высокочастотная русская, немецкая и английская лексика (лексемы-существительные)

Английский (Kilgarriff, 1995). British National Corpus		Немецкий (“Korpusbasierte Wortgrundformenliste DeReWo”, 2007)		Русский (Шаров, 2001 б)	
Лексема	Происхождение	Лексема	Происхождение	Лексема	Происхождение
53 time	герм.	Jahr	герм.	33 человек	слав.
60 year	герм.	Prozent	лат.	50 год	слав.
80 people	фр., лат.	Zeit	герм.	56 время	ст.-слав.
89 way	герм.	Land	герм.	57 рука	слав.
101 man	герм.	Uhr	фр., лат.	70 дело	слав.
104 day	герм.	Frau	герм.	73 раз	слав.
115 thing	герм.	Tag	герм.	78 глаз	слав.
121 child	англ.	Mensch	герм.	79 жизнь	слав.
133 government	фр.	Mann	герм.	81 день	слав.

¹ Наше исследование является не единственным, в котором сопоставляются эти два корпуса, ср. Pagel, Mark; Atkinson, Quentin; Meade, Andrew (2007): “Frequency of word-use predicts rates of lexical evolution throughout Indo-European history”. *Nature* 449, p. 717–720.

135 part	фр., лат.	Kind	герм.	91 голова	слав.
137 life	герм.	Mark	герм.	99 друг	слав.
140 case	фр., лат.	Stadt	герм.	100 дом	слав.
141 woman	англ.	Ende	герм.	104 слово	слав.
146 work	герм.	Woche	герм.	107 место	слав.
149 system	фр., лат.	Haus	герм.	110 лицо	слав.
155 group	герм.	Euro	греч.	122 сторона	слав.
156 number	фр., лат.	Frage	герм.	124 нога	слав.
161 world	герм.	Leben	герм.	135 дверь	слав.
162 area	лат.	Seite	герм.	140 работа	ст.-слав.
164 course	фр., лат.	Welt	герм.	144 земля	слав.
165 company	фр.	Fall	герм.	145 конец	слав.
168 problem	фр., лат.	Weg	герм.	147 час	слав.
173 service	фр., лат.	Präsident	фр., лат.	148 голос	слав.
176 hand	герм.?	Arbeit	герм.	149 город	слав.
177 party	фр., лат.	Platz	фр., лат.	154 вода	слав.
181 school	фр., лат.	Bild	герм.	161 стол	слав.
184 place	фр., лат.	Monat	герм.	162 ребенок	слав.
190 point	фр., лат.	Unternehmen	герм.	164 сила	слав.
191 house	герм.	Regierung	фр., лат.	165 отец	слав.
191 country	фр., лат.	Teil	герм.	166 женщина	слав.
196 week	герм.	Spiel	герм.	167 машина	фр., лат.
199 member	фр., лат.	Geld	герм.	168 случай	слав.
206 end	герм.	Grund	герм.	169 ночь	слав.
213 word	герм.	Problem	греч., лат.	171 мир	слав.
216 example	фр., лат.	Partei	фр., лат.	175 вид	слав.
218 family	фр., лат.	Polizei	греч., лат.	182 ряд	слав.
220 fact	лат.	Geschichte	герм.	184 начало	слав.
224 state	лат.	Staat	лат.	186 вопрос	слав.
225 percent	итал.	Straße	лат.	188 война	слав.
235 home	герм.	Sonntag	греч., лат.	195 деньги	тюрк.
236 month	герм.	Stunde	герм.	199 минута	фр., лат.
237 side	герм.	Thema	греч., лат.	200 жена	слав.
238 night	герм.	Gruppe	итал., фр.	202 правда	слав.
240 eye	герм.	Mitglied	герм.	204 страна	ст.-слав.
241 head	герм.	Beispiel	герм.	205 свет	слав.
242 information	фр., лат.	Chef	лат.	207 мать	слав.
243 question	фр., лат.	Freitag	лат.	210 товарищ	слав.
244 business	англ.	Wort	герм.	211 дорога	слав.
246 power	фр.	Film	англ.	215 окно	слав.
247 money	фр., лат.	Ziel	герм.	219 комната	поль.
248 change	фр., лат.	Familie	лат.	221 часть	слав.
250 interest	фр., лат.	Zahl	герм.	223 книга	тюрк.?
251 order	фр., лат.	Schule	лат.	225 улица	слав.
252 book	герм.	Samstag	греч., лат.	228 душа	слав.
254 development	фр.	Erfolg	герм.	231 утро	слав.

259 room	герм.	Leute	герм.	236 вечер	слав.
261 water	герм.	Projekt	фр., лат.	237 пол	слав.
262 form	фр., лат.	Punkt	лат.	240 народ	слав.
263 car	фр., лат.	Minute	лат.	241 плечо	слав.
268 level	фр., лат.	Montag	лат.	244 Бог	слав.
271 policy	фр., лат.	Preis	фр., лат.	246 взгляд	слав.
274 council	лат.	Hand	герм.	254 палец	слав.
278 line	герм.	Name	герм.	257 история	греч.
280 need	герм.	Bank	фр., итал., герм.	259 мысль	слав.
281 effect	фр., лат.	Mal	герм.	272 сын	слав.
283 use	фр., лат.	Art	герм., англ.	277 лес	слав.
286 idea	лат.	Meter	фр., греч.	279 пора	слав.
287 study	фр., лат.	Mitarbeiter	герм.	284 имя	слав.
288 lot	герм.	Gemeinde	герм.	286 разговор	слав.
290 job	?	Gespräch	герм.	287 тело	слав.
292 name	герм.	Mittwoch	лат.	289 стена	слав.
293 result	лат.	Programm	греч., лат.	292 право	слав.
294 body	герм.?	Anfang	герм.	293 старик	слав.
296 friend	герм.	Dienstag	лат.	296 мама	слав.
297 right	герм.	September	лат.	299 путь	слав.
303 authority	фр., лат.	Donnerstag	лат.	304 месяц	слав.
306 view	фр., лат.	Buch	герм.	310 спина	поль.?
311 report	фр., лат.	Zukunft	герм.	313 язык	слав.
315 bit	герм.	Mai	лат.	317 сердце	слав.
316 face	фр., лат.	Verein	герм.	320 мальчик	слав.
318 market	лат.	Firma	лат., итал.	322 небо	слав.
324 hour	фр., лат.	Ergebnis	герм.	324 смерть	слав.
325 rate	фр., лат.	Angabe	герм.	326 девушка	слав.
326 law	герм.	Auto	греч., лат.	327 образ	слав.
327 door	герм.	Chance	фр., лат.	331 письмо	слав.
328 court	фр., лат.	Entscheidung	герм.	332 власть	ст.-слав.
329 office	фр., лат.	Herr	герм.	336 воздух	ст.-слав.
331 war	герм.	Team	англ.	340 брат	слав.
333 reason	фр., лат.	Schilling	герм.	342 отношение	слав.
335 minister	фр., лат.	Politik	фр., лат.	347 система	фр., греч.
336 subject	фр., лат.	Dollar	англ., герм.	349 квартира	нем.
337 person	фр., лат.	Wahl	герм.	352 любовь	слав.
338 term	фр., лат.	Markt	лат.	353 солдат	нем., итал.
342 sort	фр., лат.	Gesellschaft	герм.	358 хозяин	тюрк.
348 period	фр., лат.	Bereich	герм.	365 начальник	ст.-слав.
352 society	фр., лат.	Juni	лат.	368 школа	лат.
353 process	фр., лат.	Oktober	лат.	369 парень	слав.
354 mother	герм.	März	лат.	370 кровь	слав.
357 voice	фр., лат.	Zeitung	герм.	372 солнце	слав.
360 police	фр., лат.	Musik	фр., лат.	373 неделя	слав.

361 kind	герм.	Trainer	англ., лат.	376 ребята	слав.
369 price	фр., лат.	Juli	лат.	380 шаг	слав.
371 action	фр., лат.	Krieg	герм.	381 мужчина	слав.
372 issue	фр., лат.	Stelle	герм.	383 нос	слав.
375 position	фр., лат.	Person	лат.	385 внимание	ст.-слав.
377 cost	фр., лат.	Entwicklung	фр., лат.	386 капитан	лат.
379 matter	фр., лат.	Werk	герм.	388 ухо	слав.
380 community	фр., лат.	November	лат.	401 чувство	ст.-слав.
382 figure	фр., лат.	Sieg	герм.	407 берег	слав.
383 type	фр., лат.	Möglichkeit	герм.	408 семья	слав.
384 research	фр.	August	лат.	410 генерал	нем.
386 education	лат.	Ort	герм.	411 момент	лат.
395 programme	фр., лат.	Stück	герм.	416 труд	слав.
396 minute	фр., лат.	Gast	герм.	418 группа	итал.
397 moment	фр., лат.	Folge	герм.	423 муж	слав.
398 girl	?	Hilfe	герм.	425 движение	слав.
399 age	фр., лат.	Mutter	герм.	426 порядок	слав.
400 centre	фр., лат.	Bürgermeister	герм.	427 ответ	ст.-слав.
402 control	фр., лат.	Sache	герм.	430 газета	фр., итал.
403 value	фр., лат.	Politiker	фр., лат.	431 помощь	ст.-слав.
405 health	герм.	Raum	герм.	434 собака	иран.?
410 decision	фр., лат.	Mannschaft	герм.	435 дерево	слав.
412 class	фр., лат.	Freund	герм.	436 снег	слав.
413 industry	фр., лат.	Rolle	фр., лат.	437 сон	слав.
415 back	герм.	Schüler	лат.	438 смысл	слав.
420 force	фр., лат.	April	лат.	442 двор	нем.
421 condition	фр., лат.	Kirche	греч., лат.	443 форма	лат.
423 paper	фр., лат.	Interesse	лат.	448 возможность	слав.
434 century	лат.	Angebot	герм.	449 общество	ст.-слав.
436 father	герм.	Fußball	англ.	451 грудь	слав.
437 section	фр., лат.	Abend	герм.	452 угол	слав.
438 patient	фр., лат.	Stimme	герм.	457 век	слав.
440 activity	фр., лат.	Vater	герм.	458 карман	тюрк.?
441 road	герм.	Eltern	герм.	460 немец	слав.
442 table	фр., лат.	Kunst	герм.	462 губа	слав.
444 church	герм.	Auge	герм.	463 дядя	слав.
448 mind	герм.	Region	лат.	467 огонь	слав.
451 team	герм.	Einsatz	герм.	468 писатель	слав.
452 experience	фр., лат.	Bericht	герм.	469 армия	нем.
453 death	герм.	Nacht	герм.	470 состояние	нем.
455 act	лат.	Dezember	лат.	471 зуб	слав.
456 sense	фр., лат.	Opfer	лат.	472 очередь	слав.
457 staff	герм.	Kopf	лат.	475 камень	слав.
459 student	лат.	Wochenende	герм.	476 гость	слав.
462 language	фр., лат.	Betrieb	герм.	478 ветер	слав.

469 department	фр., лат.	Internet	лат., англ.	490 рота	поль., лат.
470 management	фр., итал.	Deutsche	герм.	491 закон	слав.
471 morning	герм.	Blick	герм.	493 море	слав.
475 plan	фр.	Jahrhundert	герм.	496 гора	слав.
476 product	фр., лат.	Januar	лат.	497 врач	слав.
477 city	фр., лат.	Kosten	фр., лат.	498 край	слав.
479 committee	лат.	Mitte	герм.	501 река	слав.
480 ground	герм.	Bund	герм.	503 мера	слав.
481 letter	фр., лат.	Bürger	герм.	513 действие	слав.
483 evidence	фр., лат.	Titel	лат.	515 вещь	ст.-слав.
484 foot	герм.	Foto	англ., греч.	517 ход	слав.
486 boy	фр., лат.	Kraft	герм.	518 боль	слав.
487 game	?	Geschäft	герм.	519 судьба	слав.
488 food	герм.	Wirtschaft	герм.	520 причина	поль.
489 role	фр.	Tod	герм.	523 черта	слав.
490 practice	фр., лат.	Aufgabe	герм.	524 девочка	слав.
491 bank	фр., итал., герм.	Grenze	слав.	526 волос	слав.
493 support	фр., лат.	Sprecher	герм.	528 номер	голл., лат.
495 event	лат.	Idee	греч., лат.	534 глава	ст.-слав.
496 building	герм.	Gericht	герм.	538 командир	фр.
497 range	фр.	Information	лат.	540 партия	фр., лат.
503 stage	фр., лат.	Bahn	герм.	541 проблема	фр., лат.
504 meeting	герм.	Kunde	герм.	542 страх	слав.
508 town	герм.	Wasser	герм.	546 бумага	итал., лат.
509 art	лат.	Kritik	фр., лат.	547 герой	греч., фр.
511 club	д.-сев.	Gesetz	герм.	548 пара	поль., лат.
513 arm	герм.	Spieler	герм.	549 государство	слав.
514 history	лат.	Höhe	герм.	550 деревня	слав.
515 parent	лат.	Wohnung	герм.	551 речь	слав.
516 land	герм.	Wert	герм.	553 средство	слав.
517 trade	нем.	Situation	фр., лат.	554 положение	фр.
520 situation	фр., лат.	Ausstellung	герм.	555 связь	слав.
523 teacher	герм.	Amt	герм.	569 класс	фр., лат.
524 record	фр., лат.	Sinn	герм.	572 цель	поль., нем.
525 manager	фр., итал.	Recht	герм.	576 знать	слав.
526 relation	фр., лат.	Kreis	герм.	578 профессор	нем., лат.
530 field	герм.	Vorsitzende	герм.	579 господин	слав.
535 window	д.-сев.	Februar	лат.	580 счастье	слав.
536 account	фр.	Besucher	герм.	582 дух	слав.

542 difference	фр., лат.	Tor	герм.	583 план	нем., лат.
543 material	фр., лат.	Universität	лат.	585 зал	нем.
544 air	фр., лат.	Kampf	лат.	588 директор	нем., лат.
545 wife	?	Union	лат.	590 память	слав.
548 project	лат.	Lage	герм.	593 результат	фр., лат.
550 sale	герм.	Plan	фр., лат.	598 след	слав.
551 relationship	фр., лат.	Sommer	герм.	600 бутылка	фр., лат.
553 light	герм.	Publikum	фр., лат.	602 условие	слав.
557 care	герм.	Bau	герм.	604 ум	слав.
561 rule	фр., лат.	System	греч., лат.	606 процесс	нем., лат.
566 story	фр., лат.	Theater	греч., лат.	607 картина	итал.?
567 quality	фр., лат.	Beginn	герм.	611 центр	нем., греч.
568 tax	фр., лат.	Kollege	лат.	617 будущее	слав.
569 worker	герм.	Vertrag	герм.	619 число	слав.
570 nature	лат.	Kilometer	греч.	621 рубль	слав.
571 structure	фр., лат.	Schritt	герм.	624 вера	слав.
572 data	лат.	Form	лат.	626 удар	слав.
574 pound	герм.	Bevölkerung	герм.	627 телефон	греч.
575 method	фр., лат.	Arzt	лат.	628 колено	слав.
576 unit	лат.	Institut	лат.	631 коридор	нем., лат.
578 bed	герм.	Saison	фр., лат.	632 мужик	слав.
579 union	фр.	Mittel	герм.	634 автор	поль., лат.
580 movement	фр.	Leistung	герм.	638 встреча	слав.
581 board	герм.	Zug	герм.	639 кабинет	нем., фр.
590 detail	фр.	Mädchen	герм.	640 документ	лат.
591 model	фр., лат.	Verfügung	герм.	641 самолет	слав.
598 wall	лат.	Richtung	герм.	644 игра	слав.
602 computer	фр., лат.	Aktion	лат.	645 рассказ	слав.
604 hospital	фр., лат.	Sohn	герм.	646 хлеб	герм.?
605 chapter	фр., лат.	Kultur	лат.	647 развитие	нем.
606 scheme	лат.	Diskussion	лат.	657 трубка	лат.
607 theory	лат.	Parlament	фр., лат.	658 враг	ст.-слав.
610 property	фр., лат.	Angst	герм.	661 доктор	лат.
614 officer	фр., лат.	Museum	греч., лат.	662 ладонь	слав.
616 charge	фр., лат.	Lösung	герм.	666 наука	слав.
617 director	фр., лат.	Tochter	герм.	667 лейтенант	нем., лат.
621 approach	фр., лат.	Erfahrung	герм.	668 служба	слав.
622 chance	фр., лат.	Künstler	герм.	672 счет	слав.
623 application	фр., лат.	Beamter	герм.	676 кухня	нем., лат.
628 top	герм.	Prozess	лат.	648 решение	слав.
629 amount	фр., лат.	Behörde	герм.	681 роман	фр., лат.
630 son	герм.	Band	герм.	683 компания	поль., лат.

631 operation	фр., лат.	Mehrheit	герм.	688 течение	слав.
634 opportunity	фр., лат.	Konzern	фр., лат.	692 метр	фр., лат.
636 leader	герм.	Bühne	герм.	695 институт	фр.
637 look	герм.	Veranstaltung	герм.	697 интерес	нем., лат.
638 share	герм.	Vertreter	герм.	702 половина	слав.
639 production	фр., лат.	Rahmen	герм.	706 качество	ст.-слав.
641 firm	итал., лат.	Arbeitsplatz	герм., фр.	707 бой	слав.
642 picture	лат.	Zuschauer	герм.	708 шея	слав.
643 source	фр., лат.	Druck	герм.	710 идея	лат.
644 security	фр., лат.	Weise	герм.	715 трава	слав.
648 contract	фр., лат.	Tier	герм.	716 дед	слав.
651 agreement	фр., лат.	Sicherheit	лат.	717 сознание	лат.
655 site	фр., лат.	Gebiet	герм.	718 родитель	слав.
657 labour	фр., лат.	Autor	лат.	721 чай	тюрк., кит.
661 test	фр., лат.	Medium	лат.	724 род	слав.
663 loss	герм.	Klasse	лат.	728 звук	слав.
667 colour	фр., лат.	Bad	герм.	730 магазин	нем., фр., араб.
669 shop	фр.	Soldat	итал.	731 президент	фр., лат.
670 benefit	фр., лат.	Rede	герм.	732 поэт	фр., лат.
671 animal	фр., лат.	Verhandlung	герм.	734 болезнь	слав.
672 heart	герм.	Gefahr	герм.	735 событие	слав.
673 election	фр.	Führung	герм.	737 кожа	слав.
674 purpose	фр., лат.	Konzept	лат.	738 лист	слав.
675 standard	фр.	Meinung	герм.	742 слеза	слав.
677 secretary	лат.	Vorschlag	герм.	743 надежда	ст.-слав.
679 date	фр., лат.	Forderung	герм.	747 литература	лат.
681 music	фр., лат.	Kommission	лат.	748 оружие	слав.
682 hair	герм.	Vorjahr	герм.	750 запах	слав.
684 factor	фр., лат.	Organisation	фр., лат.	754 роль	фр., лат.
687 pattern	фр.	Hälfte	герм.	755 рост	слав.
689 piece	фр., лат.	Richter	герм.	756 природа	слав.
692 front	фр., лат.	Verlag	герм.	758 точка	слав.
693 evening	герм.	Umsatz	герм.	759 звезда	слав.
695 tree	герм.	Koalition	фр., лат.	762 фамилия	поль., лат.
696 population	лат.	Ministerpräsident	фр., лат.	763 характер	поль., лат.
698 plant	фр., лат.	Leiter	герм.	766 офицер	нем., фр.
699 pressure	лат.	Herz	герм.	767 толпа	слав.
700 response	фр., лат.	Verband	герм.	770 уровень	слав.
702 street	лат.	Zusammenarbeit	герм.	772 кресло	слав.
704 performance	фр.	Experte	фр., лат.	773 баба	слав.

705 knowledge	герм.	Unterstützung	герм.	774 секунда	нем., лат.
707 design	фр., лат.	Boden	герм.	776 банк	итал., лат.
708 page	фр., лат.	Fan	лат., англ.	777 опыт	слав.
710 individual	лат.	Volk	герм.	780 сапог	слав.?
712 rest	фр., лат., герм.	Sprache	герм.	781 правило	ст.-слав.
715 basis	лат.	Aktie	лат.	782 стекло	гот.
716 size	фр.	Urteil	герм.	785 дочь	слав.
717 environment	фр.	Hoffnung	герм.	788 член	ст.-слав.
719 fire	герм.	Vorstand	герм.	791 десяток	слав.
720 series	лат.	Dienst	герм.	793 цветок	слав.
721 success	лат.	Anteil	герм.	795 желание	слав.
726 thought	герм.	Gegner	лат.	796 дождь	слав.
727 list	фр.	Linie	лат.	800 лоб	слав.
730 future	фр., лат.	Verhältnis	лат.	801 улыбка	слав.
732 analysis	лат.	Verfahren	герм.	802 борьба	слав.
734 space	фр., лат.	Streit	герм.	803 ворот	слав.
737 demand	фр., лат.	Hotel	фр., лат.	804 ящик	слав.
738 statement	лат.	Maßnahme	герм.	805 этаж	фр., лат.
740 attention	фр., лат.	Modell	итал., лат.	810 революция	лат.
741 love	герм.	Herbst	герм.	812 сосед	слав.
742 principle	фр., лат.	Beitrag	герм.	813 сестра	слав.
744 set	герм.	Produkt	лат.	817 ситуация	лат.
745 doctor	фр., лат.	Text	лат.	820 количество	ст.-слав.
746 choice	фр., лат.	Reise	герм.	823 выход	слав.
748 feature	фр., лат.	Sport	фр., лат.	824 совет	ст.-слав.
749 couple	фр., лат.	Gebäude	герм.	825 дурак	слав.
750 step	герм.?	Junge	герм.	827 союз	ст.-слав.
753 machine	фр., лат.	Bundesregie- rung	герм.	828 лето	слав.
754 income	д.-сев.	Liebe	герм.	832 граница	слав.
755 training	фр., лат.	Ding	герм.	833 цвет	слав.
757 association	фр., лат.	Täter	герм.	837 свобода	слав.
758 film	герм.	Alter	герм.	839 стул	герм.
759 region	фр., лат.	Partner	фр., лат.	841 поезд	слав.
760 effort	фр., лат.	Lehrer	герм.	842 музыка	греч., поль.
761 player	герм.	Zentrum	греч., лат.	844 тень	слав.
764 award	фр., лат.	Abgeordnete	герм.	845 лошадь	слав.
765 village	фр., лат.	Macht	герм.	846 поле	слав.
767 organisation	фр., лат.	Wunsch	герм.	852 тип	нем., лат.
769 news	фр.	Vorwurf	лат.	853 суд	слав.

771 difficulty	лат.	Geschäftsführer	герм.	856 площадь	ст.-слав.?
773 cell	фр., лат.	Besuch	герм.	862 радость	слав.
777 energy	фр., лат.	Auftrag	герм.	864 возраст	ст.-слав.
779 degree	фр., лат.	Versuch	герм.	865 орган	лат., греч.
780 mile	лат.	Fischer	герм.	866 карта	голл., итал., греч.
781 means	герм.	Satz	герм.	869 король	герм.
782 growth	герм.	Reihe	герм.	870 слава	слав.
784 treatment	фр., лат.	Reform	лат.	871 полковник	поль.
785 sound	фр., лат.	Antrag	герм.	873 бок	слав.
787 task	фр., лат.	Bezirk	лат.	874 цена	слав.
788 provision	фр., лат.	Konzert	итал., лат.	875 информация	лат.
793 behaviour	герм.	Szene	фр., лат.	876 мозг	слав.
796 function	фр., лат.	Vorstellung	герм.	877 удовольствие	слав.
798 resource	фр., лат.	Zusammenhang	герм.	878 воля	слав.
799 defence	фр., лат.	Schaden	герм.	879 область	ст.-слав.
800 garden	фр., лат.	Fraktion	лат.	880 крыша	слав.
801 floor	герм.	Wettbewerb	герм.	884 дама	фр., лат.
802 technology	греч.	Bedeutung	герм.	888 сад	слав.
803 style	фр., лат.	Gesicht	герм.	889 правительство	слав.
804 feeling	герм.	Antwort	герм.	895 название	слав.
805 science	фр., лат.	Glück	герм.	897 пример	слав.
807 doubt	фр., лат.	Kandidat	лат.	899 зеркало	слав.
808 horse	герм.	Position	лат.	902 дым	слав.
810 answer	герм.	Student	лат.	906 факт	нем., лат.
816 user	фр., лат.	Gewerkschaft	герм.	908 рыба	слав.
817 fund	фр., лат.	Gefühl	герм.	911 бабушка	слав.
818 character	фр., лат.	Ernst	герм.	912 вино	лат.
819 risk	фр., итал.	Westen	герм.	914 учитель	слав.
823 dog	?	Patient	лат.	917 круг	слав.
826 army	фр., лат.	Ansicht	герм.	918 папа	слав.
829 station	фр., лат.	Ausland	герм.	925 повод	слав.
830 glass	герм.	Karte	фр., лат.	926 лагерь	нем.
831 cup	фр., лат.	Gewinn	герм.	927 птица	слав.
833 husband	д.-сев.	Bauer	герм.	928 корабль	слав.
839 capital	фр., лат.	Luft	герм.	929 мнение	ст.-слав.
841 note	фр., лат.	Kontakt	лат.	932 зима	слав.
842 season	фр., лат.	Öffentlichkeit	герм.	934 километр	фр.
843 argument	фр., лат.	Gott	герм.	935 кровать	греч.
845 show	герм.	Vergangenheit	герм.	939 лестница	слав.
846 responsibility	фр., лат.	Osten	герм.	943 детство	слав.

848 deal	герм.	Start	англ.	944 остров	слав.
850 economy	фр., лат.	Manager	итал., англ.	945 статья	слав.
851 element	фр., лат.	Jugend	герм.	949 водка	слав.
853 duty	д.-сев.	Fahrzeug	герм.	950 темнота	слав.
857 attempt	фр., лат.	Tür	герм.	953 станция	поль.
859 investment	фр., лат.	Gewalt	герм.	957 гражданин	ст.-слав.
864 brother	герм.	Hauptstadt	герм.	961 команда	нем., лат.
869 title	фр., лат.	Hinweis	герм.	962 заболевание	слав.
870 hotel	фр.	Anspruch	герм.	963 живот	слав.
871 aspect	лат.	Spitze	герм.	966 тишина	слав.
872 increase	фр., лат.	Anlage	герм.	968 фронт	фр., лат.
873 help	герм.	Regel	лат.	969 щека	слав.
876 summer	герм.	Initiative	фр., лат.	971 район	фр., лат.
879 daughter	герм.	Nummer	итал., лат.	974 выражение	слав.
883 baby	герм.?	Konflikt	лат.	976 мешок	слав.
887 sea	герм.	Tat	герм.	980 большинство	слав.
888 skill	д.-сев.	Bewegung	герм.	982 управление	слав.
889 claim	фр., лат.	Dame	итал., фр.	985 приказ	слав.
892 concern	фр., лат.	Nachricht	герм.	989 куст	слав.
893 university	фр., лат.	Brief	лат.	991 художник	ст.-слав.
897 discussion	фр., лат.	Teilnehmer	герм.	992 знак	слав.
899 customer	фр.	Krankenhaus	герм.	993 завод	слав.
900 box	лат.	Industrie	фр., лат.	994 кулак	слав.
903 conference	фр., лат.	Fernsehen	герм.	996 стакан	тюрк.
904 whole	герм.	Star	англ.	999 рот	слав.
906 profit	фр., лат.	Fuß	герм.	1002 лечение	слав.
907 division	фр.	Licht	герм.	1004 сутки	слав.
909 procedure	фр.	Tisch	лат.	1006 операция	лат.
911 king	герм.	Niederlage	герм.	1007 пространство	ст.-слав.
913 image	фр., лат.	Drittel	герм.	1009 одежда	ст.-слав.
914 oil	фр., лат.	Runde	фр., лат.	1010 кусок	слав.
918 circumstance	фр., лат.	Verlust	герм.	1011 тема	нем., лат.
920 proposal	фр., лат.	Aussage	герм.	1014 искусство	ст.-слав.
922 client	лат.	Produktion	лат.	1017 курс	нем., лат.
923 sector	лат.	Unfall	герм.	1020 чудо	слав.
924 direction	фр., лат.	Anlass	герм.	1021 ощущение	ст.-слав.

930 instance	фр., лат.	Journalist	фр.	1026 здание	ст.-слав.
931 sign	фр., лат.	Computer	лат., англ.	1030 милиция	лат.
937 measure	фр., лат.	Senat	лат.	1035 волна	слав.
938 attitude	фр., лат.	Beziehung	герм.	1036 задача	слав.
940 disease	фр.	Minister	фр., лат.	1038 старуха	слав.
943 commission	фр., лат.	Professor	лат.	1039 войско	слав.
946 seat	герм.	Rennen	герм.	1040 срок	слав.
947 president	фр., лат.	Schluss	герм.	1041 ужас	слав.
949 addition	фр., лат.	Einrichtung	герм.	1043 материал	лат.
950 goal	?	Auftritt	герм.	1046 крик	слав.
954 affair	фр.	Sicht	герм.	1047 знание	слав.
955 technique	фр.	Verkauf	герм.	1050 шум	слав.
956 respect	фр., лат.	Moment	лат.	1052 автомат	фр., греч.
961 item	лат.	Job	англ.	1054 тетя	слав.
964 version	фр.	Presse	лат.	1055 впечатление	фр.
966 ability	фр., лат.	Interview	англ., лат.	1056 пауза	нем., лат.
968 good	герм.	König	герм.	1057 глубина	слав.
969 campaign	фр., итал.	Meister	лат.	1058 доллар	англ., нем.
971 advice	фр., лат.	Kurs	фр., лат.	1059 сотня	слав.
972 institution	фр.	Roman	фр., лат.	1061 студент	нем., лат.
975 surface	фр.	Studie	лат.	1063 очко	слав.
976 library	лат.	Natur	лат.	1064 нож	слав.
977 pupil	фр., лат.	Technik	лат., греч.	1067 предмет	лат.
981 advantage	фр.	Bruder	герм.	1069 майор	нем., лат.
984 memory	фр., лат.	Laut	герм.	1074 деятельность	слав.
985 culture	фр., лат.	Untersuchung	герм.	1075 инженер	нем., лат.
986 blood	герм.	Truppe	фр., лат.	1076 программа	фр., лат.
988 majority	фр., лат.	Menge	герм.	1077 костюм	фр., лат.
990 variety	фр., лат.	Nähe	герм.	1080 театр	фр., греч.
991 press	фр., лат.	Kontrolle	фр., лат.	1083 хвост	герм.?
993 bill	фр., лат.	Dorf	герм.	1084 танк	англ.
994 competition	лат.	Liste	итал.	1089 журнал	фр., лат.
996 general	фр., лат.	Standort	герм.	1090 конь	слав.
997 access	фр., лат.	Eindruck	лат.	1093 стих	ст.-слав.
999 stone	герм.	Gemeinderat	герм.	1094 степень	слав.
1001 extent	фр.	Spur	герм.	1098 фигура	лат.
1002 employment	фр., лат.	Bundesland	герм.	1099 ключ	слав.

1005 present	фр., лат.	Morgen	герм.	1100 черт	слав.
1006 appeal	фр., лат.	Debatte	фр., лат.	1103 вагон	фр., нем.
1007 text	фр., лат.	Republik	фр., лат.	1104 культура	фр., лат.
1008 parliament	фр.	Sekunde	лат.	1106 боец	слав.
1009 cause	фр., лат.	Qualität	лат.	1108 фильм	англ.
1010 terms	фр., лат.	Angriff	герм.	1115 пыль	слав.
1011 bar	фр., лат.	Börse	голл.	1118 труба	ст.-слав.
1012 attack	фр., итал.	Kino	греч.	1122 масса	фр., греч.
1014 mouth	герм.	Polizist	лат., греч.	1124 обстоятельство	лат.
1017 fish	герм.	Lauf	герм.	1130 штаб	нем.
1019 visit	фр., лат.	Stand	герм.	1131 слух	слав.
1024 trouble	фр.	Verbindung	герм.	1134 линия	нем., лат.
1026 payment	фр.	Fehler	фр., лат.	1135 лодка	слав.
1028 post	фр., итал., лат.	Opposition	лат.	1137 даль	слав.
1029 county	фр., лат.	Club	англ.	1138 председатель	слав.
1030 lady	герм.	Ausgabe	герм.	1141 период	фр., лат.
1031 holiday	герм.	Hintergrund	герм.	1142 организм	фр.
1033 importance	фр., лат.	Datum	лат.	1143 отдел	слав.
1034 chair	фр., лат.	Flughafen	герм.	1144 весна	слав.
1035 facility	фр., лат.	Verkehr	герм.	1145 обед	слав.
1037 article	фр., лат.	Büro	фр.	1146 значение	слав.
1038 object	лат.	Handel	герм.	1147 дно	слав.
1039 context	лат.	Treffen	герм.	1148 фотография	фр., греч.
1040 survey	фр., лат.	Freude	герм.	1150 успех	слав.
1043 turn	фр., лат.	Zeichen	герм.	1154 сцена	лат., греч.
1046 collection	фр., лат.	Jahrzehnt	герм.	1155 билет	фр.
1047 reference	фр., лат.	Energie	фр., лат.	1156 состав	ст.-слав.
1048 card	фр., лат.	Bundestag	герм.	1159 честь	слав.
1051 television	лат., греч.	Insel	лат.	1161 смех	слав.
1053 communication	лат.	Serie	лат.	1166 способ	слав.
1054 agency	лат.	Telefon	греч.	1168 зрение	слав.
1058 sun	герм.	Sorge	герм.	1174 запад	слав.
1059 species	лат.	Rang	фр.	1177 население	слав.
1060 possibility	фр., лат.	Staatsanwaltschaft	герм.	1178 беда	слав.
1061 official	фр.	Generation	лат.	1180 еда	слав.

1062 chairman	фр., лат.	Erinnerung	герм.	1184 еврей	ст.-слав.
1063 speaker	герм.	Nation	лат.	1188 министр	фр., лат.
1064 second	фр.	Haushalt	герм.	1189 фирма	итал., лат., нем.
1065 career	фр., лат.	Armee	фр., лат.	1191 организация	фр., греч.
1067 weight	герм.	Amerikaner	итал., герм.	1192 принцип	фр., лат.
1070 base	фр., лат.	Protest	лат.	1193 направление	слав.
1071 document	фр., лат.	Gedanke	герм.	1195 мастер	нем.
1072 solution	фр., лат.	Konkurrenz	лат.	1198 ошибка	слав.
1073 return	фр.	Strecke	герм.	1199 высота	слав.
1077 talk	герм.	Stimmung	герм.	1200 существо	ст.-слав.
1078 budget	фр., лат.	Erklärung	герм.	1202 мальчишка	слав.
1079 river	фр., лат.	Tonne	фр., лат.	1211 господь	слав.
1081 organization	фр., лат.	Suche	герм.	1217 камера	нем., лат.
1083 start	герм.	Verantwortung	герм.	1218 победа	ст.-слав.
1086 requirement	фр., лат.	Abschluss	герм.	1222 человечество	слав.
1088 edge	герм.	Baden	герм.	1223 фраза	фр., греч.
1089 opposition	фр., лат.	Schutz	герм.	1225 гот	нем.
1090 opinion	фр., лат.	Baum	герм.	1229 замок	слав.
1091 drug	фр.	Regisseur	фр., лат.	1236 рынок	нем., поль.
1092 quarter	фр., лат.	Außenminister	лат., герм.	1239 клуб	д.-сев., англ.
1093 option	фр., лат.	Heimat	герм.	1242 кость	слав.
1096 call	герм.	Sitzung	герм.	1244 личность	слав.
1098 stock	герм.	Tour	фр., англ.	1245 столица	слав.
1099 influence	фр., лат.	Wald	герм.	1247 здоровье	слав.
1100 occasion	фр., лат.	Netz	герм.	1249 попытка	слав.
1102 software	герм.	Fahrer	герм.	1255 читатель	слав.
1104 exchange	фр., лат.	Winter	герм.	1256 шутка	слав.
1105 lack	герм.	Direktor	лат.	1259 сотрудник	слав.
1108 concept	лат.	Bundesliga	исп., герм.	1262 родина	слав.
1110 star	герм.	Sitz	герм.	1263 царь	лат.
1111 radio	лат.	Körper	лат.	1265 страница	слав.
1113 arrangement	фр.	Risiko	итал.	1266 скорость	слав.
1115 bird	?	Stiftung	герм.	1267 зверь	слав.
1117 band	герм.	Widerstand	герм.	1271 размер	слав.
1118 sex	лат.	Figur	фр., лат.	1272 житель	слав.
1120 past	фр., лат.	Bedingung	герм.	1273 секретарь	лат.

1122 equipment	фр.	Flüchtling	герм.	1280 сигарета	исп., фр.
1123 north	герм.?	Farbe	герм.	1282 пиво	слав.
1125 move	фр., лат.	Ausbildung	герм.	1284 прием	слав.
1126 message	фр.	Post	итал.	1285 противник	слав.
1127 fear	герм.	Motto	итал.	1286 образование	нем.
1128 afternoon	фр., лат.	Leitung	герм.	1287 продукт	фр., лат.
1131 race	фр., лат., итал.	See	герм.	1289 пуля	нем., поль.
1133 strategy	греч.	Waffe	герм.	1290 книжка	тюрк.?
1135 scene	лат.	Arm	герм.	1293 представитель	слав.
1137 kitchen	лат.	Gut	герм.	1296 производство	слав.
1138 speech	герм.	Grad	лат.	1297 больница	слав.
Всего англ. и герм.	126 + 7 неизвестн. (27 %)	Всего нем. и герм.	304 (61 %)	Всего рус. и слав.	317 (63 %)
Всего иностр.	367 (73 %)	Всего иностр.	196 (39 %)	Всего иностр.	183 (37 %)

Для полноты картины приводим здесь данные по другому корпусу английского языка, составленному преимущественно на основе американской деловой и личной переписки, хорошо отображающей разговорную речь (всего 15 млн словоформ). Напрямую сопоставлять эти результаты с нашими нельзя, так как приведённые выше списки составлены на основе других материалов. Судя по таблице, в близкой к разговорной речи среди самых употребительных 1000 слов доминирует германская лексика.

10 000 самых высокочастотных слов американского английского (преимущественно переписка) (Stockwell, Minkova, 2001, p. 53)

	герм.	фр.	лат.	д.-сев.	другое
0–1 000	83 %	11 %	2 %	2 %	2 %
1 000–2 000	34	46	11	2	7
2 000–3 000	29	46	14	1	10
3 000–4 000	27	45	17	1	10
4 000–5 000	27	47	17	1	8
5 000–6 000	27	42	19	2	10
6 000–7 000	23	45	17	2	13
7 000–8 000	26	41	18	2	13
8 000–9 000	25	41	17	2	15
9 000–10 000	25	42	18	1	14

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Александров, Д. Враг народа [Электронный ресурс] / Д. Александров. – Режим доступа: <http://www.top-manager.ru/?a=1&id=407>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2004.
2. Андреева, Е. Г. Корпус параллельных текстов в анализе соответствий при переводе некоторых залоговых форм // Материалы Международной конференции «Диалог – 2005» [Электронный ресурс] / Е. Г. Андреева. – Режим доступа: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2005/AndreevaE/AndreevaE.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2005.
3. Аполлова, М. А. Specific English (грамматические трудности перевода) [Текст] / М. А. Аполлова. – М. : Международные отношения, 1977.
4. Аракин, В. Д. История английского языка [Текст] / В. Д. Аракин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003.
5. Аракин, В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков [Текст] : учеб. пос. / В. Д. Аракин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005.
6. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека [Текст] / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999.
7. Атеистический словарь [Электронный ресурс] / под ред. М. П. Новикова. – Режим доступа: <http://terme.ru/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1986.
8. Атлас языков мира [Текст] / под ред. Б. Комри, С. Мэттьюса, М. Полински. – М. : Лик Пресс, 1998.
9. Афазия, нарушение работы мозга, приводящее к неспособности воспринимать устную и письменную речь, не мешает процессам мышления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.healthua.com/news/820/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2005.
10. Бабаев, К. В. О реконструкции двух серий показателей лица в ностратических языках [Электронный ресурс] / К. В. Бабаев. – Режим доступа: <http://language.babaev.net/2series.doc>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007.
11. Бабаева, Е. В. Культурно-языковые характеристики отношения к собственности (на материале немецкого и русского языков) [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Бабаева. – Волгоград, 1997.
12. Баландина, Е. А. Социальное мифотворчество в качестве средства манипуляции сознанием (философский подход) [Текст] : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Е. А. Баландина. – Барнаул, 2006.
13. Басилашвили, Н. Мифологические рассказы [Электронный ресурс] / Н. Басилашвили, М. Федотова. – Режим доступа: <http://www.booksite.ru/fulltext/lbe/loz/erye/12.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1994.

14. Беликов, В. И. Языковые контакты и генеалогическая классификация [Электронный ресурс] / В. И. Беликов. – Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/folklore/belikov2.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2005.
15. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах [Текст]. – М. : Художественная литература, 1975.
16. Бирнбаум, Х. Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции [Текст] / Х. Бирнбаум. – М. : Прогресс, 1986.
17. Бирюлин, Л. А. Семантика и синтаксис русского имперсонала: *verba meteorologica* и их диатезы [Текст] / Л. А. Бирюлин. – München : Verlag Otto Sagner, 1994.
18. Блумфилд, Л. Язык [Текст] / Л. Блумфилд. – М. : УРСС, 2002.
19. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Избранные труды по общему языкознанию [Текст] / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1963.
20. Болтенко, Э. Н. Стереотип как основание гендерных исследований в лингвистике [Электронный ресурс] / Э. Н. Болтенко. – Режим доступа: http://bspu.secna.ru/Journal/vestnik/ARNIW/N4_2002/1_sekz/boltenko.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002.
21. Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс] / под ред. А. М. Прохорова [и др.]. – Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1969–1978.
22. Борковский, В. И. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. – М. : КомКнига, 2006.
23. Борковский, В. И. Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения [Текст] / В. И. Борковский. – М. : Наука, 1968.
24. Брендакова, Л. Реабилитация понятия «карьер» в системе развития личности современного подростка [Текст] / Л. Брендакова, В. М. Колесников // Lev Vygotsky, 1896–1996: The cultural historical approach: progress in human sciences and education. – М., 1996. – С. 30–31.
25. Брызгунова, Е. А. Тенденции к аналитизму в русском языке: современное состояние [Текст] / Е. А. Брызгунова // Материалы III Международного конгресса исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность». – М. : Издательство Московского университета, 2007. – С. 14–15.
26. Бубрих, Д. В. К вопросу о стадильности в строе глагольного предложения [Текст] / Д. В. Бубрих // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – М., 1946. – С. 205–212.
27. Букатевич, Н. И. Историческая грамматика русского языка [Текст] / Н. И. Букатевич, С. А. Савицкая, Л. Я. Усачёва. – Киев : Вища школа, 1974.

28. Булгаков, С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам [Электронный ресурс] / С. В. Булгаков. – Режим доступа: <http://profirus.by.ru/pravoslavie/text/k-bulg.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1994.
29. Бурас, М. Любить по-русски [Электронный ресурс] / М. Бурас. – Режим доступа: http://old.russ.ru/ist_sovr/20030430_bk.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2003.
30. Бызов, Л. Ценности, которые нас объединяют [Электронный ресурс] / Л. Бызов. – Режим доступа: <http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/641.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2004.
31. Быховская, С. Л. «Пассивная» конструкция в яфетических языках [Текст] / С. Л. Быховская // Язык и мышление. – М. : Институт языка и мышления Академии наук СССР, 1934. – Т. 2. – С. 55–72.
32. Бэнь, С. С. О лексико-семантических особенностях категории состояния [Электронный ресурс] / С. С. Бэнь. – Режим доступа: http://www.bashedu.ru/str_n_col/vestnic/magaz1_3/suy.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002.
33. Бэнь, С. С. Способы подачи русских безличных предложений в китайском языке [Текст] / С. С. Бэнь // Язык и культура в межкультурной коммуникации народов Евразии : материалы Международной научной конференции (30 сентября – 2 октября 2002 г.). – Уфа : Издательство БашГУ, 2002. – С. 165–167.
34. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка [Электронный ресурс] / Н. С. Валгина. – Режим доступа: <http://ardis.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/index.html?part-016.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2000.
35. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики [Текст] / А. Вежбицкая. – М. : Просвещение, 2001.
36. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Электронный ресурс] / А. Вежбицкая. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/ling/wierz_rl/rl4.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1996.
37. Великий и могучий во дни тревог и сомнений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.srbumag.nw.ru/99/24/2.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1999.
38. Виноградов, В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка) [Текст] / В. В. Виноградов // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М. : Наука, 1975.
39. Винокур, Г. О. Избранные работы по русскому языку [Текст] / Г. О. Винокур. – М. : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1959.
40. Ворф, Б. Наука и языкознание. [Текст] / Б. Ворф // Языки как образ мира. – М. : Terra Fantastica, 2003. – С. 202–220.

41. Востриков, О. В. Финно-угорский субстрат в русском языке [Текст] / О. В. Востриков. – Свердловск : Издательство УрГУ, 1990.

42. Гаджихамедов, Н. Э. Сопоставительный анализ русского и кумыкского менталитетов на языковом уровне [Текст] / Н. Э. Гаджихамедов // Мир на Северном Кавказе через языки, образование и культуру : материалы IV Международного конгресса (21–24 сентября 2004 г.). – Пятигорск : Пятигорский государственный лингвистический университет, 2004.

43. Гак, В. Г. О книге Шарля Балли «Язык и жизнь» [Электронный ресурс] / В. Г. Гак. – Режим доступа: <http://www.urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=ru&blang=ru&page=Book&list=18&id=5409>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2003.

44. Галактионова, И. В. Предлог: препозиция и постпозиция [Текст] / И. В. Галактионова // Сборник тезисов III Международного конгресса исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность». – М. : Издательство Московского университета, 2007. – С. 272–273.

45. Галкина-Федорук, Е. М. Безличные предложения в русском языке [Текст] / Е. М. Галкина-Федорук. – М. : Издательство МГУ, 1958.

46. Галушко, Т. Г. К вопросу об эволюционной парадигме языка [Электронный ресурс] / Т. Г. Галушко. – Режим доступа: <http://power.blg.ru/vestnik/3/3-12.doc>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2000.

47. Гвоздев, А. Н. Очерки по стилистике русского языка [Электронный ресурс] / А. Н. Гвоздев. – Режим доступа: <http://reader.boom.ru/gvozdev/s/stil607.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2005.

48. Гвоздева, Е. Амбиции вместо идеалов (о целях современной молодежи. Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс] / Е. Гвоздева. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/d022827>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002.

49. Гиро-Вебер, М. Эволюция так называемых безличных конструкций в русском языке XX века [Текст] / М. Гиро-Вебер // Русский язык: пересекая границы / под ред. И. Б. Шатуновского. – Дубна : Международный университет природы, общества и человека, 2001. – С. 66–78.

50. Градинарова, А. А. Замечания о болгарских функциональных соответствиях русских безличных конструкций (на основе болгарских переводов русских текстов) [Текст] / А. А. Градинарова // Русский и болгарский языки. Сопоставление грамматических систем. Вопросы перевода : юбилейный сборник. – София : Херон Прес, 2007 а. – С. 88–103.

51. Градинарова, А. А. О расширении сферы синтаксической безличности в современном русском языке [Текст] / А. А. Градинарова // Конференция МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры» (Болгария, Пловдив, 31 октября – 3 ноября 2006 г.) : сборник докладов. – Пловдив : Паисий Хилендарски, 2007 б. – С. 145–149.

52. Гринберг, Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков [Текст] / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. – 1963. – № 3. – С. 60–94.
53. Гриценко, Е. С. Гендерные аспекты национальной идентичности в российском предвыборном дискурсе [Текст] / Е. С. Гриценко // Journal of Eurasian Research. – 2003. – № 3. – С. 71–79.
54. Гухман, М. М. К вопросу о соотношении языка и мышления [Текст] / М. М. Гухман // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1973. – № 4. – С. 356–361.
55. Гухман, М. М. Конструкции с дательным-винительным падежом лица в индоевропейских языках [Текст] / М. М. Гухман // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1945. – № 4. – С. 148–157.
56. Гухман, М. М. Конструкции с дательным / винительным лица и проблема эргативного прошлого индоевропейских языков [Текст] / М. М. Гухман // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / под ред. В. М. Жирмунского. – Л. : Наука, 1967. – С. 58–74.
57. Гухман, М. М. О стадильности в развитии строя индоевропейских языков [Текст] / М. М. Гухман // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1947. – № 6. – С. 101–114.
58. Давыдов, И. И. Опыт общесравнительной грамматики русского языка [Текст] / И. И. Давыдов. – СПб. : Типография Императорской академии наук, 1854.
59. Даль, В. И. Пословицы русского народа [Текст] / В. И. Даль. – М. : Олма-Пресс, 2004.
60. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа [Текст] / Н. Я. Данилевский. – СПб. : Глагол, 1995.
61. Депутат Госдумы Мединский опровергает мифы о пьянстве и лени русских [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rian.ru/culture/20071218/92988477.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007.
62. Десницкая, А. В. К вопросу о происхождении винительного падежа в индоевропейских языках [Текст] / А. В. Десницкая // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1947. – № 6. – С. 493–499.
63. Дешериев, Ю. Д. Эргативная конструкция предложения [Текст] / Ю. Д. Дешериев // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1951. – № 10. – С. 589–596.
64. Дирр, А. М. Глагол в кавказских языках [Текст] / А. М. Дирр // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950. – С. 17–33.
65. Дмитриевский, А. А. Практические заметки о русском синтаксисе, II [Текст] / А. А. Дмитриевский // Филологические записки. – 1877. – № 4. – С. 15–37.

66. Додонов, Р. А. Этническая ментальность: опыт социально-филологического исследования [Текст] / Р. А. Додонов. – Запорожье : Тандем-У, 1998.
67. Дыбо, В. А. Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) [Текст] / В. А. Дыбо // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1978. – № 5. – С. 400–413.
68. Дьяконов, И. М. Эргативная конструкция и субъектно-объектные отношения [Текст] / И. М. Дьяконов // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / под ред. В. М. Жирмунского. – Л. : Наука, 1967. – С. 95–116.
69. Дьячков, М. В. Креольские языки [Текст] / М. В. Дьячков. – М. : Наука, 1987.
70. Евгеньева, А. П. Словарь русского языка [Текст] : в 4 т. / А. П. Евгеньева. – М. : Русский язык, 1999.
71. Есперсен, О. Философия грамматики [Текст] / О. Есперсен. – М. : Издательство иностранной литературы, 1958.
72. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка [Текст] / Т. Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000.
73. Жирмунский, В. М. Сравнительная грамматика и новое учение о языке [Текст] / В. М. Жирмунский // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1940. – Т. 1, № 3. – С. 28–61.
74. Зарецкий, Е. В. Имперсонал в немецком, русском и английском: квантитативный подход [Электронный ресурс] / Е. В. Зарецкий. – Режим доступа: <http://evcprk.ru/files/pdf/246.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007 а.
75. Зарецкий, Е. В. Мужская и женская иррациональность по данным корпусных исследований [Электронный ресурс] / Е. В. Зарецкий. – Режим доступа: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1968&level1=main&level2=articles>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007 б.
76. Зарецкий, Е. В. Фемининность / маскулинность: кросс-культурный анализ на примере России и ФРГ [Текст] / Е. В. Зарецкий // Современные гуманитарные исследования. – 2007 в. – № 3. – С. 235–278.
77. Захарова, М. В. Безличные предложения в культурологическом аспекте [Текст] / М. В. Захарова // Сопоставительная филология и полилингвизм : сборник научных трудов / под ред. А. А. Аминовой, Н. А. Андроновой. – Казань : Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2003. – С. 171–176.
78. Звегинцев, В. А. Очерки по общему языкознанию [Текст] / В. А. Звегинцев. – М. : Издательство МГУ, 1962.
79. Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков [Текст] / А. Л. Зеленецкий. – М. : Academia, 2004.

80. Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Текст] / А. Л. Зеленецкий, П. Ф. Монахов. – М. : Просвещение, 1983.
81. Зеньковский, В. В. Русские мыслители и Европа [Текст] / В. В. Зеньковский. – М. : Республика, 1997.
82. Золотова, Г. А. Коммуникативная грамматика русского языка [Текст] / Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. – М. : Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 2004.
83. Золотова, Г. А. Новая русская грамматика: Идеи и результаты [Текст] / Г. А. Золотова // Славянское языкознание: XII Международный съезд славистов (Краков, 1998 г.). – М. : Наука, 1998. – С. 312–324.
84. Иванов, В. В. Очерки по истории семиотики в СССР [Текст] / В. В. Иванов. – М. : Наука, 1976.
85. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст] / В. В. Иванов. – М. : Просвещение, 1983.
86. Иванов, В. В. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему [Текст] / В. В. Иванов. – М. : Языки славянской культуры, 2004.
87. Иванова, И. П. Теоретическая грамматика современного английского языка [Текст] / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов. – М. : Высшая школа, 1981.
88. Казакова, Т. А. Практические основы перевода. English <=> Russian [Текст] / Т. А. Казакова. – СПб. : Союз, 2001.
89. Как добиться успеха в жизни? Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0738/d073823>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007.
90. Кассирер, Э. Философия символических форм [Текст] / Э. Кассирер. – М. : Университетская книга, 2001. – Т. 1.
91. Кацнельсон, С. Д. Историко-грамматические исследования I. Из истории атрибутивных отношений [Текст] / С. Д. Кацнельсон. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1949.
92. Кацнельсон, С. Д. К вопросу о стадиальности в учении Поттебни [Текст] / С. Д. Кацнельсон // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1948. – Т. 7, № 1. – С. 83–95.
93. Кацнельсон, С. Д. К генезису номинативного предложения [Текст] / С. Д. Кацнельсон. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1936.
94. Кацнельсон, С. Д. Общее и типологическое языкознание [Текст] / С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 1986.
95. Кацнельсон, С. Д. Прогресс языка в концепциях индоевропеистики [Текст] / С. Д. Кацнельсон // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1940. – Т. 1, № 3. – С. 62–78.

96. Кацнельсон, С. Д. Эргативная конструкция и эргативное предложение [Текст] / С. Д. Кацнельсон // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1947. – Т. 6, № 1. – С. 43–49.
97. Кибрик, А. А. Функционализм [Текст] / А. А. Кибрик, В. А. Плуноян // Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / под ред. А. А. Кибрик, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – М. : УРСС, 2002. – С. 276–340.
98. Клименко, А. В. Перевод. Ремесло перевода [Электронный ресурс] / А. В. Клименко. – Режим доступа: http://www.philosoft.ru/_subsites/tcportal/perevod/tr02_1.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1999.
99. Климов, Г. А. Очерк общей теории эргативности [Текст] / Г. А. Климов. – М. : Наука, 1973 а.
100. Климов, Г. А. Принципы контенсивной типологии [Текст] / Г. А. Климов. – М. : Наука, 1983.
101. Климов, Г. А. Типологические исследования в СССР (20–40-е годы) [Текст] / Г. А. Климов. – М. : Наука, 1981.
102. Климов, Г. А. Типология языков активного строя [Текст] / Г. А. Климов. – М. : Наука, 1977.
103. Климов, Г. А. Типология языков активного строя и реконструкция протоиндоевропейского [Текст] / Г. А. Климов // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1973 б. – Т. 32, № 5. – С. 442–447.
104. Колесов, В. В. Язык и ментальность [Текст] / В. В. Колесов. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2004.
105. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение [Текст] / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2000.
106. Комиссаров, В. Н. Теория перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров. – М. : ЧеРо, 1990.
107. Кондрашова, Н. Ю. Генеративная грамматика и проблема свободного порядка слов [Текст] / Н. Ю. Кондрашова // Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / под ред. А. А. Кибрик, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – М. : УРСС, 2002. – С. 110–142.
108. Копров, В. Ю. Личность и безличность в лингвокультурологии и в грамматике разноструктурных языков [Текст] / В. Ю. Копров // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2005. – № 1. – С. 79–85.
109. Копров, В. Ю. Национально-культурная специфика языков в синтаксическом концепте «посессивность» [Текст] / В. Ю. Копров // Реальность, язык и сознание : международный межвузовский сборник научных трудов. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002 а. – Вып. 2. – С. 145–152.
110. Копров, В. Ю. Подлежащность / бесподлежащность и личность / безличность в сопоставительной типологии предложения [Электронный ресурс] / В. Ю. Копров. – Режим доступа: <http://www.koprov.boom.ru/files/8.doc>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002 б.

111. Копров, В. Ю. Сопоставительная типология предложения [Текст] / В. Ю. Копров. – Воронеж : ВГУ, 2000.
112. Короткова, А. В. Глагол *иметь* в системе средств выражения possessивности [Текст] / А. В. Короткова // Acta Linguistica. – 2008. – № 1. – С. 11–16.
113. Крупнов, Ю. В. Возвращение труда [Электронный ресурс] / Ю. В. Крупнов. – Режим доступа: <http://www.kroupnov.ru/pubs/2005/07/28/10259/>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2005.
114. Крылов, Г. А. Этимологический словарь русского языка [Текст] / Г. А. Крылов. – СПб. : Полиграфуслуги, 2005.
115. Крылов, С. А. Послелогои в русском языке [Текст] / С. А. Крылов, Е. В. Муравенко // III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» : сборник тезисов. – М. : Издательство Московского университета, 2007. – С. 278–279.
116. Крысько, В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) [Текст] / В. Г. Крысько. – Минск : Харвест, 1999.
117. Курилович, Ю. Г. Эргативность и стадиальность в языке [Текст] / Ю. Г. Курилович // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1946. – № 5. – С. 387–393.
118. Кюльмоя, И. П. Синтаксически обусловленное функционирование видовых форм в русском языке [Текст] / И. П. Кюльмоя // Теоретические проблемы функциональной грамматики : материалы Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 26–28 сентября 2001 г.) / под ред. А. В. Бондарко. – СПб. : Наука, 2001. – С. 58–62.
119. Лаврентьев, А. М. Опыт исследования грамматической категории падежа русского языка на материале корпуса текстов [Электронный ресурс] / А. М. Лаврентьев. – Режим доступа: <http://www.russian.slavica.org/article733.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2004.
120. Ларина, Т. В. Проявление особенностей культуры в синтаксической структуре высказываний [Электронный ресурс] // International symposium on typology of the argument structure and grammatical relations in languages spoken in Europe and North and Central Asia Lenca-2 (Kazan State University, May 11–14, 2004) / Т. В. Ларина. – Режим доступа: <http://www.ksu.ru/conf/LENCA-2/289.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2004.
121. Левицкая, Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский [Текст] / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1963.
122. Легурска, П. Изучаване на националният манталитет върху езиков материал (опит за разширяване на предмета на съпоставителното езиковедение) [Текст] / П. Легурска // Чуждоезиково обучение. – 2000. – № 3. – С. 3–9.

123. Леонтьев, А. А. Социальные, психологические и лингвистические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее [Текст] / А. А. Леонтьев // О языках, фольклоре и литературе Океании. – М. : Наука, 1978. – С. 5–15.
124. Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Ярцевой. – Режим доступа: <http://www.durov.com/linguistics3/toporov-90a.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1990.
125. Листунова, Е. И. Типологические характеристики медиальных глаголов [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. И. Листунова. – Волгоград, 1998.
126. Ломтев, Т. П. Из истории синтаксиса русского языка [Текст] / Т. П. Ломтев. – М. : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1954.
127. Лосев, А. Ф. Знак. Символ. Миф [Электронный ресурс] / А. Ф. Лосев. Режим доступа: <http://www.noogen.2084.ru/losev.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1982.
128. Лурия, А. Р. Язык и сознание [Текст] / А. Р. Лурия. – М. : Издательство Московского университета, 1979.
129. Лю, В. Тайваньское радио спросили... [Текст] / В. Лю. – М. : Муравей, 2005.
130. Людвиг, Э. Джугашвили (Сталин) Иосиф Виссарионович. Беседа с Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г. [Электронный ресурс] / Э. Людвиг. – Режим доступа: <http://lib.babr.ru/index.php?book=2182>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1932.
131. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.booksite.ru/fulltext/bro/kgab/brokefr>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1890–1907.
132. Маслова, Е. С. Падежная маркировка центральных актантов: Статистические универсалии и диахронические тенденции [Текст] / Е. С. Маслова, Т. В. Никитина // Проблемы типологии и общей лингвистики : материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения проф. А. А. Холодовича / под ред. В. С. Храковского, С. Ю. Дмитренко, Н. М. Заики. – СПб. : Нестор – История, 2006. – С. 87–92.
133. Матяш, Т. П. Сознание как целостность и рефлексия [Текст] / Т. П. Матяш. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1988.
134. Медовой, И. Пригоршня страха [Электронный ресурс] / И. Медовой. – Режим доступа: <http://www.tribuna.ru/ru/text.aspx?divid=95&tid=5955>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2006.
135. Мельников, Г. П. Системная типология языков: синтез морфологической классификации языков со стадиальной [Электронный ресурс] / Г. П. Мельников. – Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~lex/melnikov/meln_syst/gl2.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2000.

136. Мельникова, А. А. Анализ детского языка в контексте образовательных задач [Текст] / А. А. Мельникова // Образование и гражданское общество : материалы круглого стола 15 ноября 2002 г. / под ред. Ю. Н. Солониной. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – Вып. 1. – С. 52–56.
137. Мельникова, А. А. Языки и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности [Текст] / А. А. Мельникова. – СПб. : Речь, 2003.
138. Мечковская, Н. Б. Язык и религия [Текст] / Н. Б. Мечковская. – М. : Фаир, 1998.
139. Мещанинов, И. И. Номинативное и эргативное предложение. Типологическое сопоставление структур [Текст] / И. И. Мещанинов. – М. : Наука, 1984.
140. Мещанинов, И. И. Общее языкознание [Текст] / И. И. Мещанинов. – Л. : Учпедгиз, 1940.
141. Мещанинов, И. И. Проблема стадильности в развитии языка [Текст] / И. И. Мещанинов // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1947. – Т. 6, № 3. – С. 173–188.
142. Мещанинов, И. И. Эргативная конструкция в языках различных типов [Текст] / И. И. Мещанинов. – Л. : Наука, 1967.
143. Милов, Г. Кривая ответственности [Электронный ресурс] / Г. Милов. – Режим доступа: <http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3029.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2006.
144. Мильцин, В. Н. Языковая репрезентация менталитета французов в содержании преподавания французского языка [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / В. Н. Мильцин. – Тамбов, 2002.
145. Мирам, Г. Э. Профессия: переводчик [Текст] / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр, 1999.
146. Мишенькина, Е. В. Национально-специфическая характеристика концепта *свет цвет* в русской и английской лингвокультурной картине мира [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Мишенькина. – Ярославль, 2006.
147. Мразек, Р. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков. Исходные структуры простого предложения [Текст] / Р. Мразек. – Брно : Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1990.
148. Мураткина, Е. Л. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов кандидатского минимума по английскому языку [Текст] / Е. Л. Мураткина. – Кострома : Издательство КГУ им. Н. А. Некрасова, 2001.
149. Мусорин, А. Ю. Основы науки о языке [Текст] / А. Ю. Мусорин. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2004.
150. Неклесса, А. Трансмутация истории. 11 сентября 2001 года в исторической перспективе и ретроспективе [Электронный ресурс] / А. Не-

клекса. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novy_i_mi/2002/9/nek1.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002.

151. Некрасов, Н. П. Русский синтаксис: лекции 1880–1881 гг. [Текст] / Н. П. Некрасов. – СПб., 1881.

152. Некрасова, Е. В. Популярная грамматика английского языка [Электронный ресурс] / Е. В. Некрасова. – Режим доступа: http://english.e-press.ru/grammatics/012/12_1.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1999.

153. Нещеретова, Т. Т. Сопоставительная типология грамматической категории рода в русском и немецком языках [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Т. Т. Нещеретова. – Майкоп, 2006.

154. Никитина, Т. П. Развитие безличных конструкций с именным компонентом во французском языке [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Т. П. Никитина. – Ленинград, 1973.

155. Ниссенбаум, М. Е. *Via Latina ad ius* [Текст] / М. Е. Ниссенбаум. – М. : Юристъ, 1996.

156. Обнорский, С. П. Возвратные глагола на -ся в русском языке [Текст] / С. П. Обнорский // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1960. – Т. 19, № 1. – С. 19–21.

157. Обсуждение проблемы стадильности в языкознании [Текст] // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1947. – Т. 6, № 3. – С. 258–262.

158. Оксень, В. Концепт «Богатство» в русском и немецком сознании [Текст] / В. Оксень // Русское и немецкое коммуникативное поведение. – Воронеж : Истоки, 2002. – С. 116–122.

159. Омельченко, Т. Н. Проблема языковой картины мира в социологии культуры [Текст] / Т. Н. Омельченко // Вестник ВолГУ. Сер. 5: Социология. Право. Политика. – 2000. – № 3. – С. 36–41.

160. Павлий, Б. В. Безличные предложения в современном английском языке [Текст] / Б. В. Павлий // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 214–216.

161. Панфилов, К. С. Стадильная типологическая классификация языков: опыт построения [Электронный ресурс] : дипломная работа / К. С. Панфилов. – Режим доступа: http://www.bigpi.biysk.ru/wwwsite/source/for_stud/typology/016.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002.

162. Перехвальская, Е. В. Сибирский пиджин (дальневосточный вариант) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Е. В. Перехвальская. – СПб., 2006.

163. Пинкер, С. Языковой инстинкт [Электронный ресурс] / С. Пинкер. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_08/1999_8_11.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1999 а.

164. Пинкер, С. Языковой инстинкт [Электронный ресурс] / С. Пинкер. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_09/1999_9_03.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1999 б.

165. Полищук, Е. В. Гендерные вопросы перевода в контексте феминного компонента русского языка и культуры [Текст] / Е. В. Полищук // III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность»: сборник тезисов. – М. : Издательство Московского университета, 2007. – С. 499.

166. Попова, Е. А. АВОСЬ в русском сознании [Текст] / Е. А. Попова // Русское и финское коммуникативное поведение. – СПб. : Издательство РГГУ им. Герцена, 2001. – С. 47–54.

167. Поршневу, Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии) [Текст] / Б. Ф. Поршневу. – М. : Мысль, 1974.

168. Принципы и ценности молодежи. Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/cat/man/valuable/youngvalue/d047703>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2002.

169. Радченко, О. А. Языковая картина мира или языковое мирозидание? (К вопросу о постулатах Й. Л. Вайсгербера) [Текст] / О. А. Радченко // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1990. – Т. 49, № 5. – С. 444–450.

170. Религия : энциклопедия [Электронный ресурс] / под ред. А. А. Грицанова, Г. В. Синило. – Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/art.xml?encpage=religion&art=religion//rel/rel-0954.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007.

171. Рецкер, Я. И. Учебное пособие по переводу с английского на русский [Текст] / Я. И. Рецкер. – М. : Иностраный язык, 1981.

172. Рифтин, А. П. Основные принципы построения теории стадий в языке. 1819–1944 [Текст] / А. П. Рифтин // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ (Секция филологических наук). – Л. : Ленинградский государственный университет, 1946. – С. 19–29.

173. Рудакова, Н. В. Сигналы национальных концептов в языковой системе и речевой деятельности (на материале русского и английского языков) [Текст] / Н. В. Рудакова // Языковая семантика и образ мира : материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию университета (Казань, 7–10 октября 1997 г.). – Казань : Издательство Казанского университета, 1997. – Т. 1. – С. 125–127.

174. Русские [Текст] / под ред. В. А. Александрова, И. В. Власовой, Н. С. Полищук. – М. : Наука, 1997.

175. Русские пословицы и поговорки [Текст] / под ред. В. М. Подобиной, И. П. Зиминной. – Л. : Лениздат, 1956.

176. Рыбаков, С. Православная трактовка русской истории [Электронный ресурс] / С. Рыбаков. – Режим доступа: http://www.rau.su/observer/N05_98/5ST27.HTM, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1998.

177. Рыбникова, Е. Е. Предикативные посессивные конструкции с глаголом имети в древнерусском языке [Текст] / Е. Е. Рыбникова, М. М. Кемерова // Альманах современной науки и образования. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 175–177.

178. Рядченко, Н. Г. Внутренние и внешние факторы языкового развития [Текст] / Н. Г. Рядченко. – Одесса : Издательство Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова, 1970.

179. Савченко, А. Н. Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке [Текст] / А. Н. Савченко // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / под ред. В. М. Жирмунского. – Л. : Наука, 1967. – С. 74–91.

180. Сараскина, Л. И. Традиционное воспитание и стратегия выживания в современной России [Текст] / Л. И. Сараскина // Человек и семья: преодоление насилия : материалы научно-практической конференции / под ред. О. М. Здравомысловой. – М. : Горбачёв-Фонд, 2000. – С. 7–14.

181. Саркисян, Л. В. Морфемное строение и звуковая форма английского и армянского слова в категориальном аспекте [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Л. В. Саркисян. – М., 2002.

182. Серебренников, Б. А. Общее языкознание [Текст] / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1970.

183. Серебрякова, Р. В. Национальная специфика комплимента и похвалы в русской и английской коммуникативных культурах [Текст] / Р. В. Серебрякова // Язык, коммуникация и социальная среда : межвузовский сборник научных трудов / под ред. В. Б. Кашкина. – Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2001. – Вып. 1.

184. Сидоров, В. Н. К вопросу о выражении субъекта и объекта действия в современном русском литературном языке [Текст] / В. Н. Сидоров, И. С. Ильинская // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. – 1949. – Т. 8, № 4. – С. 343–354.

185. Словарь по этике [Электронный ресурс] / под ред. И. С. Кона. – Режим доступа: <http://www.term.ru>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1957.

186. Смирницкий, А. И. Синтаксис английского языка [Электронный ресурс] / А. И. Смирницкий. – Режим доступа: http://www.classes.ru/grammar/38.Sintaksis_angliyskogo_yazyka/html/1_6.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1957.

187. Смирнов, М. Ю. Реформация и протестантизм [Электронный ресурс] : словарь / М. Ю. Смирнов. – Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/art.xml?encpage=smirnov&art=smirnov//reformation/ref-0034.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2005.

188. Соммерфельт, А. О понятии подлежащего в грузинском языке [Текст] / А. Соммерфельт // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950. – С. 183–186.

189. Сороколетова, Н. Ю. Национально-культурные особенности интонации [Текст] / Н. Ю. Сороколетова // Лингводидактические проблемы межкультурной коммуникации / под ред. Т. В. Максимовой [и др.]. – Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. – С. 132–137.

190. Стеблецова, А. О. К исследованию национальных деловых коммуникативных культур [Текст] / А. О. Стеблецова // Вестник ВГУ. Сер.: Филология. Журналистика. – 2004. – № 2. – С. 89–95.

191. Стеблин-Каменский, М. И. Древнеисландский язык [Текст] / М. И. Стеблин-Каменский. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1955.

192. Степанов, В. Г. Редакционная подготовка изданий переводной литературы: Конспект лекций [Текст] / В. Г. Степанов. – М. : Издательство МГАП «Мир книги», 1997.

193. Степанов, Ю. С. Индоевропейское предложение [Текст] / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1989.

194. Сусов, И. П. Введение в теоретическое языкознание [Электронный ресурс] / И. П. Сусов. – Тверь, 1999. – Режим доступа: [http://homepages.tversu.ru/~ ips/6_07.htm](http://homepages.tversu.ru/~ips/6_07.htm), свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

195. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2000.

196. Толстой, С. С. Основы перевода с английского языка на русский [Текст] / С. С. Толстой. – М. : Издательство ИМО, 1957.

197. Треблер, С. М. К характеристике русского национального языкового сознания [Текст] / С. М. Треблер // Русский язык: исторические судьбы и современность. II Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 18–21 марта 2004 г.) : труды и материалы / под ред. М. Л. Ремизовой, О. В. Дедовой, А. А. Поликарпова. – М. : Издательство Московского университета, 2004. – С. 147–148.

198. Тромбетти, А. О теории пассивного характера глагола [Текст] / А. Тромбетти // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950. – С. 152–166.

199. Тронский, И. М. О доминативном прошлом индоевропейских языков [Текст] / И. М. Тронский // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / под ред. В. М. Жирмунского. – Л. : Наука, 1967. – С. 91–95.

200. Трубецкой, Н. С. Избранные труды по филологии [Текст] / Н. С. Трубецкой. – М. : Прогресс, 1987.

201. Тупикова, Н. А. Формирование категории инперсональности русского глагола [Текст] / Н. А. Тупикова. – Волгоград : Издательство Волгоградского государственного университета, 1998.
202. Уленбек, Х. К. Agens и Patiens в падежной системе индоевропейских языков [Текст] / Х. К. Уленбек // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950 а. – С. 101–103.
203. Уленбек, Х. К. К учению о падежах [Текст] / Х. К. Уленбек // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950 б. – С. 97–101.
204. Умаров, А. У. Развитие каракалпакского языка в условиях русско-национального двуязычия. [Текст] / А. У. Умаров // Двуязычие и взаимовлияние языков. – Чебоксары, 1990. – С. 14–19.
205. Устинова, Е. В. Функционально-семантическое поле агентивности / неагентивности в современном русском литературном языке XX – нач. XXI в. [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Устинова. – Ростов-на-Дону, 2007.
206. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка [Текст] / М. Фасмер. – М. : Астрель, 2003.
207. Фаулер, Дж. Грамматическая релевантность актуального членения [Текст] / Дж. Фаулер // Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / под ред. А. А. Кибрик, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – М. : УРСС, 2002. – С. 390–403.
208. Фергюсон, Ч. Автономная детская речь в шести языках. Новое в лингвистике [Текст] / Ч. Фергюсон // Социолингвистика. – 1975. – Вып. VII. – С. 422–440.
209. Философский словарь [Текст] / под ред. М. М. Розенталя. – М. : Издательство политической литературы, 1972.
210. Философский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. С. С. Аверинцева [и др.]. – М. : Советская энциклопедия, 1989.
211. Финк, Ф. Н. О якобы пассивном характере переходного глагола [Текст] / Ф. Н. Финк // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950. – С. 107–143.
212. Фуллер, Дж. Вторая мировая война 1939–1945 гг. [Электронный ресурс] / Дж. Фуллер. – Режим доступа: <http://militera.lib.ru/h/fuller/03.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1956.
213. Фульье, А. Психология французского народа [Текст] / А. Фульье. – СПб. : Издательство Ф. Павленкова, 1899.
214. Халипов, С. Г. Краткая грамматика валлийского языка [Текст] / С. Г. Халипов. – СПб. : ДЕАН + АДИА-М, 1995.

215. Хилл, Н. Думаи и богатеи [Электронный ресурс] / Н. Хилл. – Режим доступа: http://www.uatur.com/html/interesno/hill_new3.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 1996.
216. Хорнби, А. С. Конструкции и обороты английского языка [Текст] / А. С. Хорнби. – М. : Буклет, 1992.
217. Чернявская, Ю. В. Народная культура и национальные традиции [Текст] / Ю. В. Чернявская. – Минск : Беларусь, 2000.
218. Чикобава, А. С. Несколько замечаний об эргативной конструкции (К постановке проблемы) [Текст] / А. С. Чикобава // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950. – С. 5–17.
219. Чубайс, И. Б. Как преодолеть идентификационный кризис. Россия в XXI веке [Электронный ресурс] / И. Б. Чубайс. – Режим доступа: http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol00_2/chubais.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2000.
220. Шанский, Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка [Текст] / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. – М. : Дрофа, 2001.
221. Шаров, С. А. Словоформы, отсортированные по частоте [Электронный ресурс] / С. А. Шаров. – Режим доступа: <http://www.artint.ru/projects/frqlist/words.num.zip>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2001 а.
222. Шаров, С. А. Частотный словарь (леммы, отсортированные по частоте) [Электронный ресурс] / С. А. Шаров. – Режим доступа: <http://www.artint.ru/projects/frqlist/lemma.num.zip>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2001 б.
223. Швачко, Т. Т. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков [Текст] / Т. Т. Швачко [и др.]. – Киев : Высшая школа, 1977.
224. Широкова, А. В. Сопоставительная типология разноструктурных языков [Текст] / А. В. Широкова. – М. : Добросвет, 2000.
225. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории [Текст] / О. Шпенглер. – М. : Мысль, 1998. – Т. 2.
226. Штокмар, В. В. История Англии в средние века [Текст] / В. В. Штокмар. – СПб. : Алетейя, 2000.
227. Шухардт, Г. Поссесивность и пассивность [Текст] / Г. Шухардт // Эргативная конструкция предложения / под ред. Н. А. Кондрашова. – М. : Издательство иностранной литературы, 1950. – С. 143–152.
228. Эдельман, Д. И. Иранские и славянские языки: исторические отношения [Текст] / Д. И. Эдельман. – М. : Восточная литература, 2002.
229. Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.krugosvet.ru>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2007.

230. Яковлева, Е. С. К описанию русской языковой картины мира [Текст] / Е. С. Яковлева // Русский язык за рубежом. – 1996. – № 1–3. – С. 47–56.

231. Яньянъ, Х. Особенности построения предложения со значением состояния в русском и китайском языках [Электронный ресурс] / Х. Яньянъ, М. Н. Заметалина // International symposium on typology of the argument structure and grammatical relations in languages spoken in Europe and North and Central Asia Lenca-2 (Kazan State University, May 11–14, 2004). – Режим доступа: <http://www.ksu.ru/conf/LENCA-2/311.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – 2004.

232. Ярцева, В. Н. История английского литературного языка IX–XV вв. [Текст] / В. Н. Ярцева. – М. : Наука, 1985.

233. Abbott, E. A. A Shakespearian Grammar. An Attempt to Illustrate Some of the Differences between Elizabethan and Modern English [Text] / E. A. Abbott. – London : MacMillan and Co, 1870.

234. Andréasson, D. Active Languages [Text] / D. Andréasson. – Stockholm : Stockholm University, 2001.

235. Andrews, A. Noncanonical A/S Marking in Icelandic [Text] / A. Andrews // Non-canonical Marking of Subjects and Objects / ed. A. Aikhenvald, R. Dixon, M. Onishi. – Amsterdam : John Benjamins, 2001. – P. 85–113.

236. Bailey, Ch.-J. The French Lineage of English [Text] / Ch.-J. Bailey, K. Maroldt // Langues en Contact: Pidgins, Creoles – Languages in Contact / ed. J. Meisel. – Tübingen : TBL Verlag Gunter Narr, 1977. – P. 21–53.

237. Balles, I. Die Tendenz zum analytischen Sprachtyp aus der Sicht der Indogermanistik [Text] / I. Balles // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 33–55.

238. Barber, Ch. The English Language. A Historical Introduction [Text] / Ch. Barber. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

239. Barbujani, G. Genetic Evidence on Origin and Dispersal of Human Populations Speaking Languages of the Nostratic Macrofamily [Text] / G. Barbujani, A. Pilastro // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. – 1993. – Vol. 90, № 10. – P. 4670–4673.

240. Barrick, A. Poll: 1 of 3 Americans Say Bible Should be Taken Literally [Electronic resources] / A. Barrick. – Access mode: http://www.christianpost.com/article/20070525/27615_Poll:_1_of_3_Americans_Say_Bible_Should_be_Taken_Literally.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.

241. Barðdal, J. Case in Icelandic – A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach [Text] / J. Barðdal. – Lund : Lund University, 2001.

242. Barðdal, J. The Case of Subjects with Impersonal Verbs in Insular Scandinavian [Electronic resources] / J. Barðdal. – Access mode: <http://www.hf.uib.no/i/lili/SLF/ans/barddal/Insular%20Scandinavian.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006 b.

243. Barðdal, J. The Change that Never Happened: The Story of Oblique Subjects [Text] / J. Barðdal, Th. Eythórsson // *Journal of Linguistics*. – 2003. – № 39. – P. 439–472.

244. Barðdal, J. The Development of Case in Germanic [Text] / J. Barðdal // *The Role of Semantics and Pragmatics in the Development of Case* / ed. J. Barðdal, Sh. Chelliah. – Amsterdam : John Benjamins, 2007.

245. Barðdal, J. The Impersonal Construction in Icelandic / Scandinavian / Germanic and its Development [Electronic resources] / J. Barðdal. – Access mode: <http://www.hf.uib.no/i/lili/SLF/ans/barddal/Impersonal%20Construction.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006 а.

246. Barðdal, J. The Origin of the Oblique Subject Construction: An Indo-European Comparison [Text] / J. Barðdal, Th. Eythórsson // *Grammatical Change in Indo-European Languages* / ed. V. Bubenik, J. Hewson, S. Rose. – Amsterdam : John Benjamins, 2008.

247. Barðdal, J. Case in Decline [Text] / J. Barðdal, L. Kulikov // *The Handbook of Case* / ed. A. Malchukov, A. Spencer. – Oxford : Oxford University Press, 2007.

248. Bartens, A. Analytismus in Pidgin- und Kreolsprachen [Text] / A. Bartens // *Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp* / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 453–467.

249. Bartens, A. Der kreolische Raum. Geschichte und Gegenwart [Text] / A. Bartens. – Helsinki : Suomalainen Tiedekatemia, 1996.

250. Bauer, B. Archaic Syntax in Indo-European: The Spread of Transitivity in Latin and French [Text] / B. Bauer. – Berlin : Walter de Gruyter, 2000.

251. Bauer, B. Impersonal Habet Construction in Latin: At the Cross-roads of Indo-European Innovation [Text] / B. Bauer // *Language Change and Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of His 83rd Birthday* / ed. R. Diebold, E. Polomé. – Washington : Institute for the Study of Man Inc, 1999. – Vol. 2. – P. 590–613.

252. Bennett, Ch. A Latin Grammar [Text] / Ch. Bennett. – Boston : Allyn and Bacon, 1908.

253. Benson, F. Aphasia. A Clinical Perspective [Text] / F. Benson, A. Ardila. – Oxford : Oxford University Press, 1996.

254. Benveniste, É. Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft [Text] / É. Benveniste. – München : List Verlag, 1974.

255. Bernal, M. Black Athena Writes back: Martin Bernal Responds to his Critics [Text] / M. Bernal. – Durham : Duke University Press, 2001.

256. Bhagwati, J. Great Expectations [Electronic resources] / J. Bhagwati, A. Panagariya. – Access mode: http://www.columbia.edu/~ap2231/ET/WSJ_May24_04.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.

257. Bickel, B. Case-Marking and Alignment [Electronic resources] / B. Bickel, J. Nichols // *The Handbook of Case* / ed. A. Malchukov, A. Spencer. –

Access mode: http://www.uni-leipzig.de/~bickel/research/papers/bickelnichols_casealign.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.

258. Bickel, B. The Syntax of Experiencers in the Himalayas [Text] / B. Bickel // Non-nominative Subjects / ed. P. Bhaskararao, K. Subbarao. – Amsterdam : John Benjamins, 2004. – Vol. 1. – P. 77–113.

259. Bickerton, D. The lexical Learning Hypothesis and the Pidgin-Creole Cycle [Text] / D. Bickerton. – Duisburg : L.A.U.D.T., 1986.

260. Bishop, Ch. Fate, and the Absence of Future, in the Poetry of Wessex [Electronic resources] / Ch. Bishop. – Access mode: <http://home.vicnet.net.au/~medieval/con-ference2007/abstracts.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.

261. Bishop, H. The „Subjectless“ Sentences of Old High German [Text] / H. Bishop. – Berkeley : University of California, 1977.

262. Blaszczak, J. Polish being Ergative? The Riddle of 'X NOT BE AT Y'-Constructions [Electronic resources] / J. Blaszczak. – Access mode: <http://aix1.uottawa.ca/~romlab/Blaszczak.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2003.

263. Bomhard, A. The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship [Text] / A. Bomhard, J. Kerns. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1994.

264. Bradley, H. The Making of English [Text] / H. Bradley. – London : Macmillan and Co, 1919.

265. Braun, P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache: Sprachvarietäten [Text] / P. Braun. – Stuttgart : Kohlhammer, 1998.

266. Brugmann, K. Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen [Text] / K. Brugmann. – Berlin : Walter de Gruyter, 1925.

267. Brugmann, K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen [Text] / K. Brugmann. – Strassburg : Verlag von Karl J. Trübner, 1904.

268. Bußmann, H. Lexikon der Sprachwissenschaft [Text] / H. Bußmann. – Stuttgart : Kröner, 1990.

269. Brugmann, K. The Nature and Origin of the Noun Genders in the Indo-European Languages [Text] / K. Brugmann. – New-York : Charles Scribner's Sons, 1897.

270. Bühler, K. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache [Text] / K. Bühler. – Berlin : Ullstein, 1978.

271. Butler, M. Reanalysis of Object as Subject in Middle English Impersonal Constructions [Text] / M. Butler // Glossa. – 1977. – № 11 (2). – P. 155–170.

272. Butt, M. A Computational Treatment of Differential Case Marking in Malayalam [Electronic resources] / M. Butt, T. King, A. Varghese // Proceedings of the International Conference on Natural Language Processing 2004. – Access mode: <http://www2.parc.com/isl/members/thking/icon04.doc>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.

273. Butt, M. Dative Subjects [Electronic resources] / M. Butt, S. Grimm, T. Ahmed. – Access mode: <http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/butt/nijmegen-hnd.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
274. Butt, M. Ergativity in Indo-Aryan [Electronic resources] / M. Butt, A. Deo. – Access mode: <http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2001/3/ia-erg.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2001.
275. Butt, M. The Dative-Ergative Connection [Text] / M. Butt // Empirical Issues in Syntax and Semantics 6 / ed. O. Bonami, P. Hofherr. – Paris : Colloque de Syntaxe et Sémantique à Paris, 2006. – P. 69–93.
276. Callaway, M. The Callaway Infinitive in Anglo-Saxon [Text] / M. Callaway. – Washington : Carnegie Institution of Washington, 1913.
277. Campbell, L. Historical Linguistics: An Introduction [Text] / L. Campbell. – Cambridge : MIT Press, 2004.
278. Carcas, G. A Reference Grammar of Afrikaans [Text] / G. Carcas. – Pontypridd : Joseph Biddulph Publisher, 2000.
279. Champneys, A. History of English [Text] / A. Champneys. – London : Rivington, Percival & Co, 1893.
280. Collado, D. Diego Collado's Grammar of the Japanese Language [Text] / D. Collado. – Kansas : University of Kansas, 1975.
281. Comrie, B. Analytische Tendenzen in den nichtindogermanischen Sprachen Europas [Text] / B. Comrie // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 419–431.
282. Comrie, B. Language Universals and Linguistic Typology [Text] / B. Comrie. – Oxford : Basil Blackwell, 1983.
283. Conathan, L. Split Intransitivity and Possession in Chimariko [Text] / L. Conathan // Proceedings of the 50th Anniversary Conference of the Survey of California and Other Indian Languages / ed. L. Conathan, T. McFarland. – 2002. – № 12. – P. 18–31.
284. Creissels, D. Direct and Indirect Explanations of Typological Regularities: The Case of Alignment Variations [Electronic resources] / D. Creissels. – Access mode: http://www.dl.ishlyon.cnrs.fr/Annuaire/PDF/Creissels/Creissels_2006a.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
285. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language [Text] / D. Crystal. – London : BCA, 1995.
286. Danchev, A. The Middle English Creolization Hypothesis Revisited [Text] / A. Danchev // Trends in linguistics / ed. J. Fisiak. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1997. – P. 79–109.
287. Davidkov, T. Where does Bulgaria Stand? [Text] / T. Davidkov // Papeles del Este. – 2004. – № 8. – P. 1–22.
288. Dawson, H. Defining the Outcome of Language Contact: Old English and Old Norse [Text] / H. Dawson // Ohio State University Working Papers in Linguistics. – 2003. – № 57. – P. 40–57.

289. Deo, A. Typological Variation in the Ergative Morphology of Indo-Aryan Languages [Text] / A. Deo, D. Sharma // Linguistic typology. – 2006. – № 10 (3). – P. 369–418.
290. Der Wert der Freiheit. Ergebnisse einer Grundlagenstudie zum Freiheitsverständnis der Deutschen [Text]. – Allensbach : Institut für Demoskopie Allensbach, 2003.
291. Dessalles, J.-L. Why we Talk. The Evolutionary Origins of Language [Text] / J.-L. Dessalles. – Oxford : Oxford University Press, 2007.
292. Deutschbein, M. Grammatik der englischen Sprache auf wissenschaftlicher Grundlage [Text] / M. Deutschbein. – Heidelberg : Quelle & Meyer, 1953.
293. Deutschbein, M. Handbuch der Englandkunde [Text] / M. Deutschbein. – Frankfurt am Main : Diesterweg, 1928.
294. Deutschbein, M. Handbuch der englischen Grammatik [Text] / M. Deutschbein [et al.]. – Leipzig : Quelle & Meyer, 1931. – Bd. 1.
295. Deutschbein, M. Sprachpsychologische Studien [Text] / M. Deutschbein. – Cöthen : Verlag von Otto Schulze, 1918–1919.
296. Deutschbein, M. System der neuenglischen Syntax [Text] / M. Deutschbein. – Cöthen : Verlag von Otto Schulze, 1917.
297. Dezső, L. Grammatical Typology and Protolanguages [Text] / L. Dezső // Linguistic Reconstruction and Indo-European Syntax. Proceedings of the Colloquium of the “Indogermanische Gesellschaft” (University of Pavia, 6–7 September 1979) / ed. P. Ramat. – Amsterdam : John Benjamins B. V., 1980. – P. 17–27.
298. Dixon, R. Ergativity [Text] / R. Dixon. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994.
299. Dixon, R. Ergativity [Text] / R. Dixon // Language. – 1979. – № 55 (1). – P. 59–139.
300. Dolgopolsky, A. The Nostratic Macrofamily and Linguistic Palaeontology [Text] / A. Dolgopolsky. – Cambridge : The McDonald Institute for Archaeological Research, 1998.
301. Drinka, B. Alignment in Early Proto-Indo-European [Text] / B. Drinka // Language Change and Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of His 83rd Birthday / ed. R. Diebold, E. Polomé. – Washington : Institute for the Study of Man Inc. – 1999. – Vol. 2. – P. 464–501.
302. Duranti, A. Agency in Language [Text] / A. Duranti // A Companion to Linguistic Anthropology / ed. A. Duranti. – Malden : Blackwell Publishing, 2004. – P. 451–474.
303. Durganand, S. Individualism in a Collectivist Culture: A Case of Coexistence of Opposites [Text] / S. Durganand, R. Tripathi // Individualism and Collectivism. Theory, Method, and Applications / ed. K. Uichol [et al.]. – Thousand Oaks : Sage Publications, 1995. – P. 123–137.

304. Echenberg, M. *Pestis Redux: The Initial Years of the Third Bubonic Plague Pandemic, 1894–1901* [Text] / M. Echenberg // *Journal of World History*. – 2002. – № 13 (2). – P. 429–449.
305. Eckersley, C. E. *A Comprehensive English Grammar* [Text] / C. E. Eckersley, J. M. Eckersley. – London : Longman, 1970.
306. Elmer, W. *Diachronic Grammar. The History of Old and Middle English Subjectless Constructions* [Text] / W. Elmer. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1981.
307. Elpie, B. *Tokpisin Grammar Workbook for English Speakers. A Practical Approach to Learning the Sentence Structure of Melanesian Pidgin (or Tokpisin)* [Text] / B. Elpie, Th. Dicks. – Papua New Guinea : Peace Corps, 1991.
308. Emerson, O. *An Outline History of the English Language* [Text] / O. Emerson. – New-York : The MacMillan Company, 1906.
309. *Encyclopedia Britannica* [Electronic resources]. – Access mode: <http://www.britannica.com/women/print?articleId=109768&fullArticle=true&toCID=74586>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2008.
310. *Encyclopædia Iranica* [Electronic resources] / ed. E. Yarshatter. – Access mode: <http://www.iranica.com>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.
311. Eythórsson, Th. *Dative vs Nominative: Changes in Quirky Subjects in Icelandic* [Text] / Th. Eythórsson // *Leeds Working Papers in Linguistics*. – 2000. – № 8. – P. 27–44.
312. Fisher, O. *The Syntax of Early English* [Text] / O. Fisher [et al.]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
313. Fletcher, R. *A History Of English Literature* [Text] / R. Fletcher. – Montana : Kessinger Publishing, 2004.
314. Fodor, I. *Subjektlose Sätze im modernen Russischen* [Text] / I. Fodor // *Studia slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae*. – 1957. – Bd. 3. – S. 149–206.
315. Fónagy, I. *Languages Within Language: An Evolutive Approach* [Text] / I. Fónagy. – Amsterdam : John Benjamins, 2001.
316. Fónagy, I. *Why Iconicity?* [Text] / I. Fónagy // *Form Miming Meaning: Iconicity in Language and Literature* / ed. M. Nanny, O. Fischer. – Amsterdam : John Benjamins, 1999. – P. 3–36.
317. Freeborn, D. *From Old English to Standard English* [Text] / D. Freeborn. – Houndmills : Macmillan, 1992.
318. Freeman, E. *Four Oxford Lectures, 1887. Fifty Years of European History. Teutonic Conquest in Gaul and Britain* [Text] / E. Freeman. – Oxford : Macmillan and Co, 1888.
319. Freeman, E. *Old English History for Children* [Text] / E. Freeman. – London : J. M. Dent & Sons, 1869.
320. Friedrich, J. *Hethitisches Elementarbuch* [Text] / J. Friedrich. – Heidelberg : Carl Winter, 1974.
321. Gallup, A. *Six in Ten Americans Read Bible at Least Occasionally* [Electronic resources] / A. Gallup, W. Simmons // *The Gallup Organization*. –

Access mode: <http://www.galluppoll.com/content/?ci=2416>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2000.

322. Gamkrelidze, T. V. Indo-European and the Indo-Europeans [Text] / T. V. Gamkrelidze, V. V. Ivanov. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1995. – Vol. 1.

323. Gamkrelidze, T. V. Proto-Indo-European as a Language of Stative-Active Typology [Text] / Th. Gamkrelidze // *Indogermanica et Caucasia: Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag* / ed. K. H. Schmidt, R. Bielmeier, R. Stempel [et al.]. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1994. – P. 25–35.

324. Gender across Languages [Text] / ed. M. Hellinger, H. Bussmann. – Amsterdam : John Benjamin's Publishing Company, 2001. – Vol. 1.

325. Gibbard, G. Generative Approaches to Syntactic Typology [Electronic resources] / G. Gibbard. – Access mode: <http://www.swarthmore.edu/SocSci/Linguistics/papers/2001/gibbardthesis.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2001.

326. Givón, T. Function, Structure and Language Acquisition [Text] / T. Givón // *The Crosslinguistic Study of Language Acquisition* / ed. D. Slobin. – Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates, 1985. – P. 1005–1029.

327. Gladkova, A. New and Traditional Values in Contemporary Russian. Natural Semantic Metalanguage in Cross-cultural Semantics [Electronic resources] / A. Gladkova // *Proceedings of the 2004 Conference of the Australian Linguistic Society* / ed. W. McGregor. – Access mode: <http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/109/1/ALS-20050630-AG.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.

328. Gorzond, I. Die Linguistik der unpersönlichen Ausdrücke unter besonderer Berücksichtigung des Französischen [Text] / I. Gorzond. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1984.

329. Götze, A. Muršilis Sprachlähmungen. Ein hethitischer Text mit philologischen und linguistischen Erörterungen [Text] / A. Götze, H. Pedersen. – København : Levin & Munksgaard, 1934.

330. Grace, E. The Order of Constituents in Indo-European [Text] / E. Grace. – Ann Arbor : The University of Texas, 1974.

331. Gramley, S. A Survey of Modern English [Text] / S. Gramley, K.-M. Pätzold. – New-York : Routledge, 1995.

332. Green, A. The Dative of Agency. A Chapter of Indo-European Case-syntax [Text] / A. Green. – New-York : Ams Press, 1966.

333. Green, B. Powerlessness, Destiny, and Control. The Influence on Health Behaviors of African Americans [Text] / B. Green [et al.] // *Journal of Community Fate*. – 2004. – № 29 (1). – P. 15–27.

334. Green, M. On the Syntax and Semantics of Impersonal Sentences in Russian: A Study of the Sentence Type *Vetrom uneslo lodku* [Text] / M. Green. – Ann Arbor : Cornell University, 1980.

335. Greenberg, J. Indo-European and its Closest Relatives: The Eurasiatic Language Family [Text] / J. Greenberg. – Stanford : Stanford University Press, 2000. – Vol. 1.
336. Greenberg, J. Language Universals [Text] / J. Greenberg. – Hague : Mouton, 1976.
337. Greenough, J. New Latin Grammar [Text] / J. Greenough, J. Allen. – Boston : Ginn and Company, 1903.
338. Greissels, D. Direct and Indirect Explanations of Typological Regularities: The Case of Alignment Variations [Electronic resources] / D. Greissels. – Access mode: http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annales/PDF/Creissels/Creissels_2006a.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
339. Griffith-Dickson, G. Why is there Evil? [Electronic resources] / G. Griffith-Dickson. – Access mode: <http://www.gresham.ac.uk/printtranscript.asp?EventId=197>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2003.
340. Griffiths, M. A Study of Superstitious Beliefs among Bingo Players [Electronic resources] / M. Griffiths, C. Bingham. – Access mode: <http://www.camh.net/egambling/archive/pdf/JGI-Issue13/JGI-Issue13griffiths.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.
341. Grimm, J. Deutsche Grammatik [Text] / J. Grimm. – Gütersloh : Verlag von C. Bertelsmann, 1898. – Bd. 4.
342. Grimm, S. Subject-Marking in Hindi/Urdu: A Study in Case and Agency [Text] / S. Grimm // Proceedings of the Eleventh ESSLLI Student Session / ed. J. Huitink, S. Katrenko. – Malaga : University of Malaga, 2006. – P. 27–38.
343. Grimm, S. The Lattice of Case and Agentivity [Text] / S. Grimm. – Amsterdam : University of Amsterdam, MSc Thesis (Afstudeerscriptie), 2005.
344. Haarmann, H. Prozesse sprachlichen Strukturwandels im Spannungsfeld von Kontaktlinguistik und Sprachtypologie [Text] / H. Haarmann // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 67–87.
345. Härke, H. Population Replacement or Acculturation? An Archaeological Perspective on Population and Migration in Post-Roman Britain [Text] / H. Härke // The Celtic Englishes III / ed. T. Hildegard. – Heidelberg : Winter, 2003. – P. 13–28.
346. Hartmann, H. Das Gewitter. Ein englisch-irischer Übersetzungstest mit Schülern von an Cheathrú Rua, Co. Galway [Text] / H. Hartmann // Indogermanica et Caucasia: Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag / Hrsg. K. H. Schmidt, R. Bielmeier, R. Stempel [et al.]. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1994. – S. 331–348.
347. Haspelmath, M. Non-canonical Marking of Core Arguments in European Languages [Text] / M. Haspelmath // Non-canonical Marking of Subjects and Objects / ed. A. Aikhenvald, R. Dixon, M. Onishi. – Amsterdam : John Benjamins, 2001. – P. 53–85.

348. Havas, F. Die Ergativität und die uralischen Sprachen [Text] / F. Havas // Finnisch-Ugrische Forschungen. – 2006. – № 59. – S. 1–3.

349. Havers, W. Handbuch der erklärenden Syntax [Text] / W. Havers. – Heidelberg : Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1931.

350. Havers, W. Primitive Weltanschauung und Witterungsimpersonalia [Text] / W. Havers // Wörter und Sachen. – 1928. – № 11. – S. 75–112.

351. Hellinger, M. Englisch-orientierte Pidgin- und Kreolsprachen [Text] / M. Hellinger. – Darmstadt : Wiss. Buchges., 1985.

352. Henry, V. A Short Comparative Grammar of English and German as Traced back to their Common Origin and Contrasted with the Classical Languages [Text] / V. Henry. – London : Swan Sonnenschein & Co, 1894.

353. Hettrich, H. Der Agens in passivischen Sätzen altindogermanischer Sprachen [Text] / H. Hettrich // Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen aus dem Jahre 1990. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. – S. 53–108.

354. Hettrich, H. Nochmals zum Gerundium und Gerundivum [Text] / H. Hettrich // Indogermanica et Italica: Festschrift für Helmut Rix zum 65. Geburtstag. – Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1993. – S. 169–190.

355. Hinrichs, U. Ist das Bulgarische kreolisiertes Altbulgarisch? [Text] / U. Hinrichs // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004 a. – S. 231–243.

356. Hinrichs, U. Vorbemerkungen zum analytischen Sprachtyp in Europa [Text] / U. Hinrichs // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004 b. – S. 17–33.

357. Hirt, H. Indogermanische Grammatik [Text] / H. Hirt. – Heidelberg : Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1937.

358. Hofstede, G. China [Electronic resources] / G. Hofstede. – Access mode: http://www.geert-hofstede.com/hofstede_china.shtml, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007 а.

359. Hofstede, G. Culture's Consequences [Text] / G. Hofstede. – Thousand Oaks : Sage Publications, 2002.

360. Hofstede, G. Geert Hofstede™ Cultural Dimensions [Electronic resources] / G. Hofstede. – Access mode: http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007 б.

361. Hofstede, G. Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures [Text] / G. Hofstede [et al.]. – Thousand Oaks : Sage Publications, 1998.

362. Honselaar, W. Zero Subjects in Russian [Text] / W. Honselaar // Signs of Friendship: To Honour A.G.F. van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician. – Amsterdam : Rodopi, 1984. – S. 165–183.

363. Hoxie, von F. Encyclopedia of North American Indians [Text] / F. von Hoxie. – New-York : Houghton Mifflin Books, 1996.
364. Hudson-Williams, T. A Short Introduction to the Study of Comparative Grammar (Indo-European) [Text] / T. Hudson-Williams. – Cardiff : University of Wales Press, 1966.
365. Huth, E. Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers [Text] / E. Huth. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994.
366. “I”, “we” and Impersonal Constructions [Electronic resources]. – Access mode: <http://forms.aps.org/author/h8impersonalconst.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1994.
367. Ilyish, B. History of the English Language [Text] / B. Ilyish. – Л. : Просвещение, 1972.
368. Intercultural Communication. A Global Reader [Text] / ed. F. Jandt. – Thousand Oaks: Sage Publication, 2007.
369. Israel and Iran Share Most Negative Ratings in Global Poll [Electronic resources]. – Access mode: http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/06_03_07_perceptions.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.
370. Israeli, A. Semantics and Pragmatics of the “Reflexive” Verbs in Russian [Text] / A. Israeli. – München : Verlag Otto Sagner, 1997.
371. Janda, L. Transitivity in Russian from a Cognitive Perspective [Electronic resources] / L. Janda. – Access mode: <http://www.unc.edu/depts/slavdept/lajanda/jandapadu-chevafest.doc>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.
372. Janson, T. Speak. A Short History of Languages [Text] / T. Janson. – Oxford : Oxford University Press, 2002.
373. Jany, C. The Relationship between Case Marking and S, A, and O in Spoken Sinhala [Text] / C. Jany // Santa Barbara Papers in Linguistics. – 2006. – № 17. – P. 68–84.
374. Jespersen, O. Chapters on English [Text] / O. Jespersen. – London : George Allen & Unwin Ltd, 1918.
375. Jespersen, O. Growth and Structure of the English Language [Text] / O. Jespersen. – Oxford : Blackwell, 1982.
376. Jespersen, O. Progress in Language, with Special Reference to English [Text] / O. Jespersen. – London : Swan, 1894.
377. Joseph, B. What Gives with *es gibt*? Some Typological and Comparative Perspectives on Existentials in German, in Germanic, and in Indo-European [Text] / B. Joseph // Studies in Memory of Edgar C. Polomé. American Journal of Germanic Linguistics and Literatures. – 2000. – № 12 (2). – P. 243–265.
378. Jungraithmayr, H. Der analytische Sprachtyp in Afrika [Text] / H. Jungraithmayr // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 477–484.

379. Justus, C. Indo-European *have*: A Grammatical Etymology [Text] / C. Justus // Language Change and Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of His 83rd Birthday / ed. R. Diebold, E. Polomé. – Washington : Institute for the Study of Man Inc, 1999. – Vol. 2. – P. 613–641.

380. Kaiser, M. Nostratic [Text] / M. Kaiser, V. Shevoroshkin // Annual Review of Anthropology. – 1988. – № 17. – P. 309–329.

381. Kangira, J. Split Intransitivity in Kalanga [Text] / J. Kangira // Zambia. – 2004. – № 31. – P. 46–61.

382. Kashima, E. Culture and Language: The Case of Cultural Dimensions and Personal Pronoun Use [Text] / E. Kashima, Y. Kashima // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 1998. – № 29. – P. 461–486.

383. Kashima, Y. Individualism, GNP, Climate, and Pronoun Drop: Is Individualism Determined by Affluence and Climate, or does Language Use Play a Role? [Text] / Y. Kashima // Journal of Cross-cultural Psychology. – 2003. – № 34. – P. 125–134.

384. Keenan, E. Passive in the World's Languages [Electronic resources] / E. Keenan, M. Dryer // Language Typology and Syntactic Description (Clause Structure) / ed. T. Shopen. – Access mode: <http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/KeenanDryerPassive.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007. – Vol. 1.

385. Keller, W. Keltisches im englischen Verbum [Text] / W. Keller // Anglica. Untersuchungen zur englischen Philologie. – Leipzig : Mayer und Müller G.m.b.H., 1925. – Bd. 1. – S. 57–66.

386. Kellner, L. Historical Outlines of English Syntax [Text] / L. Kellner. – London : MacMillan and Co, 1892.

387. Kilgarriff, A. BNC Database and Word Frequency Lists [Electronic resources] / A. Kilgarriff. – Access mode: http://www.kilgarriff.co.uk/BNC_lists/lemma.num, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1995.

388. Kim, U. Individualism and Collectivism. Conceptual Clarification and Elaboration [Text] / U. Kim // Individualism and Collectivism. Theory, Method, and Applications / ed. U. Kim [et al.]. – Thousand Oaks : Sage Publications, 1995. – P. 19–41.

389. Kington Oliphant, Th. The Old and Middle English [Text] / Th. Kington Oliphant. – London : MacMillan and Co, 1878.

390. Klamer, M. The Semantics of Semantic Alignment in Eastern Indonesia [Electronic resources] / M. Klamer // The Typology of Active-Stative Languages / ed. M. Donohue, S. Wichmann. – Access mode: http://www.let.leidenuniv.nl/aapp/Klamer_%20semantic_alignment_E_Indonesia.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.

391. Klimov, G. A. On the Position of the Ergative Type in Typological Classification [Text] / G. A. Klimov // Ergativity. Towards a Theory of Grammatical Relations / ed. F. Plank. – London : Academic Press, 1979. – P. 327–333.

392. Kluge, F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache [Text] / F. Kluge, E. Seebold. – Berlin : Walter de Gruyter, 2002.
393. Kofler, A. Looking Westwards [Electronic resources]. – Access mode: http://www.gfk.ua/etc/files/pdf/Sozfo_CEE_RRW_090306.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
394. Kohn, M. Some Guidelines on the Use of Passive Voice [Electronic resources] / M. Kohn. – Access mode: <http://www.clas.ufl.edu/users/kohn/passive-voice.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
395. Korpusbasierte Wortgrundformenliste DeReWo [Electronic resources]. – Access mode: <http://www.ids-mannheim.de/kl/derewo/derewo-v-30000g-2007-12-31-0.1.zip>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем. – 2007.
396. Kortlandt, F. Hittite *hi*-verbs and the Indo-European perfect [Electronic resources] / F. Kortlandt. – Access mode: <http://www.kortlandt.nl/publications/art241e.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2001.
397. Kortlandt, F. Proto-Indo-European verbal syntax [Text] / F. Kortlandt // Journal of Indo-European Studies. – 1983. – № 11. – P. 307–324.
398. Kortlandt, F. The Indo-Uralic verb [Electronic resources] / F. Kortlandt. – Access mode: <http://www.kortlandt.nl/publications/art203e.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2001.
399. Krapp, G. Modern English: Its Growth and Present Use [Text] / G. Krapp. – New-York : Scribner, 1909.
400. Kristof, N. Believe it, or not [Electronic resources] / N. Kristof. – Access mode: <http://www.cnn.com/2003/US/08/15/nyt.kristof/index.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2003.
401. Krzyszpień, J. A Diachronic Analysis of English Impersonal Constructions with an Experiencer [Text] / J. Krzyszpień. – Krakow : Nakl. uniw. Jagiellońskiego, 1990.
402. Kurzová, H. Syntax in the Indo-European Morphosyntactic Type [Text] / H. Kurzová // Language Change and Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of His 83rd Birthday / ed. R. Diebold, E. Polomé. – Washington : Institute for the Study of Man Inc., 1999. – Vol. 2. – P. 501–521.
403. Langenmayr, A. Sprachpsychologie [Text] / A. Langenmayr. – Göttingen : Hogrefe-Verlag, 1997.
404. Language Typology and Language Universals [Text] / ed. M. Haspelmath. – Berlin : Walter de Gruyter, 2001.
405. Languages and their Status [Text] / ed. T. Shopen. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1987.
406. Lauffenburger, O. Hittite Grammar [Electronic resources] / O. Lauffenburger. – Access mode: http://www.premiumwanadoo.com/cuneiform.languages/hittite_grammar.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
407. Lavine, J. Subject Properties and Ergativity in North Russian and Lithuanian [Text] / J. Lavine // Formal Approaches to Slavic Linguistics / ed. K. Dziwirek, H. Coats, C. Vakareliyska. – 1999. – № 7. – P. 307–328.

408. Lavrent'ev, A. M. Russian: Accusative or Active? [Electronic resources] / A. M. Lavrent'ev // International Symposium on Typology of the Argument Structure and Grammatical Relations in Languages Spoken in Europe and North and Central Asia Lenca-2 (Kazan State University, May 11–14, 2004). – Access mode: <http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/LENCA/LENCA-2/information/datei/english-abstract-7.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.
409. Leech, G. Word Frequencies in Written and Spoken English: Based on the British National Corpus [Text] / G. Leech, P. Rayson, A. Wilson. – London : Longman, 2001.
410. Lehmann, W. Active Language Characteristics in Pre-Indo-European and Pre-Afro-Asiatic [Text] / W. Lehmann // General linguistics. – 1995 a. – № 35. – P. 51–81.
411. Lehmann, W. Impersonal Verbs as Relics of a Sub-class in Pre-Indo-European [Text] / W. Lehmann // Историческая лингвистика и типология / под ред. Г. А. Климова. – М. : Наука, 1991. – С. 33–38.
412. Lehmann, W. Pre-Indo-European [Text] / W. Lehmann. – Washington : Institute for the Study of Man, 2002.
413. Lehmann, W. Proto-Germanic Syntax [Text] / W. Lehmann // Toward a Grammar of Proto-Germanic / ed. F. van Coetsem, H. Kufner. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1972. – P. 239–269.
414. Lehmann, W. Residues of Pre-Indo-European Active Structure and their Implications for the Relationships among the Dialects [Text] / W. Lehmann. – Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1995 b.
415. Leinonen, M. Impersonal Sentences in Finnish and Russian: Syntactic and Semantic Properties [Text] / M. Leinonen. – Helsinki : University of Helsinki, 1985.
416. Lemone, K. Analyzing Cultural Influences on ELearning Transactional Issues [Electronic resources] / K. Lemone. – Access mode: <http://web.cs.wpi.edu/~kal/elearn/elearn05.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.
417. Lexikon der germanistischen Linguistik [Text] / Hrsg. H. P. Althaus, H. Henne, H. E. Wiegand. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1980.
418. Lowth, R. A Short Introduction to English Grammar with Critical Notes [Text] / R. Lowth. – Philadelphia : R. Aitken, 1799.
419. Lutz, A. Sprachmischung in der deutschen und englischen Wortbildung [Text] / A. Lutz // Historische Wortbildung des Deutschen / Hrsg. M. Habermann [et al.]. – Tübingen : Max Niemeyer, 2002. – S. 407–437.
420. Maling, J. The New Impersonal Construction in Icelandic [Text] / J. Maling, S. Sigurjónsdóttir // The Journal of Comparative Germanic Linguistics. – 2002. – № 5 (1–3). – P. 97–142.
421. Mallory, J. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World [Text] / J. Mallory, D. Adams. – Oxford : Oxford University Press, 2006.

422. Martinez, R. Jubilation and Optimism – Mexico’s Political Shift Only One Sign of Profound Change [Electronic resources] / R. Martinez. – Access mode: <http://www.pacificnews.org/jinn/stories/3.14/970708-mexico-shift.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1997.
423. Maser, I. Linguistische und psycholinguistische Aspekte agrammatischer Spontansprachproduktion [Text] / I. Maser. – Freiburg : Freiburg i.Br., Univ., 1994.
424. Matthews, P. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics [Text] / P. Matthews. – Oxford : Oxford University Press, 1997.
425. McArthur, T. Concise Oxford Companion to the English Language [Text] / T. McArthur. – Oxford : Oxford University Press, 1998.
426. McCawley, N. From OE/ME “Impersonal” to “Personal” Constructions: What is a “Subject-less” S? [Text] / N. McCawley // Papers from the Parasession on Diachronic Syntax. April 22, 1976 / ed. S. Steever, C. Walker, S. Mufwene. – Chicago : Chicago Linguistic Society, 1976. – P. 192–205.
427. McCawley, N. What Strikes me about Psych-movement [Text] / N. McCawley // The second LACUS Forum 1975 / ed. P. Reich. – Columbia (South Carolina) : Hornbeam Press, 1975. – P. 320–329.
428. McWhorter, J. What Happened to English? [Text] / J. McWhorter // Focus on Germanic Typology / ed. W. Abraham. – Berlin : Akademie Verlag, 2004. – P. 19–61.
429. Meier-Brügger, M. Indogermanische Sprachwissenschaft [Text] / M. Meier-Brügger. – Berlin : Walter de Gruyter, 2002.
430. Meiklejohn, J. The English Language; its Grammar, History and Literature, with Chapters on Composition, Versification, Paraphrasing, and Punctuation [Text] / J. Meiklejohn. – Toronto : W. J. Gage & Company, 1891.
431. Meillet, A. Einführung in die vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen [Text] / A. Meillet. – Leipzig : B. G. Teubner, 1909.
432. Mitchell, B. A Guide to Old English [Text] / B. Mitchell, F. Robinson. – Oxford : Blackwell Publishing, 2003.
433. Mithun, M. The Potential Instability of Grammatical Relations [Electronic resources] / M. Mithun // International Symposium on Typology of the Argument Structure and Grammatical Relations in Languages Spoken in Europe and North and Central Asia Lenca-2 (Kazan, May 11–14, 2004). – Access mode: <http://www.ling.helsinki.fi/u/hlcs/LENCA/LENCA-2/information/datei/plenary-sessions-2.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.
434. Montaut, A. Oblique Main Arguments in Hindi as Localizing Predications: Questioning the Category of Subject [Text] / A. Montaut // Non-Nominative Subjects / ed. P. Bhaskarao, K. Subbarao. – Amsterdam : John Benjamins, 2004. – Vol. 2. – P. 178–210.
435. Moore, S. Historical Outlines of English Phonology and Middle English Grammar [Text] / S. Moore. – Ann Arbor : George Wahr, 1919.

436. Morris, R. Historical Outlines of English Accidence [Text] / R. Morris. – London : MacMillan and Co, 1872.
437. Mühlhäusler, P. Pidgins and Creole Linguistics [Text] / P. Mühlhäusler. – New-York : Basil Blackwell, 1986.
438. Mühlhäusler, P. Synonymy and Communication across Lectal Boundaries in Tok Pisin [Text] / P. Mühlhäusler // Diversity and Development in English-related Creoles / ed. I. Hancock. – Ann Arbor : Karoma Publishers, Inc., 1985. – P. 134–155.
439. Nafiqoff, Sh. Syntactic Relationship Areas in Some Languages of Europe, Central and North Asia: a Comparative Typological Sketch [Electronic resources] / Sh. Nafiqoff // International Symposium on Typology of the Argument Structure and Grammatical Relations in Languages Spoken in Europe and North and Central Asia Lenca-2 (Kazan, May 11–14, 2004). – Access mode: <http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/LENCA/LENCA-2/information/datei/english-abstract-7.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.
440. Nedoma, R. Kleine Grammatik des Altisländischen [Text] / R. Nedoma. – Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2006.
441. Nichols, J. A Case of Rare Fluid Intransitivity in Eurasia: Russian [Electronic resources] / J. Nichols // The 32. Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (University of California, Berkeley, 2006). – Access mode: http://linguistics.berkeley.edu/BLS/abstracts/bls32_nicholsLA.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.
442. Nichols, J. Linguistic Diversity in Space and Time [Text] / J. Nichols. – Chicago : The University of Chicago Press, 1992.
443. Niehues, J. The Influences of the Celtic Languages on Present-Day English [Text] / J. Niehues. – Magdeburg : Philipps-Universität, 2006.
444. Nirmal, S. Whence to Where and in between (Birth, Life, Death and beyond: The Sikh Perspective) [Text] / S. Nirmal // Studies in Sikhism and Comparative Religion. – 2001. – № 20 (2). – P. 88–101.
445. O’Driscoll, J. Britain. The Country and its People: An Introduction for Learners of English [Text] / J. O’Driscoll. – Oxford : Oxford University Press, 2001.
446. Oettinger, N. Neue Gedanken über das -nt-Suffix [Text] / N. Oettinger // Anatolisch und Indogermanisch / Hrsg. O. Carruba, W. Meid. – Innsbruck : Institut für Sprachen und Literatur, 2001. – S. 301–317.
447. Oettinger, N. Zur Funktion des indogermanischen Stativs [Text] / N. Oettinger // Indogermanica et Italica: Festschrift für Helmut Rix zum 65. Geburtstag. – Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1993. – S. 347–362.
448. Ogura, M. Old English “Impersonal” Verbs and Expressions [Text] / M. Ogura. – Copenhagen : Rosenkilde and Bagger, 1986.
449. Ohneiser, I. Analytische Tendenzen in der Nomination/Wortbildung slawischer Sprachen? [Text] / I. Ohneiser // Die europäischen Sprachen auf dem

Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrasowitz Verlag, 2004. – S. 197–213.

450. Onishi, M. Introduction: Non-canonically Marked Subjects and Objects: Parameters and Properties [Text] / M. Onishi // Non-canonical Marking of Subjects and Objects / ed. A. Aikhenvald, R. Dixon, M. Onishi. – Amsterdam : John Benjamins, 2001 a. – P. 1–53.

451. Onishi, M. Non-canonically Marked S/A in Bengali [Text] / M. Onishi // Non-canonical Marking of Subjects and Objects / ed. A. Aikhenvald, R. Dixon, M. Onishi. – Amsterdam : John Benjamins, 2001 b. – P. 113–149.

452. Palander-Collin, M. Grammaticalisation and Social Embedding. I THINK and METHINKS in Middle and Early Modern English [Text] / M. Palander-Collin. – Helsinki : Soci t  N ophilologique, 1999.

453. Pannemann, M. Is Icelandic Split-Ergative? [Text] / M. Pannemann. – Rijksuniversiteit Groningen, 2002.

454. Paul, H. Mittelhochdeutsche Grammatik [Text] / H. Paul. – T bingen : Max Niemeyer Verlag, 1998.

455. Paul, H. Prinzipien der Sprachgeschichte [Electronic resources] / H. Paul. – Access mode: <http://gutenberg.spiegel.de/paulh/prinzip/pauleinl.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем. – 1920.

456. Peuser, G. Aphasie. Eine Einf hrung in die Patholinguistik [Text] / G. Peuser. – M nchen : Wilhelm Fink Verlag, 1978.

457. Pfeiffer, A. „Typisch deutsch“?  ber Mentalit t und Umgangsformen der Deutschen. Versuch einer Charakterisierung am Ende des 20. Jahrhunderts [Text] : дипломная работа / A. Pfeiffer. – M nchen, 1993.

458. Pirkola, A. Morphological Typology of Languages for IR [Text] / A. Pirkola // Journal of Documentation. – 2001. – № 57 (3). – P. 330–348.

459. Platzack, Ch. Agreement and Null Subjects [Text] / Ch. Platzack // Nordlyd. – 2003. – № 31 (2). – P. 326–355.

460. Pocheptsov, G. Quasi-impersonal Verbs in Old and Middle English [Text] / G. Pocheptsov // Trends in Linguistics / ed. J. Fisiak. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1997. – P. 469–489.

461. Ponelis, F. The Development of Afrikaans [Text] / F. Ponelis. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 1993.

462. Poussa, P. The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis [Text] / P. Poussa // Studia Anglica Posnaniensia. – 1982. – № 14. – P. 69–87.

463. Predication Workshop [Electronic resources]. – Access mode: <http://www.uccs.edu/~wrtgcntr/handouts/predication.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2006.

464. Primus, B. Ergativit t im Deutschen? Das Deutsche im Rahmen der relationalen Typologie [Text] / B. Primus // Koreanische Zeitschrift f r Germanistik. – 2003 – № 86. – S. 13–38.

465. Quiles, C. A Grammar of Modern Indo-European. Language & Culture, Writing System & Phonology, Morphology and Syntax. [Text] / C. Quiles. – CreateSpace, 2007.

466. Quirk, R. An Old English Grammar [Text] / R. Quirk, C. L. Wrenn. – DeKalb : Northern Illinois University Press, 1994.

467. Raidt, E. Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans [Text] / E. Raidt. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.

468. Ramesh, R. India's Secret History: "A Holocaust, One Where Millions Disappeared..." [Electronic resources] / R. Ramesh. – Access mode: <http://www.guardian.co.uk/india/story/0,,2155324,00.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.

469. Reguillo, R. The Oracle in the City: Beliefs, Practices, and Symbolic Geographies [Text] / R. Reguillo // Social Text. – 2004. – № 22. – P. 35–46.

470. Ringe, D. A Linguistic History of English [Text] / D. Ringe. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – Vol. 1.

471. Rissanen, M. Whatever Happened to the Middle English Indefinite Pronouns? [Text] / M. Rissanen // Trends in Linguistics / ed. J. Fisiak. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1997. – P. 513–531.

472. Roelcke, Th. Analytismus im Deutschen [Text] / Th. Roelcke // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 147–169.

473. Roget's II: The New Thesaurus [Electronic resources]. – Access mode: <http://www.bartleby.com/62/cat/certain.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1995.

474. Rudnitskaja, E. Syntactic and Information Structure of Stative Verb Sentences with Experiencer NP-s in Korean [Electronic resources] / E. Rudnitskaja // International Symposium on Typology of the Argument Structure and Grammatical Relations in Languages Spoken in Europe and North and Central Asia Lenca-2 (Kazan, May 11–14, 2004). – Access mode: <http://www.ling.helsinki.fi/u/hlcs/LENCA/LENCA-2/information/datei/english-abstract-7.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.

475. Ryan, B. Middle English as Creole: "Still Trying not to Refer to you Lot as "Bloody Colonials" [Electronic resources] / B. Ryan. – Access mode: <http://www.chass.utoronto.ca/~cpercyc/courses/6361ryan.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.

476. Saldana-Portillo, M. The Revolutionary Imagination in the Americas and the Age of Development [Text] / M. Saldana-Portillo. – Durham : Duke University Press, 2003.

477. Sands, K. Non-canonical Subjects and Objects in Finnish [Text] / K. Sands, L. Campbell // Non-canonical Marking of Subjects and Objects / ed. A. Aikhenvald, R. Dixon, M. Onishi. – Amsterdam : John Benjamins, 2001. – P. 251–307.

478. Schmidt, K. H. On Congruence in Languages of Active Typology [Text] / K. H. Schmidt // Language Change and Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of His 83rd Birthday / ed. R. Diebold, E. Polomé. – Washington : Institute for the Study of Man Inc., 1999. – Vol. 2. – P. 528–537.

479. Schmidt, K. H. Reconstructing Active and Ergative Stages of Pre-Indo-European [Text] / K. H. Schmidt // Ergativity. Towards a Theory of Grammatical Relations / ed. F. Plank. – London : Academic Press, 1979. – P. 333–345.

480. Schmidt, K. H. Zur Typologie des Vorindogermanischen [Text] / K. H. Schmidt // Linguistic Reconstruction and Indo-European Syntax. Proceedings of the Colloquium of the “Indogermanische Gesellschaft” (University of Pavia, 6–7 September 1979) / Hrsg. P. Ramat. – Amsterdam : John Benjamins, 1980. – S. 91–113.

481. Schmidt, W. Geschichte der deutschen Sprache [Text] / W. Schmidt. – Stuttgart : S. Hirzel Verlag, 2000.

482. Schmidt-Brandt, R. Einführung in die Indogermanistik [Text] / R. Schmidt-Brandt. – Tübingen : A. Francke Verlag, 1998.

483. Schneider, K. Diminutives in English [Text] / K. Schneider. – Tübingen : Niemeyer, 2003.

484. Schneider, W. Stilistische deutsche Grammatik; die Stilwerte der Wortarten, der Wortstellungen und des Satzes [Text] / W. Schneider. – Freiburg : Herder, 1959.

485. Schuhardt, H. Beiträge zur Kenntnis des Englischen Kreolisch II [Text] / H. Schuhardt // Englische Studien XIII. – 1889. – № 1. – S. 158–162.

486. Schuhardt, H. Sprachursprung II [Text] / H. Schuhardt // Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. – 1919. – № 39. – S. 863–869.

487. Schuhardt, H. Über den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen [Text] / H. Schuhardt // Sitzungsberichte der Wiener Akademie. – 1895. – № 133 (1). – S. 1–91.

488. Schulze, W. The Udi Language: A Grammatical Description [Electronic resources] / W. Schulze. – Access mode: <http://www.lrz-muenchen.de/~wschulze/udisynt.htm>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2001.

489. Seewald, B. Aphasie und Natürlichkeit. Abbauhierarchien im Bereich der Grammatik [Text] / B. Seewald. – Opladen : Westdeutscher Verlag, 1998.

490. Shea, J. Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation [Electronic resources] / J. Shea. – Access mode: <http://www.historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/she2.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1997.

491. Shibatani, M. Non-canonical Constructions in Japanese [Text] / M. Shibatani // Non-canonical Marking of Subjects and Objects / ed. A. Aikhenvald, R. Dixon, M. Onishi. – Amsterdam : John Benjamins, 2001. – P. 307–355.

492. Siemund, P. Analytische und synthetische Tendenzen in der Entwicklung des Englischen [Text] / P. Siemund // Die europäischen Sprachen auf dem Wege

zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 169–197.

493. Siewierska, A. The Passive. A Comparative Linguistic Analysis [Text] / A. Siewierska. – London : Croom Helm, 1984.

494. Siraj, A. “An Unlimited Intercourse”: Historical Contradictions and Imperial Romance in the Early Nineteenth Century [Electronic resources] / A. Siraj. – Access mode: <http://www.rc.umd.edu/praxis/containment/ahmed/ahmed.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2000.

495. Smith, H. Die Russen: wie die russischen Menschen wirklich leben, wovon sie träumen, was sie lieben und wie ihr Alltag wirklich aussieht [Text] / H. Smith. – Bern : Scherz, 1976.

496. Smither, H. The Alabama Indians of Texas [Electronic resources] / H. Smither. – Access mode: http://www.tsha.utexas.edu/publications/journals/shq/online/v036/n2/contrib_DIVL1604.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

497. Specht, F. Der Ursprung der Indogermanischen Deklination [Text] / F. Specht. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1944.

498. Šteinfeldt, E. Häufigkeitswörterbuch der russischen Sprache [Text] / E. Šteinfeldt. – Moskau : Progress, 1969.

499. Stempel, R. Die Aussage des Wortschatzes zum Typus des Frühindogermanischen [Text] / R. Stempel // Sprache und Kultur der Indogermanen / Hrsg. W. Meid. – Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft, 1998. – S. 169–179.

500. Stewart, G. Tenzing's two Wrist-watches: The Conquest of Everest and Late Imperial Culture in Britain, 1921–1953 [Text] / G. Stewart // Past & Present. – 1996. – № 149. – P. 170–197.

501. Stiehl, U. Sanskrit-Kompendium [Text] / U. Stiehl. – Heidelberg : Hüthing, 2002.

502. Stockwell, R. English Words: History and Structure [Text] / R. Stockwell, D. Minkova. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001.

503. Streitberg, W. Urgermanische Grammatik [Text] / W. Streitberg. – Heidelberg : Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1900.

504. Strong, H. Introduction to the Study of the History of Language [Text] / H. Strong. – London : Longmans, Green, & Co, 1891.

505. Swan, M. Practical English Usage [Text] / M. Swan. – Oxford : Oxford University Press, 2001.

506. Sweet, H. A New English Grammar. Logical and Historical [Text] / H. Sweet. – Oxford : At the Clarendon Press, 1900.

507. The American Heritage Dictionary of the English Language [Text]. – Boston : Houghton Mifflin, 1992.

508. The Cambridge History of English and American Literature: An Encyclopedia in Eighteen Volumes [Text] / ed. A. W. Ward [et al.]. – New-York : G. P. Putnam's Sons, 1907–1921.

509. The Cambridge History of the English Language [Electronic resources] / ed. N. Blake. – Access mode: <http://www.bartleby.com/213/2008.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1907–1921.
510. The Columbia Encyclopedia [Text]. – New-York : Columbia University Press, 2001–2004.
511. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology [Text] / ed. T. F. Ho-ad. – Oxford : Oxford University Press, 1996.
512. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [Text] / ed. O. Bandle. – Berlin : Walter de Gruyter, 2002. – Vol. 1.
513. The Oxford History of English [Text] / ed. L. Mugglestone. – Oxford : Oxford University Press, 2006.
514. The Universals Archive [Electronic resources] / ed. F. Plank. – Access mode: <http://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/index.php>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.
515. The UVic Writer's Guide [Electronic resources]. – Access mode: <http://web.uvic.ca/wguide/Pages/SentPassiveVoice.html>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 1995.
516. Thráinsson, H. Faroese. An Overview and Reference Grammar [Text] / H. Thráinsson [et al.]. – Tórshavn : Føroya Fróðskaparfelag, 2004.
517. Timberlake, A. A Reference Grammar of Russian [Text] / A. Timberlake. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
518. Todd, L. Lexical Patterning in Cameroon Pidgin and Tok Pisin [Text] / L. Todd // Diversity and Development in English-related Creoles / ed. I. Hancock. – Ann Arbor : Karoma Publishers, Inc., 1985. – P. 116–134.
519. Todd, L. Pidgins and Creoles [Text] / L. Todd. – London : Routledge, 1990.
520. Toyota, J. Old English as a Language with Active Alignment: Evidence from Word Order [Text] / J. Toyota // Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics (Helsinki, January 7–9, 2004) / ed. F. Karlsson. – Helsinki : University of Helsinki, 2004. – P. 1–18.
521. Tripp, R. The Psychology of Impersonal Constructions [Text] / R. Tripp // Glossa. – 1978. – № 12 (2). – P. 177–187.
522. Tristram, H. Diglossia in Anglo-Saxon England, or What was Spoken Old English Like? [Text] / H. Tristram // Studia Anglica Posnaniensia. – 2004. – № 40. – P. 87–110.
523. Trnavac, R. [Text] Aspect and subjectivity in modal constructions : doctoral thesis / R. Trnavac. – LOT, Utrecht : LUCL, Faculty of Arts, Leiden University, 2006.
524. Uhlířová, L. Word Order Variation [Text] / L. Uhlířová // Quantitative Linguistics / ed. R. Köhner, G. Altmann, R. Piotrowski. – Berlin : Walter de Gruyter, 2005. – P. 598–607.

525. Umfrage: Jeder ist seines Glückes Schmied – oder nicht? [Electronic resources]. – Access mode: <http://www.shortnews.de/start.cfm?id=185105>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. нем. – 2001.
526. Vachek, J. A Functional Syntax of Modern English [Text] / J. Vachek. – Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1994.
527. Vajda, E. Active Alignment and Morphological Transitivity [Electronic resources] / E. Vajda. – Access mode: <http://email.eva.mpg.de/~wichmann/CollectiveAbstracts.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.
528. Van Nahl, A. Einführung in das Altisländische [Text] / A. van Nahl. – Hamburg : Helmut Buske Verlag, 2003.
529. Veenker, W. Die Frage des finnougriischen Substrats in der russischen Sprache [Text] / W. Veenker. – Bloomington : Indiana University, 1967.
530. Velázquez-Castillo, M. Grammatical Voice in Active-Stativ languages: The Case of Paraguayan Guaraní [Electronic resources] / M. Velázquez-Castillo. – Access mode: <http://files.usc.es/grupos/koine/congreso/pdf/430.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2004.
531. Vincent, N. The Rise and Fall of Dative Subjects [Electronic resources] / N. Vincent, Th. Eythórsson. – Access mode: <http://www.let.leidenuniv.nl/ulcl/events/compdiachr/VincentEY.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2003.
532. Visser, F. An Historical Syntax of the English Language [Text] / F. Visser. – Leiden : E. J. Brill, 1969.
533. Von Polenz, P. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart [Text] / P. von Polenz. – Berlin : Walter de Gruyter, 1999. – Bd. 3.
534. Von See Franz-Montag, A. Syntaktische Funktionen und Wortstellungsveränderungen. Die Entwicklung “subjektloser” Konstruktionen in einigen Sprachen [Text] / A. von See Franz-Montag. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1983.
535. Wagner, H. Das Verbum in den Sprachen der Britischen Inseln [Text] / H. Wagner. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1959.
536. Wahlen, N. The Old English Impersonalia [Text] / N. Wahlen. – Göteborg : Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1925.
537. Webster, N. American Dictionary of the English Language [Electronic resources] / N. Webster. – Access mode: <http://www.e-sword.net/files/dictionaries/webster-az.exe>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
538. Webster, N. Webster’s Unabridged Dictionary [Text] / N. Webster. – Springfield : C. & G. Merriam Co, 1913.
539. Weisgerber, L. Vom Weltbild der deutschen Sprache [Text] / L. Weisgerber. – Düsseldorf : Pädagogischer Verlag Schwann, 1954. – Bd. 2 (1).
540. Weiss, D. Das moderne Russisch als antianalytische Sprache (ein Vergleich mit dem Polnischen) [Text] / D. Weiss // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 263–285.

541. Wenk, S. Borussia, Brunsviga, Bavaria... und Germania: Einheit und Differenz [Text] / S. Wenk // Vater Rhein und Mutter Wolga / Hrsg. E. Cheauré, R. Nohejl, A. Napp. – Würzburg : Ergon Verlag, 2005. – S. 75–91.
542. Whiting, B. Proverbs, Sentences, and Proverbial Phrases from English Writings Mainly before 1500 [Text] / B. Whiting. – Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 1968.
543. Wichmann, S. Event-orientation in Grammar [Electronic resources] / S. Wichmann. – Access mode: <http://email.eva.mpg.de/~wichmann/Collective Abstracts.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2005.
544. Wichmann, S. The Study of Semantic Alignment: Retrospect and State of the Art [Electronic resources] / S. Wichmann. – Access mode: http://email.eva.mpg.de/~wichmann/01_Wichmann.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2008.
545. Wichmann, S. Valency-reduction in Event-oriented Languages [Electronic resources] / S. Wichmann. – Access mode: <http://email.eva.mpg.de/~wichmann/Wichmann-taller-writeup3.pdf>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ. – 2007.
546. Wienges, S. Westlicher Individualismus versus asiatische Werte [Text] / S. Wienges. – Berlin : Wissenschaftlicher Verlag, 2003.
547. Wierzbicka, A. Case Marking and Human Nature [Text] / A. Wierzbicka // Australian Journal of Linguistics. – 1981. – № 1. – P. 43–80.
548. Wierzbicka, A. English: Meaning and Culture [Text] / A. Wierzbicka. – Oxford : Oxford University Press, 2006.
549. Wierzbicka, A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations [Text] / A. Wierzbicka. – Oxford : Oxford University Press, 1992.
550. Wierzbicka, A. The Semantics of Grammar [Text] / A. Wierzbicka. – Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1988.
551. Williams, O. A Short Sketch of the History of the English Language [Text] / O. Williams. – London : Cassel and Company, Ltd., 1911.
552. Wright, J. An Old High German Primer [Text] / J. Wright. – Oxford : Oxford at the Clarendon Press, 1906.
553. Wright, J. Grammar of the Gothic Language [Text] / J. Wright. – Oxford : Oxford at the Clarendon Press, 1910.
554. Yinghong, D. Sprachstruktur und Aphasie. Ein Beitrag zur vergleichenden Aphasie-Forschung Deutsch-Chinesisch [Text] / D. Yinghong. – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1993.
555. Zarets'ky, Y. Anglizismen im Russischen seit 1991: Ein Vergleich mit dem Ukrainischen und Deutschen [Text] / Y. Zarets'ky. – Hamburg : Dr. Kovač, 2008.
556. Zemskaja, E. Analytische und agglutinierende Tendenzen im Russischen [Text] / E. Zemskaja // Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp / Hrsg. U. Hinrichs. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004. – S. 285–293.

Электронные ресурсы локального доступа

1. Англоязычная библиотека [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2001.
2. Бердяев, Н. А. Судьба России [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – М. : Ардис, 2006.
3. Вернадский, Г. В. Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – М. : Ардис, 2006.
4. Карамзин, Н. М. История государства Российского [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – М. : Бизнессофт, 2005–2006.
5. Соловьёв, С. М. История России с древнейших времен [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – М., 2007.
6. Электронная библиотека 3: Антология русской литературы от Нестора до Булгакова [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2002.
7. Collins English Dictionary [Electronic resources]. – London : Harper Collins Publishers, 1995. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2002.
8. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 1997.
9. Digitale Bibliothek Band 59: English and American Literature from Shakespeare to Mark Twain [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2002.
10. Digitale Bibliothek Band 89: Die Bibliothek der Weltliteratur [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2003.
11. Digitale Bibliothek Band 125: Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2005.
12. Digitale Bibliothek Sonderband: Legendäre Lexika [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 2006.
13. Duden Oxford Deutsch-Englisch [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). PC-Bibliothek 3. – Загл. с экрана. – Mannheim : Dudenverlag, 2001.
14. Duden Oxford English-German [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). PC-Bibliothek 3. – Загл. с экрана. – Mannheim : Dudenverlag, 2001.
15. Encyclopedia of Language and Linguistics [Electronic resources] / ed. K. Brown – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Oxford : Elsevier Science, 2006.

16. Eurowörterbuch Deutsch-Englisch [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). PC-Bibliothek 3. – Загл. с экрана. – Berlin : Langenscheidt, 2001.

17. Georges, K. E. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsmittel ausgearbeitet [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Digitale Bibliothek 69. – Загл. с экрана. – Hannover : Hahnsche Buchhandlung. – Berlin : Directmedia, 2002.

18. Herder, J. G. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Digitale Bibliothek 2 : Philosophie. – Загл. с экрана. – Berlin : Directmedia, 1998.

19. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners of American English [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Oxford : Palgrave MacMillan, 2005.

20. Metzler Lexikon Sprache [Electronic resources] / Hrsg. H. Glück. – Stuttgart – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Metzler Verlag, CD : Digitale Bibliothek Band 34. – Berlin : Directmedia, 2000.

21. Muret-Sanders e-Großwörterbuch Englisch 4.0 [Electronic resources]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Berlin : Langenscheidt, 2007.

22. Oxford-Paravia Italian Dictionary [Electronic resources] / ed. C. Vareggi. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Заглавие с экрана. – Oxford : Oxford University Press, 2002.

23. Oxford English Dictionary [Electronic resources] / ed. J. Simpson, E. Weiner. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Oxford : Oxford University Press, 1989.

24. World Atlas of Language Structures [Electronic resources] / ed. M. Haspelmath. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. – Oxford : Oxford University Press, 2005.

ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

Сокращение «ср.» (= «сравни») подразумевает, что в источнике высказывается точка зрения, сопоставимая с точкой зрения автора, но не идентичная ей. Интернет-линки указываются либо в тех случаях, когда цитируемая работа опубликована только в Интернете, либо когда печатный вариант был недоступен. Если источник приводится без указания страницы, то это объясняется либо отсутствием нумерации страниц в интернет-версии книги или статьи, либо отсутствием печатной версии (когда работа опубликована только в Интернете), либо тем фактом, что автор отправляет читателя не к какому-то конкретному месту в работе, а к работе в целом. Все Интернет-ссылки работали в 2007 г.

Универсалии из «Архива универсалий» университета Констанц не переведены на русский язык, так как их номера в архиве меняются, постоянных ссылок на них нет, потому единственная возможность найти цитируемую универсалию на интернет-странице университета – это запустить в поиск точную формулировку на английском. Заметим, что каждая универсалия сопровождается комментариями ведущих типологов мира, постоянно продолжающих работу над архивом. В большинстве других случаев переводы с английского и немецкого выполнены автором настоящего исследования. Не переводились а) цитаты, точный перевод которых представляется затруднительным; б) цитаты, которые являются переводом с русского на английский (чтобы избежать обратных переводов).

Чтобы не повторять постоянно одни и те же термины, автор использует следующие абсолютные синонимы: инструменталь = инструменталис = творительный падеж = оруд(ий)ный падеж, генитив = родительный падеж, номинатив = именительный падеж, аккузатив = винительный падеж, датив = дательный падеж, синтетизм = синтетичность, аналитизм = аналитичность, медий = медиум = средний залог = медиальный залог, возвратный залог = рефлексив, индоарийский = индоиранский, прямообъектный = прямопереходный = транзитивный. Не являются абсолютными синонимами «номинальность» и «номинативность». Мы не называем агентивный падеж агенсом, а пациентивный – пациенсом, поскольку такие же названия имеют семантические макророли (даже если оформляются номинативом, как в англ. *He was killed*: “he” здесь стоит в номинативе, но с макроролью пациенса).

Все цитаты из художественных произведений, приведенные без указания источника (страницы, места и года издания), взяты из сборника «Электронная библиотека 3: Антология русской литературы от Нестора до Булгакова» или из интернет-библиотеки www.lib.ru.

Все отклики и замечания можно отправить автору на адрес электронной почты Zaretsky@em.uni-frankfurt.de.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ACC	аккузатив	лат.	латынь
DAT	датив	лезг.	лезгинский
GEN	генитив	лит.	литовский
NOM	номинатив	лок.	локатив
OBJ	объект	м. р.	мужской род
SUBJ	субъект	маль.	мальтийский
абс.	абсолютный падеж	мн. ч.	множественное число
абх.	абхазский язык	мордв.	мордвинский
ав.	аварский	нав.	навахо
авест.	авестийский	нем.	немецкий
агентив.	агентивный/-о	ниг. п.	нигерийский пиджин
адыг.	адыгейский	ном.	номинатив
акк.	аккузатив	норв.	норвежский
англ.	английский	одуль.	одульский
араб.	арабский	пац.	пациентивный/-о
баск.	баскский	перф.	перфект
бацб.	бацбийский	поль.	польский
бел. кр.	белизский криоль	порт.	португальский
белорус.	белорусский	рум.	румынский
бенг.	бенгальский	рус.	русский
болг.	болгарский	саам.	саамский
венг.	венгерский	санс.	санскрит
вотьяк.	вотьякский	сар.	сарамакка
гав. к. я.	гавайский креольский	сев.-рус.	северные диалекты русского
гав. п.	гавайский пиджин	сербох.	сербохорватский
ген.	генитив	сербск.	сербский
герм.	германские языки	сиб. п.	сибирский пиджин
голл.	голландский	слав.	славянские языки
гот.	готский	слов.	словацкий
греч.	греческий	словен.	словенский
дарг.	даргинский	ср.-англ.	среднеанглийский
дат.	датив	ср.-в.-нем.	средневерхне немецкий
д.-англ.	древнеанглийский	ср.	сравни
д.-в.-нем.	древневерхне немецкий	ср. р.	средний род
д.-инд.	древнеиндийский	ст.-слав.	старославянский
д.-ирл.	древнеирландский	т.-п.	ток-писин
д.-исл.	древнеисландский	тибет.	тибетский
д.-лит.	древнелитовский	тох.	тохарский
д.-прус.	древнепрусский	тур.	турецкий
д.-сев.	древнесеверный	тюрк.	тюркские языки
д.-швед.	древнешведский	удм.	удмуртский
ед. ч.	единственное число	укр.	украинский
ж. р.	женский род	устар.	устарело
и.-е.	индоевропейский	фар.	фарерский
инстр.	инструменталь	фин.	финский
ирл.	ирландский	фр.	французский
исл.	исландский	хетт.	хеттский
исп.	испанский	чер.	черемисский
итал.	итальянский	чеч.	чеченский
к.-зыр.	коми-зырянский	чеш.	чешский
к.-р. к.	коста-риканский креольский	чукот.	чукотский
кам. п.	камерунский пиджин	швед.	шведский
кимр.	кимрский	эрг.	эргатив
кит.	китайский	эст.	эстонский
корейск.	корейский	юк.	юкагирский
л.	лицо	ям. к.	ямаиканский креольский
лак.	лакский	яп.	японский

Евгений Владимирович Зарецкий

**БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(в сравнении с английским
и другими индоевропейскими языками)**

Монография

Редактор *Ю.А. Повх*
Компьютерная правка, верстка *Н.П. Туркиной*

Заказ № 1565. Тираж 200 экз.
Уч.-изд. л. 35,3. Усл. печ. л. 32,8.

Издательский дом «Астраханский университет»
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20
Тел. (8512) 61-09-07 (отдел маркетинга), 54-01-87; тел./факс (8512) 54-01-89
E-mail: asupress@yandex.ru